



*Российский  
государственный гуманитарный университет*

*Российская академия наук  
Институт всеобщей истории*



*Russian State University  
for the Humanities*

*Russian Academy of Sciences*

*Institute of General History*

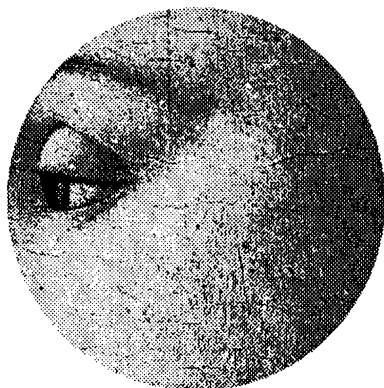
*Man in the World of the Feelings*

*Essays  
on the History of Private Life  
in Europe and in Certain Countries of Asia  
before  
the Modern Times*

*Edited by  
Yu.L. Bessmertny*

*Moscow  
2000*

*Человек в мире чувств*



129-37

*Очерки  
по истории частной жизни  
в Европе и некоторых странах Азии  
до начала  
нового времени*

*Под редакцией  
Ю.Л. Бессмертного*

*Москва  
2000*

*Руководитель авторского коллектива  
и ответственный редактор Ю.Л. Бессмертный*

*Авторский коллектив:*

*Ю.Л. Бессмертный,  
М.Л. Абрамзон,  
М.А. Бойцов,  
П.Ш. Габдрахманов,  
О.Е. Кошелева,  
О.А. Кривцун,  
А.И. Курпьянов,  
Е.Н. Марасинова,  
Н.Л. Пушкарева,  
И.С. Свенцицкая,  
А.В. Стогова,  
О.И. Тогова,  
П.Ю. Уваров,  
П.Ф. Усков,  
М.С. Хаяютина,  
С.А. Экштут*

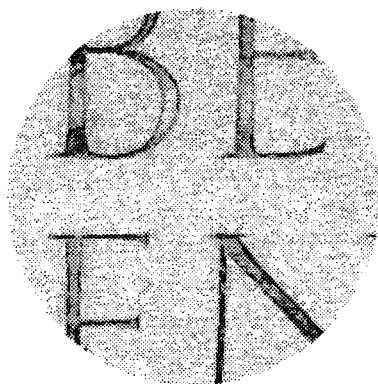
*Chief Editor and head of the group of authors  
Yuri L. Bessmertny*

*Authors:*

*Yu.L. Bessmertny,  
M.L. Abramson,  
M.A. Boitsov,  
P.Sh. Gabdrakhmanov,  
S.A. Ekshtut,  
O.E. Kosheleva,  
O.A. Krivtsun,  
A.I. Kupriyanov,  
M.S. Khayutina,  
E.N. Marasinova,  
N.L. Puskhareva,  
I.S. Sventsitskaya,  
A.V. Stogova,  
O.I. Togyeva,  
P.Yu. Uvarov,  
N.F. Uskov*

Художник М. Гуров

*Идеи и подходы*





INCIPI

LIBER

GENE

SEOS

Людей, равнодушных к миру чувств и к собственной частной жизни, встретить трудно. И то, и другое волнует сегодня очень многих, если не всех и каждого. Вряд ли когда бы то ни было в прошлом было совсем иначе. *Но как именно это было?..* Достаточно ли, однако, интереса к этому конкретному вопросу, чтобы оправдать обращение к истории частной жизни?

*Чем вообще определяется выбор проблематики в истории?* Наш взгляд, исследователь прошлого призван, в первую очередь, помочь своему современнику понять, кто он есть, чем отличается от своих предков, зачем явился в этот мир и ради чего живет. С этой целью историку приходится обращаться к самым разным аспектам изменения человека и общества, и в первую очередь к истории культуры, политики, экономики. Но, учитывая основную цель историка – помочь самопознанию его современников, – анализ явлений прошлого представляется важным не столько сам по себе, сколько как ключ к уяснению того, чем жил человек прошлого (в отличие от человека нынешнего), как он по-своему вписывался в культурные стереотипы, как по-своему решал экономические и социальные проблемы, чем руководствовался при принятии решений. Среди задач историка особое место занимает, таким образом, изучение мотивов человеческих поступков, того, как изменялись эти мотивы, какую роль играли в них рациональные и эмоциональные импульсы. В этом смысле нет в истории ничего более важного, чем анализ императивов, руководивших действиями людей прошлого. А для понима-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)



ния этих императивов приходится иметь в виду, что все они закладывались еще в детстве – в рамках семьи, затем закреплялись в кругу близких и лишь потом начинали играть свою роль за пределами домашнего мира. Частная сфера и формы взаимоотношений внутри нее имеют поэтому огромное значение для уяснения своеобразия человека любой эпохи прошлого, так же как и для понимания нашего собственного своеобразия.

Конечно, частная жизнь существует не в безвоздушном пространстве. Она инкорпорирована в гражданское общество, в его социально-политический и экономический строй. Не забудем, однако, что ни производственная, ни политическая, ни культурная деятельность не представляют для конкретного человека самоцели<sup>1</sup>. Все они фактически служат средством обеспечить данному человеку благоприятные условия повседневного существования, включая, едва ли не в первую очередь, *комфортные условия частной жизни* – жизни “у себя”, “дома”<sup>2</sup>. Более того. Все эти формы социальной деятельности реализуются с учетом заложенных в человеческих душах традиций, включая, естественно, представления о частной жизни, ее идеалах и целях. Эти представления на каждом этапе охватывают как традиционный пласт, так и нововведения, возникшие в связи с общественной эволюцией. А отсюда следует, что частная жизнь каждой эпохи выступает как один из важнейших показателей своеобразия и общества, и человека. Именно поэтому *анализ частной жизни – один из важнейших путей осмысления прошлого и, соответственно, один из главных каналов нашего самопознания*. Без исследования этих сюжетов немислимо историческое знание.

Сама частная сфера чрезвычайно многогранна и охватывает самые разные стороны человеческого поведения. Она, в частности, включает все, что связано с рождением человека, с выбором имени для новорожденного, с выхаживанием младенцев, их воспитанием, с материальным обеспечением и жизненным устройством детей. К той же частной сфере относится и все, что касается брака: выбор брачного партнера, восприятие супружеских взаимоотношений, роль в них духовной близости и секса, отношение к добрачным связям, к разводу, к адюльтеру, к незаконнорожденным детям, к маргинальным формам секса и многое другое. Естественно, что в число сюжетов частной жизни входит также восприятие родственных связей, отношение к старшим и младшим родичам, к родственникам по мужской и женской линиям, к побратимам, чужакам, вновь приобретенным единомышленникам. Ко всему этому органично примыкает исследование внутреннего мира человека, его поведения “наедине с собой”, его самовосприятия.

При разработке этих сложных и тонких тем нет ничего второстепенного, каждый сюжет способен дать бесценные крупинки исторического знания. В то же время здесь не может быть и запретных тем. Организация и роль застолья, домашний интерьер и устройство

спальни, мера изолированности и расположение мест для дефекации, пищевые табу, гомосексуальные контакты, отношение к проституткам, восприятие пытки, физическая немочь и многое другое – все это может оказаться средством осмысления своеобразия человека в том или ином обществе и потому заслуживает внимания исследователя<sup>3</sup>. Характеристика ряда подобных сюжетов занимает немало места в этой книге.

В предшествующей части нашего издания<sup>4</sup> мы ограничились изучением отношений преимущественно среди самого узкого круга близких людей, составляющих сердцевину всякого “дома”, а именно отношений внутри семьи (или же предшествовавшей семье ячейки). Одновременно мы старались уяснить общие границы круга домашних в разных обществах и осмыслить, что именно представлялось людям разных эпох относящимся к “домашней” – частной – сфере жизни (противостоящей тому, что в наше время называется публичной сферой), как они сами ее воспринимали и оценивали и как мог бы истолковать эти древние представления о частной сфере современный исследователь<sup>5</sup>.

Теперь мы хотели бы раздвинуть рамки анализа. Что, кроме собственно семейных отношений, формирует частную сферу? Каков круг близких за пределами супружеской семьи, способных в разных обществах влиять на настроения и поступки человека, на мотивацию его действий? Исследуя эти вопросы, мы стараемся проследить, как и когда в круг этих близких включаются не-родственники из числа знакомых, приятелей, некоторых соседей, людей со сходной судьбой, как дифференцируется круг самих родственников и других близких, из числа которых могут со временем вычлениваться и *друзья*, и *недрузья*. Не менее важным считаем мы осмысление этих понятий – друзья, недруги – в разные эпохи. Отправляясь от такого осмысления, можно уяснить, как изменение (и расширение) круга близких и включение в него не-родственников могло влиять на преодоление ксенофобии, на принятие идей лояльности и терпимости в обществе, словом, на процесс социализации человека. Но это лишь одно из направлений нашего нынешнего анализа.

Другой, не менее важный его аспект – специальное внимание к роли в частной сфере человеческой *субъективности*. Раньше мы уже касались тех социальных условий *объективного* толка, которые сказывались на представлениях человека о близких, о семье, о «доме». (Здесь и особенности социально-экономических условий, и специфика идеологии и ментальности, и даже своеобразие природной среды.)<sup>6</sup> Одна из наших новых задач – подробнее рассмотреть, как сказывается на частной жизни своеобразии *конкретных индивидов*, их эмоциональный склад, их характерологические особенности. Одновременно хотелось бы понять обратную связь частной жизни с внутренним миром человека. Исследование этого аспекта осложняется

тем, что почти в каждом индивиде парадоксально сочетаются свойства, приобщающие его к окружающим, сближающие его с ними, и в то же время – свойства, отличающие его от них. Противоборство этих импульсов можно рассматривать на разных уровнях. Один из них – анализ того, какими, судя по массовым данным, могли быть результаты такого противоборства в том или ином обществе, в той или иной большой или малой группе. Такой обобщенный анализ несомненно важен, особенно для выявления преобладающих тенденций или же стереотипов в поведении людей. Но, как известно, тенденция, как и стереотип, выявляет лишь доминирующие формы. Конечно, историку знать их в высшей степени полезно. Однако никакой стереотип не способен полностью детерминировать поступки конкретных индивидов. Мы хотели бы поэтому не ограничиваться изучением того, как могли быть взаимосвязаны внутренний мир отдельных индивидов и домашний микроклимат в той или иной социальной среде. Нам хотелось бы выявить, как они взаимодействовали *на практике*, в реальном социальном опыте конкретных людей.

Для решения этой задачи потребуется, в частности, подробнее рассмотреть эмоциональную сторону частной жизни, выявляя, как в ходе эмоциональных переживаний изменяется и сам человек, и окружающий его домашний мирок, и частная жизнь вообще. В предыдущем томе нашего издания мы уже отчасти касались этого аспекта. Теперь мы уделяем ему гораздо большее место. Мы исходим при этом из того, что, хотя миропорядок в человеческом обществе предполагает существование неких рациональных норм поведения, люди нигде и никогда не уподоблялись автоматам, выполнявшим лишь заданные им правила, сколь бы таковые ни были разумны и обоснованны. Своеобразным “правилом” выступало скорее нарушение принятых поведенческих норм. И совершалось оно, в частности, под влиянием эмоциональных импульсов самого разного рода<sup>7</sup>, так что эмоциональный фактор постоянно выступал в качестве одного из важнейших регуляторов человеческой жизни.

Всегда ли учитывается это в исторических исследованиях? Здесь не место рассматривать весьма обширную библиографию трудов по истории эмоций в прошлых обществах. Отметим лишь, что в работах по этой проблематике очень непросто добиться продуктивного рассмотрения эмоциональной жизни в рамках социальной истории в целом. Подчас это объясняется тем, что исследователи стремятся напрямую проследить взаимосвязь между жизнью эмоциональной и явлениями социально-экономического плана<sup>8</sup> или же, наоборот, анализируют отдельные эмоции и мир чувств как самостоятельные явления<sup>9</sup>. В частности, по этой причине роль эмоциональных радостей – и, в еще большей мере, роль страдания – пока что не стала органичным элементом комплексного анализа социальной истории. Мы имеем здесь в виду такое комплексное исследование, в

котором эти человеческие эмоции осмысливались бы как органичные составляющие среди факторов, которые воздействовали не только на конкретное поведение людей и его мотивацию, но и на формирование их нравственного облика, на меру их лояльности к окружающим, на изменение психологического климата в обществе (прежде всего в микрочайках повседневного общения), на интерпретацию этических идеалов в повседневной культурной практике.

Анализ мира эмоций вообще и, тем более, анализ его истории крайне сложен. Не поможет ли ему избранный нами ракурс, предполагающий пристальное внимание к частной сфере? Ведь эмоциональные импульсы проявляются в ней особенно выпукло, побуждая каждого персонажа чуть ли не ежечасно соразмерять (и изменять) эмоциональную окраску своих действий в соответствии с реакциями близких, их возрастным и половым статусом, их положением внутри родственной ячейки, их индивидуальными чертами и т. п. Каждый по собственному опыту знает, как многое в частной жизни зависит от, казалось бы, второстепенных нюансов в выражении лица, в избранном тоне разговора, в случайно вырвавшемся слове, в произвольном жесте. Настроение человека, его эмоциональное состояние сказываются на взаимоотношениях в этой сфере самым непосредственным образом, выявляя формы эмоционального воздействия и структуру внутреннего мира индивида наиболее наглядно.

Одна из задач нашей работы в том и состоит, чтобы на конкретном материале частной жизни изучить содержание эмоциональных переживаний разного толка в различные эпохи и в разных социальных слоях. Мы пытаемся проследить, как изменяется содержание самих этих переживаний и как взаимосвязано их изменение с объективными общественными условиями и с субъективными переменами в структуре человеческой личности. И в то же время нам хотелось бы осмыслить, как эмоциональная напряженность, страсть, страдание, стресс порождают изменение внутреннего мира человека, изменение, в свою очередь сказывающееся на взаимоотношениях индивида с людьми близкими и неблизкими. Насколько все это было однородным в разных социальных группах и у разных индивидов? Как, например, родительская любовь, сексуальная страсть, физическое страдание, страдание из-за ближних влияли на межличностные отношения, насколько могли они способствовать укреплению или, наоборот, разрушению социальных связей и микрогрупп?

Найти ответы на все эти вопросы в документах прошлого очень непросто. Прямые данные об этом отсутствуют в наших источниках практически полностью. Не случайно в современной историографии подобные сюжеты почти не разрабатываются. Реализуя наш замысел, мы были вынуждены заново перечитать многие памятники прошлого, сравнить их между собой, отыскать в архивах еще не использовавшиеся материалы и найти способы извлечь из них все, что

связано с личностными моментами, с мотивами, побуждавшими действовать в частной жизни так, а не иначе.

В связи с этим потребовалось присмотреться к мельчайшим деталям в описании поступков отдельных людей, к случайным “проговоркам” составителей документов, позволявшим понять, чем было продиктовано поведение того или иного персонажа. Мы не пропускали ни одной “недосказанности”, стараясь осмыслить, чем была она вызвана, какова была ее подоплека. Пристально исследовались словесные формы, особенно нестандартные. Сравнивая их с клишированными выражениями, мы стремились уяснить их возможный подтекст и истоки появления.

В документах судебной практики наше внимание привлекало все то, что было связано с действиями конкретного человека, с обстоятельствами, побудившими к проступку, ставшему предметом судебного разбирательства, или к необычной реакции на действия суда. Из эпиграфических, эпистолярных и других нарративных текстов мы старались извлечь максимум информации о подспудных мотивах поведения всех действующих лиц и, особенно, о свойственном каждому из них своеобразии в интерпретации принятых правил частной жизни. Некоторые наши авторы пошли еще дальше, специально разработав исследовательскую методику, которая позволила бы, например по антропонимическим данным, уяснить возможность нестандартного действия отдельных людей и их ментальные предпочтения в частной сфере.

Одним из общих принципов нашего анализа было специальное внимание к редкостным, нестандартным казусам разного рода. Мы убеждены, что сквозь призму таких казусов яснее видна уникальность времени. С их помощью за стереотипным и массовым удается порой разглядеть индивидуальное, т. е. “дойти” до конкретного человека. В результате история “молчаливого” (и безликого!) “большинства” может наполниться историей конкретных людей, способных поведать о времени, о себе и своей частной жизни<sup>10</sup>.

Тем не менее, несмотря на все наши усилия, далеко не все, что нас интересовало, удалось до конца понять и осмыслить. По ряду вопросов наша работа ограничивается лишь предварительными наметками. Не приходится, однако, забывать, что речь идет о действительно очень трудных или даже “вечных” проблемах, таких, как сопоставление роли разных эмоций, сталкивающихся в душе человеческой, как соотношение личностного образца и массового поведения в разные времена и в разных социальных группах или как понятие человеческого счастья и несчастья. В числе методологических сложностей следует назвать переход от отдельных казусов, исследовавшихся нами, к обобщениям. Тесно связанный с нерешенными проблемами исторического синтеза, этот переход предполагает специальный анализ путей интеграции микро- и макроистории. По-

дробнее об этом пойдет речь в следующей главе. Две первые главы составляют начальную часть нашего труда – “Идеи и подходы”.

Вторая часть – “Семейные заботы, радости и печали” – посвящена эмоциональным переживаниям в рамках семьи и охватывает весь их спектр, начиная от забот об имянаречении детей, об их благополучии и жизненном устройстве и кончая взаимоотношениями супругов и прочих членов семьи. Здесь речь пойдет, в частности, о чувственности и сексуальных отношениях как одном из важных элементов внутреннего мира человека и о той роли, которую эти моменты играли в упрочении – или, наоборот, дезинтеграции – домашних ячеек.

Третья часть – “Друзья и враги” – призвана раскрыть смысловые особенности дружбы и вражды в некоторых исследуемых нами обществах и выявить своеобразие эмоциональных (и рациональных) контактов в этом “отсеке” частной жизни.

Четвертая часть – “В мире страданий: восприятие смерти” – посвящена одной из важнейших эмоциональных сфер человека, играющей особую роль в его нравственном становлении. Как никакие другие, эмоции страдания – и сострадания – способны “перевернуть” человеческую душу, породить новые душевные движения, повлечь усложнение внутреннего мира человека. “Человек страдающий” – как и “Человек любящий” – это едва ли не важнейшие феномены в истории создания высших нравственных идеалов человечества, и интерес к ним более чем оправдан.

Пятая часть нашей работы посвящена “Странным людям”. Речь в ней пойдет о тех, кто так или иначе выпадал из общего ряда, кто поражал современников своей непохожестью на других. Такие *незаурядные* люди существовали, как будет показано, во все времена. Принятые правила поведения – в том числе и в частной жизни – были им не указ. Они действовали “по-своему”, вызывая то недоумение, то возмущение, то восхищение окружающих. В любом случае с них могло начаться нечто новое, невиданное и в межличностных отношениях, и в самой человеческой индивидуальности. Внутренний мир и поведение этих людей заслуживают исключительного внимания. “Странные люди” нередко становились своеобразным “бродилом”, предвещавшим рождение нового во всем, включая едва ли не в первую очередь сферу частной жизни. Судьба таких людей – избранное поле для осмысления роли человеческой индивидуальности в истории.

Как и в предыдущем томе по истории частной жизни, мы ограничиваемся эпохами, предшествующими новому времени, и вторгаемся в этот период лишь в тех случаях, когда это позволяет ретроспективно осмыслить феномены предшествующего исторического этапа (см. гл. 9, 18). Начало же изучаемого периода – это древность, период античности и эллинизма в Греции, Малой Азии и Северном Египте, эпоха Западного Чжоу в Древнем Китае.

Наша работа не претендует на систематическое изложение, она носит поисковый характер. Поэтому главное внимание уделяется в ней особенно ярким и поучительным в познавательном отношении вариантам регионального развития. Отбором именно таких вариантов определяются географические рамки нашего анализа. Свою задачу мы видим во многом в отыскании и проверке методологических и методических подходов, которые, хотелось бы думать, будут в дальнейшем критически использованы авторами более систематических работ. Это побуждает нас к разработке и проверке гипотез, касающихся как существа рассматриваемых проблем, так и возможностей их однородного – или, наоборот, не однотипного – решения на материале различных регионов.

Так же как и на предыдущем этапе, в реализации нашего исследовательского проекта исключительную роль играла работа семинара "Индивид и частная жизнь в странах Европы и Азии", вот уже пять лет функционирующего в почти неизменном составе в рамках Института всеобщей истории РАН (при участии и руководстве пишущего эти строки). Все главы труда неоднократно обсуждались и дорабатывались на основе коллективного обсуждения с участием широкого научного актива специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода, а также и наших зарубежных коллег из Гёттингена, Парижа и США. От имени авторского коллектива хотелось бы выразить всем им глубокую благодарность.

### Примечания

- 1 См.: Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. С. 5 и след.
- 2 Понятие *дома* охватывает здесь не только пространство, ограниченное "четырьмя стенами"; оно намного шире по своему смыслу и включает все, что относится к внутренней жизни и внутреннему миру "домашних".
- 3 Увидеть в интересе к таким сюжетам "копание в грязном белье", "подглядывание в замочную скважину" или "отказ от элементарной стыдливости" можно лишь тогда, когда обращение к этим темам превращается в самоцель, в смакование "лубнички". Там, где этого нет, история частной жизни может стать средством высветить едва ли не самое светлое в духовном опыте человека – заботу о близких, беззаветность материнской или отцовской любви, подвижничество во имя любви и дружбы, способность к самопожертвованию и взаимопомощи. Ср.: Частная жизнь. Стоит ли копаться в "грязном белье"... // Родина. 1996. № 12. С. 80 и след.; Бессмертный Ю.Л. Размышления о казусе // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1996. С. 318.
- 4 Человек в кругу семьи... Гл. 3–13.
- 5 Как отмечалось, "во всех изученных обществах существовала социальная сфера, которая и с объективной точки зрения, и с позиции современников отличалась от сферы публичного служения... Едва ли не самое заметное ее отличие в том, что она предполагала не регламентированную какими бы то ни было правовыми нормами *экономическую* сторону. То была... добровольная, эмоционально обусловленная потребность в удовлетворении как материальных, так и психологических запросов и желаний контрагентов" // Там же. С. 347.

- <sup>6</sup> См.: Там же. Гл. 3-8, 13-14.
- <sup>7</sup> См., например: *Rosenwein B. Anger's Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages.* Cornell University Press, 1998; *Medick H., Sabel C. D. W. Interest & Emotion. Essays on the Study of Family and Kinship.* Cambridge, 1988.
- <sup>8</sup> *Medick H., Sabel C. D. W.* Op. cit. P. 1-9.
- <sup>9</sup> Ср.: *Февр Л.* Чувствительность и история (1941 г.) // *Бои за историю.* М., 1991. С. 108-125.  
Об общей неразработанности эмоциональной истории, особенно в ее взаимосвязи с историей частной жизни, см: *Fossier R. Histoire de famille // L' Ecriture de l'histoire.* Georges Duby. Bruxelles, 1996. P. 179.
- <sup>10</sup> См. подробнее: *Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого.* М., 1999.



## Глава 2

### Метод

Наш интерес к “странным людям”, ко всему индивидуальному, необычному, нестандартному реализовать непросто. Как уже отмечалось в предыдущей главе, переход от изолированных казусов к каким бы то ни было обобщениям наталкивается в истории на серьезные методологические трудности. Как выйти за рамки каждого из таких казусов? Как оценить меру их поучительности? Как представить их пространственное “распределение”? Что сделать, чтобы результаты единичных наблюдений могли быть включены в наши представления о некоей целостной общественной структуре? Давать на подобные вопросы простые и однозначные ответы сегодня, в период очередного – и, пожалуй, особенно глубокого – переосмысления путей исторического познания, весьма трудно<sup>1</sup>. Используя описываемый ниже подход к анализу этих вопросов, мы заведомо сознаем его гипотетичность, но в то же время надеемся, что полученные исследовательские результаты помогут выявить и достоинства, и ограничения избранного нами метода.

Начнем с конкретного примера. Допустим, что нам удалось найти древний текст, который можно трактовать как характеристику психологических страданий некоего персонажа в связи с кончиной его любимого родича. Допустим также, что наша трактовка позволяет констатировать определенное изменение этого персонажа под влиянием пережитых страданий (изменение, которое могло бы заинтересовать нас в связи со стремлением осмыслить роль страда-

---

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)

ния и сострадания в нравственном становлении человека вообще)<sup>2</sup>. Представим, кроме того, что по отношению к другим персонажам того же текста (как и в иных параллельных текстах) нам не встретилось аналогичных описаний душевной травмы, связанной со скорбью из-за смерти близких. Каково в этих обстоятельствах познавательное значение упомянутого казуса?..

Можно, конечно, отнестись к нему как к чему-то чисто случайному, "проходному". Но будет ли это продуктивным? Ведь "случай" этот описан в реальном тексте, доступном его современникам. Не все они могли истолковать его так, как он понят нами. Но в любом случае ознакомление современника с этим текстом предполагало некоторую его реакцию. Она могла быть реакцией отторжения или же, наоборот, реакцией приятия. Так или иначе, этот текст (и казус) мог вызвать некий отклик, и этот отклик мог быть тем резче, чем необычнее выглядел самый казус. Таковы разные возможности. Но какие именно из них реализовались? Если источник об этом умалчивает, мы, скорее всего, никогда этого не узнаем. Какую же исследовательскую "стратегию" всего продуктивнее избрать при столкновении с подобными текстами?

Вопрос этот тем более актуален, что исследователь частной жизни и мира эмоций часто сталкивается с нестандартными казусами, истоки и отзвук которых нам плохо известны<sup>3</sup>. Казусы этого же типа встречаются и во всех иных сферах общественной жизни (как и в природе в целом). Как принять их во внимание, как использовать и "освоить"? По существу, мы имеем здесь дело с одной из самых общих проблем научного познания, касающейся соотношения общего и особенного<sup>4</sup>.

Для историка трудности при разрешении этой проблемы усугубляются тем, что ему, как известно, приходится изучать предмет, доступный лишь через "третьи руки" — через субъективное восприятие составителя исторического памятника. В наибольшей мере это касается историка, обращающегося к каким-либо редким или же уникальным текстам. Не разумнее ли пренебречь анализом подобных текстов (и соответствующих ситуаций) в пользу более обычных, чаще встречающихся?.. Эта точка зрения долгое время пользовалась (и продолжает пользоваться) в исторической науке широким распространением. Ее сторонники не без оснований ратуют за использование лишь таких исторических свидетельств, которые носят массовый, серийный характер, либо же за приоритет таких исследовательских сфер, в которых субъективность и индивидуальность авторов исторических памятников сказывалась бы в наименьшей мере.

При всей привлекательности этой позиции ей свойствен немаловажный изъян<sup>5</sup>. В отличие от многих других сфер познания история имеет дело с творениями рук человеческих. Конкретные инди-

виды, действующие в истории, хотя и ориентируются на писанные и неписанные нормы поведения, всегда привносят в их реализацию нечто свойственное им и только им. Как уже отмечалось выше, "нормой" человеческой деятельности выступает скорее *нарушение* нормы, а не ее точное воспроизведение. Это нарушение в большинстве случаев индивидуально и так или иначе выражает особенности данного конкретного субъекта.

Вправе ли историк жертвовать индивидуальным ради массового? Сосредоточившись лишь на массовых явлениях, постигнем ли мы что-либо кроме общих *возможностей* поведения в том или ином обществе? Ведь социальная *практика* раскрывается отнюдь не только через массовое и повторяющееся. Нередко ее смысл выявляется ярче всего именно через уникальное и индивидуальное<sup>6</sup>. Они-то особенно наглядно передают и культурную уникальность своего времени<sup>7</sup>. Ее не понять, если интересоваться только массовым и повторяющимся<sup>8</sup>. К тому же, поскольку помыслы и поступки человека зависят не только от рационального начала, их осмысление историком нуждается в проникновении во всю сложность внутреннего мира каждого из исследуемых героев. Только при таком проникновении можно приблизиться к раскрытию сложных и не всегда осознаваемых самим человеком импульсов его действий. Ясно, что это предполагает специальное внимание к персональным отличиям каждого действующего лица истории и, соответственно, к каждому "случаю" и к каждому тексту, описывающему нестандартные случаи.

Если, таким образом, мы не вправе пренебречь подобными случаями, то *как включить их в общий контекст?* Мы возвращаемся здесь к вопросу, с которого начинали. Ответ на него некоторым исследователям видится в том, чтобы рассматривать такие казусы как "частные модуляции" *общих процессов*<sup>9</sup>. Иначе говоря, любой казус предлагается отождествлять с неким неизвестным нам ранее – или же, наоборот, с уже широко известным по другим памятникам – *массовым* явлением. Вновь выявленный казус воспринимается как *иллюстрация* чего-то широко распространенного или же, на худой конец, как исключение, лишь подтверждающее обратное правило. Все возвращается, так сказать, "на круги своя": индивидуальное воспринимается лишь сквозь призму массового, его самостоятельное познавательное значение выводится за скобки.

Иной подход характерен для тех, кто (подобно автору этих строк) полагает, что, сталкиваясь с индивидуальным, необычным, нестандартным, следовало бы осмыслить в нем то, что составляет его собственную специфику и что *не вмещается* в массовое и повторяющееся. С этой точки зрения, чтобы включить в общий контекст нестандартный казус любого рода (будь то необычный по содержанию текст или же соответствующий ему уникальный случай), надо найти

*методологию перехода* от наблюдений над единичным к суждениям, значимым для той или иной исторической целостности. Поиски такой методологии – своего рода знамение времени в современной историографии, как отечественной, так и зарубежной. Эти поиски вылились в последние годы в обсуждение проблемы соотношения так называемых макро- и микроподходов в истории. Посвященная этому сюжету многоязычная литература уже была предметом специального анализа<sup>10</sup>. Не пересказывая содержание этого анализа, остановимся лишь на сложившейся в результате гипотезе о возможных путях интеграции, с одной стороны, нестандартных, с другой – типичных казусов в частной сфере.

Эта гипотеза исходит из развиваемых рядом современных специалистов представлений о человеческом обществе как о *не вполне интегрированной* системе. Осмысливая особенности этой системы, приходится иметь в виду, что об ее единстве и целостности можно говорить лишь в той или иной мере условно, поскольку все составляющие общество индивиды обладают возможностью действий, которые самой системой не предписываются. Эти действия не удается смоделировать ни исходя из оценки ситуации самими индивидами, ни вообще исходя из какого бы то ни было набора строго рациональных мотивов<sup>11</sup>. Естественно, что даже в идентичных социальных условиях не найти соответствующей идентичности в поведении индивидов; и, наоборот, идентичное поведение индивидов не обязательно предполагает тождественности его общих социальных предпосылок<sup>12</sup>.

Наиболее непосредственно это можно было бы увязать с исключительной вариативностью внутренней организации каждого индивида, с изменчивостью его психофизических черт, бесконечным многообразием его жизненных обстоятельств<sup>13</sup>. Во всяком случае, поведение членов любого человеческого сообщества не подчиняется единообразной “утилитарности” по принципу: “стимул – реакция”<sup>14</sup>. Нет единообразного подчинения и поведенческим стереотипам. Даже если согласиться с известной формулой Пьера Бурдьё, что люди “на три четверти – автоматы”, “запрограммированные” в своих действиях принятыми в обществе нормами<sup>15</sup>, вряд ли можно сомневаться, что оставшейся “четверти” более чем достаточно, чтобы “перевернуть” все эти нормы. Ведь если – с учетом идей современной науки синергетики – нельзя предвидеть, насколько данное состояние общества близко к “неравновесному” (и к так называемой точке бифуркации<sup>16</sup>), трудно исключить возможность того, что девiantные действия всего лишь нескольких людей (или отдельного человека) могут оказаться импульсом “обвала” всей совокупности общественных норм.

Все это и побуждает видеть в обществе не вполне интегрированную систему, внутри которой мыслимы, так сказать, “разъемы”,

способные вмещать “чужеродные”, *выламывающиеся* из нее феномены<sup>17</sup>, а самая система выступает при этом как, в известной мере, дискретное образование, содержащее в себе прерывности. Такое видение органично согласуется с представлением о возможности возникновения внутри общества “незапрограммированных” ситуаций и казусов, о возможности девиантного поведения отдельных индивидов, возможности появления нестандартных личностей, “странных людей” и т. д., и т. п. Более того. Исходя из очерченного выше взгляда, и нестандартные казусы, и девиантное поведение, и вообще определенная фрагментарность и несогласованность исторических феноменов выступают как неизбежность, как норма.

Все это особенно важно учитывать при изучении частной жизни, отличающейся, как уже говорилось в предыдущей главе, исключительной насыщенностью индивидуальными реакциями и поступками. Предмет частной жизни (и внутреннего мира людей каждой эпохи) сплошь да рядом выступает, следовательно, как двуединый: с одной стороны, это некая система, хотя и не вполне интегрированная и “упорядоченная”, а с другой стороны, это мало – или вовсе – не подчиняющиеся системе нестандартные или уникальные феномены. Естественно, что следует *параллельно* исследовать и то, что в каждом обществе придавало частной жизни характер системы (хотя и не вполне упорядоченной), и то, что противоречит интегрированности этой системы и предполагало существование “внесистемных”, уникальных феноменов.

Двуединство предмета частной жизни оправдывает двойственность познавательных приемов при ее изучении. Требуется в одно и то же время обеспечить осмысление меры и форм связанности каждого исследуемого феномена с ему подобными (и с “системой” в целом) и в той же мере – осмысление его большей или меньшей самодостаточности. Конкретнее это означает, с одной стороны, исследование общественных и групповых стереотипов и структур, а с другой – своеобразия каждого доступного нашему анализу изолированного казуса и фигурирующего в нем индивида. Осмысливая поведение такого индивида, важно принять во внимание и то, что на него воздействуют большие структуры, охватывающие многих участников данного социума, и то, что ни одна из таких структур не “поглощает” действующих в них индивидов полностью, оставляя место для проявления ими субъективного, частного, личного. Это воздействие на индивидуума со стороны социальной группы и – отдельно – со стороны его собственной субъективности, по определению, имеет разную природу и реализуется как бы в разных “регистрах”. Для анализа каждого из этих регистров необходима своя методика.

Так, макроанализ, необходимый для понимания функций и влияния больших структур, неприменим для уяснения роли лично-

стных особенностей отдельных персонажей: как известно, в его основе – агрегирование серийных данных, характеризующих действия широкой массы участников исторического процесса. Наоборот, микроанализ, предполагающий сосредоточение внимания на своеобразии отдельных субъектов, непригоден при изучении больших структур и повторяющихся процессов.

Недооценивать какой бы то ни было из этих двух аналитических ракурсов не приходится. Но и пожертвовать ни одним из них нельзя. Макроанализ традиционно и широко использовался (и используется) в исследовательской практике историков второй половины XX в. Его продуктивность доказана многими исследованиями. Но сегодня более, чем когда бы то ни было раньше, приходится признать особую необходимость постоянно (и по возможности систематически) *дополнять* его микроанализом. Ведь с помощью микроанализа можно попытаться понять, как возможности общественного развития реализовывались в действиях конкретных персонажей, как и почему эти персонажи выбирали из всех возможных свою собственную “стратегию” поведения и почему отдавали предпочтение тем или иным решениям, в том числе и таким, которые порой выглядят безумными, на взгляд нашего современника.

С учетом всего сказанного выше микроистория выступает сегодня как насущная эпистемологическая необходимость, как незаменимый ракурс исторического анализа. И не только для осмысления девиантных (или уникальных) ситуаций. Микроистория незаменима при анализе всякого конкретного казуса, всегда окрашенного индивидуальностью его участников, так же как и всякого индивидуального выбора, обусловленного духовной или – что не менее важно – телесной реакцией индивида. Именно микроанализ лучше всего высвечивает *индивидуальную* сторону человеческой личности – в противоположность истории ментальностей, выражающей, согласно А.Я. Гуревичу, “внеиндивидуальную сторону личности”<sup>18</sup>. И та же микроистория способна выявить зреющие подспудно интенции индивидуального поведения, чреватые изменением сложившихся стереотипов<sup>19</sup>.

Перед исследователем частной жизни с особой силой встает, таким образом, задача добиться двуединства макро- и микроанализа в данной сфере. Это значит, что ни один из этих исследовательских ракурсов не должен рассматриваться как подчиненный или второстепенный, “растворяясь” в другом. Оставаясь неслиянными, они дополняют друг друга, создавая как бы “*двухслойное*”, *двуединое видение прошлого*, выступающее в виде *сосуществования* двух его взаимодополняющих форм.

Неслиянность этих двух форм видения не противоречит возможности их мысленной интеграции. Конечно, это не физичес-

кая (и не механическая) интеграция. Речь идет о мыслительной конструкции. Формирование ее целостности может быть отчасти уподоблено тому, как формируется целостность нашего зрения, складывающегося, как известно, из двух самостоятельных картинок, одна из которых поступает в зрительный центр нашего мозга от правого глаза, а другая – от левого. Вполне адекватного представления о целом не дает ни одна из этих двух картин. Другое дело – их *наложение* друг на друга. Только мир, увиденный обоими глазами сразу, воспринимается нами как целостный и единый.

Не в том ли состоит и задача историка, который хотел бы увидеть историю частной сферы во всей ее сложности, во всей напряженности столкновений стереотипного и индивидуального? Не должен ли и он *“смотреть в оба”*, чтобы осмыслить, с одной стороны, макрофеномены (в том числе стереотипы), с другой – микромир, включающий не только индивидуализированное воплощение тех же стереотипов, но и не подчиняющиеся стереотипам уникальные поведенческие феномены? Осуществляя эту процедуру, историк реализует познавательный подход, который можно условно назвать построенным по принципу дополнительности, ибо предусматривается *соединение* микро- и макропроекций прошлого *вне* их механического слияния, при сохранении каждой из них своей автономности<sup>20</sup>.

Вернемся теперь к приведенному в начале наших рассуждений конкретному примеру, касающемуся сострадания к близким. Чтобы осмыслить этот текст в рамках только что описанного двуединого видения, потребуется, очевидно, сочетать две исследовательские процедуры. Первая из них – микроанализ упоминавшегося текста. Он начинается с выявления собственных интенций его автора. Ведь чтобы этот текст понять, очень важно уразуметь, что за человек этот автор и ради чего он *так* писал. В частности, важно уяснить, как он сам относится к нестандартному поведению своих героев, насколько он сам не традиционен в своих оценках и высказываниях, в какой мере кажутся ему допустимыми (и заслуживающими подражания) поступки его героев, когда они расходятся с принятым поведенческим канонам, и как далеко можно, на его взгляд, от этого канона отойти. Все это помогает осмыслить данный конкретный казус на основе самого пристального внимания к нему как таковому и к рассказчику, от которого мы об этом казусе узнали.

Вторая процедура – это изучение существующего канона, иначе говоря, стереотипа поведения в случаях смерти близких, принятого в данной социальной среде. Ясно, что для этого потребуется выйти за рамки упомянутого казуса и описывающего его текста. Собирая серийные данные, потребуется выявить составные элементы

существующего ритуала, его соотношение с общими идеалами данной социальной группы, с ее социально-политическими и иными интересами. Немаловажно также уяснить, насколько укоренен этот поведенческий стереотип в сознании членов данной группы (или общества в целом), как связан он с другими, современными ему, канонами поведения и насколько отступление от принятых правил угрожает в данном случае сохранению некоторого комплекса социальных установлений вообще. Такой системный анализ не менее (если не более) сложен, чем изучение самого казуса, но столь же необходим.

Соединив результаты обеих исследовательских процедур, мы в какой-то степени продвинемся в осмыслении нашего сюжета и сможем, например, судить, насколько редкостен исследуемый вариант душевной травмы в данных обстоятельствах, каков мог быть его резонанс, его пространственное распространение, его социальные последствия для данной социальной группы и т. п. Конечно, наша интерпретация сохранит элемент гипотетичности. Но исключает ли это ее продуктивность?

Возможно, что некий искусственный читатель скажет при этом, что сочетание двух описанных исследовательских процедур – необходимый и притом естественный атрибут *всякого* добротного исторического исследования, так что наш подход мало чем обогащает историка. В ответ заметим, что наличие в используемых нами процедурах чего бы то ни было уже апробированного (и признанного продуктивным) вызывает лишь удовлетворение, так как нам чужды какие бы то ни было надуманные “изыски”. Тем не менее отличия нашего подхода от некоторых традиционных представлений об историческом анализе вряд ли можно игнорировать.

Начать с того, что на первом плане нашего поиска – конкретный человек, его индивидуальное поведение, его собственный *выбор*. Мы исследуем эти сюжеты отнюдь не только потому, что хотим знать, насколько *типичны* (или нетипичны) поступки этого человека, но ради понимания его как такового, ибо он интересует нас сам по себе. Пусть этот человек окажется из ряда вон выходящим. И в этом случае мы признаем его заслуживающим внимания. Ведь самая его уникальность раскрывает нечто от уникальности его времени. Конечно, об *общих закономерностях* эпохи наш анализ ничего не сообщит. Но ведь для самопознания нашего сегодняшнего современника прикоснуться к человеку прошлого и представить себе его своеобразие, во всяком случае, не менее важно, чем уяснить содержание (и самую реальность) “исторических закономерностей”.

Основывающийся на единичных данных, наш анализ не сможет претендовать на воспроизведение того, *как это было на самом деле*. Увы, прошлое, как известно, не прозрачно. И историк не в силах



предложить читателю большее, чем свою интерпретацию той интерпретации прошлого, которую дали авторы дошедших до нас источников. Но чем конкретнее предмет этой интерпретации, тем больше оснований надеяться, что полученная картина будет адекватнее и содержательнее. А это – залог ее поучительности для сегодняшнего читателя.

Именно такое осмысление исторических свидетельств о мире чувств и частной жизни человека прошлых эпох найдет читатель в ряде нижеследующих глав этой книги.

## Примечания

- 1 Это переосмысление затрагивает ныне самые основы исторического знания. В ходе острых дискуссий обсуждаются такие вопросы, как возможность существования истории во времени (I) (см.: *Нора П. и др. Франция – память.* СПб., 1999), возможность “типизировать” отдельные исторические феномены (см.: *Шукуров Р.М. Введение или Предварительные замечания о чуждости в истории // Чужое. Опыт преодоления / Под ред. Р.М. Шукурова. М., 1999. С. 13*), возможность преодолеть фрагментацию объекта истории (см.: *Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Казус – 1999 / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. М., 1999. С. 41*; см. также полемические выступления по поводу этой статьи: Там же. С. 42–75 и в сб.: *Историк в поиске / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и др. М., 1999. С. 231–290*), возможность рассматривать прошлое как интегрированную, “органическую” структуру (*Капица С.П. и др. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 23* и след.; *Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем. М., 1969. С. 37, 42, 55* и др.; *Bart F. Models of Social Organisation 1 // Process and Form in Social Life. L., 1981*). Не вдаваясь здесь в рассмотрение всех этих дискуссий (но и не игнорируя их), я ограничиваюсь ниже обсуждением наиболее актуальных для данного труда сюжетов.
- 2 См. ниже, гл. 10. “Скорбь о близких в XII–XIII веках”.
- 3 Это касается ситуаций, складывающихся, например, при наречении именем новорожденного или же при выборе брачной партии, при конфликтах между супругами или при выборе друзей, при спорах с единомышленниками или при разрыве с любимыми, при столкновениях родителей и детей или же при “выяснении отношений” со старшими родственниками и т. д.
- 4 Всеобщий характер этой проблемы отмечает, в частности, немецкий исследователь Юрген Шлюмбойм в издании, специально посвященном поискам ее решения при изучении прошлого (*Mikrogeschichte – Makrogeschichte, complementär oder incommensurabel? Göttingen, 1998. S. 9–10*).
- 5 С критикой этой позиции выступали в последнее время историки самых разных стран (см. обзор суждений: *Бессмертный Ю.Л. Что за “Казус”?.. // Казус – 1996. М., 1997*).
- 6 К. Гинзбург убедительно показал исключительную познавательную важность отдельной детали, отдельного признака (l'indice) для рационального – или интуитивного – понимания исследуемого в истории предмета (*Ginzburg C. Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice // Le Débat. 1980. № 5. P. 3–44*).
- 7 *Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 20–25.*
- 8 В той или иной степени это касается не только социальных объектов: синергетический способ обработки информации предполагает особую эффективность тех ее

- массивов, которые, будучи уникальными, передают в ней главное (*Катица С.П. и др. Указ. соч. С. 34*).
- 9 См. подробнее: *Бессмертный Ю.Л.* Проблема интеграции микро- и макроподходов // *Историк в поиске*. М., 1999. С. 296.
- 10 См.: *Историк в поиске*. С. 10-142.
- 11 *Берталанфи Л. фон*. Указ. соч. С. 74: "... человеческому поведению существенно не хватает рациональности"; автор этой работы – один из признанных классиков системного анализа – специально анализирует здесь своеобразие общественных структур и особенности их функционирования и приходит к выводу о необходимости признать их принципиальную, конститутивную специфику по сравнению со всеми известными структурами и системами. См. также: *Катица С.П. и др. Указ. соч. С. 9 и след.*
- 12 *Rosental P.-A.* Construire le "macro" par le "micro" // *Jeux d'Ochelles. La micro-analyse à l'expérience*. P., 1996. P. 145; французский историк формулирует эти выводы, опираясь на социологические построения известного норвежского ученого Фредерика Барта (*Bart F.* Op. cit. P. 34-35).
- 13 *Zeldin Th.* Social History and Total History // *Journal of History*. 1976. Vol. 10. P. 245; эта статья – опыт своеобразной саморефлексии автора по поводу его книги: *France, 1848-1945. Vol. 1. Ambition, Love and Politics; Vol. 11. Intellect, Taste and Anxiety*. Oxford, 1973. В журнале "Thesis" (1993. № 1) был опубликован русский перевод этой статьи.
- 14 *Берталанфи Л. фон*. Указ. соч. С. 65.
- 15 См. обсуждение этой идеи: *Шартве Р.* Одна четверть свободы, три четверти детерминизма // *Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки*. М., 1993. С. 42-43.
- 16 Точка перелома в синергетической концепции развития.
- 17 В самое последнее время специалисты в разных областях констатируют необходимость пересмотреть представления о системности вообще. Подчеркивается, что большая или меньшая хаотичность свойственна всем явлениям природы и общества, что даже в строго детерминированных системах имеются элементы "хаоса", что «мы в принципе не можем дать "долгосрочный прогноз" поведения огромного числа даже сравнительно простых механических, физических, химических и экологических систем. Можно предположить, что предсказуемое на малых и не предсказуемое на больших временах поведение характерно для многих объектов, которые изучают экономика, психология и социология» (*Катица С.П. и др. Указ. соч. С. 23 и след.*).
- 18 *Гуревич А.Я.* Уроки Люсьена Февра // *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 535.
- 19 Соответственно, микроисторию можно было бы считать одним из ракурсов исторического познания, отличающимся: специальным вниманием к индивидуальным чертам исследуемых феноменов; нацеленностью на осмысление уникального в помыслах и поведении исторических персонажей; акцентом на изучение явлений, выпадающих ("выламывающихся") из доминирующей социальной системы и способных содержать разные потенции исторического развития. Микроистория сочетается с макроисторией по "принципу дополнителности", что, в частности, предполагает и их нераздельность, и их неслиянность.
- 20 Такого рода сочетание исследовательских подходов внешне напоминает сочетание некоторых форм получения информации в квантовой механике, открытое в 1927 г. физиком Нильсом Бором и названное им "принципом дополнителности". Идея применения "своего рода дополнителности" к исследовательским методам в истории уже была в другой связи высказана М.М. Бахтиным и Л.М. Баткиным (*Бахтин М.М.* К методологии гуманитарных наук // *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 270 и след.; *Баткин Л.М.* Два способа изучать культуру // *Пристрастия*. М., 1994. С. 44-48). Используя эту идею, я условно говорю о "до-

---

полнители» микро- и макроистории, имея в виду лишь то своеобразие их соотношения, которое предполагает одновременно и их нераздельность, и их неслиянность.

*Семейные заботы, радости и печали*





## Глава 3

### Алессандра Строщи и ее семья (Флоренция, XV век)

Во Флоренции – главном центре итальянского Ренессанса в XIV–XV вв. – питательная почва, на которой расцвела ее культура, была создана деятельностью купцов, предпринимателей, банкиров<sup>1</sup>. Ценнейшими источниками, освещающими менталитет и характер семейной жизни этих “деловых людей”, являются их памятные записки. Они были рассчитаны на узкий круг сыновей и других потомков; лишь изредка их авторы (к примеру, купец Паоло ди Чертальдо в своей “Книге о добрых обычаях”) обращались к широкой массе читателей. Запискам была свойственна четко выраженная морализаторская тенденция: научить преемников, опираясь на собственный опыт и опыт своих родственников – покойных и живых, чему надо следовать в жизни и чего избегать, как наилучшим образом устроить свою жизнь и жизнь семьи<sup>2</sup>. Детальнее характеризуют многообразные связи в рамках семейного круга и с другими людьми (чаще – входящими в орбиту их регулярных взаимоотношений) личные письма. В них не только упоминается множество мелочей, из которых состоит повседневность, но и раскрываются устремления, пристрастия, суждения их авторов. Такого рода посланий флорентийцев XV столетия сохранилось мало. В этом скудном эпистолярном наследии особый интерес представляют письма вдовы Алессандры Строщи (ок. 1404–1471) своим сыновьям<sup>3</sup>. Между тем этот комплекс писем до сих пор не являлся объектом специального исследования.

Алессандра Мачинги вышла в 1422 г. замуж за Маттео, принадлежавшего к известному патрицианскому роду Строщи<sup>4</sup>. Козимо

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)

Медичи, ставший в 1434 г. единовластным правителем (синьором) Флоренции, изгнал его (на пять лет) наряду с другими своими противниками. Маттео был вынужден поселиться в Пезаро, за пределами Тосканы. Примерно год спустя он умер от чумы, и молодая вдова с детьми – двумя мальчиками и двумя девочками – вернулась во Флоренцию. Здесь, уже после гибели мужа, она родила еще одного сына – Маттео. Вскоре Алессандре пришлось расстаться со старшим, а затем со средним сыном: подростками они были отправлены под опеку двоюродных братьев отца, владевших процветающими банками в Неаполе и других городах Европы.

Осторожные Медичи долго противились их возвращению на родину. Примерно 20 лет Алессандра жила в разлуке с ними. Сохранилось 72 письма, отправленных ею за это время (последние три письма были посланы уже после их возвращения, во время поездок старшего сына по делам). Это поразительные человеческие документы, предельно искренние, так как она, не заботясь о стиле (она пишет на флорентийском народном языке – вольгаре), делится с самыми близкими людьми своими сокровенными чувствами, помыслами, взглядами. Впрочем, иногда она намеренно форсирует свои чувства, чтобы побудить сыновей к желательным решениям и действиям. Таким образом, нам представляется редкий случай проникнуть во внутренний мир женщины XV столетия. Наши возможности расширяют опубликованные Чезаре Гуасти в приложениях фрагменты писем, преимущественно сыновей и мужа старшей дочери – Марко Паренти<sup>5</sup>. Данная глава представляет собой опыт реконструкции эмоционального и духовного мира, представлений и поведения Алессандры Строцци.

Алессандра живет посланиями сыновей. Старший – Филиппо – обменивается с ней письмами несколько раз в месяц. “Сделайте так, – пишет она ему и среднему сыну – Лоренцо, – чтобы, если я не могу иметь утешения, находясь с вами, я получала хотя бы пару строчек о том, что вы здоровы и у вас все хорошо...” (с. 419); “Когда я читаю ваши [письма], я не могу от любви удержать слезы” (с. 454), – таков лейтмотив ее писем. Она мечтает встретиться с ними – пока это невозможно сделать в родном городе – где-либо еще. Так, Алессандра едет в Рим, чтобы повидаться с Филиппо, а позднее, в 1465 г., встречается с Лоренцо, которому разрешили провести короткое время у стен Флоренции, не въезжая в город. “Подобно тому, как я чувствовала себя живой, когда он был здесь, так я безжизненна и мертва, когда он уехал,” – сообщает она старшему сыну (с. 387).

Но самое большое горе Алессандра испытала в 1459 г., и оно было связано с младшим сыном – Маттео, которого она особенно горячо любила. Она старалась дать ему хорошее начальное образование дома и некоторое время – в городской школе. Когда Маттео исполнилось 13 лет, он, по мнению старшего брата Филиппо, чье слово и

изгнании было решающим, достиг возраста, когда следовало покинуть дом, чтобы дядя Никколо и сам Филиппо (живший с дядей в Неаполе) смогли сотворить из него "что-либо дельное". В письме к Филиппо Алессандра горько упрекает его: он не считается с тем, что Маттео – ее утешение, но принимает во внимание свою выгоду, "как ты это делал всегда и как будешь делать до самого конца". Она вспоминает, как в молодости одна воспитывала пятерых малолетних детей и вырастила Маттео, "веря, что ничто, кроме смерти, не разлучит его со мной, тем более, имея из трех сыновей двух на чужбине" (с. 45-46, июль 1449 г.). Алессандра старается оттянуть срок отъезда, так как свирепствует чума, а он – "юноша хрупкого сложения". Однако полгода спустя ей пришлось отпустить Маттео. "Я сейчас так скорблю, удалив от себя этого последнего, ибо не знаю, как буду жить без него" (с. 60–61). И в следующих письмах она говорит о своей печали. Зная жесткий характер Филиппо, она не без основания беспокоится о том, не обращается ли он с Маттео грубо: "Не осыпай его тумаками, веди себя с ним сдержанно, так как ему свойственны, на мой взгляд, добрые чувства..." Мягко порицая его в случае надобности, "ты добьешься большего успеха, чем с помощью тумаков" (с. 86). Позднее она вновь просит Филиппо быть ласковым с Маттео, "который не умеет позаботиться о себе" (с. 117–118).

Летом 1459 г. в 23-летнем возрасте Маттео заболевает лихорадкой и умирает. Узнав об этой "жестокой и суровой смерти", Алессандра "испытала в сердце своем такую боль, какой... никогда не испытывала" (с. 178). "Когда заболел Маттео, ты [Филиппо] должен был мне сказать, – сокрушается она. – Я бы вскочила на коня и через несколько дней прибыла туда..." (с. 181). Она ищет утешения, во-первых, в том, что ее любимый сын находился с братом. "Я уверена, что было сделано все – с врачами и лекарствами и с тем, что было возможно сделать для его выздоровления". Во-вторых – он исповедался, причастился и соборовался. Алессандра усматривает в этом знак, что "Господь приутожил ему хорошее место" (с. 178–179).

Итак, были применены все средства для спасения не только души, но и тела; пассивный фатализм уже задолго до этого времени уступил место деятельной заботе о лечении больного. Она стремится внушить себе христианское смирение: "Бог мог бы поступить со мною хуже... По своему милосердию он сохранил мне двух сыновей, ничем другим не уязвив". Но тут же у нее вырывается жалоба: "И Богу не было довольно, что я столько пережила". Она просит уцелевших сыновей утешить ее печаль и беречь здоровье.

"Мне дороже твоя особа (persona), – обращается она к Филиппо, – чем имущество, которое, как ты видишь, каждый [после смерти] оставляет здесь". И Алессандра высказывает свое главное желание: "Мне бы хотелось, чтобы со временем мы соединились и я бы



видела и касалась своего живого милого сыночка и утешилась, и принесла утешение ему [Лоренцо] и тебе" (с. 179–180).

Письма родных, выражавших соболезнование, более формализованы. Эти образованные люди прибегали к клише, привычным в письмах такого рода: речь идет о слезах, которые льют мужчины, и т. п. (два письма Франческо Строцци, с. 184–186 и др.). Впрочем, смерть Маттео искренне огорчила его близких, а мужчины плакали тогда не реже женщин – слезы имели знаковое значение.

Филиппо обладал твердым, даже жестким характером. Возможно, отчасти это объясняется тем, что, по словам Марко, он, "может быть, никогда не был ребенком" (с. 51). Его сформировали трудные обстоятельства его раннего детства; в результате он стал волевым, целеустремленным, благоразумным, бережливым и даже прижимистым. Благодаря своему усердию он быстро занял видное место в неаполитанском банке дяди Никколо, и последний во время своей поездки в Барселону и Флоренцию (1449 г.) смог спокойно предоставить ему возможность временно возглавить банк. Несмотря на то что, по мнению матери, он более думал о собственной выгоде (в чем она была права), Филиппо был несомненно привязан к ней. Так, во время очередной эпидемии чумы, в августе 1450 г., когда Маттео еще жил у матери, Филиппо писал брату, чтобы она "не жалела денег на расходы", и предлагал послать ей нужную сумму для переезда из зараженной Флоренции "туда, где хороший воздух" (с. 91). Позднее он обращается к Лоренцо, призывая его "письмами и поступками как можно более угождать нашей матери", – как поступает и он сам (с. 211).

Непросто складывались в первые годы разлуки отношения Алессандры с Лоренцо. В молодости Лоренцо, помогавший в Брюгге другому дяде – Якопо, причинял Алессандре серьезные огорчения. В 1452 г. она обрушивается на 20-летнего сына с резкими упреками: "Перестань причинять вред и позорить себя и нас..." (с. 128). О чем идет речь, лишь частично выясняется в следующем году: он увлекается азартными играми (в том числе игрой в мяч на деньги). И "если он выигрывал, он растрчивал деньги, если проигрывал, начинал, чтобы возместить [проигрыш], заниматься дурными делами" (с. 233, письмо Якопо к Филиппо). Мы не знаем, в чем заключались предосудительные поступки Лоренцо. Лишь сломав во время игры руку, он принял это за знамение свыше и переменял образ жизни (с. 234).

Алессандру все сильнее охватывает надежда на то, что братья поселятся вместе, а затем и с нею. "Я жажду всем сердцем и душой всегда жить там, где находитесь вы, – пишет она старшему сыну. – И единственно, чего я боюсь, – умереть раньше, чем я увижу вас обоих" (с. 199–200). "Мне кажется, что ваше благо и польза – жить рядом друг с другом", – настойчиво повторяет она позднее (с. 225. См. так-

же с. 230). Об этом пишет брату и Филиппо (с. 212). Но в то же время она предупреждает Лоренцо: "Следует подумать более семи раз, прежде чем ты примешь решение" (с. 218). Причина ее сомнений находит объяснение в другом письме: "... зная твой и его характер, я не представляю себе, как вы будете улаживать ваши дела" (с. 208). В следующем, 1460 г. она вновь пишет, что когда они будут вместе, она может быть, решит "прийти, чтобы жить и умереть" с ними (с. 230).

Переезд Лоренцо затянулся из-за смерти Якопо и последовавших за ней споров о его наследстве (см. ниже). Наконец, в 1464 г. Лоренцо переселился в Неаполь, к брату. Алессандра пишет: "Я рада, что вы с Лоренцо находитесь вместе; для меня нет большего утешения, чем знать, что вы любите друг друга и помогаете один другому" (с. 361–362). Правда, их отношения между собой и с матерью были не всегда безоблачны. "Ты не причиняешь мне неприятностей, как он [Лоренцо], – обращается она к Филиппо, – и поэтому ты сердись меня, говоря, что он – тот, кого я люблю больше" (с. 378). В самом деле, Филиппо по-прежнему ближе ей остальным детям.

\*\*\*

Перед Алессандрой с 1450 г. встает еще одна цель, которая позднее становится чуть ли не главным смыслом ее жизни – женить сыновей, и прежде всего Филиппо. Она пишет ему: "Я хотела бы дать тебе жену, которая... умела бы вести дом и принесла мне радость" (с. 100; ср. с. 155). Постепенно Алессандра все больше увлекается этой мыслью, тем более что брак с флорентийкой (когда сложатся благоприятные обстоятельства) усилит тягу к возвращению на родину. Вскоре она называет в качестве возможного жениха и Лоренцо.

Поглощенность мыслью о женитьбе сыновей объясняется и ее представлением о роли брака в жизни человека: от женитьбы воследуют "польза и честь" сыновьям, а также "большая радость" для самой Алессандры (с. 332, 393). Но о главном она пишет в 1466 г.: это "...надежда, которую я питаю, что вы оба возьмете жену и, как следствие, появятся сыновья". Речь идет не только о биологическом продолжении рода; благодаря женитьбе "тем (имууществом. – М. А.), что вы трудами и стараниями приобрели за долгое время, смогут воспользоваться ваши сыновья" (с. 547–548), – мысль, столь близкая сердцу Алессандры (как и всем купцам).

Алессандра и привлеченный ею в помощники зять – Марко Паренти, которому она всецело доверяет, стремятся "найти получше... Это не такое дело, чтобы брать первую попавшуюся" (с. 288). Заочные поиски нелегки, тем более что Алессандра ищет жену для изгнанников, будущее которых неясно. Письма содержат краткие характеристики различных возможных невест. Одна из них, по слухам, "красива и благовоспитанна" (с. 345), другая, как ей сказали, "неотесана и грубовата" (с. 380, 395) и т. д. Первой девушкой, реально рас-

смастриваемой в качестве невесты, становится 17-летняя дочь Франческо Танальи.

Заметим, что ни здесь, ни в других случаях имена девушек не упоминаются: "Эта из Танальи", "Эта из Адимари" и т. п. (или же – "дочь такого-то"). Подобное выражение, по-видимому, отражает пренебрежительное отношение к молодым девушкам: в представлении Алессандры они по-прежнему – в соответствии со шкалой приоритетов средневекового мира – занимают в общественной структуре последнее место.

Причины того, что Франческо охотно дал бы согласие на брак, очевидны: "Они бы хотели выдать ее [замуж], так как имеют тринадцать детей и желали бы избавиться от какой-нибудь" (с. 313; о том же – с. 395). Эти рассуждения Алессандры отнюдь не следует расценивать как циничные: они естественны для образа жизни и менталитета людей XV в. и встречаются в текстах неоднократно.

Марко, который был "большим другом" Франческо, встретился с ним летом 1465 г., и тот пригласил его к себе домой, посмотреть на девушку. Из писем Алессандры и Марко мы черпаем следующие сведения о невесте. По словам Алессандры, она "обладает всеми качествами (т. е. добродетелью и пр. – М. А.) и благородными манерами, высокая, хорошо сложена" (с. 395). Отзыв Марко более осторожен и эвфемистичен: "В ее виде нет ничего непривлекательного или безобразного" (с. 444–445). "Обещаю тебе, – продолжает он убеждать Филиппо, – что она может сравняться с мадонной Ипполитой<sup>6</sup> или быть еще лучше [ее]. Если ты имеешь жену, подобную той, какую имеет королевский сын, разве тебе этого недостаточно?" (с. 450). Алессандра хвалит также девушку за то, что она умело ведет домашнее хозяйство: "...Там шесть детей мужского и шесть женского пола и... она заправляет всем, так как мать всегда беременна и от нее мало толку" (с. 445). Отец хорошо воспитал ее. К тому же Алессандра узнала, что девушка отличается сообразительностью, умеет читать, таяцевать и петь. Алессандра отправляется к заутрене, чтобы взглянуть на вторую из наиболее подходящих невест – одну из двух сестер Адимари. Не найдя ее, Алессандра случайно заметила незнакомую девушку и принялась рассматривать ее в темноватой церкви. Затем, выйдя вслед за ней, она догадалась, что видит "ту из Танальи". Заметив пристальное внимание следовавшей за ней Алессандры, смущенная девушка "помчалась как ветер" (с. 464). На этом бурная деятельность Алессандры не прекратилась. Она "ходила там (у дома Танальи. – М. А.) много раз и посылала туда других". И ни разу никто не видел, чтобы девушка праздно стояла у окна, "что мне кажется добрым признаком", – заключает она (с. 471).

Для повседневной практики, как и для ценностной шкалы деловых людей, весьма характерно то значение, которое Алессандра и Марко придают родне (parentado) невесты. Франческо Танальи – из

древнего рода, "а эта ветвь даже происходит от рыцарей (cavalieri)", – почтительно пишет худородный Марко. Отец девушки – достойный человек, красноречивый, хороший собеседник, имеет прекрасную осанку (в другом месте Марко говорит – "обладает благороднейшей душой", с. 456). Он занимает определенное место в государстве. Но не менее важно, с точки зрения Марко, а значит и братьев Строцци, также то обстоятельство, что Франческо "имеет достаточное число родичей". И Марко детально перечисляет, за кем замужем сестра Франческо, сестра его жены, на ком женат брат Франческо Танальи. Как эти, так и другие родственники – "люди почтенные и добрые" (вспомним и о 12 братьях и сестрах самой невесты). Но далее Марко неожиданно замечает: "И там, в этом мёде, имеется немного мух, так как вместе с добром могут быть и неприятности" (с. 449).

Для того чтобы конкретнее выяснить, что именно Марко мог иметь в виду, обратимся к письмам, описывающим одну из сестер (очевидно, младшую) Адимари. Алессандра слышала, что у нее красивая внешность и хорошая фигура (с. 467). Ей все же хочется самой разглядеть девушку, и она изыскивает еще один способ, как это сделать. "Вчера, – пишет она в конце 1465 г., – я вошла в дом Паголо, что стоит напротив дома Адимари, и видела ее. Она красивая, и мне очень нравится" (с. 530; см. также с. 539–540).

Что же касается родственников, то Марко замечает: "Адимари благороднее, чем Танальи, но не имеют никакой родни: ни отца, ни братьев, лишь дядя и двоюродные братья, но они грубые". Хорошо это или плохо? Марко поясняет: "Однако этот недостаток является также удобством, так как не будет никакого беспокойства и никаких обязанностей" (с. 449).

Итак, наличие у Танальи широкого круга родственников, с одной стороны, является преимуществом. Однако, с другой стороны, это накладывает также обязательства, ибо помощь – любого свойства – может потребоваться, в свою очередь, и от Строцци; да и нельзя исключать возможность в дальнейшем конфликтов и тяжб между кланами мужа и жены. Следовательно, родня воспринимается противоречиво. Подобным же образом отсутствие близких родственников у Адимари, по мнению Марко, и недостаток, и достоинство. Кстати, то обстоятельство, что сам Марко был у родителей единственным сыном, а следовательно наследником, Алессандра расценивала как достоинство.

\*\*\*

Точно так же неоднозначна оценка третьего из решающих факторов при выборе будущей жены – размеров приданого. Танальи, которые не были особенно состоятельными людьми, собирались (по слухам, дошедшим до Алессандры) дать в приданое 1000 золотых флоринов. "Это – приданое ремесленников", – замечает она<sup>7</sup> (с. 395).

Но сам Филиппо стал к этому времени (середина 60-х годов) богатым человеком. Поэтому для Алессандры, горячо желавшей этого брака, вопрос об объеме приданого отступает на второй план, о чем она неизменно пишет: "Нельзя расстраивать дело из-за денег, как ты сам много раз говорил мне" (с. 444), "Не надо глядеть на деньги, ибо, ежели глядеть на это, можно не добиться результата" (с. 580). Марко же пребывает в нерешительности: "Мы сомневаемся, не испортит ли дела малое [приданое]". Однако он колеблется и в отношении крупного – у Адимари (за ней давали 1500 флоринов): "Не явится ли помехой большое приданое". Возможно, Марко опасался, что значительная сумма привлечет к девушке внимание более выгодных женихов из самой Флоренции. В целом же, как по-купечески выражается Марко Паренти, "обе в одинаковой цене", и Филиппо предстоит лишь решить, какую из невест он предпочтет (с. 449).

Взросшая с 1464 г. активность Алессандры в поисках невесты объясняется следующим обстоятельством: 1 августа этого года умер первый из "династии" Медичи – Козимо, и у Алессандры пробудилась надежда, что его преемник Пьеро разрешит ее сыновьям переезд во Флоренцию.

Бодрое настроение временами вновь сменяется у Алессандры унынием, потому что «теперь люди очень ненадежные... Я как больной, слушающий утешения врача, который говорит: "Ты не погибнешь от этой болезни, но через несколько дней выздоровеешь". И больного, хотя он чувствует себя плохо, эти слова утешают и дают надежду исцелиться. И иногда это удается, а иногда – нет» (с. 406).

Между тем Филиппо продолжает медлить с окончательным решением жениться, хотя мать всячески торопит его: "Мне кажется, что потеряно много времени... Кто не работает, когда к этому понуждает время, не собирает хорошего урожая" (с. 534, 28 декабря 1465 г.). Марко все же продолжает переговоры с Танальи, и Алессандра пишет: "Хотя у нас стоят холода, [Марко] не охладел к вашим делам" (с. 544). К этому времени определился следующий "расклад": "Надеюсь сначала найти тебя [Филиппо] одну из двух. Если удастся договориться относительно той из Танальи, то вторая [Адимари] будет для него [Лоренцо]" (с. 549). Следовательно, для Алессандры важно, чтобы обе невесты породнились со Строцци, а какая из них достанется Филиппо и какая – Лоренцо, представляется ей не столь уж существенным. Впрочем, к нерешительности Лоренцо, который, по ее словам, "охотно оставался бы еще два года без жены" (с. 548; см. также с. 549), Алессандра относится спокойно – ей прежде всего хочется женить Филиппо, и лишает ее сна по ночам то обстоятельство, что Танальи не дает окончательного ответа.

Не улучшает настроения как двусмысленная позиция, занятая на первых порах Пьеро Медичи в отношении изгнанников, так и общая политическая ситуация во Флоренции (см. ниже).

Временами она теряет надежду увидеть сыновей: "Я пишу больше для того, чтобы иметь утешение от ваших писем, нежели по нужде" (с. 547). Но ей столь же свойственно впадать, подчас без достаточных оснований, и в другую крайность. Так, еще в сентябре 1465 г. не дождавшись окончания длительных и трудных переговоров относительно дочери Танальи, она внезапно исполняется уверенностью, что брак все же состоится: "...верю, что вместе вы обретете радость", и приступает к хлопотам по обзаведению хозяйством для молодоженов. готовит белье, предупреждает сына, что невесте понадобятся драгоценности и пр. (с. 472–473). Однако не успевает она дописать письмо, как выясняется, что Франческо Танальи переменил свое намерение. Она объясняет это медлительностью Филиппо и посредника – Марко. "Очень я горюю, что... она ускользнула из рук", – с горечью кончает Алессандра (с. 476; см. также с. 528). Вскоре она узнает и другую дурную новость: "Марко казалось, что он держит в руках эту из Адимари... а она вышла замуж... Может быть, мне не суждено было получить в жизни эту радость – красивую девушку в невестки" (с. 494–495).

Братья по-прежнему колеблются, и Алессандра упрекает их: "...если бы все остальные мужчины страшились, подобно вам, женитьбы, мир бы уже вымер... Вы должны убедиться, что не столь черен черт, как его малюют..." (с. 511). Она все так же упорно "прилагает все старания", а об участии в хлопотах Марко пишет старшему сыну: "...ты имеешь хорошего прокуратора для своих дел, ибо Марко всей душой заботится о твоей чести и пользе" (с. 549, 555). Они находят и новых невест. Так, заходит речь о племяннице Луки Питти. Описав ее внешность, Алессандра продолжает: "Думаю, она тебе [Филиппо] не подойдет", прибегая к характерному аргументу: "От отца не будет много помощи, так как его считают мало склонным к услугам; занимая государственные должности, он был нечестным и имел плохую репутацию у тех, кто желает блага Коммуне" (с. 578–579). Впервые в критерии при выборе будущей жены входят не только качества ее отца, полезные Строцци, но и его репутация в глазах общества.

\*\*\*

После этого послания, датированного 15 февраля 1466 г., в переписке наступает перерыв в несколько лет, который объясняется очень важными переменами в судьбе братьев Строцци: после подавления заговора против Пьеро правительство издает 20 сентября 1466 г. распоряжение о том, что некоторым изгнанникам, "видя их терпение и покорность и хорошее поведение", разрешается вернуться на родину. В их списке – Филиппо и Лоренцо (с. 581–582). После их возвращения старший сын Алессандры, оставивший свой банк в Неаполе, периодически бывал там, а мать ему писала. Из сохранившихся еще трех ее писем мы узнаем не только о дальнейшей судьбе семьи, но и о взаимоотношениях между ее членами.

Сразу же после того как Филиппо поселился во Флоренции в конце 1466 г., он женился на Фьяметте Адимари. Мы не в состоянии определить, старшая ли это или младшая из сестер, так как ее имя теперь впервые появляется в письмах Алессандры. Ко времени первого из этих писем (март 1468 г.) Фьяметта не только родила первенца – Альфонсо, но он уже успел встать на ноги – “еще неуверенно, но скоро будет ходить твердо”, – пишет Алессандра. “Он очень хорош собою”, – добавляет она (с. 585). Впервые за долгие годы она спокойна и счастлива. Алессандра страстно любит ребенка (в котором она к тому же видит продолжателя рода Строцци). По своей склонности к преувеличению она явно переоценивает способности мальчика: “Не удивляйся, что, поскольку Альфонсо очень разумен, я начала его учить читать”. В качестве доказательства его понятливости она приводит сказанные им бабушке слова: “баббо в Напи”, т. е. “папа в Неаполе”. Правда, она замечает: “Знаю, что, когда ты прочтешь это мое письмо, ты скажешь, что я глупая... Он – моя радость и утешение” (с. 587). В мае 1469 г. Алессандра вновь пишет о связанных с Альфонсо хлопотах, доставляющих ей удовольствие. “Он всегда около меня, как цыпленок около наседки” (с. 592). Выясняется, что Фьяметта уже родила к этому времени второго ребенка – красивую, похожую на мать девочку, которую назвали Лукрецией.

К сожалению, письма Филиппо к жене не уцелели; сохранилось лишь одно письмо самой Фьяметты (29 июля 1469 г.), не очень грамотное, наивное и непосредственное. Судя по скудным сведениям, Фьяметта была именно такой женой, какую мог пожелать себе Филиппо: красивой, скромной, простодушной, преданной мужу. Несмотря на свой суровый характер, он был, по-видимому, привязан к ней. Первые годы после женитьбы Филиппо значительную часть времени проводил в Неаполе, но часто писал ей (с 6 по 29 июля она получила от него два письма). “Дражайший и любимейший мой господин (maggior mio)!” – обращается Фьяметта к мужу. Она несомненно скучает по Филиппо: “Если вы хотите, чтобы я выздоровела, – пишет она (у Фьяметты была лихорадка. – М. А.), – вы должны написать, когда вернетесь, и чтобы не было обмана, как бывало раньше”. В ее шутке содержится мягкий упрек. Фьяметта описывает длившуюся несколько дней свадьбу дочери богатого родича Строцци, на которой она дважды присутствовала, так как “я была приглашена, и монашья Алессандра отпустила меня туда”. Сообщая о здоровье детей, она добавляет, что хочет, когда Альфонсо отнимут от груди (в доме была кормилица), получить маленькую рабыню, которая всегда ходила бы за ним, поскольку мальчик – большой непоседа. Фьяметта спрашивает у мужа, нет ли у него каких-либо пожеланий, которые она охотно бы выполнила. Обычное письмо преданной жены (с. 598–599).

Алессандра была властной свекровью, но вместе с тем она привязалась к Фьяметте. Всеми семейными делами, разумеется, по-прежнему ведал Филиппо. "Будет так, как ты говоришь", – пишет ему Алессандра (с. 586). Это касалось, конечно, и денег: согласие Филиппо требовалось и на сравнительно мелкие расходы. Так, в одном из писем Алессандра передает сыну просьбу Фьяметты позволить ей сшить себе черный шелковый плащ (с. 593).

В качестве главы семьи Филиппо решает даже жизненно важные вопросы, касающиеся младшего брата. После возвращения во Флоренцию Лоренцо хотел жениться на своей отдаленной родственнице – красавице Мариетте. Судьба этой девушки сложилась неудачно: родители умерли, а дядя Джанфранческо, к которому она переехала жить, получил печальную известность из-за своего банкротства, от которого пострадали многие жители города. Выбор Лоренцо встретил решительные возражения со стороны Филиппо. В письме от 27 февраля 1469 г. из Неаполя к брату он приводит следующие резоны. Во-первых, родственная связь Мариетты нанесет ущерб клану (все Строцци восприняли банкротство ее дяди как позор для рода). Во-вторых, заявляет Филиппо, Мариетта "уже не столь молода (по меркам того времени! – М. А.) и не имеет отца и матери; поэтому, будучи красивой, не было бы удивительным, если бы имелось какое-либо пятно [на ее репутации]". Возможно, он имел в виду слухи, которые мимоходом пересказывала ему ранее мать (письмо начала 1466 г.), будто бы Мариетта сблизилась с сыном Бенедетто Строцци. "Не знаю, так ли [обстоит дело]", – добавила она (с. 551–552). В дальнейшем Алессандра к этому не возвращается: слухи, очевидно, оказались вымыслом. Тем не менее Филиппо заявляет: "Нам нужны незапятнанные родственники" (с. 595).

Лоренцо не осмелился противоречить своему старшему брату. Однако направленное к Филиппо письмо свидетельствует о серьезном чувстве, которое он питал к Мариетте: "...если ты не захочешь ее принять, ее не будет, [но] знай наверняка, что другую я никогда не захочу иметь" (с. 595). Впрочем, летом следующего года он все же женился – на Антонии Барончелли. Это решение могло быть продиктовано практическими соображениями: посредником в браке был неаполитанский король Фердинандо; кроме того, жена принесла большое приданое (1400 флоринов). В том же 1470 г. Лоренцо навсегда переселился в Неаполь, заменив там своего брата (с. 597–598). Девять лет спустя он умер, оставив сына и дочь.

Коротко о дальнейшей судьбе Филиппо и его собственной семьи. Фьяметта умерла молодой – в 1476 г. Филиппо женился вторично – на Сельвадже де'Джанфильяцци (Гуасти, с. XXXVIII). Его нестибаемая воля, целеустремленность, конформное поведение способствовали тому, что он, основав дополнительно банки во Флоренции и Риме, стал одним из богатейших людей государства.



\*\*\*

Рассмотрим характер отношения Алессандры к ее двум дочерям и к их мужьям, а также к семейной жизни дочерей.

Первое из сохранившихся писем Алессандры к Филиппо, датированное 24 августа 1447 г., посвящено главным образом предстоящему браку ее старшей дочери Катерины и Марко Паренти. Марко был владельцем боттеги по изготовлению и продаже шелка. По словам Алессандры, он "является достойным человеком и добропорядочным юношей; он – единственный сын, богатый, и ему двадцать пять лет" (с. 3).

Род Строцци принадлежал к древним кланам (хотя на время утратившим свое влияние и богатство), и, по мнению матери, Катерина могла бы стать женой человека, равного ей по статусу. Однако при принятии Алессандрой решения перевесили два соображения, о которых она откровенно, по своему обыкновению, сообщает сыну: "Эту партию я считаю наилучшей, так как ей шестнадцать лет и она не может более откладывать брак<sup>8</sup>. Она могла бы оказаться в семье более высокого положения и более благородной, но... тогда мне и вам был бы причинен ущерб", а именно – пришлось бы отдать в качестве приданого 1400 или 1500 вместо обещанных 1000 флоринов (с. 4–5).

Таким образом, в результате женитьбы Марко Паренти поднялся выше по социальной лестнице. Он, несомненно, увлечен невестой, о которой ее мать пишет: "Она прекрасна... поистине нет во Флоренции подобной ей" (с. 6). Последнее утверждение – топос, но Катерина, конечно же, отличалась красотой.

Мать восторженно описывает роскошные платья, жемчужные ожерелья и другие драгоценности, которые Марко подарил Катерине, "так что, когда она выйдет из дома, на ней будет [наряд], который стоит более 400 флоринов". (Отметим, что богатый наряд невесты на свадьбе имел и знаковую нагрузку.) При этом жених всегда говорит ей: "Проси всего, чего захочешь". Даже "свекровь и свекр так довольны, что думают только о том, как исполнить ее желания" (с. 5–6).

В начале 1449 г. Катерина родила в их загородном доме (в Муджелло), где ее семья спасалась от чумы, первенца Пьеро (письмо Марко к Филиппо, с. 73–74). Полтора года спустя Алессандра пишет сыну: "Катерина и мальчик чувствуют себя хорошо. И Марко, и Паренте (его отец. – М. А.) обращаются с ней наилучшим образом, и она ни в чем не испытывает недостатка, за исключением того, что имеет плохую свекровь". Итак, ее мнение о свекрови дочери кардинально изменилось. "Но нам достаточно того, что с ней все обстоит благополучно", – заключает она (с. 89).

Когда Марко узнает о смерти брата Катерины Маттео, он старается облегчить удар, который нанесет жене это известие, сначала сказав ей (как и Алессандре) о его тяжелой болезни, "...с тем, чтобы она несколько меньше оплакивала его смерть, оплакав ранее эту се-

рзную болезнь, в которую она поверила". Это свидетельствует о душевной чуткости Марко. Но в этот момент Катерина получила от Филиппо известие о смерти брата, которое "вновь усилило ее горе и вызвало столько слез..." И Марко обдумывает, с помощью каких средств можно утешить Катерину, "которую не покидает жестокая скорбь", и прибывшую на их виллу Алессандру (с. 188–189).

Супруги имели девять детей, из которых пятеро умерли<sup>9</sup>. Впрочем, смерть значительной доли детей была в то время частым явлением, и с этим большинство купцов и их жен как-то мирились. Так, Алессандра, столь сильно горя по своему любимому Маттео, ни в одном из писем не вспоминает троих детей, погибших в Пезаро еще до ее возвращения во Флоренцию (может быть, отчасти потому, что они умерли в том возрасте, когда мать еще не успела сильно привязаться к ним).

Сама Катерина скончалась в 1481 г., когда ей было пятьдесят лет. Марко пишет в своей Книге: "Семнадцатого дня мая в девятом часу вечера она ушла из этой жизни, для меня радостнейшей и счастливейшей [с нею]. Я не испытываю сомнений в том, что Бог взял ее душу к себе по причине ее доброты, достойной жизни и прекраснейшего и благороднейшего нрава" (с. 15). Здесь имеются и топосы, но, как правило, записи других купцов были значительно более сдержанными и краткими. Нельзя не признать, что супружеские отношения между Марко и Катериной на протяжении долгих 34 лет отличались близостью, необычной для полопанской семьи. Здесь, наверное, сыграли роль и особенности Марко, человека мягкого, образованного, близкого к гуманистам.

Положение младшей дочери Лессандры (т. е. Алессандры) было иным. С этой дочерью в молодости была связана, очевидно, какая-то порочащая ее тайна. В конце 1450 г. Алессандра пишет сыну, что не может расстаться с рабыней Катеруччей из-за своей "любви к Лессандре": "Но я хочу, чтобы сперва покинула дом Лессандра" (с. 104). Иными словами, дочь надобно выдать замуж, чтобы обезопасить ее от позора (скорее всего, у нее были предосудительные отношения с каким-то молодым человеком, и рабыня могла разгласить семейный секрет). Алессандра настойчиво стремится к тому, чтобы брак младшей дочери состоялся как можно скорее, хлопочет о приданом (с. 100, 102, 105, 112). Из Книги Алессандры известно, что в мае 1451 г. младшая дочь стала женой купца Джованни Бонси. Невесте было 18 лет, жениху – 46.

По письму, которое Бонси еще до женитьбы отправил к Филиппо, отчетливо видно, как он горячо желал породниться со Строцци. "С настоящего времени вы [Филиппо и Лоренцо] не должны относиться ко мне иначе, чем если бы я был вашим собственным братом; подобным же образом буду поступать и я". Что же касается монны Алессандры, то он готов в будущем во всем ей повиноваться, "считая

ее как бы собственной матерью". (При этом следует заметить, что Бонси и его теща были примерно одного возраста!)

Джованни обеспокоен большой разницей в возрасте с невестой, что может, конечно, помешать супружескому согласию, и откровенно заявляет: «Филиппо, ты слишком любезен, говоря мне "вы". Я сделаю все, что в моих силах, дабы меня более почитали, и особенно – дабы не вызвать недовольства Лессандры. Однако не давай ей чувствовать, что я *слишком стар для нее* (курсив мой. – М. А.). Так что, прошу тебя, не употребляй более [это обращение]» (с. 120–122). По флорентийскому кадастру 1469 г. у четы Бонси – пять детей: два сына и три дочери. Жили они скромно, и в 1459 г. небогатая монна Алессандра сообщает Филиппо в Неаполь и Лоренцо в Брюгге, что сдала свой дом в аренду Джованни Бонси "и уменьшила плату, так как он не имеет больших средств". Сама же Алессандра предполагает время от времени жить там с дочерью и ее семьей, чтобы менее страдать "от одиночества и печали" (с. 153, 161). Иногда она действительно проводила время с семьей Джованни, порой давала зятю мелкие поручения, которые он охотно исполнял (с. 274–275 и др.).

С 1460-х годов имущественное положение Бонси все более ухудшается. В сентябре 1464 г. он обращается к Филиппо с просьбой оказать содействие в продаже остатка сукон. "Если с твоей помощью у меня не появится какой-либо прибыли, я буду нуждаться даже в одном единственном флорине", – заканчивает он письмо (с. 328). В дальнейшем Джованни окончательно запутывается в долгах, ибо, по словам Алессандры, "имеет мало доходов и большие расходы" (с. 560, 1465 г.). У Филиппо и Лоренцо появился план помочь ему: предложить деньги на покупку боттеги, в которой Джованни торговал бы за жалованье сукнами. Филиппо просит мать разузнать о состоянии дел и долгах Бонси и дать им совет, как поступить. Три письма Алессандры позволяют нам наглядно представить себе ситуацию.

Семья Бонси состояла в это время из восьми "едоков", и "он трижды не собрал урожая из-за бури и дурной погоды". Кроме того, поскольку ему пришлось расплатиться вином и зерном с кредитором за полученные им (вероятно, для продажи) сукна, "его семье не хватило собственных съестных припасов" (характерная черта хозяйства купцов!). "У них, – продолжает Алессандра, – плохо обстоит дело с одеждой: когда Алессандре [младшей] приходится чинить их платье, они надевают плащ прямо на рубашку. Итак, думаю, что их нужда велика", – заключает она (с. 559). Но и это еще не все. В семье растут дочери. Одну из них отец уже выдал замуж, и, чтобы дать ей приданое, Джованни взял в долг у Марко 80 флоринов. На приданое другим предназначается несколько сотен деревьев; "если их срубить через пять лет, они дадут доход более чем в 200 флоринов золота". В целом, по мнению Алессандры, долги Бонси превышают 200 флоринов, "да еще твои [Филиппо] 40 флоринов и 80 – Марко" (с. 559–

560). Алессандру одолевают противоречивые чувства: желание, чтобы зять был спасен от полного банкротства, и боязнь, что ее сыновья понесут убытки. С одной стороны, Джованни “такой хороший и услужливый человек, что я не хотела бы, чтобы он претерпел ущерб или позор”, “он усердный”, “ему можно доверять, и у него добрые намерения” (с. 561, 559, 567). Кроме того, она опасается “позора” (имеется в виду честь ее семьи) (с. 560). Но, с другой стороны, она много раз повторяет: “Я бы никоим образом не хотела, чтобы между вами возникли раздоры, но не знаю, откуда бы Джованни мог взять эти деньги, чтобы вернуть вам долг” (с. 561–562). Кроме того, надо принять во внимание и его преклонный возраст (с. 558). “Теперь думай, дать ли ему или нет”, – подытоживает Алессандра (с. 567).

Итак, верх одерживает ее горячая привязанность к сыновьям. Не давая прямого ответа, Алессандра явно склоняется к мнению, что им не следует рисковать своими деньгами, хотя она прекрасно знает, что для Филиппо и Лоренцо речь идет о сумме не столь существенной, а семья Бонси – на грани полной нищеты, да и помочь им – “честь” для братьев. Между тем жена Бонси – ее собственная дочь, а подростки дети, которых она отчужденно называет “едоками”, – ее собственные внуки. Любовь к Филиппо и Лоренцо резко контрастирует с довольно равнодушным отношением к дочери и внукам. Эта история самым наглядным образом демонстрирует шкалу приоритетов Алессандры в сфере эмоциональных привязанностей, предпочтение, отдаваемое сыновьям. В этом она не отличается от своих современников.

Подобное предпочтение продемонстрировал и Марко Паренти в своем посланном позднее, в 1469 г., письме к Филиппо. Он утешает свояка, сообщая ему в Неаполь “о девочке, которую ты (sic!) родил вчера” (Фьяметта оставалась во Флоренции), следующим образом: “Я считаю, что ты, уже имея ребенка мужского пола и зная, каков он, должен не менее радоваться этой девочке, чем ежили бы она была мальчиком, ибо ты ранее сможешь извлечь из этого выгоду, чем ежили бы [ребенок] был мальчиком, а именно – приобрести хорошую родню” (с. 596). Речь идет о том, что девушку выдают замуж в более раннем возрасте (о том, какое значение имела родня при выборе жениха или невесты, говорилось выше).

К своей старшей дочери Катерине Алессандра относится все же лучше, хотя горячих чувств она не питает и к ней. Ее имя редко упоминается в письмах сыновьям. В первом из них она, описывая брак Катерины с Марко Паренти, явно гордится, как мы видели, красотой дочери. Сообщая о ее первых родах (о всех последующих в письмах не говорится), Алессандра добавляет: “Каждодневно молю Бога о милости [в отношении Катерины]”. Подчас она гостит в Муджелло “в доме Марко и Катерины” (с. 53, 189), совершает поездку с дочерью и ее мальчиком на лечебные купания. Несколько больше раскрывает

ее чувства следующий эпизод: в 1464 г. Филиппо отправил Катерине подарок – 25 связок льна. “Ты послал лен Катерине бесплатно, – выговаривает она сыну... – Мне кажется излишним дарить лен Марко, у которого имеются средства” (с. 279–280). Правда, судя по следующему письму, ее настроение изменилось: она просит сына написать Катерине “две строчки”, чтобы та знала, что лен – подарок. «Это покажет, что ты помнишь о ней... и ей не будет казаться, что она совсем лишена братской любви, и она получит от тебя немного тепла... Она сможет говорить: “мне его прислал мой брат!”» (с. 294).

Противоречивы чувства Алессандры по отношению к ее брату Дзаноби Мачинги. Впервые она упоминает о брате в конце 1448 г. в связи с тем, что во время эпидемии чумы он отвез ее в свой дом в Антелле – “здоровой и хорошей местности” (с. 56). Но вскоре между ними начинается судебная тяжба. Из текста приговора выясняется, что Дзаноби был человеком весьма легкомысленным: уклонялся от уплаты налогов и судебных штрафов. Большую часть этих долгов пришлось заплатить Алессандре. Свое же собственное имущество беспутный брат частью заложил, а частью продал “за немалую сумму” (очевидно, промотав вырученные деньги). Алессандра предъявила ему иск, в котором говорится: в течение долгого времени, когда одинокого Дзаноби “одолевала нужда”, она кормила и одевала брата “как тогда, когда он был здоров, так и тогда, когда он болел”, причем пища и одежда “приличествовали [его положению]”. Суд, определив, что она истратила “весьма большие деньги”, приговорил передать ей в качестве возмещения приданое их матери – два дома и два обустроенных земельных участка в Антелле. Впрочем, она не оставила Дзаноби в нужде. Осенью 1450 г. брат находится вместе с ней в Антелле (снова вспышка эпидемии!), а в конце того же года она сообщает из Флоренции старшему сыну: “Мой Дзаноби переехал сюда, чтобы составить мне компанию”. Его смерть в следующем году снова обострила конфликт с семьей Мачинги: другой брат Алессандры, Антонио, вновь выдвинул претензии и, жалуетса она, “сильно угрожает разорить меня”, захватив участки. Она полагает, что дело опять дойдет до суда, причем на его стороне – сила, а на ее – законные доводы. Она действует в полном соответствии со своим твердым характером: “Я буду защищаться, сколь это возможно” (с. 125–126).

Итак, чувства, связывавшие детей одного отца, были весьма далеки от идиллии, особенно когда речь шла о запутанных имущественных делах. Небогатая и расчетливая Алессандра дважды подолгу содержит неудачливого брата, но изыскивает возможность компенсировать свои затраты. Позднее, в 1454 г., когда она продала спорное имущество за 850 флоринов, Антонио и их родственник Никколо Содерини в последний раз попытались опротестовать приговор, но безуспешно: суд Синьории подтвердил его “двадцатью двумя белыми бобами против одиннадцати черных” (с. 62–64).

Неоднозначно восприятие Алессандрой членов клана Строцци. Когда речь идет о смерти кого-либо из этого рода, она обычно отзывается следующими стереотипными выражениями: "Эта смерть (в данном случае Филиппо, двоюродного брата ее мужа. – М. А.) причиняет мне большое горе, принимая во внимание ущерб, который она наносит прежде всего вам, а также всему дому (casa), ибо добродетель его была такова, что побуждала всех [членов рода] уважать его. Эту смерть ничем нельзя возместить" (с. 57). Подобные клишированные риторические выражения являлись общепринятым способом высказывать свое отношение к этому событию. И хотя стереотипы тоже в той или иной мере содержательны, в данном случае утрата, очевидно, мало задевает ее. Еще короче она отзывается о другом Строцци: "Смерть Франческо, несомненно, утрата для всего дома" (с. 90) (ср. отзыв Антонио Строцци: "Богу было угодно взять к себе нашего Франческо... Не могу выразить, какой это ущерб для нас", с. 96, 1450 г.) В 1458 г. Алессандра пишет своему младшему сыну Маттео: "Слышала я, что седьмого сентября умер Бенедетто Строцци... Это величайшая беда (danno), прежде всего для его семьи, а также для нас и всего дома, так как он приходил на помощь каждому, и нет никого в роде, чья смерть причинила бы такой вред, как его" (с. 136–137). Здесь звучит искреннее сожаление относительно смерти родича, хотя и не близкого, но добросердечного. Когда же в 1464 г. разразилось банкротство Джанфранческо Строцци, которое, по мнению корреспондентов Филиппо, "лишило бедняков хлеба и разорило богатых" (с. 350), Алессандра, подобно другим родственникам, остро восприняла это как позор для клана (с. 342, 354). Она ощущает себя в несравненно большей мере Строцци, чем Мачинги (что было, несомненно, типично для того времени).

Содействие и помощь родственникам в определенных границах предлагались и оказывались. Когда овдовела сестра Франческо Строцци Чекка, Алессандра приютила ее у себя (с. 199–200, 210 и др.). После смерти Сольдо Строцци (декабрь 1450 г.) его вдова Изабелла, оставшаяся в бедности с пятью детьми, умоляет неаполитанского банкира Никколо относиться к ее трем сыновьям и, особенно, двум дочерям – бесприданницам как к своим родным детям, ибо "никого у них не осталось, не считая Бога, кроме Вас и меня"; Сольдо любил Никколо как брата и "всегда, вплоть до последнего часа, говорил, что надеется на вас больше, чем на кого-либо другого во всем мире" (с. 93–94). Одновременно она пишет по поводу утраты мужа столь же отчаянное письмо подопечному Никколо – Филиппо (сыну Алессандры): "Боль и отчаяние мои столь велики, что пребудут со мной, пока я жива". Она уверяет Филиппо: Сольдо "питал к тебе такую же любовь, как если бы ты был его собственным сыном". "То, что вы сможете сделать для них [детей], будет величайшей милостыней" (с. 94–95). Алессандра, посетив вдову, присоединилась к ее прось-

бам: "Окажите помощь этим сиротам, что будет милосердным, так как они остались бедняками" (с. 105–106). Какое-то содействие детям было оказано (нам, в частности, известно, что одна из дочерей смогла выйти замуж).

\*\*\*

Впрочем, в подобных случаях добрые намерения и чувство сопричастности к общему клану сочетались с трезвым расчетом. Проследим историю взаимоотношений двоюродных братьев мужа Алесандры и ее сыновей. Первая трещина между родственниками пролегла после смерти в Барселоне в 1449 г. брата Никколо и Якопо – Филиппо. Известие о ней побудило Никколо отправить в Каталонию из опасения, что вдова покойного присвоит себе слишком большую часть наследства (покойный оставил 1500 флоринов наличными и на 1000 – сукон и драгоценностей). Беспокойство о том, кому достанется наследство, проявляет и Филиппо – сын Алесандры (с. 92).

Значительно больше известно нам о страстях, разгоревшихся в связи со смертью Якопо (1461 г.). Сын Алесандры Лоренцо много лет находился в Брюгге под его опекой и руководством, и сама Алесандра подчас усердно выполняла его поручения (см. ниже). Но когда Якопо умер, остро встал вопрос о его наследстве. "Если тебе ничего не оставлено, – пишет брату Филиппо, – советую ничего не брать на себя... так как все дела [о наследстве] таят в себе большую опасность и вызывают беспокойство и раздоры." (с. 238). Между тем Лоренцо, судя по его письму матери, обнаруживает твердую хватку и чисто купеческий прагматизм. Начинает он с похвал покойному: "Один Бог знает, как мне была горька и тяжела эта утрата, принимая во внимание, что он обращался со мной как родной". Наконец, Лоренцо переходит к главному: ему, очевидно, придется разбираться в делах, которые очень запутаны. Лоренцо опасается, что вдова захватит из оставленного имущества больше, чем ей полагается, и явно стремится очернить ее. "Она говорит, что не хочет опять выходить замуж, но я ей не верю". Лоренцо дотошно перечисляет имущество, оставленное ей мужем: "всю одежду, и пояс, и воротник, который стоит 70 дукатов, и она присвоила себе другие мелкие вещи". Но Лоренцо твердо намерен позаботиться о том, чтобы она не прихватила с собой чего-либо лишнего. "Прежде, чем она уедет, ей придется поговорить со мной... То, что является нашим, не покинет этого дома", – угрожающе заявляет он, и для того чтобы оправдать свою позицию, переходит к весьма нелестной (и, скорее всего, необъективной) характеристике вдовы: "Она [женщина], ничего не стоящая и спесивая". Наконец, Лоренцо сообщает о своей доле наследства: Якопо оставил ему 250 дукатов. "Лучше, чем ничего", – добавляет он с иронией. Неплохо бы получить деньги и за свои хлопоты – полагает Ло-

ренцо (с. 239–241). Контраста между началом и продолжением письма он явно не замечает. Он уверяет мать, торопившую его переехать в Неаполь, к Филиппо, что сначала должен привести в порядок (естественно, не без пользы для себя) имущественные дела Якопо, иначе “все состояние Якопо окажется как бы выброшенным на улицу и оставленным там” (с. 243). В конечном итоге осиротевшая семья Якопо, перебравшись во Флоренцию, впала в крайнюю бедность (с. 246–247).

Наиболее богатым и влиятельным из двоюродных братьев мужа Алессандры был холостой Никколо – купец и владелец банка в Неаполе. Филиппо еще мальчиком был отправлен к нему на Юг. В 1446 г. он писал о дяде: “Я им очень доволен, ибо он всегда выказывал и будет выказывать мне доброе расположение” (с. 26). Алессандра настоятельно убеждает сына быть ему послушным “более, чем если бы он был твоим отцом... не проявлять неблагодарности по отношению к тому, кто сделал тебя человеком” (с. 35–36). Именно Никколо позднее выразил желание, чтобы к нему прислали также юного Маттео с целью обучить его, чтобы он смог принять участие в делах дяди.

В 1449 г. Алессандра узнала, что по дороге в Барселону (где умер его брат Филиппо) Никколо посетит ее дом. Для нее это – выдающееся событие, встреча должна быть особо торжественной. “Жду его с радостью”, – пишет она Филиппо. В следующем письме она рассказывает о пребывании Никколо в ее доме, не забывая упомянуть, сколько раз он обедал и ужинал у других родичей. “Все остальное время он оставался здесь и постоянно ел и ночевал... И вся родня пришла, чтобы повидать его”. Более того, дом посетили некоторые “из самых видных горожан Флоренции”. Сама же Алессандра “во всем воздавала [ему] такие почести, какие только было возможно”. В этом же письме она убеждает сына, которого Никколо оставил на время своего отсутствия руководить банком, “выказав тем великую щедрость... и великую любовь”, в свою очередь “оказывать [Никколо] такие же почести, какие он оказал тебе”, и тем самым “возвысить свой род” (с. 67–69).

В течение последующих 12 лет между дядей и племянником по-прежнему не было трений. Но за это время Филиппо и Лоренцо (собиравшийся теперь переехать к брату) прочно встали на ноги, и участие в делах состарившегося Никколо отныне препятствовало бы их деятельности. Филиппо сообщил матери о планах обрести самостоятельность. И с той же убежденностью, с какой Алессандра ранее призывала сына почитать своего благодетеля – Никколо, она оправдывает изменение отношения к нему. Летом 1461 г. она пишет Лоренцо (пока еще не покинувшему Брюгге): “...Я узнала, как вы поступили с Никколо; *каждый человек действует себе на пользу* (курсив мой. – М. А.). Вы теперь в таком возрасте, что не нуждаетесь в опеке,



в том, чтобы находиться в зависимости от него". Алессандре все же хочется окончательно успокоить свою совесть, и она выискивает у Никколо недостатки: "Не то, чтобы он плохо поступал с вами, но вижу, как он придирается по мелочам". Одобрив то, что Лоренцо, как мы видели, предельно урезал наследство, которое Якопо оставил своей жене (Лукреции) и детям, она в то же время обвиняет в скредности в отношении Лукреции и ее дочерей именно Никколо: "Он очень скудно дал [им] сукно на плащи и другую одежду – ничтожно мало для двух дочерей [Якопо]". Они носят, по словам Лукреции, такое поношенное платье, что целый день сидят дома (с. 246–247). Вскоре темперамент Алессандры подвигает ее на более серьезные обвинения, и в следующем письме она заявляет: "Относительно поступков Никколо я нисколько не дивлюсь, ибо такова его природа, что он всегда действовал супротив нас. Восхвалим Бога, наградившего вас такой доблестью, что вы можете заниматься делами без него" (с. 253–254). Поведение братьев получает даже благословление Божие. Алессандра и сыновья забыли все прежние заслуги Никколо; это являлось естественной адаптацией к изменившимся условиям, залогом не просто выживания, но и будущего процветания их собственной семьи.



Членами famiglia были также внебрачные дети и домашние рабыни. Бастарды упоминаются и на страницах посланий Алессандры. В письме, датированном концом 1450 г., она сообщает старшему сыну, что ожидает приезда незаконной дочери Якопо (Изабеллы), так как отец просил ее держать эту девочку у себя. Поскольку Алессандра чувствует себя обязанной Якопо, она обещает любить ее (с. 111). Примерно семь лет спустя Алессандра сообщает, что она выдала Изабеллу замуж за Марко из Чоны, шелкодела и мелкого торговца шелком. "Они добрые люди, богобоязненные... Я считаю, что для нее это большая удача, будучи того качества, какова она, и имея еще тот недостаток, что она близорука". Незаконное происхождение и близорукость рассматриваются как недостатки одного порядка. Но главное – Изабелле подыскали "семью, где бы ее любили и с нею хорошо обращались". Алессандра позаботилась и о том, чтобы снабдить ее всеми необходимыми вещами, "дабы она казалась состоятельной девушкой" (с. 145). Отец, разумеется, возместил Алессандре истраченные ею 80 флоринов. В своем ответе Якопо благодарит ее за хлопоты и просит: "когда воспоследует нужда (речь идет, очевидно, о родах. – М. А.), давать Изабелле советы". "Вы говорите, Изабелла очень довольна юношей, – пишет он. – ...Это доставляет мне большую радость" (с. 163). По всему видно, что Якопо был привязан к дочери и по-своему забылся о ней. У него был еще один побочный сын (кроме двух законных дочерей), но никаких данных о нем не сохранилось.

Зять Алессандры Джованни Бонси, давая для занесения в кадастр 1469 г. сведения о своих пяти детях, добавляет к этому: "Джироламо, мой сын, рожден от рабыни, около тридцати лет. Этот дурак и скудоумный стоил мне более, чем другие" (с. 122).

У Лоренцо до женитьбы была связь с Катериной ди Чименти ди Соммая, от которой он имел двоих детей – Виоланту и Джованлуиджи. О рождении первого ребенка Алессандра узнает по слухам, в 1465 г., и, недовольная тем, что брак сыновей все откладывается, язвительно добавляет: "Полагаю, что, поскольку вы так долго остаетесь без жен, их (т. е. наследников. – М. А.) найдется несколько дюжин" (с. 446). В приложении к письму издатель Ч. Гуасти сообщает, что после смерти Лоренцо его брат выдал в 1486 г. Виоланту за сапожника Франческо ди Стефано ди Чино, дав ей достаточно щедрое приданое в 600 флоринов (с. 451–452). Мальчик же родился позднее сестры. Вопрос о том, когда забрать его у матери, решает, разумеется, Филиппо, и Алессандра, как всегда, отвечает: "Будет так, как ты говоришь" (март 1468 г.). Правда, она предвидит "известные трудности", но считает, что "чем раньше его разлучат с матерью, тем скорее они забудут друг друга", – решение, вероятно, тягостное для Катерины (с. 586). Сама же Катерина годом раньше была выдана замуж за некоего Джованни Россо из Неаполя с небольшим приданым в 200 флоринов (с. 588). История обычная для того времени, и роль в ней Алессандры (пассивная) – тоже обычная.

Отклонялось от привычных ее отношение к старой рабыне Катеручче. В 1450 г. Алессандра жалуется Филиппо на то зло, которое Катеручча причинила "мне и детям... Я всегда страдала из-за того, что не могу наказывать ее". Особенно необуздана она, по словам Алессандры, последние месяцы: "Она ведет себя со мной так, как если бы я была ее рабыней, а она – моей госпожой" (с. 204). К. Клапш-Зубер в статье о служанках во Флоренции XIV–XV вв. высказывает предположение, что Катеруччу нельзя было продать, так как она знала все семейные тайны<sup>10</sup>. В самом деле, Алессандра откровенно пишет сыну, что она продала бы рабыню, но "из-за ее [Катеруччи] злоречивости" она хочет поскорее устроить брак младшей дочери (см. о ней выше). "И все эти угрозы причинить нам зло она высказывает для того, чтобы я и Лессандра боялись ее" (с. 104). Следовательно, Катеручча грозила прилюдно опозорить Лессандру. Однако рабыня угроз не выполнила, и Лессандра, как мы видели, благополучно вышла замуж.

Еще до свадьбы младшей дочери Алессандра получила из Барселоны вторую, молодую рабыню, и, как она пишет сыну, "Катеручча стала вести себя лучше и достаточно мирно" (с. 118). Она вновь упоминает эту рабыню 15 лет спустя. Катеручча стара, и пользы от нее почти никакой нет: "Она всегда жалуется на свое нездоровье. Мне она служит только тем, что немного выходит из дома, а осталь-

ное время... она остается в своей комнате: иногда прядет для меня, а иногда занимается своими делами, так что можно сказать, что я имею рабыню, которая не выносит трудной работы" (с. 474, 13 сентября 1465 г.). Итак, воспринимая привычное для Тосканы домашнее рабство как естественное учреждение, Алессандра жалуется, что от престарелой рабыни мало толку. Правда, она добавляет в качестве аргумента в пользу того, что Катеруччу нельзя отослать к Филиппо: "она ни за что не захочет уехать отсюда" (с. 474). По-видимому, Алессандра все же как-то считается с нею. Незадолго до смерти, в 1470 г., она завещает, среди других распоряжений, "нашей рабыне Катерине" черный плащ, три рубашки и пару башмаков (с. 611). Но освобождения рабыни, как это подчас практиковалось, ее завещание не содержит.

У Филиппо на Юге имелась рабыня, которая была, по-видимому, длительное время его наложницей. Впервые о рабынях, которыми владеют Филиппо и Маттео (и последний их наставляет), говорит Алессандра в июле 1459 г., добавляя с иронией, что они составляют прекрасную "компанию" (*brigata*). Одна из этих рабынь – Марина. Маттео, умерший тем же летом, завещает на помин души "Марине, рабыне моего дома", небольшую денежную сумму (15 таренов) (с. 192). Четыре года спустя до Алессандры доходит слух о рабыне, которая хорошо справляется с хозяйством сына (с. 274). Наконец, из следующего письма выясняется: "Мне говорили... о Марине, которая осыпает тебя ласками. Слыша такие вещи, я не дивлюсь, что ты хочешь отложить [женитьбу] еще на год... Ты поступишь, как тот, кто хочет отложить, насколько он сможет, смерть или платежи" (с. 280). Эта связь продолжалась; спустя год с небольшим, пересылая Филиппо сотканное ею полотенца, Алессандра язвительно замечает: "Пусть госпожа (*madama*) Марина обращается с ними бережно" (с. 421–422). Она и не думает скрывать своего недовольства рабыней, занявшей определенное место в жизни сына, и считает само собой разумеющимся, что после переезда и женитьбы Филиппо предстоит искать для хозяйственной работы другую рабыню (с. 474). При этом, пускаясь в отвлеченные рассуждения о том, какие рабыни предпочтительнее, Алессандра воспринимает их как неодушевленные предметы: татарки, по ее словам, превосходно переносят тяжелый труд. Они грубые, но выгоднее русских, так как "те из России (*Rossia*), хотя и красивее, но более деликатного сложения". Рабыни родом с Кавказа "имеют более здоровую кровь". И она предлагает Филиппо самому решать, кого же он хочет приобрести (с. 475).

Рабыни нередко бывали наложницами своих господ или их сыновей, и женам полагалось терпеливо переносить это<sup>11</sup>, но эмоционально окрашенное отношение Филиппо к Марине было, очевидно, исключением. Во Флоренцию он ее с собой не привез.

В целом создается впечатление, что формы домашнего рабства (более развитого в Венеции и Генуе, чем во Флоренции) были здесь сравнительно мягкими.

В famiglia в широком смысле слова входили и арендаторы земельных участков, принадлежавших семье. Взаимоотношения с ними высвечивают еще одну грань нравственного облика Алессандры.

В июле 1465 г., рассказывая о своих землях, она беспокоится об одном из участков: "Не знаю, как быть с Поццолатико, где нет хорошего работника, и Бог знает, во что он превратился: еще живы Пьеро и монна Чилия, оба больны... Мне надо будет привести его [участок] в порядок, и если эти два старика не умрут, им придется уйти" (с. 438). Зимой она взяла туда нового арендатора. "Пьеро еще жив, — продолжает она это письмо. — Надобно, чтобы он ушел... Требуется терпение; если бы Бог призвал его к себе, это было бы наилучшим, что может случиться!" (с. 525–526). Алессандра, которая пишет сыну, как всегда, весьма откровенно, отнюдь не замечает, что ее пожелание никак не вписывается в шкалу христианских ценностей.

\*\*\*

Подобная сосредоточенность на своей семье (и во все меньшей степени — на других членах рода) означала также заметное ослабление соседских связей. Эта эволюция четко прослеживается в XV в., в частности — и на нашем материале. Так, Никколо д'Арнольфо, владелец небольшого дома (casetta), прилегавшего к городскому дому Алессандры, вознамерился в 1448 г. продать его Донато Ручеллаи, из могущественного флорентийского рода. Алессандра была этим обеспокоена, ибо, как она пишет Филиппо, если новый собственник решит возвести там строение, оно затемнит землю и кухню, расположенные за ее собственным домом. Согласно закону, продажа не могла состояться без ее согласия. Если бы имелись деньги, обеспокоенно говорит она Филиппо, "я бы не выпустила [дом] из рук... И я говорю не о себе, ибо мне осталось жить мало времени, — продолжает Алессандра, которой было тогда немногим более сорока лет, — но о вас и о тех, кто произойдет от вас" (с. 38–39). "Дом не должен уйти от нас, пока я жива" (с. 48), — повторяет она в свойственной ей эмоциональной манере в следующем послании (1449 г.). И, не имея возможности приобрести его из-за высокой цены (за дом запрашивали 100 флоринов), Алессандра все же смогла договориться о праве предпочтительной покупки дома в течение 30 лет (с. 70) (хотя городской статут 1415 г. предоставлял это право лишь на три года). О доме идет речь и в следующих письмах (с. 80, 159). Лишь после смерти матери, в 1477 г., сильно разбогатевший к тому времени Филиппо выкупил его у сыновей Донато Ручеллаи вместе с башней и другими соседними помещениями за 870 флоринов. Его целью было расчистить площадь для постройки палаццо Строцци. Фундамент

этого величественного и вместе с тем гармоничного дворца, который должен был служить прославлению его рода, Филиппо заложил в 1489 г., но до завершения строительства не дожил<sup>12</sup>.

Нередкие тяжбы с соседями свидетельствуют о том, что дом во все большей мере служил центром семейной жизни, а тесные отношения с лицами, живущими рядом, становились нежелательными. Примером является история купленного Марко Паренти дома, имевшего общую стену с домом некоего Риньери. Дважды вели они друг против друга судебные процессы, причиной которых являлось ущемление частной жизни семьи соседа. Первый конфликт в 1472 г. был вызван тем, что, по словам Марко, Бернардо Риньери "построил крытую деревянную террасу над его крышей и моей"<sup>13</sup>. Марко добился соглашения, по которому Бернардо обязался убрать, когда пожелает Марко, часть террасы с соседней крыши. Виновником второго спора, разгоревшегося 15 лет спустя, был Марко. Он, как записал Риньери в своей Счетной книге, "пробил в стене, выходящей в сад, окно, из которого можно было видеть мой внутренний двор". Сосед подал иск против Марко, которого он называет "человеком скандальным и злобным"<sup>14</sup>. Суд постановил, чтобы Марко заделал окно. Любопытно, что Марко счел это решение несправедливым, так как "вся Флоренция полна подобными примерами". Купив еще один, расположенный рядом дом, Марко не только перестроил фасад главного здания, обращенный к улице, но и улучшил ту часть дома, которая выходила в сад и внутренний дворик, где протекала интимная часть семейной жизни<sup>15</sup>.

Нелестный отзыв, данный Марко соседом, скорее всего, не объективен: он отражает изменение отношений между соседями.

• • •

В повседневной жизни немалое место занимало у Алессандры ведение хозяйства. И здесь главная цель у нее – "сделать полезное сыновьям" (с. 223).

В то время как большинство богатых пополанов и патрициев стремились расширить свои земельные владения, которые не только являлись источником доходов, но и играли важную роль в укреплении престижа, Алессандра, по настоянию сыновей, вынуждена постепенно – с конца 30-х до середины 60-х годов – распродавать многие сохранившиеся земельные участки – пашни и виноградники, чтобы пересылать деньги на их торгово-банковские операции<sup>16</sup>. "Если ты это сделаешь, – пишет ей в 1461 г. Лоренцо о продаже участка в Кваракки, – я буду на коне и за малое время [обрету] хорошую репутацию" (с. 241). Прижимистая Алессандра иногда медлит с продажей, ожидая более высокой цены (с. 224), но в конечном итоге продает все, кроме одного участка в Кваракки и более крупного (подере) в Поццолатико (с. 144, 150, 165, 170, 173, 274–275, 292, 293). Ей и до-

мочадцам обычно хватало для своих надобностей зерна и вина (красного и белого) со своих земель, лишь изредка приходилось расходовать деньги на их покупку (с. 438, 604). У семьи имеются и фруктовые деревья: в письме 1465 г. говорится о большом урожае гранатов (с. 438). Она пристально следит за тем, чтобы арендаторы хорошо обрабатывали земли, жалуется, что во время эпидемии чумы в 1450 г. из живших у нее на подере в Кампи 17 человек (включая детей) умерли 12; уцелели один мужчина и четыре женщины. Земля оставалась бы заброшенной, если бы их родичи не сняли урожая и не вспахали подере (с. 82). Алессандра собирается приобрести скот, жерди для виноградных лоз, удобрения (с. 525–526, 543, 565). Вынужденное вначале скопидомство стало к концу жизни, когда семья разбогатела, чертой ее характера. “Такова наша судьба, – сетует она, когда 1470 год был для нее неурожайным, – что всегда нам приходится покупать, когда все дорожает” (с. 604).

Неустанная забота Алессандры о сыновьях проявляется также в частых посылках на Юг полотняных рубашек, воротничков, полотенец, носовых платков. Она, отчасти вместе с домашними, пряла, ткала, кроила и шила, большей частью используя лен, который получала от сыновей. В отправляемые ею посылки вкладывались также овечьи сыры и тмин, миндаль, изюм, изредка – горох, артишоки (все, очевидно, из собственного хозяйства) (с. 135, 153, 206, 311, 315, 323, 326, 404, 421, 436, 473, 487).

На свои нужды Алессандра тратила очень мало денег. Эта мелочная экономия сохранилась и в последние годы жизни. Судя по завещанию 1470 г., ее личное имущество (которое следовало передать монахиням, родственникам, немного – кормилице и рабыне Катеручче) состояло из четырех плащей, двух черных платьев (из них только одно новое) и одного белого, семи рубашек, четырех головных уборов, трех пар туфель, трех полотенец и небольшого количества постельного белья (с. 611).

\*\*\*

При изучении писем Алессандры и фрагментов посланий к ней мы сталкиваемся с немалыми трудностями, особенно исследуя эмоциональную сферу. Эти трудности отчасти связаны с тем, что в письмах нередко встречаются привычные стереотипы, к которым прибегали, не умея иначе выразить свои мысли и чувства (даже если они подчас и отличались новизной). Пробриться к сути – субъективным переживаниям автора – нелегко. Каждый раз, имея с ними дело, я стремилась понять их подлинный смысл, исходя из контекста, конкретных обстоятельств и пр.

Приведу примеры. “Я буду любить ее и обращаться с ней так, как если бы она была моей [дочерью], и ласкать ее”, – пишет монаха Алессандра о побочной дочери Якопо, присланной к ней отцом в

1450 г. (с. 111). "Я сделаю для нее больше, чем для какой-либо из своих дочерей", – говорит Алессандра о жене Филиппо Фьяметте (с. 590, 1469 г.). В действительности же Изабеллу она готова была приютить только потому, что Якопо опекал в это время ее сына Лоренцо, а Фьяметту, юную жену ее "милого сыночка" и мать его первенца Альфонсо, и в самом деле, судя по общей тональности своих последних писем, полюбила.

В письмах соболезнования по поводу чьей-либо смерти подчас удается выделить (из общепринятых в подобном случае выражений) такие, которые носили, несмотря на клишированную форму, личностный характер. Нельзя не почувствовать подлинную скорбь Марко Паренти, вызванную ранней смертью Маттео Строцци (в воспитании которого он принимал участие), когда Марко пишет к Филиппо: "С тех пор, как умер мой отец, я не испытывал такого страдания. Хотя у меня умерло два сына и два двоюродных брата... о которых, как мне кажется, я достаточно сильно горевал, теперь [то страдание] кажется мне ничтожным по сравнению с этим" (с. 187). Такое же впечатление производит отклик Алессандры, услышавшей в 1465 г. о смерти Пандольфо Пандольфини в Неаполе (где он был флорентийским послом при короле). "Когда я узнала, я почувствовала такое горе, какое не вызывала у меня после смерти сына кончина кого-либо из родственников" (с. 491). Пандольфо находился в отдаленном родстве с ее семьей. Алессандра ранее надеялась, что этот пользовавшийся немалым влиянием человек, выказывавший, по ее словам, "дружбу и большую благосклонность" к ее сыновьям, вернувшись во Флоренцию, "окажет великую помощь" делу Филиппо, "ибо те, кто стоит у власти, отнеслись к нему весьма милостиво"; того же мнения придерживался Марко (с. 492, 494, 495, 500)<sup>17</sup>. Чувства Алессандры, несомненно, искренни, риторика имеет здесь реальное содержание. Эмоциональное и рациональное начала сливаются: помимо соображений, основанных на расчете, она горячо сочувствует его молодой жене (позднее Алессандра напишет о полном отчаянии вдове – с. 507) и многочисленным детям (их было 11).

\*\*\*

Непросто выяснить представление Алессандры о нормативных супружеских отношениях. Мы застаем ее уже вдовой, и единственное упоминание о муже связано с отъездом младшего сына Маттео: Алессандра признается, что испытывает к нему "чрезмерную любовь, ибо он во всем походит на отца" (с. 60–61). Судя по этим словам, муж был ей дорог.

Какими она хотела видеть семьи своих сыновей? Занимаясь брачными хлопотами, Алессандра, кроме обычных требований к невесте (влиятельная и готовая оказать помощь родня или, по крайней мере, престижное происхождение, достаточных размеров приданое),

искала девушку здоровую и хорошо сложенную (что важно для рождения здоровых детей), красивую. Она должна была обладать "добрыми свойствами", иначе говоря – такими достоинствами, как хозяйственные таланты и усердие в занятиях по дому, некоторая образованность, изящные манеры и т. п. И Фьямметта, если основываться на письмах Алессандры и ее собственном послании к Филиппо, очевидно, по красоте, а главное – полной подчиненности воле мужа и свекрови, скромности, рачительности и другим чертам была как нельзя более приемлемой для семейства Строцци.

Что же касается любви (в одной из ее многочисленных ипостасей) со стороны жениха, а позднее мужа, то ее принимали в расчет лишь при наличии всего комплекса условий, необходимых при заключении брака, – как мы могли убедиться на печальном примере несостоявшейся женитьбы Лоренцо на Мариетте.

Любопытны и негативные суждения Алессандры о скверных качествах некоторых знакомых ей жен. В письме к Филиппо от 13 октября 1465 г. она вспоминает первую жену некоего Филиппо ди Леонардо дельи Строцци, которая "проявляла такое тупое упрямство", что муж хотел ее выгнать, но мать не согласилась (с. 470). Далее Алессандра приводит следующий назидательный пример: она рассказывает об одной жене, которая "ведет себя так надменно, что, кажется, потребуется тысяча лет, чтобы сравняться с ней" (к тому же она не имела приданого, мельком замечает Алессандра). "И следует удивляться не ей, а... ему, который... так в нее влюбился, а... она позорит и себя, и его". Алессандра приходит к назидательному заключению: "Мужчина лишь тогда является мужчиной, когда он делает женщину [хорошей] женой. Поэтому он не должен влюбляться в нее [сильно], так как тогда ее маленькие недостатки... превратятся в большие. Лишь добрая спутница (сопрагна) избежит дурного конца" (с. 470–471). По ее убеждению, муж обязан, если он хочет, чтобы в семье царили мир и спокойствие, добиться полного послушания со стороны жены.

Итак, Алессандре, полностью погруженной в самую консервативную по своей природе сферу – семейную, свойственны традиционные представления о ролевых функциях мужа и жены. Эти жизненные установки вполне правомерно сопоставить с позицией contemporaneous ей купцов-писателей. Так, Джованни ди Паголо Морелли (1371–1444) в своих "Памятных записках", советуя жениться с выгодой для себя, добавляет: "...но не таким образом, чтобы она хотела быть мужем, а тебя [сына] сделать женой"<sup>18</sup>. Иными словами, речь и здесь идет о повиновении жены главе семьи – мужу. Этот издавна сохранившейся стереотип, неизменно фигурировавший в церковных проповедях, разделяли даже гуманисты. Франческо Барбаро в трактате "О выборе жены" (начало XV в.) пишет: "...мужу надлежит приказывать, а жене следует радостно и поспешно вы-



полнять его волю”<sup>19</sup>. Как Барбаро, так и Леон Баттиста Альберти, книга которого “О семье” была очень популярна в полопанской среде, считают, что муж не должен посвящать жену в семейные тайны. “Только Книги и Памятные записки мои и моих предков я решил... держать крепко запертыми. Моя жена не только не могла их читать, она не могла дотронуться до них”, – говорит один из персонажей диалога о семье Альберти<sup>20</sup>.

Подобно Алессандре, Морелли считает главной целью создания семьи – “взять жену, чтобы иметь от нее детей” (Мог., р. 167). Поэтому при выборе невесты важным условием является ее здоровье и плодovitость (Мог., р. 169). Морелли даже дает совет, как можно способствовать рождению именно сыновей (дабы продлить свой род и иметь поддержку в старости): надо избегать в сношениях с женой сексуальных излишеств; иначе, предостерегает он, “ты будешь иметь хилых детей, ты будешь иметь детей женского пола” (Мог., р. 170). И еще одно важное предостережение в отношении будущей семейной жизни: разумеется, при заключении брака полезно породниться с добрыми горожанами древнего рода и тем самым возвысить свое положение.

\*\*\*

Рассматривая отношения между Алессандрой и родственниками, ее можно представить как центр parentado, состоящего из ряда концентрических кругов – близких и дальних. Их пронизывают сложные связи – дружеские и враждебные, симпатии и антипатии.

Не вызывает удивления отчуждение после замужества дочерей, так как они перешли в другой клан. Впрочем, полного разрыва отношений, конечно, не наступало. Сохраняют с ней связь и оба зятя, в особенности Марко Паренти. Алессандра нуждалась в поддержке, а Марко был искренне привязан к ней. Кроме того, будучи честолюбивым и практичным, он, помогая ей в поисках невест, а позднее – в хлопотах по возвращению сыновей, стремился завязать дружбу с Филиппо (с которым он регулярно переписывался). Это ему вполне удалось и оказалось впоследствии весьма полезным для собственно социального возвышения<sup>21</sup>.

Что же касается ее внуков от дочерей, то в письмах она сообщает только о рождении первенца Катерины и его здоровье. Об остальных детях старшей дочери она вообще не пишет. Внуки из семейства Бонси упоминаются лишь в качестве “едоков”, причем Алессандра отнюдь не была склонна рекомендовать сыновьям поддержать эту разорившуюся семью.

Как нельзя лучше отражает жизненные принципы членов ее малой семьи история их отношения к жившим далеко от Флоренции двоюродным братьям мужа Алессандры, составившим себе торговлей большое состояние. Речь идет о Никколо, Якопо и Филиппо.

В юности для сыновей Алессандры деятельная поддержка дядьев являлась единственным путем достичь материального преуспевания, более того – возрождения захиревшего рода Строцци, а точнее – семьи. Еще летом 1446 г. 18-летний Филиппо, живший в это время в Валенси, у дяди Филиппо, сообщает матери о своих радужных планах на будущее. Его рассуждения отличаются прагматизмом: дядя Лоренцо бездетен, а Филиппо, по его словам, недоволен своим сыном; потому, как он полагает, дядья надеются, что в старости о них будут заботиться племянники, а следовательно – оставят им наследство. “У меня имеется большое желание и надежда на то, что удастся восстановить наш дом”, – заключает он (с. 26).

На протяжении долгих лет Алессандра, как мы видели, относится к Никколо и Якопо (Филиппо умер в конце 1448 г.) с величайшим пиететом. Но после того как в 1461 г. скончался Якопо и Лоренцо перебрался в Неаполь к Филиппо, братьям удается полностью отстранить от дел дядю Никколо (последний уехал в Рим). Алессандра, как всегда, всецело одобряет действия своих сыновей.

Во взаимоотношениях Алессандры с собственными братьями постепенно усиливалась напряженность, переросшая позднее во вражду. Стремясь возместить понесенные по вине брата Дзаноби убытки, она подает на него иск в суд и выигрывает. После смерти Дзаноби дважды разгорается тяжба по поводу приобретенной ею таким путем собственности между ней и вторым братом Антонио; в конечном итоге верх вновь одерживает Алессандра. По той же причине происходили ожесточенные столкновения и среди других членов рода Мачинги: между Катериной ди Джорджо де Мачинги и Никколо “разгорелась большая распря”, – пишет Алессандра (с. 204).

Идеализация человека гуманистами резко контрастирует с этикой деловых людей<sup>22</sup>. Выжить, а тем более разбогатеть в этой “полной страданий и тягот жизни” (Мог., р. 167) было очень трудно. Как Алессандра, так и Джованни Морелли склонны к пессимизму. Он также описывает конфликтные ситуации в своем роду. Подробно перечисляя беды, которые обрушиваются на сирот, Морелли (который сам осиротел на третьем году жизни) говорит и о зле, причиняемом им родичами: “Все злоупотребляют по отношению к ним своей силой, подобно хищным птицам в отношении маленьких, без труда их хватающим, ошпыливающим и пожирающим... Так бедного сироту грабят родственники и друзья, соседи и чужаки”, особенно, замечает он, близкие люди (Мог., р. 180, 174). Касаясь конфликтов в своем роду, Морелли, описывая свою покойную двоюродную сестру Мею (Бартоломею), хвалит ее, в частности, за умение добиться согласия в многочисленной семье мужа, где имелись “большие раздоры и распри” (Мог., р. 154). Родную сестру Сандру он, напротив, порицает за то, что она, не советуясь с братьями, была чрезмерно послушна мужу, который промотал не только свое состояние, но и приданое жены. Сан-

дру, возвратившуюся после смерти мужа в семью Морелли, последний явно рассматривает как излишнюю обузу (Мог., р. 156–158). В “Памятных записках” идет речь также о ссорах и тяжбах между другими членами его рода (Мог., р. 138, 141–142 и пр.). В целом же Морелли с горечью замечает: “...там, где дело касается денег или какого-либо имущества, выясняется, что родственник или друг без зазрения совести принимает свое ближе к сердцу, чем твое” (Мог., р. 173)<sup>23</sup>.

И все же следует заметить, что, несмотря на явное ослабление родственных связей, семья все еще ищет поддержки родни. Тем более это относилось к семейству Строцци, которое, находясь в тяжелом положении, особенно остро нуждалось в поддержке. Так, живший во Флоренции Антонио Строцци не только то и дело давал Алессандре полезные советы, но и добавил деньги к приданому ее дочери Лессандры, “найдя дело хорошим” (с. 112), а по завещанию (он умер в 1454 г.) оставил ей еще 100 флоринов (с. 122–123). Советовалась она иногда и с его братом – Франческо Строцци (с. 152, 185–186 и др.), овдовевшую сестру которого взяла в свой дом<sup>24</sup>.

Значение, которое придавалось родне, заметно и по тому, что одним из главных ориентиров при выборе жены были число, статус и добродетели ее родственников. Например, Марко Паренти описывал достойные похвалы качества Франческо Танальи, отца предполагаемой невесты, так подробно, как если бы речь шла о самой девушке. Но в то же время для начавшейся трансформации роли родства характерны рассуждения Марко относительно того, что почти полное отсутствие родственников у другой невесты – Адимари является не только отрицательным, но и положительным моментом.

Можно предположить, что Алессандра в долгие годы изгнания сыновей не могла целиком и полностью опираться на весь круг родства и, тем более, друзей, так как некоторые флорентийцы, либо связанные с нею родственными узами, либо ранее принадлежавшие к числу друзей Строцци, опасались открыто поддерживать Алессандру и ее опальных сыновей.

Эмоциональные отношения между членами клана бывали обычно круто замешаны на имущественных. Это можно четко проследить по письмам Лоренцо. В начале послания к матери с сообщением о смерти Якопо (1461 г.) он пишет, что эта смерть является “очень большой утратой для нашего дома и его чести”. Когда же Лоренцо выказывает опасение, что значительная часть наследства может перейти к его вдове, а она – вновь выйти замуж, именно это обстоятельство, по его мнению, “могло бы послужить причиной гибели нашего дома”. И Лоренцо незаметно переходит к мысли, что в том случае, если удастся уладить дела к собственной выгоде, он спасет этим “честь дома и собственную честь” (с. 239–243). Позднее Алессандра также заявит, что Лоренцо вложил в дело о наследстве Якопо “себя лично, свое имущество и честь” (с. 287).

Таким образом, под “честью” прежде всего подразумевается материальное преуспевание (но не только: речь идет, конечно, и о добродетельности). “Честь” создавала столь ценный ими *prestige* – рода, семьи, самого индивида – в глазах окружающих. Не случайно в письмах монны Алессандры часто встречается словосочетание “честь и польза” (*l'onore e l'utile*, с. 510, 555) или “польза и честь” (*l'utile e l'onore*, с. 68, 234, 332, 396): по сути своей эти два понятия почти сливаются, они становятся в этой среде топонимом, свойственным менталитету деловых людей. Так, в письме Марко Паренти 1449 г. переезд Маттео на Юг тоже мотивируется “пользой и честью” (с. 50). Алессандра, подобно Лоренцо, как бы жонглирует словом “честь”, обосновывая им самые разнообразные, подчас прямо противоположные по своему характеру поступки. Так, если она сначала сочла “честью” помощь, которую ее сыновья могли бы оказать Джованни Бонси, то после длительных рассуждений склоняется к выводу, что Бонси не стоит помогать (см. выше).

Нравственный императив, предъявляемый Алессандрой сыновьям, – уметь “отличать зло от добра” (с. 128). Приверженность Лоренцо в молодости к азартным играм Алессандра расценивает как позор для него и всей семьи (с. 127–129). Позднее, говоря о долгах, которые не уплатили Алессандра и сыновья, она пишет: если деньги не будут отданы, это принесет им “ущерб и позор” (с. 346).

Этот императив можно расценивать как одну из устойчивых массовых матриц, определяющих в известной мере сознание и поведение семьи Строцци и им подобных. Разумеется, такие категории отличались по своему содержанию от тех, которые были свойственны обыденному сознанию средневекового человека. На первый план выдвигается деловой расчет. Алессандра гордится тем, что многие родичи и друзья, побывавшие в Южной Италии, с похвалой отзывались о ее сыновьях (к примеру: “Приехал Пьерантонио... и рассказывал о вас такие удивительные вещи, что хватало бы и трети” – с. 537). Она ценит и помощь, которую братья оказывают гостившим у них флорентийцам: Филиппо “накормил, обогрел, одел и дал денег Брунетто” (с. 541–542), длительное время содержал на свои деньги двух гостей (с. 557) и т. п. Сама Алессандра, пригласив на обед некоего Джованни Мано, назидательно добавляет: “Хороший поступок никогда не забывается” (с. 167).

Существенных нарушений элементарных поведенческих норм пополюс члены семьи Строцци не допускали. Они искренне считали себя добродетельными людьми. Их сознание примирялось с некоторыми, по их мнению, не слишком серьезными отступлениями от общепринятых в данной среде постулатов. Впрочем, последние были лабильными, грань между допустимыми и недопустимыми действиями – зыбкой, и отступления подчас могли быть, как мы убедились, более существенными.

Благочестие сочетается у братьев с опасением нарушить общепринятые нравственные ориентиры (особенно – в деловой сфере) прежде всего потому, что это подорвало бы доверие к ним, а следовательно – нанесло бы ущерб на поприще банковско-торговой деятельности (причина, по которой такое возмущение вызвало у семьи банкротство Джанфранческо Строцци, их лично не задешес). К тому же, совершая свои “добрые дела”, братья прекрасно понимали, что благосклонное отношение флорентийских купцов поможет им вернуться из изгнания.

Здесь необходимо принять во внимание еще один важный фактор, в немалой степени определявший сложившуюся во Флоренции ситуацию: стабильное существование на протяжении всего этого времени тирании Медичи. В такой обстановке предельно выраженный конформизм Алессандры и ее сыновей был условием, необходимым для того, чтобы добиться их возвращения на родину. Это четко выражает Алессандра. “Помни, что тот, кто поддерживает Медичи, всегда поступает хорошо”, – наставляет она Лоренцо еще в 1461 г. (с. 256), одновременно предостерегая его против Пацци<sup>25</sup>. Три года спустя она обращается к Филиппо со словами: “Синьория должна выполнять волю тех, кто правит, и так должны поступать все” (с. 360, январь 1464 г.). Алессандра упорно старается укреплять дружеские связи с членами клана Медичи. Летом 1461 г. она передает в Брюгге письмо к Лоренцо с Антонио – сыном Бернардо Медичи, который, по ее словам, намеревается вступить в компанию Козимо. “Знай, как мы обязаны Бернардо, а также ему [Антонио]... Мы должны целовать землю, по которой ступает Бернардо... за большую любовь, которую он питает к нам, и за то, что он сделал для нас и постоянно делает”, – пишет она с присущей ей часто излишней горячностью. И замечая, что этот доблестный и выказывающий ей свою любовь Антонио “располагает помощью людей, более могущественных, чем ты”, Алессандра просит сына оказать ему “такие почести, какие в твоих силах” (с. 249–250). Впрочем, в данной оценке она ошиблась: позднее Алессандра сообщит, что на Бернадетто (Бернардо Медичи) не следует особенно рассчитывать (с. 324).

В последний год жизни Козимо, в начале 1464 г., Алессандра пишет: “Наступило время подумать о вашем возвращении” (с. 375; см. также с. 359). Алессандра деятельно ищет поддержки влиятельных флорентийцев. “Скоро выяснится, кто твой друг и кто – враг”, – обращается она к Лоренцо (с. 367, февраль 1464 г.).

Главную надежду мать возлагает на поддержку неаполитанского короля Фердинандо I (Ферранте), тесно связанного с разбогатевшими братьями Строцци (их банк и фондако – склад товаров – находились в Неаполе). Весьма практичная Алессандра советует сыновьям: “...сохраняйте благосклонность короля... и сделайте королю тот дар, о котором вы писали” (с. 342). Она предлагает им просить

флорентийских послов на Юге обратиться к королю, "...что они охотно сделают, особенно когда ты [Филиппо] дашь им подарки", - с целью, чтобы король оказал "...помощь и милость в твоём деле (с. 376-377).

1 августа 1464 г. умирает Козимо, и власть переходит к его сыну Пьеро. В связи с этим важным событием Алессандра сообщает, что "...некоторым горожанам пришли в голову новые мысли об управлении государством" и изгнанники могут питать больше надежд на возвращение (с. 323-325). "Теперь [настало] время, когда проверятся друзья," - говорит она Филиппо (с. 556, январь 1465 г.). Почти в каждом письме даются оценки, подчас детальные, тех или иных лиц, в особенности - пользующихся доверием Медичи. Иногда она сокрушается: "Сегодня трудно найти верного человека, который держит слово" (с. 387).

В мае 1465 г. Филиппо обращается к Пьеро с верноподданническим посланием: "...Я был хорошим слугой... Козимо... Располагайте мною и Лоренцо в течение всей вашей жизни, как своими рабами" (с. 413). Вскоре братья отправляют Пьеро 450 апельсинов (с. 436). Однако затем младший брат совершает необдуманый шаг: дает согласие на его избрание членами флорентийской колонии в Южной Италии консулом. И Алессандра, и Марко сочили, что тем самым Лоренцо может нажить себе врагов, а "вы нуждаетесь не во вражде, а в милости" (с. 492-493). Лоренцо пришлось отказаться от должности.

Однако склонный к подозрительности Пьеро медлит. Алессандра недовольна также его советниками, так как они упускают благоприятную возможность ходатайствовать за ее сыновей. В связи с этим она замечает: "Тот, кто обладает временем и ожидает [лучшего], теряет время" (с. 534). Алессандра пишет о тех, которые причиняют вред "нам, которые ожидают выхода из чистилища" (с. 527), подразумеваемая под чистилищем изгнание. С горечью восклицает она: "Господь, исцели Флоренцию, которая нездорова" (с. 550, январь 1466 г.). "Дела идут плохо... Пусть делают, что хотят, эта земля больна" (sta male), - таков лейтмотив этих писем (с. 555). Члены "Совета Ста" то и дело меняют свое отношение к изгнанникам и "колеблются, как лист на ветру" (с. 568). Порой она надеется на благоприятный исход, передает старшему сыну совет: "Пьеро Антонио... сказал мне, чтобы ты держал сторону Пьеро [Медичи]" (с. 562), и уповает на то, что "...мир изменится, причем скоро" (с. 567), а порой ею овладевает полное отчаяние, которое она приписывает и другим флорентийцам. Например, ссылаясь на слова некоей Гостанцы ди Бернадетто, она сообщает в письме, что Бернардо умер от "меланхолии": «...страшась, что его изгонят, он [перед кончиной] каждодневно повторял: "Что я буду делать, старый и больной, вне моего дома?"» (с. 556). По убеждению Алессандры, Флоренции приносит большой вред отсутствие согласия между горожанами.

Как мы видим, тон писем в целом заметно изменился: в них обличается (хотя и завуалированно) родной город, появляются явно публицистические мотивы. Их содержание обрисовывает меняющийся духовный облик Алессандры, точнее – выявляет еще одну, новую его грань. Ее анализ политических событий, описание людей принимавших в них участие, без сомнения, представляют интерес. Эти послания резко отличаются от тех, которые написаны позднее, после возвращения сыновей, когда их приватная жизнь (в особенности Филиппо) наладилась.

Оказавшись во Флоренции, Филиппо ведет себя крайне осмотрительно. Он категорически запрещает брату жениться на Маристте (см. выше) главным образом потому, что “и Пьеро [Медичи], и другим лицам государства не понравится, если я соглашусь... Мы теперь не принадлежим к числу [важных] сеньоров и должны быть осторожными” (с. 595). Аргументом, убедившим Филиппо разрешить Фьяметте пойти, по настоятельному приглашению матери Лоренцо Великолепного, на его свадьбу, были слова его младшего брата: “Ты знаешь, что непослушание карается” (с. 600).

Все оставшиеся годы Филиппо поддерживал хорошие отношения с Лоренцо Великолепным (получившим в 1469 г. власть). Он даже приступил незадолго до своей смерти к строительству палатцо как бы по предложению Лоренцо<sup>26</sup>. Впрочем, надо заметить, что конформизм, свойственный Филиппо, означал после возвращения во Флоренцию также его инкорпорацию в систему политических связей синьории (хотя и не обязывал к активной политической жизни).

Жизненная позиция, которая характерна для Алессандры и ее сыновей, получила свое крайнее выражение в “Памятных записках” Морелли. Последний обращается к сыновьям со словами: “Не доверяйся никому – ни мужчине или женщине... или родичу” (Мог., р. 180, то же – р. 185). “Не следует никому давать деньги в кредит... Если ты дашь займы тысячу флоринов... и ты умрешь, твои сыновья не получат и веревки от мешка” (Мог., р. 189). Те же поведенческие принципы Морелли распространяет и на взаимоотношения с людьми, обладающими властью. “Постарайтесь породниться с добрыми, пользующимися любовью и могуществом горожанами... Когда видишь, в чем он [подобный горожанин] пуждается, постарайся услужить ему” (Мог., р. 190-191). Автор советует опереться на тех, “кто занимает публичные должности... и влиятелен, и внушает доверие, и безупречен... Держись всегда тех, кто владеет палатцо и властью, и следуй их воле и приказам” (Мог., р. 201) и т. д.

Была ли Алессандра женщиной религиозной? Разумеется, была – подобно другим пополам или патрициям и членам их семей. Она не скупится на нравоучения христианского толка и ссылается на Евангелие: “Одна из вещей, приносящих вред, – не выполнять

долга по отношению к ближнему" (с. 233). "Воздавайте добром за зло... и вы спасете душу", – привычно пишет она (с. 542) хотя это, в сущности, не сопрягается с ее мировосприятием. В то же время ей, как и прочим пополам, свойственно своеобразное сочетание веры и трезвого подхода к земным делам – столь трезво, что в случае необходимости можно и несколько поступиться заповедью милосердия, любовью к ближнему. Такая, по выражению Л. М. Баткина, обмирщенная религиозность<sup>27</sup>, лежит в основе ее мировосприятия. Да даст вам Господь хорошую прибыль", – желает она сыновьям (с. 454). Это звучит как надпись на счетных книгах многих купцов: "Во имя Бога и прибыли". И Алессандра не одинока, когда желает Филиппо и Лоренцо в письмах "здоровья и счастья души и тела" (с. 155, 379, 500 и др.), причем акцент неосознанно переносится на тело. Точно так же и брак она воспринимает как радость для обоих супругов (с. 472). "Добрая спутница приносит мужу утешение души и тела", – убеждает она Филиппо (с. 470). И вполне в духе того времени совет, обращенный к сыновьям: "Старайтесь жить как можно дольше" (с. 295).

Иногда Алессандру посещают мысли, что Господь не дал ей радости жить вместе с ее сыновьями за ее грехи (с. 509–510), но для ее обычного мироощущения не характерны подобные обличенные в форму клише мысли: как правило, она не намерена пассивно подчиняться воле Божьей или фортуны. Исключения составляют те случаи, когда предпринимать что-либо уже поздно, к примеру, после получения известия о смерти сына Маттео, а выражаясь словами Марко, "ничто не является таким несомненным, как смерть" (с. 187). При таких обстоятельствах религия служит ей опорой. После кончины младшего сына, вернувшись с исповеди, она передает Филиппо слова монаха фра Доменико: "Богу было угодно призвать его к себе таким молодым, ибо, чем раньше мы расстанемся с этой несчастной жизнью, тем меньше груз грехов, которым мы обременены" (с. 196–197). Но и тогда она ищет утешения не только в уверенности, что Маттео находится в раю, но и в соображениях чисто земного свойства: для его лечения, по заверению Филиппо, было предпринято все возможное. Алессандра (как и ее корреспонденты) часто призывает к терпению – одной из высших христианских добродетелей. Однако все долгие годы – до возвращения сыновей во Флоренцию – она необыкновенно деятельна, полна несокрушимой энергии и готова пожертвовать многим, использовать любые средства для того, чтобы достигнуть поставленной цели. В ее сознании превалирует светское начало. Это относится и к их женитьбе. "Теперь я сделала все, что касается меня, – да устроит Господь получше" (с. 472). И когда она привычно пишет: "Положимся во всем на Бога, который все устраивает к лучшему", она тут же добавляет, что сама сделает все возможное (с. 528). Более того, она заявляет Филиппо, что намерена доби-



ваться их брака “тот малый срок, который у меня еще остался, отбросив в сторону дела, кои я могла бы свершить во спасение души моей и наших предков” (с. 548), – заявление, почти кощунственное для того времени. С ним контрастируют вполне традиционные слова, обращенные к старшему сыну: “Для меня большое утешение и радость, что ты... всегда избираешь правый путь во спасение своей души” (с. 273).

Точно такой же характер носит вера братьев. Филиппо пишет брату после смерти Маттео: “Я не могу помыслить, что это – [кара] за наши грехи, но скорее – за грехи предков” (с. 191). Итак, Филиппо считает себя и брата заслуживающими Божьей милости и снисхождения: их жизнь и занятия, по его убеждению, вполне достойны и не должны навлечь на них гнев Божий и столь суровое наказание, как гибель Маттео.

Таким образом, членам семьи Строцци свойственна нетрадиционная религиозность купеческого типа.

Алессандра руководствовалась во всех своих действиях интересами сыновей. Она резонно полагает, что материнское чувство по своей природе сильнее, чем сыновье. Мечтая в 1465 г. о совместной жизни с Филиппо и Лоренцо, она пишет старшему: “Если для вас все это было бы важно, поразмысли, насколько это было бы важнее для меня, ибо по естественной причине (*per ragione naturale*) я должна испытывать по отношению к вам большую любовь и нежность, чем вы по отношению ко мне” (с. 394).

Однако, парадоксальным образом, чем больше она подчиняла свою жизнь их интересам, тем ярче выявлялись ее собственные индивидуальные черты. Бесконечно преданная сыновьям, она пристрастна всегда и во всем. В ее характере причудливо переплетаются любовь и равнодушие, доброта и жестокость, восторженность и подозрительность.

Жизненный путь Алессандры был нелегким. Печаль, горе, скорбь (*malinconia*) и “утешение” (*consolazione*) – слово, означавшее скорее радость, – таковы два полюса, между которыми протекала ее душевная жизнь. У Алессандры, разумеется, превалировало в письмах первое из этих ключевых слов (хотя между ними пролегал все более широкий спектр разнообразных чувств). Только в последние годы ее жизни, когда сыновья поселились во Флоренции и у Филиппо появилась юная жена и вскоре – первенец, печаль сменяется радостью и умилением, делающими ее порой наивно-простодушной, почти такой, как Фьяметта.

• • •

В сознании Алессандры глубоко укоренились гендерные представления о предназначении женщины, нормах ее поведения в рамках семьи, которые полностью вписывались в соответствующую по-

поланскую парадигму. Именно под этим углом зрения она оценивает в письмах характер и поступки других женщин. Да и сама она была бы в обычной обстановке просто хорошей женой и матерью, рачительной хозяйкой. У нее родился (уже после смерти мужа) восьмой ребенок, трое детей к этому времени умерли – привычная судьба замужней женщины.

Гибель мужа, когда она была еще сравнительно молода – тридцати с небольшим лет, означала для нее переход к более свободному статусу вдовы. Она оказалась в трудных обстоятельствах главой семьи с малолетними детьми (во Флоренции ей была возвращена только принадлежавшая ей доля семейного состояния).

У Алессандры было сильно развито сознание принадлежности к роду Строцци, и она ощущала близкими себе только трех сыновей (дочери, повзрослев, после замужества ушли в другой род). Именно с сыновьями у нее были связаны надежды на новое возвышение клана. Но, по мере их взросления, ей приходилось поочередно расставаться с ними. Юношей умирает на чужбине младший, самый любимый сын Алессандры, что явилось для нее глубоким потрясением. В течение многих лет Филиппо и Лоренцо не пускают во Флоренцию. Тоска по ним и одиночество – лейтмотив писем монны Алессандры.

В тех экстремальных условиях, в которых оказалось ее семейство, особенно ярко высвечивается эмоциональная напряженность ее душевной жизни и вместе с тем – исключительная активность и целеустремленность, обращенность к конкретным делам, требующим от нее максимальной самоотдачи. Все это способствовало развитию таких качеств, которые изначально были заложены в ней лишь в зачаточном состоянии. Таким образом ломаются поведенческие стереотипы. Алессандра выходит за пределы обыденного, роли, отведенной ей обществом. Она не обращена к прошлому, не вспоминает мужа и умерших детей, все ее помыслы обращены к настоящему и будущему. На каждом этапе своей жизни, по мере смены одних обстоятельств другими, подчас еще более трудными (к примеру, трехдневное пребывание Лоренцо у ворот Флоренции, куда его так и не пустили), меняется и она. С начала 60-х годов Алессандре приходится принимать во внимание разнообразные факторы сложной политической жизни, лавировать и искать новые решения, а также людей, которые оказывали бы ей помощь.

\*\*\*

Алессандра смиренно пишет, что у нее мало ума (или, скорее, разума) (*i'sia di poco intelletto*, с. 566). Впрочем, Морелли тоже говорит: “по моему бедному разумению” (*povero intelletto*. Мор., р. 167) – выражение вполне традиционное. Но ее близкие не раз говорили, что она “обладает не женской, а мужской душой” (с. 77, письмо Мар-

ко Паренти; см. также отзывы о ней Филиппо, с. 186 и Дж. Бонси, с. 180). Заметим, что характер этой похвалы основан на привычном убеждении в превосходстве мужчины над женщиной.

Неоспоримо сильное влияние, которое Алессандра оказывала на родных, даже на властного Филиппо. Хорошие отношения, установившиеся между братьями, в большой степени – ее заслуга. С готовностью выполняет ее просьбы-приказы Марко Паренти, человек волевой, в свое время написавший: “Отважные люди не позволяют фортуне одолеть себя” (с. 187). О том, что Фьяметта всецело подчиняется не только мужу, но и свекрови, косвенно свидетельствует необычная подпись под ее письмом мужу: “Ваша Фьяметта *ди монна Алессандра*” (вместо имени собственного отца!) (с. 599).

В письмах Алессандры отчетливо выражено личностное начало. Они представляют собой не только способ общения с близкими. Сам процесс их написания не мог не вызывать у нее потребности самовыражения, более того – самоанализа, рефлексии. Это не глубокая философская рефлексия, но все же рефлексия – на более поверхностном, прагматическом уровне, – которая усложняла ее внутренний мир. Его углубление стимулируется, в частности, страданием. Она размышляет (и пишет) о силе материнской любви, о своей тоске и одиночестве. Осмысление получает ее неутомимая деятельность. Со временем содержание посланий Алессандры обогащается новыми мотивами: она характеризует политическую обстановку во Флоренции, отдельных деятелей, выстраивает целые стратегические планы. У Алессандры усиливается способность анализировать конкретное соотношение сил, предвидеть возможные последствия того или иного шага.

• • •

В это время семья становится для деловых людей во все большей мере убежищем от жестокой действительности. Увеличивается ее закрытость, тесные связи, не только материальные, но эмоциональные и духовные, в основном ограничиваются узкими рамками – сношениями между самыми близкими родственниками. Еще нельзя говорить о самостоятельности личности, дихотомия личного и корпоративного начала не преодолена полностью, супружеская семья опирается в известной степени на родных и “друзей”. Но начался процесс индивидуализации личной и духовной жизни человека<sup>28</sup>; появляется потребность в интроспекции. Даже в супружеской семье ее глава порой нуждается в уединении (впрочем, Алессандра еще не могла этого ощущать).

Оборотной стороной упрочения ядра семьи были, естественно, ослабление связей в пределах широкого круга родственников, соседских уз и корпоративной солидарности, разрыв многих нитей, соединяющих человека с внешним миром.

Пополаны постепенно освобождаются от привычных ментальных и поведенческих установок. В сознании Морелли, Питти и других купцов – авторов памятных записок – сталкивалось и взаимодействовало множество идеологических, нравственных, эмоциональных начал, – и Алессандра разделяла их мироотношения. Разумеется, она сохранила, подобно купцам-писателям, часть устоявшихся понятий. Как мы видели, идеал внутрисемейных отношений не меняется (разве что брак признается не только духовным, но и телесным удовольствием). Но в критериях выбора невесты большее значение придается ее красоте и другим “качествам”, а роль родни уменьшается. Термин “знатность” приобретает в итальянском городе отнюдь не средневековое наполнение. А главное – в этой среде превалирует новая система ценностных координат. Так, нельзя не обратить внимание на то, какое место занимают в повседневной жизни монны Алессандры деньги. Она постоянно занимается расчетами, часто мелочными: рассуждает, как бы сэкономить на отправлении посылок, покупке съестных припасов и пр., и пр. На таком же расчете строятся взаимоотношения сыновей с родней (особенно – при дележе наследства). Даже после того, как Филиппо превратился в очень богатого представителя почтенного рода Строчци, главной целью для него оставалось дальнейшее материальное преуспевание (впрочем, это богатство никак не отразилось на образе жизни самой Алессандры: он остался таким же скромным). Так формируется кардинально новое понимание смысла жизни вообще. Меняется и характер религиозности. Бросается в глаза сходство в основных своих характеристиках видения мира, пока еще не лишено противоречий, у Алессандры и ее сыновей и у других пополанов (несмотря на разнообразие их типов).

На долгом пути формирования личности Алессандра Строчци опережает многих своих современников. Ее необычность, особость заключается в большой глубине чувств. И хотя в этом отношении отдельные купцы-писатели, скажем Морелли, тоже уникальны, отличие все же имеется: оно заключается в том, что она – женщина, долгие годы в очень трудных условиях активно борющаяся за воссоединение семьи. Таким образом, ее вполне уместно причислить к тем женщинам начала нового времени, которым свойственно, по выражению Л.П. Репиной, “девиантное поведение, отличающееся повышенным драматизмом...”<sup>29</sup>.

Алессандра незаурядна и в другом отношении. Она принадлежит к той же среде, что и купцы, которых потребность в самовыражении толкала на составление записок и мемуаров. Но она – автор десятков писем, а других женских писем XV столетия, содержащих то, что ей удалось так полно выразить в своих посланиях (к тому же – формируя себя через переписку), пока еще не нашлось в итальянских архивах.

В яркой и динамичной пололанско-патрицианской среде Алессандра выделяется своей неповторимостью; по своему духовному складу она в некоторых отношениях близка к индивидуальности нового времени.

### Примечания

- 1 При этом не следует сводить Возрождение к идеологическим потребностям этих людей, так как культура отличается *самодостаточностью*. «Ренессансная культура (и гуманистическая интеллигенция) была способна "служить" обществу, лишь сохраняя независимость, т. е. не просто кодируя на своем языке внешние импульсы, но истолковывая их как собственные внутренние противоречия... Культура преобразует общество, а не только санкционирует задним числом его преобразования» (*Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. С. 14).
- 2 До сих пор не утратило своей актуальности исследование К. Бека о купцах-писателях: *Bec Ch.* Les marchands Ocrivains. Affaires et humanisme à Florence (1375-1434). P., 1967. Из современных русских работ отметим: *Краснова И.А.* Деловые люди Флоренции XIV-XV вв. М.; Ставрополь, 1995. Ч. I, II.
- 3 *Alessandra Macinighi negli Strozzi.* Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli / Pubbl. da C. Guasti. Firenze, 1977. В дальнейшем все ссылки на письма приводятся в самом тексте.
- 4 По флорентийскому кадастру (налоговой описи) 1427 г. род Строчици (имя, которое носили 53 семьи) занимал по своему богатству первое место в городе. Ему принадлежало 2,1% всего облагаемого налогами капитала. См: *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* Tuscans and their Families. New Haven; London, 1985. P. 100.
- 5 О Марко Паренти см. фундаментальную работу М. Филлипса: *Phillips M.* The Memoir of Marco Parenti. A Life in Medici Florence. 2 ed. L., 1989.
- 6 Ипполита – дочь миланского герцога. Была выдана замуж за сына неаполитанского короля.
- 7 Алессандра явно оценивает размеры этого приданого слишком низко: она сама выдала замуж свою старшую дочь Катерину, заплатив 1000 флоринов, и позднее, при браке младшей – Алесандры – отдала ту же сумму (200 флоринов добавили родители). Хорошим приданым в этой среде в то время считалось примерно 1400-1600 флоринов (приданое самой Алесандры в свое время составило 1600 флоринов, за каждую из сестер Адимари давали по 1500 флоринов). Некий Манфредо обещает за свою дочь 2000 флоринов, но он стремится, как сообщает Алесандра, породниться с кланом Питти (знатным и могущественным) (с. 395). Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер отмечают увеличение размеров приданого на протяжении XIV-XV вв.: *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* Op. cit. P. 223-226.
- 8 Согласно кадастру 1427 г., в тосканских городах средний брачный возраст женщин равнялся примерно 18,9 годам, мужчин – около 27,9 лет: *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* Op. cit. P. 205.
- 9 *Phillips M.* Op. cit. P. 44.
- 10 *Klapisch-Zuber Ch.* Le serve a Firenze nei secoli XIV-XV // Ch. Klapisch-Zuber. La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze. Roma; Bari, 1988. P. 280.
- 11 *Ibid.* P. 273-275.
- 12 *Brucker G.A.* Firenze nel Rinascimento. Firenze, 1980. P. 23-24, 219-220.
- 13 Цит. по: *Phillips M.* Op. cit. P. 50.
- 14 *Ibid.* P. 51.
- 15 *Brucker G.A.* Op. cit. P. 220.
- 16 О земельных владениях Алесандры см.: *Котельникова Л.А.* Феодализм и город в Италии в VIII-XV веках. М., 1987. С. 140-142.

- 17 В письме в Неаполь Марко писал, что Пандольфо сочетал в себе змания и добродетель. См.: *Phillips M.* Op. cit. P. 165.
- 18 *Morelli G.* Ricordi // *Mercanti Scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento* / A cura di V. Branca. Milano, 1986. P. 168. Далее в тексте: *Mor.*
- 19 *Barbaro Fr.* De re uxoria liber // *Prosatori latini del Quattrocento* / A cura di E. Garin. Torino, 1976. P. 110.
- 20 *Alberti L.B.* Libri della famiglia / A cura di R. Romano, A. Tenenti. Torino, 1969. P. 208–209.
- 21 *Phillips M.* Op. cit. Марко перед женитьбой на Катерине написал Филиппо, что желает породниться с ними "так сильно, что сильнее невозможно", и никакие труды, затраченные на них и их дела, не покажутся ему чрезмерными (с. 12–13).
- 22 Сопоставление нравственных ценностей попопанов и сублимированных представлений о человеке гуманистов см.: *Абрамсон М.Л.* От Данте к Альберти. М., 1979. С. 36–37.
- 23 О длительных неурядицах и тяжбах между членами флорентийских кланов см.: *Краснова И.А.* Указ. соч. Ч. II. С. 12–14.
- 24 Франческо Строцци умер в 1450 г. Об остальных родственниках из клана Строцци говорилось выше.
- 25 Речь идет о Пьеро Пацци, сын которого Ренато 15 лет спустя участвовал в заговоре против Медичи и был повешен (см. с. 259–260).
- 26 *Phillips M.* Op. cit. P. 214.
- 27 *Баткин Л.М.* Указ. соч. С. 218.
- 28 *Braunstein Ph.* Towards Intimacy (XIV-XV c.) // *A History of Private Life. Vol. II. Revelations of Medieval World* / Ed. G. Duby, Ph. Ariès. Cambridge: London, 1988. P. 535–536.
- 29 *Ретина Л.П.* "Новая историческая наука" и социальная история. М., 1998. С. 275.

## Глава 4

### “Что в имени тебе моем?..” Семья и имя во Фландрии XII–XIII веков

Проблема имянаречения людей, конечно же, связана с миром их чувств. Известно, какие страсти порой разгорятся в семье вокруг выбора имени новорожденного ребенка, какое значение придадут этому выбору и сами родители, и их близкие, иногда более дальние родственники, друзья, знакомые и даже соседи.

Для историка данная проблема значима, прежде всего, как средство проникновения во внутренний (в том числе эмоциональный) мир людей прошлого, в их представления, переживания и чувства о престижности (или не престижности) тех или иных имен, прозвищ, а также тех символов и понятий, которые эти имена и прозвища могли выражать. Не случайно одними из первых, кто сразу же обратил внимание на перспективность антропонимического подхода для изучения умонастроений, чувств и верований людей эпохи средневековья, были Марк Блок и Люсьен Февр<sup>1</sup>. Именно они дали первый импульс интересу медиевистов к антропонимическим исследованиям, которые особенно интенсивно развернулись в последние годы<sup>2</sup>.

Однако в задачу задуманного нами исследования входит понимание не просто массовых антропонимических представлений (ментальностей, топосов, “норм”, “моды”), но и того, как они реализовывались в практике *антропонимического поведения* конкретных семей в среде средневековых простолюдинов. Какие факторы влияли на это поведение? Было ли оно целиком и полностью подчинено неким “автоматизмам”, определялось общими представлениями и, безус-

ловно, следовало “незыблемым”, “вечным”, “признанным” традициям или оно было вариативным, оставлявшим место для осознанного индивидуального выбора, не обязательно во всем соответствующего, а может быть, и даже нарочито противоречащего общей расхожей норме? В какой мере это поведение совпадало или, напротив, не совпадало у отдельных конкретных семей? От чего зависели эти различия, если они существовали? Как сказывалась на процессе имятворчества принадлежность семьи к той или иной этнической, социальной или родственной группе, монастырской и деревенской общине? Какую роль при этом могла играть сама супружеская пара? Что заставляло родителей (кого из них в большей мере?) отдавать предпочтение выбору тех, а не других имен для своих детей? Что это были за имена по своему типу и происхождению? Какие функции выполняли эти имена в семье? Существовал ли особый семейный именной фонд у каждой семьи? Насколько стабильным он оставался от поколения к поколению?

Разумеется, решение всех этих вопросов немыслимо в рамках одной статьи. Попытаемся ответить хотя бы на некоторые из них, используя в качестве источника для их освещения документ из фонда преемства св. Аманда в Куртре, хранящийся в архиве г. Брюгге и опубликованный более полувека тому назад<sup>3</sup>. Оригинал его представляет собой пергаменный свиток шириной немного больше тетрадного листа и длиной около двух метров. К сожалению, свиток сохранился не целиком: оторван его верхний край и есть разрывы по его длине. Пергамен содержит длинный список имен, написанный готическим письмом несколькими почерками. Он не был записан сразу и одновременно. Самая ранняя рука (“А”) – по мнению издателя – датируется последней четвертью XII в., самая поздняя (рука “D”) – первой половиной XIII в. Таким образом, документ создавался в течение более полувека – в конце XII – начале XIII в.

Основная часть текста была записана по левому краю свитка рукой “А”. При этом между строк и справа оставались лакуны, некоторые из них заполнились более поздними интерлинейными и маргинальными записями; последние как бы создавали промежуточную вторую колонку. Позднейшие записи сделаны и в конце рукописи, вероятно, остававшемся до того свободным.

Так как свиток был поврежден, заголовок документа (если он, конечно, вообще существовал) отсутствует; утрачено и начало текста, также невозможно прочитать несколько слов в его середине. Сохранившаяся часть текста начинается со слов: *In Morcelis. B[erta]...* Затем с новой строки следует новый перечень нескольких имен: *Wraukin. Aua. Helewif. Au[a]...*, и далее, каждый раз начиная описание следующей группы имен с новой строки, список содержит более полутысячи имен. Имена почти исключительно женские. Изредка после имен упоминаются и прозвища (*sconeau, fola, rufa*), иногда по



месту происхождения (de Grimertinge, de Agro, de Pagebroc) или по месту замужества (nupta in Bossut; quae nupsit in Pascendale).

Структура списка проста: он разделен на части, каждая из которых начинается с упоминания поселения (In Morcelis... In Gudelghem... In Ledenghem... etc). Всего приведены названия 15 населенных пунктов, к ним были приписаны от менее десятка до более сотни человек. Внутри каждой части имена – как уже указывалось – разделены на группы. Описание группы начинается с новой строки, и, кроме того, одна группа отделена от другой особым знаком §. Внутри отдельных групп встречаются иногда краткие указания на родственные связи некоторых из поименованных в них: чаще как f. или fi. (= filia; filie; filius); реже как soror, frater такой-то. Всего по 15 поселениям было описано более 500 человек, главным образом женщин, сгруппированных в 90 подобных групп.

Особенности манускрипта прекрасно иллюстрирует его фрагмент. Вот его текст:

§ Helewif. de Grimertinge. Renelt. f. Helewif. Isabela. f. Renelt. Lisa. f. Isabele. Magteld. f. Lise. Gondrat. Magtelt. Aua. Heleuif. Ogiua. Aua.

§ Bertelt. Berta. Magtelt.  
f. Mabilie.

§ Mabilia. (de Agro). Adelisa Mabilia et  
Margareta fi. Mabilie. filie Adelise Maba  
et Grieta Sygerus fi. Mabilie, filie  
Margarete. Mathildis et Margareta.

§ Aua. sconeau. Mabilia. Magtelt. Sabina. Magtelt.

§ Aua. Wilberga. Magtelt. Agnes.

§ Raiart. Ermengard. Helewif. Neta. Sara. Helewif. Ghisela.

Bertilt. Lisa. Didala. Beatris.

§ Reinelt. Agnes. Gertrudis et Eua. Godelif. Mattildis.

§ Gherdert. Adela.

§ Heila. (de pagebroc) Lisa. fi. eius.

§ Aua. Ermenwara. Magtelt.

Gertrudis fi. Lise.

Mabilia.

§ Berta. Magtelt. Aua.

В приведенном отрывке ясно виден основной текст, начинающийся с левого края свитка после знака § и написанный рукой "А". С правой стороны в двух местах отчетливо выделяются две более поздние записи. Первая сделана рукой "С", начиная со слов Mabilia. (de Agro) и кончая именами Mathildis et Margareta. Вторая – рукой "D" от Heila (de Pagebroc) до fi. Lise.

Заметно также, с каким постоянством одна группа имен отделяется от другой особым знаком § и как родственные связи, хотя и нерегулярно, указываются только *внутри* группы, т. е. между женщинами из одной и той же, а не разных групп. Очевидно, что женщины не случайно были объединены в эти группы и что речь идет, скорее всего, о каких-то *родственных* группах.

Более того, обращает на себя внимание, что указание родственных связей внутри этих групп в поздних записях приобретает характер описания настоящей родословной – как в случае с Mabilia (de Agro) из вышеприведенного фрагмента:

Mabilia. (de Agro). Adelisa. Mabilia et Margareta fi. Mabilie. filie Adelise Maba et Grieta. Sygerus fi. Mibilie, filie Margarete. Mathildis et Margareta.

Вероятно, и группы из основного текста, записанные рукой “А”, тоже представляют собой не просто какое-то случайное нагромождение имен родичей, но некую их *генеалогическую линию*. Собственно, иногда это прямо и выявляется, например, в том же фрагменте, где в одной из таких групп эта линия состоит из пяти (!) поколений прямых женских потомков некоей Helewif de Grimertinge:

Helewif. de Grimertinge. Renelt. f. Helewif. Isabela. f. Renelt. Lisa. f. Isabele. Magtelt. f. Lise. Gondrat.

Таким образом, предпоследняя из описанных здесь женщин, Magtelt, представляет собой ее *праправнучку*, а это означает, что перед нами не просто некая реальная родственная группа, состоящая из родственников, живущих в одно время и в одном поселении, но некая часть их родословной, члены которой жили, происходили или были приписаны к определенному поселению (в данном случае Morcele).

В свете этого можно предположить, почему в отличие от современных ей поместных описей (*sensiers*) в данной описи были столь редки прозвища: в использовании их не было особой нужды, поскольку женщины даже с одинаковыми именами легко идентифицировались и отделялись друг от друга в генеалогическом ряду.

Косвенным подтверждением тому, что речь идет именно о родословных, вероятно, служит и еще одно обстоятельство. Есть случаи, когда группы имен почему-то повторяются в разных частях описи. И эти совпадения вряд ли случайны, поскольку полностью сохраняется та последовательность имен, с которой они перечисляются<sup>4</sup>. Подобные повторы – а их несколько в описи – невозможно объяснить одной только миграцией женщин из одного поселения в другое: данные записи были сделаны одновременно одной рукой “А”, и, следовательно, эти женщины не могли присутствовать в двух разных поселениях одновременно. Более вероятно, что речь идет о двукратном описании одной и той же *ветви* внутри родословной, часть которой была приписана к одному селению, а часть – к другому.

Есть еще один косвенный аргумент в пользу предположения о том, что группы имен, на которые была разделена опись, представляют собой не просто родственные, но родословные группы. На обороте свитка видна надпись, сделанная рукой XVII в.: *Videtur genealogia...* Возможно, это – поздняя копия несохранившегося заголовка документа?

Что же за документ перед нами? Несомненно, целый ряд его особенностей свидетельствует о том, что это – *опись церковных зависимых* (sanctuariae, tributariae), скорее всего, превотства св. Аманда в Куртре, поскольку опись отложилась именно в его фонде. Подобные описи не были редкостью во Фландрии XIII в. Вот, например, как похож на нее фрагмент описи более 200 зависимых монастыря св. Бавона в Генте, составленной около 1220 г.:

... Axla: Wivesin, Gommar, filii Iordanus, Adam, Vorthiardis; Columba, Gertrudis, Bertildis.  
Imma de villa Tempseca.  
Berta apud Berdams. ...<sup>5</sup>

Или вот опись монастырских зависимых XIII в. соседнего с ним монастыря св. Петра в Генте:

De Lemberghe.  
Adelenth et soror eius, Thetin,  
Veregina de Welliue,  
Felicitas de Ysendike,  
Aghata de Suinarde,  
Margaretha de Ermelghem,  
Aghatha de Gant, ...<sup>6</sup>

Другая опись того же монастыря, составленная около 1239 г.:

Haec sunt nomina quae spectant ad advocatiam B. Petri Gandensis:  
In Hule et Curne,  
Heyla de Beka: Reynewif filia ejus, Imma uxor Walteri Wale;  
Heila, Grita, Gerardus et Henricus filii ejus, Ava soror Immae, Marotha, Sara,  
Daniel et Michael filii ejus. ...<sup>7</sup>

Фрагменты подобных описей есть и в фонде монастыря Энам. Вот, например, список (ок. 1132-1150) сервов этого монастыря из селения Ногенбека:

Isti sunt servi et ancille de Horenbeca: Balduinus, Walterus, Michael [ . ]  
Beatrix, Reinsuendis, Thideldis, Grita, Gerardus, Walterus<sup>8</sup>.

Поучительно сравнить эту опись с грамотой (составлена до 1150 г.), сохранившейся в архиве того же монастыря, по которой некий Voistin de Horembeca передает ряд своих сервов монастырю в качестве зависимых (sainteurs) и которая, помимо прочего, содержит описание их генеалогии, причем среди ее членов фигурируют, в том числе, как раз и вышеназванные сервы (выделены мной жирным шрифтом):

Horum autem servorum et ancillarum nomina sunt: Humburgis mater, cuius filii Rogerus, Michael, Robertus, Gerardus, Ermengardis, Thideldis; filii Ermengardis: **Balduinus, Walterus, Gerardus, Michael, Paulus, Wiricus, Beatrix, Imma, Reinsuendis**; filii Thideldis: **Walterus, Margareta**<sup>9</sup>.

Таким образом, оказывается, что первый текст дает не просто опись группы жителей одной деревни, зависимых от этого монастыря

ря, но описание части *семейной* группы, причем в целом сохраняя при ее описании *генеалогическую последовательность* семейных связей между ее членами.

В этом отношении особенно примечательна опись зависимых монастыря Notre-Dame de Bourbourg, составленная во второй половине XIII в., в которой фигурируют около ста человек, главным образом женщины, живущие в трех деревнях:

Haec sunt (nomina) eorum qui spectant ad advocatiam ecclesie Broburgensis.

In Ruscléd:

Emma de Atrio.

Grieta, filia Emme.

Stephania, filia Emme.

Stephania, filia Grite.

Beatrisa, filia Grite. ... etc.<sup>10</sup>

Описание женщин в ней ведется строго в генеалогической последовательности. Тщательность, с которой фиксируются здесь связи родства, позволяет реконструировать по этой описи несколько крупных родословных.

К сожалению, в описи церковных зависимых превотства св. Аманда в Куртре семейные связи отмечены со значительно меньшей регулярностью<sup>11</sup>. Тем не менее и здесь, помимо нескольких небольших генеалогий (как, например, Mabilie de Agro из вышеприведенного фрагмента), удается реконструировать по крайней мере одну большую родственную группу, включающую и саму упомянутую генеалогию Mabilie de Agro, и ряд других семейных групп. Это — группа родичей de Agro, внутренняя структура которой, к сожалению, неясна:

In Gudelghem.

Hercsend de Agro. Versend.

In Ledenghem.

Hereborg de Agro. Drilborg. Hildeborg. Berta. Helewif.

In Morselede.

Inghelborg de Agro. Volsent. *Mabilia f. Berta. Godelif. Peronela. Celia. Marina*.....a. Gertrudis. Inghelware. Gertrudis. Aua. *Celia. Lismod. Liedewif. soror Celia. Magtelt. Clemma. [Be] atris.*

Erenborg de Agro. *Celia. Sara. Heila. Gertrudis.*

In Morcelis.

Bertelt. Berta. Magtelt. f. *Mabilie.*

*Mabilia. (de Agro). Adelisa Mabilia et Margareta fi. Mabilie. filie Adelise Maba et Grieta Sygerus fi. Mabilie, filie Margarete. Mathildis et Margareta.*

Возможно, и некоторые другие семейные группы в этой описи тоже являются родственными. Во всяком случае, есть основания рассматривать подобные описи и ранее изучавшиеся нами генеалогии церковных зависимых<sup>12</sup> как варианты одного и того же типа документа,

в котором описание этой социальной категории средневековых простолюдинов во Фландрии XII–XIII вв. ведется явно (как в генеалогиях) или неявно (как в описях) родословными группами.

Подтверждением тому служит, в частности, тот факт, что весьма сходными оказались и демографические характеристики описей св. Аманда в Куртре и св. Бавона в Генте, с одной стороны, и генеалогий церковных зависимых соседних с ними монастырей св. Спаса в Энаме и св. Петра в Генте – с другой (см. график № 1).

И здесь, и там отмечается, хотя и в разной степени, значительное численное преобладание женщин: соотношение полов варьирует от 14 до 46 мужчин на 100 женщин. Практически в них одинакова доля матерей среди женщин (44% – 47%), близки половой состав и число детей (в среднем 2,0 – 2,8 детей у одной матери, в том числе 0,3 – 1,0 сыновей и 1,7 – 1,9 дочерей). Всюду преобладают – хотя и в разной степени – матери, среди детей которых описаны только дочери (53% – 80%), и ничтожно мала доля матерей с отмеченными у них одними лишь сыновьями (4% – 8%). Существенно различаются лишь размеры самих родословных: в описях они почти в 2 раза меньше, чем в генеалогиях (соответственно в среднем 9,1 чел. и 18,0 чел.), что свидетельствует об их фрагментарности и неполноте в описях.

Нам уже приходилось отмечать на материале генеалогий церковных зависимых монастыря св. Спаса в Энаме, что эти наблюдения не столько свидетельствуют о демографических реалиях, сколько отражают особенности счета и восприятия родства, разную степень описания родичей разного пола у зависимых данной социальной категории<sup>13</sup>. Речь идет о преимущественном учете женщин, находившихся в родстве по женской линии. Все это нашло теперь полное подтверждение не только по данным генеалогий, но и описей церковных зависимых других, соседних с Энамом, монастырей. Не свидетельствует ли это о существовании в средневековой Фландрии особых региональных традиций в определении и счете родства у женщин – простолюдинок данного статуса?

Кроме того, учитывая эти традиции, не отражают ли некоторые из этих демографических показателей и довольно устойчивые стереотипы реального демографического поведения у фламандских женщин данной социальной группы? В частности, поскольку учет женщин в соответствии с этими традициями был более полным, чем мужчин, нельзя ли отнести к числу таких показателей среднее число дочерей у одной матери, отражающих – на наш взгляд – некоторые особенности репродуктивного поведения замужних фламандских простолюдинок, а именно рождение каждой из них, как правило, в среднем не менее двух дочерей?<sup>14</sup>

Столь же однотипны и наиболее нас здесь интересующие антропометрические параметры описей и генеалогий церковных зависимых. Прежде всего бросается в глаза, что и в тех, и в других преобла-

дают женские имена отнюдь не библейского, а германского происхождения (63% – 70% всех имен или 62% – 78% всех поименованных женщин). Это означает, что круг наиболее часто избираемых прихожанками имен выходил далеко за рамки имениника Святого Писания и, скорее всего, определялся не рекомендациями церковных проповедников, а какими-то другими факторами. При этом концентрация имен везде была не слишком высокой: 3,5 – 5,2 женщин на одно германское и 2,5 – 3,8 женщин на одно негерманское имя, что отражает довольно широкий спектр бывших в употреблении женских имен.

В то же время доля женщин с не единожды встречающимися именами составляла в общей их совокупности от 80% до 89%. Некоторые имена были особо “модными”. Свыше половины всех женщин носили довольно ограниченный круг имен. Среди германских имен к числу таковых принадлежали: Adela (Adelidis), Ava, Berta, Imma, Ermengardis, Gertrudis, Heila (Geila), Heilewidis (Heilewif), Ida, Magthildis и Thideldis. Среди негерманских имен особой популярностью среди женщин данного статуса пользовались следующие античные и библейские имена: Agatha, Agnes, Christina, Clementia, Elisabeth (Isabella, Lisa), Mabilia, Maba, Margareta (Greta).

Данные о доле женщин с тем или иным именем в общей массе женщин, подсчитанные отдельно для каждого монастыря, показывают, что, несмотря на некоторые различия, о которых скажем чуть ниже, степень распространения каждого из этих самых модных женских имен среди зависимых женщин, принадлежавших различным фландрским монастырям, была примерно одинаковой, редко превышая 10%. По сути – это данные *одного ряда*, свидетельствующие об общем сходстве и даже идентичности именников наиболее распространенных женских имен в рассматриваемых описях и генеалогиях. Принимая во внимание тот факт, что в них даются имена более чем 1200 женщин из нескольких десятков городков и деревень, расположенных в различных областях средневековой Фландрии, не вправе ли мы отнести эти женские имена вообще к числу наиболее излюбленных у фламандских простолюдинок на рубеже XII – XIII вв.?

Тем не менее отметим, что, несмотря на общее сходство именников женщин, принадлежавших различным монастырям, между ними все же имеются некоторые существенные различия. В частности, среди женщин с германскими именами из монастыря Энам реже обычного встречаются женщины с именем Ava и, наоборот, чаще, чем в других монастырских вотчинах, женщины с именами Berta, Ermengardis, Gertrudis. Напротив, среди женщин, принадлежавших монастырю св. Петра в Генте, доля женщин с именами Ava и Heila была выше, а с именами Emma (Imma) и, особенно, Berta ниже, чем в других монастырских familia. Что же касается женщин из описи превотства св. Аманда в Куртре, то у них почему-то имя Gisla пользовалось пониженной, а имя Mathildis, наоборот, особо повышенной

популярностью. Различия отмечаются у женщин и с негерманскими именами из разных монастырей. Например, среди женщин превоства св. Аманда были выше обычного распространены имена Elisabeth (Isabella) и, особенно, Mabilia (Maba). Напротив, имя Clementia в отличие от женщин других монастырей здесь почти не встречается.

Чем объясняются эти различия? Могут ли они иметь случайный характер среди сотен обследованных имен? Вряд ли. Может быть, эти различия были связаны с особенностями бычаеа имянаречения, бытовавших в вотчинах разных монастырей? Не исключено, что те или иные имена получали большее распространение в силу их большей популярности среди подвластного населения именно того или другого монастыря. Все же нам кажется более вероятным другое объяснение, связанное с *региональными особенностями* имятворчества жителей разных областей тогдашней Фландрии.

В самом деле, взглянув на карту, легко заметить, что деревни, в которых жили описанные в генеалогиях и описях женщины, принадлежавшие разным монастырям, хотя и лежат в ряде случаев по соседству, все же в массе своей находятся в разных частях графства. У монастыря Энам они занимают главным образом правобережье реки Шельды, а у монастыря св. Петра в Генте – левобережье той же реки. Владения же св. Аманда в Куртре лежат западнее, в междуречье рек Лейе и Мандел. Поэтому региональные отличия именьников, за которыми скрываются региональные особенности традиций имянаречения, вполне могли иметь место.

Но насколько идентичными были *именьники разных деревень* в пределах *одной области*? Опись превоства св. Аманда (в отличие от генеалогий) позволяет ответить на этот вопрос, ибо здесь в ряде *соседних* деревень были описаны в каждой из них около или даже более сотни женщин. Таких деревень оказалось пять: Gudelghem, Morcelis, Ledenghem, Morselede, Boveslera. Судя по их данным, доля женщин с наиболее распространенными германскими (график № 2) и негерманскими женскими именами (график № 3) в таких деревнях, несмотря на общее сходство их именьников, могла варьироваться довольно существенно. Вариация ряда имен вряд ли имела здесь случайный характер.

Степень распространения некоторых модных женских имен явно "зашкаливает" в отдельных деревнях, хотя эти деревни отделяет от других деревень всего несколько километров. К числу таких имен среди германских женских принадлежат, например, имя Емма (Imma) и, как вариант, Ermengard в деревне Gudelghem и имя Mathildis, Magtelt (Meindala) в деревне Morcelis. Среди негерманских особо выделяется имя Maba, Mabilia все в той же деревне Morcelis. Напротив, ряд имен среди женщин этих деревень в отличие от женщин соседних деревень не получили сколько-нибудь заметного распространения. В Gudelghem вообще не оказалось женщин с

именами Ava и Berta, а в Morcelis почти не встречаются женщины с именами Thiedeldis (Didala) и совсем нет женщин с именами Christina (Kerstina).

Число женщин с одинаковыми именами в разных деревнях естественно не совпадет, поскольку общее число описанных женщин в каждой из деревень различно: в Gudelghem их 28, в Morcelis – 110, в Ledenghem – 117, в Morselede – 113 и в Beveslera – 30. Тем не менее полное отсутствие у жительниц отдельных деревень одних из наиболее распространенных имен и, напротив, "сверхмода" на другие вряд ли могут быть объяснены только этой причиной. Именники деревень Gudelghem и Morcele, действительно, в ряде случаев выбиваются из общей картины, что и показали графики 2 и 3. Но не всегда однотипны и именники других деревень. Например, в деревне Ledenghem ощущается явная "нехватка" женщин с именем Margareta (Greta), а в Beveslera нет вообще женщин с одним из самых распространенных имен Magthildis (Magtelt). В именниках отдельных деревень есть и особенности, имеющие, вероятно, диалектный характер, в форме (в произнесении?) отдельных женских имен в этих деревнях. Например, только в деревне Ledenghem встречаются женщины с именем Meindala, представляющим собой, видимо, вариант имени Mathildis. В Morcelis же данное имя предпочитали чаще, чем в других местах, отмечать (произносить?) в форме Magtelt.

Таким образом, и в границах относительно узкой области говорить об антропонимическом единообразии имен даже жительниц соседних деревень не приходится. И это заставляет задуматься о причинах его отсутствия. С этой целью не только попробуем зайти в эти деревни, чтобы спросить у их жительниц, как их зовут, но и поступимся в их дома с тем, чтобы узнать, а из каких имен состоял именной фонд их семей. Родословные группы, на которые была разбита опись зависимых женщин прелатовства св. Аманда, предоставляют нам такую возможность.

Рассмотрение именных групп прежде всего показывает относительно низкую повторяемость в них одних и тех же имен: лишь 22% женщин носят имена, которые внутри семей встречаются неоднократно. Напомню, что доля женщин с повторяющимися (наследуемыми?) именами внутри генеалогий монастырей Энам и св. Петра в Генте была более чем в два раза выше и составляла от 53% до 55%. Правда, и сами эти генеалогии в среднем более чем вдвое были крупнее родословных групп в описи: 16,5 – 18,0 чел. против 5,6 чел., что характеризует последние опять-таки не как целые родословные, но как какие-то их фрагменты, да к тому же еще с неясными родословными связями между их членами.

Тем не менее и здесь некоторые имена у женщин (причем как германские, так и негерманские) во многих группах повторяются с более высокой вероятностью, чем эти же имена в общей совокупно-



сти женщин в описи. В самом деле, доля (%) женщин с одинаковыми именами в отдельных семьях по отношению к числу женщин в каждой из семей значительно выше, чем доля (%) женщин с теми же именами в общей совокупности женщин в описи.

Вероятно, это означает, что данные имена повторяются внутри семей отнюдь не случайно. Вот, например, имя Magtelt встречается в одной родословной группе, которая всего-то насчитывает 10 человек, целых *четыре* раза. Причем это имя – вообще единственное, которое в данной семье упоминается неоднократно; все остальные – лишь единожды. Надо, однако, учитывать, что данная семья живет в деревне Morgelis, где имя Magtelt – как мы уже выяснили – пользуется особой популярностью и повторяется еще в двух семьях из этой деревни. Оно встречается в семьях и из других мест, но с гораздо меньшей регулярностью.

Как ответить на вопрос: это имя часто повторяется в семьях из деревни Morgelis потому, что оно было особо популярно среди жителей этой деревни, или оно кажется распространенным среди них в силу того, что было особо желанным (наследуемым?) в некоторых семьях из этой деревни? По сути, это вопрос о том, кто играл более важную роль (необязательно сознательно!) в предпочтении и выборе тех или иных имен, *семья* или *соседи*?

Всего данное имя встречается среди жительниц деревни 16 раз. Из них единожды оно встречается в восьми семьях, дважды в двух, *четырежды* в одной. Иными словами, оно в одной половине случаев повторяется *внутри* семей и в другой половине – *между* семьями (если, конечно, не считать и эти семьи родственными, поскольку они соседствуют в описи). К сожалению, для данной деревни вопрос остался открытым.

Попробуем все же ответить на него, используя весь комплекс описи. Для этого разделим ее на две части. В первой части (присвоим ей условный индекс "х") объединим именники семей, где есть повторяющиеся имена, во второй (присвоим ей условный индекс "у") – именники семей, где нет вообще одинаковых имен внутри семей. В какой же мере распространены некоторые "модные" германские (см. график 4) и негерманские (см. график 5) имена в них по сравнению со средней их долей (%) по всей описи в целом (на графиках эта средняя доля отмечена линией "Courtraï")?

Суть гипотезы заключается в следующем: если окажется, что эти имена имели более высокую (или даже ту же самую) долю распространения среди семей, где не было вообще одинаковых имен *внутри* семей, по сравнению с теми, где таковые были, значит, при выборе имени все семьи, в основном, следовали "моде", а не традициям. Напротив, если обнаружится, что степень распространения этих имен была выше в той части описи, где *внутри* семей есть повторяющиеся (наследственные) имена, значит, выбор имени осуществлялся,

по крайней мере у части семей, согласно семейным традициям имянаречения, а процесс распространения имен происходил главным образом за счет того, что эти имена сначала становились наследственными, семейными именами у ряда семей и лишь затем получали всеобщее распространение.

Однако, как показывают графики, на самом деле “картина” рисуется более сложной. Очевидно, имело место как то, так и другое. Некоторые имена (среди германских имен к ним относятся: Ava, Imma, Mathildis, а среди негерманских – Elisabeth, Mabilia, Margareta), вероятно, оказались наиболее распространенными среди жителей обследованных деревень в силу того, что они стали наследственными, семейными во многих семьях. Но другие не менее распространенные имена стали таковыми благодаря, видимо, простой “моды” на них среди всех жителей этих деревень, поскольку – как показали графики – они оказались “рассыпанными” среди множества семей, а не “сосредоточенными” внутри каких-то отдельных родословных групп.

Так или иначе, не трудно заметить, что большинство семей выбирают для себя семейные, наследуемые имена все же из числа наиболее распространенных, “модных” имен. Однако почему и в этом случае одни семьи предпочитают в качестве таковых одни, а другие семьи, причем нередко из той же самой деревни, – совершенно иные, “модные” имена? Вероятно, на этот выбор оказывали влияние не только “внешние” факторы, но и какие-то *внутрисемейные* резоны? Более того, в некоторых семьях повторяются (наследуются) отнюдь не самые распространенные и даже совсем редкие имена. Например, в одной из родословных групп из селения Morselede дважды повторяются германские имена Alit и Fresent, а в другой семье из того же селения – имя Celia (представляющее собой краткую форму от латинского имени Cecilia), которые вообще ни в каких других семьях в такой форме не повторяются, кроме как в этих семьях, и либо вообще больше не встречаются в описи, либо отмечены в ней только один-два раза.

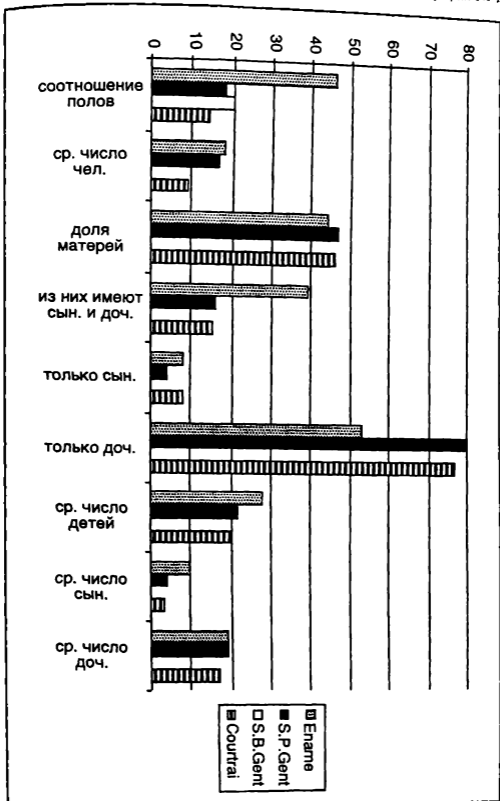
Особый интерес представляют именники более широких родственных образований, включавшие в себя несколько родословных групп, члены которых к тому же могли жить не в одной, а в нескольких соседних деревнях. К числу таких групп родичей и принадлежит как раз родственная группа de Agro, о которой уже шла речь. Именник этой группы как бы запечатлел переход от одной антропонимической системы к другой. Имена представительниц ее старших поколений строились по старой антропонимической германской системе, включая в себя передаваемые из поколения в поколение родовые (в данном случае, -borg; -send) и семейные лексемы (Herc-, Ingel- etc.). Имена же их более младших родственников выбирались как значимые для семьи уже по другому принципу: наследовалось одно или несколько германских или негерманских имен целиком. В данной

родословной такими именами, скорее всего, были среди германских имен Berta, Gertrudis, Magtelt, а среди негерманских – Mabilia (Maba), Margareta и уже упоминавшееся имя Celia. Наконец, в последующих ее поколениях (в частности, в родословной Mabilia de Agro, записанной позже остальных рукой “С”) германские имена (Magtelt) стали вытесняться уже негерманскими именами (Mabilia, Margareta), которые принадлежали к числу наиболее модных в деревне Morcelis, где как раз и проживали потомки Mabiliae de Agro.

Таким образом, антропонимическое поведение семей простолюдинов (выбор имен и передача некоторых из них из поколения в поколение) определялось, вероятно, несколькими обстоятельствами. Прежде всего сказывалась их принадлежность к определенной этнокультурной общности. На Севере Европы, в частности во Фландрии XII–XIII вв., германские традиции имяназвания явно преобладали над романскими и даже христианскими: спектр наиболее предпочитаемых семьями имен не ограничивался только кругом библейских имен, а, напротив, состоял главным образом из германских, “варварских”. Внутри самой Фландрии имели место, видимо, также региональные особенности имяназвания. Более того, именники жителей даже соседних деревень не всегда и во всем совпадали друг с другом. Это означает, что отбор имен в семьях простолюдинов находился под сильным влиянием традиций имяназвания окрестного населения и, прежде всего, соседского окружения. Не случайно в число наиболее часто избираемых семьями имен входили наиболее распространенные имена в данной местности и в данной деревне.

Однако антропонимическое поведение простолюдинов определялось, вероятно, не только этими внешними, привходящими обстоятельствами, но также особыми внутрисемейными традициями имяназвания, необязательно идентичными у конкретных семей. На это указывает уже сама широта и вариативность используемого семьями именника, который почти наполовину состоял из редких, порой уникальных имен. Разные семьи – даже в пределах одной деревни – хотя и выбирают в качестве семейных, наследуемых имен наиболее “модные”, все же часто совершенно различные имена. Иногда у отдельных семей эти передаваемые из поколения в поколение имена вообще можно отнести только к числу необычных, редких имен. Не исключено, что семейные традиции имяназвания некоторых конкретных семей в свою очередь могли активно влиять на формирование массовых, нормативных антропонимических представлений. Это означает, что в процессе имяназвания внутрисемейные эмоциональные связи, объединявшие членов семьи, зачастую конкурировали с чувствами деревенской, общинной солидарности, с желанием не выделяться среди своих соседей, быть “как все”, а порой и преобладали над этими чувствами. Ясно, что это шаг к *возвышению индивида* над окружающей средой.

График № 1



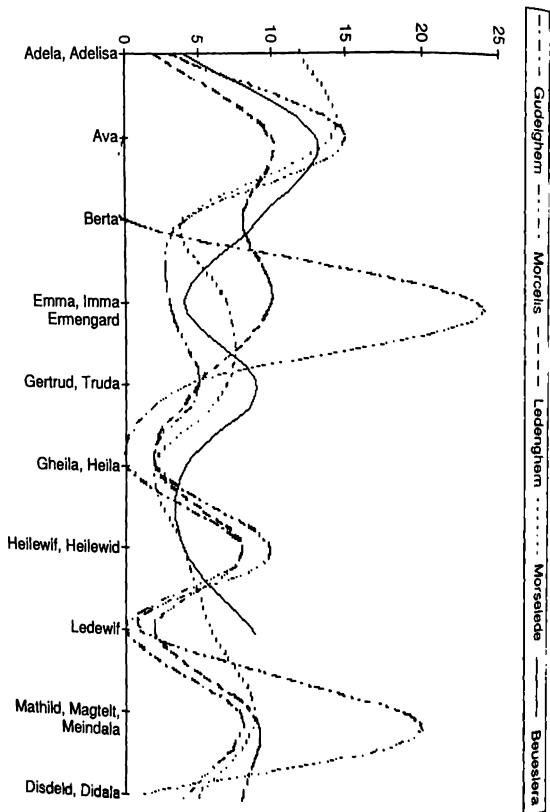


График № 3

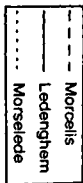
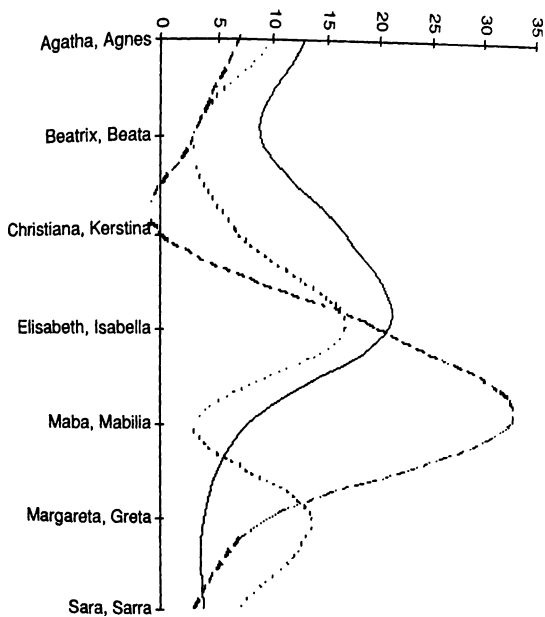


График № 4

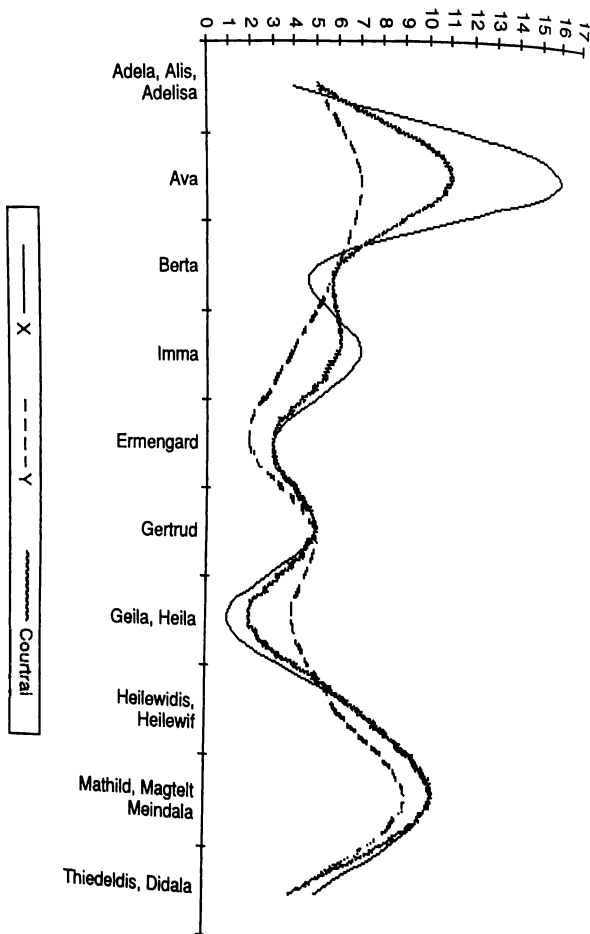
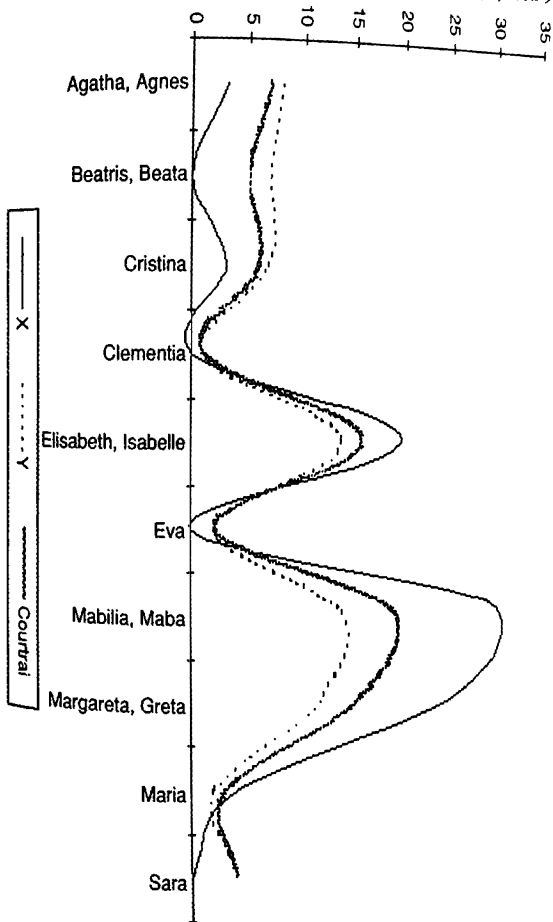


График № 5





## Примечания

- 1 Bloch M. Noms de personne et histoire sociale // *Annales d'Histoire économique et sociale*. 1932. T. IV. P. 67; *Febvre L. De la Renaissance à la Contre-Réforme, changement de climat?* // *Annales d'Histoire sociale*. 1941. P. 47.
- 2 См. их обзор с основной библиографией в нашем докладе: "Макро" и "микро" в современных историко-антропонимических исследованиях / *Историк в поиске: Макро- и микроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998 г. М., 1999. С. 170-182.*
- 3 *Strubbe Eg. I. Een twaaldecuewsche lijst van vrijgewijden uit West-Vlaanderen* // *Annales de la Société d'Emulation de Bruges*. Bruges, 1934. T. 76. P. 137-146.
- 4 Например, в поименном перечне женщин, приписанных к селению Ledenghem, внутри одной из групп можно заметить шесть имен (выделены мной жирным шрифтом), которые ниже, причем в той же последовательности, встречаются и внутри группы из другого селения Morselede:  
 In Ledenghem. ...  
 Godelt. Berta (rufa). Agnes. Didala. Alborg. Ermentrudis. Godelt. Gertrud. Inghelwara. Gertrudis. Aua. Celia. Lismod.  
 Aua. fi. berte (rufe).  
 In Morselede.  
 Inghelborg de agro. Volsent. Mabilia f. Berta. Godelif. Peronela. Celia. Marina. Gertrudis. Inghelwara. Gertrudis. Aua. Celia. Lismod. Liedewif. soror Celie. Magtelt. Clemma. [Be] atris.
- 5 Опись издавалась неоднократно, последний раз в 1964 г.: *Lijst van hoofdcijnsplichtigen (rond 1212-1223)* // A. Verhulst, M. Gysseling. *Het oudste goedenregister van de Sint - Baafsabdij te Gent*. Bruges, 1964. P. 96-98.
- 6 *Liste de tributaires de l'abbaye de Saint-Pierre du Gand (s.d.; XIII s.) (orig.)* // *Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont-Blandin à Gand* / Publ. par A. Van Lokeren. Gand, 1868. T. 1. № 391 (9) P. 212.
- 7 *Verzeichniss von Schutzhörigen des Klosters Sankt Peter bei Gent (ante 1239)* // Hg. von Warnkoenig. *Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305*. Tübingen, 1839. Bd. III. Abt. 2. № XX. S. 19.
- 8 *De onuitgegeven oorkonden van de Sint-Salvators-abdij te Ename voor 1200* / Door van Ludo Milis. Brussel, 1965. № 7 (3). P. 9.
- 9 *Ibid.* № 6. P. 8.
- 10 *Noms de ceux qui dépendent de l'avouerie de l'église de Bourbourg (s.d.) [1250-1300]* // Ed. par J. de Coussemaker. *Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de Bourbourg*. Lille, 1882. T. 1. № CCXXII. P. 224-226.
- 11 Показательно, однако, что в более поздних записях они отмечаются с большим постоянством. Сами эти дополнения иногда носят характер уточнения семейных связей между ранее описанными родичами: Ghisela. Imma (fi. Versin (fi. Imme) et Ida. Maisendis fi. (Versin).
- 12 См.: *Габдрахманов П.Ш. Семейные традиции средневековых крестьян в отражении их родословных (Фландрия XII в.)* // *Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени* / Под ред. Ю.Л. Бессмертного М., 1996. С. 209-238; *Он же. Имя, семья и familia: К вопросу о социальных рамках частной жизни средневекового простолюдина* // *Средние века (готовится к публикации)*; *Gabdrachmanov P. Ch. Hochmittelalterliche Schutzhörige im Kreis ihrer Anpen und Nachkommen (Nach einigen Genealogien des 12. Jahrhunderts)* // *Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für Geschichte*. Göttingen, 1999.
- 13 *Габдрахманов П.Ш. Семейные традиции...* С. 214-216.
- 14 На таком допущении основываются, в частности, наши расчеты по этим данным степени замещения материнских поколений дочерними поколениями. См.: *Габдрахманов П.Ш. О режиме демографического воспроизводства крестьянства Северной Франции в XI-XII вв. (по данным крестьянских генеалогий)* // *Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы: Проблемы и исследования* / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1988. С. 110-134.

## Глава 5

### *Мир чувств русской дворянки конца XVIII – начала XIX века: сексуальная сфера*

Несмотря на устойчивый интерес многих поколений русских и зарубежных историков к отечественному прошлому в эпоху Екатерины II и Павла I, к этой стороне истории нравов не обращались со времен моралиста и публициста князя М.М. Щербатова (1733–1790). При этом не только сейчас, но и в XVIII в. ни у кого не вызывал сомнения назидательный характер его желчного памфлета: европеизацию страны князь прочно связывал с ее деморализацией, считая, что в его время “сластолюбие” окончательно заменило ту “простоту”, которой отличалась мораль столетием раньше. М.М. Щербатов не анализировал и даже не констатировал, он негодовал и в своем негодовании все время преувеличивал; к тому же собственно женская душа и ее “чувствования” почти не интересовали этого резонера.

Большинство же исследователей истории России XVIII–XIX вв. вообще выносили тему истории чувственности за рамки своих штудий. Как и многие другие вопросы “истории частной жизни”, история сексуальности не считалась серьезной проблемой, требующей научной разработки. Обращение мировой исторической науки “лицом к Человеку” заставило поставить новые темы – по крайней мере 10–20 лет тому назад<sup>1</sup>. Постановке же ее в России долгие годы мешали идеологические, а также сконструированные нравственные табу.

Еще одно (и основное) объяснение “непризнанности” сюжета о психологических и интимно-бытовых особенностях жизни русских дворянок XVIII – начала XIX в. коренится в исключительной скудо-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)

сти комплекса исторических источников, отобразивших историю женской сексуальности в раннеиндустриальный период<sup>2</sup>.

В отличие от допетровской эпохи (X–XVII вв.) канонические памятники (требники, служебники и епитимийные сборники) уже не могут служить исследователю основным источником информации: с образованием Духовной коллегии – Синода (1721) и началом работы Синодальной типографии они стали строго унифицированными; содержание их от десятилетия к десятилетию практически не менялось.

В текстах *литературных произведений* XVIII – начала XIX в., написанных в жанрах классицизма, сентиментализма и отчасти романтизма, имеются описания смятения чувств – но авторами их были, как правило, мужчины (от М.Д. Чулкова и Д.И. Фонвизина до А.С. Пушкина, описавшего в “Евгении Онегине” события как раз первых годов XIX в.). Все они создавали свои произведения в рамках собственных представлений о той гамме переживаний, которые должна испытывать (с их точки зрения) женщина, захваченная страстью. Гендерный подход к анализу литературно-художественных текстов, равно как анализ *наблюдений мужчин-иностранцев над русским бытом* XVIII – начала XIX в. (де Сегюра, Ш. Массона, Дж. Казановы, А. де Кюстина), реконструкция женского “мира” и его отражений в мужских представлениях и мужских стереотипах – одна из задач, которая может быть поставлена при их анализе.

Автор данного очерка руководствовался желанием привлечь в первую очередь те источники, которые были созданы самими женщинами (в том числе иностранками – баронессой де Сталь, леди Рондо, сестрами М. и К. Вильмот), а потому отражали женский взгляд на вещи, женскую систему ценностей. К сожалению, это стремление не всегда было возможно реализовать. Тем не менее к исследованию удалось привлечь *произведения первых русских писательниц и поэтесс*, создавших свои произведения в 1770–1815 гг. (А.П. Бушиной, Е.И. Воейковой, М.А. Волковой, А.М. Волконской, В.В. Голицыной, Е.М. Голицыной, Е.М. Долгоруковой, А.С. Жуковой, М.В. Зубовой, Е.А. Княжичиной, М.М. Херасковой), а также *источники личного происхождения*: Письма, дневники, мемуары, записки – вот, казалось бы, главный кладезь информации о душевном мире образованных россиянок XVIII – начала XIX в. Россиянок – но не россиянок! Число “мужских” мемуаров куда больше “своеручных записок” образованных дворянок (среди них опубликованы мемуары Е.Я. Березиной, В.И. Головиной, Н.В. Долгорукой, С.В. Кашиной-Скалон, А.Н. Керн, А.Е. Лабзиной, Е.Н. Львовой, Н.Н. Мордвиновой, М.Г. Назимовой, Е.А. Сабансевой, Е.П. Янковой). Появление в середине XVIII в. “женской” прозы и мемуаристики властно свидетельствует об усилении тенденции к индивидуализному, ибо как иначе оценить желание представительниц привилегированных социаль-

ных страт фиксировать на бумаге свой образ мыслей и "чувствований". Концом XVIII в. датируются и первые "женские" дневники, а в частной переписке – разного рода сокровенные признания, которым редко находилось место в "эпистолиях" XVII в., создававшихся писцами под диктовку. Образованные россиянки все чаще стремились оставаться одни, чтобы поразмышлять и осмыслить события быстротекущей жизни. Какое место в этих переживаниях занимали глубоко потаенные рефлексии эротического, сексуального характера, какое место занимали они в структурах повседневности, в обыденных разговорах, поступках, помыслах – как невербализованных, так и зафиксированных на бумаге – это один из вопросов, на который можно попытаться найти ответ. Он необходим нам, сегодняшним, для понимания своеобразия женского мира той эпохи, путей изменчивости (именно не рождения, а изменчивости) женской индивидуальности в XVIII в., определения ее специфичности.

С подобной задачей связана и еще одна сторона рассмотрения "женских текстов" – необходимость воспроизвести тот особый, своеобразный "женский язык" ("femine l'écriture"), под которым М. Фуко имел в виду "практику недискурсивного моделирования текста, т. е. того, что не поддается концептуальному осмыслению". Просто говоря, речь здесь идет об умолчаниях и вторых смыслах (подчас неосознанных), без попытки расшифровать которые трудно постигнуть хотя бы часть тайн женской души.

*Делопроизводственная документация* "по делам духовно-судным" – т. е. отложившиеся в канцелярии Синода дела, касающиеся "несогласного жития супругов" и просьб о разводе, также содержат важную информацию о переживаниях и деприациях авторов этих прошений. Такая информация занимает важное место в реконструируемой картине образа жизни образованной женщины конца XVIII – начала XIX в., поскольку этот тип источников позволяет поставить вопрос о том, как "вписывались" идеальные модели литературные, поведенческие) в конкретно-исторический контекст.

Автор очерка отдает себе отчет в том, что репрезентативность выборки его источников – с точки зрения задач обобщения, реконструкции картины мира целого социального слоя (дворянок) – весьма условна. Однако, собирая случайные упоминания и сопоставляя их с отнюдь не случайно изложенными эпизодами, можно составить своеобразную "серию индивидуальных случаев", характеризующих типы и модели женского (и именно дворянского) поведения.

Хронология очерка обусловлена, с одной стороны, появлением в середине – второй половине XVIII в. "женской" прозы и поэзии, "женских" мемуаров и комплекса других "эгодокументов", созданных женщинами, а с другой – серединой – концом 10-х годов XIX в.; эти годы прошлого столетия открыли новую эпоху в истории русских женщин (возникли первые женские организации, сложились

первые женские литературно-музыкальные салоны). Тогда же началось поистине *новое время* и в истории отечественной литературы (с ним связана так называемая “пушкинская пора”, выдвинувшая свыше трех десятков писательниц и поэтов с собственным видением мира и способами самовыражения), и в истории общественных умонастроений, и в истории права и правосознания, в том числе в вопросах, связанных с сексуальной этикой.

\*\*\*

“Золотой век индивидуальности”, как характеризуют XVIII столетие западные исследователи, внес немало изменений в образ мыслей и “чувствований” представителей привилегированных социальных страт России. Не только на Западе, но и на востоке Европы заявил о себе “приоритет личного”: представители “благородного” сословия стали одеваться по своему вкусу (и в соответствии с новой модой), есть и пить, как нравится (появились сложно приготовленные блюда, кулинария в современном понимании), и в известном смысле любить тех, кого вздумается, в условиях “новых гигиенических практик”<sup>3</sup> и сообразуясь с собственными пристрастиями. В обиход быстро входили предметы “гигиенической роскоши” того времени: банные полотенца, новые сорта мыла, “духи в граненом хрустале”, в ежедневно обогреваемых многокомнатных домах стали устраивать отдельные спальни, альковы с мягкой мебелью. Неявно, но настойчиво заявило о себе новое отношение к материальному быту, обеспечивающее интимность и удобство (“чтоб не богаты были постели, да чистеньки...”) <sup>4</sup>.

Усилившееся обособление сферы личного и частного не могло не повлиять на формирующийся “женский мир”. Судя по художественной литературе, процесс этот, начавшийся еще в конце XVII в., пошел в XVIII столетии быстрыми темпами. Началось осознание целостности, самостоятельности и отличности “женского” мира от мира “мужского”. Немалую роль при этом сыграло искусство – живопись, скульптура, но все же главенствующую роль взяла на себя литература, ставшая практическим руководителем в обучении “науке жизни”. Именно она, и лишь вслед за нею живописцы, независимые от прямых поучений церкви и государства, стали рупором новых идей<sup>5</sup>.

Любовная лирика (бывшая всего полстолетия назад чуть ли не под запретом – достаточно вспомнить положение придворного “пита” Симеона Полоцкого) впервые начала воспевать страсти отнюдь не платонические и опять-таки впервые за многие века перестала третировать любовь к женщине как греховное чувство. Благодаря новым литературным приемам и сюжетам изобразительного искусства в общественных умонастроениях появились незнакомые прежде понятия сильных и возвышенных чувств, возбуждаемых женщи-

ной, страстей отнюдь не платонических, рыцарского отношения к прекрасному полу<sup>6</sup>. Интимная привязанность к избраннице, интимный индивидуальный выбор ("дрожь пробежала по жилам момн...")<sup>7</sup> стали изображаться в литературе и являться действительной причиной желанья вступить в брак и основой его впоследствии. «Какое побуждение было нашей любви? – риторически рассуждал "один крестецкий дворянин" (описание судьбы которого оставил А.Н. Радищев), отвечая сам себе: – Взаимное услаждение, услаждение *плоти* и духа (курсив мой. – Н. П.)»<sup>8</sup>.

Под пером безымянных авторов русских повестей XVIII в. женщины все чаще представляли не только и не столько как порочные соблазнительницы, но как объект поклонения, а то и вовсе как выразительницы положительных идеалов (в то время как мужчина воплощал социально типичные недостатки)<sup>9</sup>. Начиная с петровского времени женщины рисовались побуждающими своих избранников – Василия Кариотского, купца Иоанна, "кавалера Александра" и других – забыть обо всем, кроме "сладкой тирании любви" (В.К. Третьяковский), переживать ее как "жестокую горячку", заставляющими воспринимать их и говорить с ними, "встав на колени"<sup>10</sup>. В.К. Третьяковский, комментируя замысел своего сочинения "Езда в остров любви", отметил, что "отроки" находят "чувствительность и страсть", открывая "их для себя в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, каких очень мало в других местах"<sup>11</sup>.

Любопытно, что даже русские писатели-"пересмешники", вроде М.Д. Чулкова и Д.И. Фонвизина, живописуя чувства влюбленных, стали чаще акцентировать в них "нежность"<sup>12</sup>, в то время как полвека назад и существование такого не употреблялось (глагол "*нежити*", т. е. "содержать в неге", – начала XVIII в.; в начале XIX в. слово это все еще употреблялось с оговоркой: "невеста имела ко мне великую, *так называемую* (курсив мой. – Н. П.) нежность")<sup>13</sup>. Стремясь к достоверности в изображении интимного влечения, писатели все смелее описывали те или иные "прелести" женского тела (не идя, однако, далее "поцалуев" "полуобнаженной груди, вздымающейся с неизъяснимой приятностию")<sup>14</sup>.

И в литературе, и в жизни женихи склонны были видеть в сексуально-привлекательной внешности своих невест некое "вознаграждение" за собственные достоинства (внешние, внутренние, профессиональные). Этим объясняется, по-видимому, традиционное изложение мужских жизненных сценариев (в литературе, в мемуарах): от фиксации достигнутого к определенному возрасту – к событиям, связанным с женитьбой, а в их рамках – к описанию внешности спутниц жизни ("милы", "хороши собой", "хорошенькие", "прелестной наружности")<sup>15</sup>.

Говоря о своей влюбленности в будущую жену и о первых годах совместной жизни, мелкий украинский дворянин Г.С. Винский не-

взначай отметил, сколь важное место он отводил чувственности в будущих супружеских отношениях: "Я желал бы с нею быть, хотя непрестанно, *ласкать* и *быть ласкаемому* (курсив мой. – Н. П.), делать ей все угодное, особенно удовлетворяя ее нужды или прихоти..."<sup>16</sup>. Подобное признание (о готовности во имя любви исполнять "прихоти" избранницы, и не любовницы – жены!) немислимо найти в литературе или частной переписке XVII в. Между тем в конце XVIII в., а тем более в начале XIX в. подобное отношение к супруге, которую муж "любил безумно", "обожал", "баловал сколько мог", "любил страстно", перестало быть исключительным: все эти глаголы взяты из мемуаров людей, живших в то время<sup>17</sup>. Женам – а не "милым подругам" вне брака – стали посвящать романсы (как то делали поэты Г.Р. Державин и И.М. Долгорукий)<sup>18</sup>.

Наконец, в начале XIX столетия мужья все чаще стали признаваться в своих воспоминаниях о том, что именно жены дали им возможность "вкусить истинное на земле счастье", а в письмах мужей к женам нормой стали романтизированность и сентиментальность: "Целую твои ножки, моя благодетельница... целую тебя сердцем, полным твоими добродетелями..."<sup>19</sup>. Такой дискурс формировался крутом чтении, в котором на рубеже веков было изрядное количество "нежных малюток", подобных "фялочкам", их объятий "маленькими рученочками", исколотыми шиповником или запачканными земляничкой, "слезно окропленных" ресниц<sup>20</sup> и, конечно, "легких ножек" и прочего. Дворянин С.Н. Глинка прямо признавался в том, что в юности таким образом "лелеял сердце жизнью мечтательной"<sup>21</sup>.

Все перечисленное годилось для восхищенья Женщиной. При известных обстоятельствах – и женой, но идеал ее, сформулированный мужчинами, никоим образом не предполагал раскрепощенности супруги в интимной сфере. Красота и сексуальная опытность женщины казалась (да и была) обоюдоострым оружием, что резонерски отметил в своем дневнике дворянин М.В. Данилов: "Красавиц выбирают только в полубовниц, а жена должна быть добродетельна". На красавицу, считал он, будут заглядываться посторонние, правда, от дурнушки, оговаривался он тут же, и сам муж может убежать к "лучшей"<sup>22</sup>.

С изумлением отмечая "особенность" мира женских чувств, мемуаристы-мужчины все чаще пытались сравнить собственную оценку того или иного явления и отношение к нему возлюбленных, подруг, жен<sup>23</sup>. Утверждение о том, что сильные эмоции женщины могут не только возбуждать, но и испытывать сами, причем более тонко и остро, нежели мужчины, было, например, открытием для кн. М.М. Щербатова<sup>24</sup>. В стихах и письмах поэта М.Н. Муравьева впервые прозвучала мысль о том, что женская натура может быть сложнее и глубже мужской в эмоциональном смысле, что женщина может быть "счастлива сердцем" не так, как мужчина, "отвлеченный своим правом и

должностями”<sup>25</sup>. Писатели стремились отметить “взаимность горячности, услаждавшей чувства и душу”, равным образом (с их точки зрения) нежившей и их самих, и их избранниц<sup>26</sup>.

А что же женщины? Насколько они сами были поглощены подобными “нежнейшими чувствованиями”? Как относились к ожидаемому от них добродетельному (в том числе в интимной сфере) поведению?

Мотивация, стремления, эмоциональный строй молодых и юных российских дворянок XVIII – начала XIX в., отразившиеся в их письмах, дневниках, мемуарах, не дают однозначного ответа на поставленные вопросы. Читая строки воспоминаний, написанных женщинами, редко можно найти признания в том, что они были безразличны к вопросу о замужестве – напротив, они его ждали, о нем размышляли, переживали, если этот вопрос долго не решался<sup>27</sup>, и будто не чувствовали, что находятся под эмоциональным диктатом традиции, настаивавшей на обязательности замужества для каждой “приличной” барышни<sup>28</sup>. Сексуальной жизни вне рамок брака у “приличной” девушки-дворянки в идеальной модели, выстраиваемой ее родителями и общественным мнением, не могло быть априори.

Этот женского мира требовал в должное время найти жениха, выйти замуж и не сопротивляться судьбе. Поэтому никто из авторов мемуаров не рискнул признаться, что не любил мужа, не видел в нем, по крайней мере, близкого человека<sup>29</sup>. Большинство дворян считало для себя необходимым (хотя бы опять-таки в силу традиции) жить по любви. Но что это была за любовь, если за нею стояла “обреченность своею обязанностью, своею привязанностью жертвовать собой во имя долга”? “Любила я его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела, нежели он мне женихом стал”, – вспоминала о своем отношении к будущему мужу – “Иванушке” – Н.Б. Шереметева (в замужестве – Долгорукова), мало задумываясь, вероятно, о чувственно-физиологической стороне их супружества<sup>30</sup>. Можно припомнить в этом контексте и ситуацию социальной и языкового конфликта в хрестоматийном разговоре пушкинской Татьяны Лариной с ее няней (“Была ты влюблена тогда?” – “И, полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь...”). Дворянская девушка и ее крепостная буквально говорили на разных языках, вкладывая в слово *любовь* совершенно разный смысл (браки Прасковьи и Дмитрия Лариных приходился примерно на 1790-е годы, разговор Татьяны с няней мог состояться около 1810 г.)<sup>31</sup>: няня являла в диалоге образец традиционного восприятия *любви* как обязанности, а Татьяна – *любви* как романтического чувства.

Ни в одном из “женских” мемуаров, современных “Евгению Онегину” (а тем более ранних), не найти признания в том, что писавшая их искала в браке “услаждения плоти” – и это еще одна состав-



ляющая женского дворянского этоса конца XVIII в.<sup>32</sup> На страницах своих писем, дневников, мемуаров женщины редко описывали любовь к супругам, а в признаниях – если такие случались – более звучала тема необходимости, нежели всепобеждающего чувства (“Я не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра – другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна”)<sup>33</sup>. Чтобы заметить это и сопоставить с тогдашними нормами брачного поведения западных современниц и русских дворянок, не нужно было долго жить в России: “Они не привыкли к тому, что *дамы* (курсив мой. – Н. П.) могут ожидать и желать, чтобы любовь была составной частью брака. Они даже не знают, что это значит...” – писала леди Рондо<sup>34</sup>.

Это мужчины – по крайней мере, на страницах, не предназначенных для обнародования, – смело и беззастенчиво (вслед за романтическими литературными образцами) признавались в “нежном” отношении к своим женам<sup>35</sup>. Того требовали и нормы этикетного поведения дворянина того времени<sup>36</sup>. Женщины же демонстрировали скромность, “самоограничение” (что порой чувствовали и их мужья<sup>37</sup>), самоуглубленность – видимую порой на живописных полотнах<sup>38</sup>. И тем самым являли собственную зависимость: отчасти от условий, отчасти от религиозно-нравственных постулатов и веками выработанных традиций. Традиция вкупе с христианскими моральными нормами настойчиво требовала от женщины такой любви, при которой бы супруг был “один в сердце” и не могло возникнуть новое чувство. Те же нравственные нормы формировали общественные умоастроения, предполагавшие ожидание от женщин эмпатии, самопожертвования, готовности быть духовной опорой для мужчины, “подкреплять” его (Н.Б. Шереметева-Долгорукова)<sup>39</sup>. И они же освобождали мужчин от размышлений о возможности сексуальных фрустраций их избранниц: фригидность, безраличие жены к сексуальной стороне супружеской жизни не только во времена Екатерины, но и столетием позже рассматривались в медицинской литературе как нечто биологически нормальное<sup>40</sup>.

В документах частной переписки XVIII – начала XIX в. обращения жен к мужьям (и, шире, женщин – к мужчинам) лишены стандартности, характерной для XVII столетия, зачастую в них звучат и дружелюбие, и нежность. Конечно, мы склонны рассматривать как обычную риторику обращения типа “Дрожайшее (так. – Н. П.) сокровище мое!”, “Милый мой друг!”, “Премного милый мой друг!”, “Радость моя!”, “Мой свет!”... Но в то же время есть основания думать, что все эти “приятности” были, во-первых, выражениями истинных переживаний и, во-вторых, элементом ожидаемого от женщин общепринятого, этикетного поведения<sup>41</sup>. И сформировалось оно при “участии” широко бытовавших “Письмовников”. Реальные чувства были в них опосредованы некоей заданной формой, в которой

их принято было выражать<sup>42</sup>. Поэтому не стоит удивляться тому, что в женских письмах XVIII в. не найти ни комичных домашних прозвищ, ни интимных признаний – как будто их авторы подспудно чувствовали, что их записи могут попасть в чужие руки. В известном смысле на стиль мемуаристок воздействовали и “плоды просвещения” – образы и отношения, выведенные в заграничных романах, стиль речи героев.

Выработка сдержанности, умения не поддаваться эмоциям, а тем более страсти, по-прежнему определяли содержание женского дворянского воспитания. Сопоставительное рассмотрение текстов “мужских” и “женских” мемуаров позволяет прийти к выводу, что девочки раньше мальчиков начинали понимать, чего от них ждали (а ждали – по сравнению с мальчиками – в привычном социальном смысле меньшего), раньше осознавали, какими их хотели бы видеть, и рано демонстрировали готовность следовать установленным нормам поведения<sup>43</sup>. От них ждали “игры по правилам”: замужество, материнство, замкнутость на семейной сфере – они описывали свои судьбы с учетом подобных экспектаций; от них требовали скрытности в интимных вопросах – они являли и ее.

Считалось, например, что “публичная искренность этого времени” (Н.М. Карамзин) претила женской душе – более интравертной, более “слабой и холодной”, нежели мужская. “Надобно знать, – рассуждал М.Д. Чулков в одном из своих сборников, – что сколько женщины ни была бы беспорядочна, только великие находят трудности открывать свою страсть...”<sup>44</sup> (в известной мере такое отношение к миру чувств женщины поддерживалось и направлялось не только православной моралью, но и переводными наставлениями “молодым господам, вступающим в брак”)<sup>45</sup>. В скрытности и замкнутости женского душевного мира видели его “утонченность”: женщины-мемуаристки избегали признаваться в собственном счастье, попусту изливать свои горести<sup>46</sup> и вообще любыми средствами оберегали свой внутренний мир от чужих глаз<sup>47</sup>.

В то время как мужчины все более открыто позволяли себе анализировать свои “чувствования”, женщины тоже задумывались о них, но как бы в своем “ключе”, и вкладывали в это занятие совсем иное содержание. Все воспитатели – от матерей и нянек до гувернанток и надзирательниц в пансионах – старались выработать в девочках и девушках негативное отношение к чувственности как к “любви скотской”, “мерзости”, “телесному страданию”. Лучше всего это описано А.Е. Лабзиной<sup>48</sup>, мать которой – по ее словам – любила своего мужа (и отца мемуаристки) “страстно”. Но под страстью и матерью, и – впоследствии – дочерью разумелось строгое соблюдение церковных предписаний в семейной жизни, воспитание в детях богобоязности и смирения, умение подчиняться и (пользуясь старообрядческой лексикой) “подукрадовать” греховные чувства. Не было ли это ито-

гом и следствием многовекового осуждения православными проповедниками неплатонических отношений, попавших из церковно-модералистических текстов в сознание “обышных” людей?

Юной дворянке практически неоткуда было почерпнуть не только какие-либо эротические, но и самые естественные физиологические познания, за исключением литературных источников (потому-то и французские романы – по современным меркам такие скучные! – считались “безнравственными”). Дворянская мораль (ориентированная на этику православия) исключала проживание дочек со вдовыми отцами или дядями<sup>49</sup>: считалось, что от этого пострадает девичья честь, что они раньше времени могут оказаться развращенными преждевременной информативностью (в известном смысле это было, конечно, способом избежать инцестуозного насилия). Матери-дворянки избегали говорить с дочками на сексуальные темы; во всяком случае ни в одном из мемуаров или дневников нет даже намека на подобное.

Девочек и юных девушек, выдававшихся замуж, держали в неведении обо всем, что касалось чувственности. Неудивительно, что неопытность, усугубленная незнанием и хапжеством, часто оборачивалась тяжелейшими психологическими ломками. Для той же А.Е. Лабзиной, по ее словам, “ласки назначенного (матерью. – Н. П.) мужа не веселили”, она их “принимала очень холодно”, и сердце ее “не чувствовало ни привязанности, ни отвращения, а больше страх в нем действовал”. Поэтому старший по возрасту муж (мемуаристке было всего 13 лет, ее супругу – 27) стал ее главным “просветителем” в делах чувственных: “Выкинь из головы предрассудки глупые, которые тебе вкоренены несносными твоими наставниками, – говаривал он. – Нет греха в том, чтоб в жизни веселиться! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное!” По всей видимости, подобные рассуждения он так и не смог перевести в практическую область: не найдя понимания у жены, ее супруг (кстати сказать, известный ученый, минераловед и “горновед” XVIII в. А.М. Карамышев) “открыл свои ласки” племяннице, с которой “спал, обнявшись”, в открытую не один год<sup>50</sup>.

Можно обратить внимание на то, что супруг А.Е. Лабзиной, как видно из описаний его жены, “натурально наслаждался” с любовницей в супружеской кровати, пока его жена почивала рядом, в соседней комнате. Действительно, в конце XVIII – начале XIX в. совместное спанье мужа и жены на одной постели стало считаться “глупой старой модой” (А.Н. Радищев). Спать в благородном сословии стало принято отдельно. Для одних это было знаком отрицания чувственной стороны семейной жизни. Например, А.П. Керн описала в своих воспоминаниях семью знакомых ее родителей, в которой жена – руководимая моральными соображениями, “то есть будучи *прюдка*”, как писала мемуаристка (от *pruderie* – стыдливость, франц.), – даже

“спавши на одной кровати с мужем, укрывалась отдельно от него простынею и одеялом”, а потом и вовсе велела стелить ей в другой комнате<sup>51</sup>. В других случаях – по словам того же Радищева – стремление к созданию отдельных спален диктовалось “стремлением к укращенным утехам с полюбовниками”<sup>52</sup>. Примечательно в этом смысле сообщение современника А.Н. Радищева – А.М. Тургенева, упомянувшего о “примкнутых” рядом с женскими спальнями крохотных “образных комнатках”, точнее каморках, “у самых будуаров, где они [“мужние жены”] наслаждаются сладострастьем”. В этих каморках дамы, согрешив, каялись и “возносились горе духом”<sup>53</sup>.

Современные описываемым событиям литературные произведения (создававшиеся, напомним, мужчинами), казалось бы, незаметно, но вполне настойчиво продолжали шлифование женской души в русле православной этики с ее “двойным стандартом” – “разрешительным” для мужчин и “запретительным” для женщин: “Добротельная жена должна сносить терпеливо безумие мужа своего. Он ищет забавы в объятиях любовницы, [так] не усугубляй одного зла другим, одного дурачества другим, сильнейшим (т. е. не вздумай изменить ему в ответ. – И. П.). Не основывай любви своей на его ласках [!] – страсти скоротечны, насыщение за ними следует скоро...”<sup>54</sup> Во всей “мужской” прозе XVIII столетия легко найти акцентирование идеи “разрешительности” мужской неверности и “запретительности” неверности женской (“они целовались и делали все то, что бы она долженствовала делать только с мужем”)<sup>55</sup>. Писатели-мужчины были куда как скупы в изображении ласк, которыми они были готовы тешить (пусть в воображении) своих избранниц, и были весьма откровенны и раскованны в лексическом выборе словесных иллюстраций пережитого ими самими (“осязала”, “целовала”, “ласкала”). И это тоже подспудно способствовало особой “направленности” девичьего и женского воспитания – на готовность походить на литературные образы: не ожидать чего-либо *per se*, но пассивно быть готовой отдавать и отдаваться.

И еще одно размышление: было ли осознание греховности физиологической стороны супружества основой умолчаний на эту тему в мемуарах и письмах представительниц “благородного сословия” или же подобные умышленные пропуски были всего лишь выражением жанровых требований к “эгодокументам”, исходящим от женщин? Любопытно, что, например, Е.Р. Дашкова, составляя в старости свои “Записки”, не без удовольствия вспоминала не только о своем “ребяческом влечении” при знакомстве со своим женихом, но и о “безграничной нежности”, которую она испытывала к нему, когда он уже стал ее законным мужем<sup>56</sup>. В то же время примечательно, что ни она, ни многие ее современницы, оставившие мемуары (С.В. Скалон, Е.Н. Львова, Е.А. Сабанеева, В.Н. Головина, не говоря уже о морализаторше А.Е. Лабзиной), удивительным образом не “проговарива-

лись", описывая, например, привлекательную внешность своих избранников, не говорили ни о каких-то своих или их "милых слабостях", которые, в сущности, и способствуют – необъяснимым образом – рождению индивидуальных пристрастий. Никаких "приятностей", которые бы их "обворожили" и которые бы они "пожирали жадными очами" (а именно в таких выражениях описывал знакомство с будущей невестой Г.Р. Державин)<sup>57</sup>, в "женских" мемуарах не найти. Это, конечно, не исключало существования в *реальности* самых что ни на есть романтических увлечений женщин своими женихами и мужьями<sup>58</sup>, что наблюдали и иностранцы. "Русские, мужчины и женщины, обыкновенно вносят в любовь свойственную им пылкость, но – по непостоянству характера – они легко изменяют. При характерах необузданных любовь [у них] есть скорее прихоть и вред, нежели глубокое, разумное чувство..." – полагала баронесса де Сталь в 1812 г.<sup>59</sup>

Огромная разница в возрасте (в пользу мужчин), бывшая обыденностью в "благородном" сословии, зависимость от решений родственников и их настойчивость в навязывании стареющих брачных партнеров молодым девушкам<sup>60</sup> вряд ли могли способствовать возникновению интимной привязанности. Неудивительно, что многие из жен не только не заменяли – обращаясь к супругам – "пустое вы сердечным ты", но вдобавок еще и лукавили, утверждая, что ты "можно сказать только своей собачке"<sup>61</sup>. "При неравенстве лет может ли быть взаимное чувств услаждение?" – риторически вопрошал А.Н. Радищев<sup>62</sup>. [На стереотипе "возрастного мезальянса" – напомним попутно – строится обычно онегинский "видеоряд": юная Татьяна Ларина (ей примерно 17) – молодой Онегин (ему около 20) – и *старый* супруг-генерал. Между тем у Пушкина нигде не сказано, что муж Лариной, сделавший карьеру и на военной, и на статской службе, немолод<sup>63</sup>. Но таков стереотип "русского брака"! Иначе кто же восхитится этой "русской душой" барышней, "отданной" мужу, – а он и богат, и знатен, и известен, да еще и не стар к тому же!]

В целом же уход от размышлений на сексуальную тему в большинстве "своеручных записок" российских дворянок того времени являл не "сколок" с реальности, а некое "перевернутое изображение": пренебрежение сексуальной сферой супружеской и вообще частной жизни было не естественным, а навязываемым. Большинство дворянок ощущало непреодолимый нравственный барьер, мешавший поверять бумаге искренние и естественные чувства. Но было бы, разумеется, наивным полагать, что переживания, далекие от платонических, не возникали в сердцах россиянок.

Другой вопрос – как они отразились в дошедших до нас эпистолярных, мемуарных источниках и в "женской" прозе и поэзии. Надежды на собственную страсть сублимировались и у столичных, и у провинциальных барышень в мечтаниях о том, чтобы пережить наяву то, о чем они начитались в книжках. "Девочке, восторженной от че-

ния романов, довольно приятно в тиши усидения, наяву, длить собственный роман", – отмечал мудрый современник в своих воспоминаниях<sup>64</sup>. О том, что его мать "не выпускала из рук романа", вспоминал Н.М. Карамзин<sup>65</sup>. Можно сказать, что рассматриваемая эпоха была временем "романизации" жизни, которая выстраивалась в женских умонастроениях точно по законам литературного жанра.

Ведь и женщины-мемуаристки, если писали о любви, то не о своей, а о чужой, предпочитая описывать не пережитое и перечувствованное, а известные понаслышке влюбленности и страсти. Это волновало. Живописуя чужие жизни, они, вероятнее всего, сопоставляли их со своими<sup>66</sup>. Это позволяло и себя обрисовать в лучшем свете. Скажем, в описанной графиней Эдлинг истории взаимоотношений М.А. Нарышкиной и кн. Гагарина<sup>67</sup> или в рассказе В.Н. Головиной о графине Радзивилл, которая "пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению"<sup>68</sup>, звучал оттенок осуждения. Не оттого ли, что те, кто пересказывал эти сплетни, сами подобных приключений не переживали?

Можно предположить, что фиксация на бумаге всевозможных пересудов, касающихся интимной жизни знакомых и соседей, дополняла некоторым женщинам возможность обсуждения этих историй вслух – во всяком случае если эти истории не звучали уж слишком "аморально". Не случайно иностранцы, наблюдавшие русский быт, отметили, что главной темой женских разговоров того времени было не столько "вещесловие" (Г. Винский) – обсуждение предметов хозяйства, перспектив его ведения, маршрута будущих путешествий, но, скорее, "непостижимая бесцеремонность" в обсуждении возлюбленных, семьи, друзей (К. Вильмот)<sup>69</sup>.

Разумеется, женщины говорили на любовные темы, писали о любви и обо всем, что любовь сопровождает (если вообще касались этого сюжета), в несколько иных выражениях, нежели их современники-мужчины. Сложно представить себе, например, чтобы какая-либо из современниц М.Д. Чулкова изобразила бы заключительную сцену свидания с избранником в таких выражениях, как "любовник мой прыгнул с меня, а я вскочила" или "приятность за приятностию следовала, насилиу нас растащили"<sup>70</sup>.

Язык, темы, ассоциации писательниц и поэтесс рассматриваемого периода были совсем иными, чем у писателей и поэтов. К любовной теме они обращались крайне редко: одни (вроде Е.Н. Львовой и М.А. Волковой) были – воспользуемся пушкинским – "верными супругами и добродетельными матерями", а то и глубоко религиозными моралистками: любовь была не их "стихия". Другие (типа 14-летней Е.Б. Кульман) ушли из жизни столь юными, что не успели дожить до подобных переживаний. Третьи (А.П. Бунина) были нездоровы, и главной темой их лирики были "телесные скорби и несчастия"<sup>71</sup>. Тонкий психологизм, меткие наблюдения не были

чужды этим первым служительницам пера<sup>72</sup>, но обнаруживали они их не в связи со своими скрытыми или явными эротическими рефлексиями, а в связи с вещами и явлениями, далекими от частной жизни. Известно, что общественное мнение прочно связывало писательскую (и поэтическую) деятельность для женщин с «развратом»<sup>73</sup>, так что первым женщинам-литераторам хватало упреков в аморальности и без обращения к сомнительной теме.

Любовный слог русских писательниц и поэтесс XVIII – начала XIX в. – если он вообще был – отличали многочисленные умышленные умолчания, прикрытые притворным согласием с тем, что «пол женский слабым почитают, не только телом (курсив мой. – Н. П.), но умом» (М.А. Волкова)<sup>74</sup>. Женщины-авторы старались как бы не замечать «эмоционального насилия» подобного «почитания» и своим «незамечанием» обслуживали эмоциональные интересы и запросы мужчин (давно известно, что пониженное самоуважение – черта феминности)<sup>75</sup>. Должно было пройти еще не одно десятилетие, прежде чем женщины-чitatельницы «заявили» о желании увидеть свои запросы (в том числе глубоко сокровенные) вербализованными и визуализированными в сугубо «женской» прозе и поэзии<sup>76</sup>.

Пока же действительные переживания поэтесс были тесно спеленуты условностями и требованиями жанра; они прекрасно камуфлировались истинно женским стремлением и умением «говоря – не сказать». Не приходится удивляться и тому, что русские поэтессы рубежа веков в значительно меньшей мере отдали дань сентиментализму (хотя на долю читателей их произведений тоже хватало «розовых уст» и «легких стоп» – «собора нежных прелестей») и быстрее мужчин сделали скачок через романтические пасторали к реализму<sup>77</sup>. Показательно, что – в отличие от поэзии и прозы их собратьев по писательскому и поэтическому цеху, чьи произведения могут весьма легко явить собирательный образ невесты, жены, любовницы, – в «женской» прозе и поэзии конца XVIII – начала XIX в. не сложилось целостного мужского идеала. Как выглядел «идеальный мужчина» (а тем более идеальный любовник) в глазах женщины того времени – сразу, «навскидку» и не сказать (живопись эпохи классицизма также не дает ответа).

Несомненно, однако, что мир чувств русской женщины привилегированного сословия формировался в то время не только традициями, литературой и уж тем более не только православной этикой, но прежде всего образом жизни императорского двора – суматошным, беспорядочным, «светским». Это он породил в то время особый социальный тип «модной жены»<sup>78</sup>. Судя по воспоминаниям лиц, приближенных к российским императорам, «модные жены» (мужья которых, «как страусы, воспитывали чужих детей»<sup>79</sup>) были окружены роем обожателей. И если упоминания о скандальных историях с появлением у дворянок добрых детей в мемуарных текстах рас-

смастриваемого времени достаточно редки (но в литературных произведениях все же встречаются), если даже иностранцы полагали, что в России “девушки сдержанны и скромны”, что “христианство воспитало их в скромности”, а потому они “с трудом развращаются под влиянием окружающей испорченности”, – то внебрачные связи и “непристойные” увлечения замужних особ были явлением обыденным<sup>80</sup>.

И если для обычной дворянки, особенно впервые или единственный раз состоявшей в браке, важно было скрыть, закамуфлировать истинные чувства и переживания, то для многих “поживших” в свое удовольствие “дам” направленность телесных интений была иной – “все напоказ”. Даже современникам событий середины XVIII в. было очевидно, что содержание замужними дамами любовников, а женатыми отцами семейств – любовниц стало тогда нормой великосветской жизни. “Жены, не скрываясь ни от мужа, ни от родственников, любовников себе искали”, – сокрушался М.М. Щербатов. Ему вторили и соотечественники, и вполне независимые в своих суждениях иностранцы: “Они [замужние русские дамы] желают быть на содержании и титул любовницы ставят выше звания жены”. Дж. Казанова хотел тем самым “припечатать” нравственные устои встреченных им в России “дам полтусвета”, и в его словах, вероятно, была немалая доля истины<sup>81</sup>. Но все же стоит учесть большие возможности именно мужчин иметь содержанок (женатый обеспеченный человек вполне мог содержать даже не одну, а нескольких женщин, пример тому – канцлер Екатерины граф Безбородко)<sup>82</sup>, в то время как замужняя дама не располагала, как правило, достаточными свободными средствами.

Конечно, литературоведам известно расширительное, двойное толкование слов “любовник” и “любовница” в XVIII в. В одном случае это слово может толковаться как “влюбленный”/“влюбленная”, в другом – как “состоящий”/“состоящая в небрачной связи”<sup>83</sup>. Тем не менее М.М. Щербатов, Д.И. Фонвизин и Дж. Казанова имели в виду практически современное понимание этих слов. Достаточно, например, напомнить, что, по наблюдениям очевидцев, те, о ком говорили как о чьих-то любовницах, ничуть не смущались подобным “званием”. Скажем, падчерица генерал-прокурора А.И. Глебова, некая Е.Н. Чоголова (в супружестве – Загряжская), а также княгиня Е.С. Куракина, которых император Петр Федорович “для удовольствия себе употреблял” (М.М. Щербатов), не только не старались скрыть свои ночные похождения “для сохранения чести”, но, напротив, отказывались закрыть гардины в пролетке – “чтобы всем показать, с кем” каждая из них “ночь переспала”<sup>84</sup>. В изображении Д.И. Фонвизина (в собирательном образе княгини Халдиной, которую автор вышучивал и над “достоинствами” которой потешался) такие женщины открыто гордились, что “никто из детей на отца не походит, а походят на тех друзей, кои к нам вседневно ходили”<sup>85</sup>.



“Светские львицы”, решавшиеся на нестандартное поведение и насмехавшиеся (по словам М.М. Щербатова) “над святостью закона и моральными правилами и благопристойностью”<sup>86</sup>, своим поведением фактически изменяли представления о запрещенном и разрешенном, “раскрепощали” область чувств.

Не секрет, что пример свободе нравов подавала императрица-матушка – ее любовь к мужчинам, выродившаяся в распутство” (Ш. Массон). В модели интимного поведения Екатерины II примечательна не столько ее манера часто менять своих интимных фаворитов (кто из сильных мира сего не был в этом замечен!), сколько способность быть выше их измен ей. А таковые случались. В 1779 г. она застала (по слухам, записанным французом Ш. Массоном) “на собственной кровати” своего генерал-адъютанта И.Н. Римского-Корсакова в объятиях первой красавицы двора, собственной фрейлины графини П.А. Брюс – и ничего не предприняла против своего молодого, 25-летнего изменника (ей было в то время 50 лет). О романах графини П.А. Брюс, кстати сказать, тоже ходили легенды – не случайно о ней упомянули и Ш. Массон, и Дж. Казанова<sup>87</sup>, однако сама графиня не оставила воспоминаний о бурных годах своей молодости.

Несколько лет спустя после истории с И.Н. Римским-Корсаковым уже другой 24-летний счастливчик, адъютант Г.А. Потемкина А.М. Дмитриев-Мамонов, стал интимным другом стареющей императрицы. За это он был пожалован графским титулом. Однако в 1789 г. этот ловелас был замечен в неосторожной связи с еще одной фрейлиной своей покровительницы – княжной Д.Ф. Щербатовой (успешей к тому времени прославиться “интригой” с английским резидентом при русском дворе Ф. Гербертом). Мамонов признался в своем увлечении Екатерине, и та простила *duplicité* (двоедушие), как она назвала измену молодого любовника<sup>88</sup>.

Причиной подобной “доброты” правительницы было, возможно, отсутствие глубокой эмоциональной привязанности к своим интимным “утешителям”, а также пресыщенность эротическими забавами, которые Ш. Массон назвал “тайными мистериями” (“их можно повесть в другой книге, куда более непристойной, чем эта”)<sup>89</sup>. Ни одна из участниц таких “тайных мистерий” предусмотрительно не оставила записок или сокровенных дневников. Известно лишь, что среди них были весьма знающие и образованные дамы, камер-фрейлины Екатерины – прелестная и обаятельная А.В. Браницкая (племянница Г.А. Потемкина, сделавшаяся в результате замужества одной из самых богатых помещиц России) и, одновременно, никому не нужная дурнушка А.С. Протасова (так никогда не вышедшая замуж). Да если бы только они! Об их современнице Е.Н. Лопухиной, супруге сенатора П.В. Лопухина («усерднейше служившей богине любви, по пословице “Один муж снаружи, да пять в сундуке”, постоянно востребованных и готовых к услугам»<sup>90</sup>), знал весь столичный *beau monde*.

Иностранцы, жившие при дворе Екатерины, отмечали существование в то время особых "собраний" или, как их чаще называли, "физических клубов", членами которых могли быть и бывали подчас даже супружеские пары. Ш. Массон, например, полагая, что существование подобных клубов "показывает всю испорченность, скотство и падение нравов и вкусов во времена Екатерины", отметил, что "посвященные мужчины и женщины собирались в определенные дни и беспорядочно предавались самому постыдному разврату Мужья вводили туда своих жен, братья - сестер. От мужчин требовались крепость и здоровье, от женщин - красота и молодость. Мужчины принимали женщин, женщины - мужчин. Пары распределялись по жребиво..."<sup>91</sup> Ш. Массона можно было бы упрекнуть в том, что он распространяет привычки узкого слоя столичного дворянства на всю социальную группу (привилегированное сословие) в целом. Однако в воспоминаниях А.Е. Лабзиной также имеется указание на то, что ее муж с приятелями любил "нанять бани на целое лето", где "у них с девками бывали собрания" и где "все вместе веселились"<sup>92</sup>. Так или иначе, но Ш. Массон пришел к убеждению, что русские женщины "скорее способны доставлять удовольствие многим, чем сделать счастье одного", - не оттого ли, что он соприкоснулся прежде всего не с женщинами, подобными религиозной и нравоучительной А.Е. Лабзиной, не с "редкими цветами, распустившимися в тиши" (так он именовал провинциальных русских барышень, вероятно, вроде пушкинской Татьяны), а с "очаровательными талантами" представительниц высшего петербургского света?<sup>93</sup>

Ш. Массон, да и Дж. Казанова скупы в перечислении фамилий своих российских приятельниц, тех женщин, с которыми им удалось свести знакомство и чья необычная судьба натолкнула их на весьма рискованные обобщения о раснушенности нравов россиянок екатерининской и павловской эпохи. Ш. Массону, например, явно была известна судьба Е.П. Дивовой (урожденной Бутурлиной, племянницы Е.Р. Дашковой) - "довольно красивой женщины вольного поведения". Он, в частности, рассказал о том, что свою фамилию она получила после того, как была заподозрена в составлении карикатуры, изображавшей императрицу и графиню П.А. Брюс в "неприлично сладострастных позах", за что и была высечена. Добавим здесь, что унизительная кара не помешала этой женщине сделать впоследствии придворную карьеру, удачно выйти замуж и продолжать поражать свет нестандартными поступками, за что получила прозвище "*sempre pazza*" ("всегда сумасшедшая")<sup>94</sup>. Дж. Казанова приводит другую историю - о некоей жене обер-егермейстера, которая "была любовницей вельможи и наперсницей его жены Марии Павловны, которая мужа не любила и была в восторге, что кто-то избавляет ее от исполнения супружеского долга, если бы того вдруг обуял подобный каприз"<sup>95</sup>.

Не отличались строгостью нравственных правил и некоторые другие современницы этих нарушительниц общественного спокойствия. Трудно сказать, насколько укоренены были в них постулаты православной этики, если они свободно пренебрегали ими. Среди таких великосветских "модных дам" была в конце XVIII – начале XIX столетия некая О.А. Жеребцова (1766–1849), урожденная графиня Зубова – супруга камергера А.А. Жеребцова. Все знали, что она была любовницей английского посла при российском дворе П. Уитворта, нравилась императору Павлу Петровичу и имела незаконнорожденного сына Георга (Егора Егоровича Норда): поговаривали, что он был "плодом любви" О.А. Жеребцовой и самого английского монарха Георга III.

Другой пример – "маленькая дурнушка" Е.И. Нелидова, "выкупавшая недостатки своей наружности умом" (Ш. Массон). Она известна современным любителям истории по ее портретам – весьма комплиментарным – кисти Ж.-Л. Вуаля и Д.Г. Левицкого. Е.И. Нелидовой удивительным образом удавалось одновременно оставаться любовницей императора (Павла), т. е. "публично грешить против благопристойности и приличия" (Ш. Массон), и слыть ближайшей наперсницей его супруги, императрицы Марии Федоровны.

От Жеребцовой и Нелидовой не отставала и золотоволосая красавица Е.П. Багратион (урожд. Скавронская) (1780–1857) – жена знаменитого российского полководца. Разница в возрасте (ей было 19 лет, когда она – по настоянию Павла I – была выдана замуж за 35-летнего генерал-майора) стала причиной "несходства характеров": супруги стали жить раздельно, княгиня уехала за границу и стала там любовницей прусского принца Людвига. Овдовев в 1812 г., она еще дважды была замужем и до самой старости поражала знавших ее молодавостью, желанием нравиться и легкомысленными полупрозрачными нарядами<sup>96</sup>.

Пикантные истории жизни великосветских ветрениц, ставивших собственные физические удовольствия выше моральных правил, могут быть легко умножены, что еще раз доказывает наличие таких женщин в России конца XVIII в. как *социального явления*. "Матери запрещали дочерям своим иметь знакомство" с теми, кто ставил под сомнение все устои, но "чем поведение их было нескромнее, тем они были славнее"<sup>97</sup>. Отметим попутно, что очень часто на нестандартное поведение и презрение норм поведения, постулированных православной этикой, решались те, кто имел уже жизненный опыт – замужние женщины отнюдь не первой молодости. Это удачно подметил дворянин А.М. Тургенев в своих "Записках", рассказав о бурных романах вышеупомянутой Е.Н. Лолухиной: "Когда страсть овладевает женщиной в исходе лет, определенных женщине быть женщиной, то есть в 40 и под 40, тогда в женщинах делается раж, и они приходят в бешенство, забывают всякое приличие, стыд, оглашение и стремятся единственно к наслаждению физическому!"<sup>98</sup>

Мемуары, письма и другие наблюдения иностранцев позволяют отметить и еще одну сторону жизни столичного (и провинциального?) дворянства: сгустившееся все более частым раздельное проживание опустылевших друг другу мужа и жены («Независимость позволяет женам жить отдельно от мужей, по-русски»)<sup>99</sup>. Любопытно: во второй половине XVIII в. в Синод попало прошение с просьбой позволить развод по причине «несноности» (сексуальной несовместимости) супругов, и Синод удовлетворил (!) его, рассудив, что обратное распоряжение может привести к окончательному моральному «падению обоих сочетавшихся браком» или одного из них<sup>100</sup>. Чаще всего супруги просто полюбовно договаривались не жить больше вместе и не обращались за разводной грамотой к священнику, дав просто при свидетелях «письмо», что не имеют друг к другу претензий. Примеры такого рода множила сама жизнь<sup>101</sup>.

Подчас супругам удавалось получить специальное согласие Синода «жить особо друг от друга», не вступая в новый брак<sup>102</sup>. Чаще всего жена – если имела собственное имение – уезжала именно туда. Иногда после формального разъезда супруги сохраняли вполне дружеские отношения, как, например, П.Н. Капнист и его жена Екатерина Арманова, урожденная Делонвиль. Но в любом случае женщины не забывали о своих правах и требовали от бывших мужей содержания, а также уплаты всех долгов. Именно в таком положении оказался генералиссимус А.В. Суворов, разведясь со своей супругой – Варварой Ивановной. Павел I буквально заставил его «исполнить желание жены» (она настаивала на расторжении брачного союза). Семейные перерядки и неуступчивость В.И. Суворовой довели графа до такого отчаяния, что он стал просить императора разрешить ему постричься в монастырь<sup>103</sup>. Раздельно проживали и многие другие дворянские супружеские пары XVIII – начала XIX в.: вышеупомянутая Е.П. Багратион, А.П. Керн, Ю.П. Самойлова (изображенная на знаменитой картине К. Брюллова «Всадница»)<sup>104</sup>.

От десятилетия к десятилетию разъезды/разводы, вызванные супружескими изменами, становились все более частыми. Обращает на себя внимание, что среди документов на эту тему в материалах С.-Петербургской духовной консистории практически нет доносов, написанных знакомыми, соседями, друзьями, родственниками, да и священники не разглашали тайн исповеди<sup>105</sup>. Общественное мнение в отношении разъездов/разводов «по вине любодейания» не было единым. В мемуарах сообщения о раздельном проживании супругов-дворян (особенно в «поздних» по времени написания, начала XIX в.) носят сдержанный, перmissive характер («хлопотал о разводе...», «они скоро разъехались...», «он женился на отпущеннице...»). И в то же время в воспоминаниях можно встретить сообщения о том, что в конце XVIII в. «развод... считался чем-то языческим и чудовищным...

Сильно возбужденное мнение большого света обеих столиц строго осуждало нарушавших закон..."<sup>106</sup>

Большое число примеров беззаконного сожительства, "разъездов" и супружеских измен в среде высшей столичной знати привели французский посланник в России в 80-е годы XVIII в. граф Л.-Ф. де Сегюр, Дж. Казанова и, конечно, вышеупомянутый М.М. Щербатов. К числу наиболее скандальных связей, приведших к формальному разрыву супружеских отношений, ими были отнесены "распутства" княгини А.С. Бутурлиной, А.Б. Апраксиной (урожд. Голицыной – причем сам же М.М. Щербатов пометил в ее случае: "...я не вхожу в причины, ради чего она оставила своего мужа"), Е.С. Куракиной (любовницы графа А.И. Шувалова), "а пыне (т. е. в 90-е годы XVIII в. – *II. II.*), сетовал М.М. Щербатов, их можно сотнями считать"<sup>107</sup> (упомянем здесь многочисленные связи А.П. Лопухиной-Гагариной – фаворитки Павла Петровича)<sup>108</sup>. Придворные дамы вообще мало считались с церковными нормами и меньше всего думали об опасностях оказаться брошенными мужьями "пущеницами". К тому же они знали, что развод не обречет их на нищету: по суду женщина формально могла добиться получения части владений бывшего мужа – как своего "выдела" из общенажитого имущества ("седьмой части имений и четвертой части движимости и капитала")<sup>109</sup>. Среди столичных "светских львиц" такие жизненные типажи встречались, разумеется, чаще, чем в провинции; и напротив, в "глуши забытых селений" не редкостью были женщины, решительно отвергавшие развод и разъезд, подобно Татьяне Лариной ("Но я другому отдана и буду век ему верна...").

Таким образом, отвечая на вопрос о том, кто чаще был инициатором "разъездов" вместо разводов, можно допустить, что это были именно женщины. Нас убеждает в этом мнение М.М. Щербатова, "разбивающее" привычный стереотип восприятия русской дворянки того времени как скованной условностями светских и нравственных правил. Именно он прямо упрекал женщин в "своеправии от мужей уходить" (и приводил пример с "не помню какой графиней Голов[к]иной, живущей особливо от мужа своего")<sup>110</sup>. К сожалению, мы не можем заставить заговорить об этом самих "героинь" подобных филиппик, однако мы можем вновь предположить, что паллиативная мера (разъезд) позволяла женщинам и сохранять содержание, получавшееся ежегодно, и быть в известной степени независимыми в своих решениях. Можно обратить внимание и на подмеченное III Массоном стремление русских женщин к превосходству, к желанию "во всем и всегда играть первую роль, быть активной партией, даже в делах любви". И хотя, судя по "Секретным дневникам" – а именно так называл Массон свои записки, касающиеся российских реалий, – личный сексуальный опыт этого иностранца в России был невелик<sup>111</sup>, тем не менее к его взгляду стороннего наблюдателя стоит прислушаться.

Рассказывая об "интимных обыкновениях русских дам", он отметил, что, "не считая крепостных за мужчин, они с детства заставляют их оказывать себе тысячи интимных услуг"<sup>112</sup>. Это замечание Ш. Массона касалось и столичных, и провинциальных помещиц. "Любопытство их по поводу всего таинственного в любви не только удовлетворяется, но даже предупреждается самой домашней обстановкой, – полагал он. – ...Они проводят время, лежа на диване, окруженные рабами, которые должны не только исполнять, но и угадывать каждое их желание". В словах Ш. Массона слышалось осуждение, как и в размышлениях Дж. Казановы о всевластии "русских старух" ("Единственное, чего России не хватает, так это того, чтобы какая-нибудь женщина командовала войском..."), – но трудно представить себе, что они (обстоятельные иностранцы) сами не пользовались в то время всеми услугами крепостных девок (Дж. Казанова прямо описывает покупку одной из них – 13-летней девственницы – у ее отца)<sup>113</sup>.

В "обычае" русских помещиц "наблюдать" работающих мужиков Массону привиделись изощренные формы сексофилии – стремление к подглядыванию (вуайеризм) и получение удовольствия от наблюдения раздеваний и совершения половых актов другими (обсерватизм). Осуждая подобную "пескромность" русских помещиц, француз проявил себя натуральным сексистом ("мужским шовинистом"). Не секрет, что аналогичная модель поведения мужчины (не то что "наблюдение" хорошеньких девушек, но и создание сералей/гаремов, посещение публичных домов, содержание "красивых и стройных девочек десяти-двенадцати лет", попадавших – как отмечал в тех же "Секретных дневниках" Ш. Массон – "к светским развратникам в качестве любовниц") в то время не осуждалась. Между тем Массон резко критиковал образ жизни богатых и знатных русских женщин, которые, по его словам, не только "занимаются бизнесом, не совсем подходящим для их пола", но и "покупают, продают и обменивают крепостных, приказывают им раздеваться в своем присутствии и присутствуют сами при их порках, заставляют залезать в холодную воду и наблюдают затем с насмешкой их съезжившиеся тела..." Именно женщин-дворянок осуждал он, рассказывая об их обыкновении требовать от крепостных мужиков выполнения "частных и даже секретных просьб" (services secrets), "не считая их при этом за мужчин"<sup>114</sup>. Действительно, в законах Российской империи с начала XVIII в. существовали нормы, осуждавшие "принуждение к блудному насилию" крепостных девушек и женщин со стороны их "ослод", но "обратных" статей (о помещицах и их крепостных) в нормативных актах никогда не было<sup>115</sup>.

Напомним попутно, что "двойной стандарт" в оценке интимных связей дворян с простолудинами имел явную гендерную окраску. В редких, точнее исключительных, случаях жена-недворянка, выйдя

замуж за дворянина, могла ею стать<sup>116</sup>. Бастарды, рожденные от отца-дворянина и матери-простолюдинки, могли получить в жизни многое – от имущественных пожалований до дворянского титула<sup>117</sup>. Обратная ситуация была исключена: любовная связь дворянки и простолюдина просто не могла ничем кончиться. Решившись связать судьбу с крепостным, дворянка должна была потерять свой высокий социальный статус<sup>118</sup> либо согласиться на то, что дети никогда не будут приняты в “хорошем обществе”<sup>119</sup> (заметим, однако, что тот же Н.М. Карамзин в “Наталье, боярской дочери” риторически вопрошал читателя: “Разве не было примеров, что дворяночки убежали от родителей с крепостными своими людьми, за которых и выходили замуж?” – ответим ему: не было)<sup>120</sup>.

В известной степени интимную сторону жизни русских дворянок XVIII – начала XIX в. характеризуют впервые появившиеся в это время их прошения о разводе по причине неспособности мужей к исполнению супружеских обязанностей. Кормчая книга устанавливала для проверки способности супругов к брачному сожителю трехгодичный “испытательный срок”; супруги ставили вопрос, как правило, много позже. Например, некая столичная дворянка С.Д. Кушнер потребовала в 1792 г. развода с возвращением приданого или эквивалента его стоимости после семи лет брака, в течение которых ее супруг так и не доказал свою способность быть мужчиной<sup>121</sup>.

Трудно сказать – к стыду или к радости женщин, но для удостоверения действительной бесплодности брака со второй половины XVIII в. стало требоваться подтверждение врачебной управы: только она могла засвидетельствовать импотенцию мужчины<sup>122</sup>. Большинство женщин молчало об эротике: из нескольких обнаруженных нами дел лишь в одном имелась ссыла на супружескую несостоятельность мужа (и оно завершилось расторжением брака)<sup>123</sup>. В начале XIX в. в случае развода по указанной причине добавились новые обстоятельства: разводящаяся должна была доказать, что импотенция мужа “началась прежде брака” и, следовательно, просительница находится “в девственном состоянии” (представив свидетельство, полученное через врачебную управу). Неудивительно, что охотники доказывать таким образом свое право на расторжение брака практически не находилось<sup>124</sup>.

\*\*\*

Как ни настаивал М.М. Щербатов на необходимости забыть имена тех дворянок, которые рискнули поколебать нравственные устои тогдашнего общества (“да сокроются от потомства имена их, а роды их да не обесчещутся напаятованием преступлений их матерей и бабок”), следовать его назиданию историку вряд ли стоит. Изменения в модели социального поведения дворянок имели не только

отрицательные последствия. Проявленная смелость, готовность отступить от стереотипов поведения были очень важны для осознания существования особого "женского мира". И если некоторые стороны внутреннего мира женщин невозможно представить вне материнства, супружества, дружбы и приятельства, то область сексуальная и эротическая формировалась, осознавалась и осмыслялась явно под воздействием все более растущего числа женщин "нестандартного поведения". Менялись формы выражения переживаний, ценностные ориентиры – а вместе с ними у образованных дворянок рос интерес к самим себе, к анализу собственных "чувствований".

Возникновение "женского мира" – осознание присутствия у женщин своих собственных, отличных от "мужских" ценностей и интересов – шло не без влияния многочисленных и разнообразных общественно-психологических трансформаций. Оправдание социумом (или хотя бы частью его) необычных, нестандартных женских поступков, в том числе (воспользуемся точным определением А.С. Пушкина) появления "беззаконных комет в кругу расчисленного показателя", было одним из показателей изменившейся оценки "мятежного пламени страстей" – т. е. чувственной стороны человеческих взаимоотношений.

Очевидно, что этот процесс находился под одновременным воздействием противоположных социальных сил: склонных отстаивать традиции (как и во всяком обществе, в России XVIII в. это были старшие возрастные группы населения, представители церкви, носители власти) и их антагонистов (молодежи, представителей мира литературы, искусства, а также неконформной части женского придворного социума). Каждая из этих социальных сил диктовала свое понимание императивов "телесного" и "духовного", их соотношения в поведении женщин. Это вело к обнаружению существенных несоответствий, расхождений, а порой и противоречий между многовековой традицией, религиозными представлениями, другими звеньями социокультурной практики и разного рода новациями, как социальными, так и ментальными, в области регламентации частной жизни индивидов.

Заметим, что, помимо социального фактора, на формирование мира чувств русской дворянки XVIII в. воздействовал и фактор гендерный – культурно, этнически и конфессионально заданные полоролевые (гендерные) стереотипы поведения, формальные и неформальные правила, идеи, институты и другие социальные взаимодействия, предписываемые в соответствии с тем, к какому полу принадлежал автор того или иного текста. Исходя из феминистской концепции развития женской идентичности (согласно которой самовыражение женщины в мире патриархальных норм проходило как минимум три стадии: (1) согласия с мужскими стереотипами или даже их имитации, (2) протеста и (3) самоопределения<sup>125</sup>), можно сде-



лать вывод о том, что русская “женская” литература и мемуаристика, рассмотренные под углом истории развития мира женских чувств, являют исследователю переходный этап от первой фазы ко второй.

Так, “мужская” литература, поэзия, мемуаристика к концу XVIII в. сформировали целостный образ влюбленного человека и влюбленной женщины (в мужском, подчеркнем, понимании). Западная модель женской красоты (утонченность, изящество, легкость походки и движения и т. п.), стремительно проникнув в Россию, прижилась за столетие в верхних слоях общества. Этикетной нормой отношения мужчины к женщине в привилегированном сословии стали почитание, восхищение, романтизированная и сентиментализированная нежность. Однако, при всем стремлении писателей, поэтов и авторов мемуаров рассматривать брак как духовный и телесный союз, они (мужчины) не смогли понять в это время всю глубину и сложность психофизиологических запросов своих избранниц. Мир женских чувств, каким он сформировался внутри “мужского” дискурса к концу доиндустриального периода в России, предстает перед исследователем по-прежнему полярным (что неудивительно: деление всх женщин на “добрых” и “злых” жен пронизывает всю средневековую и вообще церковную литературу). Нежные, жертвенные, готовые к самоотдаче и самоотречению законные супруги все так же, как и столетиями раньше, противостояли в сочинениях мемуаристов, писателей и поэтов скандальным, любвеобильным, ветреным подругам вне брака.

Правда, в отличие от предшествующего столетия, таких “нарушительниц общественного спокойствия” стало больше. Однако ни один автор-мужчина (ни отечественный, ни зарубежный), испытывая по отношению к необычным женщинам (встряхнувшим и шокировавшим общество) всю гамму чувств от любопытства и осуждения до тайного восхищения, не признался в том, что видел в этих необычных современницах – тех, к кому его тянуло и о ком хотелось размышлять, говорить, сплетничать, – мятежниц или героинь. Терпимость к адюльтеру была, несомненно, “побочным продуктом” (эпифеноменом) целого ряда социопсихологических процессов, исследование которых не входит в задачи автора данного очерка. Однако то, что появление “беззаконных комет” было частью этих процессов, – неоспоримо, равно как и то, что уже к середине XIX в. роль их в общественной жизни русской элиты несколько поблекла и померкла. Все они были частью столичной дворянской культуры, можно сказать, строго определенного временного отрезка – середины XVIII – начала XIX в. И именно они, “беззаконные кометы”, заставили окружающее их общество допустить признание множественности жизненных стилей (хотя бы в их привилегированной социальной страте), без которого какое-либо раскрепощение в отношении сексуальности и эротики было бы невозможно. Именно благодаря

им происходила сублимация сексуальности в эротику, с которой не только современные феминистки, но еще и М. Вебер связывал и универсальную рационализацию и интеллектуализацию культуры в новое время<sup>126</sup>.

Анализ текстов, созданных иностранцами (иные заезжие путешественники становились в дальнейшем высокопоставленными чиновниками при дворе), убеждает в том, что переживания сексуального, эротического характера занимали немалое место в частной жизни дворянок. Однако эти переживания усиленно "загонялись" вглубь, а невротическое неблагополучие и неудовлетворенность сублимировались в различные формы социальной или семейной (многодетность) активности. Это было отмечено и иностранцами: как стремление встреченных ими русских дам быть всегда и во всем активной партией.

Несмотря на подобный упрек, неудивительно, что "женская" литература (художественная, мемуарная, эпистолярная) оказалась – в смысле представленности интересующего нас сюжета – в целом беднее "мужской". Вполне понятно, что ни одна из писательниц или мемуаристок не заявила в открытую о готовности разорвать замкнутый круг традиций, этических норм, воспитательных стереотипов. Ведь если бы женщина нашлась – она бы оказалась один на один с тысячелетней традицией, диктовавшей иной стиль и образ жизни.

Эта традиция веками определяла направленность женского дворянского воспитания на сдержанность, на умение не поддаваться эмоциям. Весьма серьезной помехой к раскрытию женщинами собственного внутреннего мира, а тем более их сокровенных переживаний (сексуальных, эротических), было пропагандируемое как общепринятое отношение к чувственной любви как к "любви скотской", "мерзости", "тягости". Веками внушаемое и поощряемое осуждение собственной чувственности вполне согласовывалось с "мужской" моделью семейных и брачных отношений (что находит аналогии даже в современных исследованиях по социологии сексуальности)<sup>127</sup>.

Но даже сквозь плотный слой умолчаний в "женских" мемуарах прослеживается острая чувствительность их авторов к межличностным отношениям (именно она, судя по всему, сублимировала сексуальные экспектации), склонность учитывать их женщинами в своей судьбе, тонко реагировать на нормы своей социальной группы. И если в "мужской" литературе четко прослеживается неосознанное подчас стремление к обладанию и демонстрации власти, то в "женской" – столь же "классическая" готовность к подчинению.

В свете сказанного пренебрежение сексуальной сферой супружеской (и, шире, частной) жизни женщины, которое при поверхностном чтении источников, казалось бы, определяет их содержание, может и должно рассматриваться не как нечто естественное, а как навязываемое. О том, что все, связанное с интимной сферой, влекло

и волновало, говорит стремление мемуаристок описывать пережитое – хотя бы не ими самими, но их знакомыми или близкими. Если кто-либо из авторов (подобных той же А. Е. Лабзиной) все же решался на фиксацию собственных рефлексий, связанных с сексуальной сферой, то неизбежно принимал на себя роль “признающей себя субъективности”<sup>128</sup>, постоянной униженности, буквально “питающей” своим же страданием.

Парадоксальное существование на другом полюсе выходявших именно из женской среды (хотя и не из среды писательниц, поэтесс, авторов воспоминаний) наиболее раскованных личностей, открыто выступавших против старых символов и ломавших существующие моральные критерии, в этом смысле не удивительно. Они являлись необходимой альтернативой типу женщин-страдалиц. И расширение числа “беззаконных комет” незаметно, подспудно трансформировало и общество в целом, и “женский мир” – мир женских чувств – в частности. Каждая из женщин нестандартного, отклоняющегося поведения вносила свой вклад в дело свободы личности – в присущее каждому право выбирать свой стиль, моделировать свой жизненный сценарий, искать свой путь, ломать существующие этические критерии. К концу одного века и началу другого они явили собой “вписанность” в новую этикетную норму.

Те, кто не решался на откровенное противопоставление своего образа жизни общественному, шли на меньшее. Кто-то выступал инициатором раздельного с мужьями проживания, кто-то решительно требовал развода, в том числе по причинам интимного свойства, были и такие, кто протестовал против навязанной модели заключения браков по собственному выбору, по любви (в том числе мезальянсов).

Изучение моделей поведения и мира чувств россиянок привилегированных социальных групп заставляет задаться вопросом: насколько далеко были “разведены” мир чувств дворянки и мир чувств представительницы непривилегированной части общества, в частности крестьянки? Анализ памятников допетровской эпохи (X–XVII вв.) доказал, что и в образе жизни, и в строе мыслей и чувств у женщин, находящихся на разных ступенях социальной лестницы, было больше общего, чем различий<sup>129</sup>. Ответ на вопрос, сохранилось ли это “единство” в XVIII – начале XIX в., – тема специального исследования, начало которому положено данным очерком.

## Примечания

<sup>1</sup> См. об этом: *Schulze W. Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte // Von Aufbruch und Utopie / Ed. by B. Lundt, H. Reilmoeller. Koeln, 1992. P. 417–450; Trepp A.-Ch. The Private Lives of Men in 18th-Century Europe // Central European History. 1994. Vol. 27. № 2. P. 127–128.*

- 2 Подробнее об источниково́й базе исследования по истории русской сексуальной культуры см.: *Ишукарена И.Л.* "Музыка пидитая – дити не вилать. (Интимная жизнь и интимная жизнь женщин в XVI–XVII вв.) // *Сексуальная история. Social History of M., 1998. Вып. 1; Она же.* "Они естествошисники и три хитманши" (источники по истории чувственной любви и русской сексуальной культуры X–XVIII вв.) // "А се трети злы, смертные" (Русская сексуальная культура X–XVIII вв.: Документы и исследования) / Отв. ред. Л.Н. Пылаева. М., 1999.
- 3 *Histoire de la vie privée / Sous la dir. Ph. Ariès, et G. Duby. T. 1. P. 1525. 1987. Ср. Пылаева М.И.* Старое жигие. Очерки и рассказы СПб., 1992. С. 69–81. См. также об истории сексуальной культуры России президентские времена публикацию текстов докладов в Акроне (Кент, США) в 1991 г. *Sexuality and Body in Russian Culture / Ed. by Z. Costrow and other. Stanford, 1993.*
- 4 Письма русских государей и других особ нарочною семьею М. 1861. Т. 1 (Далее: ПРГ). № 20. С. 14; № 62. С. 42; № 84. С. 59; № 102. С. 73.
- 5 См. об этом в описаниях иностранцев, например *Дж. Казанов Казанова Дж.* История моей жизни. М., 1990. С. 553. См. также *Брук Ю.В.* Истоки русского жанра. XVIII в. М., 1990. (Далее: *Брук*). С. 13. *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре XVIII – начала XIX в. СПб., 1994. (Далее: *Лотман*). С. 49.
- 6 Стремительное развитие портретной живописи в XVIII в. способствовало эволюции "языка чувств", открыл изумленному взору современников изменчивую жизнь человеческого сердца, приучая к любезности и "учтивости" обхождения с женщиной и в то же время насаждая этикетные правила, неспроступающую норму благопристойности при изъявлении душевных движений – правил, приобщавших образованных и "культурных" столичных дворян к утонченной культуре европейского салона. См. подробнее: *Брук. С. 50; Жидков Г.В.* Русское искусство XVIII века. Архитектура, скульптура, живопись. М., 1951.
- 7 *Цылов Н.И.* Описание жизни Н.И. Цылова // *Шукинский сборник. М., 1907. Вып. 6.* (Далее: *Цылов*). С. 78 (события 1799 г.).
- 8 *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Репринт издания. London, 1858. М., 1983. (Далее: *Радищев*). С. 18.
- 9 Там же. С. 65.
- 10 Правда, чувства героев русских повестей – дворян, матросов, купцов и т. д. – были обращены только к иноземкам: в повестях не было ни одной истинно русской героини. См.: Русские повести первой трети XVIII в. // *Исследования и подготовка текста Г.Н. Моисеевой. М.; Л., 1965. С. 101–105; 196–197; 217–220. 303 и др.*
- 11 В.К. Третьяковский – И.Д. Шумахеру. 18 января 1731 г. // *Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 46.*
- 12 См., например: *Чулков М.Д.* Пересмешник, или Славянские сказки // *Русская проза XVIII века. М.; Л., 1950. Т. 1.* (Далее: *Чулков*). С. 102.
- 13 *Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1986. Т. 11. С. 113; Мои свадебные приключения // Магазин полезных сведений. 1795. Ч. 2.* (Далее: *Магазин*). С. 51.
- 14 *Измайлов А. Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества. СПб., 1799–1801. Т. 2.* (Далее: *Измайлов*). С. 161.
- 15 Записки Федора Пантелеймовича Печерина 1737–1816 гг. // *Русская старина. Год 22-й. 1891. № 12. С. 602; Цылов. С. 78; Назимова М.Г.* Бабушка графиня М.Г. Разумовская // *Исторический вестник. 1899. Т. 75. № 3.* (Далее: *Назимова*). С. 844 (о своем деде).
- 16 *Винский Г.С.* Мое время. СПб., 1914. (Далее: *Винский*). С. 65.
- 17 "Эта мысль заставила... его (дедушка мемуаристки. – Н. П.) еще сильнее привязаться к любимой женщине и окружать ее таким утонченным вниманием, от которого бабушка чувствовала себя вполне счастливой" (*Назимова. С. 846*); аналогичные свидетельства можно найти и в воспоминаниях Л.А. Ростопчиной (*Ростопчина Л.А.* Правда о моей бабушке. Отрывок из воспоминаний // *Исторический вестник. 1904. Т. 95. № 1.* (Далее: *Ростопчина*). С. 54); «Отец мой страстно любил жену, иначе не называл ее как "друг мой Катенька", баловал, сколько мог...» (*Нико-*

- лаева М.С. Черты старинного дворянского быта. Воспоминания // Русский архив. 1893. Кн. 3. № 9. С. 117, 143). См. также: *Мордвинова Н.Н.* Воспоминания об адмирале графе Николае Семеновиче Мордвинове и о его семействе: Записки дочери // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX века. М., 1990. (Далее: *Мордвинова*). С. 403; *Эдлинг Р.С.* Из записок графини Эдлинг // Русский архив. 1887. Кн. 1. № 2. С. 199, 213 и др.
- 18 "Все душевны восхищенья, // Все внимание друзей, // Ласки нежной услажденья // Находил в жене моей. // Она рай мне создала // Безподобный при себе. // Целу жизни придавала // И красу моей судьбе..." (*Долгорукий И.М.* Сочинения. СПб., 1849. Т. 2. С. 15.)
- 19 *Басаргин Н.В.* Записки. Пг., 1917. (Далее: *Басаргин*). С. 34; *Ростопчина*. С. 54
- 20 См., например, сочинение анонимного автора: А.Э. Милля, нежная сердца. М., 1800. С. 11. Ср.: *Карамзин Н.М.* Евгений и Юлия // Детское чтение. 1801. С. 178; *Измайлов В.* Минутное блаженство. СПб., 1795. С. 98.
- 21 *Глинка С.Н.* Записки. СПб., 1895. (Далее: *Глинка*). С. 245. См. также: *Кочеткова Н.Д.* "Исповедь" в русской литературе конца XVIII века // На путях к романтизму. Л., 1984. С. 71–99.
- 22 *Данилов М.В.* Записки // Русский архив. 1883. Кн. 2. С. 34.
- 23 О "зоркой догадливости" женщины, силе их интуиции, о компромиссности их характера как предпосылке умения находить решения в тупиковых жизненных ситуациях, когда у мужчин "леность усыпляет способности, а отчаяние, ближайший сосед уныния, завлекает Бог знает куда и во что", писал, характеризуя свою жену, С.Н. Глинка. См.: *Глинка*. С. 243, 311.
- 24 «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами ("женского полу". – Н. П.) овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло...» (*Щербатов М.М.* Сочинения. СПб., 1898. Т. II. (Далее: *Щербатов*). С. 151–152).
- 25 *Муравьев М.Н.* Стихотворения / Вступ. статья Л.Н. Кулаковой. Л., 1967. С. 48–49; М.Н. Муравьев – сестре Ф.Н. Муравьевой. 1778 г. (без точной даты) // Письма русских писателей XVIII в. М., 1980. С. 360.
- 26 *Радищев*. С. 132.
- 27 *Капист-Скалон С.В.* Воспоминания // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX в. / Сост. Г.Н. Монсева. М., 1990. (Далее: *Скалон*). С. 512.
- 28 *Hite S.* Women and Love. A Cultural Revolution in Progress. N. Y., 1987. P. 26, 75.
- 29 Едва ли не первое признание такого рода – в воспоминаниях А.П. Керн (урожд. Полторацкой), через несколько лет после брака принявшей решение жить с мужем раздельно. См.: *Керн А.П.* Воспоминания, дневники, переписка. М., 1974. (Далее: *Керн*). С. 124.
- 30 Записки графини Варвары Николаевны Головиной (1766–1819) / Ред. и прии. Е.С. Шумигорского. СПб., 1900. (Далее: *Головина*). С. 233; *Долгорукова Н.Б.* // Записки и воспоминания русских женщин... (Далее: *Долгорукова*).
- 31 Татьяна имела в виду романтическое чувство девушки к ее избраннику, крепостная нянька – запретное чувство молодой женщины к другому мужчине (так толковал ситуацию основатель школы семиотики – см.: *Лотман Ю.М.* "Евгений Онегин". Комментарий. СПб., 1995. С. 617.). А.С. Пушкин так комментирует сделанную им в "Онегине" зарисовку: "Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла замуж? – По страсти, – отвечала она, – я было заупрямилась да меня пригрозили высечь..." (*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., Т. XI. С. 255–256). Ср.: "Вестимо дело, они *выходят по страсти*, если какую не пристрастишь – ни за что не пойдут..." (*Свербеев Д.Н.* Записки. М., 1899. Т. 2. С. 40–41).
- 32 В отличие от мужчин (ср.: *Bernard J.* The Female World. L., 1981. P. 469; *Терп А.-Ск.* Op. cit. P. 131), которые как раз искали "услаждения плоти" в рамках законного супружества ("Какое побуждение было нашей любви?" – риторически рассуждал "один крестецкий дворянин", описание судьбы которого оставил А.Н. Радищев, "

отвечал сам себе: "Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа". – *Радница*. С. 187).

- 33 Долгорукова. С. 47; Глинка. С. 368.
- 34 Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России (1730–1731 гг.) // Безвременье и временщики. Воспоминания об "эпохе дворцовых переворотов". Л., 1991. (Далее: *Рондо*). С. 206.
- 35 Березина Е.Я. Жизнь моей матери, или Судьбы providения // Исторический вестник. 1894. Т. 58. № 12. (Далее: *Березина*). С. 684 (о своем деде, Я.П. Раткове).
- 36 Лотман. С. 103–123, 180–210.
- 37 См., например: Глинка. С. 368.
- 38 См. подробнее: Брук. С. 133–134.
- 39 Долгорукова. С. 57.
- 40 В западной литературе существуют две точки зрения на XVIII век как рубеж в истории сексуальной этики: одни полагают, что буржуазная эпоха либерализовала половую мораль (*Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. 1. La volonté de savoir. P., 1976*), другие – что она усилила антисексуальные репрессии, но в изощренной, завуалированной форме, и женщины это особенно сильно коснулось (*Flandrin J.-L. Le sex en l'Occident. Evolution des attitudes et des comportements. P., 1981; Matthews Grieco S.F. Corps, apparence et sexualité // Histoire des femmes. XVIe–XVIIIe ss. Sous la dir. M. Perrot, G. Duby. P., 1991. P. 59–93*).
- 41 *Stearns P.N., Stearns C.Z. Emotionology: Clarifying the History of Emotional Standards // American Historical Review. 1985. № 4. P. 813–836.*
- 42 ПРГ. М., 1862–1863. III–IV. С. 68–69; Письма главнейших деятелей в царствовании имп. Александра I. 1802–1829. СПб., 1883. С. 19 (№ 17); Скалон. С. 345. О "Письмовниках" см.: *Кирпичников А. Курганов и его "Письмовник" // Исторический вестник. 1887. № 9; Тэт У.Ф. Дружеское письмо как литературный жанр. СПб., 1994 (рец. см.: Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 333).*
- 43 Аналогичный стереотип наблюдается современными социопсихологами: *Криулина А.А. Психология женщины. Курск, 1992. С. 15.*
- 44 Н.М. Карамзин – П.А. Вяземскому. 11 сентября 1818 г. // Письма Н.М. Карамзина к кн. П.А. Вяземскому 1810–1826 гг. СПб., 1897. С. 61; Чулков. С. 103. Мнение о "холодности и слабости" русской женской души часто встречается в мемуарах иностранцев, побывавших в России: *Masson Ch.-F.-Ph. Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et celui de Paul. P., 1802. (Далее: Masson). P. 254–255.*
- 45 *Le Préks de Бамонт. Наставления молодым господам, вступающим в брак. М., 1788. С. 40.*
- 46 Н.М. Карамзин – П.А. Вяземскому. 11 сентября 1818 г. С. 61.
- 47 Иное дело – мир "внешний": любопытно, что мужчины практически не описывали в воспоминаниях собственную внешность, женщины же – напротив, очень часто, из чего следует, что внешняя привлекательность, красота осознавались женщинами как ценность в их культуре. В этом современные психологи-феминистки видят готовность женщин "обслуживать" интересы и потребности мужчин. См.: *Bernard J. Op. cit. P. 479–480.*
- 48 "Сие воспитание было... что не все надо говорить, что думаешь, не верить слишком тем, которые ласкают много, ни с каким мужчиной не быть в тесной дружбе ..."; "Я не знаю скотской любви, и Боже меня спаси знать ее, а я хочу любить чистой и непостоянной любовью" (Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной (1758–1828). СПб., 1903. (Далее: *Лабзина*). С. 53, 69–70. О супружеской любви как о "телесном страдании" в понимании русских см.: *Рондо. С. 199.*
- 49 Именно поэтому оставшаяся трех лет без матери Е.Р. Воронцова (в замужестве Дашкова) воспитывалась в доме женатого дяди, занимавшего ответственный государственный пост (канцлера), вместе с его детьми, или, например, А.П. Бункина (будущая поэтесса), также оставшаяся без матери, когда ей еще не исполнилось года, – в доме замужней тетки (*Чехов А.П. Замечательные русские женщины: Анна*

Петровна Бунина // Исторический вестник. СПб., 1895. Т. 16. С. 166). См. подробнее: *Пушкарёва Н.Л.* Женщина в русской семье: традиции и современность // Гендер. Семья. Культура: Сб. ст. / Под ред. В.А. Тишкова. М., 1997. С. 177–189.

50 *Лабзина*. С. 77.

51 *Керн*. С. 107–108.

52 *Радищев*. С. 211; о благочестивой жизни см.: *Аксаков С.Т.* Семейная хроника. М., 1982. С. 140.

53 *Тургенев А.М.* Записки Александра Михайловича Тургенева (1772–1863) // Помещица Россия по запискам современников. М., 1911. (Далее: *Тургенев*). С. 52.

54 *Фонвизин Д.И.* Друг честных людей, или Стародум // Русская литература XVIII в. М.; Л., 1950. Т. 1. (Далее: *Фонвизин*). С. 546.

55 *Ситовский В.В.* Очерки из истории русского романа. СПб., 1910. С. 92.

56 Записки княгини Е.Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России / Под ред. С.С. Дмитриева, Г.А. Веселой. М., 1991. (Далее: *Дашкова*). С. 15.

57 *Державин Г.Р.* Записки. М., 1860. (Далее: *Державин*). С. 128.

58 Романтическию, захватывающую историю знакомства и брака своих родителей поведала, например, Е.Я. Березина, мать которой, "переодевшись в мужское платье, под видом денщика, следовала за полком", в котором служил человек, в которого она влюбилась (впоследствии – ее муж и отец мемуаристки). Не допуская и мысли о расставании с любимым хоть на день, она "произвела" дочь "на свет в кругу инов в 1794 г." 14 лет спустя сделать это она бы не смогла: Александр I подписал именной указ, запрещающий "воинским чиновникам... иметь при себе жен" (*Березина*. С. 684. Ср.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. (Далее: ПСЗ). Т. XXXI. №. 22842 (28 февраля 1808 г.). С. 95).

59 *Де Сталь, баронесса*. 1812 год // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. (Далее: *Де Сталь*). С. 51.

60 См. подробнее: *Пушкарёва Н.Л.* Частная жизнь женщины в доиндустриальной России. X – начало XIX в. Невеста, жена, любовница. М., 1997.

61 *Магазин*. С. 78–79.

62 *Радищев*. С. 220. Не случайно еще в 1744 г. Синод рассматривал прецедент сочетания браком между 82-летним стариком и молодой женщиной и признал такой брак недействительным, постановив, что в таком возрасте надобно "не плотоугодия устраивать, но о спасении души своей попечительствовать долженствует".

63 Впервые отмечено: *Лернер Н.О.* Муж Татьяны // Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 213–216.

64 *Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 80; ср.: *Де-Пуле*. Из записок человека // Русский вестник. 1875. № 6. С. 470; № 11. С. 72.

65 *Карамзин Н.М.* Сочинения. СПб., 1899. Т. III. С. 254.

66 Кстати сказать, и мужчины, оставшиеся мемуары, старались больше фиксировать переживания своих знакомых и родственниц, нежели пускать "чужих" в собственный внутренний мир. Например, некий Г.С. Винский, рассказывая о том, как внезапно вспыхнувшая любовь заставила его сестру поступать "как истинная своенющица, чуждая не только нежных ощущений сердца (жалости к супругу. – Н.П.), [но] даже не повинующаяся и пристойности", внутренне осуждал ее за это, равно как за ее житейскую ловкость (она сумела "загнать своего бедного мужа в Чернигов судействовать", а сама – по выражению брата – "закусила удила") (*Винский*. С. 121).

67 "Они влюбились друг в друга и стали думать, как бы получить возможность удалиться от двора и от своих семейств и предаться взаимной страсти" (*Эдлинг Р.С.* Из записок графини Эдлинг // Русский архив. 1887. Кн. 1. № 2. С. 221). При этом "она" была любовницей царя, а он известным дипломатом.

68 *Головина*. С. 77.

69 *Винский*. С. 189; Письма Кэтрин Вильмот, 1803–1805 // Записки княгини Е.Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России. (Далее: *Вильмот К.*). С. 358.

70 *Чулков М.Д.* Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины // Русская литература XVIII в. Т. 1. С. 165, 173.

- 71 Ср., например: *Огарева Е.П.* "Честь и добродетель неразлучны" // Дамский журнал. 1830. № 21. С. 177.
- 72 *Поэты 1790–1810 гг.* Л., 1971. С. 495–496 (А.А. Волкова), 473–474 (А.П. Бунина).
- 73 "Нет, никогда женщина-автор не сможет любить", – скептически заключал В.Г. Белинский, бывший, казалось бы, поборником женской эмансипации. См.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 226. Не только В.Г. Белинский, но и А.С. Пушкин, и многие другие куда менее талантливые поэты и писатели считали словесность неженским делом. "Женщина-амазонка... женщина-писательница. В них нет естественности. Их ли маленьким головкам читать лекции и *разрабатывать*, сочиняя нравственные романы?" (Библиотека для чтения. 1837 № 2. С. 6).
- 74 *Важова А.* К беседе любителей русского слова (1811 г.) // *Поэты 1790–1810 гг.* С. 181.
- 75 См. подробнее: *Кон И.С.* Введение в сексологию. М., 1988. С. 221.
- 76 *Bardon E.J.* Sexual Stereotypes in Literature and Art // *Bardon E.J.* The Sexual Arena and Women's Liberation. N. Y., 1978. P. 63.
- 77 *Банникова Н.В.* От составителя // *Русские поэтессы XIX века.* М., 1979. С. 19–20
- 78 Термин "модная жена" вошел в литературу и обиход вместе с одноименными стихами И.И. Дмитриева в 1791 г. См.: *Кулин В.В., Подольская И.И.* Иван Иванович Дмитриев // *Русские мемуары.* XVIII в. М., 1988. С. 169. "Модной женой" могла считаться лишь та, что умела "с приятностью махать веером и с помощью онаго знающая искусство развевать и разбрасывать волосы, по моде несколько прищептывающая язычком, прищипывающая томные глазки с привлекательной улыбочкой" (Сатирический вестник. 1795. Ч. 4. С. 102).
- 79 *Головина С.* 77–78. Яркий пример воспитания мужем "не своих" детей приводит леди Рондо, описавшая разговор с "мистером Лопухиным" после того, как его жена разрешилась от бремени: "Я поздравила мужа с рождением сына и спросила, как самочувствие супруги". – "Почему вы спрашиваете меня? Спросите графа Левенвольде, он знает лучше. Весь свет об этом знает, и меня это волнует..." Рондо прокомментировала удививший ее разговор собственной оценкой романа Лопухиной: "Они [любовники] очень постоянны в своем сильном и взаимном чувстве много лет". См.: *Рондо С.* 244.
- 80 *Де Сталь С.* 56; о добромочном растлении дворянки см.: в *художественной* литературе: *Аноним.* Мои свадебные приключения // *Магазин.* С. 51; *Измайлов.* Т. 1. С. 171 (с ремаркой: "Женщина никогда без согласия не сдается мужчине, мужчина же... не облизирован жениться на той, что обрюхатил"); в *сочинениях иностранцев:* *Казанова С.* 557 ("Он свел меня с английским посланником Маккартни, красивым и умным юношей, имевшим слабость влюбиться в девушку Хитрово и сделать ей ребенка..."). Казанова пересказал историю А.А. Хитрово (1737–1795), ставшей впоследствии Голицыной, а во втором браке – Кологривовой); в *мемуарах:* *Тургенев С.* 52. См. также: *Массон Ш.* Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. (По изданию 1918 г., с сокр.) М., 1996. (Далее: *Массон*). С. 145.
- 81 *Фонвизин С.* 545; *Казанова С.* 591.
- 82 *Григоревич Н.И.* Канцлер Безбородко // *Русский архив.* 1877. № 1. С. 42–43.
- 83 *Словарь языка А.С. Пушкина.* М., 1956. Т. 2. С. 521.
- 84 *Щербатов С.* 77.
- 85 *Фонвизин С.* 559.
- 86 *Русский быт по воспоминаниям современников.* Сборник отрывков из записок, воспоминаний и писем / Сост. П.Е. Мельгуновой. XVIII век. М., 1918. Вып. 1. Ч. 1. С. 73–146. См. также переписку М.А. Волковой и В.И. Ланской 1812 г.: Частные письма 1812 года // *Русский архив.* Год 10-й. М., 1872. Стлб. 2372–2435; ср.: "... и весь двор в такое состояние пришел, что каждый почти имел незакрытую любовницу, а жены, не скрываясь ни от мужа, ни от родственников, любовников себе искали. Исчислю ли я тех жен, которые не стыдились впасть в такие любовности?" (*Щербатов С.* 26).



<sup>87</sup> Казанова. С. 580.

<sup>88</sup> Для Корсакова не было придумано иного "наказания", кроме удаления от двора. Он спешно уехал в Москву, причем не один, а с новой любовницей – графиней Е.П. Строгановой (законной женой графа А.С. Строганова), и был вполне доволен тем, как он выпутался из "истории". Аналогичное наказание мудрой императрицы другому молодому повесе, Мамонову, имело для него худшие последствия: Екатерина потребовала немедленно обвинять любовников и удалила их от двора в Москву. Не прошло и года, как у них родился сын Матвей, однако провинившегося любовника это не радовало. Он выпрашивал у Екатерины позволения вернуться ко двору, к его суматошной жизни, изводил жену, считая, что она является виновницей его скуки и хандры. "Он и не будет счастлив, – полагала Екатерина. – Разница: ходить с кем-нибудь по саду и видаться на четверть часа и жить вместе" (Знаменитые россияне XVIII–XIX веков. По изданию в. кн. Николая Михайловича "Русские портреты XVIII и XIX столетий". СПб., 1996. (Далее: Знаменитые россияне). С. 85, 93).

<sup>89</sup> Массон. С. 73.

<sup>90</sup> Рыбтер А.И. Записки // Русский архив. 1877. № 4. С. 467. Причем особенно часто "востребованным" оказывался подполковник Екатеринославского полка Ф.П. Уваров, См.: Тургенева. С. 48.

<sup>91</sup> Массон. С. 144–145.

<sup>92</sup> Лавина. С. 57. Законодательные памятники XVIII в. неопровержимо свидетельствуют также, что в то время посещение мужчинами "подозрительных домов", развлечения в которых именовались в наказах губернаторам "блядскими похабствами", становилось нормой городской жизни (хотя тот же Массон – мужчина! – об этом не стал и упоминать). Его соотечественник – маркиз де Кюстин – отметил позже, что женщины в русских публичных домах (а среди них, как полагал он, были и "крестьянки, конкурировавшие с городскими проститутками") "недороселы": "эти юные дикарки, получив деньги вперед, не выполняя принятого на себя обязательства" (Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М., 1990 (репринт издания 1839 г.). С. 98; ср.: ПСЗ. Т. IX. № 5333 (Наказ губернаторам и воеводам: "О подозрительных домах. Где явятся подозрительные дома – корчменные, блядские и другие похабства – и о таких домах велеть подавать изветы или явки..."); в связи с тем, что штаты публичных домов в России часто пополнялись "женками, не помнящими родства", Александр I издал именной указ, требовавший исключить женское бродяжничество и "через то поползновение к развратной жизни". Т. XXX. № 22844 (1808 г.). С. 96; Шапков С.С. Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция // Шапков С.С. История русской женщины. СПб., 1898 С. 811–824.

<sup>93</sup> Массон. С. 146.

<sup>94</sup> Массон. С. 153. Известно, в частности, что супруги Дивовы принимали своих посетителей, лежа на двуспальной кровати, оба в высоких ночных чепцах с розовыми бантами (Знаменитые россияне. С. 44).

<sup>95</sup> Казанова. С. 560.

<sup>96</sup> Знаменитые россияне. С. 426, 507.

<sup>97</sup> Фомелизи. С. 560.

<sup>98</sup> Тургенева. С. 51.

<sup>99</sup> Массон. С. 254–255, 263; Вильмот К. С. 234. (21. X. 1806).

<sup>100</sup> Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург). (Далее: РГИА.) Ф. 796. Оп. 42. Д. 141. Л. 1–106. (1761 г.).

<sup>101</sup> Описание архива Александрово-Невской лавры. СПб., 1903. (Далее: ОААНЛ.) Т. II. Стб. 397; Указ 11 декабря 1730 г. // ПСЗ. Т. VIII. N 5655; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. СПб., 1869. Т. I. (Далее: ПСПиР.) № 219. Другие грамоты опубликованы в кн.: Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брач-

- ному. СПб., 1879. С. 277–283; за любовный развод и повторную женитьбу в екатерининское время могли наказать отправкой на театр военных действий. См. *Гольцев В.* Законодательство и нравы в России XVIII века. М., 1886. С. 96, ПСЗ Т. XXII. 2 марта 1784 г.; *Керн*. С. 331. О разводе родителей и разделе ими детей см. также в воспоминаниях Н.И. Цылова. См. *Цылов С.* С. 44–45
- <sup>102</sup> Решения св. Синода по делам духовно-судным 1752–1810 гг // Православное обозрение. 1891. Май – июнь. М., 1891. Дело о прощении Балакирева 4 окт. 1785 г. С. 528.
- <sup>103</sup> \*Генерал Леонтьев, происками своей жены, был лишен седьмой части имений и четвертой части движимости и капитала, что по российским законам она должна была бы получить только после его смерти..” (Записки княгини Е.Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России. (Далее Дашкова) С. 87), “детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы никому из них после другого седьмой части не брать..” (Янькова Е.П. Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений. Записки, собранные ее внуком Д.Д. Благово. М., 1878 (Далее: Янькова). С. 8); Воспоминания С.В. Скалон (урожденной Калинин) // Исторический вестник. 1891. Т. 44. № 4. С. 371, 373; *Суворов А.В.* Письма. М., 1986. С. 323; *Лотман*. С. 122.
- <sup>104</sup> Знаменитые россияне. С. 426, 507–508.
- <sup>105</sup> Встречаются как раз обратные замечания – “просила о том никому не сказывать”, “тайно умоляли” и т. п. См.: РГИА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 83 (1724 г.).
- <sup>106</sup> Янькова. С. 8, 13; *Назимова*. С. 844–846.
- <sup>107</sup> *Сегор Л.-Ф. де.* Записки // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 42. Ср.: “Жены начали покидать своих мужей... Иван Бутурлин, а чей сын не знаю, имел жену Анну Семеновну, с ней слюбился Степан Федорович Ушаков, и она, отошед от мужа своего, вышла за своего любовника, и публично содеяв побоедственный и противный сей церкви брак, жили. Потом Анна Борисовна... рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла...” (*Щербатов*. С. 115–116). Бастардов обычно записывали “в одном звании с их воспитателями, если сии последние не из дворян” (ПСЗ. Т. XII. СПб., 1830. № 9011. С. 191 – 1744 г.); для получения дворянского статуса требовалось специальное решение.
- <sup>108</sup> Петербургская старина. Год 1798 // Русская старина. 1896. Ноябрь. С. 480.
- <sup>109</sup> *Головина*. С. 77. Ср.: *Дашкова*. С. 87.
- <sup>110</sup> По всей видимости, разумеется супруга Г.И. Головкина, государственного канцлера, в 1730-е годы – члена Верховного Тайного совета.
- <sup>111</sup> В связи с тем, что на русском языке и в XIX в., и недавно публиковался лишь сокращенный вариант записок Ш. Массона, приходится использовать полный текст его 4-томных мемуаров: *Masson*. P. 263, 200, 205; *Masson*. С. 144.
- <sup>112</sup> *Masson*. С. 143.
- <sup>113</sup> “Я засвидетельствовал перед ее родителями, что она девка честная: поставил ее промеж ног, сунул руку и уверился, что она целая, за чем и отсчитал отцу ее 100 рублей за ее девство...” (*Казанова*. С. 562).
- <sup>114</sup> *Masson*. С. 200; *Masson*. С. 152. Все “анекдоты”, рассказанные Массоном по этому поводу, осуждают похотливость русских барынь, но ничуть не касаются вопроса о том, что подобная модель поведения была характерна и для мужчин, между тем как их сексуальные притязания могли травмировать крепостных девок куда больше, нежели интимные отношения хозяек поместий с подвластными им мужиками. Полагая, что русские женщины слишком осведомлены в интимных вопросах, Массон считал, что им недоступны тонкие чувства: “Щеки девушек не розовеют здесь от непроизвольного румянца, равно как и “сердца мужчин не бьются от вида вздымающейся [девичьей] груди”. Француз считал, что “в этой северной стране” люди вовсе и не догадываются о том, что “предвкушение удовольствия важнее удовольствия как такового” (*Masson*. P. 266–267. См. также: *Vowles J.* Marriage à la russe // *Sexuality and Body in Russian Culture*. P. 43–72).

- 115 ПСЗ. Т. VI. № 3965 (12 апреля 1722 г.). С. 690. Ст. 9.
- 116 Примером может служить брак графа Н.П. Шереметева с его крепостной – актрисой П.И. Ковалевой-Жемчужовой. Последний прижизненный портрет ее (кисти И.П. Аргунова) запечатлел измученное лицо крестьянки, ставшей графиней, носившей наследника шереметевских миллионов и все же явно несчастной (воспроизведение портрета см.: Брук. С. 229). В среде владельцев крепостных театров подобные “беззаконные сожителства” не были редкостью, но официальный брак аристократа, представителя высшего света с дочерью своего крепостного – уникален.
- 117 “Старший из Голицыных, князь Борис Владимирович, женат не был, но умер вскорости после французов и оставил двух дочерей, носивших фамилию Зеленских... Княгиня Татьяна Васильевна взяла этих сироток к себе и впоследствии хорошо выдала замуж, но от старой княгини о существовании их скрывали...” (Янькова. С. 231); “Еще Петр Великий, видя, что закон наш запрещает вступить в четвертый брак, позволил князю Н.И. Репнину иметь метрессу и детей ее, под именем Репнинских, благородными признал. Тако же князь И.Ю. Трубецкой... имел любовницу в Стокгольме... и от нее сына, которого именovali Бецким... Выблядок князя В.В. Долгорукова Рукин наравне с дворянами был производим. Алексей Данилович Татищев, не скрывая холопку свою, отнявши у мужа жену, в метрессах содержал, и дети его дворянство получили. А сему подражал, толико сих выблядков дворян умножилось, что посодова толпами их видно: Лицины, Рапцовы...” (Шерба-тов М.М. Высшее петербургское общество // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 25–26).
- 118 *Державин*. С. 141; ПСЗ. Т. XIV. № 10237. Гл. XXX. Ст. 4.
- 119 ПСЗ. Т. XXII. № 16187. Пункт 7. № 16554. В чудом дошедшей до современного читателя автобиографии крепостного интеллигента XVIII в. Николая Смирнова как раз приводится такой жизненный казус: его отец был крепостным кн. А.М. Голицына, а мать – дворянкой (ее имени метуарист не называет). (См.: *Смирнов Н. С.* 289–292). “Брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой и муж... не имеет права ни на один фартинг из ее состояния...” – так оценивала ситуацию заезжая англичанка, однако она имела в виду, вероятнее всего, односословные браки людей с разным имущественным статусом. См.: *Вильмот К. С.* 371.
- 120 Цит. по: *Сиповский В.В.* Указ. соч. С. 733.
- 121 Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. Т. II. СПб., 1878–1879. Ч. 1. № 83 (863). (Далее: ОДИД.) С. 106 (1722 г.); ПСЗ. Т. XII. № 9087; *Кормчая книга*. М., 1871. Глава 8. Грань 11. С. 260.
- 122 РГИА. Ф. 796. Оп. 61. Д. 400 (1780 г.).
- 123 ПСПиР. Т. V. № 1841; ОДИД. Т. IV. № 203; РГИА. Ф. 796. Оп. 79. № 599 (удовлетворено). См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 45. Д. 1. Л. 1–78 (1751 г.).
- 124 Решения св. Синода по делам духовно-судным 1752–1810 гг. // *Православное обозрение*. 1811. Ноябрь. Протокол № 24; 10 сентября 1815 г. Протокол № 371; 9 июня 1809 г. Протокол № 572. С. 530–531.
- 125 *Bovenschen S.* Die imaginierte Weiblichkeit. Frankfurt am Mein, 1979. S. 12.
- 126 *Flax J.* Political Philosophy and the Patriarchal Unconscious: A Psychoanalytic Perspective on Epistemology and Metaphysics // *Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science* / Ed. by S. Harding, M. Hintikka. Dordrecht, 1983.
- 127 По мнению С.И. Голода, «на смену устаревшим теперь рассуждениям о фригидности замужних женщин пришли амбициозные утверждения ряда авторов о “естественной” аноргазмии, причиной которой объявляется повышенная избирательность и большая хрупкость самых интимных, внутренних механизмов женской сексуальности» (Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб., 1996; ср.: Фуко М. Использование удовольствий. Введение // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996).

- <sup>128</sup> Можно напомнить в связи с этим запоминающийся образ, введенный М. Фуко, – “чудовища признания” – “bête d’aveu”. (См. подробнее Жеребкина И. М. Фуко. политические технологии тела // Преображение. 1996. № 4 С. 21) Подробнее см.: Hartsock N. The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism // *Feminism and Methodology* / Ed by J. Harding, Milton, 1987. P. 157–181.
- <sup>129</sup> Пушкарева Н.Л. Сексуальная этика в частной жизни древних русов и москвитов X-XVII вв. // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С. 51–103.

## Глава 6

### Русский горожанин конца XVIII – первой половины XIX века (по материалам дневников)

Частная жизнь средних слоев городского населения дореформенной России – купцов, мещан и цеховых – до сих пор не была предметом исторического анализа<sup>1</sup>. Некоторые возможности для такого анализа открывает изучение дневников, составлявшихся людьми этого слоя. Я исследую дневники четырех горожан: Ивана Игнатьевича Лапина, Петра Васильевича Медведева, Ивана Андреевича Нечкина и Ивана Алексеевича Толченова. Наиболее ранним является дневник дмитровского купца И.А. Толченова, который начал вести свои записи, видимо, с 1769 г. и довел их до 1812 г.<sup>2</sup> “Журнал, или Записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова” плохо вписывается в современные представления о дневниках как источниках, в которых через призму авторского восприятия отражаются события общественной и частной жизни. По “жанру” этот источник является некой промежуточной формой, вобравшей в себя черты традиционного дневника, путевого дневника (в который заносились преимущественно расстояния между населенными пунктами), бухгалтерской книги о движении товаров и цен, а также мемуаров, появившихся при переписывании Толченовым своих записей на бело.

Толченев происходил из “первостатейного купечества” и принадлежал к “лучшему” дмитровскому купечеству, что, впрочем, несколько не помешало ему разориться. Три других мемуариста близки по социальному происхождению, положению и образованию. Мелкий торговец, купеческий сын Лапин жил в небольшом уездном городке Опочке, в Псковской губернии. В соседней, Тверской губер-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)

нии, мещанин Нечкин служил приказчиком у самых богатых в городе Осташкове купцов – братьев Савиных. Медведев, родившийся в крестьянской семье, был владельцем небольшой фабрики в Москве, перешедшим из мещан в купцы 3-й гильдии. Хронологически дневники Нечкина и Медведева близки между собой: Нечкин оставил “Вседневные записки на 1850 год”, а “Памятная книга” Медведева охватывает период с 1854 по 1863 г. А между дневниками Толченова и Нечкина по хронологии расположился дневник Лапина (годы жизни: 1799–1859), который вел его с 1817 по 1836 г.<sup>3</sup>

По своей внутренней структуре эти дневники существенно отличаются друг от друга. Нечкин добросовестно фиксировал все сколько-нибудь значимые события публичной и частной жизни жителей города Осташкова: от выборов городского головы до своих мельчайших хозяйственных расходов. В его дневнике отмечены цены на продукты питания и предметы первой необходимости, сезонные колебания воды в озере Селигер и интересные погодные явления. По своей структуре его “вседневные записки” близки к “журналу” И.А. Толченова.

Уже сам характер записей обнаруживает в Нечкине человека с упорядоченной устоявшейся картиной мира, в которую любые новые образы проникают с трудом. Судя по дневнику, педантичность и консервативность – основополагающие черты характера осташковского мещанина. Всякое отступление от привычного, размеренного быта вызывает у него отторжение. При всей его правильности и надежности (ему были присущи и чувство социальной ответственности перед семьей и обществом, и стремление понять других людей) из-за скрупулезности и педантизма, внимания к мелочам, вероятно, его близким было достаточно сложно общаться с ним.

О структуре дневника И.И. Лапина приходится судить по предисловию к публикации этого источника. Издатели сочли возможным ту часть записей, которая показалась им не слишком интересной, опустить. Так, осталась неопубликованной вся часть дневника начиная с 1829 г. – сразу после женитьбы мемуариста. Опущены также записи, касающиеся торговых занятий и хозяйственных хлопот Лапина. Более того, публикаторы сочли возможным изменить некоторые “неудачные выражения”, которые, по их мнению, искажали реальные взаимоотношения молодого человека с девушками. В опубликованном варианте дневник Лапина по своему содержанию и структуре оказался близок рукописному дневнику Медведева.

“Памятная книга” Медведева уже была предметом специального источниковедческого изучения<sup>4</sup>, поэтому я лишь кратко остановлюсь на тех ее характеристиках, которые необходимы для понимания роли и места дневника в жизни этого московского купца. Это дневник, в котором нет места событиям, не получившим отклик в душе автора. “Памятная книга” представляет собой беловой экземп-

ляр, которому предшествовали черновые дневниковые записи. Свой дневник он начал вести во время Крымской войны, 1 марта 1854 г.

Просматриваются два переплетающихся мотива, побудившие Медведева взяться за ведение дневника. Первый – это интерес к общественной жизни, который подталкивал его к фиксации важных политических событий. Другим побудительным стимулом к ведению дневника была любовь его автора к литературе, в какой-то мере графоманство. Но в большей степени на решение Медведева повлияло его внимание к собственному внутреннему миру: “Чтобы следить за своими душевными чувствами и за течением мыслей, надо будет замечать каждый поступок, каждое действие своей жизни...”<sup>5</sup>. И здесь возникает вопрос, почему у Медведева формируется потребность в тщательной фиксации своих чувств и мыслей? Для русских купцов того времени подобное внимание к миру собственных чувств явление нехарактерное. Едва ли Медведев столь четко и осознанно поставил бы перед собой главную цель своих дневниковых записей, если бы не переживал в эти годы тяжелый духовный кризис. Семейные неурядицы и неудачи в предпринимательской деятельности, невозможность удовлетворить свои духовно-нравственные интересы в кругу близких, разрушение прежних ценностей и норм – все это побуждало его к осмыслению различных сторон жизни, своего места в мире и своего “Я”. Мучительные раздумья и размышления о сущности человеческого бытия и стремление разобраться в причинах собственных душевных терзаний находили место на страницах дневника, который стал тем пространством, скрытым от посторонних глаз, где происходила нелегкая работа по нравственному самосовершенствованию личности Петра Васильевича Медведева.

Выбор названных дневников для анализа мира чувств русских горожан определяется отнюдь не уникальностью этих источников. Они не являются выдающимися историческими памятниками (на уникальность может претендовать лишь дневник Медведева). Однако степень сохранности его-источников, созданных в средних слоях “городского гражданства”, делает упомянутые дневники исключительно важными историческими источниками. Купеческие, а тем более мещанские дневники дореформенной поры сохранились буквально в единичном числе. Выбор же из этого малого числа данных дневников продиктован плотностью записей: Нечкин заносил свои наблюдения на страницы дневника едва ли не ежедневно, а Медведев, который вел дневник менее регулярно, делал удивительно подробные, со множеством конкретных деталей записи.

Разумеется, изучение этих дневников не дает оснований для экстраполяции полученных результатов на всю совокупность “городского гражданства”, но представляется весьма интересным для попытки проникновения во внутренний мир рядового горожанина, жившего в последней трети XVIII – первой половине XIX в.

Купцы и состоятельные мещане, составлявшие средние слои "городского гражданства", в силу иерархического устройства российского общества вынуждены были искать некие моральные основания для оправдания существующего сословного неравенства. Для значительной части горожан социальное неравенство – это Божественное установление, которое принималось как данность. Для другой существенной части горожан привилегии дворян осознавались как ничем не оправданные. Это те люди, сознание которых развивалось в сторону буржуазных ценностей. При этом непосредственно они могли и не принадлежать к буржуазным слоям городского населения. В то же время среди купечества были лица, особенно в старших возрастных группах, которые принимали иерархическое устройство российского общества. Однако нас в данном случае интересует не проблема социальной идентичности средних слоев русского города как таковая, а индивидуальное осмысление горожанами чувства собственного достоинства, которое, разумеется, предполагает и рассмотрение важнейших аспектов самоидентификации авторов дневников.

Чувство собственного достоинства для богатого дмитровского купца Толченова долгое время не являлось сколько-нибудь значимой проблемой. Рожденный в семье "первостатейного" купца, с молодых лет избираемый на престижные общественные должности городского самоуправления, встречавший (в силу статуса сначала отца, а затем и собственного) всех выдающихся визитеров, бывавший в домах крупных чиновников и аристократии, он идентифицировал себя с "лучшим купечеством". Самодовольству однажды пришел конец – Толченев разорился и "из почтенного звания первого по городу купца дошел до звания презрительного"<sup>6</sup>. Финансовый крах первостатейного дмитровского купца произошел не в один день, медленный процесс ухудшения положения его дел растянулся на несколько лет. Как он воспринял причины своего краха, видел ли в них роковое стечение обстоятельств (злой рок), неблагоприятную социально-экономическую конъюнктуру или же искал причины в самом себе?

В 1796 г., переписывая события 1786 г. из журнала "в белую книгу", он со скорбью отмечал: «Сие по испытании совести моей отнестися должен ни к чему более, как худому моему расположению, ибо как не мыслил о сбережении денег и не удерживался от ненужных издержек, считая как будто "во обилии моем" по псаломнику "не подвижуся вовек", то потому издерживал деньги, не отказывая своим желанием ни в чем, а и в порядке торгу мало прилежал и везде оной шел чрез прикащиков на удачу...»<sup>7</sup> Критическая оценка своего отношения к делу наступила слишком поздно. Наконец, в 1794 г. "состояние мое уподоблялось кораблю, лишенному мачт и кормила и носилому в море произволом ветров, а рассудком овладела некая беспеч-



ность с унынием и отчаянием борющаяся, – писал он позже в журнале. – *Открыться* ж о своем дурном положении *стыдился* не точию приятелям, но и *даже и домашним*, а занимался более химерическими мыслями и игрою... и другими увеселениями, стараясь остающимся благом утешаться и отдаляя неприятные мысли, что впредь из того выдет<sup>8</sup>. Толченев – человек не “культуры вины”, а “культуры стыда”. Его переживания надежно укрыты от посторонних, к своему внутреннему миру он не допускает не только “приятелей”, но и “домашних”. С уверенностью можно сказать, что единственным человеком, которому Толченев мог бы поверить свои сердечные переживания, был его отец, к тому времени уже умерший.

Даже в своем дневнике только задним умом Толченев признал, что он “ленился”, полагался “на удачу”, проявил мотовство и “беспечность”, поэтому и благополучными годами “не воспользовался по своему нерадению”. Бывший городской голова, став банкротом, стремится оттянуть неизбежную развязку. Когда кредиторы предъявили векселя ко взысканию, он “для избежания стыда” скрывается – живет сначала на мельнице, потом, никуда не выезжая, дома, а на требования магистрата сказывается больным. Такой уход из публичной сферы продолжался до тех пор, пока он не продал свой новый дом с садом<sup>9</sup>. Чувство стыда переживается Толченевым прежде всего как публичное признание другими людьми его несостоятельности, и финансовой, и нравственной. При этом он не обнаруживает в дневнике своей особой вины перед женой и детьми. Лишь однажды он констатировал, что “лишил себя и невинное семейство свое излишнюю роскошь и беспечность...” всех благ, которыми они по праву могли пользоваться. Гораздо больше по его самолюбию ударяет потеря прежнего социального статуса.

Вместе с тем невысокий уровень рефлексивности, характерный для русского купечества этого времени, и для Толченова в частности, позволил ему достаточно быстро перейти от душевных переживаний, связанных с банкротством, к заботам о хлебе насущном. Толченев не впал в отчаяние, а смог, критически осмыслив свой предпринимательский опыт, освоить под чужим именем новое для себя дело. Правда, методы, с помощью которых он укрывал остатки своей собственности от претензий кредиторов, вызывали в нем укоры совести и умножали “гнев всевышнего новыми неправдами и беззакониями”. Впрочем, по его более позднему признанию, свою совесть он успокаивал “разсеянностью”.

В дневнике Ивана Игнатьевича Лапина едва ли возможно отыскать какие-либо следы, которые можно было бы истолковать в пользу того, что его волновала проблема социального статуса и престижа. В повседневной городской жизни он не замечал каких-либо преимуществ перед ним со стороны дворян. Отношения между дворянами, с одной стороны, и купцами и мещанами – с другой, в Опоч-

ке были вполне дружескими и добрососедскими. Автор дневника неоднократно бывал в гостях у окрестных дворян и служащих в городе чиновников, включая городничего. А вечером 30 августа 1818 г., в день тезоименитства императора Александра I, молодые купцы и мещане соединились с "дворянской компаниею" для совместного празднования. При этом Лапин получил от дворянского предводителя в подарок книжку о правилах обучения танцам. Однако в дневнике есть запись, свидетельствующая, что через четыре года, в Иванов день, на гулянье произошла "сильная ссора купцов с дворянами и Великолуцкого полка офицерами..."<sup>10</sup>. Дневник не позволяет корректно ответить на вопрос, носила ли эта ссора случайный характер или же являлась следствием неприязненных отношений между дворянами и "гражданами". Но можно констатировать, что никаких антидворянских выпадов у Лапина в дневнике нет, и в дальнейшем он продолжал изредка бывать на вечеринках в дворянских домах. Видимо, срединное социальное положение мелкого торговца при слабой сословной дифференциации городского быта в небольшом уездном городе оказывалось способным обеспечить комфортное ощущение своего места в обществе. При этом, "выстраивая" свою идентичность, Лапин отделял купцов и зажиточных мещан от простолюдинов ("черни"), подобно тому как это происходило в городе, когда праздновалось коронавание императора Николая I: "В магистрате все купечество и мещанство угощено лучшим образом, а для черни и инвалидной команды была выставлена неисчерпаемая кад с вином, и всем совершенно давали пить по хорошему стакану..."<sup>11</sup> На простолюдине – крестьян и городские низы – он смотрит свысока: "...встречалось взорам нашим много забавных сцен между черного народа"<sup>12</sup>. Так отстраненно можно писать лишь о "чужих" – людях иной социальной группы, принадлежащих к иной субкультуре. Последнее обстоятельство тоже весьма важно для осознания этим мелким торговцем своей идентичности. Во многом идентификация выстраивается им на принципиальных социокультурных отличиях купечества и, как тогда говорили, "лучшего мещанства" от простолюдинов.

И.А. Нечкину было сложнее поддерживать свое человеческое и гражданское достоинство. На первый взгляд это утверждение может вызвать возражение: они принадлежат к одному и тому же социальному слою, близки по имущественному положению. Все это так, но между ними существует ощутимая разница: Лапин – это самостоятельный хозяин, а Нечкин – всего лишь один из приказчиков у богатых купцов. Вот что писал происходивший из московской купеческой семьи Н.П. Вишняков о господствующем отношении к наемному труду в этой среде в дореформенную эпоху по одному конкретному поводу: "Он, по-видимому, не мог считаться особенно выгодною партией: в противоположность Протопопову, самостоятельному купцу, он был человек подначальный (курсив мой. –

А. К.)<sup>13</sup>. Судя по поэме “Кулак” воронежского мещанина И.С. Никитина, аналогичным было и отношение в провинции к хозяевам и наемным служащим. О психологическом состоянии разорившегося мелкого торговца он писал:

Спустил, как воду, капитал  
И запил: горе одолело!  
Искать местечка – стыд большой<sup>14</sup>.

Поэтому символично, что в первой же записи дневника Нечкина ощущается ущемление социальной гордости и самолюбия: “Новый 1850 год... и, как уже по заведению прежнему, после обедни собрались все прикащики и пошли к Федору Кондрат[ьевичу]. Поздравили его с Новым Годом – все, как и прежде в коридоре, где принимаются и все рабочие, и послан сухой кофий для прикащиков, который сами должны и сварить”. Уязвленное чувство собственного достоинства, правда, в тот же день нашло и компенсацию в виде теплого приема приказчиков другим братом Савиным и его супругой, “которые приняли нас очень радушно, и Стефан Кондрат[ьевич] пригласил дабы выпить и закусить...”<sup>15</sup>. Однако Нечкин всегда ощущал ту дистанцию, которая отделяла его от хозяев. Более того, если в дневнике Лапина такая категория, как “богатые”, вообще не упоминается, то для Нечкина она уже совершенно необходима, с ее помощью он конструирует в своей картине мира социальную иерархию. Так, описывая приход делегации ошашковских граждан к Федору Кондратьевичу Савину с просьбой принять должность городского головы, он говорит не о купцах и мещанах, но о “бедных” и “богатых” гражданах. Имущественное положение человека для Нечкина в первую очередь и определяет его место в обществе. Отсюда деление всех на “бедных” и “богатых”. Реально же “богатым” противопоставляются все остальные горожане. С нескрываемой радостью мемуарист писал об избрании в Торжке городским головой знакомого ему И.М. Вешнякова, вопреки противодействию тамошних “миллионеров”: “Вот так, славно, всем надели очки богачам”<sup>16</sup>.

Однако, чтобы найти свою социальную идентичность, “среднему” горожанину было недостаточно противопоставить себя “богатым”, ему необходимо было отгородиться и от нижестоящих. Нечкин решает для себя эту проблему через противопоставление горожан крестьянам. Для Ивана Андреевича статус горожанина имеет несомненное преимущество перед статусом крестьянина, и не только крепостного, но и казенного. Поэтому, сообщая о том, что один из служащих Савина (Глеб) выдал свою сестру замуж за “мужика”, он оценивает этот брак как откровенный мезальянс: “она была уже ошашковская мещанка”<sup>17</sup>. О восприятии Нечкиным крестьян можно судить по целому ряду его мелких замечаний: о крестьянине, вывозившем 15 возов навоза со двора и не сказавшем “спасибо”, – “вот так

мужик", о крестьянине, отказавшемся от договоренности о доставке груза в Петербург и не уведомившем об этом. В этом же ряду и запись: "Мужик возом [с] сеном сломал петли у двери крыльца"<sup>18</sup>. Суммируя эти записи, можно утверждать, что сельские жители ассоциируются у мещанина с невежеством, неотесанностью, неловкостью, неучтивостью. По мнению Нечкина, крестьяне, особенно крепостные, включая и вольноотпущенных, отличаются низким уровнем нравственного развития. Вот, например, его отзыв о жене соборного сторожа, приглашенной для ухода за его супругой, родившей мертвого ребенка: "...как уже прежде бывше холопкой, то и бессовестна". О другой несимпатичной ему особе он писал: "Приехата обратно из гостей из Москвы дурацкая экономка дома Савина Марфа Захаровна, Московской губернии, Коломенского уезда, села Деднова, вольноотпущенная"<sup>19</sup>. Упоминание о социальном статусе и в том, и в другом случае имеет целью усилить негативную характеристику человека. Такое восприятие крестьян обнаруживает, что потомственный житель небольшого уездного города, получившего городской статус лишь в 1772 г., ощущал свою особость, свое принципиальное социальное и культурное отличие от крестьян.

В дневнике Нечкина почти нет примет той сословной структуры, которая юридически существовала в России и неизменно присутствует в работах историков. О приниженности средних слоев горожан в Осташкове в середине XIX в. в его "записках" также нет никаких свидетельств. Прямое противопоставление дворян "гражданам" (купцам и мещанам) можно обнаружить в записях, отражающих культурные различия горожан, которые привлекли внимание автора своей необычностью, например, свадьба, на которой невеста "венчалась, равно и впоследствии ходила по дворянски [в] салопе и шляпке"<sup>20</sup>. Однако латентная враждебность (по крайней мере недоброжелательность) граждан к дворянам иногда просматривается на страницах дневника. Например, в описании эпизода, когда один из служащих Савиных потребовал, чтобы местный помещик заплатил за проезд на судне вдвое дороже, чем пассажиры-горожане. При этом служащий вел себя подчеркнуто некорректно по отношению к помещику. Характер записи в дневнике был нейтральным, скорее в нем можно усмотреть солидарность с дворянином, чем с самоуправным приказчиком.

В дневнике осташковского горожанина понятие "сословие", которое в работах историков является несущей основой для построения моделей общественного устройства дореформенной России, отсутствует. Иное наблюдается в "Памятной книге" москвича Петра Васильевича Медведева. Для него сословность является важнейшей категорией при описании социальной иерархии и общественного быта. Сообщая о похоронах князя С.М. Голицына, он фиксирует, что по желанию покойного они проходили скромно, "без выражения по-

чести, без шуму и грому, без знаков отличия", за гробом шли "лишь представители сословий и масса народа"<sup>21</sup>. Из этой записи, как и из некоторых других отрывочных свидетельств, просматривается та роль, которую отводил сословиям в обществе московский купец. Эта роль состояла в том, чтобы служить организующим, упорядочившим фактором гражданского бытия общества. Для него сословие это не только юридическая категория, но и общность духовного и материального бытия. Так, 29 апреля 1856 г. он записал свои размышления на эту тему: "...слава Богу, живем. Одеты, сыты, а высших потребностей, или, как говорят, эстетических, право, не нашему сословию они принадлежат..."<sup>22</sup> Поэтому всякое уклонение от верности образу жизни своего сословия чревато многими напастями для человека. "Будь он верен своему сословию, не случилось бы этого, – писал Медведев 20 февраля 1859 г. о знакомом студенте П.Н. Рыбникове, взятом в крепость "за свои воззрения и либеральные идеи". – Рожденный в сословии купцов, известных в свое время суконных фабрикантов, и проходящий свое природное занятие, быть может, наверное, был бы теперь солидной купец"<sup>23</sup>.

Казалось бы, исходя из понимания московским купцом значения сословного строя в жизни социума, мы вправе сделать умозаключение о том, что Петр Васильевич Медведев усвоил навязываемую правительством идею незыблемости существующего социального строя. Ее неотъемлемой составной частью был тезис о консервации сословий и сохранении социальных и культурных барьеров между ними. Однако такое умозаключение справедливо лишь отчасти. Медведев, постоянно ощущая в повседневной столичной жизни грани, отделявшие сословия, скорее констатирует роль сословности, чем оправдывает ее. При этом он неизбежно должен был пользоваться языковыми клише, с помощью которых он и мог пытаться выразить свое отношение к социальной иерархии российского общества середины XIX в. Важно понять, в какой мере представления о сословиях у Медведева совпадали с их официальным статусом в России. Считал ли он благоприятным для настоящего и будущего страны сохранение сегрегации сословий? И если нет, то какие явления современного ему социального быта он одобрял?

Следует напомнить, что Медведев не принадлежал к образованной публике и писал интимный дневник, а не научный трактат. Поэтому его суждения об обществе, как правило, отрывочны. Но все же в отдельных случаях он оставил относительно развернутые высказывания по этой теме. В частности, из сообщения об отставке военного генерал-губернатора Москвы графа А.А. Закревского видно, что автор дневника насчитывает всего три "сословия": низшее, среднее и высшее<sup>24</sup>. Себя он относит к среднему сословию. Для Медведева принадлежность к "сословию" определялась не только формальным статусом индивида, но его профессиональной деятельностью и

принадлежностью к определенной культуре. Поэтому в его среднем "сословии" нет места для чиновников. Чиновники для московского купца – "белая кость". Наиболее явно противопоставление "белого" и "черного" люда (народа) вырисовывается при описании общепризнанного 5 марта 1861 г. манифеста об отмене крепостного права. В этом описании нет никакого упоминания о купцах, мещанах, крестьянах, дворянах и чиновниках. Все присутствовавшие в двух московских церквях, где в тот день побывал мемуарист, делятся на два класса – "черный" и "белый" народ<sup>25</sup>.

Московский купец значительно острее, чем мещане из Осташкова и Опочки, чувствует противоречия между дворянством и непривлекательными сословиями и даже идентифицирует себя с "черным" людом, в то время как Нечкин и отчасти Лапин постоянно отгораживаются от "нижнего" сословия. Причина этого состоит отнюдь не в том, что эти мещане были потомственными горожанами, а московский купец был выходцем из крестьянства. Главное здесь в разности ощущения индивидом одного и того же сословного статуса в столичном и в уездном городе. В провинции в середине XIX в. человек, принадлежавший к "городскому гражданству", чувствовал себя гражданином несравненно в большей степени, чем в Москве, Петербурге или некоторых крупных губернских городах, в которых проживало многочисленное неслужащее дворянство, чиновничество и офицерство. В нашем же случае даже сословное превосходство москвича, по сравнению с провинциалами, не дает ему возможности избавиться от чувства социальной приниженности. Отсюда мы вправе полагать, что формально-юридический статус в рамках русского общества в первой половине XIX в. – далеко не единственный фактор, который влияет на восприятие индивидом своего места в социальной иерархии.

Дневник Нечкина позволяет не только реконструировать его социальную идентичность, но и понять, каким образом она реализовывалась в его повседневном поведении. В 1850 г. он имел несколько столкновений вне круга семьи, которые осознавались им как конфликты: с вышестоящими (городничий), с равными себе, с людьми, которых он считал ниже себя (столяр). Все эти ситуации были так или иначе связаны с защитой чести и достоинства. С помощью каких средств он их отстаивал?

Это можно проследить по тексту дневника. "Федор Кондратьевич пришел ко мне в магазин, сел на стул и смотрел как я обрезаю юфть, и поднял обрезок указал, что много отрезал. И я говорил, что неправильно указывает, где я резал..."<sup>26</sup> Однажды хозяин пытался наставить Нечкина на корректное общение с другими служащими и работниками. Он «начал ругать меня всячески, – описывает этот эпизод Нечкин, – что я и еще Фадеев будто бы никогда [никого] не пропустил мимо, чтобы не обругать. Я было стал оправдываться и он

вышел из границ от вспыльчивости глупых предприятий и сказал: "Я тебе приказываю молчать". Делать нечего, я замолчал, да еще он сказал: "Я вас угомоню". Этот возглас и усумнил меня... Я молчал. Наконец он сказал: "Пошел вон"». Прекрасно понимая, что дальнейшие возражения хозяину ни к чему хорошему привести не могут, но и не признавая за работодателем нравственную правоту, Нечкин, соблюдая иерархию, заставляет себя замолчать. Вместе с тем, демонстрируя покорность хозяйской воле, он не остается безмолвным. Свое недовольство и принципиальное несогласие с гневом фабриканта приказчик выражает с помощью ироничной реплики: «И я ему поклонился и сказал: "Покорно благодарю" и пошел»<sup>27</sup>.

В сентябре у Нечкина произошло столкновение с городничим во время ночного пожара. При тушении пожара новый городничий "начал распоряжаться и поталкивать граждан", что обидело последних. Тогда горожане направились с жалобой в другой центр местной власти – на фабрику Савиных, где дежурил Нечкин. Оставив свой пост, Нечкин попытался объяснить городничему его неправоту, "но он и меня было начал толкать". Однако Нечкин проявил необходимый такт и "учтиво" говорил градоначальнику, "что *не есть права толкать*, ибо все уйдут и не вправе тогда будет держать, но здесь что дружней, то и веселей, каждый не жалеет себя". Вежливо "обрезонивая" городничего, мещанин вынудил его замолчать и фактически принял на себя руководство тушением пожара, а оставшийся не у дел "мой городничий" удалился, – с удовлетворением писал Иван Андреевич<sup>28</sup>.

Два конфликта, отмеченные в его дневнике, были столкновениями равных по статусу горожан. 5 октября он "побранился" с лавочником из-за 10 копеек, "которые он взял с меня лишние при расчете за сахар..." 6 декабря, когда он в розвальнях приходского старосты обгонял "кучу людей", один из знакомых, "ухватя меня за воротник тулупа, – писал Нечкин, – потащил назад так что задок саней обломился и я упал задом, тогда я встал и с размаху перекатил ему по разу в обе уха сам и пошел куда следует". Позднее, уже у Савиных конфликтующие стороны продолжали выдвигать обоюдные претензии. Но 8 декабря Нечкин выступил инициатором примирения: "Слыша, что Гуляев ходит по городу просит свидетелей и жаловался хозяину Стеф. Кондр. Хотя и нечего не будет, но все неприятно. И я увидел Гуляева и помирился, да он и сам знал, что *и я себя не кину в грязь*"<sup>29</sup>.

16 августа "к вечеру" Нечкин побил "уткинского столяра Алексея посреди кожевниного заводу". Столяра он считал человеком ниже себя – об этом свидетельствует именование его без отчества и фамилии, а также упоминание хозяина этого ремесленника. Подобным образом Нечкин именовал плотников, столяров, кучеров, чернорабочих. Сам Нечкин дал однозначную оценку инцидента: "Это поступок дурной". На следующий день это происшествие получило дальней-

шее развитие. «Был я у Стеф. Кондр. на суде со столяром, он жаловался на меня. Хозяин сказал: "Как хотите разбирайтесь". И я вышедше дал ему 30 к. сер. и последовала мировая»<sup>30</sup>.

Из дневниковой записи не вполне ясно, обратился ли столяр к Савину как городскому голове, возглавлявшему словесный суд, разбиравший "маловажные дела", или же как работодателю. Некоторые детали, в частности именование С.К. Савина не городским головой, а "хозяином", отказ последнего вынести свой вердикт по жалобе, дают основания предполагать, что пострадавший обратился к работодателю, а не к главе городского самоуправления. Впрочем, для автора дневника в личности братьев Савиных происходило слияние всей полноты местной власти – власти городского самоуправления и не менее могущественной власти капитала. В его картине мира представитель государственного аппарата управления – городничий – иерархически расположен на порядок ниже. Городничесму Нечкиным отводятся чисто полицейские функции, а также руководство по поддержанию городского благоустройства. Именно в соответствии с этими представлениями, характерными для ошастковских граждан рассматриваемого времени, Нечкин отказывает городничему даже в умении руководить тушением пожара – прямой обязанности главы местной государственной власти.

Из всех этих конфликтных ситуаций можно заключить, что наш добропорядочный горожанин обладал развитым чувством собственного достоинства и стремился отстаивать свое реноме в любых столкновениях с другими людьми. При этом способы его действий существенно отличались друг от друга в зависимости от социального статуса его противника. Чем выше был статус человека, тем корректнее ("учтиво") Нечкин вел себя с ним. Когда же аргументы не помогали, на помощь приходила спасительная ирония, что позволяло ему хотя бы "сохранить лицо". С равными себе и нижестоящими он не обнаруживает такой корректности и хороших манер, а под горячую руку оказывается скор на расправу. Вместе с тем Нечкин, который, поддерживая свое реноме, ругается с лавочником из-за 10 копеек, готов первым пойти на примирение и даже, как в случае со столяром, осудить свои действия на страницах дневника, признать свою неправоту перед другим человеком, принести свои извинения.

Чувство стыда Нечкин испытал в связи с неприятностью, постигшей его во время возвращения с богомолья на хозяйской лошади, которую с трудом удалось довести до "завода". Лошадь не могла сама идти, и ее "пихали". Это зрелище собрало большую толпу зевак – "и кто что галдил". О своих переживаниях мемуарист писал: "Ах, было скучно и обидно смотреть и слышать оное... Лошадь валяется на заводе и все заводчики ходили и смотрели... и галдили, кому что хотелось, у меня мороз по коже так и подирает, а делать нечего. Терпи казак, когда в плен попал"<sup>31</sup> (курсив мой. – А. К.). Эти насмешки



больно уязвляли его самолюбие. Вдвойне неприятно было то, что он оказался подвергнут осмеянию без какой-либо собственной вины, а в результате неблагоприятного стечения обстоятельств. Как обнаруживает дневник, этот бытовой эпизод еще довольно долго доставлял ему мучительные переживания.

Что же поддерживало в осташковском мещанине чувство собственного достоинства? Это чувство подпитывалось осознанием своей социальной значимости: он гордился своим ремеслом, профессиональным мастерством (тринадцатый год отвечал у хозяев за обрезку кож, хорошо поставленным учетом прихода и расхода товаров), своими навыками управлять лодкой ("и я ехал капитаном на шлюбке с градским головой Стеф. Савиным"), своей способностью произнести по случаю подходящую поздравительную речь или поставить на место зарвавшегося товарища, а также школьными успехами сына. При этом он был заботливым мужем и отцом, усердным прихожанином и гостеприимным хозяином. Словом, у него были основания считать себя достойным членом городского общества. Кажется, лишь один эпизод, попавший на страницы его дневника, мог бы поколебать "чувство глубокого удовлетворения" собственной персоной. Просясь, после посещения его дома, один из контрагентов братьев Савиных вложил ему в руку деньги, со словами: "Я давно тебе должен". От денег хозяин не слишком настойчиво пытался отказаться, но гость настоял. Фактически это была взятка. Буквально через день Нечкин с двумя другими приказчиками оценивал кожи, купленные у взяткодателя. "И я внутренне смеялся на товарищей и только придакивал. Должно быть и с сими тоже сумел поладить – вот и праведные служаки помешались в совести, ах, ябедники и хозяев предатели", – отстраненно, с иронией писал Нечкин об этом должностном преступлении, в котором сам был участником<sup>32</sup>.

Для новоиспеченного московского купца 3-й гильдии Петра Васильевича Медведева чувство собственного достоинства представляло значительно большую проблему, чем для осташковского мещанина. В Москве, где проживали тысячи штатских и военных чинов, неслужащих дворян, богатых вельмож, острее, чем в провинции, ощущались сословные грани. Внутрисословные отношения, в свою очередь, испытывали постоянное определяющее влияние капитала. Н.А. Полевой в "Автобиографии" с горечью констатировал, что "нигде так, как в купеческих отношениях, не чувствуете неравенства состояний. Там все уравнивается капиталом, а без него ум и знание дел оставляют в людских отношениях бездну неизмеримую"<sup>33</sup>. "Это такое общество, что разве издали смотреть на него пригодно, а близко подходить рискованно, как раз спросят, много ли у Вас денег, а у кого их мало, тому такое общество чума", – сказал о московском купечестве в 1859 г. в одном из писем молодой образованный купец Константин Крестовников<sup>34</sup>. Аналогично воспринимал отношения в ку-

печеской среде и Медведев. В частности, получив приглашение от А.З. Морозова, вечеринки в доме которого не устраивали мемуариста по интеллектуальному и нравственному уровню их участников, Медведев отправляется в гости: "Не нужно бы ехать, но ведь зовет Богач, как не быть..." Небогатый кунец постоянно ощущает свою социальную приниженность и с горечью вопрошает: "Но что же делать нам, мелочам, когда наш голос теряется, как в пустыне?"<sup>35</sup> (курсив мой. – А. К.).

Преодолеть ощущение "мелочи" Медведев пытался на пути утверждения в своем сознании собственной социальной значимости. Как "мирный гражданин" он содержит семью, платит подати, не отказывается от общественных дел и расходов, а заработками дает "кусочек хлеба сотни семействам"<sup>36</sup>. Вся эта его риторика в 1855 г. была проникнута типично буржуазным духом. Однако такое объяснение не приносило удовлетворения и успокоения. Что же мешало ему самоутвердиться? Первая причина лежит на поверхности – это "неспособность к делу", следствием чего в конце концов и стало разорение. Медведеву порой недостает элементарной старательности и терпеливости. Торгашество его тяготит, поэтому он с удовольствием может принять предложение друзей и отправиться на загородную прогулку, закрыв при этом в полдень лавку. Такое поведение вызывает насмешки соседних торговцев. Другая причина имела нравственно-этический характер. Медведев признавал, что приобрел капитал "не совсем совестливо". Наконец, как человек религиозный, он скорбел не только по поводу не вполне достойных способов приобретения своего капитала, но и из-за несоблюдения нравственных идеалов христианина<sup>37</sup>. Поэтому Медведев пытался обрести чувство самоуважения ("внутреннего довольства", "внутреннего самодовольствия") через нравственное самосовершенствование. Важную роль в этом процессе он уделял своему дневнику: "Чтобы следить за своими душевными чувствами и за течением мыслей, надобно будет замечать каждый поступок и каждое действие своей жизни"<sup>38</sup>.

В январе 1856 г. он еще пытается списать отсутствие у себя "внутреннего довольства" на счет социальных условий, в которых он родился и живет, утверждая, что это удел людей, "рожденных по словию в поте лица добывать свой хлеб": "...и кто из нас может похвалиться спокойствием своего сердца, тишиною души, веселой улыбкой и взглядом на все окружающее?..."<sup>39</sup> Постепенно он начинает осознавать, что чувство собственного достоинства и удовлетворенность собственной жизнью не связаны с социальным статусом человека. "Самосознательно рассмотришь себя – я всему виною... сам себе устроил всю эту внутреннюю и наружную гадкую жизнь... Лучшее состояние человека – самодовольство, и, по-моему, нет гаже внутреннего состояния, как недовольство самим собою", – писал Медведев в марте 1861 г.<sup>40</sup> Однако процесс нравственного развития лично

сти не был однонаправленным. Медведев через страдания и нелегкую работу души начинает лучше понимать других людей, сострадать им, "болеть за них сердцем", тоньше чувствовать, изживать несбужданность и лелеять в себе терпимость; но все усиливающийся семейный разлад толкает его на путь девиантного поведения, осознаваемый им как греховный. Ощущение собственной греховности углубляет его душевный кризис, но глубокие переживания не приводят этого искренне верующего человека к радикальной перемене своего поведения.

*Как понимали и переживали счастье русские горожане "среднего сословия"?*

Были ли счастье и чувство моральной удовлетворенности связаны с публичной сферой общества или же они оказались связаны прежде всего, со сферой частного?

Развернутые суждения по данной проблеме оставил лишь Медведев, который в своем дневнике неоднократно возвращается к этому вопросу. 14 мая 1854 г. он, отметив прекрасную погоду и красоту расцветающей весенней природы, с горечью писал, что нет счастья: "...недостает мира семейного и любви сердечной; чудное дело, мое, кажется, сердце готово изливаться во всех оттенках любви родственной, и мое семейство... не умеет или не хочет жить согласно, капризы, требования излишнего, ни расположения, ни любви согласия, все иногда доводит до сильной раздражительности, от чего жизнь делается адом". "Немного бы мне надобно для земного моего счастья. Не было бы крайней пужды, простой стол, комната, книги, приятель или друг. Но о женщине любимой и женщине любящей я и мечтать не смею", – писал Медведев спустя семь лет<sup>41</sup>. Итак, счастье для него связано с благополучием его большой семьи, с миром и согласием в доме. Но есть и другая сторона счастья, которая связана с внутренним миром человека, с чувствами и переживаниями: "Тридцать с лишком лет прожил на белом свете, а еще полной, спокойной, продолжительной радости не ощущал. Что же меня далее ожидает? В мои лета (34 или 35. – А. К.) не те стали чувства, мысли, желания, грубеет сердце, грубеет мысли выражение, пошлее жизнь, черствее лицо и способности"<sup>42</sup>.

В дневнике Лапина формула "имел счастье" употребляется как для описания христианских чувств ("Имел счастье приобрести Св. Тайн в день Ангела"), так и для передачи радости от встречи с поэтом: "Имел счастье видеть Александра Сергеевича г. Пушкина"<sup>43</sup>. И все же у молодого и холостого Лапина все чувства концентрируются вокруг интимных переживаний, связанных с объектом его любви. Поэтому для него счастье переживается прежде всего как часы, проведенные с любимой девушкой.

*Какое место в системе жизненных ценностей русских горожан занимала семья?* Автор "Вседневных записок" не оставил разверну-

тых суждений на сей счет. Однако, упоминая о появлении новых лиц в городе, он непременно фиксировал их семейное положение. "Прибыл г. городничий в Осташков из Калязина молодой и холостой Александр Васильев Аничков", - вот показательная характеристика человека в дневнике Нечкина. О его предшественнике писано в том же духе: "Помре г. городничий Александр Васильев Колокольцов, быв болен, преклонных лет, седой, имел семейство и сына дурака"<sup>44</sup>. Характерно, что Нечкин не упоминает даже чина городничих, так как для него - человека, никогда не служившего, - чин не имеет никакого значения, поскольку тот никоим образом не влияет на место градоначальника в городской иерархии. Куда более существенными характеристиками человека для Ивана Андреевича являются возраст, фиксируемый весьма приблизительно, и семейное положение. Холостая жизнь видится Нечкину социальной аномалией, которая до добра не доведет: "Осташ[ковский] меша[нин] Попков сошел с ума, холостой, и в последствии отправлен в Тверь в дом ума лишенных"<sup>45</sup>.

Разлука мужа и жены воспринимается им как тяжелое испытание: "Приехал в Осташков Дмитрий Ефимов Свинкин, ибо здесь жила его жена, 1,5 года, не выдав один другого"<sup>46</sup>. Для этого скуповатого на выражение своих чувств человека такая констатация факта из чужой жизни может быть распространена и на его собственное отношение к разлуке с женой. Тем более что в прошлом Нечкину по хозяйским делам, как явствует из обрывочных фраз, приходилось довольно надолго уезжать из Осташкова, в частности, он ездил в Петербург, Москву и, вероятно, в Киев. Такие путешествия для мужчины, равнодушного к собственной супруге, представлялись сопряженными с серьезными лишениями. А купец И.А. Толченев в период, когда он активно занимался хлеботорговлей, подводил итоги года в своем журнале стереотипной фразой: "В разлуке с хозяйкой находился (указывается число. - А. К.) дней".

В какой мере эти представления Нечкина и Толченова были характерны для средних слоев "городского гражданства"? Учитывая, что они оба довольно "средние" представители своих социальных страт и носители морали, присущей средним слоям горожан, их представления о семье можно считать характерными и типичными для русского провинциального города. Разумеется, здесь приходится принимать во внимание множество причин, связанных как с закрепленными в сознании с помощью церкви установками на святость брачных уз, так и с принятыми стандартами поведения в той или иной малой социальной группе, как с особенностями психологического типа личности, способной либо быть, как все, либо следовать собственным индивидуальным побуждениям, так и с конкретными обстоятельствами семейной жизни супругов.

Для понимания переживания супружеской разлуки мужем уместно рассмотреть случай крайний, когда в большой семье (между

мужем и женой, между свекровью и невесткой, между братом и сестрой, дядей и племянниками) происходят постоянные ожесточенные конфликты, завершающиеся порой физическим насилием. Все эти "радости семейной жизни" били через край в семье московского купца Петра Васильевича Медведева. Угнетенный семейным неблагополучием и расстройством коммерческих дел, он писал: "Ежели не суждено мне наслаждаться семейным счастьем, благосостоянием, оседлою гражданскою жизнью, как моим товарищам, то может быть с посохом странника, я найду покой сердечный и утешительную страну для моей горькой жизни"<sup>47</sup>. Однако, вернувшись после непродолжительного вояжа из Петербурга, он был раздосадован отсутствием жены, которая из-за умирающего брата не ночевала в доме, "хотя плохонькая, но все своя, не купленная, а покупать не в характере и не в привычке. Что же, терпеть? Силы воли нет"<sup>48</sup>. Разумеется, всю гамму переживаний супружеской разлуки нельзя свести лишь к сексуальной стороне, были и другие мотивы. При этом среди них ни у Медведева, ни у Нечкина, ни у Толченова мы не можем отметить каких-либо особых страданий, связанных с невозможностью духовного или эмоционального общения с женой. Скорее для них характерно стремление вернуться под родной кров, насладиться теплом семейного очага в привычном кругу родных.

Более того, не вполне ясно, чего ожидали от брачной жизни Нечкин и Толченов. Их умолчание, впрочем, может быть истолковано как совпадение добрачных ожиданий и семейной жизни, как удовлетворенность своими отношениями с супругой. Женился Толченов в 18 лет "по соизволению и убеждению родителя", родственники и подобрали ему в Москве невесту, "кою судьбами божьими и определено иметь мне супругою". Невесту Толченов до смотрин никогда не видел, но между "рукобительем" и "таинством брака" прошло всего десять дней<sup>49</sup>. Ни о каких чувствах, которые он испытывал к будущей жене, Толченов даже не упоминает, вероятно, их просто не было. Таким образом, его женитьба – типичный образец заурядного, "среднего" купеческого брака того времени, брака, который больше походил на торговую сделку и для вступления в который от молодых никаких сердечных чувств не требовалось.

Спустя 45 лет после женитьбы Толченова, в 1818 г., 19-летний Иван Лапин неодолеваемо будет писать о браках без взаимной склонности, осуждая родителей, принуждающих детей вступать в брак. Мезальянсом для него является каждый брак, в котором между супругами большая разница в возрасте: невесте – 17, а жениху – 40; жениху – 18, а невесте – 30. В последнем случае не только Лапин, но и "все" сожалели, "что брал не по себе..."<sup>50</sup> Аналогичных взглядов на брак придерживался и П.В. Медведев, который неоднократно сетовал на крах своих надежд, связанных с представлениями о взаимоотношениях супругов<sup>51</sup>.

О том, что среди всех благ земных семья занимала исключительное место в системе жизненных ценностей русских горожан в первой половине XIX в., свидетельствует, например, сама организация записей в семейном синодике тверских купцов Блиновых. В нем содержатся лишь сведения о дате смерти и продолжительности пребывания в браке. Причем время семейной жизни указано с точностью до одного дня!<sup>52</sup>

Записи, касающиеся домашнего быта, в дневнике И.А. Нечкина занимают значительное место. Но они редко содержат описания каких-либо интимных переживаний. Несомненно, семья находилась в центре жизненных интересов И.А. Нечкина. Сделать такой вывод позволяет все содержание его "записок". Даже кратковременная разлука с семьей для мемуариста весьма тягостна. Поэтому он с чувством радости и облегчения пишет о возвращении в 10 часов вечера с богомолья жены и детей, которые отбыли в эту поездку накануне в полдень<sup>53</sup>.

Но особенно проникновенные лирические ноты в рассказе главы семейства появляются... при описании событий, связанных с покупкой коровы и ее осеменением: "Купил себе коровушку, черную, белогловую, у Гаврилы Петрова Гуляева или Рыжикова за 45 р. ассигн. <...> Сию ночь коровушка была у быка в гостях, у Алексея Григор. Долгова"<sup>54</sup>. Эта лексика, связанная с коровой, для прозаического мировосприятия осташковского мещанина может показаться неожиданной, но очевидно, что она не только уместна, но и глубоко символична, поскольку молоко отелившейся коровы необходимо для сына и горячо любимой дочери. И, вследствие этого "гостевания" коровы у быка, уже не надо будет покупать молоко у соседей. Думается, что здесь в Нечкине говорит не столько хозяин, у которого будет свое молоко, сколько горожанин, еще сохранивший особое, интимное отношение к скотине. "Коровушка" в восприятии этого осташковского мещанина не просто "кормилица", но своеобразный член семьи. В XIX в. в русских уездных и даже губернских городах было принято держать коров. В Осташкове ежегодно в день первого выгона скота в поле, как и в деревнях, служили молебн. 2 мая 1850 г. Нечкин пишет об этом общегородском событии: "Сего к молебну выгоняли коров и пастуха"<sup>55</sup>. Более того, этнографы, изучавшие русский город, отмечают, что в середине XIX в. в нем бытовало "множество обрядов и поверий", связанных со скотом и "домашней живностью"<sup>56</sup>. Все эти данные, несомненно, свидетельствуют о том, что Нечкин сохранил традиционное крестьянское, свойственное, впрочем, и горожанам до эпохи массовой урбанизации, особое отношение к скотине, в частности к корове.

Вместе с тем отношения с женой осташковского мещанина были, судя по дневнику, лишены особой доверительности и интимности. Так, после пропажи денег муж подозревает в домашней краже не только 11-летнего сына, но и жену: "Сего (9 апреля. - А. К.) я узнал

о похищении из кармана из штанов моих денег до 4 р. сер. И долго мучил мою вспыльчивость, думал на жену и сына<sup>57</sup>. Не приходится говорить, во всяком случае после 12 лет супружеской жизни, и об особой страсти друг к другу супругов, равно как и о сторонних увлечениях. Можно говорить о ровных, спокойных отношениях между супругами, построенных на уважении друг друга, на общности семейных интересов. Все это не означает, что 1850 год прошел у четы Нечкиных без каких-либо конфликтов.

Серьезный супружеский конфликт возник 9 июня, когда Нечкин "побранился" с братом. О причинах ссоры он ничего не пишет, но инициатором инцидента считает свою жену, которая "зачала... из-за пустава, да и много ходов. Как есть баба так баба. А он хайло так хайло, скот. И после сего мы разладили с женой"<sup>58</sup>.

Семейные несогласия приобрели затяжной характер. 29 июля, после крестного хода, во время семейного чаепития последовала открытая ссора с женой: "...и я, рассердясь, не вынес, ударил чайную чашку об стол, разбил, и чтобы не произошло чего мудренова, я ушел в сад и не пошел обедать, и так до вечера"<sup>59</sup>.

Неделю спустя последовала новая ссора с женой, в результате которой муж даже провел ночь в сарае. Семейные нелады, хотя и не столь явно, продолжались и в дальнейшем. Поэтому 17 сентября Нечкин, вопреки несомненной скрытности своего характера, решил вынести "сор из избы" – пожаловался на жену Прасковью Яковлевне Казачкиной "за невоздержание, ибо она поссорилась с рабочим Алексах[ою]"<sup>60</sup>. Но и ей он не поверяет всех деталей своих взаимоотношений с женой.

Вероятно, Прасковья Яковлевна способствовала установлению мира и согласия в семье сестры. Следующий семейный конфликт четы Нечкиных произошел спустя почти два месяца. Да и по своему накалу он не относился к числу острых конфликтов, грозящих разрушить семейное благополучие. О нем сохранилась лишь лаконичная запись: "Поссорился с женой"<sup>61</sup>.

*Как горожане проявляли свой гнев по отношению к своим близким? Принято считать, что насилие в семье было характерно для русских семей (во всяком случае для семей непривилегированного большинства населения России) на всем протяжении XIX в. Справедливо ли это утверждение по отношению к русской городской семье в рассматриваемое время? Дать однозначный ответ на этот вопрос не представляется возможным. Толченев в своем дневнике не только не упоминает о каких-либо семейных конфликтах, но и вообще о ситуациях, которые бы вызвали у него гнев. Что же касается дневника Нечкина, то можно с уверенностью отметить, что его автор не считал возможным оказывать физическое воздействие на жену. По отношению к 11-летнему сыну, напротив, считал такие меры справедливыми и оправданными.*

В каких случаях осташковский мещанин прибегал к телесному наказанию ребенка? Причин для наказания было всего две: "шалости" в школе и незаконные ухищрения сына, направленные на добывание карманных денег. К последним относятся два типа проступков мальчика: кража у отца денег и приобретение безделушек и сладостей в кредит на имя отца. В представлениях о мерах воспитания в народной педагогике того времени за подобные "шалости" мальчика следовало сечь, что Иван Андреевич и делал. Вслед за неизбежным обнаружением этих проступков неотвратно следовало отеческое наказание: "Ване была разделка"; "и пошла у нас потеха". Он не испытывал после никакого раскаяния в содеянном, ибо такова была традиция заботы о нравственном здоровье ребенка. Сама кража в картине мира религиозного человека была не просто аморальным, но и греховным поступком. В частности, он делает одну примечательную запись об обнаружении у сына краденых денег: "И я говорю Ване, что ты уже успел поддеть, и он божился и встал, и серебрянник не терпит осмой заповеди, упал у него на пол, за что (сын. - А. К.) и получил награждение ремня"<sup>62</sup>.

Безответственное поведение мальчика вызывало у отца приступы ярости, которые останавливали не столько просьбы жены, сколько слезы нежно любимой четырехлетней дочери.

Петр Васильевич Медведев, как человек бездетный, мог и не оставить нам никаких свидетельств своего отношения к проблеме насилия в семье над детьми. Но после смерти мужа сестры на его попечении оказались двое племянников.

Медведев нередко бранился с матерью, сестрой, женой. Словесная перебранка с женой могла даже привести его к применению физического насилия. Он мог толкнуть или ударить жену, а если она пыталась ответить ему тем же, то и избить ее. Однако неумение сдерживать свои эмоции дорого обошлось самому Медведеву, который, избив жену, сам мог больше часа "рыдать навзрыд", а затем впадал в состояние глубокой тоски и апатии, длившейся еще многие дни. Подводя итоги десятилетней супружеской жизни, Медведев коснулся и своего восприятия насилия по отношению к жене: "Иногда, в часы раздражительности, и *подерешься* бывало *в виде науки*; теперь прошли годы, и я уже не пальцем не трогаю этого болвана в человеческом виде. *Нету исправления*, нету согласия, самосознания для общей и лично своей пользы"<sup>63</sup> (курсив мой. - А. К.). Иными словами, муж жену не бьет, а поучает как глава семьи, ответственный за своих близких. Поэтому, когда его 17-летнего племянника выгнали с фабрики, Медведев согласился принять его в дом на условии понесения наказания. Иван был вынужден согласиться принять 25 ударов розгами, а затем получать по 15 ударов ежедневно в течение 10 дней. Такая мера наказания была выбрана не случайно. Племянник лишился своего места за то, что в ходе ссоры с директором фабрики (англича-



нином), защищая свое достоинство, ответил ударом на удар. Дядя оказался недоволен такой несдержанностью племянника и решил смирить его гордыню, заставив ежедневно переносить унижение, связанное с мучением плоти. Однако экзекуция продолжалась всего два дня, а потом по случаю поста наказание было оставлено.

Эти порки были выражением не эмоционального, но рационального начала. Дядя вразумляет юношу, который, потеряв работу, оказывается на его шее. Иная ситуация сложилась некоторое время спустя. Другой племянник – Александр – ушел из монастыря и долгое время тайком от дяди жил на чердаке. Когда дядя узнал об этом, он палкой жестоко избил любимого племянника. Здесь он уже действовал в состоянии аффекта. “Гадка, омерзительна до отвращения была эта сцена”, “отвратительная сцена”, “варварское наказание”<sup>64</sup> – так характеризует вспышку своего гнева сам мемуарист, испытывающий чувство стыда. Медведев переживал стыд не от того, что свидетелями его гнева стали рабочие, при которых он огласил самые интимные подробности своей семейной жизни, но он испытывал стыд перед самим собой. Анализируя свои отношения с племянниками, Медведев размышляет об истоках своего насилия над ними. Эти истоки он видит в своем детстве, в примерах, которые повседневно видел в семье родителей, воспитанных в деревне “при образцах невежества и грубости нравов”, а также во время служения в работниках. “Давно ли то доброе золотое время потасовок, подзатыльников и грубой брани, нечеловеческого обращения? Давно ли? А я так изменился во взгляде, понятиях, чувствах, что даже стыдно, совместно припомнить себе подобные свои и других поступки”<sup>65</sup>.

*Как переживалось горе, каковы были проявления этого чувства?*

О переживании горя яснее всего говорит восприятие смерти вообще и смерти близкого человека в частности.

Для И.А. Толченова смерть была столь серьезной проблемой, что в своем журнале, начиная с 1778 г., он выделяет специальную рубрику “Сим годом скончались из родственников и знакомых”. Первое глубокое эмоциональное переживание, зафиксированное Толченовым, связано со смертью отца. О смерти отца, умершего в дороге 17 августа 1779 г., он пишет: “Вечер сей чувствовал я превеликую тоску. 18-го горестной день из всех, бывших в жизни моей;.. дядя Дмитрией Ильич... объявил о кончине любезного моего родителя, сведавши чрез приехавшего нарочно из лавры с сим несносным и неожиданным известием. О, час горестной! О, минута скорбная! Дражайшей мой родитель...”<sup>66</sup>

Вслед за подробным описанием похорон и поминальных торжеств Толченов помещает в своем дневнике “список родных мне братьев и сестер, списанный с сочиненного покойным родителем”. Из этого “списка” выясняется, что все восемь братьев и сестер мемуариста умерли, не дожив даже до года. Ни одна из этих смертей не

вызвала у Толченова эмоциональной реакции, исключая смерть последней сестры: "скончалась к великому прискорбию родителей того же числа не крещеною и с сего дня родительница моя начала чувствовать болезнь, коя обратилась в чахотку и прекратила дни ее"<sup>67</sup>. Думается, родители скорбели не только о том, что не успели окрестить дочь. Были на то и сугубо земные причины. Для матери мемуариста за 15 лет это были уже восьмые роды, которые не только подорвали ее здоровье, но, возможно, и пагубным образом сказались на ее психологическом состоянии. Начиная с третьих родов ни один из рожденных ею детей не прожил и месяца.

Как же сам И.А. Толченев воспринимал смерть собственных детей? 1 августа 1776 г. его семью впервые постигает утрата ребенка. "Сей день дочь Евдокия, живши 15 дней, преставилась", – пишет молодой отец<sup>68</sup>. В августе 1777 г. умер сын Сергей. И вновь следует сухая констатация факта: "17-го в 2 часа утра сын Сергей преставился в вечное блаженство, жив на свете 12 дней и 18 часов"<sup>69</sup>. 13 января 1782 г. о смерти сына Василия, родившегося 1 января, Толченев, как по трафарету, пишет: "В начале 7-го часа пополудни сын Василий преставился в вечное блаженство"<sup>70</sup>.

Из приведенных описаний видно, что дмитровский купец стереотипно пишет о смерти своих малолетних детей, не проявляя особой скорби. Более того, отец проявляет удивительную, с точки зрения нашего времени, черствость. В частности, узнав, что дети серьезно заболевают, он продолжает вести привычный образ жизни: не только посещает магистрат, занимается торговлей, но и не отказывается от посещений знакомых, устраивает пирушки у себя в доме в то самое время, когда, по его собственным словам, ребенок "в жизни оказался безнадежен"<sup>71</sup>. Вслед за похоронными обрядами тут же следуют светские развлечения. Отсюда как будто напрашивается вывод о том, что к смерти детей в купеческой среде относились как к чему-то обыденному, будничному и заурядному. Иначе говоря, поведение Толченова как будто вписывается в предложенную Ф. Ариесом парадигму отношения к смерти человека традиционной цивилизации: "Здесь нет отвержения смерти, но есть невозможность слишком много о ней думать, ибо смерть очень близка и в слишком большой мере составляет часть повседневной жизни"<sup>72</sup>.

Однако в "журнале" Толченова есть и совершенно иное отношение к болезни и смерти ребенка. В 1787 г. он внес в свой журнал обширный, с мельчайшими подробностями рассказ о тяжелой болезни сына (Ленюшки) и дочери (Катиньки), завершившейся смертью девочки. Во время этой болезни родители проводят ночи у постели больной девочки, предаются "всей печали, о которой судить может одно родительское сердце, лишаясь столь милого дитяти". В смерти любимой дочери отец видел наказание за собственные грехи: "И так властью Бога и в наказание грехов своих лишился я чрезвычайно милого дитяти"<sup>73</sup>.

В чем же здесь дело? Неужели за пять-семь лет у Толченова так изменилось отношение к болезни и смерти детей? Думается, дело здесь не в том, что с возрастом он стал больше внимания уделять семье и детям. Есть все основания считать подлинными причинами тяжелых переживаний по поводу смерти дочери то обстоятельство, что первые трое умерших детей прожили на свете слишком мало – отец, обрадовавшись благополучным родам, за неотложными делами и продолжительными пирушками, связанными с крестинами, не успевал даже привыкнуть к ребенку. Скорбь от их утраты и не могла быть острой. Окруженный многочисленной родней в Дмитрове и Москве, он постоянно бывал на крестинах и похоронах детей своих родственников, приказчиков или дворовых. Эта непрерывная череда рождений и смертей притупляла чувство утраты, которое отец должен был испытывать по поводу смерти собственных детей. Иная ситуация в случае смерти Катиньки. Девочка умерла в очень раннем возрасте, но за свою недолгую жизнь успела стать любимой дочерью: “Лицом совершенно на меня похожа была и очень нежна и зубов имела два... Ходить сама не начала, а точию круг стульев без поддержания ходила и ко мне чрезвычайно ласкова была”<sup>74</sup>. Со свойственным родительскому восприятию малолетних детей идеализмом он усматривал в дочери и необычные умственные способности и богатый эмоциональный мир. Иначе говоря, в этой умершей дочери отец уже видел не новорожденного младенца, который “волею Божиею умер”, но близкого и родного человека, к которому он был привязан всем сердцем.

В какой мере эти представления И.А. Толченова были характерны для русских горожан последней трети XVIII в.? Сопоставим их с записями его воронежского современника, купца Я.Г. Елисеева о смерти четырех внуков в 1794, 1798 и 1800 гг. Сами эти записи, по сравнению с аналогичными, сделанными Толченовым (кроме смерти Катиньки), более экспрессивны и несут сильный эмоциональный заряд. В них видна огромная любовь к малолетним внукам, умершим в возрасте от 11 месяцев до 4 лет. За некоторой корявостью стиля проглядывает искреннее уважение к их человеческому достоинству. Воронежский купец называет внуков по имени и отчеству. Умерших детей он именуется “любезным внуком” или “прелюбезным внуком”. “утехою по старости”, а четырехлетнего ребенка называет “другом любезным”. Несколько неожиданная характеристика ребенка, которого пожилой человек считает другом. Горе несчастного деда безмерно и безутешно: “...и мне их так жаль, что и помянуть не могу”<sup>75</sup>.

Следует отметить, что это уже иное отношение к смерти, чем в середине XVII в., когда царь Алексей Михайлович, утешая боярина М.И. Одоевского по случаю смерти его сына, наставляет: “...через меру не скорбеть, а нельзя не скорбеть или не прослезитца, и прослезитца надобно, да в меру, чтобы Бога наипаче не прогневить...” Алек

сей Михайлович как опытный книжник призывает своего приближенного увидеть и проявление Промысла в смерти сына, которого "Бог изволил взять милуючи, не дал ему больших грехов дожить, видя его доброе житие, того ради и житие ему прекратил..."<sup>76</sup> У воронежского же купца нет примирительных слов, выражающих надежду на встречу с внуками в мире вечности, как и уверенности в том, что безгрешных детей ждет рай. Любимого внука воронежского купца не Бог "взял", но "оспа пожрала".

Что изменилось в переживании смерти детей в средних слоях русского городского населения за те 50 – 70 лет, которые отделяют записи И.А. Толченова и Я.Г. Елисеева от дневников И.А. Нечкина и П.В. Медведева? В 1850 г., когда Нечкину исполнилось 44 года, его жене 30 лет, а в семье росли двое детей, родился ребенок, который умер через несколько минут. Из дневника следует, что накануне родов глава семьи отправился на именины к приятелю, откуда около 9 часов вечера, "окончив чай, ушел домой, ибо было нужно". Далее он пишет буквально следующее: "Итак в 11 часов ночи родила Анна Яков[левна] сына. По словам акушерки, был жив, но не мог уже дать голосу и чрез несколько минут я вполне, видя мертвого с поврежденною главою, полагал, рожден мертв. *Все было хорошо, роды – как и должно быть*"<sup>77</sup>. Таким образом, по мнению Ивана Андреевича, роды, завершившиеся смертью ребенка, прошли вполне благополучно, ибо роженица осталась жива. И в описании последующих событий автор не обнаруживает каких-либо переживаний в связи со смертью ребенка. Единственная проблема, которая причинила беспокойство, заключалась в том, что отец объявил священнику младенца мертворожденным, но, как выяснилось, тот прожил какое-то время, и акушерка "ево крестила по своему и дала имя Петр". "И так, по согласию всех, пошел я к священнику Павлу сказать оное. Пришел к священнику, *говорили много* и я просил *отпеть младенца, буде можно. И согласились* так, что отпеть в доме"<sup>78</sup>.

Обращает на себя внимание, что ошибка отца активно обсуждалась и женщины, присутствовавшие при родах (роженица, акушерка и некая "опытная бабка"), убедили его в необходимости просить священника изменить обряд отпевания. При этом сама ситуация была пограничной, священник, очевидно, мог и отказать, поэтому-то и "говорили много".

Если сравнить дневниковые описания смерти младенцев у Толченова и у Нечкина, то можно отметить как несомненное сходство восприятия смерти новорожденных (некая отстраненность, отсутствие глубоких чувств), так и некоторые отличия. Эти отличия обнаруживаются уже в самой лексике. Еще больше они становятся заметны при упоминании о рождении детей. Так, у Толченова для сыновей применяется клише: "Хозяйка [Анна Алексеевна] от бремени милостию всевысшего разрешилась благополучно сыном, которому

имя нарекли тезоименно преподобному [святому]”. Лишь запись о рождении первенца отличается большей простотой и лаконичностью: “Родился мне первый сын, которому имя наречено тезоименно...” Для дочерей в этом клише могло быть небольшое отступление: “Обрадован был благополучным разрешением от бремени Анны Алексеевны и родилась дочь, которой имя нарекли...”<sup>79</sup>

Для толченовских описаний было характерно наличие церковнославянских выражений, придающих тексту пышность и подчеркивающих значимость момента. Иная лексика у Нечкина, у которого в сообщении о рождении и смерти младенца используются лишь разговорные слова. Можно предполагать, что за три четверти века, разделявшие эти описания, произошла секуляризация той части лексики, которую использовали при описании рождения и смерти детей. Эти перемены в дискурсе детской смерти не ограничивались лишь изменениями в лексике, но отражали перемены в картине мира. Вероятно, для Нечкина рождение и смерть ребенка – естественный процесс, в котором не участвуют потусторонние силы. Во всяком случае, этот добросовестный прихожанин не упоминает о Боге, когда речь идет о рождении, болезни или смерти детей.

В целом изученные дневники в первой половине XIX в., по сравнению с “журналом” Толченова, становятся более интимными. Люди, ведущие их, больше внимания уделяют своим личным переживаниям. Для них дневник превращается в своеобразное пространство внутренней жизни индивида, в такое пространство, в которое вход закрыт даже для самых близких людей. В этом можно усмотреть и известную интериоризацию сознания, и определенную недовлетворенность отношениями с близкими: с членами семьи, родственниками и приятелями.

Сама сфера чувств в жизни индивида не только расширилась и усложнилась, но и была осмыслена как имеющая важную самостоятельную ценность. Наметился сдвиг в сторону большей эмоциональной выразительности чувств. При этом акцент начинает смещаться с выражения своих эмоций в соответствии с принятыми стандартами в сторону индивидуального интимного их переживания.

## Примечания

- <sup>1</sup> *Пушкарёва Н.Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX в.). М., 1997; *Найденова Л.П.* “Свои” и “чужие” в Домострое. Внутренние отношения в Москве XVI века // Человек в кругу семьи. Очерки частной жизни в Европе до начала нового времени. М., 1996. С. 290–304; *Пушкарёва Н.Л.* *Экзитус С.А.* Любовные связи и флирт в жизни русского дворянина в начале XIX века // Там же. С. 180–208; *Куприянов А.И.* “Пагубная страсть” московского купца // Казус 1996. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997. С. 87–110
- <sup>2</sup> *Копанев А.И.* Археологическое введение // Журнал, или Записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова. (Далее: *Толченое И.А.*). М., 1974. С. 22.

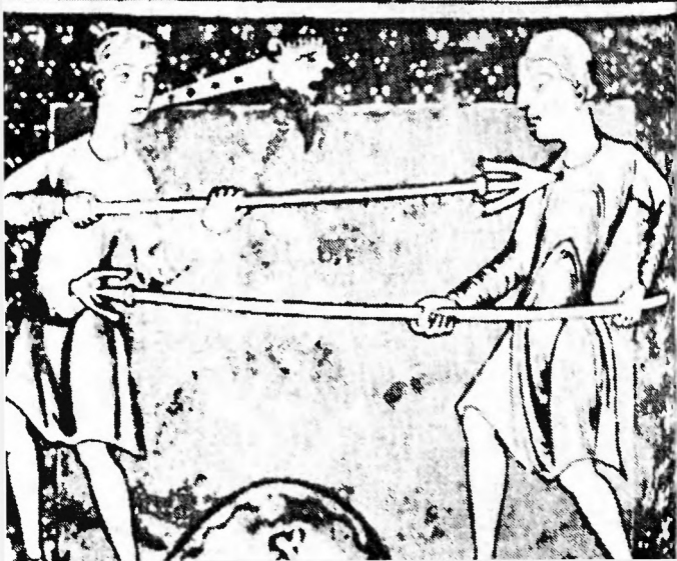
- 3 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина // Труды Псковского археологического общества. Псков, 1915. Вып. 11. С. 27–77.
- 4 Преображенский А.А. "Памятная книга" московского купца середины XIX века // Российское купечество от средних веков к новому времени. М., 1993. С. 140–143.
- 5 Центральный исторический архив г. Москвы (Далее: ЦИАМ). Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 26 об.
- 6 Толченов И.А. С. 318.
- 7 Там же. С. 208.
- 8 Там же. С. 293.
- 9 Там же. С. 307.
- 10 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина. С. 68.
- 11 Там же. С. 76.
- 12 Там же. С. 35.
- 13 Вишняков Н.П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. М., 1913. Ч. 2. С. 132.
- 14 Никитин И.С. Сочинения. М., 1984. С. 263.
- 15 Государственный архив Тверской области (Далее: ГАТвО). Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137. Л. 2.
- 16 Там же. Л. 57.
- 17 Там же. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 5.
- 18 Там же. Л. 10 об., 19 об., 59 об.
- 19 Там же. Л. 10, 14 об.
- 20 Там же. Л. 7 об.
- 21 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 20.
- 22 Там же. Д. 984. Л. 35.
- 23 Там же. Д. 986. Л. 22 об.
- 24 Там же. Л. 44.
- 25 Там же. Л. 1 об.–2.
- 26 Там же. Л. 31 об.–32.
- 27 Там же. Л. 51–51 об.
- 28 Там же. Л. 47.
- 29 Там же. Л. 49. 60–60 об.
- 30 Там же. Л. 41 об.
- 31 Там же. Л. 40–40 об.
- 32 Там же. Л. 59–59 об.
- 33 Автобиография Н.А. Полевого // Полевой Н.А. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 296.
- 34 Крестовников Н.К. Семейная хроника Крестовниковых. М., 1903. Кн. 1. С. 80–81.
- 35 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 28 об.; Д. 986. Л. 22.
- 36 Там же. Д. 984. Л. 28 об.
- 37 См.: Кутрянов А.И. Указ. соч. С. 87–110.
- 38 ЦИАМ. Д. 984. Л. 26 об.
- 39 Там же. Л. 30 об.
- 40 Там же. Д. 986. Л. 2 об.–3.
- 41 Там же. Д. 984. Л. 10.
- 42 Там же. Л. 24.
- 43 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина. С. 23, 35.
- 44 ГАТвО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137. Л. 4, 13.
- 45 Там же. Л. 29.
- 46 Там же. Л. 8 об.
- 47 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 19.
- 48 Там же. Д. 986. Л. 43 об.
- 49 Толченов И.А. С. 40.
- 50 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина. С. 46–48, 63.
- 51 См.: Кутрянов А.И. Указ. соч. С. 87–106.
- 52 ГАТвО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137.
- 53 Там же. Л. 35–35 об.

- 54 Там же. Л. 9 об., 16 об.  
55 Там же. Л. 20 об.  
56 *Рабинович М.Г.* Очерки этнографии русского феодального города: горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. С. 152.  
57 ГАТвО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137. Л. 16 об.  
58 Там же. Л. 29 об.  
59 Там же. Л. 38 об.  
60 Там же. Л. 40 об., 46.  
61 Там же. Л. 54 об.  
62 Там же. Л. 22 об.  
63 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 5 об.  
64 Там же. Л. 36 об.-37.  
65 Там же. Л. 35 об.  
66 *Толченов И.А.* С. 145–146.  
67 Там же. С. 148.  
68 Там же. С. 79.  
69 Там же. С. 99.  
70 Там же. С. 168.  
71 Там же. С. 99.  
72 *Ариес Ф.* Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 53.  
73 Там же. С. 215.  
74 Там же. С. 217.  
75 Летописный синодик г. Елисеевых. 1737–1800 г. Воронеж, 1886. С. 72–73, 79, 84.  
76 Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского российского археологического общества. Т. 2. С. 704–705.  
77 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 14.  
78 Там же. Л. 14.  
79 *Толченов И.А.* С. 53, 78, 96, 150, 166.

*Друзья и враги*







### *Эллины античного мира в кругу друзей*

#### *Микрогруппы в Афинах V–IV веков до н. э.*

В комедии Аристофана “Облака” в сцене спора Кривды и Правды последняя восхваляет воспитание и времяпрепровождение благонамеренных граждан. Среди идеальных картин, живописуемых Правдой, есть и такая: “В тени Академии в мирной тиши, в тихо веющих рощах маслинных / С камышевою зеленью в смуглых кудрях ты гулять будешь с другом разумным” (ст. 1006–1007. Пер. А. Пятровского). Общение с друзьями входило, таким образом, в общепринятую систему ценностей афинского гражданства. Но когда мы говорим о дружбе в античном мире, следует иметь в виду, как отмечают исследователи, что современное понимание дружбы имеет мало общего с античным. Греческий термин (φίλια) относился к широкому спектру межличностных отношений: не только к привязанности одного человека к другому, но и к родственным, политическим, общественным связям<sup>1</sup>. В дружбе между гражданами (civic friends называет их исследователь одного из аспектов дружбы в греческом мире Г. Херман<sup>2</sup>) личные симпатии переплетались с взаимными обязанностями, связанными с участием в полисных институтах и неформальных группах, столь многочисленных в афинском обществе.

Друзья (в широком смысле слова) составляли ближайшее окружение афинянина, их отношение определяло в значительной мере восприятие того или иного человека более широким кругом сограждан. “Что обо мне подумают друзья?” – риторически восклицал выступающий на одном из судебных процессов (Dem. XXII, 2).

Как завязывалась дружба, мы можем только предполагать. Совместная военная служба (молодые люди жили группами в палатках) способствовала установлению дружеских контактов; друзьями становились ученики какого-либо философа (кружок Сократа); сплачивала сословная общность и близость политических взглядов, особенно во второй половине V – начале IV в. до н. э., когда аристократические группы вели активную борьбу против демократии. В классический период вне круга знати процедура избрания большинства должностных лиц по жребию и тайное голосование постановлений в Народном собрании не давали возможности создавать сколько-нибудь прочные политические объединения вокруг того или иного претендента на власть. В этом отношении интересно мнение Аристотеля о мотивах введения Периклом оплаты государственных должностей: Аристотель пишет, что эту меру Перикл ввел, чтобы ослабить влияние Кимона, который благодаря своему богатству регулярно помогал жителям дема, из которого сам происходил, в частности всякому желающему из его дема можно было приходиться в дом Кимона и получать скромное довольствие (*Ath. pol.* 27/3) – своеобразный пережиток аристократических традиций “кормлений” слуг и дружинников. Перикл же, по словам Аристотеля, решил дать народу его собственные средства; можно говорить, что выплата жалования избранным по жребию людям также разрушала архаические вертикальные связи.

В установлении дружеских отношений играло роль традиционное участие в совместных празднествах по демам, в семейных торжествах, где присутствовали и дальние родственники. Естественными связями были соседские, которые могли восходить еще к детским играм вне дома: Плутарх в биографии Алкивиада упоминает игры детей в бабки прямо на проезжей части улицы (*Alc.* II). История соседской дружбы рассказана в речи Демосфена “Против Никострата”. Никострат был соседом по земельному участку Аполлодора, выступавшего на суде в качестве обвинителя (о существовании конфликта я скажу ниже). Аполлодор говорит, что когда он переехал в деревню, то стал часто общаться с Никостратом, который был не только его соседом, но и ровесником. Они помогали друг другу в хозяйстве; по словам Аполлодора, он поручил соседу вести свои дела, когда сам отсутствовал. Друзья, насколько можно заключить из судебных речей, выступали свидетелями – не всегда по существу делу, но для того, чтобы дать оценку личности истца или ответчика (*argumentum ad hominem* играл большую роль в судебных прениях афинян). Евфилет, чтобы уличить любовника своей жены, созывает друзей и знакомых (*Лисий. Об убийстве Эратосфена*, 39–41)<sup>3</sup>.

Личные симпатии играли весьма важную роль и в деловых отношениях. Неформальное поручительство друзей было порой достаточным для предоставления крупного займа: некий Андрокл в одной

из речей Демосфена рассказывает, что друзья попросили у него ссуду для своего знакомого, но ссуда не была возвращена. Характерно, что выступающий ни в чем не обвиняет друзей: он говорит, что те не подозревали о подлости людей, которых рекомендовали, считали их порядочными людьми. В данном случае, что бы этот человек ни думал о легковерии своих друзей, публичное порицание их могло скомпрометировать его в глазах судей.

Взаимопомощь считалась одной из важнейших сторон дружбы. В греческих полисах классического периода существовала практика предоставления в особых обстоятельствах беспроцентных займов друзьями и родственниками (такие займы назывались "эранос")<sup>4</sup>. Корнелий Непот в биографии известного фиванского деятеля Эпаминонда рассказывает, что Эпаминонд, когда кто-либо из сограждан попадал в плен или если у друга оказывалась дочь, которую тот не мог выдать замуж по бедности, созывал друзей и определял, кто сколько может пожертвовать в зависимости от достатка (3). Такая же практика эранос-займов засвидетельствована и для Афин. В той же речи "Против Никострата" выступающий рассказывает трогательную историю о том, как Никострат, погнавшись за сбежавшими рабами, был схвачен пиратами и продан в рабство. Аполлодор, по его словам, дал деньги брату Никострата на дорогу и часть выкупа в качестве беспроцентного займа. Дальше в речи рассказывается, как вернувшийся в Афины Никострат под разными предлогами вытянул у выступающего еще деньги и не только не отдал их, но договорился с противниками Аполлодора и стал выступать против него. Нужно сказать, что к сути иска, предъявленного Аполлодором, предыстория его дружбы с Никостратом отношения не имела, но важно, что именно подобные истории были призваны произвести впечатление на сотни афинских присяжных, заседавших в суде: истец выступает в роли друга благородного, а ответчик – нечестного и коварного. Эта речь интересна не только описанием дружеских акций, но и обвинением друга в неблагоприятном поведении.

Известны и другие случаи подобного поведения, когда речь шла о материальных интересах: один из опекунов Демосфена, растративший его наследство, был старым другом его отца, наряду с племянниками последнего (первая речь "Против Афоба"), – ни родство, ни дружба не могли перевесить стремления к обогащению (Демосфен выиграл процесс против опекунов, так что доказательства их нечестности были достаточно убедительны). Аристотель в *Magna Moralia* (2. 1211a) замечает, что друзья, будучи согражданами, соревнуются друг с другом и могут быть втянуты в острые споры между собой, что сводит на нет дружеские отношения. В то же время, как подчеркивает Г. Херман, группы граждан были связаны между собой в различных сферах деятельности, не говоря уже о правах и обязанностях, в существовании которых выражалась роль полиса<sup>5</sup>.

В этом сложном переплетении личных симпатий, групповых интересов и давних клановых традиций развивались и существовали в классических Афинах межличностные дружеские отношения, для которых было характерно прежде всего коллективное общение в рамках сравнительно небольших микрогрупп, участники которых как бы выступали взаимными гарантами соблюдения неписаных правил поведения друзей. Разумеется, два друга могли встретиться с глазу на глаз: тот же Евфилет из речи Лисия в его защиту рассказывает, что он пригласил к себе поужинать друга, которого случайно встретил, когда тот возвращался из деревни. В Первой речи Антифонта упоминается человек, остановившийся в доме своего друга, когда ему нужно было приехать в город по делам. Но, судя по редким упоминаниям подобных встреч, индивидуальное общение носило случайный характер. Человек античного мира – и не только в Афинах – идентифицировал себя в группе сотоварищей (куда могли входить и родственники), объединявших сравнительно небольшое число людей. Именно эти группы выступали прежде всего в организации беспроцентных займов, обеспечивали свидетельства на суде (Демосфен упоминает в одной из судебных речей товарищество – гетирию свидетелей – XXI, 139).

Главной формой общения во всех микрогруппах была совместная трапеза, симпосион (пир). Недаром слово “эранос” – беспроцентный дружеский заем – означало также “пир” (у Пиндара в Олимпийских одах – 1, 38; в “Елене” Еврипида – 388): последнее значение, вероятно, и было более древним (оно встречается в “Одиссее” – I, 226).

Симпосион восходит к обычаям аристократии архаического времени. Исследователь этого периода О. Маррей пишет, что пир для представителей греческой знати был не просто собранием людей, желающих выпить и повеселиться (хотя вино на пирах присутствовало обязательно), но центром культурной и общественной жизни; проведение пира регулировалось ритуалом и традицией<sup>6</sup>. За этим ритуалом следил выбранный пирующими председатель симпосиона. Пир аристократии проходили в их собственных домах; комнаты для трапезы были ограничены в размерах, пирующие, как можно судить по изображениям на вазах, полулежали на ложах по двое. В помещениях могли находиться от 7 до 15 лож (поэт Алкман упоминает 7 лож и столько же столов – Фг. 19). Столы были небольшие, пирующие группировались вокруг них по несколько человек, при этом они могли охватить пением и беседой соседей по другим столам. Таким образом, если принять во внимание присутствие на многих пирах гетер, которые возлежали вместе с мужчинами, последних было сравнительно немного: это действительно была микрогруппа. Начинался пир архаической эпохи с обращения к богам и возлияния в их честь. Судя по элегии “О спартанских пирах” Крития, одного из

Тридцати тиранов, ставших у власти после поражения Афин в Пелопоннесской войне, на пирах афинян классического времени (а скорее всего и раньше, поскольку поэт считает, что этот обычай занесен из Лидии) за здоровье каждого пирующего пили по кругу, что должно было создавать ощущение равенства пирующих, их единодушия и служить своеобразным сакральным действием, скреплявшим их союз.

На пиру присутствовали флейтистки, могли выступать поэты. Участники пира развлекались особыми играми, среди которых любимым было соревнование в меткости: нужно было выплеснуть каплю вина из одной чаши и попасть в другую. Существовали правила поведения на пиру: вина можно было выпить столько, сколько позволяло человеку самостоятельно дойти до дома без помощи сопровождающего. Не следовало мужчинам исполнять танцы, которые считались неприличными. Геродот рассказывает о тиране города Сикион, который выбирал жениха для своей дочери, проверяя его в атлетических состязаниях и наблюдая за его поведением на пиру. Один из женихов, у которого, казалось бы, было больше всего шансов, во время пира вскочил с места и стал плясать, а затем встал на стол вниз головой и начал болтать ногами. Тогда отец невесты в гневе сказал: "Ты проплясал свою свадьбу" (VI, 126–30). Этот эпизод, степень достоверности которого оценить трудно, демонстрирует отношение аристократии архаического периода к соблюдению правил поведения на пирах и в то же время говорит о возможных случаях нарушения этикета.

Следует иметь в виду, что правила эти существенно расходились с современными общепринятыми нормами. Гости могли заниматься сексом прямо на пиру с гетерами, рабынями-флейтистками на виду друг у друга. Вазы, предназначенные для симпозионов, расписывались подобными сценами<sup>7</sup>; на росписях зафиксированы и приемы группового секса: собравшиеся на пиру не стыдились своих товарищей; открытый, или групповой секс служил для них как бы дополнительной формой связи, подчеркивая отсутствие ревности между ними. Кроме гетер, на пиру присутствовали обнаженные мальчишки-прислужники. Между ними и участниками пира, а также между старшими из пирующих и юношами могли завязываться сексуальные отношения. Но в отличие от сцен с гетерами гомосексуальные сцены на вазах даны с большей сдержанностью, на них никогда не изображается половой акт. Педерастия в архаический период считалась высшей формой любви-дружбы; влюбленные не скрывали своих отношений, на пирах они возлежали вместе. Существовал особый ритуал в отношениях между любящим (эратес) и любимым (эроменос). Первый – обязательно старший по возрасту – выступал своего рода наставником второго, делал ему подарки. Подарки эти часто носили символический характер: судя по изображениям на ва-

зах, любимому преподносили венок, петуха (символ бойцовских качеств), зайца, возможно, чтобы приучить мальчика к охоте. Возраст "любимого" согласно принятым нормам был ограничен 12–18 годами (в 18 лет юноша становился полноправным гражданином, если разумеется, был коренным афинянином), он не должен был по этикету проявлять активность в этих отношениях, выпрашивать подарки и т. п. На вазах, где фигурируют мужчины вместе с мальчиками последние изображены в статичных, сдержанных позах. Половые отношения между взрослыми мужчинами осуждались. Педерастия, по мнению современных исследователей<sup>8</sup>, считалась особой формой связи между юношей и взрослым мужчиной, способствующей вовлечению первого в своеобразный мужской союз, подчеркивающей превосходство привязанности между мужчинами над низменной страстью к женщине. Что касается мальчиков-рабов, то отношения с ними ритуализованы не были, но о них мы знаем гораздо меньше, чем об идеализированной любви старших к юношам своей социальной группы. Впрочем, идеализация и ритуал не исключали острых конфликтов на сексуальной почве: достаточно вспомнить известную историю тираноубийц Гармодия и Аристогитона, убивших Гипшарха сына афинского тирана Писистрата, который, по преданию, безуспешно домогался любви Гармодия и, по словам Аристотеля (Афинская полития, 18), всячески оскорблял его, что и вызвало покушение (впоследствии убийц чтити как героев демократии). При этом надо иметь в виду, что педерастия не исключала общения с женщинами: брак и наличие детей были обязательной нормой для эллинов классического времени, в том числе и для аристократов.

После утверждения в Афинах власти демоса изменилось отношение основного состава граждан к образу жизни аристократии: с одной стороны, разбогатевшие выходцы из низов стремились во многом подражать ей – отсюда частые упоминания "пирушек" в домах людей "среднего класса", с другой – афинская масса резко порицала образ жизни аристократии, в том числе и ее поведение на пирах в судебных речах, рассчитанных на судей – выходцев из низов, обвинители стараются зачастую скомпрометировать противника обвинениями в ньянстве, разврате, безудержных трахах.

Однако это не означало, что в классических Афинах не существовало самых разнообразных микрогрупп, охватывавших все слои общества; они создавались для разных целей – религиозных, политических, увеселительных, для совместных путешествий... Как пишет Маррей, концепция индивида вне общности была чужда греческой мысли, именно принадлежность одного и того же человека к различным группам – дему, фратрии, семье, религиозной ассоциации – предоставляла ему свободу выбора между их требованиями и давала возможность избежать какой-либо одной формы социального давления<sup>9</sup>.

С некоторой долей условности можно разделить частные (внесемейные) объединения граждан на два типа: к одному относились такие, которые вписывались в структуру и идеологию демократического полиса; Аристотель в "Никомаховой этике" писал, что сообщества – это часть гражданского целого (1160a); ко второму – те, которые прямо или косвенно этому целому себя противопоставляли.

К первым относились многочисленные религиозные союзы и объединения взаимопомощи. Рядовые афиняне постоянно встречались на агоре, где, собираясь небольшими группами, обсуждали все свои дела. Но такая форма общения была недостаточной: друзья и единомышленники объединялись в ассоциации, почитавшие различных богов и героев (так, во многих надписях упоминаются союзы почитателей Геракла): на паях они покупали участок земли, строили там святилище и дом для собраний (были случаи, когда дома эти для получения дополнительных средств сдавали в аренду, но арендатор на время собраний обязан был дом освободить)<sup>10</sup>. Основной формой общения во всех религиозных ассоциациях было пиршество; в надписи одного из союзов упоминаются ложа, столы, кухня (IG II 2499); другая надпись, содержащая список почитателей Геракла, вырезана на столе (Ibid. 2443). Как отмечает Аристотель в "Никомаховой этике", сообщества фиасотов (фиасами обычно назывались частные религиозные объединения) и эранистов (союзы взаимопомощи) возникают ради удовольствия, их цель – жертвоприношения и общение (1160a, 20). Именно последнее и должно было доставлять удовольствие, поскольку главной формой общения было пиршество, включавшее поедание мяса жертвенного животного, что создавало сакральную общность и к тому же для многих представителей демоса было роскошью. Никаких свидетельств о пьянстве и присутствии гетер у нас нет – и вряд ли это было возможно, ибо оскверняло культовый характер собрания. Похожее положение занимали и постепенно оформлявшиеся союзы взаимопомощи – эранисты, которые из друзей, оказывавших друг другу помощь время от времени, превращались в ассоциацию, действовавшую на паях. Как и у фиасов, у них могли быть свои участки и помещения. Постоянные союзы эранистов получили распространение в эллинистический период, но они встречались и в IV в. до н. э. (IG II 1583 – надпись, где упомянут участок союза эранистов). В эти союзы могли входить не только граждане, но и переселенцы-метеки.

Насколько тесными были отношения между членами союзов, мы сказать не можем; первоначально в союзы должны были объединяться люди, связанные общими верованиями и, вероятно, симпатиями (последнее безусловно для союзов взаимопомощи). В дальнейшем вступать в частные союзы люди могли по рекомендации кого-либо из их членов: в одной из судебных речей Исея говорится, что отчим выступающего ввел в фиас Геракла своего друга, чтобы тот



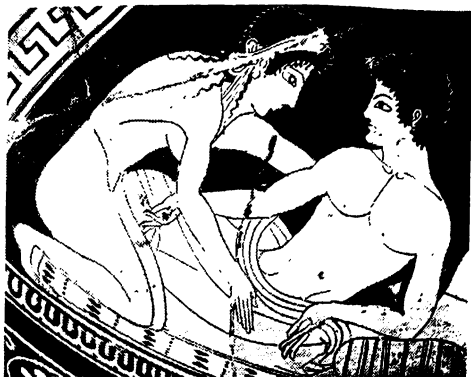
был "причастен к объединению" (IX, 30). При этом поступок отчима должен был – по мысли составителя речи – произвести хорошее впечатление на судей, которыми дружеские связи воспринимались прежде всего как связи коллективные. Подобные религиозные союзы не противопоставляли себя традициям гражданской общины, их члены участвовали во всех публичных полисных мероприятиях.

Несколько иное место среди дружеских сообществ занимали неформальные группы единомышленников-интеллектуалов, учителей и учеников. Философские школы были открытыми, вполне светскими группами; они не только собирались в гимназиях, но и устраивали совместные пиршества. Если судить по началу платоновского "Пира", застольные встречи могли быть и обычной пирушкой друзей, и своего рода диспутом, когда председатель пира – симпозиарх – задавал определенную тему. Согласно рассказу Платона, собравшиеся сначала совершили привычный ритуал – возлияние, совместное исполнение песни ("хвалу богу"), но перед тем как приступить к вину, они решили ограничить питье, так как накануне вместе были на другом пиру, где слишком много выпили, и на этот раз решили все время посвятить беседе. При этом они отпустили флейтистку.

Таким образом, одни и те же люди могли участвовать в обычном застолье, сопровождавшемся выступлением музыкантов, и в беседе на заданную тему, которая тоже происходила во время пира, но уже без женщин. Правда, пир, описанный у Платона, был нарушен толпой гуляк, которые, увидев открытые двери, ввалились прямо в дом и расположились среди пирующих: "Тут поднялся страшный шум, и пить пришлось без всякого порядка". В этом описании начала и конца пира, обрамляющем главную тему – рассуждение о любви, – можно видеть отражение реальных симпозионов конца V в. до н. э., когда ритуал архаических пиров аристократии нарушался, а микрогруппы формировали свой порядок их проведения, но при этом подвыпившие люди могли войти в чужой дом и принять участие в пире на любой его стадии (закрывать двери во время пира было не принято, это могло быть расценено как тайный, предосудительный характер собрания). Не исключено, что подобные вторжения были своего рода вызовом людям, чье поведение и взгляды не вполне соответствовали массовым представлениям афинского демоса о достойных гражданах, чья жизнь должна была проходить на виду.

Впрочем, традиционные застольные обычаи изменялись не только у философской элиты. Аристофан в комедии "Облака" вкладывает в уста одного из своих героев жалобу на сына, который не пожелал петь песню во время застолья. "Песни петь за чашей под кифару – обычай устаревший", – заявил он (ст. 1357–1358). Характерно, что в этой комедии сын выступает учеником Сократа: Аристофан считал философа человеком, развращавшим юношей, нарушителем добрых традиций. Беседы и пиры кружков философов в V в. до н. э.

Сцена на пиру  
Вазопись.  
Конец VI в. до н.э.



воспринимались многими людьми как поведение нестандартное, нарушавшее полисные устои. Хотя члены этих кружков прямо не выступали против государственного строя Афин, по существу они противопоставляли себя ходячим истинам и общественному мнению афинского демоса. В этом отношении характерна тема, обсуждаемая в "Пире". Участники его говорят о любви между мужчинами и юношами, прославляя ее как высшее проявление Эроса. Говорится, что против такой любви выступают варвары и тираны, в то время как она укрепляет содружества и союзы (в гомосексуализм вводится мотив дружбы). Правда, из начального описания пира становится ясно, что гомосексуальные связи в среде интеллектуалов порождали не только положительные эмоции, но и ревность: в частности, ревнивцем называет Сократ Алкивиада, который не дает учителю даже посмотреть на красивого мальчика (213d). Разумеется, эпизод со сценой ревности между Алкивиадом и Сократом необязательно отражает реальные конфликты между ними, возможно, это всего лишь художественный прием Платона, как бы вводящий в проблему дальнейших рассуждений, но характерно, что мотив ревности в данном контексте казался естественным и для автора, и для его читателей.

Из разговора пирующих становится ясно, что подобные отношения осуждались в среде афинского гражданства: "Некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вооб-

ше" (182 а). Слово "некоторые" представляется преуменьшением. В Афинах классического времени педерастия осуждалась, и лидеры демократии должны были с этим считаться. Так, в биографии Алкивиада Плутарх рассказывает, ссылаясь на оратора Антифонта, что мальчиком Алкивиад сбежал к своему любовнику, из-за чего один из его опекунов готов был публично от него отказаться (III). А в биографии Перикла того же Плутарха содержится такой эпизод: когда Софокл вместе с Периклом участвовал в морской экспедиции в должности стратега, он увидел красивого мальчика и похвалил его; тогда Перикл сказал ему: "У стратега, Софокл, должны быть чистыми не только руки, но и глаза" (VIII). Аристофан в "Птицах" высмеивает такое представление о дружбе. Один из героев комедии, ищущий подходящий для жизни город, говорит: пусть будет такой, где отец смазливому мальчику выберит его за то, что он не стал мальчиком ни целовать, ни лапать, ни тащить к себе (140–143). На эти слова Удод, с которым ведется разговор, отвечает: "Несчастный человек желаешь гадостей".

Отношение к гомосексуальным связям демоса определялось не только неприятием аристократического образа жизни, но и тем, что сами эти связи все больше становились проявлением индивидуальной свободы поведения, все меньше – ритуализованной формой мужской дружбы. В конце V–IV в. до н. э. появляются свидетельства о существовании мужской проституции, занятии настолько презираемом, что были изданы специальные законы против нее: за занятие проституцией афинский гражданин лишался права участия во всех формах политической жизни; если же он нарушал эти запреты, то его приговаривали к смерти (*Эсхин*. Речь "Против Тимарха", 21–22). Может быть, само прославление философами педерастии было реакцией на восприятие ее афинской массой, стремлением придать этим отношениям былой ореол. В IV в. до н. э. была написана "Любовная речь" (включена в корпус речей Демосфена под номером LXI), авторство которой ошибочно приписывалось Демосфену. В этой речи восхваляется прекрасный и добродетельный юноша за многие достоинства, в том числе и за то, что он не поддавался множеству поклонников, которые склоняли его "общаться на привычный лад". Своей непорочностью он снискал всеобщую любовь; при этом оратор подчеркивает стремление юноши к дружеским отношениям (17–18). Отмечает он и то, что герой его речи выбирал себе в друзья своих сверстников (57). Эта речь содержит как бы внутреннюю полемику с дружбой, основанной на педерастии, и утверждает приоритет несексуальной любви между мужчинами, притом одного возраста. Мне представляется, что эта речь не случайно была приписана Демосфену, идеологу демократии, выступавшему и в подлинных речах против мужеложства (например, в речи "Против Андротииона", которого в числе прочего обвиняли и в проституции). Ряд исследователей

в частности Н. Врессимтис в уже упомянутой мной книге (см. примеч. 7, 8), полагают, что вообще педерастия была социально и хронологически ограничена – она была достоянием высших слоев общества в VI–IV вв. до н. э. Это не означает, что в дальнейшем нет сведений о гомосексуализме, но эти отношения стали восприниматься как отклонение от общепринятых норм поведения.

Особенно остро противостояли демократическим порядкам и ценностям группировки, получившие распространение во время Пелопоннесской войны. Эти группировки назывались гетерии (товарищества); друг друга их члены считали также друзьями (φίλοι)<sup>11</sup>. Они ставили перед собой прежде всего политические цели, выступая против демоса и традиционных форм поведения. Не касаясь собственно политических целей гетерий, хочу обратить внимание на поведение гетайров, сознательно демонстрировавших неприятие общепринятых норм и в публичном, и в частном общении. Фукидид пишет, что извращено было значение слов в применении к их поступкам. Безрассудная отвага считалась храбростью и готовностью к самопожертвованию ради друзей (т. е. сотоварищей по гетерии). Человек, который был всем недоволен, считался надежным членом гетерии. Доверие среди "товарищей" скреплялось соучастием в незаконных действиях (История, III, 82). Члены гетерий устраивали совместные пирушки, занимались там не только планированием заговоров, но и насмешками над традиционными для полиса обрядами. В частности, они пародировали Элевсинские мистерии – религиозные действия в честь богинь Деметры и Коры, куда допускались только посвященные. Они наряжались жрецами, факелоносцами<sup>12</sup>. Молодые люди не ограничивались тайными насмешками, они устраивали ночные дебоши, во время которых разбивали стоявшие на улицах и площадях города статуи богов ("в шутку в состоянии опьянения", – передает Фукидид показания слуг – VI, 28, 1).

Интересно отметить, что среди членов гетерий были люди, связанные с кружком философов, например знаменитый Алкивиад, друг и ученик Сократа; Критий, тоже ученик Сократа, возглавивший после поражения Афин в Пелопоннесской войне правительство Тридцати тиранов. Духовное противостояние полисной идеологии порождало и активные политические действия, которые, однако, не всегда были связаны с определенными убеждениями: известно, что Алкивиад во время войны переходил то на сторону Спарты, то опять на сторону Афин и в конце концов был убит по приказу персидского сатрапа, у которого пытался найти убежище.

Среди гетайров – осквернителей статуй – был член одного из объединений, выходец из аристократического рода Андокид<sup>13</sup>, который во время ночной гулянки разбил какую-то статую бога (такова одна из версий – псевдо-Плутарх, Андокид, 4). С его именем связан один из самых драматических эпизодов в истории Афин и трагичес-

кий – в судьбе его товарищей. В 415 г. до н. э. перед отправкой военной экспедиции на Сицилию ночью в Афинах были разбиты гермы (столбы, стоявшие на улицах, с изображением головы Гермеса). Мы не знаем истинных причин этого деяния. Не исключено, что это было одно из преступлений, призванных сплотить членов гетерии. На афинский демос надругательство над гермами произвело сильнейшее впечатление: в нем, по словам Фукидида, усмотрели предзнаменование относительно похода (разумеется, дурное) и вместе с тем заговор, направленный на ниспровержение демократии (VI, 27, 3). Посыпались доносы, многие были арестованы; среди них – Андокид и его родственники. Андокид, находясь в тюрьме, получил от властей гарантию освобождения, если он назовет истинных виновников святотатства. И Андокид назвал своих товарищей по гетерии (вероятно, правдиво, во всяком случае впоследствии в истинности его показаний не сомневались).

Андокид и его родные были отпущены, а названные им друзья схвачены и казнены. По словам самого Андокида, он только знал о готовящемся преступлении, но не принимал в нем участия, так как накануне упал с лошади и разбился; другими словами, он спасал себя и своих близких – невинных. Но психологически Андокид оказался в сложной ситуации: с одной стороны, он помог государству отыскать виновных, с другой – выдал своих друзей. И для общественного мнения второе в конце концов оказалось важнее. Старые друзья его возненавидели, сторонники демократии ему не доверяли. Андокид вынужден был уехать в изгнание. После неудачных попыток он только в 403 г., когда была объявлена всеобщая амнистия, на законном основании вернулся на родину. Но и 12-летнее отсутствие не стерло в памяти афинян его поступок. После всех несчастьев, обрушившихся на Афины в результате поражения в Пелопоннесской войне, история с разрушителями герм потеряла свою остроту, а проблема предательства осталась. Враги Андокида возбудили против него судебное дело, не связанное с разрушением герм. Но, защищаясь, Андокид вспоминает ту старую историю, “чтобы, говорит он, меня не считали подлецом”. Он признает, что афиняне обвиняли его в том, что он сам спасся, а друзей своих погубил. Поэтому Андокид старается разжалобить своих слушателей, говоря об арестованном престарелом отце и ни в чем не повинных родственниках. Он призывает расценить его поступок как проявление мужества (О мистериях, 55–58). Но вряд ли Андокиду удалось полностью изменить господствующую оценку его поведения. Противник Андокида в речи, приписываемой Лисию (“Против Андокида”), восклицает: “Как вы думаете, какая у него душа, если он шел на такое крайне позорное дело, донося на своих друзей, тогда как его спасение было еще под сомнением?” (При этом оратор признает, что по существу донос был признан верным.) Андокид тщетно пытался включиться в политиче-

скую жизнь Афин и в конце концов снова был изгнан – на этот раз уже навсегда. Разумеется, в жизни афинян случалось, как уже упоминалось выше, что друзья обманывали друг друга, не отдавали беспроцентные займы (что служило аргументом в судебном разбирательстве), но поступок Андокида, повлекший гибель друзей, для системы ценностей афинян оказался уникальным. Для них, во всяком случае для многих, верность друзьям в экстремальной ситуации была важнее, чем служение государственным интересам (тем более, что эти интересы разные люди понимали по-разному).

В IV в. до н. э. тайные политические союзы, действовавшие главным образом в условиях военного времени, постепенно сошли на нет: перед лицом македонской угрозы, в обстановке постоянных межполисных конфликтов большинство государственных деятелей самых разных убеждений вели открытые политические дискуссии в судах и Народном собрании, предлагая самые разные способы, чтобы сохранить независимость своего полиса и его традиционный строй. В это время, если судить по надписям, увеличивалось число частных религиозных союзов и объединений взаимопомощи, сплавивших в трудные времена рядовых жителей Афин. Однако наряду с такими союзами в городе появились неформальные молодежные группировки неполитического характера (порой под руководством старших по возрасту людей). Они не желали подчиняться общепринятым нормам поведения в быту и в исполнении религиозных ритуалов. Демосфен в речи “Против Конона”, произнесенной в суде в середине IV в., говорит о таких молодежных группировках: одни называют себя “итифаллы”, другие – “автолекифы”. Первое название связано, по словам оратора, с непристойным поведением (“они позволяют себе такие поступки, какие порядочным людям стыдно не то что делать, но даже говорить о них” – IV, 17); смысл второго неясен; может быть, он отражает некоторые росписи на лекифах, изображающие силенов и менад (хотя лекифы для вина не употреблялись). Упоминает оратор и еще одно объединение – “трибаллы” – шутовское и вызывающее название, восходящее к имени одного из фракийских племен, считавшегося грубым и неотесанным. По словам оратора, молодые люди из этого объединения поедали жертвоприношения богине Гекате и ели пищу, считавшуюся нечистой. Несколько раз в речи выступающий подчеркивает, что молодые люди пьanstвовали и занимались развратом.

Существование подобных маргинальных образований приводило к конфликтам и дракам. Один из таких конфликтов и описан в речи “Против Конона”. Суть его такова. Группа юношей несла гарнизонную службу и жила в одной палатке. В соседней палатке жили сыновья Конона. Но соседство приводило не только к дружбе, но и к вражде. Сыновья Конона (они-то, как явствует из дальнейшего изложения, и принадлежали к молодежным группировкам) непрерывно

пьянствовали, избивали прислужников соседей, выливали около их палатки нечистоты. Тогда жившие вместе с будущим истцом молодые воины пожаловались начальству, за что соседи их жестоко избивали. Но дело этим не ограничилось. Когда истец по прошествии времени прогуливался с другом поздно вечером, их встретил один из обидчиков и позвал своих друзей, пировавших неподалеку вместе с Кононом. Они – по заявлению истца – снова затеяли драку, в которой истец пострадал (он даже представил суду заключение врача). По его словам, в избиении участвовал и Конон. Как всегда в судебных речах, ситуация представлена односторонне, неясно, почему истец и его друг не скрылись, пока обидчик бегал за подмогой, возможно, они первыми затеяли драку и решили, что тот убежал совсем, но мы этого не знаем. Ясно только, что между молодежными группами, связанными внутри достаточно тесными отношениями, возникали своего рода “разборки”, подлинные причины которых нам неизвестны.

Интересно, что судебный иск был возбужден не против молодых хулиганов, а против Конона, человека в годах. Видимо, если судить по некоторым намекам в речи, афиняне довольно терпимо относились до поры до времени к молодежным группам, надеясь, что с возрастом они образумятся. Конон же, как старший по годам и будучи отцом некоторых из них, отвечал за их поведение. Предвидя оправдания ответчика, истец говорит, что тот будет взывать к снисхождению отцы афинян: вероятно, других аргументов он не ожидал. В поступках этих итифаллов и автолекифов не было уже никакого ритуала, ни философского оправдания. С конца IV в., когда Афины оказались зажатыми между армиями воюющих преемников Александра, о подобных внутренних ссорах мы не слышим. Ставленники македонских правителей, вероятно, бдительно следили за порядком. Деметрий Фалерский, управлявший Афинами в 317–307 гг. до н. э., издал законы против роскоши, в том числе ограничил число участников пиров, даже свадебных, – не больше 30 человек, запретил женщинам носить шитые пурпуром одежды. Были введены должности гинойкономов – надзирателей за женщинами, которые одновременно следили и за поведением мужчин<sup>14</sup>. В этих условиях основными формами объединения были частные религиозные союзы, также не слишком больших размеров.

Все, что было сказано о коллективных формах общения, относится только к мужчинам. Мы очень мало знаем о женской дружбе в Афинах классического периода: авторов-мужчин она не интересовала. Если судить по брошенным вскользь репликам в комедиях Аристофана, соседки ходили друг к другу в гости, помогали в особых случаях, например при родах (этот предлог выдвигает перед мужем героиня комедии “Женщины в Народном собрании”, чтобы оправдать свой уход из дому – 527–528). Особые отношения существовали между замужними женщинами и их прислужницами, которые были

если не подругами, то наперсницами. В известном деле Евфилета, убившего любовника своей жены, именно служанка играла роль посредницы, правда, такие посредницы были ненадежны – когда господин узнал о возможной измене жены, он заставил угрозами рабыню-служанку рассказать все и даже помогать ему. В комедиях Менандра встречаются служанки, преданные господам, но их гораздо меньше, чем рабов-слуг.

До нас дошла из Афин уникальная надпись конца V в. до н. э. (IG II-2, 10954), представляющая собой надгробие, поставленное женщиной по имени Евфилла своей подруге Биоте (употреблен термин гетера) ради верной дружбы, “ибо она (Евфилла) хранит память о тебе со слезами и оплакивает твою потерянную юность”. Можно думать, что речь идет о двух незамужних женщинах, скорее всего гетерах, поскольку в надписи не упомянуто отчество ни одной из них; дружба между гетерами вполне возможна, хотя не исключено, что между этими двумя подругами были и более тесные отношения (о женском гомосексуализме того времени – за исключением спартанок<sup>15</sup>, которые находились в особом положении, – у нас нет никаких сведений). На основании некоторых аналогий из других мест классической Греции можно думать, что индивидуальная дружба между женщинами действительно существовала; так, из Фессалии дошла посвятельная надпись V в. до н. э., где говорится, что одна женщина изготовила посвятельный дар, а другая его украсила: “искусство обеих здесь объединено” (FII 152). Имена женщин также даны без отчеств, не исключено, что это тоже гетеры. В отличие от мужчин женщины до эллинистического времени не образовывали союзов: замужние женщины не имели никакой возможности сделать это, а гетеры в большинстве выступали как соперницы, что зло высмеял Аристофан в той же комедии “Женщины в Народном собрании” (правда, там речь идет о борьбе за любовника старой и молодой гетер) и что огражено в значительно более позднем сочинении Лукиана “Разговоры гетер”, который, возможно, обработал какую-то раннюю литературную традицию. Существовала ли дружба между мужчинами и женщинами, практически неизвестно. Вероятно, дружбой можно назвать отношение Сократа к Аспасии, который посещал ее дом, высоко ценил ее мудрость и ораторское искусство. Возможно, мужчины, которые приходили к Периклу послушать Аспасию и даже приводили туда своих жен (Плутарх. Перикл, XXIV), также питали к ней симпатию, но, скорее всего, это были связи друзей-единомышленников в рамках неформального объединения. Однако такие отношения, как и подчеркивает Плутарх, были необычны для классических Афин и представляли собой исключение.

Ситуация и для мужчин и для женщин в известной степени изменилась после завоеваний Александра, когда в Восточном Средиземноморье сложились огромные монархии, когда в условиях массо-



вых переселений, смешения народностей разрушались старые связи, завязывались новые, усложнялись не только социальные, но и межличностные отношения, хотя дружба, как я постараюсь показать дальше, продолжала входить в основную систему ценностей эллинистического общества.

### *"Друзья" и друзья в эллинистическом мире*

В 328 г. до н. э. во время восточного похода Александра Македонского в Мараканде на пиру вспыхнула ссора между Александром и одним из его ближайших друзей и соратников, Клитом. Клит был братом кормилицы царя, он спас жизнь Александру в битве при Гранике. Согласно рассказу Плутарха (Александр, 50–52; современные исследователи считают этот рассказ наиболее достоверным<sup>16</sup>), ссора началась с упреков Клита, который обвинял царя в том, что тот унижает македонян, называет себя сыном египетского бога Амона, отрекаясь тем самым от своего отца Филиппа. Дерзость Клита вызвала гневную, но поначалу словесную отповедь Александра, который старался уязвить друга, однако Клит не унимался. Следует заметить, что на царском пиру не соблюдались никакие нормы пиров классического времени, участники его пили без ограничений. Друзья вывели Клита из зала, кто-то незаметно взял с пояса Александра кинжал, за который царь в гневе хотел схватиться. Но Клит вернулся через другие двери, цитируя фразу из трагедии Еврипида "Андромаха": "Не те прославлены, которые трудились, / А вождь один себе хвалу берет" (695–696). В бешенстве Александр выхватил копье у телохранителя и метнул его в Клита; Клит упал замертво. Александр был потрясен содеянным: Плутарх пишет, что царь вытаскил из мертвого тела копье и пытался вонзить его себе в шею, но ему помешали и насильно увели в спальню. Всю ночь Александр провел в рыданиях...

Эта трагическая история описана во всех книгах, древних и современных, посвященных Александру. Исследователи пишут о политической подоплеке ссоры, связанной с тем, что Клит разделял недовольство македонской знати возросшим самовластием Александра и его увлечением восточными обычаями, анализируют изменения в характере Александра и т. п. Я же хочу обратить внимание не столько на мотивы, сколько на форму поведения Клита, а также на реакцию Александра. Клит считал себя вправе сказать царю все, что он о нем думает, – и это при том, что уже прошли жестокие казни македонских соратников Александра, осмелившихся высказать недовольство его политикой. Они были обвинены в заговоре на жизнь царя (справедливо или нет – неизвестно). Мало того, Александр приказал без суда заколоть Пармениона, старого сподвижника его отца Филиппа, хотя тот, по данным всех источников, не был ни в чем замешан; но Александр перед этим казнил его сына и, вероятно, боял-

*Мужчина, трагически погибший  
в пылу битвы  
Взятый  
Клима VI в плен*



ся мести. Разумеется, опьянение усилило безрассудство Климта, но ясно, что он разговаривал с царем на равных, как его близкий друг. чье отношение основывалось на личных и семейных связях. Возможно, в поведении Климта сказалась македонская традиция существования круга "гетайров" – товарищей из знатных семей, которые при македонских царях играли роль советников и помощников. Но в окружении Александра в экстремальных условиях далекого похода эти традиции были нарушены, как это видно из его обращения с другими гетайрами. То, что Александр сначала затеял с Климом перебранку, показывает, что он был движим личными чувствами, а не политическими соображениями. Александр, во всех других конфликтах использовавший прерогативы царской власти или послушный ему суд над своими противниками (действительными или мнимыми), в случае с Климом повел себя не "по-царски", он потерял контроль над собой, скорее всего из-за обиды, тем более сильной, что обвинения исходили от близкого ему человека. Раскаяние Александра

было столь же бурным, как и его гнев, – рыдал человек, собственными руками убивший друга. Его долго утешали, апеллируя к его царственному предназначению.

История с Клитом, помимо многого другого, показала, что дружба продолжала оставаться одной из важнейших ценностей, хотя она оказалась трудно совместимой с деспотической властью завоевателя. Это было одно из противоречий складывающегося эллинистического мира: старая политическая система уже не действовала вдали от родины, новый аппарат еще не сложился, поэтому личные связи царей и полководцев играли большую роль; потребность в личной преданности и политические интересы подчас сталкивались друг с другом. У Александра было много талантливых военачальников, которых он мог считать преданными себе, но настоящим другом, которому он безоговорочно доверял, был только один – Гефестион, товарищ его юности. Царь называл его “другим Александром”. Никаких намеков на сексуальные отношения между ними в источниках нет (да они и не были свойственны македонянам) – это была действительно дружба. Диодор передает, что когда кто-то сказал Александру, что Кратер, один из главных военачальников, любит его не меньше Гефестиона, Александр ответил: “Кратер любит царя, а Гефестион – Александра” (XVII, 114). Даже если эта фраза сконструирована источником Диодора, она была призвана передать суть отношений царя и его друга, основанных на личной симпатии, которую Александр, несмотря на всю свою царственность, ценил больше, чем преданность подданных. Незадолго до кончины Александра после возвращения из восточного похода Гефестион внезапно умер. Все древние авторы подчеркивают горе Александра. Плутарх пишет, что царь обезумел, объявил всеобщий траур, запретил исполнение музыки... (Александр, 72). Римские авторы, составившие представление о поведении царей по более поздним эллинистическим владыкам, не вполне понимали основу скорби Александра: так, Юстин, излагавший сочинение Помпея Трога (время Августа), пишет, что Александр “оплакивал его так долго, как не подобает царю” (XII, 12). Смерть Гефестиона как бы знаменовала конец личных дружеских связей в окружении царя; место Гефестиона никто не занял.

Вскоре умер Александр, и бывшие соратники начали ожесточенную борьбу за власть и раздел державы Александра, забыв все, что их некогда связывало. Однако каждому из них в этой борьбе, проходившей среди чуждого македонянам населения Азии, необходима была поддержка лично преданных людей, чья связь с полководцем (а затем и царем) была бы неформальной. Около эллинистических правителей группируются друзья, поначалу не занимавшие официальных должностей и оказывавшие им непосредственную поддержку. В одном из постановлений греческого города Илиона сказано, что Антиох I увеличил свое царство благодаря своей добле-

сти, а также преданности друзей и войска (дословно – расположению к нему – OGIS 219). Происхождение друзей могло быть различным: это могли быть выходцы из греческих городов, люди, воспитывавшиеся вместе с будущим царем, его воспитатели и т. п.<sup>17</sup> Цари разными способами старались привлечь к себе соратников. Селевк I, полководец Александра и основатель огромной державы в Азии, принимал к своему двору изгнанников, по отношению к которым выказывал щедрость и благородство (во всяком случае, так характеризует его поступки видный исследователь эллинистической истории Г. Бенгтсон<sup>18</sup>).

Друзья, окружавшие того или иного правителя или претендента на власть, не занимали должностей и не имели титулов (правда, до поры до времени), они были с ним – или в принципе должны были быть – и в торжестве, и в несчастье, конечно, не все и не всегда. Когда Селевк разгромил своего давнего противника Деметрия Полиоркета, тот бежал с несколькими друзьями; некоторые из них покинули побежденного полководца, но были и такие, кто с ним остался. Они не дали Деметрию покончить жизнь самоубийством и последовали за ним в плен. С разрешения Селевка, сохранившего жизнь Деметрию, они навешали пленника (*Плутарх*. Деметрий, 49–50). В отдельных случаях друзья мстили за погибшего царственного друга; в начале III в. до н. э. в семье царя Лисимаха произошли трагические события. По наущению молодой жены, коварной и безжалостной Арсиной, он заключил в тюрьму, а затем и убил своего старшего сына Агафокла. Друзья царевича не смирились с его гибелью, они поклялись отомстить за него, и когда Селевк I выступил против Лисимаха, друзья Агафокла перешли на сторону Селевка<sup>19</sup>.

Цари стремились завязать дружеские связи с влиятельными людьми в соседних государствах и греческих полисах. Таких людей они вознаграждали за оказанные услуги. Так, сын Селевка Антиох I даровал греку Аристоклиду из малоазийского города Асс земельное владение за “благорасположение и усердие к царю и за дружбу”; царь подчеркивает, что этим даром он проявляет уважение к нему – т. е. царь выступает как бы на равных с Аристоклидом. При этом последний может приписать полученную землю к любому полису, какому пожелает, – его владение, таким образом, выводится из-под юрисдикции царя<sup>20</sup> (OGIS 221). Мы не знаем, какие услуги оказал царю Аристоклид. Каждый случай, вероятно, был индивидуален.

Полибий рассказывает историю возникновения дружбы между македонскими царями из династии Антигонидов и семьей Неона из Беотии: однажды Антигон Досон, опекун царя (и будущий царь), потерпел кораблекрушение у берегов Беотии. Его корабли были выброшены на берег во время отлива. Там их застал командующий беотийской конницей Неон, возглавлявший военный отряд. Он пощадил беспомощных мореплавателей вопреки ожиданиям самих маке-

довья. По словам Полибия, Антигон проникся благодарностью к Неону, и впоследствии он и его преемник поддерживали семью Неона как своих друзей (XX, 5–6). Возможно, этот эпизод расцвечен в рассказе Полибия, но ему важно было подчеркнуть, что в основе этой дружбы лежал благородный поступок (хотя в реальности не исключен и политический расчет со стороны Неона).

Полибий упоминает еще об одной услуге друга другого царя. Некто Логобасис, гражданин малоазиатского города Селге, был другом Антиоха, царевича из дома Селевкидов (сначала соратника, а потом соперника своего брата). Логобасис воспитывал у себя дочь понтийского царя Митридата, которая, по мнению исследователей, была заложницей Антиоха<sup>21</sup>. Полибий подчеркивает, что к своей воспитаннице Логобасис относился как к дочери и "со всей нежностью заботился о ней". В дальнейшем описании Полибием поступков Логобасиса обращает на себя внимание контраст между фразеологией, характеризующей его отношение к девушке, и резким осуждением политической деятельности Логобасиса, который хотел передать свой город в руки полководца Ахея (за него он выдал замуж свою воспитанницу). Граждане Селге знали о родственной связи Логобасиса с Ахеем, однако доверяли согражданину, надеясь, что он поможет родному городу, но Логобасис предпочел изменить своему полису. Полибий называет его поступки "нечестием" (XX, 74–76). В этой истории, как она описана Полибием, можно проследить разрыв между нормами, определяющими отношения в частной жизни (преданность Антиоху и нежная забота об его заложнице) и в политической деятельности, где моральные принципы гражданина начинают нарушаться. И даже если на деле поведение Логобасиса в отношении девушки не вполне соответствовало словам Полибия, мне представляется важным, что для великого историка такой разрыв не казался неестественным.

Не всякая дружба, о которой упоминает Полибий, основывалась на преданности и благородстве; подбор друзей зависел от личности самого правителя. Так, рассказывая о беззакониях, творимых в Эпире римским ставленником Хароном, историк подчеркивает, что Харону помогали друзья, "порочнейшие и бесчестнейшие люди" (XXXII, 20). Среди них оказались и те, кто раньше считались честными, не совершавшими дурных поступков. При Хароне они стали принимать участие в злодеяниях; Полибий отказывается объяснить, почему они так поступали; он пишет, что они действовали "по какому-то неведомым причинам". Трансформация этих "честных" людей, которые подпали под влияние лиц, близких к Харону, составлявших круг их общения, показывает непрочность моральных устоев, выработанных в классический период.

Неформальные дружеские связи, направленные во благо или во зло, были особенно важны для правителей в период складывания их

держав на Востоке. Но постепенно, по мере укрепления царской власти, отношения царя и его ближайшего окружения формализуются: некоторые из друзей получают должности в аппарате управления, другие составляют круг придворных, среди которых наименование "друг" становится специально даруемым титулом. Среди "друзей" появляется иерархия: просто "друзья", "почтенные друзья" и выше всех – "первые друзья". По мнению Э. Бикермана, иерархия в окружении Селевкидов сложилась к концу III – началу II в. до н. э., когда эта титулатура начинает употребляться в эпиграфике. Превращение друзей в обладателей придворного чина (или титула, дарованного человеку вне двора) изменило отношение таких "друзей" к своим владыкам: преданность перестала быть основной добродетелью друга. В этом отношении характерен эпизод, описанный Титом Ливием: когда пергамский царь Евмен в окружении толпы друзей и телохранителей шел в Дельфах к храму, на него было совершено покушение. На царя сверху, с горы сбросили камни, и Евмен унал. Вместо того чтобы помочь ему, вся его свита, включая "друзей", разбежалась (с царем остался только один человек, выходец из Этолии, который как раз в свиту и не входил). Только когда стало ясно, что покушавшиеся на жизнь царя скрылись, "друзья" вернулись к лежащему без сознания Евмену (XII, 15–16). Таким образом, верность царю проявил только тот его спутник, который не входил в официальный круг (по замечанию Тита Ливия, Евмен с ним беседовал по дороге): неформальная связь оказалась важнее формальной.

Стал возможным и допустимым переход "друга" от одного правителя к другому: тот же Ливий упоминает некоего Александра, который сначала был "другом" македонского царя Филиппа II, а потом отправился к более богатому двору Антиоха III Селевкида, стал его "другом" и участником тайных советов (XXXV, 18). Правители не смущались предыдущими изменами и спокойно даровали титул "друга" нужному человеку, чья искренность и преданность была весьма сомнительна. В связи с этим кажется поучительной история взаимоотношений Ионатана Хасмоней с Селевкидами в период ожесточенной борьбы за сирийский престол во II в. до н. э. разных претендентов. Иудейские лидеры использовали эту борьбу, получая от них по очереди привилегии для себя и страны в рамках сохранения Иудеи (в известной степени, номинально) в составе царства Селевкидов. Вся эта история подробно описана в Библии в Первой книге Маккавеев и повторена у Иосифа Флавия.

Если отвлечься от политической тенденции обоих источников, то перед нами серия измен "друга", получавшего этот титул то от одного, то от другого соперника. Один из них – Александр Балас – обратился к Ионатану с письмом, в котором назначал его первосвященником, давал право называться "другом царя", а также послал ему пурпурное одеяние (что, видимо, было внешним признаком при-

надлежности к кругу "друзей"). Но затем Ионатан вступил в конфликт с Александром, а после поражения последнего перешел на сторону его противника Деметрия II, против которого перед этим выступал с оружием в руках. Деметрия это, впрочем, не смутило, и царь включил его в число "первых друзей". Однако Ионатан третий раз переменял ориентацию, поддержав еще одного претендента на престол Селевкидов – несовершеннолетнего Антиоха и его опекуна Трифона. Антиох тоже даровал ему титул "друга" с правом носить пурпурную одежду и пить из золотого кубка, вероятно, во время царских пиров (I Мак. 10:19–21, 11:27, 57–59). Разумеется, за всеми этими изменами стоял политический расчет, но они не мешали получать титул "друга" одному и тому же лицу от враждующих правителей: ни их, ни получателя это уже не смущало. Понятие "друг", применяемое в политической терминологии, полностью потеряло свое первоначальное значение; оно стало настолько формализованным, что "друзья" выделялись не степенью личной близости к царю, а внешними знаками отличия.

Если среди политической элиты эллинистического мира дружба перестала быть ценностью, то для остальных жителей этого мира, все более ощущавших отчуждение от государственных структур, межличностные отношения приобретали все большее значение. В этих отношениях можно наметить несколько ведущих тенденций, порой противоречивых. Как пишет немецкий исследователь Г. Шнейдер, *Menschbild* в период эллинизма была достаточна противоречива: в частности, она включала такие качества, как преклонение перед силой и почитание человеколюбия и благорасположения, индивидуализм и желание общения<sup>22</sup>. Одну из таких тенденций можно проследить по данным эпиграфики, которые позволяют говорить о широком распространении в эллинистических полисах многочисленных частных объединений, охватывавших людей из самых разных слоев общества. Особенностью таких, по преимуществу религиозных, союзов по сравнению с классическим периодом было изменение религиозного выбора: преобладали ассоциации почитателей восточных божеств Исиды, Сараписа, Анубиса, малоазийской Матери богов; союз ее почитателей во II в. до н. э. существовал даже в Афинах, традиционном центре эллипской культуры<sup>23</sup>. Вступление в подобные союзы для гражданина означало отчуждение от традиционных форм жизни и верований, он проявлял свою индивидуальность, сам выбирая божественного покровителя или покровителей и в то же время ощущая себя не одиноким в этом выборе.

Другой особенностью ассоциаций эллинистического времени была социальная неоднородность их членов. Если в классическую эпоху дружеские связи, как правило, объединяли людей одного общественного положения и не препятствовали участию в формальных полисных институтах, то в III–I вв. до н. э. сообщества могли

объединять выходцев из разных регионов (что неудивительно, если принять во внимание этническую пестроту населения городов, особенно вновь основанных на Востоке) и разного статуса. Так, в списке членов одного из *фиасов* города Кавша в Малой Азии упомянуты и граждане, и неграждане (при их именах даны названия местечек, откуда они происходили)<sup>24</sup>. В Книде была ассоциация, в члены которой, наряду с греками, входили финикийцы и ливийцы (SGDI 3510). В I в. до н. э. один философ из г. Филадельфии в Малой Азии создал союз почитателей Зевса и местной иностаси Матери богов, куда могли входить мужчины и женщины (один из немногих союзов того времени, где женщины были равноправны с мужчинами), как свободные, так и рабы<sup>25</sup>. На Делосе ямниги, выходцы из Палестины, поставили посвящение семитским божествам “за себя, братьев, родных и присоединяющихся граждан”. Интересно, что почитатели употребляют слово “братья”, видимо, обозначавшее всех членов религиозного союза; выражение “присоединяющиеся” Л. Робер трактует как “приходящие на совместную трапезу”<sup>26</sup>. Граждане не были формальными членами организации ямнитов, но их допускали на торжества, они были своего рода “сочувствующими” и, возможно, оказывали союзу какую-то помощь. Нельзя не обратить внимание на то, что на Делосе, центре культа Аполлона, граждане интересовались культурами чужих божеств и готовы были “присоединиться” к чужеземцам. Число примеров эллинистических союзов можно было бы умножить. Под их влиянием возникают и объединения женщин: до нас дошел фрагмент посвящения женской ассоциации (Александрия, I в. н. э.), руководители которой воздвигли на общие средства статуя(?) верховной жрицы (JTA, 4, p. 253f.).

Существенной чертой объединений эллинистическо-римского времени была их формализация: ассоциации принимали особые уставы, где определялись различные правила поведения их членов, взносы и расходы на религиозные церемонии, даже наказания за нарушение этих правил. До нас дошло достаточно много уставов таких союзов: это надписи, выбитые на камне, что, с одной стороны, подчеркивало прочность и неизменность союзов, а с другой — оповещало всех горожан о сущности того или иного союза. Так, в одном уставе из Греции союз устанавливает правила похорон своих членов, их ближайших родственников (отец, мать, сын — тем самым очерчивается круг малой семьи) или того, “кто близок *фиасу*” (οἰκεῖότατος τοῦ *φιάσου*), на похороны допускаются и друзья покойного. Термин “близкий” издатель надписи трактует как относящийся к сочувствующему человеку, но не формальному члену *фиаса*, или оказывающему денежную помощь<sup>27</sup>. Друзья в этом уставе как бы отделяются от *фиасотов*, они находятся за пределами религиозного союза. В других уставах оговаривалось не только, кто мог быть похоронен на средства союза, но и в каких гробницах: в надписи из малоазийского горо-



да Тлоса. относящейся уже к первым векам нашей эры, сказано, что в верхней гробнице могут быть захоронены люди, названные поименно, а также жена каждого из них, дети и по одному внуку: специально оговорено, что остальные родственники исключаются (показательно, что в этой надписи не указаны ни родители – возможно, их уже не было в живых, – ни братья и сестры, – связь с ними, как и с родственниками по боковой линии, была разорвана). Но в нижней гробнице можно похоронить вскормленников<sup>28</sup>, т. е. воспитанных в доме, которые могли быть и рабами, и свободными.

Союзы, как и в прежние времена, устраивали пиры и приносили жертвы; это тоже регламентировалось уставом или специальными решениями: в постановлении афинского союза оргеонов II в до н. э. упоминается человек, организующий жертвоприношения и пир, при этом указывалось, какие части животного идут на пир, а какие – на принесение жертвы<sup>29</sup>. Порой союзы выбирали в качестве названия “совместное пирование”, оставаясь религиозными: так, в македонских Филиппах в честь негреческого бога Сурегета был союз, называвшийся “симпосион”, причем у него было свое место на агоре, т. е. симпосиасты собирались достаточно публично<sup>30</sup>. В уставе уже упомянутого союза из Филадельфии были подробно оговорены нравственные запреты для его членов: они не должны были заниматься магией, применять различные зелья, способствующие прерыванию беременности, сожительство с замужними женщинами, в том числе и с замужними рабынями; женщины в свою очередь должны хранить верность и быть целомудренными. За нарушение этих требований полагалось наказание: публичное покаяние, исключение из союза. В некоторых союзах за нарушение правил (неявку или опоздание) полагались штрафы. В случае, когда в мужском религиозном союзе обряды должна была исполнять жрица, в уставе – как это было в упомянутом объединении почитателей Матери богов в Афинах – содержались предписания относительно ее действий и расходов<sup>31</sup>.

Создание уставов, выставленных на всеобщее обозрение, известная иерархия внутри союзов (в надписях упоминаются казначей, грамматевсы, архонты, симпосиархи, верховные мисты, причем именно должностные лица прежде всего удостаивались наград – публичной похвалы или увенчания), предписания, определяющие права, поощрения и наказания, говорят о достаточно жестких формах организации союзов, членов которых вряд ли можно назвать друзьями, скорее единоверцами: недаром в надписях они называются братьями, фиасотами или перечисляются по имени. Такая формализация кажется мне примечательной: в отличие от полисов классического времени, где люди были связаны множеством разных уз, знали друг друга по общим делам, большие города, основанные Александром и его преемниками, населяли выходцы из самых раз-

ных областей; не только этническая, но и социальная нестрота населения была весьма значительной, поскольку там жили граждане, различные группы переселенцев, в том числе из сельской местности, рабы. Трудно представить себе, что все "присоединяющиеся" граждане были друзьями ямнитов или рабы были друзьями свободных. Недаром в уставе одного из союзов почитателей Диониса II в. до н. э. запрещалось ссориться и ругать друг друга во время общих собраний под угрозой штрафа, причем это относилось и к мужчинам, и к женщинам, которые входили в этот союз, но на торжествах находились раздельно<sup>32</sup>. Выражения "друзья", "товарищи" (гетайры) в отдельных союзах стали применяться не к полноправным членам, а к сочувствующим или, может быть, к своеобразным кандидатам к вступлению в союз (последний термин употреблен в надписи почитателей бога Саббатия, в него входили полноправные члены – саббатисты и гетайры<sup>33</sup>). Товарищество в данном случае носило своеобразный "коллективный" характер.

Формализация отношений в союзах была вызвана потребностью создания новых связей, не совпадавших со связями в рамках государственного аппарата или полисов, поскольку реальная политическая активность, во всяком случае в большинстве из них, была практически невозможна и интерес к ней постепенно угасал<sup>34</sup>. В то же время религиозные союзы как бы обеспечивали поддержку более могущественных, чем традиционные эллинские боги, божеств и позволяли человеку идентифицировать себя в новых микрогруппах, тем более что совместные пиры, которые устраивались на общие средства, создавали видимость товарищеского общения и известного равенства; недаром Плутарх говорил, что когда каждый приходит со своей едой, товарищество кончается<sup>35</sup>.

Однако создание множества объединений (в эллинистический период даже эранисты стали не просто людьми, оказывающими помощь друзьям время от времени, а постоянно действующими союзами – койна) не исключало личных дружеских отношений вне формальных ассоциаций: распространение индивидуальных связей мне представляется другой тенденцией в межличностных отношениях эллинистическо-римского периода. С конца IV в. до н. э. в грекоязычной литературе и философии тема дружбы звучит все ярственнее, причем без свойственного порой предшествующей эпохе гомосексуального оттенка (там, где речь идет о дружбе между мужчинами). Интересны в этом отношении комедии Менандра, создававшиеся на рубеже IV–III вв. до н. э. В некоторых из них наряду с масками отца, влюбленного юноши, гетеры, молодой жены, раба появляется друг молодого героя, который принимает активное участие в интриге, помогая тем или иным способом влюбленному. В "Третейском суде" друг отказывается от притязаний на гетеру, которую считает возлюбленной товарища, чтобы остаться тому "надежным другом"

(ст. 983–984). В комедии, фрагменты которой сохранились на Каирском папирусе, друг помогает влюбленному обмануть отца.

В других комедиях важным сюжетным ходом становится мнимая измена друга, которую герой переживает не меньше, чем измену возлюбленной. Так, в тексте, дошедшем на так называемом Горанском папирусе, юноша, думающий, что друг обманул его, горестно восклицает: "... Как я ошибся в жизни! Разве в мире есть прекрасней благо, чем друзья надежные?... кто-то другом мне считается напрасно. Так зачем мне жить?"<sup>36</sup> Здесь ясно видна риторика, связанная не столько с реальной дружбой, сколько с идеальной как одной из основных ценностей. Но как всякий риторический оборот, он был призван воздействовать на слушателей, следовательно, исходил из их представлений о дружбе. Интересно, что в отрывке этой комедии встречается одно из самых ранних упоминаний того, что можно называть совестью: герой говорит, что он удивляется людям двуличным, которым "знание за собой" (имеется в виду знание дурных побуждений) не мешает продолжать совершать дурные поступки: употребление этого выражения подразумевает определенный уровень рефлексии; герой полагает, что друг, осознавая измену, тем не менее продолжает называть себя его другом. В "Двойном обмане" в основе интриги лежит сходство имен двух сестер; это дает основание заподозрить, что друг, вызвавшийся помочь влюбленному в одну сестру, на самом деле обманул его. При этом герой, обвиняя друга, еще больше обвиняет возлюбленную: "В гневе я... его виновником не назову – она из наглых наглая, всему виной" (ст. 100–103) – в данном случае выступает стремление оправдать друга (что было также, вероятно, понятно зрителям). Конечно, в комедиях Менандра все конфликты разрешаются благополучно, и друзья, как и влюбленные, обретают друг друга. Маски комедии достаточно условны, но, как пишет исследователь творчества Менандра В.Н. Ярхо, "между похожестью и непохожестью на жизнь, реальностью предпосылок для нравственного конфликта и иллюзорностью его разрешения движется комедия Менандра..."<sup>37</sup> Зрители хотели видеть верную дружбу, как и любовь. Среди зрителей были люди самых разных социальных слоев и национальностей: комедии Менандра ставились по всему Средиземноморью, они были близки жителям городов всего эллинистического мира.

По комедиям Менандра мы не можем судить о времяпрепровождении друзей в том кругу, в котором действуют его герои. В основном это молодые люди, живущие за счет своих отцов. Помимо самых близких друзей, которые и фигурируют в комедиях, в них как фон между прочим упоминаются друзья, среди которых за трапезой ищет утешения герой. Никаких подробностей не приводится: для зрителей все это казалось естественным; можно думать о существовании некоего круга товарищей, среди которых были и те (двое в комедиях), кого связывали более тесные узы.

*Подруги, играющие в кости  
Терракота.  
Около 300 г до н. э*



Тема индивидуальной дружбы прослеживается и в эллинистической поэзии. Для интеллектуальной элиты того времени неформальные связи были особенно важны, ибо среди представителей этого слоя отчуждение от polisных структур было особенно выражено. Поэты, философы, художники переезжали с места на место. Подавляющее большинство тех, кто жил и творил в александрийском Мусейоне, были переселенцами (да и не все там удерживались). То, что эти люди видели при дворах царей, которых они порой воспевали, не могло не вызывать у них потребность найти другие ценности – истинных, а не титулованных друзей. Распространяются жанры элегий и эпитафий, посвященных друзьям, разрабатывается риторика дружбы и скорби (если речь идет о друзьях покойных). Использовать эллинистическую поэзию для изучения реальной жизни и реальных отношений чрезвычайно сложно: поэты стремились ориентироваться на традицию, использовать сложившиеся ранее жанры и образы, они как бы считали себя хранителями этой – уходящей – традиции; недаром в элегиях и эпитафиях так часто фигурируют

давно умершие поэты и политические деятели. Поэтому в художественных произведениях истинные чувства скрыты за принятыми формулами, авторы как бы не решались адекватно выразить свои чувства. Но при этом создатели поэтических творений были людьми своего времени; пытаясь сохранить форму, следовать образцам, они вольно или невольно отбирали тот круг сюжетов и риторических оборотов, которые были близки им и их читателям. Как пишет Н.А. Чистякова: "Всемерно настаивая на преемственности традиций, отовсюду собирая и сберегая памятники духовной культуры прошлого, эллинизм в действительности разрушал содержание своего наследия. Поэты создавали свои произведения на руинах былых жанров"<sup>38</sup>.

Практически почти исчезли поэтические произведения, имевшие общественное звучание; именно любовные элегии, эпитафии, эпиграммы стали основным жанром, часто переплетаясь друг с другом. У наиболее крупных поэтов сквозь риторические штампы пробиваются реальные чувства и отголоски реальных событий. Таким поэтом был Каллимах, уроженец Кирены, живший в III в. до н. э. в Александрии. Им были созданы элегии, посвященные друзьям. Хотя в них встречаются типичные риторические обороты, прикрывающие индивидуальные переживания (например, что горе можно "уменьшить на треть – станет полегче оно, если им поделиться с другом"<sup>39</sup>), в стихах, посвященных конкретным людям, можно найти отзвуки реальных отношений. Такова одна из его элегий, выражающая скорбь об умершем друге:

Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит, и заставил  
Тем меня слезы пролить. Вспомнилось мне, как с тобой  
Часто в беседе мы солнца закат провожали. Теперь же  
Прахом ты стал уж давно, галакарнасский мой друг!  
Но еще живы твои соловьиные песни; жестокий  
Все уносящий Анд рок не наложит на них<sup>40</sup>.

Перед нами типичная эпитафия поэту, созданная другим поэтом: восхваление стихов, выражение скорби риторичны, но в то же время в ней можно найти и намеки на реальную ситуацию. Каллимах называет Гераклита другом, но они давно не виделись и не поддерживали регулярной связи; автор узнал о его смерти от случайного человека, что неудивительно: малоазийский Галакарнас достаточно далеко отстоит от Александрии Египетской. Но некогда они были знакомы: вероятно, Гераклит, как многие другие поэты, посещал Александрию – культурный центр эллинистического мира, но затем вернулся в Галакарнас. Характерно, что Каллимах прежде всего вспоминает беседы – ключевое слово для риторики дружбы, в которой для людей круга Каллимаха ценилось прежде всего интеллектуальное общение. Итак, выходцы из разных городов были связаны любовью к поэзии и творчеством, и эту связь Каллимах называет

дружбой. Дружба эта не была формализована; расставшись, они, видимо, мало общались. Подобных встреч и расставаний в эллинистическом мире было, вероятно, немало: переселения были типичным явлением, родственные связи прерывались, в то же время потребность общения на чужбине была достаточно сильной. В одной эпитафии Леонида Тарентского, который был изгнанником после взятия римлянами его родного города, говорится о некоем Евсфенсе, ученом и слагателе гимнов, которого друзья с честью погребли на чужбине, "хоть и безродным (т. е. не имеющим родных) он был"<sup>41</sup>. Возможно, среди этих друзей был и Леонид; принадлежность к другому городу или другой стране не мешала индивидуальной дружбе.

Друзья, вернее, подруги в эллинистический период упоминаются и в стихах женщин, которые восприняли основные жанры поэзии своего времени (начиная со второй половины IV в. до н. э. женская поэзия становится все более заметной). Поэтессы создавали эпитафии женщинам: так, знаменитая, рано умершая поэтесса Эрина создала две эпитафии некоей Бавкиде, в одной из них назвала себя ее подругой<sup>42</sup>. Что это не были пустые слова, показывают фрагментарно сохранившиеся стихи Эрины, где она вспоминает детскую дружбу, куклы в их спальнях, горюет о разлуке, вызванной сначала предстоящим замужеством Бавкиды, а потом ее смертью (GLP 3, 120). Во фрагменте упоминается мать Бавкиды в неясном контексте; возможно, девочки были родственницами, но не сестрами, или соседками. Эти стихи, как и эпитафии, связаны не с риторической, а с реальной индивидуальной дружбой двух девушек.

До нас дошли и другие эпитафии, написанные поэтессами в связи со смертью женщины, например приведенные в Палатинской антологии стихи Аниты (III в. до н. э.), но в них нет указаний на личные отношения между покойной и автором стихов (AP, VII, 486, 489, 649). Возможно, личные отношения связывали поэтессу Нессиду (тоже III в. до н. э.) с гетерой Полиархидой: она упоминается в небольшой эпиграмме, где говорится, что Полиархида посвятила храму Афродиты статую богини, сделанную из золота на средства, которые гетера заработала своим прекрасным телом (AP, VI, 332). Еще одна ее эпиграмма говорит о Калло, которая посвятила Афродите свое изображение, сделанное ею самой; Нессиде восхищается ее красотой и приветствует ее (AP IX, 605). В данном случае мы можем предположить дружбу между поэтессой и художницей: женщины, занимавшиеся творчеством, должны были тянуться друг к другу.

В подавляющем большинстве стихов, и мужских, и женских, согласно требованиям формы, друзья и дружба предстают в идеализованном виде, хотя это не означает, что авторов и их персонажей не связывали теплые отношения. Но порой за образами благородной дружбы проглядывают конфликты, смутно напоминающие отношения в комедиях Менандра. У того же Каллимаха есть элегия "Друзь-

ям", в которой поэт, используя традиционные образы Ореста и Пилада, говорит, что первый не подвергал испытаниям дружбу Пилада, автор же "сделал такое", и добавляет: "И у меня уже нет многих Пиладов моих"<sup>43</sup>. Что это было за испытание и было ли оно вообще в биографии Каллимаха, мы не знаем, но за этой элегией, за противопоставлением идеальной дружбы Ореста и Пилада отношениям автора с друзьями стоят реальные сложности межличностных отношений, тем более что людей искусства соединяло творчество, но разъединяло соперничество (косвенно отраженное в элегии Каллимаха "Состязание поэтов", где он противопоставляет даровитого поэта, одержавшего победу, бездарным).

Основной темой эллинистической лирики была любовь, главным образом к гетерам; встречаются, в соответствии с традицией, стихи, посвященные мальчикам, но они лишены того морального оттенка, который был выражен в прославлении мужской дружбы-любви классического времени. По форме и образам стихи эти мало отличаются от посвященных гетерам, а зачастую написаны теми же поэтами (Посидипп, намеренно следовавший афинским образцам, Риан, Асклепиад); в откровенно эротических стихах, посвященных мальчикам, встречается больше непристойностей, чем в стихах, обращенных к гетерам, например у Риана, Стратона<sup>44</sup>. Встречается и ироническое описание страсти к юношам: у Асклепиада есть элегия, в которой лирический герой мокнет под дождем у запертой двери мальчика, в которого влюблен<sup>45</sup>. В то же время мы имеем и пример прямого осуждения однополрой любви у Каллимаха: в одном из сохранившихся фрагментов сказано в форме правоучительного предостережения: "Если же вы, кто бросит на мальчика взор похотливый... станете следовать страсти, узнайте: среди добропорядочных граждан живете..."<sup>46</sup>. Характерно, что эти слова исходят от представителя интеллектуальной элиты, признанного лидера александрийской поэтической школы. Гомосексуализм перестал быть элементом ритуальной мужской дружбы, поскольку аристократия, в среде которой этот ритуал зародился, оказалась размыта и разобщена. Новые люди были в управлении, выходы из разных народов создавали новые культурные ценности, гедерастия продолжала существовать, но она перестала быть культуuroобразующим фактором, потеряла свое декларированное воспитательное значение.

Вероятно, продолжало существовать и лесбиянство, хотя прямых тому свидетельств нет: женская поэзия эллинистического времени совсем не затрагивает эти темы (вообще, как это ни странно на первый взгляд, собственно любовных стихов у женщин очень немного; помимо эпитафий, в их стихах встречаются мотивы любования природой, прославление героических подвигов, как у поэтессы Аниты). У Лукиана в "Разговорах гетер" есть один диалог – Клеонарии и Лены, в котором последняя рассказывает, как ее соблазнила бога-

тая лесбиянка. Но при этом Лээна говорит, что ей стыдно рассказывать: "ведь это так странно". Лукиан обычно использовал имена знаменитых гетер более раннего времени (например, Таис, спутницы Птолемея, будущего царя Египта, Гликеры – возлюбленной Менандра) и какие-то предания о них, хотя многое исходило от него самого. Поэтому мы можем говорить только, что в представлении сатирика среди гетер существовали лесбиянки, хотя это не было распространено.

Женскую дружбу глазами мужчин можно увидеть в комических сценках-мимах. У Феокрита есть идилия, по существу являющаяся мимом, "Сиракузянки", в которой действуют две подруги, живущие в Александрии, отправившиеся вместе на праздник. Это болтушки, обсуждающие наряды, мужей, восхищающиеся роскошью дворца, куда их пустили во время праздника. Для нашей темы существенно не проничное изображение женщины, а те мелкие детали, тот фон, на котором происходит действие. Женщины связывали бытовые интересы, они с удовольствием общаются без мужей. Интересно, что они обе происходят из Сиракуз (и гордятся этим): вероятно, для Феокрита и его читателей было естественным, что они подружились в многолюдной столице, поскольку происходили из одного города, говорили с сицилийским (дорическим) акцентом, над которым другие греки потешались. Дружеские связи между переселенцами были, видимо, распространены и между женщинами, и между мужчинами: мужчины создавали религиозные союзы-землячества (как ямниты на Делосе), а женщины поддерживали отношения друг с другом на бытовом уровне. В миме Герода, посвященном обсуждению достоинств сделанного знаменитым сапожником искусственного пениса, также участвуют две женщины: одна из них приходит к подруге узнать имя сапожника, чтобы заказать такой же. Из диалога выясняется, что об этом женщина узнала от третьей, причем имя мастера держалось в секрете: гипичные – с точки зрения мужчин – женские интересы и женское соревнование. Герод в разговор вводит имя знаменитой поэтессы Нессиды, которая также оказывается втянутой в историю с пенисом – она получила его в подарок, но не должна была говорить, кто его сделал. Заодно автор показывает и недружелюбные отношения между женщинами: хозяйка дома говорит, что она ни за что ничего не подарила бы Нессиде, а та, которая сделала подарок, больше не будет ее подругой. Специально запутанные отношения, которые сразу и не усвоишь, призваны снизить образы женщин, в том числе и Нессиды, чьи интересы не идут дальше низменных переживаний. В этом миме ясно видно раздражение Герода, рассчитанное на зрителей-мужчин, тем, что женщины свободно общаются друг с другом, обсуждая свои интимные дела. Если бы мы не знали стихов Нессиды, то мы могли бы считать ее случайным персонажем, непонятно почему вызвавшей неприязнь героини мима (может быть,



здесь скрытый намек на зависть?). Но само стремление высмеять дружбу женщин и унижить их говорит о том, что дружба эта была достаточно заметна.

Если судить по элегиям, то в гости, как правило, на трапезу, друзья ходили небольшими группами на протяжении всего эллинистического времени. У Посидиппа есть элегия "Приготовление к пиру", в которой автор посылает слугу за вином, так как к нему придут четверо, "и у каждого будет подружка", а Филодем, живший в I в. до н. э., описывает обед в складчину небогатых людей: в элегии упомянуто пять имен; обед скромен: овощи, лук, свишина, требуха, рыба. При этой скромности упомянуты венки (вероятно, для пирующих): т. е. какие-то элементы традиционного ритуала использовались и при подобных скромных встречах, хотя не исключено, что описание носит иронический характер: издевка над низами, которые пытаются подражать настоящим пирам<sup>47</sup>. В любом случае дружеские застолья были свойственны не только союзам, но и неформальным товарищам.

Проблема дружбы присутствовала не только в художественной литературе, но и в эллинистической философии, которая провозгласила ее важнейшей ценностью человеческой жизни. Согласно учению стоиков, разработавших тему долга, мудрец должен быть готов отдать жизнь за родину и друзей, даже если подвергнется жестоким испытаниям. У стоиков важную роль играло понятие койнонии – объединения с себе подобными людьми, ибо истинная дружба доступна только мудрецам (Diog. Laert. VII, 107 etc.). Не менее важное место занимала дружба в этике Эпикура. По его словам, "дружба танцует по миру", призывая к прославлению счастливой жизни, главным условием которой и является (Sent. Vatic. 52). Правда, Эпикур считал, что дружба доступна только мудрецам, а не людям толпы, которые отягощены предрассудками, суетными желаниями и т. п. В так называемом Саду Эпикура, отделенные от остального мира, жили его последователи: он действительно сумел создать сплоченную группу единомышленников. Как отмечает Хабиخت, известен только один случай ухода от Эпикура ученика, в то время как слушатели других философов свободно переходили от одного к другому<sup>48</sup>. Некоторые исследователи объясняют это авторитарным влиянием Эпикура, но с моей точки зрения, главным было то, что Эпикур наиболее четко противопоставил индивида (мудреца) обществу. Он полагал, что такой индивид должен сторониться политики и жить "незаметно". Тот, кто имел возможность и средства жить вне общества, находил свой идеал в Саду Эпикура.

В эллинистический период вырабатывались нормы индивидуального дружеского общения, в частности утверждался идеал бескорыстной дружбы. Система взаимных подарков уже не была общепринятой (в отличие от подарков и пожалований царей своим "друзьям"). Так, Полибий, сопоставляя межгосударственные отношения

с отношениями между друзьями, осуждал родосцев за то, что они приняли богатые дары от пергамского царя, он писал "Быть может, частным лицам, когда они попадают в несчастные обстоятельства, и дозволительно принимать деньги от друзей, дабы по скудности средств не оставлять детей без пропитания, но богатый человек скорее будет готов на все, лишь бы не заимствоваться от друзей деньгами на жалование наставникам (детей)". То же ударство, по мнению Полибия, должно держать себя с большей гордостью, чем частные лица (XXI, 25,2). Итак, с точки зрения историка, бедный может принимать помощь от богатого друга в экстремальных обстоятельствах, но богатый так поступать не должен, сохраняя чувство собственного достоинства. Появление подобных критериев дружбы свидетельствует о дальнейшей индивидуализации нравственных подходов в античном мире.

Наиболее ярким и известным примером дружбы между выдающимися людьми эллинистического времени является дружба самого Полибия и семейства победителя Македонии – Эмилия Павла и прежде всего Сципиона Эмилиана. Полибий сам о ней рассказывает (XXXII, 9–10). В 167 г. до н. э. он попал в Италию в качестве заложника в числе многих сотен других жителей Греции. Заложники должны были расселяться по разным городам, но Полибия благодаря ходатайству семьи Эмилия Павла оставили в Риме, где он особенно стал близок с этой семьей как друг и учитель Сципиона Эмилиана. По словам Полибия, его общение с Эмилием Павлом началось еще во времена Балканской кампании, когда Полибий передал римлянину несколько книг и вел с ним беседы об этих книгах. Таким рассказом историк подчеркивает исключительно интеллектуальный характер их отношений. В Риме беседы продолжались и с другими членами семьи – за столом, как мельком упоминает Полибий (вполне в духе античных традиций). Молодой Эмилиан попросил историка стать его наставником, и "дружба с ним (т. е. с Полибием) стала для Сципиона дороже всего"<sup>49</sup>. Дружба эта показательна тем, что для элиты эллинистического мира (а Сципион Эмилиан принадлежал к поклонникам греческой культуры) разница в происхождении не играла роли. Правда, эта дружба не исчерпывалась беседами: Полибий выполнял ряд политических поручений, связанных с внешнеиталийскими интересами Сципионов; римляне, как некогда полководцы Александра, использовали личные связи для воздействия на население покоренных областей.

В обыденной жизни, если судить по скудным свидетельствам эллинистического времени, друзьям оказывали различные услуги, в том числе протектировали им и их родным: так, в одном письме, происходящем из птолемеевского Египта, царский служащий Дионисий обещает покровительство другу и его брату "ради благородства", проявленного первым (Sel. Pap. 98).

В восточных провинциях периода империи в межличностных отношениях проявлялись те же тенденции: создание частных объединений на самых разных основаниях и сохранение индивидуальной дружбы вне каких-либо ассоциаций. Особенностью последних стало появление наряду с традиционными религиозными союзами ассоциаций, в которых религиозный аспект отходит на задний план. Под влиянием римлян в греческих городах (больше всего свидетельств относится к Малой Азии) появляются коллегии ремесленников объединявшихся по профессиям: гончары, изготовители плащей, медники, пекари, кожевники и т. п.<sup>50</sup> Некоторые коллегии объединяли не всех, занимающихся данным ремеслом, а только живущих на определенной улице или торгующих в определенном месте – например “живущих на улице кожевников” в Апамее или мелких лавочников из Сервиллиевой Стои (портика) в Эфесе<sup>51</sup>. В нашем распоряжении нет никаких сведений, что эти объединения хоть как-то регулировали производство. Основное внимание они обращали на организацию своего времяпрепровождения: они могли участвовать в семейных праздниках с воих членов; Плиний Младший, будучи в Вифинии, с опаской спрашивал императора Траяна, как ему относиться к приглашениям большого числа людей на свадьбы и по случаю совершеннолетия. Траян отвечал ему, что опасно, когда собирают не просто знакомых, а целые корпорации (Ер. X, 116).

Правительство, как мы видим, неодобрительно относилось к неподконтрольным сборищам, особенно если связи между их участниками были корпоративными, однако город эти связи признавал. Ремесленники вместе посещали театр; во всяком случае в некоторых полисах за каждой корпорацией были закреплены определенные места: в эфесском театре свои места были у транедзитов, изготовителей полотенец, канабариев – мелких лавочников и других (не все названия сохранились – см.: *Inscr. v. Ephes.* 454). Ремесленные коллегии при отсутствии семьи у своих товарищей хоронили их за общественный счет: в надписи из Фессалоник сказано, что союз красильщиков в пурпур поставил стелу в память Мениппа, сына Амия и Севера тиатрийца<sup>52</sup>. Тиатры – город в Малой Азии; Север был переселенцем, что не мешало стать членом коллегии.

Потребность в общении в рамках микрогрупп людей, живших в огромной империи, постоянно размывающей все общности и традиции, была такова, что создавались объединения, членов которых связывало только соседство. В Пергаме существовали объединения “живущие в акрополе” (*Inscr. v. Pergamon*, 280), “живущие на улице Паснарейтон” (IGR, IV, 425; надпись поставлена в честь представителя римской администрации). Наконец, в период империи появились союзы, провозглашавшие своей целью не религиозное служение или взаимопомощь, а веселое времяпрепровождение: к такому союзу Л. Роберт относит объединение *εὐπαιρέσιον*, т. е. людей, радостно

Совместное посвящение  
 двух женщин гладиаторов  
 Стела  
 в честь и освобождения от рабства (?)  
 двух женщин-гладиаторов.  
 Рельеф. Мрамор.



проводящих свои дни. Объединение было невелико – упомянуто десять имен. Надпись представляет собой краткое постановление сельского поселения – катекнии – в честь этого объединения (возможно, в благодарность за какие-то услуги или взносы)<sup>53</sup>, видимо, эти люди жили за пределами города.

В чем заключалось веселье этих и им подобных людей? (Робер относит к объединению “веселящихся” и евтерапиев – *εὐθεραπίοι*, имевших свое место для собраний на агоре Милета.) Как веселились эти люди, сказать трудно, во всяком случае вряд ли их собрания имели какой-либо религиозный аспект. Интересен термин, обозначающий первое объединение – совместное проживание (*συνβίωσις*). Этот термин в надписях в таком контексте появляется только в римское время; неясно, действительно ли его члены жили вместе (может быть, рядом?). Но существенно то, что создатели таких союзов отказались от традиционных названий: *φιας*, применявшийся к объединениям религиозным, или *койнон* – общее название любого союза;

они как бы противопоставили себя традиции, их "совместное проживание" – подлинное или мнимое – выводило их из привычных структур, не только общественно-политических, но и житейских. Большое разнообразие объединений – ремесленные коллегии; открытые и тайные почитатели негреческих богов; живущие по соседству; просто веселящиеся и живущие вместе – свидетельствует о разрушении традиционных межличностных связей и об отчаянных попытках жителей империи идентифицировать себя хоть в какой-нибудь микрогруппе.

Наряду с общением внутри различных ассоциаций существенную роль продолжали играть индивидуальные дружеские связи. В этом отношении интересны слова апостола Павла в Первом послании к коринфянам: он советует, как должен вести себя христианин, если неверующий пригласит его в гости: не следует спрашивать о происхождении пищи, которой будут угощать (т. е. не идоложертвенная ли она – 10:27–28). В данном случае для нас существенна возможность домашнего общения между христианином и язычником, основанная, видимо, на каких-то внерелигиозных связях. Павел говорит о хождении в гости женщин, в частности молодых вдов, которые, "будучи праздны", ходят по домам (т. е. в гости) и болтают (I Тимоф. 5:11–13) – судя по контексту, вдовы ходили без сопровождающих.

Несколько друзей, не связанных формальными узами, могли иметь общую собственность – среди надписей Эфеса, фиксирующих собственников разных городских участков, есть надпись, в которой приведены три имени и прибавлено слово – друзья (φίλοι – *Inschr. v. Ephesos*, 545). В данном случае эти люди не просто объявляли себя совладельцами, но фиксировали свои дружеские связи. Если у человека не было рядом близких родственников, то после его смерти его мог похоронить друг, как это сделал некий Евтроп, поставивший надгробие своему другу, прожившему всего 30 лет (МАМА, VI, 17 – надпись из района Фригии). Вероятно, молодой человек был переселенцем. Надгробием, поставленным другу, можно считать и стелу из города Афродисия: на ней нет упоминания, традиционного для этого района, родственных связей, но есть указания на профессии – того, кто ставит надгробие, – скульптор, и того, кто похоронен, – торговец благовониями (*Ibid.*, VIII, 574). Несовпадение занятий позволяет предположить, что этих двух людей связывали дружеские отношения. В некоторых малоазийских надгробиях, установленных при жизни и фиксирующих место для склепа, дана нетрадиционная формулировка – в гробнице будут захоронены, кроме ее владельца, того, кого он пожелает (или укажет в завещании): человек, употребивший эту формулу, в отличие от обычного перечисления родных – жены, детей, братьев, – или совсем не имел родных, или не желал после смерти лежать рядом с ними. Можно предположить, что среди тех, "кого он пожелает", могли оказаться его друзья<sup>54</sup>.

Уникальным выражением личной дружеской привязанности является стела, поставленная в вифинском городе Никее неким Гаем Архелаем (сочетание римского и греческого имени часто встречается во II в. до н. э.) другу (имя не сохранилось), занимавшему ряд должностей в римской администрации: он был последовательно прокуратором в нескольких провинциях (но не в Малой Азии), а также прокуратором фиска в Александрии Египетской. Грамматическая конструкция надписи говорит за то, что надпись – почетная. Почетные надписи обычно ставили коллективы: полисы, сельские поселения, иногда – ассоциации. Здесь же один человек решил поставить стелу в честь своего друга: это слово упомянуто в надписи после перечисления всех его должностей, оно как бы подчеркивает частный характер оказываемой почести. Поскольку друг Архелая не служил в Вифинии, а последняя упомянутая должность была в далекой Александрии, мне представляется, что корыстные или карьерные соображения исключались. Возможно, Архелай и его друг когда-то служили вместе и подружились (IGR, III, 41); каков был конкретный повод для постановки стелы, мы, к сожалению, не знаем.

Еще одна уникальная надпись из Галикарнаса позволяет предположить о дружбе двух представительниц такой сравнительно редкой для женщин профессии, как гладиаторы<sup>55</sup>. Надпись сделана на посвяtitельном рельефе, изображающем двух женщин в одинаковом гладиаторском одеянии; она гласит: “Амадзон и Ахиллия освобождены”; можно думать, что это две женщины-рабыни, которые вместе получили свободу и вместе поставили вотивный рельеф. Сражались ли они друг с другом – мы не знаем, на высоком рельефе они стоят друг против друга в боевых позах, но это мог быть всего лишь художественный прием, подчеркивающий их занятие. В любом случае их поведение на арене не помешало им объединить свои имена и средства (а рельеф выполнен достаточно профессионально и стоил недешево).

Развитие межличностных отношений выразилось и в увеличении в период империи числа частных писем, дошедших, к сожалению, в основном только из Египта<sup>56</sup>. Эти письма посвящены хозяйственным делам, семейным конфликтам и наставлениям, жалобам на должностных лиц и т. п. Среди писем можно выделить группу, связанную с межличностными отношениями вне семейного круга. Из одного письма Флавия Геркулана своей вольноотпущеннице явствует, что дружеские отношения могли существовать между людьми разных статусов: автор письма благодарит женщину за письмо, но выражает свое огорчение по поводу того, что ни она, ни ее муж не пришли на день рождения сына Флавия Геркулана. Видимо, он был обижен таким пренебрежением: он со скрытым упреком пишет, что из-за более важных дел “ты пренебрегла нами”, но при этом добавляет, что радуется ее счастью (Pap. Oxy. 1676). В письме можно найти

риторические штампы (в частности, выражающие радость по поводу ее благополучия), но в целом письмо производит впечатление искреннего.

Друзья в Египте времени империи принимали участие (или должны были принимать) в семейных торжествах, в другом письме супружеская чета просит прощения, что не смогла прийти на свадьбу из-за болезни (Ibid., 3133). На эту свадьбу муж с женой послали цветы — традиционные розы и нарциссы. Из еще одного письма выясняется, что мать жениха захотела одарить им деньги и за эти цветы, но друзья обиделись, полагая, что их считают скудными — щедрость со стороны друзей входила в набор добродетелей (Ibid., 3313). Друзья могли оставлять друг другу свое имущество по завещанию, как это сделал некий Лициний: об этом мы узнаем из письма с соболезнованием, посланным наследнику (Pap. Bon. 5, III). В письмах друзей принадлежавших интеллектуальной элите, можно прочесть пространнее рассуждения, касающиеся нравственных норм. Например, Стратону пишет его друг Акила, призывающий первого следовать добродетелям, невзирая на молодость и богатство (Pap. Oxy. 3069). Как и во времена Птолемеев, друзьям оказывали протекцию: так, у некоего Гариократиона, по словам его брата, есть письма (через друзей) от нескольких "больших людей" (Pap. XV Congr. 22). Друзья порой поступали благороднее, чем родственники: некто Мелас упрекает братьев своего покойного друга (чье тело он, заплатив деньги, доставил им) в том, что те оставили тело без ухода, т. е., видимо, не захоронили его должным образом (Pap. Lond. I, 77).

Но не все воспринимали дружбу как ценность: в одном из писем автор упрекает адресата, что тот, гордясь своим богатством, презирает друзей (Sel. Pap. 147). В некоторых письмах отражаются конфликты между друзьями и попытки выяснить отношения. Так, автор одного письма со слов третьего лица (сильнее существовали и в древности!) указал, что друг упрекает его в нерадивости в отношении порученных дел: автор с горечью пишет, что он не оправдывается (Pap. Amn. 35). Были и случаи прямого предательства Диоген, уехав по делам, пишет жене о том, что какой-то Антоний (вероятно, хорошо знакомый адресату, поскольку автор упоминает только его имя) уговорил служащего Диогена обокрасть его и бежать, бросив хозяина "на чужой стороне" (SB 9534).

По-видимому, достаточно тесные отношения могли существовать между солдатскими семьями: в одном из писем жена воина просит сообщить товарищу о нехорошем поведении его дочери, которая завела себе любовника (женщины не только дружили, но, как видно, и доносили друг на друга — Grenfell Pap. I, 53). О дружбе между женами военных (им было разрешено сопровождать командиров к месту службы) у нас есть только свидетельство из западных провинций, но, поскольку в легионах служили выходцы из разных стран и

легионы дислоцировались в различных местах и позволил себе привести письмо-приглашение, происходящее из Британии II в н.э. оно адресовано одной дамой – Клавдией Северой своей подруге Лепедине, которую она также называет сестрой. Клавдия приглашает ее на свой день рождения, просит передать приветствие ее мужу (интересно, что муж приглашения не получает – вероятно этот праздник отмечался только в женском кругу). Письмо написано под диктовку, но в конце нежная приписка, по всей видимости – рукой автора (возможно, как знак особой почтительности), где опять Лепедина названа сестрой, которую Клавдия будет звать, а также дражайшей (Tab. Vindol. 85/87).

Частные письма, дошедшие до нас, раскрывают при определенной риторичности стиля отношения вне семьи со своими радостями и обидами, эти отношения не формализованы; в письмах нет сведений о ритуале, скорее о некоторых нормах общения, таких, как участие в семейных торжествах, преподнесение особых цветов, выражение соболезнования и т.п. Характерно, что в письмах мы не ощущаем различия в общении женщин и мужчин: приглашения друзьям, в частности, могли исходить и от тех, и от других. Большинство приведенных писем отражает отношения между семьями и отдельными лицами в основных – средних – слоях населения провинций и прежде всего Египта. Но это не значит, что в римском Египте не было союзов почитателей самых различных божеств, объединенных в городах вокруг гимназиев; достаточно вспомнить о многочисленных христианских гвинуах<sup>57</sup>; но до поры до времени, пока христианство не создало новые достаточно прочные общности, жизнь людей в семейно-дружеском кругу и жизнь тех, кого связывали верования и ритуал, шла как бы на разных уровнях.

Наживание гражданско-полисной общности в эллинистическом мире, а затем в рамках Римской империи (а в Египте, по существу, эта общность и не сложилась за пределами Александрии) привело к сложным процессам индивидуализации межличностных отношений, с одной стороны, и к поискам новых более прочных связей – с другой.

К сожалению, до нас дошло очень мало частной переписки, но о важности ее в жизни людей поздней античности свидетельствует существование особого литературного жанра вымышленных писем. Этот жанр восходит к эллинистическому периоду, когда письма писались от имени известных деятелей прошлого, но в период империи появляются собрания писем, написанных от имени частных лиц. Наиболее известен из авторов подобных сборников Алкифрон, который создал письма гетер, рыбаков, паразитов, крестьян. Письма эти наполнены традиционными риторическими оборотами и риторически-нравоучительными сюжетами, но в ряде писем картина, там созданная, по словам Г.С. Клябе, «обрастает художественной плотью из подлинного быта и подлинных чувств»<sup>58</sup>. Среди этих чувств упоми-



нается дружба; в одном из писем содержится просьба рыбака к другу о помощи (что, вероятно, считалось нормой). Интерес к подобным письмовникам отражал потребность в индивидуальном общении и его образцах, что и проявлялось в реальных письмах, дошедших на папирусах.

Итак, подводя итог, можно отметить, что специфической особенностью дружеских связей в эллинистическом мире был их преимущественно коллективный характер: частные религиозные объединения философские школы, политические полулегальные союзы типа гетерий, молодежные неформальные группировки составляли основу и публичной, и частной жизни, провели грани между которыми не всегда возможно. Главной формой общения людей, входивших в самые разные группы, были трапеза, пир, застолье, восходящее к архаическому времени. Недаром в книге, посвященной античной цивилизации, ассоциации, клубы, обеды объединены в один раздел.<sup>59</sup> Верность друзьям, связанным коллективными узами, считалась в античном мире одной из важнейших ценностей, как показывает история с Андокидом, которого общественное мнение осуждало именно за предательство товарищей по гетерии.

Для архаического и классического периодов в среде аристократии и интеллектуальной элиты характерны гомосексуальные отношения, связывавшие юношей и мужчин старшего возраста, которые рассматривались как особый, высший тип дружбы-любви со своим ритуалом.

В эллинистический период особой формой дружбы были личные отношения между полководцами Александра, боровавшимися за власть, и теми людьми, которые их поддерживали (не всегда из македонян, но из жителей греческих городов) и которые служили важной опорой в завоеванных странах Востока. То, что эти друзья порой оставались верны и в несчастье, указывает на неформальный характер этих связей. Но по мере превращения полководцев в царей и укрепления их власти понятие "друзья" формализуется и превращается в придворное звание.

Среди же остального грекоязычного населения эллинистических государств, а затем и восточных провинций империи продолжалось распространение самого разного рода частных объединений, связывавших людей различного социального статуса и этнического происхождения — от союзов в честь восточных божеств до "веселящихся" или "пирующих". Существовали и женские объединения. Однако, как выразился Г.Ф. Фоби, по мере возрастания престижа частной жизни<sup>60</sup> проявлялась и тенденция к развитию индивидуальных дружеских отношений между отдельными людьми и семьями, как можно судить по письмам из Египта времени империи.

Дружеские связи имели, таким образом, свои особенности; в них переплетались архаическая традиция, стремление обрести еди-

номышленников и помощников, идентифицировать себя в микрогруппе (особенно сильное в условиях падения полисной солидарности в рамках огромных государств), но и симпатии, эмоциональные переживания, без которых индивидуальные межличностные отношения не могли бы существовать.

### Примечания

- <sup>1</sup> Античные представления о дружбе рассмотрены во вступительной главе в книге *White C. Christian Friendship in the Fourth Century* (Cambridge, 1996) P. 13 ff.
- <sup>2</sup> *Herman G. Ritualised Friendship and the Greek City* (Cambridge, 1986) P. 30. Книга посвящена особой форме отношений между гражданами разных полисов, заключающих между собой союзы взаимопомощи (они назывались ксенами). Существовал особый ритуал заключения таких союзов, участниками их были представители греческой аристократии, они оказывали друг другу политическую поддержку, но личных отношений часто между ними не было, а бывало, что они даже никогда не встречались, поскольку такие связи могли переходить по наследству.
- <sup>3</sup> Эта речь разобрана в моем очерке: "Греческая женщина античной эпохи – путь к независимости", в кн. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. М., 1996. С. 74 и след.
- <sup>4</sup> Подробно эраос-связи проанализированы в книге: *Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической истории Афин IV в до н. э.* Л., 1975. С. 119 и след.
- <sup>5</sup> *Herman G. Op. cit.* P. 30.
- <sup>6</sup> *Murray O. Early Greece* L., 1980. P. 198.
- <sup>7</sup> Примеры таких рисунков приведены в книге: *Vrissimis N.A. Love, Sex and Marriage in Ancient Greece*, Athens, 1995.
- <sup>8</sup> *Ibid.* P. 71–80. Автор приводит изображения на вазах и перечисляет возможные дары, которые он делит на символические и "инструктивные", к последним он относит зайца, оленя, собаку.
- <sup>9</sup> *Oxford History of the Classical World*. Oxford, 1986. P. 210. В связи с этой позицией, которую я разделяю, хочу возразить против точки зрения В. Эдера, который полагает, что для установления подлинной демократии в Афинах нужно было разрушение вертикальных и горизонтальных связей, "атомизация" общества, что и произошло к IV в до н. э. (*Eider W. Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.: Krise oder Vollendung? // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart 1995* S. 16–17). Изначитие традиционных связей компенсировали в IV в. многочисленные частные микрогруппы.
- <sup>10</sup> См. *Устинова Ю.Б. Частные культовые сообщества у греков // Быт и история в античности*. М., 1988. С. 198 и след. В этой статье автор наиболее подробно характеризует союзы так называемых оргеонов, восходившие к глубокой древности (к периоду массовых миграций XI–IX вв до н. э.), и эти сакральные союзы входили, как правило, родственники, членство в них было наследственным; оргеоны архаического и классического периодов были тесно связаны с такими важными подразделениями афинского гражданства, как фратрии. Поскольку, строго говоря, они не относятся к частным дружеским союзам, я не останавливаюсь на них специально, хотя их ритуал был схож с остальными ассоциациями.
- <sup>11</sup> *Connor W.R. The New Politicians of Fifth-Century Athens*. Princeton, 1971. Автор употребляет выражение "политическая дружба" (P. 25 ff), см. также: *Суриков И.Е. Демократия и гетерия: некоторые аспекты политической жизни Афин V в. до н. э. // Власть, человек, общество в античном мире*. М., 1997. С. 89 и след.
- <sup>12</sup> Об этом пишет Плутарх в биографии Алкивиада (22), Фукидид в шестой книге "Истории"; упоминает Исократ в речи "Об упряжке". Подробно пародирование во

- время пира гетерий разобрано в работе: Murray O. The Affair of the Mysteries: Democritus and the Drinking Group // *Symptica*. Oxford, 1990.
- 13 Биография Андокида и содержание его речей рассмотрены в статье: Фролов Э.Д. Из истории политической борьбы в Афинах в конце V века до н. э. // Андокид. Речь или История святотатцев. М., 1996. В этой книге собраны не только речи, но и все свидетельства об Андокиде.
  - 14 Подробно деятельность Деметрия Фалерского и его реформы рассмотрены в книге: *Habicht Chr.* Athen. Die Geschichte der Stadt in hellenischer Zeit. München, 1995. S. 65–66. Я только не могу полностью принять тезис автора, разделяющего точку зрения Берихарда, что законы против роскоши определялись аристократическим умонастроением, связанным с нежеланием, чтобы кто-либо выделялся из их среды. Мне представляется, что к выскочкам отрицательно относился и демос, и эти законы должны были хотя бы внешне смягчить противоречия внутри полиса, притом что они ущемляли демократические институты.
  - 15 Плутарх в биографии Ликурга (18) упоминает между прочим, что в Спарте даже достойные и благородные женщины любили молодых девушек. Это было связано с тем, что девочки в Спарте, как и мальчики, воспитывались не дома, а в особых отрядах (агелах), постоянно общались друг с другом и со старшими подругами (см. подробнее: Dover K.J. Greek Homosexuality. L. 1978. P. 179 ff.).
  - 16 Шахермайер Ф. Александр Македонский. М., 1984. С. 218.
  - 17 О друзьях царей из династии Селевкидов см.: Бихерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 45–49.
  - 18 Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 85.
  - 19 Эту историю подробно разбирает Бенгтсон (Там же. С. 141 и след.).
  - 20 Этот дар не был единственным случаем передачи царской земли частным лицам (список дарений см. в книге: *Herman G.* Op. cit. P. 110–111).
  - 21 *Walbank F.A.* A Historical Commentary on Polybios. Oxford. 1967. VII. P. 96.
  - 22 *Schneider C.* Die Welt des Hellenismus. München, 1975. S. 25 etc.
  - 23 О религиозных союзах и божествах, которым они были посвящены, см. классическую работу: *Nilsson M.P.* Geschichte der griechischen Religion. München, 1950. Bd. II. S. 111–115; надписи союзов почитателей восточных богов в греческих городах приведены в издании: *Sokolowski F.* Lois sacrées des cités grecques. P., 1962, № 55, 56, 57 etc.
  - 24 *Bean G.T.* Inscriptions from Caunus // *JHS.* 1953. LXXIII. P. 25.
  - 25 *Sokolowski F.* Lois sacrées d'Asie Mineure. P., 1954. № 20.
  - 26 *Robert L.* Etudes Anatoliennes. Amsterdam, 1970. P. 184.
  - 27 *Sokolowski F.* Lois sacrées des cités grecques. P. 212.
  - 28 *Robert L.* Op. cit. P. 64. Вскормленники (θρεσσοί) часто упоминаются в источниках, относящихся к периоду империи, их статус не был определен с правовой точки зрения. Плиний Младший, будучи в Вифинии, специально запрашивал о нем Траяна и получил ответ, что если они рождены свободными, то им не следует отказывать в праве на свободу и взыскивать с них возмещение за содержание (Ер. X, 65–66).
  - 29 *Sokolowski F.* Ibid. № 20.
  - 30 *Robert L.* Op. cit. P. 65.
  - 31 Подробнее о структуре союзов эллинистическо-римского времени см.: *Совицкая И.С.* Роль частных сообществ в общественной жизни полисов эллинистическо-го и римского времени // *Вестник древней истории.* 1985. № 4. Правовые аспекты союзов разобраны в книге: *Jones J.W.* The Law and Legal Theory of the Greeks. Oxford, 1956. P. 165 ff.
  - 32 *Sokolowski F.* Ibid. № 53.
  - 33 *Sokolowski F.* Lois sacrées d'Asie Mineure. P. 182.
  - 34 Хабихт разбирает рассказ известного писателя Гераклида, посетившего Афины в III в. до н. э.; интересно, что в этом рассказе нет ни одного упоминания о политической жизни города: в нем характеризуется население Аттики, даются предосте-

режения против уловок гетер и т. п. (*Habicht Chr. Op. cit. S. 173–175*).

- 35 Эти слова Плутарха разбирает А. Малерб (*Malerb A. J. Social Aspects of Early Christianity. Baton Rouge, 1977. P. 82*).
- 36 Все цитаты из комедий Менандра даны по изд.: *Менандр. Комедии. Фрагменты. М., 1982*.
- 37 *Ярхо В.Н. Менандр-поэт // Там же. С. 434–435*.
- 38 *Чистякова Н.А. Древнегреческая элегия // Древнегреческая элегия. СПб., 1996. С. 6*.
- 39 *Древнегреческая элегия. С. 223*.
- 40 *Древнегреческие эпиграммы. М; Л., 1935. С. 70–71*.
- 41 *Там же. С. 255*.
- 42 *Там же. С. 39*.
- 43 *Древнегреческая элегия. С. 228* (в тексте допущена опечатка: в третьей строке – "но" вместо "не" (ср. перевод в: *Древнегреческие эпиграммы. С. 70*)).
- 44 Такие стихи приведены в сборнике "Древнегреческая застольная, шутливая и эротическая эпиграмма". СПб., 1997.
- 45 *Древнегреческая элегия. С. 190*.
- 46 *Там же. С. 222*.
- 47 *Там же. С. 243* (Посидипп); с. 327 (Филодем).
- 48 *Habicht Chr. Op. cit. S. 113*.
- 49 Подробнее см.: *Самохина Г.С. Полибий. Эпоха. Судьба. Труд. СПб., 1995. С. 35* и след. Там же приведена подробная библиография.
- 50 Перечень коллегий см.: *An Economic Survey of Ancient Rome / Ed. by Frank T. Baltimore, 1938. Vol. IV. P. 843 ff.; Der Kleine Pauly, B.V. München, 1975, s.v. Vereinwesen*.
- 51 Надписи этих союзов разобраны в книге: *Mac Mullen R. Roman Social Relations 59 BC to 284 AD. L., 1974. P. 134 f.*
- 52 *Robert L. Op. cit. P. 535*.
- 53 *Ibid. P. 65*.
- 54 Анализ надгробий ряда районов Малой Азии дан в статье: *Светлицкая И.С., Голдер Д.Г. Семья в городах провинции Азия (по данным статистической обработки некрополей) // Город и государство в античном мире. Л., 1987. С. 155* и след.
- 55 Участие женщин в гладиаторских играх в Риме засвидетельствовано в источниках; в частности, об этом пишет Светоний в биографии Домициана (4,2); для восточных провинций эта надпись пока единственная.
- 56 Увеличение количества частных писем начиная со II в. н. э. отмечает А.Б. Ковельман в книге "Риторика в тени пирамид" (М., 1988. С. 65).
- 57 См.: *Хосроев А.Л. Александрийское христианство. М., 1991*.
- 58 *Кнабе Г.С. Античное письмо // Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 481*.
- 59 *Civilization of the Ancient Mediterranean. Greece and Rome. N.Y., 1988. Ch. VII*.
- 60 *Ibid. P. 1312*.

## Глава 8

### Дружба и друзья в представлениях французов XVII века (по сочинениям Ларошфуко)

Герцог Франсуа VI де Ларошфуко был одним из известнейших людей своего времени. Он родился в 1613 г. в знатной дворянской семье. В 1620 г. его отец, Франсуа V, получил от королевы Марии Медичи титул герцога. Отец стремился поскорее ввести сына во взрослую жизнь – к пятнадцати годам юный принц Марсийяк (он носил этот титул как старший сын герцога) был уже женат на богатой наследнице Андре де Вивонн и получил чин полковника в Овернском полку. Прибыв после участия в Итальянских походах<sup>1</sup> ко двору, он становится сторонником и помощником королевы Анны Австрийской, чем привлекает к себе внимание Ришелье<sup>2</sup>. В Париже он начал посещать знаменитый салон мадам Рамбуйе<sup>3</sup>, где встречался со многими людьми, впоследствии сильно повлиявшими на его жизнь, – герцогом Энгиенским<sup>4</sup> и Полем де Гонди, будущим кардиналом де Рец<sup>5</sup>, мадмуазель де Бурбон<sup>6</sup>, мадам де Сабле<sup>7</sup> и многими другими. Весной 1635 г. принц по собственному почину едет во Фландрию сражаться с испанцами. За те услуги, что Марсийяк оказывал королеве, Ришелье неоднократно отправлял его в ссылку в имение. За помощь в бегстве герцогине де Шеврез<sup>8</sup> Марсийяка сажают в Бастилию, а затем опять отправляют в ссылку.

В Париж он смог вернуться только в 1642 г. после смерти Ришелье. Годы перед началом Фронды<sup>9</sup> принц проводит в тщетном ожидании обещанных наград за преданность и былую службу королеве. Марсийяк покупает должность губернатора Пуату и редко бывает в Париже. Недовольный новым правлением (в 1643 г. умирает Людовик XIII и наступает период регентства Анны Австрийской, когда

главную роль играл премьер-министр кардинал Мазарини<sup>10</sup>), он постепенно сближается с домом Конде. Опираясь на поддержку этого влиятельного семейства, Маркизак пытается получить право на "луврские привилегии"<sup>11</sup>, но ему отказывают.

Во Фронде Ларошфуко (он получил титул герцога после смерти отца в 1651 г.) участвует с самого начала, будучи неизменно сторонником двух активных фрондеров - герцогаини де Лонгвиль и затем и ее брата принца Конде.

В 1652 г. во время одного из сражений Ларошфуко был ранен и на время ослеп. Война для него закончилась. Он был разорен, его родовой замок разрушен. Герцог долго лечился и даже после амнистии фрондеров продолжал жить в провинции, не имея средств переехать в столицу. Окончательно Ларошфуко поселился в Париже лишь после того, как в 1659 г. получил от короля пенсию в 8 тысяч ливров и выгодно женил старшего сына. В этот период внешне герцог, бездельствия герцог пополнял свое образование, и ему много читали вслух. Он совершенно отошел от политики и даже переселившись в Париж и получив от короля орден Святого Духа, чаще бывал в литературных салонах, чем при дворе. Современники считали его странным, чересчур мрачным и озлобленным, полагая, что причина всего этого кроется в его собственных неудачах. Сам же он считал себя непонятым. Он скончался в Париже в ночь с 16 на 17 марта 1680 г.

Все исследователи признают "Максимы и моральные размышления" главным произведением Ларошфуко. Работу над ними он начал в 50-е годы и продолжал до своей смерти<sup>12</sup>. Первая одобренная автором публикация появилась в 1665 г. и содержала 317 максим. При жизни автора вышло еще четыре одобренных им издания: в 1666 г. (302 максимы), в 1671 г. (341 максима), в 1675 г. (413 максим) и в 1678 г. (504 максимы). Из всех написанных афоризмов 79 были исключены автором из изданий как пересказывающие чужие мысли или дублирующие другие высказывания. 58 афоризмов были изданы только посмертно<sup>13</sup>. Из всех афоризмов дружбе непосредственно посвящено 22, которые и станут основой для нашего анализа "Моральных размышления" состоят из 19 небольших эссе. Нас будут интересовать те из них, в которых затрагивается вопрос дружбы - "О приятельских отношениях", "Об откровенности", "О вкусах", "О непостоянстве" и "Об удалении от света".

"Мемуары" Ларошфуко начал писать после того, как был ранен в 1652 г. и не смог больше принимать участие во Фронде. Окончательная редакция была составлена к 1662 г.<sup>14</sup> Ларошфуко, видимо, изначально предполагал ознакомить свет со своими воспоминаниями. Закончив писать, он отдает прочесть рукопись своим знакомым. Мемуары посвящены событиям, происходившим во Франции с 1624 по конц 1652 г., и разбиты на шесть частей. Четыре из них повествуют о Фронде, они и были написаны первыми. Их отличительная

особенность состоит в том, что они написаны от третьего лица. Первые две части, охватывающие период, соответственно, с 1624 по 1649 г., были дописаны потом, повествование в них ведется уже от первого лица. В "Мемуарах" Ларошфуко часто употребляет термин "друг" по отношению к тем или иным своим знакомым, говорит о "дружбе" между различными людьми. Но необходимо учитывать, что "Мемуары" практически целиком посвящены военным действиям. Естественным следствием этого является тот факт, что разговор идет преимущественно о мужчинах и мужской дружбе. Из 105 упоминаний о дружбе 23 относятся к дружбе между мужчиной и женщиной и только 6 - к женской дружбе.

Для изучения представлений Ларошфуко о дружбе мы привлекли, кроме "Максим" и "Мемуаров", его переписку<sup>15</sup>. К сожалению, мы располагаем в основном только его письмами. Среди опубликованных писем большинства его близких знакомых (Тюрени, мадам де Севинье и др.) нет ни одного письма к Ларошфуко<sup>16</sup>.

Особенности каждого из этих источников позволяют нам рассмотреть вопрос о представлениях о дружбе у Ларошфуко с нескольких сторон. Каково стереотипное понимание дружбы во времена Ларошфуко? Какие элементы этого общего представления отразились в его произведениях? В раннее новое время углубляется процесс обособления частной сферы жизни от публичной, осознания различных сторон существования человека как частных и интимных. В этом отношении изменилось и понимание дружеских отношений, важного и значительного элемента частной сферы. Своеобразие представлений о дружбе в XVII в. является одним из свидетельств этого процесса.

Выявить это можно, сравнив представления о дружбе в то время с тем, какими они были в предшествовавшие и последующие времена. Новые черты, которые появились по сравнению с предыдущей эпохой, и тенденции к изменению, которые только намечались, и составят вместе то особое, что будет отличать тот период. Обнаружив это своеобразие, интересно будет посмотреть, насколько представления о дружбе в те времена соотносимы с нашими, какие тут возможны критерии для сопоставления, какие процессы могли привести к существующим изменениям?

Но это общее характерное для XVII в. понимание дружеских отношений интересует нас скорее в его соотношении и переплетении с индивидуальным поведением и взглядами. Как сам Ларошфуко, писатель и философ, интерпретирует понятие дружбы? Как в его текстах и поступках проявляются и переплетаются стереотипное и личное, индивидуальное понимание дружбы? Ответы на эти вопросы и составляют конечную цель этой работы.

Рассмотрение представлений о дружбе неизбежно должно сопровождаться выявлением значений французского слова "amitié", ос-



новным из которых является "дружба", и отделением тех из них, которые не имеют прямого отношения к рассматриваемым нами вопросам.

Словарь французского языка Антуана Фюретьера<sup>17</sup>, изданный в 1690 г., выделяет четыре таких значения (первые три устарели и в современном французском языке не употребляются):

- 1) склонность, увлечение какими-либо вещами;
- 2) "симпатии" между вещами, явлениями;
- 3) удовольствие, услуга;

4) любезные выражения. Только это значение, помимо основного, сохранилось в современном французском языке. Современный словарь "Le Grand Robert" отделяет его от основного значения этого слова – "дружба" и определяет как "выражение любезности, привязанности"<sup>18</sup>, а "Grand Larousse" 1986 г. – как "выражение привязанности в сердечных или просто вежливых фразах"<sup>19</sup>. В этом значении слово "amitié" употребляется во множественном числе: "Ma fille vous fait mille amitiés" ("Моя дочь передает вам тысячу приветов")<sup>20</sup>. Вообще эта формула была довольно распространена и часто встречается в письмах, но у Ларошфуко использована только один раз, и то в письме, написанном его секретарем Гурвилем от его имени, когда



сам герцог ослеп после ранения: "Шлю вам тысячу благодарностей и множество приветов (*bien des amitiés*)"<sup>21</sup>.

Словари французского языка XVII в.<sup>22</sup> указывают также, что в среде художников словом "*amitié*" обозначалась гармония красок. В дальнейшем слово "*amitié*" будет привлекаться нами в тех случаях, когда оно употребляется в основном его значении – "дружба". Словарь Фюретьера определяет ее как "привязанность, если только она крепкая и взаимная"<sup>23</sup>.

Для решения поставленных задач, кроме непосредственно анализа рассуждений Ларошфуко о дружбе и описаний его отношений с друзьями, можно было бы прибегнуть к статистическому анализу – просчитав и соотнеся друг с другом все случаи употребления слова "дружба". Но в данном случае гораздо более широкие возможности предоставляет контент-анализ, – анализ контекста словоупотребления. То, в каких ситуациях используется слово "дружба", какие другие понятия часто употребляются в связи с упоминанием о дружбе, поможет нам точнее определить, какой смысл вкладывался в слова "друг", "дружба", "дружеские отношения". Для сравнения мы привлечем произведения современников Ларошфуко – переписку, мемуары, философские размышления.

Свой анализ мы будем проводить в следующей последовательности: 1) что Ларошфуко почитал необходимым для истинной дружбы; 2) в каких ситуациях он использует термин "дружба" и с какими смысловыми оттенками; 3) какие понятия употребляются в связи с дружескими отношениями и как с ними соотносятся; и, наконец, 4) каковы непосредственные отношения герцога с друзьями.

Итак, что же, по мнению Ларошфуко, лежит в основе дружбы? Прежде всего доверие: "Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым"<sup>24</sup>, а также – откровенность, ибо "...на ней зиждутся все людские приязни, всякая дружба"<sup>25</sup>. Но откровенность не должна быть полной: "...наши интересы обычно тесно переплетены с интересами других людей, поэтому откровенность должна быть необычайно осмотрительна, иначе, предав нас, она предаст и наших друзей, повысив цену даруемого нами, принесет в жертву их благо"<sup>26</sup>. Если нам доверена тайна, то хотя бы мы были абсолютно уверены в своих друзьях, и даже если они, возможно, почерпнули из другого источника доверенные нам сведения, мы должны хранить их, несмотря на риск потерять их дружбу. Долг всегда стоит выше личных привязанностей. Если же друзья претендуют на полную откровенность, то в данном случае "...нам остается одно: пожертвовать их дружбой во имя долга, сделав, таким образом, выбор меж двух неизбежных зол, ибо одно из них еще можно исправить, тогда как другое непоправимо"<sup>27</sup>. Дружба, тесно сплетаясь с понятием долга, оказывается связанной с достоинством человека. Истинная дружба становится возможна лишь в том случае, если в целом "друг" ведет себя как *honnête*

*homme*<sup>28</sup>. Таким образом, “качественность” дружбы зависит от общего поведения человека. Поведение в дружбе не должно было противоречить поведению *honnête homme* в целом, иначе сама дружба переставала быть истинной и становилась пародией на саму себя. Человек не мог быть хорошим другом, если он недостойно вел себя в обществе. Позднее, в XVIII в., добродетели человека уже не будут играть такую большую роль в дружбе. Даже наоборот, наиболее достойные – одиноки, будут отмечать современники, “...великие мира сего знакомы с дружбой только в теории”<sup>29</sup>, “мало на свете пороков, которые больше мешают дружбе, чем слишком большие достоинства”<sup>30</sup>. В философии дружбы появится новый мотив – истинная дружба не должна стыдиться недостатков друзей. “Не таите дружеской близости с падшими, встаньте на защиту их слабости...” – пишет Вольтер<sup>31</sup>. Впервые появится идея, что дружба должна противостоять общественному мнению. Однако в рассматриваемое время ситуация была иной.

Хотя Ларошфуко и полагает откровенность основой дружбы, но в “Мемуарах” говорит о ней всего пару раз. Один случай связан с графом Миоссаном<sup>32</sup>, делившимся с Ларошфуко своими надеждами в отношении благосклонности госпожи де Лонгвиль. “Я поддерживал с ним тесную дружбу, и он рассказывал мне о своих упованиях”, – писал об этом герцог<sup>33</sup>. Второй случай произошел с еще одним другом герцога, случайно обронившим любовные письма (по этой причине Ларошфуко не называет его имени в “Мемуарах”<sup>34</sup>): “Попав в столь трудное положение, потерявший письма терзался мучениями, как порядочному человеку и должно терзаться в подобном случае. Он поделился со мною своими горестями и попросил сделать все возможное, дабы извлечь его из той крайности, в которой он оказался”<sup>35</sup>. Столь редкое упоминание об откровенности между друзьями связано не с тем, что Ларошфуко не ценил ее или не считал важной, а с особенностью тех событий, которым он уделяет внимание в “Мемуарах” (политические интриги, военные действия). Происходящие события влияют на сам характер дружеских отношений, делая особенно ценными в зависимости от ситуации то одни, то другие их стороны. Характерно, что указанные эпизоды как раз не связаны напрямую ни с войной, ни с придворной политикой, а повествуют о любовных интригах.

Долг должен быть превыше дружеской откровенности: “Если же дело касается вверенных нам тайн, тут мы должны подчиняться другим правилам, и чем эти тайны важнее, тем от нас требуется большая осмотрительность и умение держать слово”<sup>36</sup>. Особенно это важно во время войны и конфронтации, и потому в таких условиях на первое место в дружеских отношениях выходит верность, умение сохранить и чужие тайны, и сами дружеские отношения, даже если политические интересы разошлись. Во время Фронды не-

которые из друзей Ларошфуко – маршал Ламейерс, Миоссан, а затем и Тюренн и герцог Буйонский – поддерживали двор и Мазарини. Надо думать, что дружеские связи не только значительно облегчали переход из одного лагеря в другой, что в силу различных причин было в то время довольно частым явлением, но в некоторых случаях могли быть причиной (а чаще, вероятно, предлогом) разрыва с одной партией и объединения с другой. Понятие же долга в такой ситуации всегда можно было истолковать в свою пользу. Но тот факт, что друзья стали политическими противниками, не побуждает Ларошфуко изменять свое мнение о них. Наоборот, он радуется успешной карьере Тюренна, перешедшего в ходе Фронды на сторону короля, огорчается, что герцог Буйонский умер как раз тогда, когда окончательно примирился с двором и тоже мог сделать блестящую карьеру.

Важной предпосылкой дружеских отношений между людьми было их приблизительное равенство в социальном положении. А Жуанна в своем исследовании отношений клиентелы в XVII в. говорит: "Можно рассматривать неравенство как основополагающий элемент в определении отношений клиентелы, который, в частности, позволяет отличать их от отношений дружбы"<sup>37</sup>. Ларошфуко объясняет это тем, что неравенство мешает дружбе, ибо пробуждает в людях корысть: "Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей, стоящих над нами; между тем такая дружба вызвана одним лишь своекорыстием: мы сближаемся с этими людьми не ради того, что хотели бы дать, а ради того, что хотели бы от них получить"<sup>38</sup>. При неравном положении друзей ясно проявляется себялюбие, что не позволяет по-настоящему любить друг друга, а ведь "настоящая дружба не знает зависти..."<sup>39</sup>. Даже оказанная нам услуга может оказаться помехой, поскольку дает другу некоторую власть над нами: "Признательность за услугу уносит с собой немалую долю дружеского расположения к тому, кто сделал нам добро"<sup>40</sup>. Такая ситуация приводит к тому, что "наша благодарность иногда бывает так велика, что, расплачиваясь с друзьями за сделанное нам добро, мы еще оставляем их у себя в долгу"<sup>41</sup>.

Для Ларошфуко и его окружения равенство в отношении дружбы подразумевало в основном принадлежность к дворянскому сословию. Различия внутри него хоть и принимались во внимание, но не считались столь уж важными. Так, все те, кого Ларошфуко называет друзьями, – дворяне, но из них лишь немногие (Тюренн, герцог Буйонский, госпожа де Шеврез) были равней ему по положению, а некоторые (Лене, Ланглад) стояли гораздо ниже его. Однако даже в рамках дворянского сословия слишком сильные различия между друзьями почитались недостойными. Такие отношения возникали не часто, и их не старались афишировать. В качестве примера можно привести отношения Ларошфуко и Жана Эро де Гурвиля, которые

вызвали длительный спор среди историков. Исследователи давали им самые разные оценки.

Гурвиль был секретарем младшего брата Ларошфуко. Отправляясь в 1646 г. в армию, Ларошфуко, тогда еще принц Марсийяк, взял его с собой. Затем мы видим Гурвиля рядом с принцем во время Фронды. Он был уже не просто его слугой, но важным посредником между фрондерами. После ранения Ларошфуко в 1652 г. Гурвиль вновь становится его секретарем и сиделкой. Годы после выздоровления герцога он проводит в Париже, где сблизается с Фуке<sup>42</sup> и становится преуспевающим дельцом. После опалы Фуке Гурвиль бежит в Англию, затем во Фландрию. Ему, однако, удастся сохранить свои капиталы, которые он приумножил, возвратясь на родину. Теперь он мог ссужать деньги своему бывшему хозяину, не надеясь даже получить их обратно. Факт в биографии Гурвиля, который вызывает самые противоречивые суждения, – это его женитьба на старшей дочери Ларошфуко Марии Катерине. Одни видят в этом ярчайшее свидетельство дружбы Ларошфуко и его бывшего секретаря, другие – отражение бедственного положения герцога. Чтобы разобраться, могли ли существовать дружеские отношения между ними, обратимся к более ранним временам – к 1652 г.

Во время сражения у предместья Сент-Антуан 2 июля Ларошфуко, как уже говорилось выше, был ранен в лицо мушкетной пулей и на время потерял зрение. Первое коротенькое письмо, всего несколько строк, он смог написать лишь 11 сентября: «Та же жажда, что гонит волка пить, вынуждает слепого писать Вам, дабы Вы со всей серьезностью могли судить о состоянии моих дел»<sup>43</sup>. Фактически сам писать он смог лишь к концу года, все это время его перепиской занимались Гурвиль и советник Парламента Пьер Виоль.

Если сравнить письма, которые от имени Ларошфуко были написаны этими двумя людьми, то будет заметна существенная разница. Возьмем письма герцога к одному из его друзей, государственному советнику Пьеру Лене, в тот период Ларошфуко писал практически только к нему. Те, что написаны рукой Виоля, похожи по стилю на письма самого герцога и отличаются только большей церемонностью. Скорее всего, Ларошфуко пользовался его услугами как писца, диктуя ему свои письма. Те же, что написаны Гурвилем, имеют значительные отличия. Они довольно пространны и содержат подробное описание последних событий, чего сам герцог никогда не делал (даже во времена Фронды). И что самое любопытное, они написаны от лица самого Гурвиля.

Гурвиль тоже был другом Лене и переписывался с ним. О том, что эти письма отправлены от имени Ларошфуко, свидетельствуют подписи герцога, надписи на конвертах и герцогская печать. Кроме того, есть три письма, которые написаны отчасти писцом, отчасти Гурвилем: два письма начаты им, а одно закончено. Вряд ли он при-

бегал к услугам писца в ведении собственной переписки. Скорее это письма герцога, который в одном случае начинал диктовать, не дождавшись своего секретаря, а в другом вынужден был срочно куда-то его отправить. То, что Ларошфуко позволял Гурвилю так вести свою переписку с другом, может свидетельствовать только об исключительно близких и доверительных отношениях между ними. Тогда все свидетельства многолетней преданности и помощь Гурвиля, так же как и его женитьба на Марии Катерине, превращаются в проявления искренней дружбы и снимают с Ларошфуко обвинение в том, что он "продал" свою дочь, будучи не в силах отказаться от финансовой помощи бывшего слуги. То, что герцог считал другом своего слугу и секретаря, может свидетельствовать о том, что иногда он отдавал приоритет личности и достоинству этого человека.

Такое отношение к дружбе, когда основой для ее возникновения считались личные качества, заслуживающие уважения, имело следствием то, что способность иметь друзей в какой-то мере расценивалась (и не только Ларошфуко) как свидетельство достоинств человека: "Когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, нами обычно руководит не столько благодарность, сколько желание выставить напоказ наши достоинства"<sup>44</sup>. Наличие у человека друзей и его способность к настоящей дружбе свидетельствовали о том, что он обладает определенным набором похвальных качеств. Поэтому дружескими связями гордились, о них старались упомянуть в разговоре, в произведении. Ларошфуко гордится своими поступками по отношению к своим друзьям и акцентирует на них внимание в "Мемуарах" во многом именно потому, что они свидетельствуют о нем как о человеке.

Представление о том, что дружеские отношения являются отражением добродетелей человека, в свою очередь приводило к тому, что, претендуя на принадлежность к добродетельным людям, дружбой стремились назвать любое сколько-нибудь близкое знакомство (судя по количеству критики в афоризмах, явление весьма распространенное). Наличие большого числа друзей было значительным свидетельством в пользу собственных достоинств. Поэтому термины дружбы были очень популярны в свете, другом могли назвать и старинного приятеля, и временного, ненадежного союзника в политической интриге. Ларошфуко обращает на это внимание в "Максимах". Он четко разделяет "истинную дружбу" и то, "что люди обычно называют дружбой". Под второй он понимает не только реальное воплощение этой добродетели, но и другие отношения, которые в жизни часто пытаются подвести под этот термин. Исследователи практически не обращают на это внимания, быть может потому, что идеальной дружбе посвящено всего лишь несколько максим (7 из 22, в которых говорится о дружбе). Но если внимательно прочесть их, то будет видно, что утверждение, высказанное в свое время Виппером и Самариним, будто "дружба, по мысли Ларошфуко, есть взаимный

договор, стремление щадить интересы друг друга, обмен услугами, общение, где себялюбие всегда предполагает что-то приобрести"<sup>45</sup>, некорректно. Это не дружба, а как раз то, что, по мнению Ларошфуко, часто неточно называют этим словом. "Истинный друг, – говорит он, – величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся"<sup>46</sup>.

Но критикуя это явление в "Максимах", в переписке и "Мемуарах", Ларошфуко и сам отдает дань эпохе. Используя термин "дружба" по привычке, не задумываясь о его содержании, он не всегда стремится выразить им истинную дружескую привязанность. Порой он употребляет слово "дружба" по отношению к человеку, который никак не может быть его другом. Так, он пишет могущественному министру Жану Батисту Кольберу: "...я очень хочу заслужить честь Вашей дружбы..."<sup>47</sup>. Употребление понятия "дружба" в подобных вежливых фразах часто встречается и в письмах других авторов. Обычно они стоят в конце письма. К примеру, письмо мадам де Лианкур, родственницы Ларошфуко, к Мальбасти, одному из его "агентов"-вассалов, заканчивается так: "Ваш лучший друг, Лианкур"<sup>48</sup>. Даже то, насколько часто употребляют подобные фразы, заставляет предположить, что они являются просто формулой вежливости и не могут свидетельствовать о реальной дружбе между этими людьми, хотя слово "amitié" и употребляется в них в основном своем значении.

Когда Ларошфуко не теоретизирует, то употребляет понятие "дружба" с различными смысловыми оттенками. Если внимательно просмотреть текст мемуаров, то можно встретить любопытные фразы типа: "Маркиз Жарзе также предложил пробиться со своими друзьями в крепость и ее защищать..."<sup>49</sup>, "...кардинал на виду у всех старался всячески подчеркнуть, что вполне согласен во мнениях с Принцем и даже входит в интересы его приверженцев..." (во французском тексте – "...dans les intérêts de ses amis...")<sup>50</sup>. Очевидно, что понятие "друг" является здесь синонимом слова "сторонник", и автор русского перевода справедливо употребил здесь выражение "друзья и приверженцы". Примеры такого употребления слова "друг" можно встретить и в мемуарах других авторов. Например, кардинал де Рец, рассказывая об известном заговоре, отмечает «спесь, заслужившую друзьям герцога де Бофора прозвище "Кичливых"»<sup>51</sup>. Термин "друзья" в этой ситуации употребляет и мадам де Моттевилль: "...Кичливые (так называли герцога де Бофора и его друзей)..."<sup>52</sup>. Гурвилль в письме к Пьеру Лене говорит о кардинале де Реце: "...он надеется сделать все, чтобы примириться с Принцем и встать в Париже во главе его и своих друзей"<sup>53</sup>. А сам Лене в своих мемуарах пишет: "Все основные друзья принцев (les principaux amis des princes) либо были в тюрьме, либо бежали..."<sup>54</sup>.

Здесь интересно привести один отрывок из мемуаров Ларошфуко: "...герцог Ларошфуко распорядился собрать всю знать, съехав-

шуюся на похороны его отца, и, обратившись к ней, сказал, что, избегнув в Париже ареста совместно с Принцем, он считает себя отнюдь не в безопасности и на своих землях, со всех сторон окруженных войсками, которые размещены повсюду в окрестностях якобы на зимних квартирах, а в действительности чтобы захватить его у себя дома; что ему предлагают надежное убежище в крепости по соседству и что он просит своих истинных друзей (*véritables amis*) соблаговолить проследовать туда вместе с ним, оставляя всем прочим свободу поступить так, как они того желают. Многих это приглашение привело в замешательство, и они под всевозможными предложениями удалились. Полковник Бенц был одним из первых, нарушивших слово. Но все же семьсот дворян пообещали герцогу отправиться вместе с ним<sup>55</sup>. Речь, видимо, идет о вассалах и сторонниках Ларошфуко, которые дали ему некое "слово", очевидно, сражаться вместе с ним. Из этих "истинных друзей", т. е. тех, кто не нарушил этого слова, набралось 700 дворян. Сама эта цифра делает невозможным предположение, что слово "друг" употреблено здесь в его основном значении. Под "истинными друзьями" тут надо понимать верных сторонников, не отступившихся от своего слова. Поскольку говорится о некоем "слове", возможно, отчасти речь идет и об отношениях патронажа. Многие исследователи отмечают, что «... "друг" и "дружба" были, наверное, наиболее широко используемыми терминами для обозначения патронажных связей»<sup>56</sup>.

Слово "дружба" употребляется и еще с одним, близким к этому смысловым оттенком. Его можно определить как "расположение": "Перед моим отъездом мне несколько раз показалось, что Кардинал хочет меня задобрить и делает вид, будто домогается моей дружбы (*mon amitié*)"<sup>57</sup>. В этом значении оно часто встречается при рассказе об отношениях при дворе: "Этот отказ (от брака с племянницей Ришелье. — А. С.) больше, чем все его добрые качества, привлек к графу Суассонскому уважение и дружеские чувства (*l'amitié*) всех тех, кто не был зависим от Кардинала"<sup>58</sup>, "дружба (*l'amitié*) герцога Орлеанского представлялась ему непрочной и ненадежной опорой..."<sup>59</sup>.

С каким еще значением и в каких случаях встречаются термины дружбы у Ларошфуко? Обращает на себя внимание частое употребление в переписке оборотов вроде: "один дворянин из числа моих друзей"<sup>60</sup>, "то, что Вы мне сообщили о товарище одного из наших далеких друзей"<sup>61</sup>, "я сообщил одному из наших друзей"<sup>62</sup>. Имена в таких случаях чаще всего не называются. Можно заметить, что такие обороты употребляются в двух случаях. Во-первых, когда речь идет о человеке, которого хорошо знают и автор, и адресат. "Друг, которого Вы оставили здесь в довольно скверном положении, все таков же с теми, кто объявляет себя его врагами..."<sup>63</sup>. В этом случае слово "друг" фактически равнозначно словам "знакомый", "приятель". Оно употребляется взамен имени и фамилии, ко-

торые или не нужно указывать, ибо и так ясно, о ком идет речь, или по тем или иным причинам их нежелательно упоминать в письме.

Есть и другой вариант, когда употребляются подобные обороты. Вот два примера: "Однако я Вас умоляю, Мадам, чтобы один из моих друзей отчитался перед Вами в тех делах, в которых Вы так много помогали..."<sup>64</sup>, "...Монтагу, который принадлежит одному дворянину из числа моих друзей по имени Вишейвиль..."<sup>65</sup>. В этом случае термин "друг" употребляется для того, чтобы придать упоминаемому человеку в глазах адресата определенный статус и тем самым вызвать соответственное к нему отношение. Этот прием часто используется в мемуарах.

В текстах, особенно в мемуарах, понятие "дружба" часто встречается в связке с другими понятиями. Например: "Он дал ему понять, что с превеликой почтительностью и признательностью принимает свидетельства *уважения и дружбы*, явленные ему кардиналом..."<sup>66</sup>. Какие же это понятия? В афоризмах Ларошфуко встречаются "доверие" и "откровенность", уже указанные нами. В "Мемуарах" чаще всего встречается "уважение" (*estime*), на втором месте стоит "доверие" (*confiance*): "Королева щедро расточала мне знаки своих *дружеских чувств и своего доверия*..."<sup>67</sup>. Также встречаются "преданность" (*fidélité*), "интерес" (*intéret*), "признательность" (*reconnaissance*) и "родство" (*parenté*). У других авторов, современников и знакомых Ларошфуко, мы найдем, кроме этих слов, "уважение" (Лабрюйер)<sup>68</sup> и "добродетель" (мадам де Сабле)<sup>69</sup>, "доброту" (*bonté*), "союз" (*alliance*) – Монтрезор<sup>70</sup>, "привязанность" (*attachement*) – мадам Моттевиль<sup>71</sup>, "доверие" (*crédit*) – Лене<sup>72</sup> и "почтение" (*respect*) – де Рец<sup>73</sup>. Все они стоят на равных с "дружбой": "Таким образом, Принц, помогая обмануть самого себя, воспринял усердие Кардинала как свидетельство *дружеских чувств и признательности*..."<sup>74</sup>. Они очерчивают нам сферу понятий, среди которых бытовало и понятие "дружба". Большинство из них (доверие, уважение, почтение, признательность, доброта, преданность) – нравственные категории, то, чем обязательно должен обладать *honnête homme*. Дружба стояла в одном ряду с ними и также почиталась одной из составляющих общего целого, ее ценность и "качественность" определялись во взаимосвязи с другими категориями.

В отношении XVII в. это подтверждает тезис И.С. Кона<sup>75</sup>. Он, проанализировав представления о дружбе в различные эпохи – от античности до наших дней, выделяет несколько особенностей этих представлений в рассматриваемый нами период: то, что индивидуализация быта и рост потребности в коммуникации выразились, в частности, и в рождении новой концепции дружбы; что основой дружбы считается общность духовных интересов; что из литературы исчезает тема иерархичности дружеских отношений и обогащается палитра эмоцио-



нальных переживаний, связанных с дружбой, а также то, что "в новое время, до XVIII века включительно, дружба считалась главным образом добродетелью..."<sup>76</sup> (курсив мой. – А. С.). Мадам де Сабле так и говорит: "Дружба – один из видов добродетели, который не может основываться ни на чем другом, кроме как на уважении к людям, которых любишь..."<sup>77</sup>. Считалось, что истинная дружба неотделима от достоинств человека, что она могла существовать лишь как добродетель, – переставая быть таковой или теряя связь с другими нравственными ценностями, она уже не могла быть истинной дружбой и становилась лишь жалкой пародией на саму себя.

Следующее понятие, которое сопоставляется с "другом", – это "ставленник" (*сréature*): "Часть министров и некоторые из ближайших друзей и ставленников Кардинала поступали так же (способствовали его падению. – А. С.)..."<sup>78</sup>. По сути, слово "друзья" употребляется в значении "сторонник", пример такого употребления мы уже приводили выше.

Как известно, статус человека в дворянском обществе определялся по большей части родословной и родственными связями. И хотя дружеские связи имели в этом отношении гораздо меньший вес в обществе, эпитет "друг" часто употреблялся рядом с термином "родственник" (*parente*). Сочетание этих слов появляется, когда автор хочет представить читателю кого-нибудь из своих героев: "...у дверей ее комнаты, дабы нас не застали врасплох, находилась только ее статс-дама г-жа де Сенесе – моя родня и приятельница (*ma parente et de mes amis*)"<sup>79</sup>. Ларошфуко в "Мемуарах" нигде не уточняет родственных связей, однако у других авторов часто встречаются фразы типа: "Ла Рошпо, мой двоюродный брат и близкий друг (*mon cousin germain et mon ami intime*)..."<sup>80</sup>. Иногда эти понятия относятся к разным людям, или данный человек находится в разных отношениях с упоминаемыми людьми. Так или иначе, все эти варианты по сути одинаковы: вводя в рассказ новое лицо, авторы стремятся дать читателю некоторое представление о нем, определить его статус, его положение и связи в обществе. Так, к примеру, представляет читателям "маршала де Ламейере, суперинтенданта финансов и моего друга (*mon ami*)" кардинал де Рец<sup>81</sup>. Таким образом, Ларошфуко определяет не только своих, но и чужих друзей: "Коадьютор<sup>82</sup> Парижский, связанный с ним родством и длительной дружбой (*par parent et par long attachement l'amitié*)..."<sup>83</sup>. Частое упоминание о дружеских связях в таких оборотах свидетельствует о том, что они все же весьма существенно определяли положение человека в свете и, наоборот, являлись отражением его общественного статуса. Свидетельство этого мы видели и в "Максимах".

Кроме того, термины дружбы нередко использовались для определения отношений и между родственниками. Они часто встречаются, например, в письмах мадам де Севинье к дочери: "...я убеждена

в том, что Вы питаете ко мне глубокую дружбу (l'amitié)...<sup>84</sup>. Тюренн говорит о своей дружбе к брату, сестре и даже жене. В письмах к жене он часто говорит о своей любви и дружбе ("Будьте полностью уверены в моей дружбе..."<sup>85</sup>), так же он определяет и ее отношение к себе: "Уверяю вас, что получаю огромную радость от дружбы (l'amitié), которую Вы питаете ко мне"<sup>86</sup>. Дружбой, судя по всему, в данном случае назвали элемент духовного общения. И употребляя этот термин, желали подчеркнуть именно эту сторону отношений. Здесь, однако, надо быть осторожным, ибо слово "amitié" употреблялось в то же время как вполне невинное для упоминания в светском разговоре об отношениях между любовниками. Так, довольно трудно точно определить, что имел в виду Ларошфуко, употребляя это слово даже при определении отношений между супругами: "Ее полюбил герцог Лотарингский, и всякому хорошо известно, что в ней – первейшая причина несчастий, которые столь долго претерпевали и этот государь и его владения. Но если дружба (l'amitié) госпожи де Шеврез оказалась опасной для герцога Лотарингского, то близость с нею подвергла не меньшей опасности впоследствии и королеву"<sup>87</sup> (ко времени описываемых событий герцогиня де Шеврез и герцог Лотарингский были уже несколько лет женаты).

Это подводит нас к вопросу о соотношении понятий "любовь" и "дружба", который, похоже, весьма интересовал авторов того времени. У Ларошфуко данной теме посвящено 5 максим из 22 о дружбе. Чтобы уяснить особенности его взглядов на этот счет, сравним его мысли с теми, что высказывали другие моралисты – его предшественник Мишель де Монтень, чьи "Опыты" были известны Ларошфуко, и младший современник Жан де Лабрюйер, который в свою очередь писал свои афоризмы, будучи уже знаком с "Максимами".

Ларошфуко, как и многие другие авторы, противопоставляет эти чувства: "Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу"<sup>88</sup> (сравните, например, с Лабрюйером: "Любовь и дружба исключают друг друга"<sup>89</sup>), но в то же время видит в них много общего: "...хотя любовь полна одушевления и приятности, тогда как дружба должна быть уравновешеннее, строже, взыскательнее, обе они подчинены схожим законам, и время, меняющее и наши устремления, и нрав, равно не щадит ни той, ни другой"<sup>90</sup>. При всем подчеркивании различий между любовью и дружбой Ларошфуко видит в них гораздо больше сходных черт, чем Монтень и Лабрюйер. Сама идея о схожести любви и дружбы стала наследием эпохи Возрождения. Исследователи живописи отмечают, что с конца XV в. дружба стала изображаться в виде женщины с сердцем в руке, раньше этот образ ассоциировался только с любовью<sup>91</sup>.

Большинство авторов XVII в. скептически относятся к женской дружбе: "Женщины в большинстве своем оттого так безразлич-

ны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью<sup>92</sup> (Ларошфуко); "...обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз..."<sup>93</sup> (Монтень); "Женщины умеют любить сильнее, нежели большинство мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе"<sup>94</sup> (Лабрюйер). Ларошфуко в приведенном выше тексте, как и в некоторых других, делает акцент на том, что женщины часто не ценят дружеских отношений, как они того заслуживают. Он не столь категоричен, как два других автора, утверждавших, что женщины по большей части просто не способны к настоящей дружбе. К сожалению, здесь приведены только мнения мужчин, поскольку ни у мадам де Сабле, ни у других писательниц того времени мы не нашли размышлений на тему женской дружбы. Но сам факт, что женщины наравне с мужчинами рассуждают о дружбе в литературных салонах и даже посвящают ей свои произведения (см., например, "Трактат о дружбе" мадам де Сабле), достаточно красноречив.

Сейчас сложности дружбы между полами связываются с различным психическим складом и наличием сексуальной привлекательности. Сходным образом Лабрюйер говорит о том, что "хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет ни тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину"<sup>95</sup>, хотя разница между мужчиной и женщиной подразумевала для него гораздо больший комплекс отличный, нежели просто различие между полами. Ларошфуко же вовсе не поднимает этой темы, ограничиваясь более важным в те времена вопросом об уровне духовного развития. Его отношения с мадам де Сабле говорят о том, что он был сторонником так называемой просвещенной дружбы между мужчиной и женщиной, в которой демонстративно подчеркивалось наличие исключительно духовного общения.

Несмотря на указанные различия, все упомянутые авторы полагают дружбу более возвышенным, нежели любовь, чувством, которое присуще людям с определенным уровнем духовного развития. Отчасти такой приоритет дружбы был наследием гуманизма, когда она считалась одной из добродетелей и очень высоко ценилась. Ларошфуко и Лабрюйер также весьма чтут настоящую дружбу, хотя того восторженного преклонения перед ней, как раньше (даже если сравнить с Монтенем, а это конец XVI века), уже нет. Но в то же время это могло происходить оттого, что дружбу хотя и считали чувством, но в противовес любви связывали с разумом. Дружба "уравновешеннее, строже, взыскательнее"<sup>96</sup>, она более логична: "В дружбе для всякого охлаждения и всякой размолвки есть своя причина; любить же друг друга люди перестают только потому, что прежде слишком сильно любили"<sup>97</sup>. В конце следующего века, в эпоху Ро-

мантизма, любовь, бесспорно, займет первое место, и уже дружбу станут уподоблять ей. Дружбу станут называть пылкой, страстной и нежной; любовь и дружба будут идти рядом. Если Лабрюйер считал, что "тот, кто пережил большую любовь, пренебрегает дружбой; но тот, кто расточил себя в дружбе, еще ничего не знает о любви"<sup>98</sup>, то в следующем веке все будет наоборот. "Быть может, чтобы вполне оценить дружбу, нужно сперва пережить любовь", – скажет Шамфор<sup>99</sup>. Но пока грядет век Просвещения, и через некоторое время Дэвид Юм заметит, что если любовь – это страсть, то "дружба – это спокойная и тихая привязанность, направляемая разумом и укрепляемая привычкой..."<sup>100</sup>. Любовь в отличие от дружбы больше связана с собственными интересами и удовольствиями, поскольку покоится на наслаждении. Доказательством тому Ларошфуко считает ревность, столь часто порождаемую любовью: "Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает"<sup>101</sup>. Дружба тоже приносит удовольствия, но, как сказала мадам де Сабле, таковые "никогда не должны быть ее причиной"<sup>102</sup>.

Мы рассмотрели некоторые особенности понимания дружбы, теперь же перейдем непосредственно к дружеским отношениям. Дружба – это не просто общение, она требует усилий, действий. Ларошфуко говорит о том, что истинная дружба является таковой, лишь когда друзья жертвуют своими интересами ради друг друга. Еще больше участия необходимо, если между друзьями были какие-то размолвки: "Возобновленная дружба требует больше забот и внимания, чем дружба никогда не прерывавшаяся"<sup>103</sup>. Внимание к другу предполагает также и сочувствие: "Будучи обмануты друзьями, мы можем равнодушно принимать проявления их дружбы, но должны сочувствовать им в их несчастьях"<sup>104</sup>. Эта максима – одна из немногих у Ларошфуко, где дается прямое указание, как надо поступать, ибо дружба является добродетелью как раз в силу отношения к другому человеку. Именно в этом состоит связь между дружеским канонem и идеалом *honnête homme*, распространенным в то время. Эту связь заметил Ховарт, говоря о Ларошфуко: "...абсолютное посвящение себя интересам друзей, которого он требует, должно быть проявлением *honnête homme*..."<sup>105</sup>. Если верить Паскалю, забота о друзьях была твердо установленным правилом: "Человек с самого детства только и слышит, что он должен пещся о собственном благополучии, о добром имени, о своих друзьях и вдобавок о благополучии и добром имени этих друзей"<sup>106</sup>. Таким образом, отношения с друзьями выступали не только проявлением искренней привязанности, но и как критерий чести, порядочности и добродетельности.

Современные психологи и социологи считают возможность нарушения некоторых общих правил поведения в обществе имманентным свойством дружеских отношений, не зависящим от культурных особенностей страны или эпохи<sup>107</sup>. У Ларошфуко же мы не

однократно встречаем подчеркивание тесной связи между поведением в отношении друзей и самыми высокопарными формулами поведения человека в обществе. Очевидно, возможность более вольно и менее церемонно общаться с друзьями, кажущаяся нам столь естественной, не стала еще столь характерной для дружеских отношений в XVII в.

Связь дружбы с идеалами *honnête homme* проявляется у Ларошфуко и в том, как он описывает свои отношения с друзьями. В "Мемуарах" не раз провозглашается, что он предпочитает подвергнуть себя опасности, нежели не выполнить долг по отношению к другу. Так, будучи сам в опале, он помогает бежать за границу герцогине де Шеврез и графу Монтрезору: "...я ждал, что кардинал Ришелье снова обрушит на меня свою ненависть, и тем не менее навлекал ее на себя, упорно впадая в одну и ту же вину из-за неотвратимой необходимости выполнить свой долг"<sup>108</sup>.

"Ненависть" Ришелье, которая должна была "обрушиться", конечно, преувеличение, вполне обычное для любых мемуаров. Ришелье обходился с Марсийяком довольно "мягко", и исследователи склонны полагать, что он не считал принца серьезным противником. Нас больше интересует упоминание о "долге". Ларошфуко всю жизнь гордился тем, что поступал по отношению к королеве, своим друзьям и знакомым, как благородный человек, порой не считаясь с собственной выгодой. Его очень задевало то, что это было мало кем замечено и оценено и что большинство считало его неудачником. Он постарался объяснить все в "Мемуарах", и это явилось одной из причин того, что он тщательно рассказывает о своих поступках и объясняет их, почти не упоминая о не менее благородных и самоотверженных действиях других людей, сознательно рисует вокруг себя "галерею посредственностей". Даже по отношению к своим друзьям он все время ограничивается одним коротким, хотя и блестящим отзывом, стараясь более не упоминать об их заслугах. Он пишет: "Я состоял в большой дружбе с м-ль де Отфор, очень юной и наделенной пленительной красотой; отменно добродетельная и бесконечно преданная своим друзьям, она была очень привязана к королеве и ненавидела Кардинала"<sup>109</sup>. Далее он практически забывает о ее существовании, даже не намекая на то, что мадмуазель де Отфор могла совершить какой-либо отважный поступок. Между тем известно, что во время скандала, связанного с перепиской королевы с испанским воеводой, она несколько раз ночью тайком пробиралась в тюрьму, где был заключен Ла Порт, чтобы согласовать его показания с тем, что сказала королева. Даже о заслугах таких людей, как принц Конде и виконт Тюренн, он старается говорить как можно меньше, лишь отдавая дань вежливости. Сам автор объясняет это тем, что не собирается писать историю "и намерен говорить о себе лишь тогда, когда это будет иметь прямое отношение к людям, с ко-

торами я был связан общностью стремлений и дружбой, и касаться я буду только того, в чем был лично замешан, поскольку все остальное общеизвестно"<sup>110</sup>.

При прочтении первых глав "Мемуаров" возникает впечатление, что Ларошфуко гордится не столько своей привязанностью к друзьям, сколько тем, что он поступал "как должно". После описываемых событий прошло больше 20 лет, и он уже далеко не так хорошо относится к своим бывшим друзьям. Характеризуя людей, среди которых он называет и своего друга Сент-Ибара, Ларошфуко говорит: "...люди неуживчивые, беспокойные и необщительные, притворяющиеся, что они – сама добродетель..."<sup>111</sup>. К ним он прибавляет и своего "лучшего друга" "графа Монтрезора, который, не в меру усердствуя в подражании Сент-Ибару и Варикарвиллю, ни в чем не отступал от их образа действий и взглядов"<sup>112</sup>. В результате он делает печальный вывод: "На свою беду я был с ними в дружеских отношениях, не одобряя, впрочем, их поведения"<sup>113</sup>. Свое же собственное поведение он хотя и признает наивным, но отнюдь не считает неправильным.

Лишь один раз в "Мемуарах" Ларошфуко дает нам понять, что поступил по отношению к другу, возможно, не очень красиво. Речь идет о графе Миоссане, больше известном как маршал д'Альбре. Он был влюблен в герцогиню де Лонгвиль и очень желал понравиться ей. Ларошфуко говорит, что был близким другом графа, и тот рассказывал ему о своих надеждах. Ларошфуко решил, что сам он сможет добиться большего успеха: "Я заставил его согласиться с этим; он знал, каково мое положение при дворе; я рассказал ему о своих видах, добавив, что мысль о нем всегда будет для меня неодолимой преградой и что я не стану завязывать близкие отношения с г-жой де Лонгвиль, если он не предоставит мне полной свободы действий"<sup>114</sup>. Все вроде бы замечательно, и некоторые исследователи превозносят этот поступок как пример его бескорыстия и преданного отношения к другу. Это было бы так, но следующая фраза заставляет задуматься: "Более того, признаюсь, что, желая ее (свободы действий. – А.С.) добиться, я умышленно восстановил его против г-жи де Лонгвиль, хотя не сказал ничего несогласного с правдой"<sup>115</sup>.

Получается, что он намеренно сказал молодому человеку, своему сопернику, нечто не слишком привлекательное о даме, благосклонности которой тот хотел добиться, что восстановило его против нее. Поступок уже совсем не безукоризненный, и не только по отношению к другу. Однако, хотя в тексте и присутствует слово "признаюсь", видно, что Ларошфуко отнюдь не стыдится того, что сделал, и дальше он с удовлетворением замечает, имея в виду свое сближение с герцогиней, что Миоссан "попытался с превеликим шумом и треском этому воспрепятствовать, но тщетно. Это ни в чем не изменило моих намерений"<sup>116</sup>. Данный эпизод разрушает в наших глазах образ

безукоризненного рыцаря и бескорыстного друга, который пытается создать себе Ларошфуко. Но и он сам не считает, что этот поступок из числа тех, которыми, безусловно, стоит гордиться, и даже приводит, не акцентируя на этом внимания, некоторые объяснения своего поведения. Ларошфуко говорит о том, что Миоссан уже ни на что не рассчитывал и лишь тщеславие мешало ему отказаться от своих надежд. И, кроме того, сам герцог действовал "официально", с разрешения своего друга. В той небольшой уловке, к которой он прибегнул, Ларошфуко, судя по всему, не видел ничего непорядочного по отношению к другу. Негодование же Миоссана он объясняет лишь узеленным самолюбием.

Как известно, отношения между людьми всегда бывают весьма далеки от представлений о том, какими они должны быть. Степень расхождения между идеалом и реальным поведением зависит от многого, включая и своеобразие личности. Общество может устанавливать здесь лишь самые общие границы, выходя за которые индивид создает нежелательный для большинства прецедент. С этой точки зрения данный эпизод дает нам некоторое представление о том, какое поведение в отношении друзей Ларошфуко считал для себя реально допустимым, и позволяет уловить более широкий спектр его представлений о дружбе – от должного до реально приемлемого поведения с друзьями.

Еще одной очевидной особенностью дружеских отношений того времени была сдержанность в их внешнем проявлении. Строгий этикет охватывал в XVII в. по сути все стороны жизни, затронул он и дружбу. Одно из любопытных его проявлений подметил У.Г. Льюис: «...вы не имели права обращаться на "ты" к близкому другу в любом месте, где присутствовал король»<sup>117</sup>. Французский лингвист Жорж Маторе<sup>118</sup>, давая общую характеристику представлений о дружбе в XVII в., говорит о том, что наиболее яркой их особенностью является скованность во внешнем проявлении привязанности как следствие влияния жесткого придворного этикета. Он иллюстрирует свою мысль на примере дружеской переписки: «...нам трудно оценить точную природу дружеских чувств, выражение которых тогда ограничивалось благопристойностью, исключавшей любую фамильярность: обращение на "вы", употребление слов "мадам" и "месье" в обращении и в вежливой письменной формуле, сдержанность, соблюдавшаяся при воспоминаниях о личной жизни... В переписке, возможно, в большей степени, чем в разговоре, использовались слова вежливости, образовывавшие некие "общие фразы"... использовавшиеся при всевозможных ситуациях: *я счастлив, позвольте мне, ваш преданнейший слуга, мое почтение...* В дружеских отношениях, как и в обычных светских связях, свободно использовались преувеличенно вежливые слова»<sup>119</sup>.

Общий тон переписки Ларошфуко действительно очень сдержанный, и трудно с первого взгляда отличить, пишет ли он другу

или просто знакомому. Но все же и в XVII в. у дружеской переписки есть свои, хотя и незначительные, отличия. Эти особенности будут интересовать нас в свете вопроса о дружбе в социальной практике.

Особенности дружеской переписки у Ларошфуко мы увидим, если проследим по письмам за развитием его отношений с Пьером Лене, которого, прежде всего со слов самого Ларошфуко, можно назвать одним из ближайших друзей герцога. Из всех опубликованных писем Ларошфуко больше всего адресовано именно ему.

Первое из имеющихся в нашем распоряжении писем к Лене датировано 16 ноября и отнесено авторами издания к 1650 г. Лене на протяжении всей Фронды был верным сторонником Принца, Ларошфуко к этому времени тоже встал на сторону дома Конде. Будучи в одном "лагере", они весьма тесно общались. Письмо не содержит обращения, что уже свидетельствует о некоторой близости знакомства, ибо все деловые письма того времени непременно начинались с обращения "месье" или "мадам" ("Месье, кроме преимуществ, которые я получаю из тех милостей..."<sup>120</sup>). В конце стоит: "Позвольте заверить Вас, что я всегда сделаю для Вашего блага все, что в моих силах, и что я всегда полностью к Вашим услугам, как никто другой. Ларошфуко"<sup>121</sup>. Следующее письмо, от 8 декабря, заканчивается весьма похоже: "Прощайте. Прошу Вас, оставайтесь столь же милостивы ко мне и верьте, что я всегда к Вашим услугам, как никто другой. Ларошфуко"<sup>122</sup>. Но уже со следующего письма (от 27 декабря) Ларошфуко перестает ставить в конце свою подпись. Она больше ни разу не встречается в его письмах к Лене. Общие вежливые фразы в конце Ларошфуко перестает употреблять с 1652 г. (с письма от 11 сентября). Их нет и в тех письмах, которые от имени Ларошфуко писал Гурвиль. Подобные фразы встречаются лишь в тех письмах, что написаны рукой Виоля в то же время, они могли быть добавлены им как само собой разумеющиеся, а могли быть упомянуты и самим герцогом, не желавшим открываться перед посторонним человеком.

Таким образом, мы видим, что по мере развития отношений между Лене и Ларошфуко из писем последнего постепенно исчезают некоторые общепринятые формулы вежливости, которые, однако же, неукоснительно соблюдались им в письмах к другим людям. Дружеские отношения позволяют порой пренебречь некоторыми ограничениями, налагаемыми этикетом.

Другой пример этого мы можем увидеть, проследив за его перепиской с маркизой де Сабле. Она была одной из тех немногих хорошо образованных женщин, чей духовный уровень, по мнению мужчин, был достаточен для поддержания отношений "просвещенной дружбы". Имеющиеся в нашем распоряжении письма к ней датируются 1659–1675 гг. Первое из них представляет собой коротенькую записку. Два следующих письма, вероятно от 1660 г., заканчиваются



обычными вежливыми фразами типа: "Прошу Вас, продолжайте оказывать мне честь Вашей добротой и верьте, что никто в мире не желает и не уважает ее так, как я"<sup>123</sup>. Подписи в конце писем нет. Во всех последующих письмах уже отсутствуют и эти фразы. Больше всего писем относится к 1663–1664 гт., когда Ларошфуко работал над "Максимами" и посылал новые афоризмы мадам де Сабле, спрашивая ее мнение. Тон писем говорит о неформальных отношениях, Ларошфуко порой даже подшучивает над напыщенными вежливыми обращениями: "Вы не можете оказать мне большей милости, чем позволить подателю этой записки проникнуть в тайну Вашего мармелада и Ваших изумительных джемов. Я преданнейше умоляю Вас оказать ему эту честь и сделать все, что в Ваших силах"<sup>124</sup>.

Но в 1664 г. их отношения явно портятся. Возможно, это как-то связано с тем, что в этом году без ведома Ларошфуко вышли в свет его "Максимы". Мадам де Сабле могла быть причастна к этому, так как имела в своем распоряжении эти афоризмы. Быть может, причиной их ссоры было сближение Ларошфуко с мадам Лафайет, но так или иначе их отношения явно испортились. Из писем видно, что мадам де Сабле отказывалась принимать Ларошфуко у себя. Об этом свидетельствуют его просьбы и жалобы, переходящие из письма в письмо: "Я не знаю, что еще придумать, чтобы попасть к Вам, мне отказывают каждый день"<sup>125</sup>, "Вы отлично видите, что я неисправим, поскольку еще раз прошу Вас о встрече после всего того, что Вы мне сделали"<sup>126</sup>. Затем Ларошфуко пишет полуизвинительное, полублаженное письмо, в котором уже просит принять хотя бы своего друга. Следующее за этим письмо весьма примечательно, его подчеркнутый вежливый конец свидетельствует об окончательном охлаждении отношений: "Преданнейше целую руки и уверяю Вас, Малам, что никто не уважает Вас так, как я. Ларошфуко"<sup>127</sup>. Остальные письма относятся уже к 1667–1675 гт. В конце некоторых Ларошфуко ставит свою подпись, и видно, что их отношения хотя и наладились, но уже не имели прежней близости, о чем упоминает и сам автор: "Я скоро буду жаловаться Вам и просить о восстановлении моих старых прав, которые бесцеремонно попираются"<sup>128</sup>.

В дружеской переписке, начиная письмо, Ларошфуко не использует общепринятые обращения "madame" или "monsieur", он обходится вовсе без обращения. Известные формулы "mon ami" ("мой друг"), "mon cher ami" ("мой дорогой друг"), вероятно, еще не были распространены, ибо встретились нам среди писем этого времени лишь однажды, причем в послании к Ларошфуко испанского короля (порой в мемуарах, при передаче слов какого-нибудь героя, от его имени используется такое обращение, но тоже крайне редко). Слова "mon cher" часто встречаются в обращениях к родственникам: "Mon cher oncle" ("мой дорогой дядя"), "ma chère fille" ("моя дорогая дочка"), "ma chère soeur" ("моя дорогая сестра"). Для дружеских писем

Ларошфуко и его знакомых характерна некоторая эмоциональная сдержанность. С первого взгляда такие письма трудно отличить от обычных и даже деловых. Дружеская переписка еще не выделилась как особый вид эпистолярного жанра и не приобрела своего особого стиля. Анализ переписки Ларошфуко не выявляет свидетельств обогащения палитры «эмоциональных переживаний, ассоциирующихся с дружбой, и способов их выражения»<sup>129</sup>. Мы наблюдаем в его письмах все же некоторую скованность в выражении своих чувств.

Только четверо друзей Ларошфуко – Гито, Шавиньи, мадам де Сабле и Лене – писали к нему довольно регулярно в течение определенного времени. Как мы уже отмечали, дружеские письма герцога мало чем отличаются от обычных. Это касается не только оформления, но и содержания. В его письмах нет практически никаких сведений о своей жизни, которые могли бы быть интересны другу, почти нет и обмена мнениями по какому-либо вопросу. Все сколько-нибудь важные сообщения, касавшиеся собственной жизни, откладывались до личной встречи. Письма полны заявлений вроде: «Случилось множество вещей столь необычных, во всяком случае с тех пор, как я не видел Вас, что я умираю от желания пообщаться с Вами»<sup>130</sup>, «что до меня, то я всем сердцем желаю... быть с Вами. У нас, конечно, вышло бы множество тем для разговора»<sup>131</sup>. Письма почти не дают нам сведений о поступках друзей по отношению друг к другу. Письма, написанные от имени герцога Гурвилем, содержат гораздо более подробное описание событий. Но это касается лишь политики, интриг и военных сражений, о герцоге и о себе он не пишет почти ничего. Даже известная своей перепиской мадам Севиньи в письмах к друзьям очень мало говорит о себе. Ее послания полны сведений о силетнях и событиях столичной жизни, но она почти не упоминает о собственных мыслях, переживаниях и эмоциях. Если она и говорит о себе, то лишь затем, чтобы сообщить, с кем она обедала и что услышала. Очевидно, в XVII в. переписка не рассматривалась как неотъемлемая часть эмоционального общения в дружеских отношениях, а использовалась в основном только как средство для передачи необходимых сведений.

Все это связано с тем, что эпистолярный жанр находился в процессе своего становления, но свидетельствует также о том, что дружеские отношения еще не считались чем-то исключительно личным и интимным. Внешние проявления реальных чувств, привязанностей и переживаний находились под влиянием правил и ограничений светской жизни, которые тщательно скрывают эти чувства от посторонних глаз.

Анализ произведений Ларошфуко дает возможность выявить некоторые элементы представления о дружбе, бытовавшего в то время в кругу его общения, а также собственные взгляды герцога и его

поведение во взаимосвязи с этими представлениями. Это возможно благодаря качественно различным упоминаниям о дружбе в его произведениях:

- 1) формальное употребление терминов дружбы в повседневной жизни;
- 2) наблюдения герцога относительно особенностей понимания дружбы в кругу его общения;
- 3) собственное истолкование Ларошфуко причин и характера этих особенностей понимания дружбы;
- 4) рассказ непосредственно о поведении герцога в отношении своих друзей.

Кроме того, переписка Ларошфуко с некоторыми людьми сама является частью их дружеских отношений. Все это вместе взятое дало нам возможность говорить о его собственном понимании дружбы, составной частью которого является стереотипное ее видение в кругу, в котором вращался герцог.

Современные французские словари, давая определение дружбы, говорят о "чувстве привязанности", Фюретьер же употреблял просто слово "привязанность", включая в понятие дружбы не только чувства, но и связанные с ними отношения. Для современных людей важно именно *чувство* привязанности, содержание же дружеских отношений настолько индивидуально, что психологи спорят, можно ли вообще говорить о каких-либо обязанностях между друзьями. В XVII же веке дружеские связи строго регулировались нормами этикета, а потому имели довольно четкие формы. Общие правила светского общения в дружбе лишь немного смягчались. Переписка между друзьями допускала только незначительные послабления светских приличий. В результате сама переписка не считалась важной частью дружеского общения. Дружеские письма XVII в. еще напоминают средневековые, с "более публичным стилем писания, без секретности и интимности, которые возможны в современных письмах"<sup>132</sup>. Жанр дружеского письма еще не обрел своих характерных особенностей, и то, что в переписке лишь с некоторыми из своих друзей Ларошфуко позволяет себе отступать от общепринятых формул, может служить отражением того, что с этими людьми он был особенно близок.

Большой, нежели сейчас, акцент на конкретном наполнении дружеских отношений проявлялся и в том, что истинная дружба воспринималась в связи с идеалом *honnête homme* и упоминалась в одном ряду с такими обязательными чертами *honnête homme*, как почтение, уважение, доброта, преданность. Но если дружеские отношения вступали в противоречие с понятием долга и чести, то приоритет отдавался долгу, иначе дружба утрачивала атрибут "истинности". Сам Ларошфуко высоко ценил дружеские отношения и ни разу не употребил в текстах слово "дружба" в ироническом или негативном

контексте. Но предъявляя высокие требования к дружеским отношениям, он неизменно испытывал разочарование от их реальных воплощений, полагая, однако, допустимым для себя некоторое отклонение от идеала, при формальном соблюдении дружеских обязанностей. Наличие у человека друзей и его способность к дружбе наш автор считал несомненным достоинством. И во многом из-за этого Ларошфуко, будучи человеком гордым и тщеславным, всячески стараясь подчеркнуть свою заботу о друзьях. Из чего, однако, не следует, что его привязанности были неискренними. Можно назвать по крайней мере двух человек, дружбу с которыми он пронес через многие годы, – это Пьер Лене и Жан Эро Гурвиль. Основой дружбы полагалось равенство людей как личностей, хотя, разумеется, оно распространялось на людей из вполне определенной, замкнутой социальной среды. Благодаря этому дружба с известными и влиятельными людьми давала человеку определенный статус. Дружеские связи могли наряду с родственными быть свидетельством положения человека в обществе.

Но отношение к дружбе как к доказательству личных достоинств, наряду с тем, что сфера частной жизни, а с ней и дружеские отношения находились только в процессе своего обособления от всего публичного, часто приводило к тому, что дружбой стремились назвать практически любое сколько-нибудь близкое знакомство. Само слово "amitié" было весьма неопределенно и имело несколько значений. Термины дружбы употреблялись и в случае отношений клиенты. Ларошфуко и другие авторы часто называют "другом" политического единомышленника, простого знакомого, сторонника во время военных действий. Дружбой в делах политики и интригах могли назвать любую поддержку и расположение. Эта многозначность досталась в наследство от средневековья, когда, по словам исследователей, слово "дружба" "употреблялось применительно к более широкому кругу знакомств и контактов, чем тот, где человек чувствует сильную личную привязанность"<sup>133</sup>.

Наиболее типичное определение дружбы, встречающееся в современных французских словарях, звучит так: "Чувство привязанности, отличное от любви, которое связывает одного человека с другим"<sup>134</sup>. Часто поясняется, что упомянутое отличие от любви заключается в том, что дружба не основывается на сексуальном инстинкте. Эта оговорка присутствует практически во всех определениях дружбы, и потому можно полагать, что это считается качественной характеристикой дружеских отношений, необходимой для их понимания. Ларошфуко и другие философы-моралисты, такие, как Монтень и Лабрюйер, отличие любви от дружбы видели в рациональном начале, характерном для последней, а также подчеркивали, что для дружеского общения необходим определенный уровень духовного развития. В средние века категория дружбы охватывала лишь отноше-

ния, возникающие между людьми одного пола. В XVII в. дружба между мужчиной и женщиной признавалась возможной, но требовала объяснений и оговорок (в основном касающихся как раз духовного развития). Она носила несколько демонстративный характер и даже получила особое название – “просвещенная дружба”. Сейчас дружеские отношения между мужчиной и женщиной кажутся вполне естественными, и их разграничение с отношениями, основанными на любви, проводится по принципу наличия или отсутствия (в той или иной степени) сексуального влечения к друг другу. Вопрос о низкой духовности женщины сегодня, естественно, забыт.

Многие из отмеченных особенностей представления о дружбе, которые мы подметили у Ларошфуко, свидетельствуют о том, что дружеские отношения строились в XVII в. на соприкосновении двух сфер – частной и публичной, они были вписаны в систему светского общения. Внешние проявления чувств, привязанностей и переживаний оставались под влиянием условностей светской жизни. Разграничение между частной и публичной сферами жизни станет особенно заметно лишь в следующем, XVIII в., когда эмоциональность, интимность дружеских отношений, наоборот, будут всячески подчеркиваться в противовес тому, что определяет отношения вне круга близких.

### Примечания

- 1 Итальянские походы – военные операции Франции в Северной Италии в рамках Тридцатилетней войны (1618–1648).
- 2 Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог де (1585–1642) – государственный деятель, епископ Лосонский (1607–1624), депутат Генеральных Штатов (1614), первый духовник Анны Австрийской, кардинал (1622), первый министр (1624). Дворянская аристократия была политическим противником Ришелье, многие видные дворяне поддерживали королеву в противовес его влиянию.
- 3 Рамбуэ Катрин де Вивонн, маркиза де (1588–1665) – хозяйка литературного салона, жена Шарля д’Анженна, маркиза де Рамбуэ.
- 4 Конде Луи II де Бурбон, герцог Энгиенский (1621–1686) – знаменитый полководец, прозванный Великим Конде. Со смерти своего отца в 1646 г. как первый принц крови, представитель побочной ветви Бурбонов, носил титул Принца.
- 5 Гонди Жан Франсуа Поль де (1613–1679) – коадьютор, а с 1654 г. архиепископ Парижский. В 1652 г. принял кардинальский сан и стал зваться кардиналом де Реа Видный деятель Фронды.
- 6 Бурбон Анна Женеьева де, герцогиня де Лонгвиль (1619–1679) – сестра Великого Конде, активная участница Фронды, вторая жена герцога де Лонгвиля (1642).
- 7 Сабле Мадлен де Сувре, маркиза де (1599–1678) – хозяйка литературного салона.
- 8 Шеврез Мария, герцогиня де, урожденная де Роган (1600–1679) – жена коннетабля Шарля де Люина (1617–1621), а затем Клода Лотарингского, герцога де Шевреза (1622). Приближенная Анны Австрийской, затем ее противница во времена Фронды. В 1637 г. бежит в Испанию от преследования Ришелье и Людовика XIII.
- 9 Фронда – гражданская война во Франции 1648–1653 гг., политически выходящая в противостояние сословий и короны. Условно разделяется на “старую”, или

- "парламентскую", Фронду (1648–1649) и "новую", или "Фронду принцев" (1650–1653).
- <sup>10</sup> Мазарини Джулио (1602–1661) – кардинал (1641), первый министр (1642). Продолжал по отношению к дворянской аристократии политику, проводимую Ришелье. Многие дворяне, сосланные при Ришелье и вернувшиеся ко двору после его смерти, вновь отправляются в ссылку за открытое выражение недовольства политикой нового министра.
- <sup>11</sup> "Луврские привилегии" – ряд преимуществ при дворе, которыми пользовались герцоги, как-то: право въезжать в Лувр в карете, право герцогинь сидеть в присутствии королевы ("право табурета") и т. п.
- <sup>12</sup> На сегодня известно 14 списков и редакций "Максима". Первое издание было опубликовано в 1664 г. в Голландии без ведома автора. Ларошфуко расценивал его как "дурную копию".
- <sup>13</sup> Первое научное издание было осуществлено Ж. Турдо и Л. Д. Жильбером (*La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. P., 1868–1881. Vol. 1–3*). В 1957 г. было опубликовано Полное собрание (*Idem. Oeuvres complètes. P., 1957. 986 p.*), куда, помимо указанных произведений, вошла "Апология принца Марсийяка" и некоторые стихотворения Ларошфуко. Издание 1868–1883 гг. до сих пор остается лучшим. Лучшее русское издание было сделано в 1971 г. в серии "Литературные памятники" (Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максима. М. 1971. 280 с. Воспроизведено репринтным способом в 1993 г.). Эти два издания и станут основными в нашей работе.
- <sup>14</sup> Первое издание было выпущено в Руане в 1662 г. без ведома автора. По жалобе Ларошфуко парижский парламент запретил его продажу. В том же году в Брюсселе был издан авторский текст (на титульном листе указано: Кёльн).
- <sup>15</sup> Первое более или менее полное издание писем Ларошфуко было сделано в 1882 г. (*La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. Maximes, mémoires et lettres. Tours, 1882. 448 p.*) В 1883 г. выходит третий том издания Ж. Турдо и Л. Д. Жильбера, содержащий переписку. Авторами была проведена огромная работа по датировке писем, к каждому письму составлено описание и комментарии. В Полном собрании сочинений добавлено лишь одно письмо.
- <sup>16</sup> Бумаги Пьера Лене, главного адресата Ларошфуко, не опубликованы. В нашем распоряжении имеется только несколько писем мадам де Сабле. Часть из них опубликована в 1883 г. как приложение к переписке Ларошфуко, и еще несколько писем добавлено в Полном собрании сочинений.
- <sup>17</sup> Furetière A. Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière. Fac-simile de l'édition de 1690 an. P., 1984. Vol. 1. P. k2.
- <sup>18</sup> Le Grande Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique de la langue française P. Robert. 2-ème éd. Montréal, 1986. Vol. 1. P. 319.
- <sup>19</sup> Grande Larousse de la langue française. Montréal, 1986. Vol. 1. P. 151.
- <sup>20</sup> Sévigné M. de. Lettre au comte de Bussy-Rabuten du 20.05.1667 // Sévigné M. de. Lettres choisies de madame de Sévigné. P., 1870. P. 34.
- <sup>21</sup> La Rochefoucauld F. de. Lettre à Lenet du 14.08. [1652] // La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. P., 1881. Vol. 3. Pt. 1. P. 61.
- <sup>22</sup> См., например: Dictionnaire du français classique: XVII siècle. P., 1989. P. 27.
- <sup>23</sup> Furetière A. Op. cit. P. k2.
- <sup>24</sup> Ларошфуко Ф. де. Максима // Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максима. С. 157.
- <sup>25</sup> Ларошфуко Ф. де. Размышления на разные темы. 5. Об откровенности // Там же. С. 210.
- <sup>26</sup> Там же.
- <sup>27</sup> Там же. С. 205.
- <sup>28</sup> "Honnête homme" – выражение, весьма распространенное в XVII в. в светских кругах, академиях, салонах. Обозначало идеальный образ придворного, благовоспитанного человека, наделенного красотой, смекалкой, ловкостью, склонностью к искусствам и литературе, умением вести беседы и т. п., а также всевозможными добродетелями – одним словом, всем тем, что необходимо для успешной и достойной светской жизни.

- 29 Ривароль А. де. Избранные высказывания // Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. СПб., 1995. С. 499.
- 30 Шамфор Н.-С. Из "Максим и мыслей. Афоризмов и анекдотов" // Там же. С. 35.
- 31 Вовенарг Л. де Клапье. Из "Введения в познание человеческого разума" // Там же. С. 321.
- 32 Миносан Сезар Феб д'Альбре (1614–1676) – генерал-майор, сторонник принца Конде, а потом Мазарини, маршал (1653). Друг, а затем противник Ларошфуко.
- 33 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 37.
- 34 Исследователи считают, что им был маркиз Малеврие.
- 35 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 33.
- 36 Ларошфуко Ф. де. Размышления на разные темы. 5. Об откровенности. С. 211.
- 37 Joissin A. Réflexions sur les relations internobiliaires en France aux XVIe et XVIIe siècles // French Historical Studies. Columbus, 1992. Vol. 17. № 4. P. 873.
- 38 Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 157.
- 39 Там же. С. 179.
- 40 Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.; Л., 1964. С. 88.
- 41 Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 183.
- 42 Фуке Никола (1615–1680) – докладчик в Государственном совете, генеральный прокурор (1650), суперинтендант (1650), отставлен от должности и арестован в 1661 г.
- 43 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Lenet du 11.09. [1652] // La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. Vol. 3. P. 89.
- 44 Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 172.
- 45 Виттер Ю.Б., Самарин Р.М. История зарубежных литератур XVII века. М., 1954. С. 392.
- 46 Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 194.
- 47 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Colbert du 21.12. [1663] // La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. Vol. 3. P. 143.
- 48 Liancourt de. Lettre à Malbastit du 19.09.1638 // Ibid. P. 286.
- 49 Ларошфуко Ф. де. Мемуары // Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимумы. С. 61.
- 50 Там же. С. 51; La Rochefoucauld F. de. Mémoires // La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. P., 1878. Vol. 2. P. 147 (далее в сносках на параллельный текст с этого издания будут указываться в скобках страницы).
- 51 Ретц Ж.Ф. П. Мемуары. М., 1997. С. 41.
- 52 Motteville F. de. Mémoires de madame Motteville sur Anne d'Autriche et sa cour. P. 1886. Vol. 1. P. 131.
- 53 Gourville J.-H. Lettre à Lenet du 11.12.1652 // La Rochefoucauld F. de. Oeuvres. Vol. 3. P. 272.
- 54 Lenet P. Mémoires // Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le XIII siècle jusqu'à la fin du XVIII siècle. P., 1854. Vol. XXVI. P. 218.
- 55 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 61–62.
- 56 Kettering S. Patronage in early modern France // French Historical Studies. Columbus 1992. Vol. 17. № 4. P. 849.
- 57 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 39 (P. 104).
- 58 Там же. С. 13 (P. 25).
- 59 Там же. С. 97 (P. 291).
- 60 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Guitaut du 22.09. [1664] // Oeuvres. Vol. 3. P. 71.
- 61 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Guitaut du 15.11.[1663] // Ibid. P. 173.
- 62 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mlle de Scudery, s.a. // Ibid. P. 217.
- 63 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Guitaut du 22.09.[1664] // Ibid. P. 171.
- 64 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1664] // Ibid. P. 168.
- 65 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Mazarin du 1648 // Ibid. P. 31.
- 66 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 75.
- 67 Там же. С. 27.
- 68 Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С. 93.

- 69 *Sablé M. de. Traité de l'amitié // Cousin V. Madame de Sablé. P., 1959. P. 117.*
- 70 *Montresor C. de Bourdeille. Mémoires de monsieur de Montresor, contenant diverses pièces durant le ministère du cardinal Richelieu. Cologne, 1723. Vol. 1. P. 2, 20.*
- 71 *Motteville F. de. Op. cit. P., 1886. Vol. 2. P. 396.*
- 72 *Lenet P. Op. cit. P. 197.*
- 73 *Ретц Ж. Ф. П. Указ. соч. С. 209. (Retz J.-F.-P. De Gondi. Mémoires // Retz J.-F.-P. Mémoires. La Conjuración du comte J.-L. Fitesque. Pamphlètes. P., 1956. P. 277.)*
- 74 *Ретц Ж. Ф. П. С. 54.*
- 75 *Кон И. С. Дружба: этико-психологический опыт. М., 1989. С. 350. Эта работа состоит из двух частей. Первая посвящена "истории дружбы", вторая – анализу отношений на современном материале. Первая часть, которая нас непосредственно интересует, имеет четыре главы. В первой, "По странам и континентам", анализируются различные подходы к изучению дружбы, концепции социологов конца XIX–XX в., на базе этнографических материалов прослеживается многообразие дружеских канонов в мире. Вторая глава составлена на основе материалов одной из статей Кона и рассказывает о дружбе в Древней Греции. В следующей главе, "От рыцарской дружбы к романтической", рассматриваются изменения в понимании дружбы, которые происходят с начала средних веков до середины XIX в.*
- 76 *Там же. С. 94.*
- 77 *Sablé M. de. Op. cit. P. 116.*
- 78 *Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 76.*
- 79 *Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 14 (P. 29–30).*
- 80 *Ретц Ж. Ф. П. Указ. соч. С. 17.*
- 81 *Там же. С. 94.*
- 82 *Кoadьютор – помощник архиепископа. В данном случае имеется в виду Ж. Ф. П. де Гонди, будущий кардинал де Ретц.*
- 83 *Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 41 (P. 110).*
- 84 *Séguin M. de. Lettre à mme de Grignan du 1678–1679 // Séguin M. de Lettres... P. 227–228.*
- 85 *Turenne H. de. Lettre à mme de Turenne du 09.07.1655 // Turenne H. Lettres de Turenne P., 1971. P. 512.*
- 86 *Turenne H. de. Lettre à mme de Turenne du 01.08. 1656 // Ibid.*
- 87 *Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 6 (P. 5).*
- 88 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 156.*
- 89 *Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С. 86.*
- 90 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 233.*
- 91 *Gordon K.K. Madame Pompadour, Pigalle and Iconographie of Friendship // The Art Bulletin. N. Y. 1968. Vol. 50. №. 3. P. 255.*
- 92 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 184.*
- 93 *Монтень М. де. Опыты: Избр. главы. М., 1991. С. 159.*
- 94 *Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С. 77.*
- 95 *Там же. С. 85.*
- 96 *Там же. С. 86.*
- 97 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 233.*
- 98 *Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С. 89.*
- 99 *Шамфор Н. С. де. Максимумы и мысли. Характеры и анекдоты. М., 1966. С. 67.*
- 100 *Цит. по: Кон И. С. Указ. соч. С. 86.*
- 101 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 178.*
- 102 *Sablé M. de. Op. cit. P. 117.*
- 103 *Ларошфуко Ф. де. Максимумы. С. 195.*
- 104 *Там же. С. 183.*
- 105 *Howarth W.D. Life and Lettres in France: the Seventeenth Century. L., 1965. P. 66.*
- 106 *Паскаль Б. Из "Мыслей" // Лабрюйер Ж. де, Ларошфуко Ф. де, Паскаль Б. Суждения и афоризмы. М., 1990. С. 196.*
- 107 *Кон И. С. Указ. соч. С. 160–161.*



- 108 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. С. 20.  
 109 Там же. С. 11.  
 110 Там же. С. 12.  
 111 Там же. С. 13.  
 112 Там же.  
 113 Там же. С. 28.  
 114 Там же. С. 37.  
 115 Там же.  
 116 Там же.  
 117 Lewis W.H. The Splendid Century: Life in the France of Louis XIV. N.Y., 1957. P. 39  
 118 Matoro G. Amitié // Dictionnaire du Grande siècle. P., 1990. P. 71.  
 119 Ibid.  
 120 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Colbert du 21.12. [1663] // La Rochefoucauld F. de Oeuvres. Vol. 3. P. 143.  
 121 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Lenet du 16.11. [1650] // Ibid. P. 39.  
 122 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Lenet du 08.12. [1650] // Ibid. P. 41.  
 123 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1660] // Ibid/ P. 128.  
 124 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1663] // Ibid. P. 164.  
 125 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1664] // Ibid. P. 167.  
 126 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1664] // Ibid. P. 168.  
 127 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [1664] // Ibid.  
 128 La Rochefoucauld F. de. Lettre à mme de Sablé, s.a. [между 1667 и 1670, возможно 1668] // Ibid. P. 202.  
 129 Кон И.С. Указ. соч. С. 88.  
 130 La Rochefoucauld F. de. Lettre à Lenet du 30.04. [1652] // La Rochefoucauld F. de Oeuvres Vol. 3. P. 48.  
 131 La Rochefoucauld F. de. Lettre au comte de Guitaut, [1664] // Ibid. P. 173.  
 132 Haseldine J. Understanding the Language of *Amiticia*. The Friendship Circle of Peter of Celle (c. 1115–1183) // Journal of medieval History. Amsterdam, 1994. Vol. XX. № 3 P. 258.  
 133 Ibid.  
 134 Grande Larousse. Encyclopedia. P., 1960. Vol. 1. P. 350.

*Друзья и гости в Древнем Китае*  
 (Эпоха Западного Чжоу – период Чуньцю.  
 XI–V вв. до н. э.)\*

**“Связки раковин” и дарение**  
 как элемент отношений дружбы и гостеприимства

Обращаясь к древнейшему периоду китайской истории, мы, к сожалению, вынуждены довольствоваться ограниченным кругом источников. Для эпохи Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.) и Западного Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.) из синхронных источников мы располагаем только эпиграфикой. Это – *цзягуэнь* – надписи на гадательных костях и панцирях черепах<sup>1</sup> (Шан-Инь) и *цзиньэнь* – инскрипции на ритуальных бронзовых сосудах<sup>2</sup> (Шан-Инь, Западное Чжоу, Чуньцю). Надписи на иньских гадательных костях дают нам некоторые данные для изучения этимологии понятий “друг” (ю, *лэнью*) и “гость” (*бинь*, *кэ*), возникших в эпоху Западного Чжоу.

В иньской эпиграфике знак (ю), состоявший из двух графем “рука”, обозначал совершение жертвоприношений предкам, с одной стороны, и оказание божественной помощи предками, с другой стороны: “Совершить подношение (ю) вану Хаю трех белых быков?”<sup>3</sup> “Пошлет ли предок (ди) нам помощь (ю)? Предок не пошлет нам урожай?”<sup>4</sup> Эта “двусторонняя” природа ю, которую можно представить как механизм дарообмена между предками и потомками, как мне представляется, имеет большое значение для формирования представлений о дружбе – ю как об отношениях, основанных на принципах реципрокности. В другом написании знака ю “руки” помещены в верхнюю часть знака, а в нижней стоит графема “сладкий, приятный”, или “рот” (возможны варианты). В обоих вариантах ю нередко употребляется в значении “угощать, потчевать”. Этот смысл иероглифа ю также имеет немаловажное значение для выяснения от-

\* Статья издана в авторской редакции

ношений между "друзьями", так как один из наиболее распространенных контекстов, в которых они выступают, – это участие в совместной трапезе.

В западно-чжоуском словосочетании *пэн ю* (*пэнью*) первый знак состоит из двух смысловых частей: детерминатива "человек" и счетного слова *пэн* (связка), использовавшегося для счета раковин-каури, одного из самых популярных объектов ритуального дарообмена. Образ связки, соединяющей отдельные раковины в единое целое, мог восприниматься и в символическом плане, демонстрируя прочность отношений между ними, подобно тому, как с помощью образа собранного воедино пучка стрел передавалось понятие *цзу* – клан.

В более позднее время *ю*<sub>2</sub> замещается более простым *ю*, а из знака *пэн* выпадает детерминатив "человек". В таком виде конструкция *пэнью* сохраняется и в современном китайском языке и обозначает понятие "друг"<sup>5</sup>. Содержание понятия *пэнью* было различным в разные периоды китайской истории.

В иньское время иероглиф *бинь*, представлявший собой пиктографическое изображение человека под крышей, обозначал «особый жертвенный ритуал "приема" духов предков»<sup>6</sup>.

В надписях на ритуальных бронзовых сосудах западно-чжоуского времени знак *бинь* стал обозначать один из видов дарений.

С этой новой функцией знака *бинь* связано появление в его написании дополнительного смыслового элемента – графемы "раковина-каури" (*бэй*). В таком виде этот знак начинает обозначать понятие "гость".

Лишь иероглиф *кэ*, использовавшийся собственно для обозначения понятия "гость", как позволяют предположить древнейшие произведения обрядовой поэзии, еще раньше, чем знак *бинь*, не связан непосредственно со сферой сакральной коммуникации и ритуального дарообмена. В надписях на западно-чжоуской бронзе иногда заменял аналогичный знак *гэ*, имеющий значение "входить", "находиться в...": "В тринадцатой луне *ван* находился (*кэ*) в Фэн-цзине"<sup>7</sup>.

"Раковины" и "связки раковин" являются элементами, связывающими между собой понятия "гость" и "друг". Это позволяет строить догадки о стержневом значении дарообмена как между "друзьями", так и между гостями и гостеприимцами. Однако такое предположение будет частично справедливым лишь по отношению к последним, тогда как в основе отношений между друзьями лежал иной механизм.

### *"Благопожелания" и место "друзей" в кругу близких в эпоху Западного Чжоу*

Подходя к надписям на бронзе с намерением увидеть в них отражение межчеловеческих отношений, в их структуре условно мы

можем выделить две части: до и после упоминания об отливке ритуального сосуда. Первая часть, повествующая о тех или иных событиях, с которыми было связано решение изготовить ритуальный предмет, в том числе о дарении, представляет человека в системе отношений правитель–подданный, как часть государственного организма. Вторая часть – “благопожелание” (*зу цы*) – сообщает о назначении сосуда, как правило, для жертвоприношений в храме предков. Она показывает владельца сосуда в системе отношений с его близкими, чаще всего – как единицу родового целого, почитающим своих предков и заботящимся о потомках. Первую часть можно условно назвать “внешней”, а вторую – “внутренней”. В этой “внутренней” части очерчивается круг тех, для чьего блага предполагается использовать ритуальный предмет. Этот круг мы вполне можем условно обозначить как “круг близких”.

В эпоху Западного Чжоу человек, получивший дары от правителя, «выступал не сам по себе, но как полномочный представитель кланового “тела”, состоявшего из многочисленных предков и потомков. Дары, им полученные, становились сакральным достоянием всего клана»<sup>8</sup> (*цзунцзу*)<sup>9</sup>. Эти представления наиболее наглядно выражает традиционная концовка подавляющего большинства надписей на бронзе – *цзы цзы сунь сунь юн бао юн* – “дети и внуки вечно [будут пользоваться] как драгоценностью”. Авторы надписей рассчитывали, что их потомки не только будут физически пользоваться ритуальными предметами, но и продолжать пользоваться результатами милостей – и полученных в настоящий момент от правителей, и обретенных некогда их собственными предками, и теми, что ниспосллют в будущем духи предков, вкушая жертвы, поднесенные им в означенных сосудах. Желанные результаты, которые должно было обеспечить применение ритуального предмета, в частности долголетие, бесконечное воспроизводство и процветание потомства, сохранение “просветленной добродетели”, унаследованной от предков, вечная служба правителю или владыкам более низкого уровня и т. д., представляют собой те или иные проявления “счастья”, каким его понимали древние китайцы.

В “круге близких”, обозначенном во “внутренней” части западно-жоуских надписей на бронзе, можно выделить три группы лиц, которым были адресованы благопожелания. Первая – это усопшие члены рода автора надписи, т. е. его предки и покойный отец. Вторая – это потомки – дети и внуки. Третья группа – это живущие ныне люди, которым автор выражает почтительность. Как правило, в благопожеланиях упоминаются представители первой и второй групп. Предки и потомки образуют вместе с автором вертикальную связь, демонстрирующую непрерывность поколений во времени. Третья группа, видимо, может рассматриваться как собственно “круг близких”, с которыми владелец сосуда находился в одной временной плоскости и

фактически общался. В него могли входить покровители, матери, дядя, "друзья" *пэнью* (ю, до ю) и свойственники. Однако упоминаются эти "близкие" крайне редко.

Одни из наиболее ранних упоминаний ю в западно-чжоуской эпиграфике относятся ко времени Кан-вана (1004–967 гг. до н. э.). Это надписи на ритуальных сосудах, принадлежавших чиновнику цзоэ Маю. В надписи на сосуде *Май цзунь* говорится:

"Май, [служивший в должности] цзоэ<sup>10</sup> [у Цзин]-хоу, получил в дар металл от правителя-хоу. Май отблагодарил [хоу]. [Май] использовал [этот дар], чтобы изготовить драгоценный сосуд. [Он будет использовать этот сосуд], чтобы устраивать пиры [в честь] хоу и возвеличивать его приказы. ... Многочисленные внуки и дети будут вечно без конца пользоваться [ванскими милостями]. До конца [они] будут использовать добродетель, чтобы принимать многих ю (до ю), хлопотать, выполняя приказы"<sup>11</sup>.

Самое раннее употребление конструкции *пэнью* относится ко времени правления Гун-вана (конец 927–906 гг. до н. э.). Чиновник Цюэ Цао приказал изготовить ритуальный сосуд *дин* и отлить на нем следующую надпись:

"На седьмом году [Гун-вана], в первой декаде десятого месяца ван находился в чжоуском дворце Бань-гун. На рассвете ван вошел в большой павильон. Цзин-бо вошел в сопровождении Цюэ Цао. [Они] остановились на среднем дворе, повернувшись лицом к северу. [Ван] пожаловал Цюэ Цао передник с подвесками... Цюэ Цао отвесил поклон и осмелился ответно возблагодарить милость Сына Неба. [Он] воспользуется [случаем], чтобы изготовить драгоценный *дин*. [Он будет] использовать [его, чтобы] устраивать пиры для *пэнью*"<sup>12</sup>.

Через восемь лет по заказу того же человека был изготовлен еще один *дин* с аналогичной надписью. Эти надписи выделяются из множества других, как созданных ранее, так и синхронных.

Цюэ Цао изготовил два *дина* не для жертвоприношений уопшим родственникам, а для пиров с "друзьями". Не менее удивительно, что в конце надписи отсутствует привычная формула "цзы цзы сунь сунь юн бао юн" (сыновья и внуки [будут] вечно использовать [сосуд как] драгоценность) или ее варианты. Такая концовка иногда опускалась в коротких (полтора-два десятка иероглифов) надписях. Но число знаков в каждом из текстов Цюэ Цао превышает 50 иероглифов. Тексты достаточно информативны. Трудно представить, что дело в экономии места или небрежности. Можно, конечно, предположить, что Цюэ Цао был евнухом или не имел детей вследствие какой-то болезни. Однако предки-то у него, естественно, были.

Вероятно, Цюэ Цао не упоминал ни предков, ни потомков потому, что сосуд предназначался не для принесения жертв, а для использования во время пира. Если жертвы предкам не приносились, то, соответственно, и потомки не могли извлечь пользы из простого сосуда для пищи. Нам не известно, приказывал ли Цюэ Цао отливать кроме этих еще какие-либо сосуды, предназначенные собственно для

жертвоприношений. Так это или нет, очевидно, что для Цюэ Цао пиры с *пэнью* и ритуальные действия в храме предков были двумя изолированными друг от друга сферами деятельности. При этом Цюэ Цао настолько высоко ценил своих *пэнью*, что изготовил и посвятил им два дорогостоящих треножника типа *дин* – наиболее значимого с ритуальной точки зрения<sup>13</sup>.

Авторы более поздних надписей, например чиновник времени Ли-вана (857–841 гг. до н. э.) *шаньфу* Кэ или аристократ Гуай-бо Гуай-бу, живший в годы правления Сюань-вана (827–782), иногда изготавливали “многофункциональные” сосуды, пригодные для использования и в храме, и на пиру:

“Ван приказал помощнику *иньши* Ши Цзиню передать *шаньфу* Кэ поля и людей. Кэ, сложив [руки], поклонился и осмелился ответить на несравненно щедрую милость *вана* благодарностью, изготовив походный [сосуд] *сой*, который будет использоваться для угощения *шиня*<sup>14</sup>, друзей (*пэнью*) и свойственников (*хуньгоу*). Кэ будет использовать его утром и вечером, принося жертвы великим предкам и покойному отцу. Великие предки и покойный отец ...ниспосллют Кэ много счастья, долголетие и вечную жизнь. Кэ будет [жить] десять тысяч лет. Дети и внуки Кэ будут пользоваться [сосудом] как драгоценностью”<sup>15</sup>.

Кэ предполагал, что будет использовать этот сосуд<sup>16</sup> во время пиров для угощения своего покровителя *шиня*, своих *пэнью* и свойственников. Тот же самый сосуд *шаньфу* Кэ предназначал и для принесения жертв предкам. Примечательно, что использование сосуда в храме должно было принести “небесные” дары самому Кэ и его потомкам, т. е. членам одного рода. Благодаря применению того же сосуда на пиру получить дары в виде угощения могли люди, не бывшие кровными родственниками Кэ, в частности свойственники.

*Шаньфу* Кэ упоминал *пэнью* во вторую очередь вслед за его покровителем и раньше, чем *хуньгоу* – членов рода его супруги. Последовательность перечисления указывает на то, что Кэ ценил *пэнью* более высоко, чем некровных родственников.

Те же приоритеты были и у Гуай-бо:

“[Гуай-бо будет] использовать [сосуд для того, чтобы] совершать утром и вечером жертвоприношения для выражения сыновней почтительности (*сяо*<sup>17</sup>) в храме предков [и] любви (*хао*<sup>18</sup>) [по отношению к] *пэнью* и всему множеству свойственников (*хуньгоу*); использовать [его, чтобы] демонстрировать совершенные доблести [на службе], [обрести] вечную жизнь [и] несравненное долголетие. Дети и внуки [Гуай-бо] Гуй Бу десять тысяч лет будут ежедневно использовать его для жертвоприношений в храме предков”<sup>19</sup>.

“Друзья” вновь упоминаются в этом тексте вместе со свойственниками, в то время как о кровных родственниках – братьях или дядях – нет ни слова. Это выглядит по меньшей мере странным, если иметь в виду, что чжоуские аристократы ставили родовые ценности превыше всего. Это противоречие будет снято, если предположить, что термин *пэнью* (*ю*) был собирательным для обозначения широкой

группы кровных родственников. В пользу этой догадки говорят слова другого владельца сосуда времени Сюань-вана – Ду-бо:

“Ду-бо изготовил драгоценный сосуд-*сюй*. [Он] будет использовать [его для совершения] жертвоприношений *сян* [и для выражения] сыновней почтительности (*сяо*) величественным духам, предкам и покойному отцу, [а также] любимым *лэнью*. [Ду-бо будет] использовать [его для обретения] долголетия и вечной жизни”<sup>20</sup>.

Один и тот же ритуальный сосуд не просто предназначался одновременно для жертвоприношений предкам и для использования в кругу *лэнью*, но для выражения **сыновней почтительности** и предкам, и *лэнью*. Принцип сыновней почтительности (*сяо*) связывал между собой детей и родителей, потомков и предков, младших и старших братьев. Выражение *сяо* по отношению к посторонним, если бы *лэнью* таковыми являлись, сообщение об этом в одном предложении вместе с сообщением о жертвоприношениях предкам, и при этом отсутствие упоминания о живущих ныне родственниках, – сомнительно. Более вероятно, что *лэнью*, упомянутые в надписи на Ду-бо *сюй*, были родственниками владельца сосуда.

О родственных связях между “друзьями” свидетельствует и надпись на сосуде *Синь дин*, автор которой в надписи на ритуальном сосуде спрашивает счастья для своих ю:

“Синь изготовил драгоценность. [Синь] будет [жить вечно] без предела. Его семья (*цзя*) [будет полна] гармоничной добродетели. [Синь будет] использовать [сосуд, чтобы] угощать своих сверстников – многочисленных друзей (*би до ю*). Многочисленные друзья (*до ю*) пусть обретут счастье. Синь пусть проживет десять тысяч лет”<sup>21</sup>

Сосуд *дин* использовался в семье Синя для жертвоприношений предкам, которые рассматривались как податели таких “небесных благ”, как счастье. В соответствии с принципом реципрокности, свойственным китайскому культу предков, на получение даров от предков могли претендовать те, кто участвовал в жертвоприношениях. А участвовать в них могли только члены клана (*цзунцзю*)<sup>22</sup> – кровные родственники и свойственники (*хуньгоу*, *хуньин*). Противопоставление *лэнью* и *хуньгоу* в приведенных выше надписях явно указывает на то, что они не относились к категории родственников по браку. Следовательно, “друзья” в действительности являлись кровными родственниками.

Вопрос о том, ограничивался ли круг *лэнью* в эпоху Западного Чжоу кровными родственниками, или в него могли попадать посторонние, пока остается открытым. Однако, даже если это могло иметь место, отношения между *лэнью* являлись квазиродственными, т. е. по своей сущности не отличались от отношений между другими членами клана. Представляется более вероятным, что в эпоху Западного Чжоу внутренний “гомеостаз” кланового организма не нарушался вкраплениями извне и поддерживалась монополия клана на результаты ритуальных действий, т. е. на “счастье”. То, что “друзья” и свой-

ственники встречаются в текстах благопожеланий крайне редко, видимо, свидетельствует о том, что упоминание о них было не следованием ритуальным нормативам, а проявлением индивидуальной воли владельцев сосудов, стремившихся выказать особое расположение своим близким.

### Демонополивание "счастья"

и преодоление клановой замкнутости в период Чуньцю

Структура надписей на бронзе времени Чуньцю (конец VIII – V в. до н. э.)<sup>23</sup> отличается от прежней. Это связано с отмиранием системы ванских дарений. Ритуальные предметы аристократы изготавливали теперь не для того, чтобы отблагодарить дарителя за милость; пренебрегая прочими мотивами и обстоятельствами, они целиком сосредоточивались на грядущих благах, которые им обещало использование их "драгоценных сосудов"<sup>24</sup>.

Эти блага, как и прежде, по мысли большинства авторов надписей, должны были распространяться на них самих и на их потомков. Некоторые авторы расширяли круг лиц, которые могли бы участвовать в использовании ритуальных предметов, за счет своих ныне здравствующих близких родственников (отцы, т. е. дядья, старшие братья, семья), *пэнью*, гостей, приближенных и воинов.

В инскрипциях на бронзе, датирующихся временем Чуньцю, между *пэнью* и другими родственниками проводится более четкая грань по сравнению с более ранними надписями:

"Бань-шу До-фу изготовил драгоценное блюдо-пань в честь своего величественного покойного отца Ци-ши... [Используя ее для жертвоприношений.] До-фу сможет обрести долголетие, принести пользу правителю-вану, сановникам *цзинши*, *шиюю*, *пэнью*, старшим и младшим братьям (*сюнди*), всем сыновьям (*чжуцзы*) и свойственникам (*хуньгоу*) – никто из них не скажет недовольно, что он унижает отца и мать, До-фу – их почтительный сын!<sup>25</sup>".

В надписях эпохи Западного Чжоу *пэнью* не упоминались одновременно со старшими и младшими братьями – *сюнди*. По мнению Чжу Фэн-ханя, это связано с тем, что в данной надписи "*чжуцзы* обозначает собственных сыновей До-фу, *сюнди* – его единоутробных братьев, а *пэнью* – кузенов по линии отца или по общему предку"<sup>26</sup>.

Однако в другой надписи эпохи Чуньцю грань между *пэнью* и другими родственниками пролегает иначе:

"Я [буду использовать колокол, чтобы] устраивать пиры, радовать и исполнять музыку для ...отцов и старших братьев (*фу сюн*) и моих друзей (*во пэнью*)" (*Ван сюнь И Чжэ чжу*)<sup>27</sup>.

Словосочетание *фу сюн* могло бы обозначать буквально "отец и старшие (единоутробные) братья", если бы не было известно, что отец автора надписи скончался<sup>28</sup>. Таким образом, *фу* – это не отец, а "отцы", т. е. братья отца – дядья. Старшие братья – *сюн* – также, ви-



димо, не были единоутробными братьями, а кузенами, поскольку хозяин данного ритуального предмета, вероятнее всего, сам был старшим сыном<sup>29</sup> своего отца. Таким образом, под *пэнью* в данной надписи могли подразумеваться младшие братья, кузены и, возможно, племянники, т. е. члены *цзунцзу*, принадлежавшие к младшему поколению.

Нельзя также исключать вероятности того, что *пэнью* могли быть и не родственниками, а друзьями почти в современном смысле этого слова.

В то же время в эпоху Чуньцю в посвящениях на ритуальной бронзе стали соседствовать “друзья” и “гости”:

Внук правителя владения Ту Ван-сунь И Чжэ отлил колокол, чтобы “использовать [его во время] пиров, чтобы [обретать] счастье. Использовать, [чтобы исполнять] музыку [для] гостей (*бинькэ*), отца и старших братьев и моих *пэнью*”<sup>30</sup>.

Колокол Сюй-цзы чжун из владения Сюй был отлит для того, чтобы “использовать [его во время] пиров чтобы [обретать] счастье. Использовать, [чтобы исполнять] музыку [для] гостей (*бинькэ*), *дафу* и моих *пэнью*”<sup>31</sup>.

В конце Западного Чжоу – начале Чуньцю древнекитайские царства<sup>32</sup> уделяли огромное внимание приему гостей – правителей других владений и их официальных представителей. Составители “Чжоу ли” (“Чжоуских ритуалов”), своеобразной административной утопии<sup>33</sup>, считали одной из основных задач государства выполнение особых ритуалов по отношению к гостям (*ли бинь*)<sup>34</sup>, важным элементом которых был обмен подарками. На их осуществление выделялись значительные средства. Всего в *Чжоу ли* названо 99 должностей чиновников, так или иначе занимавшихся организацией приемов *бинькэ*, материальным обеспечением приехавших гостей, подготовкой подарков для них<sup>35</sup>.

Прибывшие с миссией гости старались обойти как можно больше влиятельных лиц, чтобы обменяться с ними ценными подарками и обеспечить своим правителям союзников в их лице: “Цзинский [*дафу*] Яншэ Си, прибывший для установления дружеских отношений ко двору Чжоу, раздавая подарки, дошел до даньского Цзин-гуна. Цзин-гун угостил его скромно, но почтительно; при поднесении подарков и угощении соблюдал правила поведения, принятые при приеме гостей (*ли бинь*)”<sup>36</sup>. Ритуалы неукоснительно соблюдались, что не мешало людям, завязывающим знакомство на официальной почве, перевести их в неформальное русло: “Ван Шу ...устроил в честь Ци Чжи угощение, на котором они обменялись богатыми подарками в знак дружбы, пили вино, весело разговаривали и остались довольными друг другом”<sup>37</sup>. Хотя в цитированной выше фразе речь идет об установлении частных отношений, в тексте оригинала отсутствует понятие *ю*, *пэнью* или другой синоним. Связи такого рода “дружбой” не назывались, с гостем могли быть установлены прият-

ные отношения, но определенная дистанция сохранялась. Тем не менее упоминание о гостях во “внутренней” части инскрипций на ритуальных предметах, возможно, говорит о желании гостеприимца приблизить их, перевести в разряд “своих”.

Во многих эпиграфических памятниках из разных древнекитайских царств эпохи Чуньцю неоднократно упоминаются “счастливые” гости (*цзя бинь*). Те же “счастливые гости” (*цзя бинь*, реже – *цзя кэ*), принимающие участие в коллективных ритуальных мероприятиях (в первую очередь пирах, но также и в состязаниях по стрельбе из лука, в охоте, и в отдельных случаях – в жертвоприношениях духам предков гостеприимца), упоминаются и во многих текстах древнекитайского сборника обрядовой поэзии *Ши цзин* (“Канон поэзии”, “Книга песен и гимнов”), относящихся в основном к эпохе Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.)<sup>38</sup>:

“Ю-ю”, – кричит олень,  
Питающийся луговой полынью.  
У меня есть счастливые гости (*цзя бинь*).  
Ударяют по цитре-сэ, дуют в *шэн*,  
Дуют в *шэн*, ударяют в *хуан*,  
Подносят полные корзины<sup>39</sup>.  
Люди любят меня,  
Показывают мне, что я иду верным путем.

...У меня есть хорошее вино,  
Для счастливых гостей (*цзя бинь*) устраиваю пир,  
чтобы развлечь их.

.....  
...У меня есть хорошее вино,  
Чтобы пировать, веселить сердца  
счастливых гостей (*цзя бинь*)<sup>40</sup>.

Понятие “гость” могло встречаться в древнекитайских текстах и без определения – собственно *бинь*, *кэ*, или в виде устойчивого словосочетания *бинькэ*. *Цзя* (“счастливым”, “прекрасным”)<sup>41</sup> – единственное определение, сопутствующее понятию “гость”. *Цзя* и близкое к нему по значению понятие *цзи*<sup>42</sup> были важными категориями культуры и языка, имеющими отношение к представлениям древних китайцев о счастье. Предметы, предназначенные для совершения жертвоприношений предкам, характеризовали определения *цзя* и *цзи* – наилучший, или “счастливый”, (*цзи*) металл<sup>43</sup>, использовавшийся для изготовления жертвенных сосудов – важного атрибута ритуальной практики, – жертвенная пища наилучшего качества – *цзя* (“счастливая”). Предки, получившие от своих потомков “счастливые” дары самого высшего качества (*цзи* и *цзя*), в свою очередь, ниспосылали им в дар долголетие, многочисленное потомство и другие блага, воспринимавшиеся древними китайцами как проявления счастья. Гадатель или заместитель предков возвещал о воле предков, и это счастливое предзнаменование также называлось *цзи* и *цзя*. Вот один

из примеров надписи на бронзовом сосуде эпохи Чуньцю, где вполне проявляется связь между “счастливыми” подношениями предкам и ниспосылаемым в ответ счастьем:

“В первый счастливый (*цзи*) день первого месяца искренний сын Суйского Кан-вана Янь Эр выбрал этот счастливый (*цзи*) металл, из которого изготовили этот гармоничный колокол. Постоянно [как будто на] крыльях несется по ветру его совершенный звук, величественно распространяется. Огромное счастье (*цзя*) полностью свершилось! [Я буду] использовать его, чтобы веселить и угощать вином, объединять сто родов в гармонии, укреплять величественность, быть искренним в клятвах и жертвоприношениях. Я [буду использовать его, для] устройства пиров и радости (*цэ*), [для] исполнения музыки для счастливых гостей (*цзя бинь*), отца и старших братьев и всех *ши*. Великое счастье, долголетие без предела! Сыновья и внуки вечно будут хранить и бить в него”<sup>44</sup>.

События выстраиваются в логическую цепочку: в счастливый (*цзи*) день из счастливого (*цзи*) металла изготавливают ритуальный колокол, использование которого приносит счастье (*цзя*) его владельцу, а также радость его родственникам и гостям, которые также названы “счастливыми” (*цзя*). Представляется, что термин *цзя бинь* не случайно употреблен в этом тексте, а, возможно, отражает желание автора надписи “приобщить” гостей к счастью, которое ниспослано предками ему самому и членам его семьи.

Вполне вероятно, что под “счастливыми гостями” могли подразумеваться члены клана, не являвшиеся кровными родственниками, но также имевшие право на свою долю в “клановом счастье”. Об этом сказано в трактате *И ли* (“Образцовые церемонии и правила благопристойности”): “Когда *гун* пирует со своим кланом (*цзу*), тогда те, кто принадлежит к другим родам (*син*), являются гостями”<sup>45</sup>. В данном случае речь могла идти о свойственниках.

Однако ритуальные предметы (преимущественно колокола), в инскрипциях на которых упоминаются “счастливые гости”, принадлежали, как правило, правителям уделов или высоким сановникам. То же относится и к текстам *Ши цзина*, которые, согласно традиции, были созданы при дворе правителей Чжоу<sup>46</sup>. Естественно, что среди их “гостей” должны были находиться люди, не являвшиеся родственниками и членами клана “гостеприимцев”. Следовательно, на посторонних – гостей (*цзя бинь/цзя кэ*), – допущенных в круг лиц, совместно участвующих в ритуальных мероприятиях – пирах, в том числе и устраиваемых по случаю жертвоприношений предкам, в какой-то мере распространялись блага, посланные предками хозяевам.

В этом случае мы имеем дело с радикальными переменами в отношении древних китайцев к счастью. Ранее, в эпоху Западного Чжоу, не могло идти и речи о распространении благотворящей способности духов предков определенного клана на лиц, к нему не принадлежавших. Можно предположить, что *клановые структуры ста-*

новились менее замкнутыми, охотно допускали к участию в собственных ритуальных действиях посторонних и что “гостеприимцы” ощущали у себя некоторый “избыток” счастья, которым считали возможным одарить им своих гостей.

Гости, конечно, получали “счастье” и в прикладном смысле – в виде радости от хорошего приема, обильного угощения и прекрасной музыки.

Однако этим не ограничивается содержание концепции “счастливых гостей”. Анализ текстов *Ши цзина* позволяет предположить, что гости не только причащались счастья хозяина, но дарили счастье и ему самому, частично принимая на себя функции обожествленных предков. В древнекитайском ритуале предок, для которого совершались жертвоприношения, представлялся телесно в лице человека, исполняющего роль его “заместителя” (*ши*, буквально “труп”). *Ши* вкушал предназначенное для предка “сладкое” (*чжи*)<sup>47</sup> вино и “счастливую” (*цзя*) пищу. После этого он возвещал о счастливом предзнаменовании (*цзя*). Из некоторых текстов *Ши цзина*, а также трактата *И ли* следует, что ритуалы приема гостей во многом повторяли церемонию приема заместителя предков. Гостям, так же, как и предкам, предлагались “сладкое” вино и “счастливая пища”. Если в эпоху Западного Чжоу колокола предназначались для того, чтобы улаживать музыкой духов предков, то во время Чуньцю музыка предназначалась для людей, в том числе и, возможно, не являвшихся родственниками хозяина сосуда, – друзей и гостей. Таким образом, с одной стороны, грань между сакральным и светским использованием ритуальных предметов продолжает стираться, а с другой стороны, проявляется связь между древней церемонией приема духа предка и ритуалом приема гостей.

Более того, параллелизм строф в оде *Чу цы* (“Густые терновники”, или “Жертвоприношение предкам”<sup>48</sup>), входящей в *Ши цзин*, в которой повествуется одновременно и о приеме заместителя предков, и о приеме гостей, позволяет предположить, что от приема и тех, и других ожидали однородных благ – тех или иных проявлений счастья. “Первые предки принимают жертвы, духи-охранители вкушают угощение, почтительный ввук обретает награду, [духи] в ответ увеличивают счастье [хозяина], [посылают] долголетие без предела”<sup>49</sup>. “[Хозяин] угощает вином гостей (*биньжэ*) по порядку... духи-охранители являются, в ответ увеличивают счастье [хозяина], подают вино в ответ, [посылая] десять тысяч [лет] долголетия”<sup>50</sup>. В то время как главный предок, в честь которого устраивалось жертвоприношение, был представлен специальным “заместителем” (*ши*), гости в какой-то степени принимали на себя роль заместителей других многочисленных предков гостеприимца. Поэтому “счастливые гости” одновременно являлись и “приносящими счастье”. Таким образом, выполняя роли предков хозяина, гости – не родственники также нарушали замкнутость клана и участвовали в его “частной жизни”.

Интересно, что почти во всех посвящениях, в которых упоминаются гости, именно они стоят на первом месте. Им отдается предпочтение даже перед родственниками. Но и родственники упоминаются далеко не всегда – их место могут занимать люди, находившиеся на службе у автора надписи. Друзья же постоянно занимают последнюю позицию. Это неудивительно – ведь посвящения гостям и друзьям отливались на предметах, которые использовались во время пиров и приемов – на колоколах и посуде. Эти посвящения были демонстративны. Авторы надписей, в которых упоминаются гости, друзья и приближенные, – как правило, сыновья и внуки правителей уделов, – помещая в один ряд со своими близкими (родственниками и друзьями) посторонних (гостей, чиновников и воинов), видимо, таким образом хотели выказать последним свое расположение. Тем не менее многие надписи показывают, что “друзья” входили в ближайший круг общения автора надписи, в то время как гости воспринимались как более или менее посторонние. При одновременном упоминании гостей, родственников и друзей часто особо выделяются “свои”. На это указывает местоимение “во” мой, мои: “*бинькэ, дафу и моя пэнью*”; “*бинькэ и мой отец и старшие братья*”; “*бинькэ, отец и старшие братья и мои пэнью*”. Видимо, это свидетельствует о желании автора подчеркнуть существование особых, тесных отношений с людьми, которых он считал своими близкими.

Представления о ю (*пэнью*) как о близких людях подкрепляются и данными письменной традиции, в частности текстами *Ши цзина*.

В оде *Фа му* (“Рубят деревья”) выражается точка зрения о том, что всякому человеку свойственно искать дружбы с другими людьми:

Рубят деревья – “дип-дин”,  
 Перекликаются птицы – “ин-ин”,  
 Вылетают из темного ущелья,  
 Порхают по высоким деревьям,  
 “Ини” – так перекликаются,  
 Просят своих друзей (ю) отозваться.  
 Гляди – это птицы, –  
 И то просят откликнуться друзей (ю)!  
 Неужели же человек  
 Не молит о друге (ю *шэн*)!  
 Духи слышат [эти просьбы],  
 В итоге [обретается] мир и покой<sup>51</sup>.

В последних строках мы видим апелляцию к высшим силам, которые как бы “курируют” дружеские отношения между людьми. В следующих строках этой оды перечисляются те, кого ее лирический герой созывает к себе на пир. Это *чжу фу* (дядя по отцовской линии), *чжу цю* (дядя по материнской линии) и *сюн ди* (старшие и младшие братья). Упоминание в этом списке дядьев по отцу и братьев соотносится с ранее высказанным предположением о том, что ю

являлись родственниками между собой. *Чжу цзю* никогда не упоминались в посвящениях на бронзовой ритуальной утвари, поскольку дядья со стороны матери<sup>52</sup> принадлежали к другому роду. Однако, как упоминалось выше, в словаре *Эр я* сообщается, что термином *цзю* могли обозначаться не только братья матери, но и старшие свойственники<sup>53</sup>. *Чжу цзю* в данном случае, видимо, заменяет встречавшихся в ряде текстов *хуньгоу/хуньинь* – свойственников, которые, как правило, упоминаются в них вместе с *пэнью* и *сюн ди*. Термин *ю шэн*, возможно, является составным, поскольку иероглиф *шэн* сам по себе мог обозначать свойственников младшего поколения<sup>54</sup>. Поэтому вполне вероятно, что в данном тексте под термином *ю шэн* имелись в виду те же члены *цзунцзю*, что и в надписях на бронзовых сосудах.

Отсутствие морального одобрения и сочувствия со стороны *пэнью* остро переживалось. На важность мнения *пэнью* в выборе того или иного решения указывает фрагмент утраченного стихотворения, процитированный в комментарии *Цзю чжуань* к летописи Чуньцю<sup>55</sup>:

С высокой колесницы  
Зовут меня, размахивая луком,  
Разве не хочу я отправиться с ними...  
Боюсь моих друзей (*эй во юэн*)<sup>56</sup>.

К сожалению, данный отрывок недостаточен для реконструкции общего смысла стихотворения. Однако использованное в тексте слово *эй*<sup>57</sup> подсказывает, что речь могла идти не только о моральном неодобрении со стороны друзей, но и о возможности реального противодействия с их стороны.

Представляется, что причиной возникновения конфликтных ситуаций среди *пэнью* были социально-политические изменения, происходившие в период Чуньцю. Одна из них – ослабление власти чжоуских *ванов* и распад государственно-административной системы Чжоу. В эпоху Западного Чжоу служба *вану* рассматривалась как “милость” и “дар”, одно из проявлений желанного счастья. Владельцы уделов разного уровня одновременно являлись чиновниками центральной администрации, члены аристократических кланов занимали разные государственные должности. В период Чуньцю чжоуский *ван* утратил реальную власть, а *чжухоу* стали фактически независимыми правителями царств. Аристократы в ранге *дафу*, одновременно являвшиеся главами кланов, сконцентрировали в своих руках власть в уделах среднего уровня. Поэтому член клана не мог по своему усмотрению принимать решение о поступлении на службу к чжоускому *вану* или кому-либо из *чжухоу*, если это противоречило интересам его клана. Эту ситуацию отражает сюжет оды *Юй у чжэн* (“Дождь не вовремя”). В ней повествуется о несправедном правлении и лживых чиновниках. Лирический герой оды стоит перед не-

простым выбором – остаться ли на службе у *вана* или принять сторону своих *пэнью*:

Скажешь "не могу служить" –  
Совершишь преступление против Сына Неба.  
Скажешь "могу служить" –  
Вызовешь ненависть *пэнью*<sup>58</sup>.

*Пэнью* выступают в роли некоего арбитра, перед которым советно совершать несправедливые поступки. Такое внимание к мнению *пэнью*, видимо, объясняется не только потребностью в моральном одобрении с их стороны, но и реальной зависимостью от них. Автор оды оставляет своего героя на перепутье, нам не известно, какой именно выбор он сделал. Однако история периода Чуныцю показывает, что в целом подданные чжоуского государства сделали выбор не в пользу Сына Неба, а в пользу местных интересов.

Сюжет оды *Ши юэ чжи цзяо* ("Затмение в десятой луне") также отражает конфликтную ситуацию между *пэнью*. Ее лирический герой не апеллирует к мнению *пэнью* как к критерию правильности своих поступков, а сам критикует их за бездействие:

В народе нет таких, кто не имеет покоя,  
Один лишь я не смею отдохнуть.  
Небесный приказ [я] не постиг.  
Я не смею подражать  
Мои друзьям (во ю), живущим в покое<sup>59</sup>.

Герой этого стихотворения состоит на государственной службе, в то время как его *пэнью*, видимо, живут в родовом поместье и не считают нужным служить.

Разрушение нормальных связей между *пэнью* воспринимается как одно из крайних проявлений разложения морали. В оде *Сан жуань* ("Шелковицы мягкие листья"), в центре внимания которой находится нравственный упадок в обществе, говорится:

*Пэнью* уж не верны,  
Взаимно не добры<sup>60</sup>.

Болезненно воспринимается неблагодарность со стороны *пэнью*:

О ты, мой ю!  
Разве я делал что-либо, не будучи уверенным,  
Как будто летящую птицу  
Пытался поразить секирой?  
Хотел тебя я защитить,  
В ответ же получила лишь ярость<sup>61</sup>.

Тексты *Ши цзина*, с одной стороны, демонстрируют разрушение традиционного единства внутри кланов, членами которых, видимо, являлись *пэнью*. С другой стороны, наблюдается обратный процесс установления межличностных отношений нового типа, не связанных с родственными узами. Этот процесс, по моему мнению, отражает ода "*Чан ди*" ("Дикая слива", или "Братская любовь").

В оде постулируется, что между “прекрасными друзьями” (*лян пэн*) не может существовать подлинной взаимопомощи и поддержки, как между близкими родственниками. *Лян пэн* противопоставляются *сюнди* (старшим и младшим братьям):

Братья иногда ссорятся,  
Но единодушно дают отпор врагам.  
Хотя у тебя есть прекрасные друзья (*лян пэн*),  
Никто из них не протянет руку [помощи]<sup>62</sup>.

Критический пафос этого текста направлен прежде всего против того, что *лян пэн*, в отличие от братьев, оказывают поддержку лишь словами, но не делами:

Хотя у тебя есть прекрасные друзья (*лян пэн*),  
Они пошлют тебе только вздохи<sup>63</sup>.

В самом употреблении термина *лян пэн* (“прекрасные друзья”), отличного от более принятых *пэнъю* и *ю*, возможно, кроется ирония, и эпитет “прекрасный” несет в себе в данном случае противоположный смысл.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, с точки зрения авторов *Чан ди*, присущие *пэнъю*, они претендуют на равное с братьями положение в кругу близких:

Но смерть и мрак побеждены,  
Покой и мир внутри страны.  
Иль больше брата своего  
Мы чтить друзей своих должны?<sup>64</sup>

Эта строфа может быть трактована иначе: “разве братья не подобны *ю шэн*?” В таком случае пафос направлен не против друзей, а на доказательство того, что братья-то и являются друзьями (*ю шэн*) в отличие неких *лян пэн*. Братьев возмущает включение в круг близких (*ю шэн*, *ю*, *пэнъю*) посторонних.

О том, что *лян пэн* действительно проникли в круг близких, свидетельствует содержащаяся в первой строфе посылка – “из всех близких людей (*фань цзинь чжи жэн*) никто не сравнится с братьями<sup>65</sup>”. Несмотря на недовольство отсутствием практической помощи со стороны друзей, их готовность оказать моральную поддержку (“вздохи”) не отрицается. И эта поддержка, видимо, высоко ценилась. Примечательно, что морального одобрения ожидали и от гостей, на что указывает строка из оды *Лу мин* о “счастливых гостях”: “Люди любят меня, показывают мне, что я иду верным путем”.

Сюжет оды *Чан ди* выявляет отрицательное отношение близких родственников к внедрению в клановые отношения чужаков и, возможно, отражает процесс трансформации самого понятия *пэнъю*, которое постепенно перестает обозначать родственные отношения и начинает обозначать дружбу, основанную на свободном выборе.

Анализ текстов *Ши цзина* показывает, что в эпоху их создания в отношениях между *пэнъю*, были они родственниками или друзьями,



основное значение имели взаимопомощь и взаимное одобрение. Приоритет духовной или интеллектуальной близости в это время еще не наметился. Еще не оформились представления о доверии и искренности как о необходимой их основе. Дисгармония во взаимоотношениях, как правило, вызывается внешними (выполнение той или иной социальной роли, политическая ситуация), а не внутренними причинами. Если между *пэнью* и существовали неформальные, тесные отношения, то мы все же можем говорить лишь о существовании коллективной "дружбы". В рассмотренных текстах не встречаются упоминания о том, что определенное лицо является "другом" другого конкретного человека. "Друзья" всегда представляются как некая недифференцированная группа. Это, конечно, не значит, что в эпоху Чуньцю индивидуальной дружбы не могло быть, однако ни надписи на бронзе, ни оды "Шицзина" не содержат примеров, которые могли бы подтвердить наличие таких отношений.

\*\*\*

В период Чуньцю *близкий круг общения расширяется за счет пэнью и гостей, возможно уже не являвшихся родственниками. Взаимоотношения людей в публичной сфере получают продолжение в частной.* В то же время более заметно влияние частных связей на поведение людей в публичной сфере. Возрастает значение моральной поддержки и нравственного одобрения в межличностных отношениях. Приближение к себе определенной группы "посторонних лиц" (т. е. не родственников) и забота о них рассматриваются как добродетель, деяние, угодное предкам. Посторонние допускаются к участию в клановых сакральных церемониях и даже выполняют в них весьма значимые функции. С другой стороны, отношения с родственниками могут ослабевать и приносить разочарование. Дружба и гостеприимство становятся предметом рефлексии и литературного творчества.

Эти тенденции будут развиваться далее в период Чжаньго (V-III вв. до н. э.) – эпоху расцвета культуры, философской и этической мысли, китайского "осевого времени". Тогда возникнут и институты индивидуальной дружбы и гостеприимства, предусматривавшего установление тесных межличностных отношений между гостем и хозяином. От участия в совместной ритуальной деятельности друзья и гости перейдут на светскую почву, поле их взаимодействия расширится. Сформируются соответствующие традиции, нормы поведения и их ритуальное оформление. Из уст в уста будут передаваться и записываться истории о замечательных образцах дружбы и гостеприимства. Характерная для китайского мироощущения идеализация прошлого будет толкать людей к поиску примеров для подражания в истории Западного Чжоу и периода Чуньцю. Поэтому для изучения эволюции межличностных связей в китайском обществе так важно исследование институтов дружбы и гостеприимства в эти эпохи.

## Примечания

- 1 Цзя гу вэнь – надписи на панцирях (черепахах) и костях (животных) использовались в древнекитайской гадательной практике. На гадательных костях (скапулах) вырезали текст вопроса, адресованного духам.
- 2 Цзиньвэнь – надписи на металле. На древнекитайской ритуальной бронзовой утвари часто отливались надписи, в которых кратко или пространно излагались факты из жизни владельцев данных предметов и другая информация, имевшая отношение к их использованию.
- 3 Ло Чжень-юй, Иньсюй шуци хоубянь (Письменные документы из развалин иньской столицы. Серия 2), 1916. Т. 1, 28. № 1. Цит. по: Крюков В.М. The Language of Yin Inscriptions. М., 1980. Р. 64.
- 4 Дун Цзо-бинь, Иньсюй вэньцзы ибянь (Письменность [документов] из развалин Иньской столицы. Серия 1). 1949–1953. № 3789. № 1. Цит. по: Крюков В.М. Op. cit. P. 52.
- 5 Надо отметить, что смысл современного китайского понятия “друг” ближе к русскому “товарищ”, “приятель”. Оно не предполагает представления об особой близости, бескорыстной взаимопомощи. Это человек, с которым поддерживаются гуаньси (“отношения”), которому можно оказать услугу и которого можно попросить об услуге. Это, конечно, не значит, что у китайцев не может быть друзей в нашем понимании, просто в таком случае к слову *лэню* необходимо добавить соответствующее определение.
- 6 Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в Древнем Китае. М., 1997. С. 87.
- 7 Го Мо-жо. Лян Чжоу цзиньвэнь цы да си (Общий свод надписей на бронзе Западного и Восточного Чжоу. (Далее: Лян Чжоу.) Пекин, 1958. Т. 6. С. 566.
- 8 Крюков В.М. Указ. соч. С. 58.
- 9 В древнекитайский клан (*цзу*, *цзунцзу*) входили кровные родственники основной линии наследования, боковых ветвей, вплоть до пятого колена, и свойственники (*хунгоу*, *хуньин*).
- 10 Цзоцэ буквально “тот, кто делает [записи на] бамбуковых планках” – название должности чиновника.
- 11 Лян Чжоу. Т. 6. С. 406.
- 12 Там же. С. 68.
- 13 Треножники-*дино*, как правило, использовались для жертвоприношений предкам и в погребальном ритуале. Количество *динов*, которым мог обладать чжоуский аристократ, соответствовало ступеньке, которую он занимал в ранговой иерархии. Наибольшее число этих сосудов – девять *динов* – использовал в своем храме предков чжоуский ван, они являлись символом его верховной власти.
- 14 *Иньши* и *шинь* – это, судя по всему, название одной и той же должности. Возможно, этот чиновник был покровителем *шаньфу* Кэ, поэтому тот из благодарности дважды упоминает его в надписи.
- 15 Лян Чжоу. Т. 7. С. 123.
- 16 Сосуд типа *сяо* не являлся специальным жертвенным, и представлял собой переносной контейнер для пищи с крышкой и двумя ручками.
- 17 В оригинале использован знак *хао*, имеющий значение “любить”, – тот же, что и в следующей строке. Однако применительно к усопшим предкам он выступает вместо иероглифа *сяо* (“выражать сыновнюю почтительность”).
- 18 Возникает справедливый вопрос, не идет ли в этой фразе речь о *сяо* (“сыновней почтительности”), а не о *хао* (“любить”)? Этический принцип *сяо* (“сыновней почтительности”) лежал в основе построения отношений между детьми и родителями, между потомками и предками. Но в отдельных случаях принцип *сяо* мог связывать младшего брата со старшим, воспитывавшим его вместо умершего отца: «Шу Цюань-фу сказал: “Мой покойный отец не смог показать тебе пример в делах управления, дать тебе наставления в жизни. Ты проявил сыновнюю почтительность ко мне, старшему брату (*сяо юй сюн*). [Я] изготовил для тебя этот маленький сосуд.

Используй его, чтобы угощать своего покровителя Ци-хоу..."» (*Шу Цзоань-фу цу* Инь Чжоу цзиньвань цзиду (Собрание надписей на металле эпохи Инь и Чжоу). Сычуань, 1984–1986. С. 369). Как следует из надписи на сосуде *Лу-бо сюй*, к которой мы еще обратимся ниже, синонимную почтительность (*сяо*), действительно, могли выражать и по отношению к лямбда.

19 Лян Чжоу. Т. 7. С. 1476.

20 Там же. С. 1536.

21 Юй Син-у. Шан Чжоу цзиньвань луи. Пекин, 1957. № 89.

22 В жертвоприношениях предкам могли принимать участие только члены данного клана (*цзунцзу*, *цзун*, *цзу*, *цзя*). Об этом свидетельствует запись в *Цзо цзунцзис*: "Духи не получают удовлетворения [от жертвоприношений, совершаемых] не близкими им, а люди не приносят жертв тем, кто не относится к их *цзу*" (*Цзо цзунцзис*, 10-й год Си-гуна).

23 Этот период китайской истории обязан своим условным названием одноименной хронике царства Лу, редактирование или даже создание которой традиционная историография приписывает Конфуцию. Летопись охватывает события с 722 по 481 г. до н. э. Другое название – Лего ("Отдельные государства"). В современной историографии периодом Чуньцю считается время с момента переноса столицы Чжоу на восток в 770 г. до н. э. до середины V в. до н. э.

24 Крюков В.М. Указ. соч. С. 239.

25 Чжу Фэн-хань. Шан-Чжоу цзяцзу синтай яньцзю, Тяньцзинь, 1990. С. 311.

26 Там же.

27 Лян Чжоу. Т. 8. С. 1606.

28 Выше в надписи использован знак *као* – покойный отец.

29 Ван сунь И-чжэ был внуком одного из правителей владения Сюй. Его отец, бывший, очевидно, одним из младших братьев следующего правителя, к моменту написания надписи скончался. Как брат правителя, он, вероятно, занимал важную государственную должность. После его смерти ее мог унаследовать его сын. И-чжэ заявляет в надписи о своем намерении "быть величавым, мудрым и прозорливым в военных делах, пронизательным в *дэ* управления, следовать величественности и справедливости", что позволяет предположить, что он занял важный государственный пост, скорее всего, как старший сын своего отца. И-чжэ, кроме того, брал на себя организацию пиров для родственников и гостей, как глава дома.

30 Лян Чжоу. Т. 8. С. 160.

31 Там же. С. 178.

32 В период Чуньцю уделы, когда-то пожалованные первыми чжоускими правителями их родственникам в управление, постепенно становятся фактически независимыми государствами, с течением времени лишь номинально признававшими власть дома Чжоу.

33 Согласно китайской традиции создание этого памятника приписывается Чжоу-гуну, младшему брату У-вана – первого правителя династии Чжоу. Чжоу-гун Ци Дань жил в XI в. до н. э. После смерти У-вана он стал регентом при малолетнем Чан-ване и якобы создал первую регулярную администрацию, усовершенствовал законы, реформировал ритуал. *Чжоу ли* как раз и изображает идеально отлаженную машину чжоуского государства, в котором каждое дело поручено соответствующему чиновнику, а каждый чиновник занимается своим делом. В действительности древность этого произведения немало преувеличена. Скорее всего, первые пять частей восходят самое раннее к VII–V вв. до н. э., а шестая и последняя являются подделкой восточноханьского времени (см.: *Кучера С.* К вопросу о датировке и достоверности "Чжоу ли" // Вестник древней истории. 1961. № 3. С. 120). В той или иной степени этот источник отражает ситуацию VII–V вв. до н. э. в княжествах близких к домену Чжоу.

34 Сунь И-жан. Чжоу ли чжэи и (Истинный смысл "Чжоуских ритуалов". Серия "Вань ю вэнь ку" ("Всеобщая сокровищница литературы") Ред. Ван Юнь-у. Шанхай, 1933. Т. 1. Ча. 2. С. 53.

- 35 Данные получены в результате компьютерной обработки текста *Чжоу ли* в базе данных Academia Sinica (<http://www.sinica.edu.tw/bin-ftmsw3/>). Был задан поиск иероглифов *бинь* и *кэ* (вместе и по отдельности), и подсчитано количество должностей чиновников, в обязанности которых входили организация приема, обслуживание гостей, организация мероприятий с их участием и т. д.
- 36 *Го юй* (Речи царств) / Пер. В.С. Таскина. М., 1987. С. 66.
- 37 Там же. С. 53. Кит. текст *Го юй* по изд.: Коку го (Речи царств), Токио, 1975. С. 149.
- 38 Лишь один из текстов, в котором упоминаются "счастливые гости" (*цзя кэ*), гимн *Но* ("Прекрасно!", или "Гимн царю Чэн-тану") (*Ши цзин цюань шу* / Полностью комментированная "Книга песен и гимнов" / Комментарий и перевод на современный китайский язык Цзинь Лю-хуа Цзянсу, Яньчжусянь, 1990. С. 890. / Далее: Шицзин) из раздела "Гимны дома Шан" может относиться к позднему периоду Западного Чжоу. Хотя более вероятно, что, судя по его литературным и филологическим свойствам, он вообще может относиться к еще более позднему периоду – эпохе Чжаньго (V–III вв. до н. э.).
- 39 В последних трех строчках речь идет, разумеется, не о гостях, а о музыкантах и слугах.
- 40 *Ши цзин*. С. 351–352.
- 41 *Цзя* обозначает "счастливое предзнаменование", "счастливый, прекрасный, доброе предствие; хвалить, одобрять, радовать" (Большой китайско-русский словарь / Ред. И.М. Ошанин М., 1983. (Далее: *Ошанин*) № 1767).
- 42 Анализ стихов *Ши цзиня* показывает, что понятие *цзя* в различных контекстах принимает такие значения: "счастье" (7 раз), "счастливое предзнаменование" (2 раза), "прекрасная [еда, предназначенная для угощения духов предков или гостей]" (8 раз), "прекрасный" (4 раза), "счастливые/прекрасные гости" (5 раз). Семантическое поле знака *цзя* пересекается с семантическим полем знака *цзи*: "счастье, удача; счастливый, счастливая примета, благоприятный, празднество, хороший, добродетельный" (*Ошанин*. № 1959). Оба знака употреблялись еще в иньских надписях на гадательных костях: «Правитель прочел ответ: "Будет нехорошо (*бу цзя*). Если будет хорошо (*цзя*), то неблагоприятно (*бу цзи*)» (Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык (тексты, грамматика, лексический комментарий). М., 1978. С. 55, 349). Знак *цзи*, в частности, используется в следующих сочетаниях: *цзи цзинь* ("счастливый/прекрасный металл" – стандартное выражение для обозначения металла, используемого для отливки бронзового ритуального сосуда в инскрипциях на бронзовых сосудах), *цзи жи* ("счастливый день", т. е. определенный с помощью гадания благоприятный день). *Цзя* и *цзи* были важными категориями культуры и языка, имеющими отношение к представлениям древних китайцев о счастье.
- 43 Бронза была очень ценным и дорогим металлом, отливка изделий из бронзы была трудоемким процессом. Предметы из бронзы использовались для жертвоприношений только в семьях аристократии. Ритуальные сосуды часто использовались многими поколениями людей.
- 44 Лян Чжоу. Т. 8. С. 160.
- 45 *И ли* ("Образцовые церемонии и правила благоприятности"), Шисань цзинь цзинь вань, <http://www.sinica.edu.tw/bin-ftmsw3/>. С. 41.
- 46 Последнее трудно проверить, вполне вероятно, что оды *Ши цзиня* происходят из разных древнекитайских царств, но, в любом случае, из среды высшей аристократии.
- 47 *Чжи* – "вкусный, прекрасный, превосходный" – (*Ошанин*. № 2580). А.А. Штукун ("Шидзин". *Штукун А.А., Федоренко Н.Т.* М., 1957, далее: *Штукун*), как правило, переводит *чжи* как "вкусный". Я считаю предпочтительным использование в русском переводе слова "сладкий". О том, что для древних китайцев "вкусным" представлялось прежде всего именно сладкое, свидетельствует, например, фраза из *Лунь юя*: "[Когда] благородный муж в трауре, вкусная (*чжи*) пища не [кажется ему] сладкой (*гань*)" (*Лунь юй*. Суждения и беседы // Шисань цзинь цзинь вань, <http://www.sinica.edu.tw/bin-ftmsw3/> ("Беседы и суждения") 17:21). Оно отража-

ет не только собственно вкусовые ощущения, но и представления о благополучии и благостном вообще (например, "сладкая жизнь", "сладкий голос", нежное обращение к ребенку – "сладкий" и т. д.). Определение *чжи* характеризовало вино предлагаемое духам предков во время жертвоприношений, так же как *цзя* – жертвенную пищу. Выше были рассмотрены возможные связи между качественными характеристиками жертвенных подношений и качеством ответных даров со стороны предков. *Чжи* является таким же качеством предметов, задействованных в сфере сакрального применения, как *цзя* и *цзи*.

- 48 Шицзин. С. 528.  
 49 Там же. С. 529.  
 50 Там же.  
 51 Там же. С. 364.  
 52 Дядья со стороны матери одновременно являлись свойственниками для отца и его родственников.  
 53 См. Эр я (Приближение к классике) // Шисань цзин цзин вань <http://www.sinica.edu.tw/bin-ftmsw3/>. С. 6.  
 54 Там же.  
 55 Летопись *Чуньцю* является погодовой хроникой, составленной в царстве Лу и охватывающей события с 722 по 481 г. до н. э. Создание комментария *Цзо чжуань* традиционно приписывается Цзо Цю-мину (VI–V вв. до н. э.), бывшему одному из последователей Конфуция. В действительности *Цзо чжуань* был составлен во второй половине IV в. до н. э. Наиболее вероятно, что его составлением занимался не один человек, а целый коллектив авторов.  
 56 Цзо чжуань (Комментарий Цзо [к летописи *Чуньцю*] // Шисань цзин цзин вань <http://www.sinica.edu.tw/bin-ftmsw3/>. 22 г. Чжуан-гуна. С. 24  
 57 *Вэй* имеет значения "бояться, трепетать, страх, благоговейный трепет, пугать, страшить, угрожать, уважать" (*Ошанин*. № 9650).  
 58 Шицзин. С. 466.  
 59 Там же. С. 461.  
 60 Там же. С. 737.  
 61 Там же. С. 738.  
 62 Там же. С. 361.  
 63 Там же.  
 64 *Штуким*. С. 204.  
 65 Шицзин. С. 360.

*В мире страданий: восприятие смерти*





### Скорбь о близких в XII–XIII веках (по материалам англо-французской литературы)

Восприятие смерти в средние века, как и в любую эпоху, в высшей степени поучительно. Вызывая невиданной силы стресс<sup>1</sup>, смерть может исторгнуть из человеческой души наиболее сокровенные высказывания – те, что ни при каких иных условиях не формулируются. Именно поэтому восприятие смерти не раз служило средством уяснить представления о сути бытия, характерные для той или иной социальной группы и принятые в ней как некая норма<sup>2</sup>. Меньшее внимание привлекал тот факт, что перед лицом смерти каждый конкретный человек легко может забыть о “принятых” суждениях и нормах, обо всем, чего требуют “приличия” и поведенческие стереотипы. И если есть в людях что-либо, кроме воспринятых с детства и глубоко укорененных групповых правил поведения, что-либо свойственное тому или другому из них в отдельности, то полнее всего могло это проявиться как раз в роковой для каждого час. Анализ восприятия смерти представляет поэтому исключительные возможности для выявления того, что характеризует индивидуальное и неповторимое в каждом отдельном человеке. Наш специальный интерес к переживанию смерти людьми прошлого связан в первую очередь именно с тем, что реакция на нее может выступать как своего рода лакмусовая бумажка индивидуальности, ее форм и ее своеобразия в данный момент и в данной социальной среде<sup>3</sup>.

Но восприятие смерти поучительно и с иной точки зрения. Оно может оказаться своего рода индикатором ряда эмоциональных особенностей человека той или иной эпохи: его способности к сострада-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РФНФ (грант 97-01-00244)



нию, его умения сопереживать, его готовности открыть свою душу другому и т. д. В этом смысле изучение скорби из-за смерти близких непосредственно вводит в анализ внутреннего мира людей в данной социальной среде.

Анализ скорбных переживаний может прояснить и некоторые особенности в формах выражения людьми прошлого своих эмоций. Насколько правомерны, например, суждения М. Блока об определенной "черствости" средневековых людей, черствости, сложившейся из-за перманентного ожидания беды с кем-нибудь из их близких?<sup>4</sup> Как связать с этим давно замеченную склонность тогдашнего человека к аффектации при выражении горя (громогласные рыдания, потоки слез, падение на землю и т. п.)? В какой мере эта манера поведения была связана со спецификой внутренних переживаний? Как изменялась риторика скорби на протяжении средневековья и каков был смысл этих изменений? Все это вместе взятое могло бы помочь нам понять своеобразие средневекового человека вообще и, конкретно, человека XII–XIII вв.

К сожалению, выявить конкретные формы восприятия смерти в это время очень трудно. Как известно, медиевисту вообще не дано услышать собственные высказывания его героев, тем более в момент приближения смерти. Об их словах и чувствах он может узнать лишь в "переложении" автора того ли иного средневекового памятника. Таковое переложение всегда регламентировано жанровыми нормами и риторическими клише. "Прорваться" сквозь них к осмыслению того, что именно говорил, предчувствуя смерть, отдельный человек и как вели себя в этот момент его близкие, чрезвычайно сложно. Но ведь жанровые каноны существуют не сами по себе. Они живут в умах авторов литературных (да и иных!) текстов, способных по-своему артикулировать эти каноны, привнося в них нечто свое. Разумеется, это вовсе не обязательно: в одних случаях это происходит, в других – нет. Но поскольку исключить возможность такой интерпретации жанровых норм нельзя, исследователь не может не пытаться осмысливать "нарративную стратегию" того или иного конкретного автора. В случае удачи выявленный авторский дискурс в описании скорби, которую испытывают близкие умирающего, может пролить свет на индивидуальность самого автора, а косвенно – и на своеобразие обстоятельств его творчества, и на своеобразие высказываний его героев. Эти соображения во многом определяют ракурс моего анализа.

Изучая риторику высказываний о смерти и связанных с нею переживаний в начале XIII в. и сравнивая ее с соответствующими то-посами, известными в течение двух предшествующих столетий, я прежде всего попытаюсь выявить все встречающиеся различия. В частности, меня будет интересовать, насколько одинаковы в течение этих двух периодов – в начале XIII в. и в период с конца X до сере-

даны XII в. – стереотипы выражения скорби и насколько заметны отклонения от них у разных авторов. Нет ли в этих отклонениях тенденции к индивидуализации риторических форм? А если есть, то как воспринималась она в среде, окружавшей светского автора? Кажется ли допустимой подобная интерпретация традиционных риторических формул скорби членам органических групп – рода (*lignage*), семья (*famille*), “дома” (*mesnie*) и им подобных? Какое место в этой риторике занимает описание внутренних переживаний умирающего и его близких и насколько такое описание отличается в начале XIII в. от того, что характерно для двух предшествующих столетий?<sup>5</sup>

Заранее оговорюсь: я не собираюсь рассуждать о времени пресловутого “открытия индивида”. Отто Г. Оксле, Ален Буро, Жан Клод Шмитт, А.Я. Гуревич, Бруно Реденбах, Ян А. Эртсен и некоторые другие исследователи уже показали, что подобная постановка вопроса предполагает неоправданную абсолютизацию лишь одного из исторически известных – новоевропейского – воплощения индивида<sup>6</sup>. Вместо этого мне хотелось бы осмыслить своеобразие того варианта индивидуности, который – если он обнаружится в соответствующих текстах – характерен для *рыцаря* начала XIII в. Необходимость для такого рыцаря личного подвига и постоянного самоутверждения составляли *conditio sine qua non* самого его существования. Как он сам и окружающие его люди воспринимали его человеческую особость? Насколько возможными представлялись нестандартные переживания и соответствующие высказывания отдельного рыцаря? Что думали персонажи произведений XII–XIII вв. о самоценности его жизни? И какую роль в складывании рыцарской индивидуности играли эмоции страдания и сострадания – эти “локомотивы” душевного совершенствования человека?

Отбирая источники для анализа этих сюжетов, я руководствовался несколькими соображениями. Во-первых, из всех известных специалистам жанров душевного сокрушения по поводу смерти я отдаю предпочтение так называемым “речам о смерти” (*discours sur la mort*) в *биографических тестах*, а из числа этих последних я останавливаюсь в первую очередь на тех, авторы которых были в реальности близко знакомы со своими героями. Говоря о них, автор текста мог – если бы считал нужным – особенно конкретно описать их личные черты, их ординарные – и неординарные! – слова и действия, их взаимоотношения с близкими, включая и выражения скорби об умирающих. Именно из таких текстов можно надеяться извлечь наиболее рельефную характеристику и самого персонажа, и того, как взаимодействовал он с окружающей социальной средой<sup>7</sup>.

Во-вторых, я считаю с необходимостью использовать не только старофранцузские тексты, но и латинские сочинения, абсолютно преобладавшие до начала XIII в. При этом приходится, естественно, иметь в виду риторическое своеобразие тех и других: латинские ав-

торы были связаны с древними риторическими канонами – в том числе и в описании скорби по умершим – в гораздо большей степени. Различия в риторике неизбежно преувеличивают поэтому возможные культурные различия описываемых персонажей. Но поучительность самого варьирования риторических клише это не обесценивает.

В-третьих, из числа старофранцузских текстов я привлекаю сочинения труверов, живших и писавших как на территории современной Франции, так и в пределах Англии (и современной Бельгии). Описываемые в этих текстах персонажи постоянно перемещались из Англии во Францию и обратно. Их поведение при этом практически не изменялось, тем более что, как известно, владения английских и французских королей в то время перемешались. Фактически рыцарство каждой из этих двух стран еще не полностью этнически самоидентифицировалось. Не случайно все эти тексты были написаны на почти что одинаковом нормандском диалекте. Условно я именую их англо-французскими.

В-четвертых, характерная черта всех используемых мною текстов – то, что в центре их внимания – *действия* конкретных персонажей (а не абстрактные рассуждения). Среди этих персонажей в первую очередь – герои-рыцари, их сторонники и противники, действующие в среде им подобных и в окружении своих близких. В каждом из текстов – галерея литературных образов. Вызывая положительные или отрицательные эмоции, эти образы обрисовывают то, как следовало или как не следовало поступать, в том числе и при выражении скорби о близких. Другими словами, в компоновке этих образов тем или иным писателем можно пытаться найти характеристику и риторического канона, и отклонений от него.

Именно эти принципы отбора источников побудили меня сделать отправным пунктом анализа широко известную “Историю Гийома Маршала” (“Histoire du Guillaume le Maréchal”), насчитывающую более 19 тыс. стихов и представляющую собой биографию этого “лучшего в мире рыцаря” (в конце жизни – регента малолетнего английского короля Генриха III)<sup>8</sup>. Поэма была написана в Англии в 20-е годы XIII в., не позднее чем через семь лет после смерти самого Гийома (умершего в 1219 г.). Автор – трувер Жан (Johan), один из сподвижников главного героя. Тема смерти и связанных с нею страданий специально интересовала этого трувера – англичанина по происхождению, но француза по происхождению<sup>9</sup>. И касался он этой темы не только по отношению к самому Гийому, но и ко многим другим действующим в поэме лицам.

Сходные черты характерны в той или иной мере и для других привлекаемых мною текстов. В их числе стихотворный биографический роман “Жиль де Шин” (“Gilles de Chin”) (более 10 тыс. стихов)<sup>10</sup>. Его исходная версия была составлена на территории Флан-

рии между 1163 и 1175 гг. – примерно через 30 лет после смерти главного героя (скончавшегося в 1137 г.) – одним из его непосредственных вассалов, мирянином Готье ли Кордые (Gautiers li Cordiers) (см. v. 4911–4915). До нас эта биография дошла в переработке, принятой в 1230–1240 гг. известным трувером Готье де Турней (Gautier de Tournay)<sup>11</sup>.

В чем-то похожий характер имеет сравнительно небольшая Песнь трувера-анонима о принятии креста Людовиком Святым (1244 г.)<sup>12</sup>. В центре повествования – рассказ о чудесном выздоровлении короля, находившегося при смерти, и о поведении в этот момент его близких.

Почти в те же годы – между 1232 и 1242 – в Англии была составлена пространная биографическая поэма “Ги де Уорик” (“Gui de Warewic”)<sup>13</sup>. В отличие от названных выше текстов ее автор, видимо, клирик; он мало что знает о прототипе своего героя – приближенном англосаксонского короля Этельстана, прославившемся в борьбе с датчанами; зато он широко использует в поэме сведения о жизненных перипетиях своих современников, включая в нее и рассказ о смерти главного героя и ее восприятии окружающими<sup>14</sup>.

Для сравнения риторики скорби по поводу смерти близких в этих произведениях начала XIII в. с тем, что было характерно для предшествующих двух столетий, я привлекаю тексты латинских памятников того времени, имеющих некоторые сходные черты с только что описанными. В первую очередь речь идет о текстах, содержащих биографические данные о современниках, с которыми авторы имели непосредственный контакт и о восприятии смерти которых их близкими могли (если бы хотели) сообщить достаточно конкретные данные. В числе таких текстов: хроника Рихера Реймского (“Quatre livres d’histoire”) (конец X в.)<sup>15</sup>; хроника Дудона Сен-Кантенского (“De moribus et actis primorum Normandiae ducum”)<sup>16</sup>; хроника Гальберта Брюгского (“История убийства Карла Доброго”) (начало XII в.)<sup>17</sup>; “Жизнеописание Людовика VI” аббата Сутерия (середина XII в.)<sup>18</sup>. О риторическом своеобразии этих латинских памятников, сплошь принадлежавших писателям-клирикам, я только что упоминал.

Помимо латинских текстов конца X – середины XII в., я, естественно, не мог не коснуться и “Песни о Роланде”, знаменитая оксфордская редакция которой (принадлежащая, видимо, перу светского трувера) относится к самому концу XI в.<sup>19</sup> Каждый из этих текстов передает голос того или иного конкретного автора, т. е. присутствующее именно ему – и не обязательно общепринятое! – видение мира. Модели повседневного, массового поведения содержатся в таких литературных повествованиях лишь в опосредованном виде. В то же время каждый автор обрисовывает редко достижимый в реальности вариант восприятия и поведения, присущий описываемому им

персонажу – *идеальному герою*. В чем-то такой герой будет, конечно, соответствовать нормам повседневности. Но чтобы быть идеалом, он должен превосходить их. Риторические формулы в описании скорби такого идеального героя выражают поэтому не столько повседневные, обычные и рутинные формы поведения, сколько нестандартные, исключительные, индивидуальные. Именно как таковые эти поведенческие варианты меня и интересуют.

Избранная постановка проблемы во многом предопределяет отличия моего подхода к изучению риторики скорби от характерного для существующей историографии. Изучение форм оплакивания близких в средневековой Франции началось еще с конца прошлого века<sup>20</sup>. Риторика такого оплакивания для XII–XIII вв. исследовалась по материалам самых различных литературных памятников – “Песен о деяниях” (“*Chansons de Geste*”), по так называемым “античному роману” и “куртуазному роману”, а также по поэзии трубадуров и труверов. Известны отдельные исследования этой темы и по латинским текстам более раннего периода<sup>21</sup>. Анализ всей этой обширной историографии – отдельная задача. Я ограничусь здесь лишь несколькими общими наблюдениями, сформулировать которые отчасти помогает обстоятельная диссертация Габриель Оберханзли-Видмер<sup>22</sup>.

Первое, что бросается в глаза, это преимущественное – если не исключительное – внимание исследователей к стереотипным формам оплакивания и к социально-политической подоплеке соответствующего ритуала. Сформулированные при этом наблюдения несомненно заслуживают внимания. Это касается, в частности, того, что ритуальное оплакивание в среде знати имело своей исходной целью продемонстрировать верность живых покойному сеньору и подтвердить незыблемость сеньориально-вассальных связей. Можно сказать, что в данном случае самая смерть рассматривалась не столько как смерть Человека, сколько как политическое событие, способное нарушить политическое равновесие и вызвать смуту. Не приходится удивляться тому, что ритуал сокрушения должен был при этом совершаться на виду у возможно большего числа приближенных, т. е. быть публичным в самом тесном смысле этого слова. Столь же естественно, что на этой стадии обряд предполагал достаточно широкий комплекс ясно различимых жестов, возгласов и действий, с тем чтобы они были заметны для всех присутствующих. Некоторые исследователи называют такой ритуал “сокрушением напоказ” (*ostentatoire*)<sup>23</sup>. На мой взгляд, “показным” это сокрушение было не в нашем значении этого понятия (как нечто фальшивое и искусственное), но в специфическом смысле преднамеренного действия, которое могло включать и подлинную скорбь по поводу происшедшей смерти; вот только скорбь эта была вызвана совсем иными импульсами, чем те, которые преобладают в подобных случаях в наше время.

Столь же “показным” и в то же время публичным было фигурирующее в рассматриваемых источниках оплакивание героя, павшего в крестовом походе. В историографии справедливо констатируется, что оно служило целям пропаганды крестоносного движения и имело достаточно стандартную и стереотипную форму. Психологические переживания близких героя и их конкретная форма в таких случаях не описывались. То же касается и сцен оплакивания умершей возлюбленной в куртуазном романе<sup>24</sup>.

Изучая риторику скорби в биографических памятниках – памятниках, которые при исследовании данной проблематики, как правило, не вычлениются специалистами в качестве особого жанра, – естественно, нельзя обойти стереотипные формы этой риторики. Но одновременно, как уже отмечалось, мне хотелось бы проверить, нет ли у авторов данных текстов отклонений от подобных стереотипов. Иными словами, мне хотелось бы уяснить не только поэтические традиции в изображении смерти и форм сокрушения по ее поводу, но и собственные интенции того или иного автора (если таковые обнаруживаются!) в интерпретации жанрового канона. Соответственно я не буду ограничиваться лишь теми случаями, в которых скорбь демонстрируется публично, и попытаюсь уделить особое внимание и ее приватному выражению. Меня особенно будет интересовать отношение авторов текстов к внутреннему миру их героев, к осмыслению самого явления скорби при кончине близких.

Эта скорбь могла иметь разный подтекст. В одних случаях на первый план выдвигались такие переживания близких, которые выражали их печаль по поводу своей собственной дальнейшей судьбы; иной вариант – когда наибольшее внимание уделялось сочувствию и состраданию к уходящему человеку<sup>25</sup>; не исключена, естественно, и такая ситуация, когда этикетные выражения скорби вообще не предполагали глубоких внутренних переживаний. Ясно, что каждый из этих вариантов редко можно встретить в “чистом виде”: чаще можно ожидать того или иного их сочетания. Но что-то почти всегда превалирует. Что превалирует в дискурсе авторов исследованных текстов?

Начиная с “Истории Гийома Марешаля”, приведу (в кратком изложении) описание трувером Жаном последних дней и ночей его героя.

...Никто из близких не спит, даже те, кто сменились после дежурства у постели больного; все глубоко взволнованы ухудшением его самочувствия: *toz dis esteit em freor // E en grant ire et en dolor* (v. 18745–18746). Коленопреклоненный сын умоляет отца хоть немного поесть, от этого – так все думают – ему должно полегчать (*Sir, por amor Jesu Crist, // Car mangissez alcuine rien. // Nos cuidons qu'il vos feist bien*). Маршалль пытается – но безуспешно – выполнить обращенную к нему просьбу: *...ge ma[n]gerai // Volentiers tant come por-*

rei // (v. 18752–18756). Все приближенные графа (amis) испытывают глубокую печаль и смятение, страдают и молятся: Molt ennuia a ses amis, // e en ont peines et maux (v. 18788–18789). Молодой Гийом, вторую ночь дежуривший около отца и сильно уставший, не мог “от горя и терзаний” ни спать, ни что-либо делать. В полдень он вместе с другими вновь подходит к постели Маршала. Тот лежит, от-вернувшись к стене. Обращаясь к приближенным, молодой Гийом, весь погруженный в заботы об отце, просит их не шуметь, чтобы не мешать его господину спать (v. 18811–18812). “Не могу заснуть”, - проговорил Маршал. “Да как же можете вы заснуть, когда уже больше пятнадцати дней, как вы ничего не едите!” – восклицает сын (v. 18819– 18823). Маршал начал было поворачиваться, чтобы по-есть, “сходя с ума от болей, но невыносимые муки смерти его оста-навливают”, и он теряет сознание. Придя в себя, Маршал просит созвать всех близких. “Когда все подошли – все те, кто тяжело из-за него переживал” – (qui durement lor pot desplere – 18868), – Мар-шал произносит: “Я умираю, вручаю всех вас Господу. Не могу больше быть с вами, не в силах больше обороняться от Смерти (Je me muir, a Deu vos commant. // Ne me leist mes a vos atendre; // Ne me puis de la mort defendre – v. 18870–18872). Сын присаживается на постель Маршала, заключает его в объятия и не может удержаться от “тихих, прочувствованных рыданий, таких именно, какие и быть должны” (en ses braz son pere rehut; // Tendrement plora, comme il dut, // Simplement et o basse voiz – v. 18875–18877). Затем сын кла-дет перед отцом крест, окропляет его святой водой и молит у Госпо-да, чтобы тот сжалился и даровал отцу благую кончину (v. 18877–18882). “И нельзя вообразить, – заканчивает трувер, – что-бы какого бы то ни было другого земного князя сильнее оплакивали” (v. 18895).

Нетрудно заметить, что из трех упоминавшихся выше аспектов душевного сокрушения трувер Жан делает упор на сострадание и сочувствии к Маршалу близких ему людей. Конечно, и о самой его болезни, и о претерпеваемых Маршалом из-за нее муках (включая муки психологического свойства) тоже говорится достаточно. Но эта тема играет скорее служебную роль: дать повод описать стра-дание близких. О нем же идет речь и во многих других местах поэмы например в пассаже о переживаниях сына Маршала<sup>26</sup>. Более того Страдания самого Маршала обрисовываются трувером в значи-тельной мере через подчеркивание сострадания к нему его родных и приближенных<sup>27</sup>.

Самое это сострадание выражается прежде всего во внутренних “мучениях”. Не случайно наш автор подчеркивает: то были “тихие” “нежные” рыдания, “безыскусные”, “чистосердечные”, “такие, как и быть должны” (comme il dut). Упор сделан, как видим, на интроскоп-изированных эмоциях. Они имплицитно противопоставляются, с од-

ной стороны, официальной церковной службе с полагающимся во время нее громким пением (*Quant les messes chantees furent // Hautement, si cum eles durent* – v. 19048–19049), а с другой – традиционной (и не санкционированной церковью!) ритуальной скорби, тоже предписывающей громкие горестные возгласы, раздиранье одежды и иные публичные действия. Выражение *comme il dut* обретае́т, таким образом, смысл не столько подтверждения принятого обычая, сколько, наоборот, некоего назидания от имени автора с целью предостеречь от неверного поведения. Иными словами, трувер как бы предлагает здесь собственную интерпретацию жанрового кано́на.

Таковая интерпретация не была “изобретением” Жана. Миниаторы свидетельствуют о существовании этого варианта риторики скорби по крайней мере с конца XII в.<sup>28</sup> Но именно этот вариант наш трувер решительно предпочитает иным интерпретациям<sup>29</sup>. Акцентируя внутренние переживания близких, эта риторика скорби не исключала в то же время определенных элементов публичности: все совершалось на глазах у достаточно широкого круга приближенных. Собственно, иного трудно было бы ожидать в рыцарском обществе, где уединение выглядело как странность (или подвиг). Разграничение публичного и частного вообще носило тогда принципиально иной, чем в современном нам обществе, характер<sup>30</sup>. Соответственно самые “приватные” с точки зрения людей XIII в. формы жизни не были лишены публичной окраски. Тем не менее можно было бы сказать, что риторика скорби, проповедуемая трувером Жаном, предполагала явное усиление тенденции к “приватизации” человеческих переживаний<sup>31</sup>.

Среди лиц, выражающих в поэме сострадание, – и мужчины, и женщины. Но, пожалуй, ведущую роль играют именно мужчины: это сын, оруженосец, несколько друзей, верные рыцари. Они не только выполняют конкретные поручения Маршала, но и ухаживают за ним во время болезни, крошат ему хлеб в воду, заботясь, чтобы он хоть что-нибудь съел (v. 18453–18456), присаживаются к его постели, утешают его и рыдают вместе с ним (*Et tuit le chevalier qu'i erent // Dolerosement en plorerent, // Et li valet et li servant // Plorerent et firent duel grant* – v. 18263–18266; см. также: v. 18463–18467). Так что в данном тексте начала XIII в. (в отличие от более ранних текстов) мужчины оказываются причастными к эмоциональным страданиям ничуть не менее (если не более) женщин<sup>32</sup>.

Но и о скорби жены и дочерей Маршала трувер также не забывает рассказать. Особенно поучительно при этом то, что печаль ближайшей утраты равно терзает как жену и дочерей, так и самого Маршала. “Милый друг, – обращается умирающий к супруге, – поцелуйте меня, ведь больше никогда не сможете вы это сделать... И они оба заплакали от любви и сострадания...” (*Il plora et elle plora /*



D'amor et de pit[i]e plor[er]ent... – v. 18372–18373). Столь же прочувствованы в поэме и сцены прощания Марешаля с дочерьми (*Grand dolor i ot & espese, // Si que i covint la contesse // Li & ses filles fors porter, // Car nuls nes poe[i]t conforter // Chascuns fu ploros & pensis* – v. 18383–18387). Ведь чем больше любовь, тем тяжелее переживать утраты (*car molt l'amot de grand amor* – v. 18511).

Чтобы по достоинству оценить эту риторику, следует вспомнить, что канон скорби благородного героя, отразившийся, например, в оксфордской редакции “Песни о Роланде” (конец XI в.), не предполагает даже упоминания о самых близких. В предсмертный час Роланд вспоминает “о многом” (*de plusurs choses*), в том числе о своем сеньоре Карле, о *douce France*, о своем роде (*lignage*), но ни разу не вспоминает он ни об Од (*Aude*), его невесте, ни о своих родителях<sup>33</sup>.

Характерен также акцент трувера Жана на борьбе его умирающего героя со смертью. Считается само собой разумеющимся, что Марешаль сопротивляется ей, *s'en defendre*. Конечно, больше всего внимания тому, будет ли Марешаль удостоен райского блаженства в потустороннем мире (v. 18127–18135). При этом суд Господний мыслится не только (или даже не столько) в конце времен, он совершается тут же – у смертного одра (явившиеся Марешалю “двое в белом” истолковываются как провожатые его души в рай – v. 18764–18767). Но сколь ни желанно грядущее спасение, все – и сам Марешаль, и его близкие – озабочены в первую очередь продлением земного существования. Самоценность жизни этого рыцаря не вызывает ни у кого сомнения. Тем не менее эта идея формально сочетается с известным рыцарским принципом: “Честь дороже жизни”. В этом отношении идеал Марешаля не отличается от того, о чем говорится в “Песне о Роланде” (см.: v. 2393–2396). Сама же смерть выступает не столько как орудие Господа, решившего “призвать человека к себе”, сколько как самостоятельная – и при том антропоморфная – сила, с которой человек вправе – и может! – бороться.

Это же представление о смерти выступает в поэме и там, где речь идет о смерти короля Генриха II Плантагенета (v. 9132–9137). И так же, как по отношению к Марешалю, трувер Жан уделяет особое внимание внутренним переживаниям самого умирающего и его приближенных. Так, судя по тексту поэмы, Генриха сводит в могилу не только – или даже не столько – болезнь, но и душевные муки. Рокочивым для Генриха оказалось известие о том, что первым, кто изменчески согласился признать себя вассалом французского короля по своим владениям на территории Франции, был сын Генриха Иоанн (будущий Иоанн Безземельный). Именно после этого сообщения Генрих впадает в беспамятство и через три дня, не приходя в сознание, умирает (v. 9079–9103). Подчеркивая душевные страдания умирающего короля и специально останавливаясь на переживаниях его

приближенных, на их “стыде” за сюзерена, у которого не нашлось даже достойного покрывала, чтобы накрыть его тело (v. 9110–9112), трувер Жан явно акцентирует в скорби окружающих элементы внутреннего сострадания.

Риторические формулы скорби, присутствующие в “Истории Гийома Марешаля”, – не исключение в светской литературе конца XII – начала XIII в. (хотя их нельзя назвать и всеобщими для этого времени). Они присутствуют, например, в названной выше Песне трувера-аннонима о 7-м Крестовом походе, составленной всего лишь 15 годами позже “Истории Гийома Марешаля”. Чуть ли не умерший после тяжелой болезни король Людовик Святой IX возвращается к жизни только, когда его брат, граф д’Артуа, презревший участие в “рыданиях навзрыд” прочих приближенных, “склоняя главой” к ложу короля, «прошелтал сквозь этот плач и вой: “В горчайшую из всех годин, мой брат, подай мне голос свой”». Только после этого король оживает<sup>34</sup>. Не означает ли это, что интимные формы душевного сокрушения выступают как более достойные и даже более действенные и в этом тексте? Не менее поучительно, что спасителем Людовика оказывается здесь не женщина, но мужчина – главная социальная фигура в обществе воинов: король приходит в себя не тогда, когда над ним рыдает его любимая мать Бланка Кастильская, но лишь в ответ на мольбы мужчины-брата.

Отчасти сходные формы скорби – в поэме “Жиль де Шин”. Так, узнав о смерти возлюбленной (*comtesse de Duras*), Жиль чувствует, что отныне в его сердце навеки поселилось страдание, и он дает сердцу выплакаться (*Gilles le lascia exploree, // Quant dut passer la mer salee* – v. 4377–4378). Но это тайные рыдания, о них не знает никто, кроме самого Жили. Скорбь и здесь оказывается внутренней мукой, проникнутой состраданием к любимой, и в то же время жалостью по отношению к самому себе: без любимой ему не мил белый свет, и он рад бы покинуть его вместе с ней (*De cest siecle s'est departie, // Or l'ait dix en sa compeigniel // Por s'ame fait canter et lire // Messer plus que ne voz sai dire* – v. 4377–4383). Тем не менее о смерти самого Жили в поэме говорится предельно лаконично и скорбь (*grant duel*) его друзей (*amis*) и близких никак конкретно не описывается (v. 5504–5523).

Отсутствует риторика сострадания и в почти одновременном с “Историей Гийома Марешаля” романе “Ги де Уорик”. Ни смерть самого полубогатого Ги де Уорика, ни гибель его сподвижников не побуждают автора к каким бы то ни было высказываниям о психологических муках самих умирающих или их близких. Говоря о самом Уорике, автор больше всего внимания уделяет благой судьбе его души. Подробно описывается также сокрушение вдовы: она падает в обморок, а очнувшись, заключает тело мужа в объятия, целует его лицо, руки и уста, т. е. делает все то, что с давних пор предписывал

этикет публичной скорби. Примерно так же демонстрируют свою печаль и сподвижники Уорика (v. 11466–11577).

Аналогичные формы публичного траура, не предполагающие описания внутренней ("тихой") скорби, обнаруживает Д. Александр-Бидон в поэме под названием "Huon de Bordeaux" (о подвигах Хюона, одного из сыновей герцога Бордоского), в пассаже, который она относит к тем же 20-м годам XIII в.: "В траурном кортеже рыдали, испускали крики, предавались горю, горестно заламывали руки, вырывали волосы..."<sup>35</sup>.

Как видим, риторика скорби, нашедшая свое особенно полное выражение в "Истории Гийома Марешаля", не была в начале XIII в. всеобщим шаблоном. Разные авторы могли позволить себе в разной мере следовать ей или вовсе не следовать. Прочувствованное – внутреннее<sup>1</sup> – сокрушение выступает лишь как одна из возможных риторических форм. Перед трувером этого времени – как, вероятно, и перед его героем в реальной жизни – открывалась возможность индивидуального выбора форм риторики, а в какой-то мере – и форм поведения.

Чтобы уяснить, насколько своеобразна эта ситуация, важно сопоставить ее с той, что была характерна для предыдущего времени. В рамках короткого повествования это можно сделать лишь самым схематичным образом. Не останавливаясь на анализе каждого из привлекаемых текстов конца X – начала XII в., отмечу только их общие черты.

Первое, что бросается в глаза, это гораздо большее единообразие описываемой в них риторики скорби по умирающим, чем то, с чем приходится встречаться в более позднее время. Во всех упоминавшихся выше текстах конца X – начала XII в. подчеркнутое внимание уделяется прежде всего физиологическим симптомам приближающейся смерти. О психологических муках умирающих, об их сопротивлении приближающейся смерти читатель почти ничего не слышит. Основное внимание – если не считать традиционные заботы о душевном спасении – уделяется политическим последствиям кончины того или иного знатного человека, ее публичному резонансу и публичному же изъяснению скорби. Последнее описывается чаще всего стандартной формулой и включает "стенания воинов домохозяев и женщин" (*luctus militum et famulorum et mulieris*)<sup>36</sup>. Реже воспроизводится весь традиционный траурный ритуал, известный со времен древности: громкие рыдания, обмороки, лобызание тела покойного, публичное раздирание одежд, расцарапывание щек и т. п.<sup>37</sup>.

Характерно, что, по текстам конца X – начала XII в., в этом ритуале участвуют и официальные лица, и люди, близкие к покойному и вообще все окружающие. Однако родственники умершего слова в таких случаях, как правило, не получают; их личные внутренние пе-

реживания остаются за кадром. Иными словами, горе близких не вычлняется из официальной скорби: *публичное поглощает частное*<sup>38</sup>.

Такой подчеркнута публичный характер траурного ритуала равно обнаруживается как в латинских хрониках и житиях этого периода, так и в относящемся к тому же примерно времени старофранцузском тексте “Песни о Роланде”. Вместо рассказа о чувствах Роланда по отношению к родным и любимым – или же о приватном сострадании его родных – трувер уделяет специальное внимание публичным – совершающимся на глазах у всех – проявлениям скорби: от горя теряет сознание Карл Великий (v. 2891), падают на землю в обмороке сразу сто тысяч франкских воинов (*Cent milie Francs s'en pasment cuntre tere* – v. 2932), умирает от горя прекраснейшая Од (невеста Роланда).

Как известно, подобные формы траура не одобрялись официальной церковью. Особенно это касалось всего того, что можно было бы истолковать как возвеличивание ценности мирской жизни в противовес заботам о душевном спасении<sup>39</sup>. Более того, христианская доктрина долгое время вообще не предполагала слишком большого сочувствия к земным страданиям человека, “завещанным” грешному роду человеческому самим Господом. Тем более неуместным выглядело в рамках христианской доктрины сострадание умирающему: ведь перед ним открывалась возможность загробного блаженства, перед каковой следовало лишь благоговеть.

Одно из своих классических воплощений эта идея находит в первой половине XII в. в сочинениях Бернара Клервоского. В молитве по поводу кончины его любимого брата Герара Бернар, в частности, говорит: “Скорблю из-за тебя, но не по поводу тебя” (*Plango, etsi non super te, tamen propter te*). Бернар объясняет это тем, что у него нет оснований беспокоиться за судьбу самого Герара: ведь он, несомненно, вопарит в объятия Христа; не случайно, замечает Бернар, Герар умирал с песней на устах. Сокрушается же Бернар лишь по поводу того, что сам он “осиротел”, т. е. исключительно из-за себя и своего будущего одиночества в земной жизни<sup>40</sup>. Естественно, что в рамках этой христианской доктрины не оставалось места для какого бы то ни было сострадания к умирающему.

Однако подобный подход, как мы видели, был чужд реальной риторической практике. Ни светские, ни церковные писатели не следовали ему ни в XI–XII, ни, тем более, в начале XIII в.<sup>41</sup> Начиная же с конца XII в. возникают в принципе иные доктринальные веяния. Они находят выражение в сочинениях ряда авторитетных авторов, в частности у известного поэта Гелинана (*Helinand de Froidmont*), у Франциска Ассизского, у Фомы Аквината. Грозный и отвратительный образ смерти, создаваемый в стихах о смерти Гелинаном, неизбежно порождал у читателя (или слушателя) сочувствие к ее жертвам. Проповедь Франциска побуждала его адептов сопереживать ис-

купительным страданиям Иисуса, его телесным мукам и, соответственно, переосмысливать отношение к телесной боли вообще. Валоризация земных страданий находит имплицитное выражение и в трудах Фомы Аквинского, отрицавшего несопоставимость достойной жизни и достойной смерти и утверждавшего самоценность здорового тела. Страдание перестает рассматриваться как уместное лишь для слабых женщин, оно оказывается допустимым и для мужчин<sup>42</sup>.

Эта противоречивость теологических подходов в начале XIII в. совпадая по времени с общим ростом престижа всех земных ценностей<sup>43</sup>, расширяла для писателей и труверов возможности индивидуального выбора риторики при трактовке жизни и смерти своих героев. Естественно, что и дискурс скорби становился достаточно вариативным. Светский писатель мог (и должен был) *выбирать* тот или иной его вариант. Все это и превращает риторику траура в своеобразный индикатор авторской индивидуности; в этой риторике отражались взгляды данного автора на жизнь и на смерть, на ценность земного существования, на возможность нестандартного поведения человека.

Если согласиться со всем этим, станет очевидным познавательный смысл тех изменений в риторике скорби, которые обнаруживаются у трувера Жана. Его акцент на внутренних переживаниях умирающего и его близких, его внимание к страданию как к форме эмоционального состояния и женщин и мужчин, его трактовка смерти как достойного повода для сострадания к умирающему – все это характеризует тенденцию к подспудному признанию в светской литературе самоценности земного существования и человеческой жизни.

Разумеется, речь идет не о любом человеке, но лишь о жизни куртуазного героя. Даже отпрыск, рожденный благородным рыцарем, сам по себе еще не обладает в глазах трувера Жана самоценностью: Маршалль горделиво замечает, что у него хватит сил "нанечь еще сыновей, если кто-либо из них падет жертвой вероломства. Другое дело сам Маршалль или же кто-либо иной из идеальных рыцарей, например "молодой Генрих" (рано умерший наследник Генриха II Плантагенета). Утрата такого рыцаря невозполнима, так как он – воплощение идеального героя. Как пишет трувер, после смерти молодого Генриха "горе воцарилось в зале, и столь сильным оно было что трудно было дух перевести. Ведь Господь не оставил в этом мире рыцаря, коим все восхищались... Не сравнить это ни с какой утратой" (v. 6916–6924)... "Это самое большое горе и величайшая беда так как не стало того, кто обладал такими качествами, как щедрость как рыцарственность, как мужество ...Никогда больше не найдется такого" (C'est mult granz duels e granz pechiez, // Quer il esteit si entechi // De largesse.. // Et chivalerie e prouesse // James ne troveront nul tel – v. 6937–6945).

Вполне естественно, что такому герою пристало всеми силами противиться смерти – этой переменчивой, убийственной и гибельной Фортуне (v. 6869–6872): “...глуп тот, кто не противостоит смерти, когда чувствует, что она надвигается... и так себя ведет, что Господь его оставляет. А смерть тогда его хватает и как вор похищает” (v. 9132–9138). Фантом смерти обретает здесь вполне антропоморфный образ: “коварная и жестокая смерть ничем не смущалась, не слушала ни просьб, ни проклятий” (*mort felonese e cruele // Ne prise point nen ke il dient, // Ne li chaut qu'il li mesdient* – v. 6948–6950). Подобно живому существу, она может слышать или не слышать, как ей говорят и как ее проклинают. Иными словами, смерть не тождественна Промыслу Господню, она не столько “раб Божий”, как думает французская исследовательница Элизабет Гошар – автор одного из наиболее капитальных исследований рыцарской литературы XIII–XV вв.<sup>44</sup> она и не “путь к Нему”, но скорее самостоятельная сила, явление человеческой экзистенции. Надо ли говорить, что это допускает весьма существенные коррективы в традиционные представления о том, что может человек на этом свете. Фатализм в решении последних вопросов бытия при таком подходе существенно ограничивается.

Идея относительной самодостаточности идеального героя находит у труверов начала XIII в. и иное выражение. Как свидетельствует “История Гийома Марешаля”, вся его карьера – плод его личных усилий. Родители не оставили ему земельных владений, не обеспечили поддержкой при дворе, не подыскали знатной супруги. Он добился социального возвышения собственной шпагой и в каком-то смысле даже вопреки Фортуне, которая то и дело сталкивала его с властью имущими персонажами – Генрихом II, Ричардом Львиное Сердце, Иоанном Безземельным. Можно было бы сказать, что в изображении трувера Жана Марешаль сделал себя сам<sup>45</sup>. Господь не препятствовал его успехам, но добивался их он собственными силами. Таким же выглядит в соответствующих поэмах возвышение Жюля де Шин и Ги де Уорика<sup>46</sup>. Каждый из них сам творит собственное Я.

Как видим, куртуазный герой в некоторых светских текстах начала XIII в. может вступать в борьбу со слепой Фортуной, может (и должен) противиться самой смерти; его восприятие смерти, его сострадание к умирающим близким, как и его эмоциональный язык, предполагают определенное изменение традиционных обычаев и ритуалов; за ним молчаливо признается возможность реинтерпретации риторических клише; ему свойственны достаточно глубокие личные переживания по поводу своих близких, не укладывающиеся в рамки традиционного группового стереотипа; его жизнь выступает как самоценность, его смерть – это невосполнимая потеря; он сам определяет свою судьбу.

Решающиеся на подобное изменение риторических форм светские писатели в той или иной мере пересматривают сложившийся канон, варьируют его и в этом смысле сами выступают как воплощенные индивидуализирующего процесса. Это отнюдь не дает оснований видеть в их риторике "рождение индивидуализма" в его новейшем европейском варианте (связанном якобы с "началом капитализма"), как это полагает Гошер<sup>47</sup>. Но своеобразие этого варианта индивидуальности – варианта, характерного для рыцаря начала XIII в., – эта риторика передает достаточно конкретно.

Пожалуй, особое значение имеет тот факт, что предметом специального внимания труверов (да и других писателей) становится в это время сфера эмоциональных страданий. Как никакие другие эмоции страдания способны, так сказать, "перевернуть" человеческую душу, вызвать ее внутреннюю "перестройку", пробудить в ней новые импульсы. Вербализация страдания и, особенно, *сострадания* почти неизбежно влечет усложнение всего внутреннего мира человека.

Именно эта эмоциональная сфера привлекает растущее внимание авторов рыцарской литературы на рубеже XII–XIII вв. Как литературный жанр господствующей социальной группы, он не мог остаться незамеченным и в других литературных жанрах. В этом смысле можно было бы сказать, что вербализация чувства страдания и сострадания, с которой мы сталкиваемся, в частности, в англо-французских рыцарских биографических текстах, представляла немало важный шаг на пути нравственного становления западноевропейского человека вообще<sup>48</sup>.

## Примечания

- <sup>1</sup> Как будет показано ниже, гипотеза Филиппа Арнеса, согласно которой в раннем средневековье смерть воспринималась "спокойно" и "смирно" (Человек перед лицом смерти. М., 1992. Ч. 1), не подтверждается источниками; см. об этом также *Alexandre-Bidon D. Gestes et expression du deuil // A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l'Occident médiéval / Sous la dir. D. Alexandre-Bidon et autres. Lyon 1993. P. 121–131.*
- <sup>2</sup> Кроме Ф. Арнеса, этот подход использовался в широко известных работах Ж. Ле Гоффа, М. Вовеля, Ж. Шифоло, А. Гуревича, А. Борста и мн. др.
- <sup>3</sup> О содержании современных дискуссий по этой проблематике в среде зарубежных и отечественных историков см.: *Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999.*
- <sup>4</sup> *Bloch M. La société féodale. P., 1994. P. 116.*
- <sup>5</sup> Эти и подобные им вопросы, непосредственно касаясь лишь риторических форм опосредованно затрагивают и историческую реальность. Ведь и жанровые клише, и возможность их индивидуальной интерпретации так или иначе коррелируют не только с литературными стереотипами, но и – шире – с парадигмами культуры. Соответственно, варьирование риторических штампов – в том числе и при высказываниях о смерти – может свидетельствовать о неких новых культурных тенденциях.

- <sup>6</sup> Oexle O.G. Memoria und Memorialbild // Memoria / Hg. K. Schmid u.a. München, 1984. S. 384–440; *Idem*. Memoria als Kultur // Memoria als Kultur / Hg. O.G. Oexle. Göttingen 1995. S. 48ff. *Schnitt J.C.* La "découverte de l'individu," une fiction historiographique? // La fabrique, la figure et la fente. Fictions et statuts de fictions en psychologie / Sous la dir. Paul Mengel et aut. P. 1989. P. 209–231; *Günther A.* Das Individuum im europäischen Mittelalter. München, 1994. *Aertsen J.* Einleitung // Individuum und Individualität im Mittelalter / Hg. J. Aertsen. A. Geyer. Berlin, New-York, 1996. S. IX–XVI; *Reuland B.* Individuum ohne Individualität. Zum Problem künstlerischer Ausdrucksformen von Individualität im Mittelalter // *Ibid.* S. 807–817; *Gerok-Reiter A.* Auf der Suche nach der Individualität in der Literatur des Mittelalters // *Ibid.* S. 748–766; *Michon P.* Individuation. Pour une anthropologie historique de la modernité. Thèse de doctorat, EHESS. P., 1995. P. 10–48.
- <sup>7</sup> За рамками моего анализа остались, таким образом, посмертные благословения, надгробные речи, утешительные тексты, эпические оплакивания, т. е. тексты, в которых средневековые авторы, хотя и имели в виду некоего конкретного человека, акцентировали не столько его индивидуальные, сколько его "родовые" черты как праведного христианина.
- <sup>8</sup> L'Histoire de Guillaume le Maréchal / Ed. Paul Meyer. P., 1891–1903. Vol. 1–3.
- <sup>9</sup> Gaucher E. La biographie chevaleresque. Typologie d'un genre (XIII–XV siècle). P., 1994. P. 224.
- <sup>10</sup> Romans en vers de Gilles de Chin / Ed. par Baron de Reiffenberg. Bruxelles, 1847.
- <sup>11</sup> Liegeois C. Gilles de Chin. L'histoire et la légende. Louvain, 1903. P. 49.
- <sup>12</sup> "Wie Ludwig IX der Heilige das Kreuz nahm" // Nachrichten der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1907. S. 246–257.
- <sup>13</sup> Guy de Warewic. Roman du XIII s. / Ed. par Alfred Ewert. Vol. 1–2 (Les classiques français du Moyen Age, 74–75). P. 1932–1933.
- <sup>14</sup> *Ibid.* P. III–VI.
- <sup>15</sup> Richer. Historiarum libri IIII // Richer. Histoire de France / Ed. et trad. par Robert Latouche (Les classiques de l'histoire de France). P., 1930.
- <sup>16</sup> Edit. Lair (Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, XXIII). Caen, 1865.
- <sup>17</sup> *Galbert de Bruges.* De l'agression, de la trahison et du meurtre du glorieux Charles, comte de Flandre / Ed. par Henri Pirenne. P., 1891.
- <sup>18</sup> *Suger.* Vie de Louis VI le Gros (Les classiques de l'Histoire de France au Moyen age / Publ. sous la dir. Luis Halphen. Vol. III) / Ed. par Robert Latouche. P., 1964.
- <sup>19</sup> *Chanson de Roland* / Ed. Jean Dufournet. P., 1993.
- <sup>20</sup> *Zimmermann O.* Die Totenklage in den altfranzösischen Chansons de Geste (Berliner Beiträge zur Germanischen und Romanischen Philologie, XIX) Berlin, 1899.
- <sup>21</sup> См. библиографию темы: *Oberhansli-Widmer G.* La complainte funèbre du haut moyen âge français et occitan. Berne, 1989. P. 113–124; *Thury C.* La complainte funèbre (Typologie des sources du Moyen age occidental, fasc. 30). Turnhuot-Belgium, 1978.
- <sup>22</sup> В этой работе (как и в некоторых других) уделяется, кроме того, специальное внимание различиям в изображении скорби и траура в литературных памятниках разного типа (chansons de geste, roman antique, roman courtois etc.). Тщательно используя эти наблюдения, я, однако, уделяю главное внимание тому, что отличало риторику скорби именно в биографических текстах.
- <sup>23</sup> *Alexandre-Bidon D.* Op. cit. P. 125.
- <sup>24</sup> *Oberhansli-Widmer G.* Op. cit. P. 49–55, 101.
- <sup>25</sup> Об особой важности именно этой формы переживаний для нравственного формирования человека и становления индивидуальности см.: *Zink M.* L'angoisse du héros et la douleur du saint: souffrance endurée, souffrance contemplée dans la littérature hagiographique et romanesque (XII–XIII siècles) // *Zink M.* Les voix de la conscience. Parole du poète et parole de Dieu dans la littérature médiévale. Caen, 1992. P. 399–412; см. также: *Duby G.* Réflexions sur la Douleur Physique au Moyen Age // La Douleur. "Au-delà des Maux" sous la dir. de Geneviève Levy. P., 1995. P. 71–79.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, v. 18304–18305.



- <sup>27</sup> *Ibid.*, v 17895-17905.
- <sup>28</sup> *Alexandre-Bidon D.* Op. cit. P. 124.
- <sup>29</sup> В конце XIII в. громкие стенания и жалобы скорбящих по поводу смерти близкого осуждаются даже во время похоронной процессии и церковной службы, причем такое осуждение может принимать форму юридического запрета: *Chiffolleau J.* La comptabilité de l'au-delà. les hommes, la mort, et la region dans la religion d'Avignon à la fin du Moyen Age. Rome, 1980. P. 139.
- <sup>30</sup> Подробнее см.: *Бессмертный Ю.Л.* Частная жизнь и индивид // Человек в кругу семьи. М., 1996. С. 346.
- <sup>31</sup> Однако о какой бы то ни было плавной и однонаправленной эволюции обряда траура – в сторону его “приватизации” или же интериоризации – нет оснований говорить в XIV в. сама внутренняя скорбь становится элементом публичного ритуала *Jussen B.* Dolor und Memoria. Trauertiten, gemalte Trauer und soziale Ordnungen im späten Mittelalter // Memoria als Kultur. S. 207–252.
- <sup>32</sup> Аналогичным образом ведут себя в поэме мужчины – сподвижники короля Генриха II при его кончине: см. v. 9052–9112; 9146–9172.
- <sup>33</sup> *Gaucher E.* Op. cit. P. 388.
- <sup>34</sup> Об этой болезни Людовика Святого и его чудесном выздоровлении сообщают почти все хронисты (см.: *Le Goff J.* Saint Louis. P., 1996. P. 864–868). Любопытно, что на миниатюре в хронике Матвея Парижского, изображающей переломный момент в течении болезни короля, воспроизведена фигура коленопреклоненного мужчины – графа д’Артуа? – стоящего на коленях в изголовье королевского ложа (*Ibid.* P. 496, min. 6).
- <sup>35</sup> *Alexandre-Bidon D.* Op. cit. P. 125: “dans le cortège, on pleure, on pousse des cris, et l'on s'abandonne à des transports de douleur; on se tord les poings, on tire ses cheveux... dames, écuyers et serviteurs se mettent à pleurer, à s'arracher les cheveux; tous se lamentent sur Charlot le guerrier”.
- <sup>36</sup> *Richer.* Op. cit. IV, 94.
- <sup>37</sup> *Dudonis Sancti Quintini / Ed. par Lair.* P. 298.
- <sup>38</sup> См., например, описание скорби Людовика VI и его супруги в связи с неожиданной смертью их старшего сына, наследника престола Филиппа: “dolor et luctus” отца и матери никак не вычленяется из описания скорби прочих высокопоставленных лиц (regni optimates): *Suger.* Op. cit. P. 266–267.
- <sup>39</sup> *Le Goff J.* Les gestes du purgatoire // *Le Goff J.* L'imaginaire médiéval. P., 1985. P. 128. *Duby G.* Réflexions... P. 73ff; *Alexandre-Bidon D.* Op. cit. P. 121 ff.
- <sup>40</sup> *Loclercq J.* La joie de mourir selon Saint Bernard de Clervaux // Dies illa. Death in the Middle Ages / Ed. par J. H. M. Taylor. Manchester, 1984. P. 19–200.
- <sup>41</sup> Тем не менее реминисценции этого дискурса не исчезают, он встречается, например, у Жуанвилля в конце XIII – начале XIV в.; *Joinville J. de.* L'histoire de saint Louis // Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age. P., 1952. P. 335.
- <sup>42</sup> *Maréchal G.* Le thème de la mort dans la poésie française. P., 1978. P. 24. *Duby G.* Réflexions... P. 77; *Gaucher E.* Op. cit. P. 375ff.
- <sup>43</sup> *Le Goff J.* С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) // Одиссей, 1991. М., 1992. С. 25–47.
- <sup>44</sup> *Gaucher E.* Op. cit. P. 378.
- <sup>45</sup> *Duby G.* Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde. P., 1984. P. 185.
- <sup>46</sup> *Gaucher E.* Op. cit. P. 536–539.
- <sup>47</sup> *Ibid.* P. 513.
- <sup>48</sup> Вот уже несколько десятилетий исследователи рыцарства XII–XIII вв. не устали подчеркивать, что высокие рыцарские идеалы этого времени не соответствовали реальности, что “на самом деле” рыцарство славилось грубостью, жестокостью, вероломством и фанатерией, для которых эти идеалы служили лишь прикрытием, что “сказки” о рыцарских достоинствах были лишь средством оправдать претензии рыцарства на сохранение политической монополии и щедрые податки со стороны власть имущих (*Kohler E.* L'aventure chevaleresque. Idéal et réalité dans le roman

courtois. P., 1970; *Idem.* *Trobadorlirique und höfischer Roman Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalter* Berlin, 1962, особенно S. 214ff; *Duby G.* *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme* P., 1978 P. 312ff, p. 387ff; *Idem.* *Guillaume*. . P. 186; см также: *Oberhansli-Widmer G.* *Op cit* S. 66) Эта трактовка рыцарских идеалов, во многом ширкая с точки зрения реалий того времени, не кажется мне сколько-нибудь достаточной при более широком взгляде на историю рыцарства. Для судеб европейской культуры было принципиально важным не только то, насколько рыцарство было верно своим идеалам. Не менее – если не более – существенным было их содержание. Пополняя и изменяя исходные христианские ценности, рыцарские идеалы – независимо от того, в какой мере они соблюдались, – служили трамплином нравственного подъема. Они побуждали к сопереживанию, состраданию, сочувствию, заставляли задумываться над выбором своих решений, размышлять над их последствиями и для себя, и для других. Пусть это было уделом лишь одиночек или даже только нереализуемым идеалом. Чтобы преодолеть варварство и жестокость, надо для начала хотя бы знать, что им противостоит. Счастье Запада в том, что осмысление этого нравственного противостояния началось более чем восемь столетий тому назад.

## Глава 11

### В ожидании смерти: молчание и речь преступников в зале суда (Франция, XIV век)

24 марта 1391 г. Жирар де Сансер, человек без определенных занятий, любовался вереницей повозок, проезжавших по улицам Парижа. Повозки принадлежали королеве, мадам де Турэн и мадемуазель д'Аркур. Жирар, увязавшийся за кортежем, показался королевским слугам весьма подозрительным типом. Они попытались его прогнать, но он не уходил. Тогда они применили силу, призвав на помощь сержанта квартала, чтобы тот арестовал наглеца. "Увидев это [Жирар] громко закричал, [прося] во имя Бога не сажать его в Шатле, ибо если он там окажется, он умрет (*s'il y estoit menez, il seroit mort*)<sup>1</sup> (RCh II, 457).

Предчувствия несчастного оправдались: обвиненный в воровстве и признавший под пыткой свою вину, он был повешен на следующий же день.

Дело Жирара де Сансера (как и 124 подобных ему) дошло до нас благодаря единственному сохранившемуся уголовному регистру тюрьмы Шатле, составленному секретарем суда Аломом Кашмаре в 1389–1392 гг. О характере этого регистра и о причинах, подтолкнувших Кашмаре к его созданию, я уже писала<sup>2</sup>. Говоря коротко, RC<sup>1</sup> должен был стать образцовым регистром, своеобразным учебником по уголовному судопроизводству конца XIV в. Но замысел автора не сводился лишь к констатации нормы, т. е. того, как должен был развиваться уголовный процесс в соответствии с устоявшимися правилами. Создавая образцовый регистр, Кашмаре одновременно стремился предупредить все возможные *нестандартные ситуации*, воз-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 970-01-0024<sup>3</sup>)

никающие в зале суда. Исключительность того или иного процесса могла проявляться и в составе преступления, и в особенностях процедуры и наказания. Однако для нас важнее всего тот факт, что через анализ таких ситуаций удается хоть отчасти раскрыть внутренний мир подсудимых, поскольку в ряде случаев Алом Кашмаре определенно связывал нестандартность того или иного процесса с поведением и речью обвиняемых в суде.

У нас может возникнуть закономерный вопрос: а как, собственно, определить норму и отклонение в поведении преступника в средневековом суде? Думается, что в какой-то степени сама процедура "подсказывала" обвиняемым правила "примерного" поведения. Одним из них и, пожалуй, самым главным было признание своей вины: добровольно ли, после одной, двух или трех пыток. Даже частое отсутствие признания не слишком смущало судей, будучи вполне типичным явлением. Где граница между этим "нормальным", нормированным поведением основной массы обвиняемых и "не-нормальными", с точки зрения судей, вызывающими стратегиями поведения отдельных индивидов – вот вопрос, интересовавший Кашмара и интересующий нас в не меньшей степени, чем тонкости судопроизводства. Как мне представляется, такое выявление спектра возможностей индивида в данной сфере важно в первую очередь потому, что наши знания о суде и правосознании эпохи позднего средневековья и по сей день остаются весьма ограниченными и отличаются в большой степени стереотипностью представлений. Эти последние сводятся в целом либо к домыслам о тотальной жестокости средневекового суда (ведь в нем применялись пытки!), либо к традиционным работам, направленным на выявление типичного – т. е. той самой нормы, от которой в любую эпоху случаются отклонения, не в последнюю очередь связанные с личностью того или иного конкретного человека, с его жизненными принципами, чувствами, эмоциями и ситуативными настроениями.

Другой "подсказкой" при выявлении нестандартной ситуации, безусловно, служит сама манера записи дел в регистре. Основным принципом отбора казусов здесь, как мне видится, становится личное впечатление автора, его удивление или даже возмущение при рассмотрении того или иного случая. У нас есть редкая возможность сравнить RCh с близкой ему по типу выборкой дел, рассмотренных в Парижском парламенте в 1319–1350 гг. Парламентский регистр представляет собой первую попытку систематизации практических знаний об инквизиционной процедуре (процедуре следствия), основанную на реальных прецедентах<sup>3</sup>. Его авторы – Этьен де Гиен и Жеффрау де Маликорн – назвали свое творение "Confessions et jugements des criminels...", подчеркнув таким образом важность института признания в новой процедуре. Однако именно в записи показаний обвиняемых кроется существенное различие между парламентской выборкой и регистром Кашмаре.

С первой половины XIV в. инквизиционная процедура (inquisitio) была официально принята в королевских судах Франции. Основным ее отличием стала большая полнота власти судей. Если раньше уголовный процесс мог возбудить только истец, то теперь эту функцию часто выполнял сам судья при наличии определенных "подозрений" (sospçons) в отношении того или иного человека. В ситуации, когда прямое обвинение отсутствовало и/или не существовало свидетелей преступления, основной формой доказательства вины становилось признание обвиняемого, без которого не могло быть вынесено соответствующее решение. Если преступление заслуживало смертной казни, к подозреваемому могли применить пытки<sup>4</sup>.

Признание (confession) рассматривалось судьями как выражение "полной", "подлинной" правды (la plein, la vrai verité). Признание собственной вины – единственное, что интересовало их во всем сказанном преступником. Как представляется, ключевым здесь может стать понятие "экзистенциальная речь", предложенное Эвой Эстерберг и позволяющее хоть отчасти раскрыть самосознание человека: "[Экзистенциальная речь] полна смысла и имеет последствия... Люди отождествляют себя с тем, что они говорят, и отождествляются со своей речью. Сказанное слово не возьмешь назад, от него не откажешься, его не смягчишь. В экзистенциальной речи люди ставят на карту всю свою будущность и могут буквально погубить ее простой шуткой, сказанной не к месту. Сказанному придается особое значение. В экзистенциальной речи люди проявляют свою сущность и становятся такими, каковы они есть"<sup>5</sup>.

С точки зрения средневековых судей именно признание могло считаться проявлением экзистенциальной речи. Так обстоит дело с регистром Парижского парламента. Запись дел строится здесь по принципу "вопрос – ответ" и отличается лаконичностью, позволяющей получить, к сожалению, лишь минимум информации о составе преступления и типе наказания. Иначе – в RCh, где основное внимание отдано пространным повествованиям обвиняемых, которые занимают не одну страницу и часто содержат сведения, ни по форме ни по содержанию не относящиеся к признанию как таковому. (На 125 человек, упоминающихся в RCh, приходится примерно 1200 страниц в издании Дюпле-Ажье, который сознательно опустил некоторые повторы в показаниях, присутствующие в рукописи регистра.) Отличие регистра Кашмаре заключается именно в том, что он признает экзистенциальным, т. е. заслуживающим внимания, все, о чем говорят преступники в суде. Конечно, для него, как для судебного чиновника, признание имеет свое, сугубо правовое, значение. Но нестандартное поведение преступника в тюрьме он пытается осмыслить *через его речь*, справедливо полагая, что в экстремальной ситуации, в последние, возможно, минуты жизни, тот будет говорить

только о том, что по-настоящему имеет для него значение и что составляет его сущность.

Эта особенность позиции автора RCh представляет нам уникальную возможность изучения внутреннего мира средневекового преступника, его видения тюрьмы и суда, его мыслей и чувств, его системы ценностей и индивидуальных особенностей поведения, обычно скрытых от историка за формальным характером судебных документов. Конечно, такое исследование должно учитывать массу дополнительных факторов: фрагментарность признаний заключенных, усложнение получения этих признаний (в частности, фактор пытки), вторичный характер их записи. Именно с проблемой языка, с проблемой прочтения такого источника, как RCh, связано, на мой взгляд, отсутствие на сегодняшний день работ, посвященных *индивидуально-му правосознанию* во Франции эпохи позднего средневековья.

Традиция изучения RCh связана, в первую очередь, с именами таких крупных историков, как Бронислав Геремек и Клод Говар<sup>6</sup>. Их работы были посвящены феномену средневековой преступности, влиянию этой специфической социальной группы на все общество, ее внутреннему устройству, законам ее существования. Однако для исследовательской манеры этих ученых характерно прежде всего внимание к таким факторам и явлениям, которые описывают всю группу в целом, т. е. к наиболее *типичному* для всех представителей мира средневековых преступников. Для Б. Геремек и К. Говар индивид представляет собой лишь часть целого: если есть один, следовательно, существуют еще многие – *точно такие же*. Личность человека описывается ими как *объект отношений*, но не как *субъект*, и в этом подходе ощущается осмысленная на новом уровне исторического знания и на новых типах источников методология “неполной дискурсивности” Мишеля Фуко.

Для Фуко обвиняемый представлял собой “мифическое чудовище, которое невозможно определить словами, потому что оно чуждо любому утвержденному порядку”<sup>7</sup>. Следовательно, любой судебный процесс возможно было описать исключительно с помощью двух взаимосвязанных дискурсов: языка права и языка психиатрии – т. е. в конечном итоге с позиции власти, но никак не с позиции самого обвиняемого. Дискурс последнего сознательно исключался из анализа, и вслед за ним из повествования выпадало главное действующее лицо процесса – сам преступник.

Характерно, что с критикой такого понимания судебного источника, особенностей и возможностей его языка первым, возможно, выступил не французский, а итальянский историк – Карло Гинцбург. Именно он отметил главную особенность исследований М. Фуко, которого прежде всего интересовали “критерии исключения и совершенные поступки и в меньшей степени сами исключенные”<sup>8</sup>. Во введении к работе “Сыр и черви” (на которую, кстати говоря, не ссы-

лаются ни Б. Геремек, ни К. Говар, как и на другие исследования К. Гинцбурга, посвященные исследованию судебных документов) Гинцбург сформулировал принципиально новое видение проблемы, исходя из принципа несводимости к единому знаменателю дискурсов обвиняемого и обвинителя: "Используя *расхождения* в вопросах судей и ответах обвиняемых – расхождения, которые не могли возникнуть ни по вине допрашивающего, ни *вследствие пыток*, – удалось вскрыть глубинный пласт совершенно самобытных народных верований"<sup>9</sup>.

В этих "расхождениях" с официально принятым дискурсом и следует искать выражение единичной личности, особенности ее мировосприятия. Сложность подобного исследования заключается лишь в том, чтобы этот зазор, безусловно присутствующий в устной речи, остался заметным, прочитываемым в письменном тексте. Обладание источником, в котором насилие письма над речью сведено к минимуму, – редкая удача для историка. Поэтому тот факт, что RCh, опубликованный более ста лет назад, до сих пор не являлся предметом микроанализа, вызывает сожаление.

Не отказываясь от попытки представить себе всю полноту картины – мир средневековой преступности, – мы можем подойти к решению этой задачи с позиций микроанализа – через рассмотрение отдельной личности. Естественно, что при анализе данного источника в центре внимания будет находиться очень небольшая и весьма специфическая часть средневекового общества. Размышления и возможные выводы, основанные на материале RCh, ни в коем случае не распространяются на общество конца XIV в. в целом или на тех людей, кто оказался втянутым в судебный процесс в качестве субъекта права (как истцы, свидетели или любопытные зрители). Меня будут занимать переживания и стратегии поведения лишь тех, кто принадлежал к миру преступников. Но с чьей точки зрения они были преступниками?

Проблема социальных различий представляется мне одной из наиболее интересных, однако трудно решаемых на материале RCh. Сложность состоит в том, что для судей Шатле понятие "преступник" раз и навсегда определяло место индивида в социальной иерархии: он был "не нужен обществу" (*inutile au monde*). Принимая во внимание происхождение человека (будь то шевалье, крестьянин или городской ремесленник), судьи при рассмотрении его дела исходили только из факта его преступной деятельности. Важно, однако, помнить о том, принадлежал ли тот ли иной обвиняемый к преступникам-рецидивистам или же совершил единственное преступление, оставаясь в остальном "нормальным" членом общества. Такая социальная градация присутствует в RCh и имеет особое значение при рассмотрении вопросов, связанных с поведением и переживаниями человека в суде.

Не менее важно при анализе социального состава преступного сообщества учитывать политическую ситуацию, сложившуюся во Франции в конце 80-х годов XIV в. После возобновления Карлом V военных действий в 1369 г. англичане покинули захваченные ранее территории и к концу 70-х годов владели лишь Бордо и частью Гаскони. Перемирие в Брюгге, подписанное в 1375 г., ознаменовало начало 40-летнего периода относительного покоя и стабильности: воюющие стороны получили возможность перевести дух и заняться внутренними проблемами. Однако временное прекращение военных действий имело и другое последствие: огромный отток людей из армии – людей вооруженных, привыкших к острым ощущениям войны, к опасности и близости смерти, привыкших убивать и жить грабежом. Им нечем было занять себя: мирное ремесло за многие годы непрекращающихся сражений было забыто, дома разрушены, семьи утрачены. Кроме того, с начала XIV в. сменилось не одно поколение тех, кто вообще не знал и не представлял себе иной, не-военной, реальности. Привычный для них образ жизни становился полностью неприемлемым в мирное время. Приспосабливаться они не хотели или не умели, а потому единственно возможным способом существования и выживания для этих бывших солдат становилось создание воровских банд, грабеж и разбой на дорогах и в крупных городах (как, например, в Париже), где проще было затеряться в толпе, не вызывая лишних подозрений. Пестрый социальный состав героев Капмаре, судьбы многих обвиняемых, чьи процессы описаны в RCh, – лучшее свидетельство перемен во французском обществе конца XIV в., связанных с новой политической ситуацией в стране.

Несколько слов нужно сказать и об основном месте действия – о королевской тюрьме Шатле, находившейся в непосредственном ведении парижского прево. Судя по ордонансам, в конце XIV в. Шатле была переполнена до такой степени, что тюремщики не знали, куда помещать новых заключенных<sup>10</sup>. При этом тюремное заключение было *платным*. Так, только за само помещение в тюрьму обвиняемый должен был заплатить определенную сумму, согласно своему социальному статусу: граф – 10 ливров, шевалье – 20 парижских су, экойе – 12 денье, еврей – 2 су, а “все прочие” – 8 денье. Дополнительно оплачивалась еда и постель. “Прокат” кровати стоил в Шатле в 1425 г. 4 денье. Если заключенный приносил кровать с собой (*sic!*), то платил только за место (2 денье). Такой привилегией пользовались наиболее высокопоставленные преступники, помещавшиеся обычно в соответствующих их социальному статусу отделениях тюрьмы – “Cheynes”, “Beauvoir”, “Gloriette”, “La Mote”, “La Falle”. На своих кроватях они спали в гордом одиночестве. Что касается прочих, то ордонанс запрещал тюремщикам помещать на одну койку больше 2–3 человек (в помещениях “Boucherie”, “Griesche”). Заключенный в “Beauvais” спал на соломе за 2 денье, а в “Puis”,



"Gourdaire", "Berfueil" и "Fosse" платил 1 денье (видимо, за голый пол)<sup>11</sup>.

Социальное неравенство проявлялось и в питании. По закону преступникам полагались лишь хлеб и вода, но "благородный человек" имел право на двойную порцию, а по особому разрешению прево — на помощь семьи и друзей. В самом выгодном положении находились те, кто был посажен в тюрьму за долги, — их содержали кредиторы. Приятное разнообразие в меню вносили лишь пожертвования частных лиц, церковных лиц, церковных учреждений и ремесленных корпораций. Они состояли обычно из хлеба, вина и мяса, но происходили только по праздникам<sup>12</sup>.

Мужчины и женщины содержались в тюрьме отдельно. То же правило пыталось ввести и в отношении поделщиков, однако из-за большой скученности это не всегда удавалось. Тюремщикам запрещались любые физические и моральные издевательства над заключенными, тем более что особо опасные преступники находились в карцере (cachot) или "каменном мешке" (oubliette) или бывали закованы в цепи (за которые сами же и платили)<sup>13</sup>.

Все источники, содержащие сведения о средневековых тюрьмах, отличает одна любопытная особенность. Мы никогда не встретим в них описания *внутреннего строения* тюрьмы. Даже авторы ордонансов в своем стремлении создать тип образцового учреждения не останавливаются на этом вопросе, сразу же переводя повествование в риторический пласт: "[Тюрьма должна быть] приличной и соответствующим образом устроенной, чтобы человек без угрозы для жизни и здоровья мог [там] находиться и претерпевать тюремное исправление"<sup>14</sup>.

Такое описание тюрьмы роднит его с изображением подземелья в готическом романе: неспособность описать внутренность помещения "отражает зависимость дискурсивного от видимого... Стандартные описания обычно ограничиваются *топосами страха и отчаяния*"<sup>15</sup>.

Именно эту особенность мы наблюдаем прежде всего и в речи средневековых преступников. Восприятие тюрьмы, связанное с топосами "судьбы" и "смерти", наиболее типично для преступников-рецидивистов, знакомых с тюремным заключением не понаслышке. Характерным примером являются показания банды парижских воров под предводительством Жана Ле Брюна, арестованной в сентябре 1389 г. (RCh, 1, 47–114). Каждый из них, представ перед прево и его чиновниками, объявлял себя клириком и требовал передачи дела в церковный суд, ссылаясь на наличие тонзуры (о причинах такого поведения я скажу ниже). Когда же выяснилось, что все тонзуры фальшивые, их обладатели дали практически одинаковые показания. Так, Жан ла Гро признал, что, по совету товарищей, "чтобы избежать ареста и наказания в светском суде, он сделал себе эту тонзу-

ру... чтобы продлить себе жизнь (*pour alonger sa vie*)" (RCh, 1, 69). Жан Руссо уточнил, что "если бы он был случайно схвачен, он бы пропал (*qu'il seroit perdu*)" (RCh, 1, 80). А Жан де Сен-Омер, объясняя свое желание оказаться не перед светским судом, а в тюрьме парижского официала, заявил, что там "никто еще не умер" (RCh, 1, 90).

Члены банды Ле Брюна по своему опыту или по опыту своих "компаньонов" хорошо знали, что представляет собой тюрьма. Избегать заключения значило для них *изменить судьбу, обмануть смерть*. Вспомним и испуганные вопли Жирара де Саясера, столь впечатлившие Кашмаре, что он счел нужным сохранить их в записи процесса. Для Жирара тюрьма также напрямую была связана с *ожиданием смерти*, тем более что и он уже побывал в свое время в заключении (RCh, II, 458).

Однако важно заметить, что отношение преступников-рецидивистов к судебной системе формировалось задолго до того, как они попадали в руки правосудия. Например, Жан Руссо позаботился о своей тонзуре за 7 лет, а Жан де Сен-Омер – за 5 лет до ареста. Такая предусмотрительность, безусловно, являлась одной из составляющих их "профессионализма". Другое дело – реакция "обычного" человека на свой арест или на нахождение в тюрьме.

4 января 1389 г. был арестован Флоран де Сен-Ло, бондарь. Его схватили в булочной, когда он срезал аграф с пояса посетителя. Прею приказал посадить его в тюрьму, в одиночную камеру (*tout seul*). А на следующий день тюремщик доложил своему начальству, что они с обвиняемым "много о чем говорили, и упомянутый заключенный признался, что у него в Компьене осталась невеста по имени Маргарита и как бы он хотел (*qu'il voudroit*), как он молит Бога (*qu'il priest à Dieu*), чтобы она узнала о том положении, в котором он теперь находится, и позаботилась бы о его освобождении..." (RCh, I, 204).

Перед нами – несколько иное восприятие тюрьмы, нежели у преступников-профессионалов. Обращает на себя внимание тема *одиночества*, возможно, спровоцированная помещением обвиняемого в одиночную камеру, но связанная прежде всего с *отрывом от близких* – в данном случае от невесты. В RCh мы не встречаем других примеров, где восприятие тюрьмы было бы напрямую связано с топосом разорванных социальных связей и переживалось бы так остро. Оно объясняется в первую очередь тем, что Флоран не относился к профессиональным преступникам, чьи дела преобладают в RCh, потому его слова и заинтересовали Адома Кашмаре.

Преступник-профессионал – *одиночка*, он, возможно, в меньшей степени страдает от разлуки с близкими, родными людьми. Его окружение – такие же, как он сам, "бродяги и разбойники", нищие и проститутки. "Compagnie", которую создают, к примеру, воры, не яв-

ляется дружеским союзом. По определению самих же "компаньонов", это – деловое соглашение, ограниченное во времени и с конкретными целями. Оказавшись в тюрьме, бывшие "дружки" не то что не поддерживают друг друга морально, но валят друг на друга всю вину, спасая собственную шкуру. Именно так поступают члены банды Ле Брюна: каждый борется только за себя. Вот, например, как характеризует сам Ле Брюн одного из своих прежних сообщников "[Этот Фонтен] – человек дурной жизни и репутации, бродяга и шулер, посещающий ярмарки и рынки, его никто не видел работающим..."

Судьям остается только воспользоваться ситуацией: "И потому, что этот заключенный (Ле Брюн) обвинил многих других... было решено отложить его казнь, чтобы он помог их изобличить..." (roui audez à convaincre ceux-là prisonniers) (RCh, I, 68).

В этой связи особо интересно восприятие образа "клирика", который используют для маскировки профессиональные преступники. У настоящего клирика, по мнению средневековых судей, нет семьи он обязан быть одиночкой, иначе, как "двоеженец" (bigame), он будет осужден. Похоже, того же мнения придерживаются и сами преступники. В частности, упоминавшийся выше Жан Руссо замечает по поводу одного своего "коллеги": "Этот Жервез вовсе не клирик (n'est point clerc), ведь он женился на проститутке..." (RCh, I, 83).

Преступнику-одиночке, не обремененному семьей, проще пережить тюремное заключение и суд, ибо мысли о родных лишь увеличивают душевные муки человека. Часто именно из-за близких он идет на совершение преступления. Вспомним Флорана де Сен-Ло он рассказывает судьям, что время от времени Маргарита (его невеста) спрашивала его, когда же состоится их свадьба, "но он всегда ей отвечал, чтобы она подождала, пока они станут немного богаче..." (un roui plus riches) (RCh, I, 206).

Еще показательнее дело Этьена Жоссона, арестованного 10 мая 1392 г. за подделку печатей и подписей двух королевских нотариусов, – только так он смог раздобыть некоторую сумму денег, чтобы обеспечить свое многочисленное семейство: "И сказал, что сделал это из-за бедности и необходимости содержать себя, свою жену, детей и дом..." (RCh, II, 488).

Этьен, в отличие от Флорана, не говорит вслух о чувстве одиночества, однако страх за будущее семьи в отсутствие кормильца в его словах, безусловно, есть. Похожее дело, относящееся к 1334 г., описано в "Confessions et jugements..." Неккий Жан Гимон из Умблины (Humblyny), убитый в случайной стычке местного священника также вспоминает о своей семье: "И сказал, что у него беременная жена и семеро детей, которых он содержит"<sup>16</sup>.

Попадая в тюрьму, каждый человек испытывает чувство страха, но выразить его словами способны в этой ситуации единицы, причем

выразить *по-разному*, используя топоры "судьбы", "смерти", "одиночества", "отрыва от близких". Основная же масса заключенных, чьи процессы описаны Кашмаре, в суде подавленно *молчат*, раз и навсегда смирившись с собственной участью, не помышляя о каком-либо сопротивлении. Да и мог ли средневековый преступник повлиять на судебный процесс, изменить свою судьбу? Иными словами – каковы были стратегии поведения тех людей, кто все же отваживался постоять за себя?

Здесь снова придется начать с противопоставления преступников-профессионалов и людей более или менее случайных.

Мне представляется плодотворным, опираясь на современные исследования феномена телесности в культуре, именовать стратегии поведения, свойственные средневековым преступникам-профессионалам, системой "двойников". В человеческом обществе, как и в природе, существует закон чистого перевоплощения, определенная склонность выдавать себя за кого-то другого. В каком-то смысле этот закон указывает путь обретения собственной идентичности через другого. В подобной ситуации "существо необыкновенным образом раскалывается на себя самого и его видимость..., существо выдает из себя или получает от другого что-то подобное маске, двойнику, обертке, скинутой с себя шкуре..."<sup>17</sup>.

Образ, в котором человек предстал перед судьями, часто являлся именно маской Другого, с помощью которой преступник рассчитывал спасти свое собственное "Я", скрыв его за неподлинным, фальшивым, придуманным. Причем выбранное для достижения этой цели средство иногда оказывалось одновременно и "объектом желания" (термин М. Ямпольского).

Уже упоминавшаяся выше уловка с фальшивой тонзурой должна была, по замыслу ее владельца, превратить его в клирика. Превращение в "клирика", с точки зрения уголовного, спасало его от преследований светского суда, а следовательно, от смерти, поскольку суд церковный в качестве высшей меры наказания для лиц духовного звания использовал пожизненное заключение на хлебе и воде. Точно так же исключались пытки и связанные с ними страдания. Впрочем, такая стратегия была прекрасно известна судебным чиновникам: даже в выборке Кашмаре упоминается 15 случаев маскировки под клирика. Еще более показательным замечание Кашмаре, сделанное по поводу очередного аналогичного казуса: "Господин прево доложил вопрос о таких клириках, которые не умеют читать и не знают ни одной буквы (*qui ne scevent lire ou cognoistre lettre ausuele*), на большом королевском совете господам из парламента, и те постановили, что все люди, которые будут называться клириками (*se avoueroient clers*), для которых будет определен срок доказать подлинность тонзуры и которые не будут уметь читать, по истечении этого срока *будут посланы на пытку*, чтобы узнать от них правду о

том, являются ли они клириками и получили ли они тонзуру по закону..." (RCh, I, 247).

Вместе с тем идентификация себя с клириком не была, как представляется, случайной для средневекового преступника. Возможно, она имела значение, выходящее за рамки простой мимикрии выше я уже делала предположение о том, насколько привлекательным мог казаться для подобных людей образ *одинокки*, каким в их представлении был настоящий клирик.

Не менее желанным был и образ *"достойного человека"* (*homme honnête*), связанный в первую очередь с *хорошей, дорогой одеждой*. Отношение судей к обвиняемому прежде всего зависело от его внешнего вида. Кашмар подтверждает это на примере некоего Перрина Алуэ, плотника, арестованного 23 января 1390 г. за кражу из аббатства Нотр-Дам в Суассоне серебряной и позолоченной посуды. Алуэ не стал отрицать своей вины: казначей аббатства задолжал ему за работу, тогда как Перрин испытывал нужду в деньгах. Разгневанный он *"по наущению Дьявола"* (*par temptacion de l'ennemi*) совершил кражу. Несмотря на признание Алуэ, судьи посчитали его *"достойным человеком, не нуждающимся в деньгах, поскольку он хорошо и достойно одет..."* (*parce qu'il est bien vestu et honnestement*) (RCh, II, 28), что позволило им не применять к нему пыток.

Обратная ситуация отражена в деле Симона Лорпина, арестованного 9 августа 1391 г. по подозрению в краже одежды: двух рубашек (*chemises*), шерстяной ткани (*blanchet*) и куртки (*mantel*), *"в которую был одет"*. Симон, естественно, отрицал свою вину. Однако судьи были иного мнения: учитывая показания свидетелей, которые видели Симона накануне предполагаемой кражи *"в одном рванье"* (*il n'avoit lors sur lui vestu que haillon*), а также то, *"что куртка ему не подходит (n'est acunement habile de façon sur le corps) и, скорее всего, является ворованной и что помянутый заключенный не одет даже в рубашку, а также [учитывая] что он, что [представляется] более правдоподобным, для приезда в Париж, чтобы быть [одетым] более чисто и сухо, одел одну из упомянутых рубашек"* (RCh, II, 276), они решили послать его на пытку.

Однако единственным обвиняемым, выразившим *собственное понимание* важности хорошей одежды для человека, был главарь уже упоминавшейся банды парижских воров Жан Ле Брюн.

На момент ареста Ле Брюну было около 30 лет. Однако, в отличие от своих подельников, он успел многое повидать в жизни. По его собственным словам, в детстве (*bien petit enfant*) он обучался на кузнеца в течение восьми лет и даже собирался заниматься этим ремеслом в Руане, но случайно встретил там некоего Жака Бастарда экойе, который предложил Ле Брюну поступить к нему на службу в качестве слуги (*gros varlet*) и *"отправиться на войну"*. Ле Брюн вместе со своим новым хозяином оказался на стороне англичан и шесть

лет разъезжал по всей стране, занимаясь грабежами. Однако по истечении этого срока ему показалось, что хозяин слишком мало ему платит, и он, без всякого разрешения оставив службу, отправился попытать счастья в Париж (RCh, I, 56–60). Прибыв на место, Ле Брюн продал лошадь, "оделся во все новое и солидное (*se vesti de neuf bien et honnestement*) и в таком виде прожил долго, ничем не занимаясь и не работая..." (RCh, I, 60).

Любопытно, что необходимость хорошо выглядеть Ле Брюн связывает с приездом в Париж (ту же ассоциацию мы наблюдаем и в деле Симона Лорпина). Пообносившись и спустив за полгода все деньги (примерно 45 франков золотом) "за игрой в трик-трак, в таверне и у проституток", он начинает промышлять воровством, используя "заработанное" для поддержания образа "человека со средствами". В уста своего бывшего сообщника он вкладывает следующую фразу: "Бородач сказал ему, что предпочтет умереть на виселице (*qu'il ameroit mieulx estre pendus*), чем приехать в Париж столь дурно, как он, одетым" (RCh, I, 62). Слова эти были произнесены в тот момент, когда сообщники решали, как убить случайно встреченного ими человека – "нормандца, так хорошо одетого" (*le portant si bien vestu qu'il estoit*).

Стремление преступников выглядеть "достойно" станет для нас понятнее, если мы вспомним королевское законодательство того времени, направленное на изгнание из городов (прежде всего из Парижа) бродяг и отъявленных бездельников, которых власти без особого, правда, успеха пытались привлечь к сельскохозяйственным работам<sup>18</sup>.

"Многие люди, способные заработать на жизнь самостоятельно (*à la peine de leur corps*), из-за лени, небрежности и *дурного нрава* (*mauvaiseté*) становятся бродягами, нищими и попрошайками в Париже, в церквях и других местах", – отмечалось в 1399 г. чиновниками Шатле<sup>19</sup>. Постановление Парижского парламента от 1473 г. свидетельствует, что и через сто лет проблема оставалась нерешенной: "Чтобы противостоять воровству и поджогам, шулерству и грабёжам, которые постоянно происходят в Париже как среди белого дня, так и ночью, [следует знать] многочисленных парижских бродяг, одни из них неразличимы, некоторые *притворяются* чиновниками, как сержанты, а другие *одеты в многочисленные и богатые одежды, носят шляпы и большие ножи, что не соответствует никакому званию или благонамеренному образу жизни*"<sup>20</sup>.

В RCh, составленном в конце XIV в., еще не прослеживается такое тонкое понимание ситуации: Жан Ле Брюн полностью уверен, что одежда в состоянии защитить его от посягательств судебных чиновников, в частности от пыток (и дело Перрина Алуэ тому свидетельство).

И все же, если уловка с изменением внешности (будь то маскировка под "клирика" или под "*honnête homme*") не срабатывала, пре-

ступники полностью утрачивали способность к сопротивлению. Психологическая незащищенность (потеря своего тщательно выстроенного образа) трансформировалась в незащищенность физическую. Мы наблюдаем это в случае с бандой Ле Брюна: все семь ее членов, побывав на пытках, сразу же признались в совершенных преступлениях. Что касается самого Жана Ле Брюна, то его даже не пришлось пытаться, он "добровольно и без всякого сопротивления" (*de sa volenté et sanz aucune contrainte de gehine*) рассказал обо всех своих похождениях. Как представляется, лишение Ле Брюна его привычного образа сыграло здесь особую роль.

Как уже отмечалось выше, одежда никогда не была лишь средством защиты от непогоды и холода. В средние века она также являлась знаком определенной социальной принадлежности, отражала моральный облик своего обладателя, создавала его репутацию. Вспомним, к примеру, как описывает Жанну д'Арк "Парижский буржуа". Он крайне негативно оценивает ее мужской костюм и прическу. Но когда во время казни "платье ее сгорело и огонь распространился вокруг, все увидели ее голой, со всеми женскими отличиями, какие и должны быть, чтобы отбросить людские сомнения"<sup>21</sup>, справедливость была восстановлена.

Одежда воспринималась как нечто неотделимое от человека, как часть его "Я", практически как вторая кожа. Если в признании уголовного преступника проскальзывало описание внешности сообщника, чаще всего внимание обращалось именно на костюм (который, видимо, обновлялся достаточно редко, что давало судьям возможность разыскать человека по этим приметам). Иногда такое описание изобиловало деталями: "И сказал, что это довольно крупный мужчина, лет сорока, с круглым лицом, весьма жирненький и невысокого роста, с носом-картошкой, [что] он хорошо говорит по-французски и одет в старый плащ коричневого цвета и старые штаны, и на этих плаще и штанах полно разноцветных заплаток" (RCh. I, 426).

Процессы одевания, раздевания, переодевания в средневековой культуре отражали изменения, происходившие с самим человеком, его душевные и физические переживания. Все это мы наблюдаем в отношении людей, предстающих перед уголовным судом. Их восприятие одежды вполне укладывается в рамки "вестиментарной" мифологии Р. Барта: «Замкнутое покрытие являет собой магический образ... безопасной и безответственной "домашней" огражденности»<sup>22</sup>.

Потеря этой огражденности вела к раскрытию преступления, столь тщательно скрываемого. Похожую ситуацию описывает С. Экертон на примере итальянского судопроизводства, сравнивая уголовный процесс со Страшным судом, где "кожа жертвы обозначала ее дурной нрав и грехи. Снимая ее, жертва очищалась и возрожда-

дась, ее лишенное кожи тело символизировало раскрывающуюся правду<sup>23</sup>.

Насильственное лишение одежды вызывало у заключенных Шатле сильнейший стресс. Человек чувствовал себя не просто физически голым. Формально он уже не принадлежал своей прежней среде: он оставался один на один с судьей, который отныне не смотрел на него через призму социальной иерархии, а воспринимал как обнажившееся зло, которое следует "ограничить и заклясть". Наиболее ярко эта ситуация проявлялась на пытке.

Чужое прикосновение к телу обвиняемого превращало человека из субъекта отношений в их объект. Даже лексика RCh свидетельствует о пассивной роли заключенного в этот момент: "был приведен", "был спрошен", "был раздет", "...связан", "...привязан" и т. д. По сути, тело частное, индивидуальное на пытке становилось публичным, отторгнутым от самого человека и находящимся во власти судьи. Как представляется, именно этот переход становился для заключенного одним из наиболее тяжелых моментов всего процесса. Он как будто лишался собственной индивидуальности – и совершалось это не перед лицом Бога, к чему любой средневековый обыватель в принципе был готов, но перед лицом таких же, как он, простых смертных. в чьих полномочиях он вовсе не был уверен.

Преобладавшая ранее система доказательств Божьего суда подразумевала активные действия самого обвиняемого: только в его власти было потребовать проведения ордалии, он сам отстаивал свою невиновность в суде. В этой ситуации признание не было необходимо для вынесения приговора. Только Бог мог указать на виновного посредством знаков на его теле (например, следов от раскаленного железа). Как мы знаем, в новом, инквизиционном процессе ситуация была обратной: пытку назначали сами судьи, и обвиняемый должен был признать лично свою вину.

Переход от *accusatio* к *inquisitio* происходил во Франции весьма болезненно: многие юристы (в том числе Филипп де Бомануар) не принимали новой процедуры, называя ее "глупой"<sup>24</sup>. Для рядовых граждан инквизиционный процесс означал полную потерю контроля за ситуацией в суде. Судьи же, напротив, из скромных посредников между Богом и тяжущимися сторонами превращались в главных действующих лиц процесса. Их новое положение подчеркивалось не только расширением непосредственных полномочий. Все чаще судьи выступали и в качестве истцов, вернее, от их имени, вместо них. Обращает на себя внимание тот факт, что из RCh о подателях исков мы не узнаем практически ничего: после краткого, весьма формального упоминания в начале дела истец оттесняется на второй план, исчезает, а его место занимает сам судья. Таким образом, уголовный процесс в изображении Кашмаре выглядит как противостояние двух людей – судьи и преступника, где первый представляет власть и обще-



ство, а второй – то зло, которое этому обществу угрожает и с которым этой власти (в данном случае королевской) надлежит бороться. Активная роль судей в подобном противостоянии лишней раз подчеркивала пассивную роль обвиняемого как объекта правоотношений.

Судя по RCh, такая ситуация в первую очередь не устраивала верхушку общества.

9 сентября 1390 г. перед парижским прево и его советниками предстал Пьер Фурне, по прозвищу Бретонец, экуйе, 28 лет от роду, обвинявшийся в потере королевских писем, с которыми он был послан к герцогу Беррийскому и епископу Пуатье. На первом допросе Фурне показал, что письма были утрачены во время стычки с грабителями в лесу. Выйдя из драки победителем, он обнаружил, что седельные сумки, в которых хранились письма, открыты, а сами документы исчезли: “И не осмелился вернуться на их поиски из-за страха перед ворами и разбойниками (*pour doubte que il ne feust rencovtré des latrons et mauvaises gens*)” (RCh, I, 518).

О показаниях Фурне сообщили королю, который был лично заинтересован в исходе дела. Его реакция не заставила себя долго ждать: 17 сентября королевский советник и шевалье ле Бег де Виллан сообщил прево: “Мой дорогой друг, король велел мне передать вам, чтобы вы отправили Бретонца на пытку, чтобы узнать всю правду о том, в чем он обвиняется...” (RCh, I, 523).

Такой поворот дела совершенно деморализовал нашего героя. Претерпев пытку, он полностью изменил свои показания: теперь он признавал, что знал о содержании писем, отправленных герцогу Беррийскому. Якобы в них король сообщал, что раздумал поддерживать кандидатуру епископа Пуатье при назначении архиепископа Савса. Воспользовавшись ситуацией, заявил Фурне, он продал эту информацию епископу за 30 франков золотом (RCh, I, 524–528).

Однако уже 13 октября Фурне вновь изменил свои показания “и сказал, что это признание он был вынужден сделать под пыткой, куда был отправлен, и из страха, что, если скажет что-то иное, его снова будут пытать” (RCh, I, 530).

Итак, обвиняемый вернулся к своей первой версии о стычке с разбойниками и стал усиленно просить, чтобы его процесс шел в присутствии короля. Следствие обратилось к показаниям свидетелей. Первый из них, Жан де Мутероль, 35 лет, сопровождал Фурне в злополучной поездке. И вот что он рассказал: “И сказал также, что на следующий день после того, как Бретонец оказался в Шатле, он пошел его навестить. И этот Бретонец рассказал ему, как он хорошо помнит, что потерял свои седельные сумки и письма вместе с ними и что их грабили в лесу около Пуатье. И что если у него (т. е. у свидетеля. – О. Т.) спросят об этом, пусть он именно так и говорит. И он (свидетель. – О. Т.) ответил, что сделал бы так охотно, если бы заботился о своем достоинстве...” (*sauf son honneur*) (RCh, I, 535).

Еще любопытнее показания второго свидетеля – Гийома Бланлена, 40 лет, слуги сеньора Оливье де Мони (кузена Бертрана Дюклена). Он рассказал суду, что примерно месяц назад к нему обратилась жена Пьера Фурне с просьбой замолвить словечко за ее мужа перед господином Оливье с тем чтобы получить королевское письмо о помиловании. Однако король отказал де Мони (ссылаясь на то, что ему уже известно о виновности Бретонца (RCh, I, 535–537)). Бланлен отправился в Шатле и высказал Фурне все свои претензии: “Ты отправил меня к господину Оливье де Мони, чтобы он тебе помогал получить помилование... а ты причинил ему столько хлопот, поскольку соврал мне. Прошу, скажи мне правду” (RCh, I, 537). На что Фурне признался, что оговорил себя под пыткой. “Ради Бога, имей во мне снисхождение, ведь я признался под давлением” Но Бланлен ему не поверил: “Ты врешь, ибо суд не таков, чтобы заставлять кого-то под пыткой говорить что-то иное, кроме правды. Я слышал, что тебя не так уж сильно пытали, как ты говоришь, чтобы сказать неправду”<sup>25</sup>.

Еще один приятель Фурне, Робер Буржуа, 36 лет, также навещал заключенного в Шатле: “И этот Фурне сказал ему, что он все признал под пыткой и что если снова будут его пытать он *расскажет, что продал и предал все французское королевство*, но епископ Пуатье совершенно невиновен... И сказал также, что признание он сделал, чтобы спасти и сохранить свое достоинство...” (pour sauver son honneur ou pour la garder) (RCh, I, 540).

Наконец, был допрошен сокамерник Фурне в “Gloriete la haute” Перрин Машлар, рабочий 36 лет, который передал следующие слова нашего героя: “И от этого Бретонца он много раз слышал, что *тот предпочтет умереть, нежели снова оказаться на пытке, и что он охотно примет смерть* и что епископ Пуатье невиновен...” Когда же Машлар спросил Фурне, почему он обвинил епископа, тот ответил, “что боялся, что его будут сильно мучить, и что он видел [в тюрьме] одного человека, которого так сильно пытали, что он умер”<sup>26</sup>.

Судьи, залутовавшись в противоречивых показаниях, были вынуждены снова пытать Фурне и в конце концов осудили его за ложь (mensonge), а не за потерю писем: “...будет поставлен к позорному столбу, где не будет оглашена причина такого наказания, и там ему проткнут язык, и клеймо [в виде] цветка лилии будет поставлено ему на губы” (RCh, I, 556).

Поведение Фурне в суде интересно для нас с разных точек зрения. Первое, на что следует обратить внимание, – его *восторженные торжества*, неразрывно связанное со *страхом перед пытками*.

Фурне не испытывает ужаса перед самой тюрьмой: как мы видели, он находится в одном из привилегированных помещений и пользуется достаточной свободой. В какой-то момент его даже временно отпускают домой (RCh, I, 540). Он также не испытывает оди-

ночества: его постоянно навещают друзья, которых он угощает вином на тюремной кухне (RCh, I, 544), о его судьбе хлопочет преданная жена. Однако Фурне полностью подавлен, страх перед пыткой заставляет его даже пуститься на обман правосудия. В чем причина его душевного состояния?

Здесь вспоминается соображение, высказанное в 1404 г. королевским адвокатом Жаном Жувенелем дез Урсеном по поводу правомочности судебного поединка в уголовных делах между представителями знати: "И сказал, что так же, как мы решительно посылаем человека на пытку, сообразуясь с обстоятельствами [дела] и своими подозрениями, мы можем разрешить и судебный поединок, поскольку менее опасно сражаться двум равным, чем сражаться на пытке, где тело безоружно и беспомощно"<sup>27</sup>.

Об особенностях восприятия судебного поединка среди французской знати в конце XIV в. я уже писал<sup>28</sup>: иного разрешения судебного спора они не представляли, несмотря на то что инквизиционная процедура стремилась отказаться от ордалической системы доказательств. Пытка, таким образом, противопоставлялась судебному поединку, который по-прежнему подтверждал особый социальный и правовой статус знатного человека – *статус субъекта отношений*. Именно на это различие старой и новой процедур, как мне кажется, указывал дез Урсен: причина неприятия пытки верхушкой общества крылась в *безоружности тела* (*le corps est sans armes*), в его пассивности, в его подчиненности чужой воле.

Любопытно, что у "Парижского буржуа" тема безоружности знатного человека, воина, связывается с понятием "*голое тело*": фраза "они выступили совершенно безоружными..." в оригинале звучит как "*allerent tous nus d'armes...*"<sup>29</sup>. Понятия "тело" и "оружие" в этом контексте сливаются в одно целое. Косвенно это подтверждает и "*Stylus curie Parliamenti*" Гийома дю Брея: на судебном поединке рыцарь должен сражаться только тем оружием, которое принесет сам (буквально: *на себе*)<sup>30</sup>.

При старой, обвинительной, процедуре представители знати не участвовали в настоящих ордалиях (испытаниях железом, водой и т. д.) и, следовательно, не имели представления о *насильственной* физической боли. Боль от ранения, полученного на поединке, по-видимому, воспринималась совершенно иначе, поскольку была связана с таким важным символом социального положения, как оружие. Тело благородного человека, лишенное оружия, становилось голым и действительно оказывалось абсолютно беспомощным, в том числе и на пытке. Как представляется, именно в этом крылась подлинная причина панического ужаса, охватившего Пьера Фурне. Сам король приказал его пытать, следовательно, надежда на проведение судебного поединка была потеряна (ведь такое разрешение мог дать тоже только король).

Фурне оказался полностью неготовым к пыткам, прежде всего морально. Совершенно так же, как Жана Ле Брюна и его сообщников, молодого экойе внезапно лишили его собственного (на этот раз введудманного) образа, приравнивали к простолюдинам, превратили в *объект права*. Он сам говорит об этом: признавая лживость своих показаний на пытке, он особо оговаривает, что сделал это, "чтобы спасти и сохранить свое достоинство". Логика этой фразы вполне понятна: я во всем признаюсь – меня не будут больше пытать – мое тело не будет страдать – я верну себе свое достоинство экойе<sup>31</sup>.

Все дальнейшее поведение Фурне в тюрьме связано с душевными переживаниями, в которые трансформируется и в которых отражается перенесенная боль. Выражения: "если признает что-то иное, его снова будут пытать", "если будут пытать, расскажет, что продал и предал все французское королевство" характерны для его состояния *осмысления физических страданий*. Фурне страшит даже не сама пытка, а *ожидание* ее. Он описывает своим визитерам не саму боль, а те мысли, которые она провоцирует. Так, осознание *лживости* признаний, что для человека его положения считалось недопустимым (об этом прямо говорит свидетель Жан де Мутероль), приходит к Фурне уже после допроса и доставляет ему дополнительные страдания. Тело Фурне – «не объемная пластика мускулов, а уязвленное "потаянности недра", это не созерцаемое извне, а восчувствованное изнутри тело, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого "нутра". Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая "кровная", "чревная", "сердечная" теплота интимности...»<sup>32</sup>.

Важно, однако, отметить исключительность казуса Фурне. Недаром Кашмаре посвящает ему столько страниц своего регистра, недаром вводит в запись показаний прямую речь – явление само по себе экстраординарное для судебного документа, где повествование обычно ведется от третьего лица. Таким образом, автор RCh косвенно признает, что ему самому трудно осмыслить речь Фурне, ведь даже для близких людей его поведение кажется странным и непонятным. Гийом Бланпен прямо говорит об этом: "Я слышал, тебя не так уж сильно пытали..." Он не понимает, что физическая боль, даже "несильная", может спровоцировать куда большие страдания. А ведь Фурне просит о *снисхождении*, т. е. о понимании своего душевного состояния.

В этом смысле показательно его *отношение к собственной смерти*: он ждет ее как избавления, он мыслит ее *позитивно* (в терминологии С. Кьеркегора), хотя смерть *другого* его ужасает: Фурне видел, как один человек умер в тюрьме от перенесенных пыток.

Восприятие смерти как избавления от физических и душевных мук подводит нас к проблеме соотношения тела и души в понимании средневековых преступников.

Без сомнения, тело занимало важное место в системе их жизненных ценностей. Для того же Фурне оно было неразрывно слито с пониманием собственного социального статуса и в этом смысле являлось его "местом идентичности" (термин Каролин Байнум). Ту же ситуацию мы наблюдаем и в случае Жана Ле Брюна и его банды: вымышленный образ, с которым они себя идентифицировали, являлся прямым продолжением их самих, их телесности. Разрушение образа "двойника" неминуемо вело к разрушению их собственного тела. Но означает ли это, что проблема соотношения души и тела была для них решена?

Обратим более пристальное внимание на лексику тех признаний, в которых присутствует попытка осмысления приближающейся смерти. Всего 18 заключенных Шатле обращаются к этой теме в своих показаниях, но именно эта исключительность, как представляется, привлекает внимание Кашмаре, ибо "для единичного субъекта мыслить смерть – не что-то общее, но поступок"<sup>33</sup>.

Признания эти отличаются друг от друга как по характеру дискурса, так и по социальной принадлежности их авторов, но они одинаковы в главном – в понимании последних, возможно, слов в этом мире как *исповеди*, как единственной возможности облегчить душу перед смертью.

Первое, что бросается в глаза – готовность к смерти, осознание ее неизбежности и смирение перед этим фактом. Осужденные говорят о наступлении своего последнего часа (*la fin de ses jours*), об ожидании смерти (*la mort qu'il attendoit à avoir et souffrir presentement*), о том, что они заслужили такой конец (*il a bien desservi la mort*) и что только смерть – единственный способ искупить преступления (*la mort ... en remission et pardon*).

Близость смерти заставляет преступника задуматься о достойной подготовке к "последнему испытанию" (*darrenier tourment* - в RCh, *dernier supplice* - в регистрах Парижского парламента). Смысл этого выражения представляется двояким. В судебных документах под ним подразумевается непосредственное приведение приговора в исполнение: "и был приведен на свое последнее испытание", "и на своем последнем испытании заявил". Однако постоянные мысли осужденных о спасении (*salut, sauvement*) или вечном проклятии (*dampnement*) души позволяют предположить иную трактовку, увидеть в этом "испытании" указание на последний. Страшный суд Преступники уверены, что после смерти, в Раю (*en Paradis*), их душа попадает в руки Бога, Пресвятой Богородицы, Святой Троицы и "всех святых Рая" (*tous sains qui sont en Paradis*). Но ее спасение, по их мнению, в первую очередь зависит от них самих, от их последних слов в этом мире. В ожидании смерти они должны облегчить душу (*descharger son ame*), очистить ее от совершенных преступлений, дабы "не уносить их с собой" (*que avec soy ne pas emporter les autres*

сimes). Таким образом, признания в суде обретают в глазах средневекового преступника характер исповеди, тем более что в некоторых случаях преступление (сime) именуется грехом (péché), который не стоит "брать на душу" (prendre sur l'ame de lui).

Дело Гийома де Брюка, экойе, является наиболее ярким примером такого отношения к признанию в суде.

Гийом был арестован 24 сентября 1389 г. по иску капитана арбалетчиков из гарнизона Сант в Пуату Жака Ребутена, экойе. Де Брюк обвинялся в краже одежды, оружия и двух лошадей. На первом допросе он показал, что является "gentilhomme", хотя и без определенных занятий, и что в последнее время "участвовал в войнах и был на службе у многих достойных людей (gentishommes)" (RCh, I, 17).

В связи с недостаточностью этих сведений де Брюка послали на пытку, где он признал факт воровства, а также рассказал о других кражах, грабежах и поджогах. Но уже через две недели обвиняемый отказался от своих слов, заявив, что признался под давлением. Ему пригрозили новой пыткой, он испугался и пообещал подтвердить свои прежние показания: "Он вручил свою душу Богу, Пресвятой Богородице и Святой Троице Рая (toute la sainte Trinité de Paradis), умоляя их простить его преступления и грехи, и признал и подтвердил..." (RCh, I, 22).

Как предатель короля, де Брюк был приговорен к отрубанию головы. Когда же его привели на место казни, "просил и умолял, чтобы, во имя Господа, Девы Марии и Святой Троицы Рая, его выслушали и записали [все о тех] грехах, кражах и преступлениях, которые он совершил, так как восемь лет назад он стал вести дурной образ жизни, жег и грабил многих добрых сеньоров и торговцев, и так как он прекрасно понимает, что пришел его последний день..." (qu'il estoit à la fin de ses jours) (RCh, I, 26).

Гийом де Брюк признался еще в 51 краже и поклялся "своей душой и смертью, которую он ждет теперь", что у него не было сообщников и что все преступления он совершил в одиночку.

Социальное положение де Брюка, по всей видимости, имело прямое отношение к словам, в которые он облек свои переживания в последние минуты жизни. Судя по примерам, отмеченным Кашмаре, такая форма выражения была характерна для представителей знати или тех, кто долгое время находился с ними рядом, прежде всего, в условиях войны. Кроме Гийома де Брюка к этой группе можно отнести уже известных нам Жана Фурне и Жана Ле Брюна (долгое время проведенного на войне). Еще в двух случаях характер дискурса также, возможно, свидетельствует о высоком социальном положении заключенных (на которое нет прямых указаний в тексте, поскольку начало обоих дел утеряно) (RCh, I, 559–567 – Робин ле Февр; RCh, II, 16–20 – Жиль Бодуэн).

На другом "полюсе" – шесть воров-профессионалов, чья речь отличается крайней лаконичностью. Все переживания этих людей умещаются в одной фразе: "И сказал, что признает правду и что он заслужил смерть..." (qu'il avoit deservi la mort) (RCh, I, 69, 89, 95, 99, 248; II, 379).

Есть еще и третья группа, условно говоря, городских жителей. К ней относятся три ремесленника (кровельщик, ткач и кожевник), сержант Парижского капитула ("очень бедный человек", по свидетельству соседей), один наемный рабочий, а также две женщины – вдова наемного рабочего и жена королевского прево (бывшая проститутка). При всей социальной пестроте этой компании, мысли, высказываемые этими людьми на пороге смерти, оформлены одинаково. Типичным для них можно назвать признание-исповедь Жака Хейя, сержанта капитула, обвиненного в краже крупной суммы денег из дома только что умершего человека, куда он явился, чтобы исполнить свои прямые обязанности: "...сказал, что клянется Богом и своей душой, и той частью, которая ожидает его в Раю, спасением и проклятьем, которые его душа готовится принять после смерти, которую он теперь претерпит..." (RCh, II, 92).

Сама форма признания *in extremis*, у подножия виселицы или эшафота, не являлась чем-то экстраординарным в судебной практике конца XIV в. Напротив, она не только допускалась, но и приветствовалась судьями, которые могли использовать последние слова осужденного на смерть в качестве обвинения против его прежних сообщников. На место казни преступника сопровождал специальный судебный клерк, в обязанности которого и входила запись возможных признаний (Алом Кашмаре сам часто выступал в этой роли, о чем упоминается на страницах RCh).

Для нас более важным является то обстоятельство, что в признаниях *in extremis*, в какой бы форме они ни были высказаны и записаны, чувствуется понимание *собственной вины* за содеянное и *раскаяние*, нехарактерное для большинства заключенных Шатле, чьи процессы описаны в RCh.

Обещание "сказать правду" (*dire la verité*), даваемое преступником на пытке, и последующее признание вовсе не означали, что человек считал себя виновным. Чаще всего вина за содеянное перекладывалась на Дьявола, чьи происки и подвигли обвиняемого на преступление. Признавая сам акт воровства, убийства или изнасилования, преступник одновременно пытался убедить судей, что действовал "по наущению" (*par temptacion de l'ennemi*) и не может нести ответ. Дьявол, таким образом, выступал своеобразным "двойником" преступника, причем "двойником", о чьем присутствии человек до поры до времени не подозревал, а потому вина его заключается лишь в том, что он практически *бессознательно* поддался дурному влиянию.

Понимание собственной вины Гийомом де Брюком и прочими подобными ему заключенными Шатле, напротив, связано именно с осознанием совершенного ими самими преступления. Из 18 человек только трое упоминают в своих показаниях происки Дьявола, но в весьма любопытном контексте.

Вот перед нами дело Перрина Марозье, наемного рабочего, обвинявшегося в многочисленных кражах. После единственной попытки признания полились из него нескончаемым потоком, и среди прочего он вспомнил, как был слугой в городе Yenville и ухаживал за лошадьми своего хозяина. По наущению Дьявола он украл одну лошадь, которая стоила 8 франков, и отправился продавать ее в Париж. Но там встретил приезжих из Yenville, которые узнали лошадь, "и из страха, что его арестуют (pour doute et paour ...que l'en ne le feist pour ce emprisonner), возвратил лошадь в дом своего хозяина" (RCh, II, 35).

В деле Белон, вдовы Дриона Ансо, также присутствуют *дополнительные мотивы* преступления. Белон вместе со своим любовником Тевенином-Одиночкой (Tout Seul) задумала убить собственного мужа, который заподозрил ее в неверности. Вошедший через незапертую дверь любовник задушил несчастного, а Белон "под нажимом этого Тевенина и по наущению Дьявола" помогла оттащить труп к Сене и утопить его. Объясняя свой поступок в суде, она заявила, что "ее умерший муж был крайне беден, он мало зарабатывал и не делал ей никакого добра, и из-за его дурного отношения ей приходилось просить милостыню на улицах города, а Тевенин, из милосердия и сочувствия к ее бедноте, давал ей часто денег, и она только из-за этого расположения согласилась исполнять прихоти и желания этого Тевенина..." (RCh, II, 61).

В последнем примере мы имеем дело с кражами, так сказать, на профессиональной почве: ткач Жеффруа Од промышлял тем, что воровал ткани и продавал их, выдавая за свои: "Будучи в городе Сен-Марсель, недалеко от ткацких мастерских... увидел человека, который ткал, и той же ночью, по наущению Дьявола (par temptacion de l'ennemi), залез в эти мастерские и унес развешенные там ткани..." (RCh, II, 114).

Происки Нечистого, упоминающиеся этими заключенными, не отменяют полностью их личного участия в совершении преступления. Понимание собственной вины и раскаяние лишь усиливаются от осознания близости смерти. Прямое указание на необходимость исповедаться, проговаривание вслух мотивов, толкнувших человека на преступление, открытое обращение к судье или палачу как к священнику – все свидетельствует об этом<sup>34</sup>.

Важен и сам факт того, что Кашмаре уделяет этим признаниям-исповедям особое внимание в своем регистре. В то время, когда составлялся RCh, для приговоренных к смерти не существовало испо-



веди как таковой. Она была запрещена: уголовный преступник, т. е. человек социально опасный, не мог, с точки зрения судей, рассчитывать на спасение души и, следовательно, на возможность воскрешения в день Страшного суда. В частности, именно с этим была связана практика оставления трупа повешенного без захоронения до полного разложения и практика расчленения тела<sup>35</sup>. Исповедь была официально разрешена только в 1396 г., но судебные чиновники восприняли ее негативно. Потребовалось какое-то время и усилия французских теологов (Филиппа де Мезьера и Жана Жерсона), чтобы позволить священникам посещать заключенных накануне казни<sup>36</sup>.

Сопrotивление рядовых судей было вполне понятным следствием введения инквизиционной процедуры в королевских судах Франции. Чиновники сами желали исполнять роль Высшего Судьи, выносить окончательный приговор о виновности и невиновности каждого. Восприятие обвиняемого как объекта права проявлялось не только на пытке или допросе, смертная казнь и отказ в погребении превращали преступника в *ничто*. Обязательная исповедь давала надежду на прощение и спасение души, в какой-то мере восстанавливала утраченный обвиняемым статус субъекта отношений, возвращала ему его *личность* в последние мгновения жизни.

В регистре Кашмаре есть любопытное подтверждение этих грядущих изменений в правосознании – признание *in extremis* Жирара Доффиналя, осужденного на смерть за воровство, о котором он откровенно сказал, что “совершил столько краж, что всех и не упомянуть и не сможет перечислить” (RCh, I, 252).

Судьи не сомневались, что перед ними типичный “ненужный обществу” вор-рецидивист. Однако, приведенный на место казни, Жирар заявил следующее: “Независимо от того, что он признал ранее, его зовут не Жирар Доффиналь, а Жирар Эммелар, что он родился в башне Тестер, в одном лье от Марсийака и в трех лье от Родеза. Эта башня перешла ему на правах наследства от отца и матери, и вокруг нее имеется несколько деревень и домов, которые дают небольшой доход и пшеницы до трех сотен сатье, а также много курниц и каплунов. А документы на эту башню находятся в Родезе у мэтра Ремона Пуалларда, представителя Жирара. И сказал, что у него есть брат – монах в Конке...” (RCh, II, 254).

В данном случае мы сталкиваемся с уникальной в рамках RCh ситуацией – в качестве “двойника” человек использует *другое имя*, скрывая за ним свою личность и, видимо, благородное происхождение. Для мира средневековых преступников (к которому, по его собственным словам, принадлежал и Доффиналь) более характерным было использование всевозможных кличек. Чаще всего они происходили из внешности того или иного преступника: Короткорукый, Коротышка, Четырехпалый, Толстяк, Бородач, Одноногий. Физиче-

ское уродство, закрепленное прозвищем, указывало на индивидуальность человека, абсолютизировало ее, а не скрывало.

Так же и имя (вернее, фамилия), по мнению Жака ле Гоффа, с XIII в. начинает указывать на конкретного человека, уменьшая риск спутать его с другим<sup>37</sup>. Фамилия – знак личности, следовательно, ее изменение ведет к сокрытию подлинного “Я”. Жирар Доффиналь вспоминает о себе настоящем только перед смертью, и его шаг, без сомнения, можно истолковать как желание вернуть свою индивидуальность в ожидании Последнего суда.

Признания *in extremis* позволяют автору RCh увидеть эту индивидуальность – и не только в стратегиях поведения, но и в их *скрытой мотивировке*. Ничего не значащие для судей слова Жирара Доффиналя о его прошлом позволяют нам предположить, что изменение имени, возможно, было вызвано заботой о брате, желанием оградить его жизнь от влияния собственной дурной репутации. Кашмаре интересуют, таким образом, реальные мотивы поведения, а правду о себе, с его точки зрения, человек способен рассказать только на исповеди.

Своеобразие позиции Кашмаре в этом вопросе станет более понятным, если вспомнить отношение основной массы средневековых юристов к проблеме правдивости признаний, полученных в результате пыток. Сомнения в идентичности понятий “признание” и “правда”, в допустимости насилия в суде терзали еще римских правоведов. Однако уже в IV в. (например, в “Кодексе Феодосия”) этот сложный вопрос был решен положительно: отныне сведения, полученные от обвиняемых на пытке, официально признавались правдивыми, и никто не имел права в этом усомниться. Позднее, когда пытка вошла в систему доказательств средневекового суда, вопрос о насильственном получении признаний снова оказался в центре внимания. Дискуссия велась с переменным успехом, однако большинство юристов считали физическое насилие вполне законным средством дознания, расходясь лишь в вопросе о масштабах его применения<sup>38</sup>. У Алома Кашмаре, по всей видимости, было на этот счет иное мнение. Он проводил четкую границу между признаниями, так сказать, “личными”, идущими от сердца, и признаниями вынужденными, полученными насильственным путем. Возможно, для него были важны и те, и другие – но важны по-разному: в первых он видел проявление самой сущности того или иного человека, во вторых – лишь подтверждение совершенного преступления. В искренности первых он не сомневался, в подлинности вторых он, будучи судебным чиновником, не имел права усомниться.

Восприятие признания как исповеди дает нам повод задуматься над проблемой соотношения телесного и духовного начала в восприятии средневекового человека и смешения правового и религиозного аспектов в правосознании эпохи.

Параллель между инквизиционным процессом и церковной исповедью особенно четко начинает обозначаться с начала XIII в., после введения в действие 21-го канона IV Латеранского собора (1215 г.) об обязательной ежегодной исповеди и о замене ордалий на признание заключенного в качестве основного судебного доказательства.

Роль священника в новых условиях оговаривалась в тексте канона весьма подробно, и особо указывалось на ее исключительно врачевательный характер: "sacerdos ut more periti medici ... debeat remedium adhibere"<sup>39</sup>. Грех, в котором нужно исповедоваться, приравнивался, таким образом, к болезни, а исповедь – к способу исцеления. Священник ассоциировался не просто с врачом, прописывающим лекарство (remedium), но с хирургом, вскрывающим нагноившуюся рану, проводящим кровопускание или вызывающим у больного очистительную рвоту<sup>40</sup>.

Физиологический аспект в восприятии исповеди присутствует и в сочинениях theologов XIII в. Например, Guillaume d'Auvergne подробно описывает внешний вид кающегося: он должен быть подвешен к небу "за ноги своих желаний", ибо так ему будет легче исторгнуть из себя вместе с рвотой свои грехи. Pierre le Chantre же считал, что кающийся человек должен предстать перед священником голым, открыв его взору все свои болезни и шрамы<sup>41</sup>. Эти картины, как представляется, подходили к описанию судебного процесса даже больше, нежели к описанию церковной исповеди.

Как священник исторгал из кающегося его прегрешения, так и судья должен был добиться признания от обвиняемого. (Любопытно, что "исповедь" и "признание" в старофранцузском обозначались одним словом – "confession".) Добиться с помощью некоего "средства" – remedium<sup>42</sup>. Исцеление грешника происходило посредством покаяния, тот же термин мы можем встретить и в юридических текстах – например, в королевских ордонансах, где тюремное заключение именуется "pénitence".

Однако для церкви медицинская метафора оказалась не бесконечной – на это со всей определенностью указал Thomas de Chobham еще в начале XIII в.: "Медицина лечит тело, тогда как теология облегчает душу" (in physica naturali per quam curantur corpora et aliter in physica theologica in qua sanantur anime)<sup>43</sup>. Для судей ответить на вопрос, что именно они собираются "исправить", заключая человека в тюрьму или посылая его на пытки, – тело или душу, – оказалось гораздо сложнее.

Примером того, насколько запутанным было представление и средневековых судей, и преступников о теле и душе и об их совместном существовании, может служить дело Жанны де Бриг. Как уже говорилось выше, она обвинялась в колдовстве, повлекшем за собой тяжелую болезнь Жана де Руйи, местного землевладельца и королевского прево. Довольно скоро, под давлением свидетельских пока-

заний, Жанна призналась, что ей помогал Дьявол (она называла его "Haussibut"), однако их отношения носили весьма оригинальный, если не сказать анекдотический, характер.

Дело в том, рассказывала Жанна, что у нее была некая родственница, которая сама пользовалась услугами Нечистого. И она как-то призналась нашей героине: "Чтобы обладать достоинством и достатком в этом мире, поскольку она боится бесчестия и презрения этого мира больше, чем того (загробного. – О. Т.), она отдала этому Haussibut, чтобы он помогал ей, свою душу и один из пальцев руки, но это было противно ее душе и ее [вечному] спасению"<sup>44</sup>. Родственница стала убеждать Жанну поступить точно так же, причем важным аргументом было то, что ее душу Дьявол получит только после смерти (вот только палец пришлось отдать теперь же) (RCh, II, 291). Но Жанна категорически отказалась идти на подобные сделки: "...она не отдаст ни свою душу, ни какой-нибудь из своих членов никому, кроме Бога..." (RCh, II, 292).

Тем временем болезнь наступала на несчастного Жана де Руйи и, уступая мольбам его жены, Жанна все-таки призвала к себе Haussibut, чтобы узнать способ излечения. "Явившись к ней, он заявил, что она доставила ему массу хлопот и работы, но взамен ничего (aucune chose du sien) не дает и не делает ему никакого добра" (RCh, II, 295). Так продолжалось довольно долго: Жанна вызывала Нечистого, тот выполнял ее просьбы, но всячески укорял за стремление отделаться мелкими подачками типа пригоршни пепла. В конце концов Жанна была арестована и поведана в суде эту удивительную историю, которая и станет предметом нашего анализа.

Первое, на что следует обратить внимание, – это проблема сосуществования (раздельного или слитного) души и тела. Вольфганг Шильд, исходя из предположения о наличии в человеке сильного (душа) и слабого (тело) начала, приходит к выводу о раздельном их восприятии в эпоху позднего средневековья. Важно, что теория Шильда строится на правовом материале и, следовательно, в первую очередь касается сферы правосознания. Он считает, что именно душа, в представлении средневековых людей, была ответственна за все поступки человека. Ей одной принадлежало право выбора той или иной стратегии поведения – в частности, совершения преступления, которое рассматривалось как сговор с Дьяволом, как грех, вина за который лежит только на душе<sup>45</sup>. Таким образом, местоположением "Я" средневекового человека могла быть только его душа.

Однако эта теория не находит полного подтверждения на материале RCh. Как мне представляется, Шильд не учитывает всего многообразия представлений о душе и теле, присутствующего даже в одних лишь правовых источниках. Его видение этой проблемы совпадает в полной мере только с точкой зрения средневековых судей, не знавших понятия "презумпция невиновности" и для которых, следо-

вательно, любой человек, попавший к ним в руки, изначально являлся преступником.

Конечно, вину каждого нужно было еще доказать, и в этой ситуации “сговор с Дьяволом” становился определенного рода “подсказкой”, как для самих судей, так и для преступников. Жак Шиффоло в статье, специально посвященной проблеме “непроизносимого” (*nefandum*), подчеркивал, что сама номинация “Дьявол” проникла в королевское судопроизводство благодаря влиянию канонического права<sup>46</sup>. Попытки судей *через речь обвиняемых*, через их собственное понимание произошедшего классифицировать тот или иной тип преступления наталкивались сначала на неспособность людей средневековья описать словами то, о чем они думали. Единственным доступным судьям выходом из этой ситуации было предположение о влиянии на поведение обвиняемых Дьявола. Таким образом, “Я” человека заменялось в устной речи на “Он”, на “двойника”, навязанного самими судьями: «Исчезновение собственного имени – первый знак “мистического дискурса” одержимых женщин, устами которых говорит демон, их негативный двойник. Инквизиция навязывает “одержимым” номинацию – имя вселившегося в них демона»<sup>47</sup>.

Подобную ситуацию мы наблюдаем и в деле Жанны де Бриг. Узнав о грозящем ей смертном приговоре, обвиняемая сказалась беременной. Специально приглашенные по такому случаю матроны осмотрели ее и вынесли следующее решение: “То, что по их словам, было ребенком, [на самом деле] является дурными духами, собравшимися в ее теле, отчего она и казалась такой толстой” (RCh, II, 297).

Вывод, сделанный матронами и охотно поддержанный судьями, как нельзя лучше соотносился с религиозной идеей греха: раздувшееся тело скрывало в своих недрах некий дух – несомненно, дух Дьявола, захвативший душу Жанны. Именно душу, с точки зрения судей, следовало освободить от преступления-греха, а для этого – послать на пытку и истязать тело, чтобы изгнать демона: “Все происходит так, как будто некое не имеющее формы внутреннее тело устремляется внутрь определенной части телесного чхла, имеющего форму. Выражение страсти оказывается прямым выходом из тела внутри тела или, иными словами, противоречивым взаимодействием двух тел внутри одного. При этом внешнее тело имеет очертания, а внутреннее – нет: оно существует в форме некоего невообразимого монстра... Оно поднимается к поверхности и трансцендирует телесный покров”<sup>48</sup>.

Как второе тело представляли себе душу люди средневековья<sup>49</sup>. Эта “материальность” имела определенное значение и при взаимодействии души и тела, ибо все душевные порывы находили свое отражение в теле человека. Обратная зависимость также была возмож-

на: влияя на тело, можно было оказать давление и на душу. Физические страдания, претерпеваемые на пытке, для судей были безусловным знаком того, что процесс освобождения души от пагубного влияния Дьявола, т. е. процесс признания собственной вины, идет должным образом. "Телесное" восприятие пыток в средневековом суде было непосредственно связано с процессом "духовного" очищения<sup>50</sup>.

Но сами обвиняемые вовсе не всегда были склонны связывать свои поступки с происками Дьявола. Все показания Жанны де Бриг построены именно на отрицании самого факта продажи собственной души. Мало того, для нее понятия "душа" и "тело", как представляется, совершенно равнозначны: она и душу не желает отдать никому, кроме Бога, и "ни один из своих членов" (т. е. тело). Конечно, Жанна понимает, что это разные вещи, но они для нее одинаково важны, в ее словах нет разделения на "сильное" и "слабое" (в терминологии Шильда). В этом смысле интересна точка зрения родственницы Жанны, для которой понятия души и тела существуют как некие ценностные ориентиры *при жизни и после смерти*. Она продает свою душу Дьяволу. Но значит ли это, что душа ее погублена и более не принадлежит ей? Вовсе нет. Дело в том, что при жизни тело и душа остаются в ее полном распоряжении (вот только один палец пришлось отдать Нечистому), она делает с ними, что хочет, иными словами, она сохраняет в полной мере свое "Я". После смерти душа ее действительно попадет не к Богу, а к Дьяволу, впрочем, это не так уж и важно – для этой женщины загробный мир вовсе не так привлекателен, как этот.

Как мне представляется, именно через призму *жизненных ценностей* следует рассматривать отношение некоторых средневековых преступников к телу и душе. При жизни человека его душа и тело неразрывно слиты, они имеют для него одинаковую ценность. Если он считает себя невиновным, то уже на пытке обращается к Богу, ища у него спасения – спасения не только для души, но и для тела. Об этом свидетельствует анализ лексики, используемой обвиняемыми в моменты наибольших физических страданий. Так, на пытке обвиняемый мог дать клятву в своей невиновности, и ее лексический строй часто полностью совпадал со словами признания *in extremis*: "Он поклялся Священным писанием и той участью, которая ожидает его в Раю, говорить правду..." (RCh, II, 103).

На мой взгляд, именно понимания того факта, что "правда" о совершенном преступлении не всегда, с точки зрения самого преступника, равнялась признанию собственной виновности, не хватает в концепции Шильда. Точно так же не учитывает он и тех случаев (правда, достаточно редких), когда вместилищем преступления (=греха) прямо называется тело человека. В RCh подобная зависимость прослеживается, в частности, в случаях скотоложества у мужчин или проституции у женщин.

Например, Робин ле Февр (один из тех 18 заключенных, в чьи признания *in extremis* присутствуют исповедальные мотивы) в последние минуты жизни признал многочисленные случаи скотоловства, совершенные им "по зову естества" (*pour la très-grant chaleur de nature qu'il avoit en lui*) (RCh, I, 567). Некая Маршон дю Пон заявила, что, лишившись девственности, много "грешила своим телом в борделе" (*faire pechié de son corps*) (RCh, II, 392). А Маргерит дю Брюж заслужила плохую репутацию соседей также "своим телом" (*elle est mal renommée de son corps*). Будучи взятой своим мужем из публичного дома, она так и не стала в глазах общества "достойной женщиной" (*proude femme de son corps*) (RCh, I, 259)<sup>51</sup>.

Важным представляется мне и то обстоятельство, что сам Кашмаре различает сознательный сговор с Дьяволом и бессознательное, с точки зрения обвиняемых, потворство его прихотям. Сговор может происходить и без участия души человека (как в случае Жанны де Бриг). Другое дело – действия "по наущению", когда именно душа становится объектом посягательства Нечистого. Интересно, что в RCh в основном упоминаются именно такие ситуации, но они явно имеют для автора второстепенное значение. Возможно, он даже воспринимает их как уловку, как стремление скрыть истинные мотивы происходящего. Таким образом, для Кашмаре стремление осмыслить реалии преступления через рассказ самого обвиняемого (через *pefandum*) превосходит желание описать свершившееся с помощью привычной номинации Дьявола. Именно в этом – своеобразии его видения происходящего. Именно поэтому он акцентирует внимание на признаниях *in extremis*, на их исповедальном характере, на желании осужденных выговориться без остатка и облегчить свою участь хотя бы после смерти.

Такому восприятию речи в RCh противопоставлено поведение нескольких заключенных, в качестве стратегии поведения сознательно выбирающих *молчание*.

По мнению Э. Эстерберг, молчание является лишь дополнением к значимой (экзистенциальной) речи, поскольку речь управляет ходом событий, а молчание служит способом их замедления: "Молчание служит выражением сознательной тактики поведения. Люди молчат вместо того, чтобы говорить, и не говорят ничего, чтобы, выиграв время, все как следует обдумать и лучше подготовиться к предстоящей борьбе"<sup>52</sup>.

Такое поведение в суде было свойственно заключенным в самые разные исторические эпохи (судя по RCh, из 125 человек 97 пытались с большим или меньшим успехом воспользоваться молчанием как средством защиты, откладывая признание или вовсе отказываясь от него). Часто ни угрозы, ни пытка не в состоянии были повлиять на обвиняемого. Человек мог кричать, плакать, умолять прекратить его страдания, обещая "сказать правду". Здесь "артику-

лированная речь отсутствует, она заменяется воплем – интенсивным, слышимым эквивалентом молчания”<sup>53</sup>.

Но как только наступало облегчение, преступник отказывался признавать свою вину. Если же нестерпимая боль все-таки заставляла его давать показания, оставалось дополнительное, совершенно законное средство защиты: обвиняемый мог отказаться повторить признание добровольно, после пытки, ссылаясь на его вынужденный характер: “Сказал, что [это] не является правдой, так как было сказано под давлением и страхом пытки (*par force et parour de gebine*)” (RCh, I, 21).

Конечно, такое молчание было лишь отсрочкой: большинство преступников сдавали свои позиции после нескольких сеансов пыток (обычно число – 3). Находились, впрочем, и такие, кто до конца следствия отказывался давать показания: в RCh упоминается семь таких случаев. Однако нежелание говорить не вызывало особого удивления у судей, *не являлось не-нормальным*. Даже при отсутствии признания они могли (по косвенным уликам, показаниям свидетелей, вещественным доказательствам) вынести решение (правда, это был бы не смертный приговор). Возмущение чиновников вызывало не просто молчание преступников, но манера их поведения, молчание не как антитеза признания, а как *синоним речи*, как *поступок*, в котором проявлялось их *сущность*. Молчание, которое также можно назвать *экзистенциальным*.

Кашмаре описывает в своем регистре четыре дела, когда поведение обвиняемых не только вызвало возмущение судей, но дезориентировало их, заставило отступить от правил процедуры.

26 мая 1390 г. был арестован Тевенин де Брен. Он обвинялся в игре на деньги в карты и в шулерстве, из-за которого пострадали несколько парижских студентов: Тевенин выманил у них не только все деньги, но даже одежду. Обвиняемый был хорошо знаком судьям Шатле, поскольку уже изгонялся из Парижа за подобные делишки. На этот раз он вернулся раньше срока, что позволило, учитывая его “дурную репутацию”, сразу послать его на пытки.

Но здесь судей ждало первое разочарование. Вместо того, чтобы подчиниться решению, обвиняемый надумал подать апелляцию: “Этот Тевенин заявил, что ничего дурного не совершал и что из-за ущерба, который, по его словам, причинил ему лейтенант [прево], он будет апеллировать в парламент” (RCh, II, 143).

Только через неделю, когда апелляция была рассмотрена и отклонена, судьи смогли привести свое решение в исполнение. Но ни первая, ни вторая, ни даже третья пытка (они шли почти без интервала 7, 9 и 19 июня) не дали никакого результата. Тевенин не говорил ничего. В заседаниях был сделан перерыв, и только 6 октября обвиняемый снова предстал перед судом и снова отказался давать показания. Судьям не оставалось ничего иного, как только снова



послать его на пытку, на этот раз голышом (fu despoillé tout nu). Тевенин по-прежнему молчал.

Он пробыл в тюрьме больше года прежде, чем судьи собрались с духом и вынесли приговор. Столь длительное заключение было явным отклонением от нормы<sup>54</sup>, однако судьи, возможно, еще надеялись услышать признание Тевенина и потому пошли на нарушение правил. Надеждам их не суждено было сбыться: "Учитывая обвинения, сделанные упомянутыми студентами, принимая во внимание их положение и личности, [а также] личность заключенного, который является испорченным человеком с дурными наклонностями (homme pervers, de dure et mauvaise volonté), то, что с помощью его признания нельзя доказать его преступления, [поскольку], когда кто-то совершает преступление, он не зовет свидетелей, и то, что он – неискрашиваем..." (qu'il est homme incorrigible) (RCh, II, 147), судьи приговорили Тевенина к изгнанию навечно из французского королевства и постарались забыть о его существовании. Однако почти одновременно с Тевенином в Шатле оказался другой заключенный, который доставил чиновникам не меньше хлопот.

7 июня 1390 г. перед судом предстал Жан Бине, арестованный по обвинению уже известного нам Жирара Доффиналя. Бине представился клириком, заявил, что Доффиналь оклеветал его "из зависти" (par haine) и что он ничего не знает ни о каких кражах, якобы ими вместе совершенных. И снова "сомнительное прошлое" заключенного позволило судьям послать его на пытку. После четырех пыток Бине признался только в том, что выбрил тонзуру "по совету друзей", а потому, "учитывая положение и личность этого заключенного, стойкость (l'osterilité), проявленную им на пытках, где он ничего не признал..." (RCh, II, 155), его также приговорили к изгнанию.

В обоих делах обращает на себя внимание тот факт, что судьи превысили собственные полномочия, стараясь выжать из обвиняемых хоть какие-то признания. В принципе пытать человека более трех раз не полагалось по той простой причине, что он мог умереть, а это противоречило правилам инквизиционного процесса. Смерть заключенного на пытках или в тюрьме – излюбленная тема апелляций в Парижский парламент на протяжении всего XIV в. Только вызывающее поведение Тевенина и Жана спровоцировало судей на подобное решение: их личное отношение к обвиняемым проскальзывает даже в абсолютно формализованном приговоре. Одного они называют "испорченным", другого – излишне "стойким". Жалоба Тевенина также не улучшила отношения к нему, поскольку являлась апелляцией по процедуре – формой, которую королевские судьи старательно изживали как ставящую под сомнение их профессиональную деятельность<sup>55</sup>.

Для Тевенина де Брена и Жана Бине молчание стало, таким образом, той стратегией поведения, которая позволила избежать смер-

ти. Отличие же их процессов от прочих, также закончившихся относительно благополучно, заключается, на мой взгляд, в *вызывающем* характере их молчания. Это активное, а не пассивное молчание, молчание-действие – и в этом причина резкого неприятия судьями поведения Тевенина и Жана.

Однако и речь может быть представлена в качестве одного из вариантов молчания. Это речь-вызов, речь, сознательно противопоставленная формальному признанию, которого ждут от преступника судьи. Примером *речи как молчания* служит поведение нашего давнего знакомого – Флорана де Сен-Ло.

Напомню, что Флоран обвинялся в краже аграфа и был схвачен 3 января 1389 г. на месте преступления, что существенно уменьшало его шансы выйти из тюрьмы живым. Но, несмотря на столь значительные улики, что-то в облике Флорана сразу не понравилось судьям (и они оказались правы!).

При аресте Флоран был осмотрен на предмет наличия у него на голове тонзуры. Поскольку ее не оказалось, прево приказал “поместить его в одиночку, чтобы никто не сделал ему тонзуру” (RCh, I, 203). Однако на следующий день Флоран объявил себя клириком и в доказательство продемонстрировал тонзуру! Возмущению судей не было предела. “Видя злобность (*malice*) этого заключенного” (RCh, I, 204), они пригласили для свидетельства цирюльников, которые подтвердили, что тонзура “выстрижена вовсе не цирюльником, но сделана недавно, всего день или ночь назад, и выщипана вручную (*plumée aus mains*). т. е. выдергана волосок за волоском” (*tirée l'un des cheveux après l'autre*) (RCh, I, 204).

Ничего подобного в RCh я больше не встречала. Поведение Флорана вызывает не просто удивление (неужели ему было не больно ночь напролет дергать себя за волосы?), но восхищение той смелостью (и стойкостью), с которой он себя ведет. Он имеет мужество открыто издеваться над судьями в то время, как они пытаются склонить его к даче показаний. Но вместо ожидаемого признания Флоран начинает рассказывать о своей почти неземной любви к Маргарите, которую он встретил за год до описываемых событий и которая была и остается “преlestной девушкой”. Флоран вспоминает, как смотрел на нее в первую встречу, как просил ее стать его возлюбленной, а она отказывалась, прося взамен обещания жениться: “И он, без ума от любви (*meu d'amour*), которая была в его сердце к Маргарите, поклялся своей душой и телом, соединив с ней руки, что он станет ее мужем и женится на ней...” (RCh, I, 204).

На этом терпению судей пришел конец. Они послали Флорана на пытку, где он соизволил признать только ту кражу, при совершении которой его поймали (здесь ему, действительно, отступить было некуда). Раздосадованные столь скудным уловом, судьи пошли на грубейшее нарушение процедуры: “Из-за того, что так мало признал,

этот заключенный будет еще много раз (par plusieurs fois) послан на пытку..." (RCh, I, 207).

По закону нельзя было выносить одно решение о нескольких пытках сразу: каждый сеанс требовал конкретного обоснования и, следовательно, отдельного решения. По всей видимости, поведение Флорана и его пространные воспоминания о Маргарите полностью вывели судей из себя. Хотя у Флорана обнаружили целый ворох явно чужих кошельков и аграфов, более он ничего не сказал ни на второй, ни на третьей, ни на четвертой пытке (здесь тоже было допущено нарушение – в один день обвиняемого пытали дважды).

К 9 апреля судьи поняли, что все средства исчерпаны. Любопытно обоснование смертного приговора, который они вынесли: "Учитывая, что при нем нашли аграф, в краже которого он не признался, наличие у него острого ножа (читай: потенциальный убийца – О. Т.), его вид и одежду..." (RCh, I, 209).

Действительно, если бы не злополучный аграф, Флоран вышел бы на свободу, ведь, кроме острого ножа да плохонькой одежды, к нему не из-за чего было бы придраться. Но кажется мне, что шутки и байки, которыми он от души попотчивал судей, могли заставить их послать его на казнь даже без улики.

Последнее дело несколько отличается от предыдущих. Здесь молчание обвиняемого (вернее, обвиняемой – Марго де ла Барр) находит выражение не в сознательном нежелании говорить и не в вызывающей речи, а в действиях, в использовании против судей их же оружия – различных процессуальных тонкостей, затгивающих ход дела и позволяющих ответчику не давать показания. Процесс Марго был выделен мною по той причине, что в нем использование всех судебных хитростей достигло предельной концентрации. Была то забота самой Марго или ее адвоката, неизвестно.

Марго де ла Барр обвинялась в колдовстве, в результате которого умерли двое людей, только что поженившиеся Аньес и Анселин Планит. На момент ареста ей было примерно 60 лет. Одинаковый состав преступления позволяет нам сравнить два процесса – Марго и Жанны де Бриг.

Если Жанна сразу признала "незаконность" своих действий, то Марго изначально упирала на то, что *лечила* этих людей, что является знахаркой, перенявшей эту науку от своей матери, а потому не знает, как можно приготовить яд или зелье. Судьи были, однако, противоположного мнения: "[Если] кто-то умеет лечить, значит сумеет и отравить" (RCh, I, 330).

Тем не менее первая пытка не дала никаких результатов, и чиновники были вынуждены одновременно начать допросы возможной заказчицы убийства, Марион ла Друатюрьер, бывшей подружки Анселина Планита. (Интересно, что сообщница Жанны де Бриг, же

на Жана де Руи, не участвовала в ее процессе, ее дело было рассмотрено после вынесения приговора по делу Жанны.)

Но Марион также отказалась признать свою вину в смерти супругов, хотя сразу заявила, что была без ума от своего возлюбленного: "Она испытывала и все еще испытывает к нему огромную любовь и привязанность, которую никогда не имела и не будет иметь ни к одному мужчине в мире" (RCh, I, 331). Узнав о его помолвке, она была вне себя от гнева и все еще пребывает в этом состоянии. Однако, будучи женщиной достойной (*femme de bonne femme et renommée*), Марион сочла себя оскорбленной подозрительным отношением к себе со стороны судей и после первой попытки подала апелляцию в парламент. Апелляция не была принята, Марион снова пытали, но только на третий раз судьям удалось выбить из нее показания.

По ее словам, она слишком любила Анселина, чтобы отпустить его к другой. Она обратилась за помощью к Марго, и та два раза готовила для нее различные приворотные зелья. Но только после свадьбы им удалось добиться желанного результата: молодые супруги не только не смогли иметь сексуальных отношений в первую брачную ночь, но тяжело заболели и спустя неделю скончались. Правда, добавила Марион, она вовсе не ждала, что Анселин умрет, она лишь хотела, чтобы он вернулся к ней.

Таким образом, показания Марион уже доказывали виновность Марго, однако та продолжала упорствовать. Она потребовала *очной ставки* с "предательницей", где заявила, "покаявшись проклятием своей души, что ничего об этом не знает, но эта Марион самым мерзким образом лгала и лжет, и предложила ей *судебный поединок*" (*son gaige de bataille*) (RCh, I, 334).

Как представляется, странное это заявление буквально шокировало судей. Кашмаре даже не описывает их реакции – *ее нет в тексте*. Видимо, чиновники решили пропустить слова Марго мимо ушей. Единственным возможным указанием на их состояние является следующая фраза в деле: "*а еще она сказала...*" (*et, qui est plus est, dist*).

Нестандартность возникшей ситуации проявилась буквально во всем. Во-первых, ни один правовой источник XIV в. не упоминает о возможности проведения поединка в середине процесса. При наличии высокого положения, больших денег и в случае особой важности конфликта (например, убийства одним шевалье другого) можно было попытаться добиться от короля разрешения на поединок, но сделать это нужно было еще до начала следствия. Второй особенностью казуса, упомянутого Кашмаре, являлись сами его участницы. Случай, когда поединка требовала женщина, были достаточно редкими (ей все равно требовалось найти мужчину, близкого родственника, который представлял бы ее интересы). В данном случае ситуация и вовсе достигла полного абсурда: женщина вызывала женщину. В довершение отсутствует, пожалуй, главное условие проведения

поединка – знатность участников. Марго и Марион – простолюдики (мало того, в прошлом обе – проститутки), и они уже поэтому не могли претендовать на подобное разрешение дела.

Однако одновременно с судебным поединком Марго потребовала проверить ее алиби на момент предполагаемого убийства: якобы в тот день она находилась у дочери и тому есть свидетели. Судьям пришлось заняться их опросом, и все они подтвердили истинность ее слов, добавив, впрочем, что видели там и "очень взволнованную молодую женщину" (без сомнения, Марион). Вновь была проведена очная ставка: Марго хотела лично услышать показания свидетелей и снова их опровергнуть. Не помогла и третья к этому времени пытка – она по-прежнему молчала.

Только четвертая пытка и, безусловно, давление свидетельских показаний заставили Марго де ла Барр признаться. Она подтвердила, что Марион очень страдала от разрыва с Анселином и выглядела как сумасшедшая (*sembloit comme toute editee*). Их первые попытки вернуть возлюбленного, по ее словам, действительно ни к чему не привели, и тогда, в качестве крайнего средства, она обратилась к Дьяволу, который им и помог. Таким образом, судьи с полным основанием могли обвинить ее в колдовстве и вынести приговор.

Подведем некоторые итоги...

Материалы "Регистра Шатле" и особенности видения судебного процесса его автором позволяют, как мне представляется, выделить целый комплекс проблем, так или иначе связанных с переживаниями и внутренним миром такой специфической части средневекового общества, как уголовные преступники.

Ситуация, в которой оказываются эти люди, не назовешь просто экстремальной. Она представляет для них реальную опасность: все они пребывают *в ожидании смерти*, хотя, возможно, осознание этого факта доходит до них не сразу и не до каждого. Эта особенность имеет важнейшее значение для оценки поведения и речи преступников в суде. То, что они говорят, имеет для них экзистенциальное значение. То, как они ведут себя, направлено на изменение ситуации.

Однако, как показал проделанный анализ, совсем не все герои Кашмаре вообще способны на какие-то поступки. Внимательный читатель заметил: имена людей, чье поведение привлекает к себе внимание, постоянно повторяются. Конечно, поведение человека в суде, где его жизни угрожает опасность, становится абсолютно непредсказуемым, и, следовательно, оно по определению индивидуально. Но среди равных по положению всегда, как известно, находят те, кто равнее...

Наиболее важной и решаемой на материале RCh (или сходных с ним по типу правовых источников) мне представляется проблема

восприятия физической боли. Переживания, связанные со страданиями, причиняемыми пыткой, не всегда эксплицитно присутствуют на страницах RCh: мало кто из заключенных говорит о них вслух. Однако специфика восприятия физической муки средневековыми преступниками проявляется в их признаниях, так сказать, имплицитно, становится понятной по косвенным свидетельствам.

Эта специфика связана, в первую очередь, с особым отношением этих людей к самой ситуации вынужденного одиночества, в которой они оказываются, попадая в тюрьму. Средневековый человек, как известно, мыслил себя как часть некоей микрогруппы (семьи, соседей, родственников, друзей, коллег и т. д.). Насильственно навязанное одиночество означало для него не просто разрыв привычных социальных связей, оно разрушало существующую в его сознании картину мира, вызывая тем самым сильнейший стресс. В меньшей, по всей видимости, степени ужас одиночества был свойствен профессиональным преступникам, которые, в силу своих занятий, были более подготовлены к условиям тюрьмы и чаще всего вообще не имели семьи и близких, отрыв от которых мог спровоцировать психологические переживания.

С проблемой восприятия физической боли связана и особая роль одежды в средневековом обществе. Для человека этой эпохи костюм являлся знаком определенного социального статуса. Насильственное раздевание, которому подвергался преступник в суде, вело к потере этого статуса, а вместе с ним – к утрате чести и достоинства, уважения окружающих. Человек оказывался голым в прямом и переносном смысле – незащищенное тело уравнивало всех, лишало привилегий перед лицом суда, что крайне болезненно воспринималось, в частности, людьми знатного происхождения, для которых физическая неприкосновенность тела выступала как отличительная черта их социального статуса.

Физическая боль приобретала для средневековых преступников особое значение еще и по той причине, что, в их представлении, насилие угрожало не только их телу, но и душе, понимаемой как второе тело человека. И тело, и душа были в равной степени важны, они в равной степени считались местом идентичности, подвергавшейся сознательному разрушению со стороны судей. С таким специфическим пониманием собственного "Я" был связан страх перед простой угрозой пытки, испытываемый многими заключенными в большей степени, чем даже страх перед смертью.

С особым восприятием физической боли связаны и индивидуальные стратегии поведения некоторых обвиняемых – стратегии, направленные в первую очередь на облегчение страданий. Сюда относится выдумывание преступниками-профессионалами образов "клирика" и "достойного человека", способных предотвратить пытки. Ложь в устах обвиняемого знатного происхождения, в обычной

обстановке противоречащая принятым нормам поведения, но в экстремальной ситуации могущая защитить от физической боли. Молчание как синоним речи, как жест полного неповиновения и отчаянного мужества перед лицом страшных мучений. Смерть как долгожданное избавление от боли – физической и душевной, – как надежда на спасение души и воскрешение тела в Судный день. (С этой надеждой некоторые средневековые преступники связывали поиск возможности исповедоваться: их последние признания в суде или у подножия виселицы приобретали характер церковной исповеди, они воспринимали преступление как грех, а в судебном чиновнике хотели видеть священника, способного облегчить их участь.)

Следует лишний раз подчеркнуть, что особенности поведения некоторых средневековых преступников в суде связаны прежде всего с *насильственным* характером физической боли. Именно насилие со стороны других людей (судей, *ministros torturarum*, палачей) вызвало ответную негативную реакцию обвиняемых. Особо остро восприятие насилия было связано в этот период с двумя моментами. Первое – это особенности инквизиционной процедуры в целом, смысл которой заключался в последовательном подчинении человека, попавшего в стены суда, власти, персонифицированной в суде. Обвиняемый из субъекта отношений, субъекта права превращался в их объект (чего не было при обвинительной процедуре, когда активная роль в процессе принадлежала самим обвинителю и обвиняемому). Второе – особенности уголовного судопроизводства конца XIV в., когда процедура приобретала все более регламентированный характер, когда были установлены правила ведения процесса и любое отклонение от них квалифицировалось как уголовное преступление. Чем жестче становился регламент, тем острее была реакция на любое сверхнормативное насилие.

Регистр Кашмаре, как представляется, отразил в полной мере обе тенденции. Борьба отдельных индивидов за право оставаться личностью, субъектом отношений запечатлена на страницах RCh. Возможно, автор связывал нестандартность тех или иных процессов именно с этим стремлением заключенных Шатле. Так или иначе, но он оставил нам в наследство уникальный документ, свидетельство подлинных переживаний и страстей людей эпохи позднего средневековья. Источник, изучение которого может и должно быть продолжено.

### Примечания

- 1 *Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392.* / Ed. H. Duplès-Agier. Vol. I–II. P., 1861–1864. (Далее: RCh, том, стр.)
- 2 *Тогова О.И. Жизнь и смерть Соломона, еврея из Барселоны // Казус-1999. М. 1999. С. 271–296.*

- 3 Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319–1350) / Ed. M. Langlois, Y. Lanhers. P., 1971.
- 4 Формальные правила ведения инквизиционного процесса см.: *Тогоева О.И.* Правила "справедливой" пытки в уголовном суде Франции XIV века // *Вестник МГУ. Серия 8. История.* 1998, № 3. С. 104–117.
- 5 *Эстерберг Э.* Молчание как стратегия поведения. Социальное окружение и ментальность в исламских сагах // *Arbor mundi.* 1996. Вып. 4. С. 27.
- 6 *Geremek Br.* Les marginaux parisiens aux XIV et XVe siècles. P., 1991 (1 éd. 1976); *Gauvard C.* "La grace especial". Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age. P., 1991 и ее более поздние статьи, основанные на материале диссертации.
- 7 Наиболее интересной в данном контексте представляется книга: *Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Un cas de parricide au XIX siècle /* Edité et présenté par M. Foucault. P., coll. "Archives". 1973. № 49.
- 8 *Гинцбург К.* Предисловие к книге "Сыр и черви. Образ мира у мельника XVI века" // *Современные методы преподавания новейшей истории.* М., 1996. С. 44.
- 9 Там же. С. 46.
- 10 *Ordonnances des rois de France de la troisième race.* (Далее: Ord.). Т. 8. P. 309 (1398).
- 11 Ord. T. 13. P. 101–102 (1425). См. также: *D'Ableiges J.* Grand coutumier de France / Ed. par E. Laboulaye. R. Dareste. P., 1868. P. 184: "le clerc du geollier aura de chascun prisonnier 4 deniers et pour chascun rabat 2 deniers...".
- 12 *d'Ableiges J.* Op. cit. P. 184: "si le geollier est tenu de querir aux prisonniers qui n'ont pas de quoi vivre au moins le pain et l'eau..." Ord. T. 2. P. 584: "et s'il y a gentihomme prisonnier oudit Chastellet il doit avoir double mez..." Например, на праздник суконщиков: "tous les prisonier du Chatelet de Paris doivent avoir chascun un pain, une quarte de vin et une piece de char telle comme dessus...".
- 13 Наиболее полный материал о положении заключенных собран в статьях: *Batiffol L.* Le Châtelet de Paris vers 1400 // *Revue historique.* 1896. № 61. P. 225–264; 1896. № 62. P. 225–235; 1867. № 63. P. 42–55, 266–283; *Porteau-Bitker A.* L'emprisonnement dans le droit laïque au Moyen Age // *Revue d'histoire du droit français et étranger* 1968. № 46. P. 211–245, 389–428.
- 14 Ord. T. 8. P. 309 (1398): "convenables et competement aëreez ou creature humaine sanz perilg de mort ou de mehaingn peut estre et souffrir penitence de prison...".
- 15 *Ягальский М.* Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 82.
- 16 Confessions... P. 113: "et dist que il a sa fame grosse et sept petiz enfanz pour quoi il labouroit pour leur vivre".
- 17 *Lacan J.* Le Seminaire. Livre XI. Les quatres concepts fondamentaux de la psychanalyse. P., 1990. P. 122 (цит. по: *Ягальский М.* Демон и лабиринт. С. 162).
- 18 О законодательстве против бродяжничества см. подробнее: *Geremek Br.* Op. cit. P. 31–42.
- 19 *Livre rouge* vieux du Chatelet. Цит. по: *Geremek Br.* Op. cit. P. 53.
- 20 "Pour obvier à plusieurs larcins, pilleries, pipperies et desroberies qui continuellement sont commises en cette ville de Paris tout en plein jour comme de nuict, plusieurs gens oyseux et vagabons estans en cette ville de Paris, les aucuns sans adveu et les autres qui se disent officiers, comme sergens et autres qui sont vestus et habillez de plusieurs robes et riches habillemens portans espèces de grands cousteaux, qui ne s'appliquent à aucun estat ou autre bonne manière de vivre" (цит. по: *Geremek Br.* Op. cit. P. 55).
- 21 *Journal d'un bourgeois de Paris de 1405–1449 /* Ed. par C. Beaune. P., 1990. P. 297: "fut vue de tout le peuple toute nue et tous les secrets qui peuvent être ou doivent [être] en femme, pour oter les doutes du peuple".
- 22 *Зенкин С.* Ролан Барт – теоретик и практик мифологии // *Барт Р.* Мифологии. М., 1996. С. 34.
- 23 *Eggerton S.Y.* Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution During the Florentine Renaissance. L., 1985. P. 206.
- 24 *Beaumanoir Ph. de.* Coutumes de Beauvaisis / Gd. A. Salmon. Vol 1–2. P., 1899–1900. № 1585: "folle justice".



- <sup>25</sup> RCh, I, 537: "Tu mens; car l'ostel de céans n'est pas tel que l'en fait par force de gehine dire autre chose que verité; et sy ay bien oy dire que tu n'as pas esté sy fort tiré que ta deusses avoir dit chose qui ne feust verité".
- <sup>26</sup> RCh, I, 546: "auquel Breton il a oy dire par plusieurs fois que il aymeroit mieulx que l'en le feist morir que l'en le meist plus en gehine, et que, sur l'ame de lui, se l'en faisoit morir, qu'il prendroit la mort en bon gré...". "Il avoit paour qu'il ne feust trop tiré, et qu'il avoit veu un qui avoit esté sy fort gehiné qu'il en estoit mort".
- <sup>27</sup> Archives Nationales, X – Registre de Paris, X2a – Registres criminels, X2a 14, f. 217v-218: "...car c'est moins de soy combatre pareil à pareil que soy combatre à la gehine ou le corps est sanz armes et sanz ce qu'il puisse secourir...".
- <sup>28</sup> *Тогоева О.И.* Несостоявшийся поединок: Уильям Фелтон против Бертрана Дюгелена // Казус 1996. М., 1997. С. 199–212.
- <sup>29</sup> *Journal d'un bourgeois...* P. 41.
- <sup>30</sup> *Du Breuil G.* *Stilus curie Parlamenti* / Ed. par F. Aubert. P., 1909, rubrica 29.
- <sup>31</sup> Ту же ситуацию мы наблюдаем в деле знаменитого Мериго Марше, также происшедшего из знатной фамилии. Судьи решают послать его на пытки "один раз" (*icellui Merigot feust une fois questionné*), и то только потому, что его преступление (участие в войне на стороне англичан) направлено против "общественного блага, королевского достоинства и благоденствия королевства" (*bien publique, l'onneur du roy et prouffit de son royaume*) (RCh, II, 203). Мериго полностью раздевают для пыток (*tout nu*), но он избегает мучений, поскольку сразу начинает давать показания. В дальнейшем судьи решают не прибегать более к пыткам, *учитывая благородное происхождение Марше и заслуги его семьи перед королем* (RCh, II, 205).
- <sup>32</sup> *Авершцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы М., 1977. С. 62.
- <sup>33</sup> Выражение С. Кьеркегора (цит. по: *Подорога В.* Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии. М., 1995. С. 99).
- <sup>34</sup> Стремление исповедоваться перед смертью и обращение с "исповедью" к тюремщику, судье или палачу позволяет нам сделать предположение о том, что именно в юд преступник в последние минуты жизни хотел видеть *близких ему людей*. Близость эта, безусловно, имела мало общего с родственными, дружескими или же профессиональными связями, каковые обычно подразумеваются в современном языке под понятием "близкие отношения". Скорее, здесь следует говорить о близости *символической*, что, впрочем, не уменьшает значения подобного явления для исследуемой ситуации. В обычной обстановке перед смертью человек желал видеть рядом с собой священника – доверенное лицо, духовника, которому он мог бы исповедаться в своих грехах. В экстремальной ситуации, в условиях тюрьмы *роль священника мог исполнять судебный чиновник*, если у приговоренного к смерти складывались с ним отношения. Именно так, видимо, следует рассматривать, к примеру, отношения уже известного нам Флорана де Сен-Ло с его тюремщиком, которому он рассказал всю историю своей жизни. На добром отношении тюремщиков к заключенным (как козьяна постоянного двора к своим гостям) настаивало и королевское законодательство того времени (*Porteau-Bithier A.* Op. cit.). Не менее интересным представляется вопрос об отношениях преступника и палача – этих двоих также, по всей видимости, связывала особая близость. На это указывает, в частности, сам ритуал смертной казни (прощение, даруемое осужденным своему палачу, обмен поцелуями на месте казни и т. д.). Именно тюремщик и палач выступали символическими наследниками казенного преступника – его личные вещи поступали в их распоряжение.
- <sup>35</sup> Таким образом, точка зрения судей расходилась с мнением церкви, которая считала, что человек, даже если его тело было уродливо при жизни, воскреснет из мертвых физически здоровым.
- <sup>36</sup> Ord. T. 8. P. 122. Наиболее интересен трактат Жана Жерсона 1397 г.: *Gerson J.* *Requete pour les condamnés à mort* // *Oeuvres complètes* / Ed. Mgr. Glorieux. P. 1968. T. 7. P. 341–343.
- <sup>37</sup> *Ле Гофф Ж.* С небес на землю (перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XI–XIII вв. // *Одиссей* 1991. М., 1991. С. 42–43.

- <sup>38</sup> О спорах римских юристов по проблеме правдивости признаний см.: *Thomas Y. Confessus pro iudicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome // L'aveu. L'Antiquité et Moyen Age. Rome, 1986. P. 89–117.* О дискуссиях средневековых юристов о франции в суде см.: *Тогоева О.И.* Жизнь и смерть Соломона... Только в XVI в. во Франции вновь зародились сомнения о правомочности применения пыток и об их ответственности. Но и тогда это были голоса единиц (Ж. Болен, к примеру, выступал за сохранение института пытки). См.: *Nicolas A. Si la torture est un moyen seur à verifier les crimes secrets. Dissertation morale et juridique. Amsterdam, 1682* (reprint: Marseille, 1982). Официально (но не на практике!) пытка была отменена при Людовике XVI, но ее полное исчезновение связывают только с началом XIX в. и правлением Наполеона.
- <sup>39</sup> Цит. по: *Beriou N. La confession dans les écrits théologiques et pastoraux du XIII siècle: médication de l'âme ou démarche judiciaire? // L' Aveu. Antiquité et Moyen Age. P. 261–282.*
- <sup>40</sup> *Ibid.* P. 269. Каролин Байнум отмечает в своей обзорной статье, посвященной восприятию тела в средние века, что местом, где господствовали выделения человеческого организма, местом пищеварения, всяческих изменений, метаморфоз и соков в раннем средневековье считался ад (*Vynum C. Warum das ganze Theater mit dem Körper? Die Sicht einer Mediavistin // Kulturische Antropologie. 1996. № 1. P. 1–33*). Ада же, по определению Петра Дамiana, являлся "regio gehennalis", т. е. местом пыток, физических мучений (*Le Goff J. La naissance du Purgatoire. P., 1981. P. 489–490*).
- <sup>41</sup> *Beriou N. Op. cit. P. 271.*
- <sup>42</sup> Так, Балд считал, что при расследовании особо опасных уголовных преступлений следует применять инквизиционный процесс, который является "экстраординарным средством" (*inquisitio est remedium extraordinarium*) (Balde. *Consilia. vol. IV. Cons. 415*). Жак д'Аблеж, напротив, расценивал *inquisitio* как самое обычное средство для "борьбы с грозящей опасностью" (*remédier au futur péril*) и призывал судей активно его применять (*D'Ableiges J. Op. cit. P. 625*). В RCh термин "remède" также встречается несколько раз – в значении "средство", "лекарство", "утешение" (RCh, I, 524; I, 329; II, 294, 317; II, 128).
- <sup>43</sup> *Beriou N. Op. cit. P. 273.*
- <sup>44</sup> RCh, II, 290. "afin d'avoir très-grant honneur et prouffit en ce monde, et pour ce que elle craignoit et doubtoit plus la honte et deshonneur de ce monde que celle de l'autre, elle avoit donné audit Haussibut, pour venir en son ayde, son âme et un des dois de sa main, mais c'estoit grandement contre son arme et le salut d'icelle".
- <sup>45</sup> *Schild W. Recht Mittelalter // Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen / Hrsg. von P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1993. S. 513–534.*
- <sup>46</sup> *Chiffolleau J. Dire l'indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVIe siècle // Annales E.S.C., 1990. P. 289–324.*
- <sup>47</sup> *Ямтальский М.* Демон и лабиринт. С. 112.
- <sup>48</sup> *Ямтальский М.* Пест палача, оратора, актера // *Ad Marginem*'93. М., 1994. С. 51.
- <sup>49</sup> *Dinzelbacher P., Sprandel R. Körper und Seele: Mittelalter // Europäische Mentalitätsgeschichte... S. 167:* "Каждый человек имеет душу. Она не столько невидимый дух, не-телесность, скорее, это второе тело, которое пребывает в первом..."
- <sup>50</sup> Такое понимание пыток сближало, как кажется, образ самого суда с образом чистилища. Выше я уже упоминала о существовании возможной параллели между "последним испытанием" преступника в этом мире (казнь) и испытаниями, которые ожидали его душу сразу после смерти, в чистилище. Интересным также представляется восприятие тюрьмы как своеобразной "передышки" в судьбе преступника, когда еще не известно, будет ли он признан виновным или казнен. Автор "Кутумы Бретани" считает, что подозрительных людей следует держать в тюрьме так долго (*tenir tant longuement*), чтобы они пришли в себя (*reffrediz*), так как суд должен охранять мир и спокойствие в обществе (*tenir le monde en paix*) ( *Coutume de Bretagne. Ch. 165*). Появляющееся в этом тексте производное от латинского

"refrigerium" заставляет вспомнить теорию Тертулиана о существовании некоего "refrigerium interim" – предшественника настоящего чистилища. Идеальные стратегии поведения человека, временно попавшего в чистилище, и человека, пребывающего в тюрьме в ожидании, когда решится его судьба, также весьма похожи. Такую стратегию поведения Ж. Ле Гофф называет "войти – пройти – выйти" (*Le Goff, Les gestes du Purgatoire // Le Goff J. L'imaginaire médiévale. P., 1985. P. 127–135*).

- 51 Невозможность для проститутки стать уважаемой женщиной подтверждается любопытным казусом из практики Парижского парламента. Проститутка, изнасилованная монахами местного монастыря, обратилась за справедливостью в суд. При рассмотрении дела защита настаивала на том, что самого факта преступления не было, поскольку невозможно изнасиловать "публичную женщину" (*lettre publique*) (X 2a 7. f. 245–246, 1366 г.).
- 52 Эстерберг Э. Указ. соч. С. 35.
- 53 Япотьковский М. Жест палача... С. 36.
- 54 В идеале тюремное заключение не должно было длиться более семи дней. В RCh этот срок обычно не превышает двух-трех месяцев. В деле Жанны де Бриг, которая просидела в тюрьме 10 месяцев, сам прево торопил своих чиновников с вынесением решения (RCh, II, 302).
- 55 В 1453 г. ординасом в Монтиль-ле-Туре апелляция по процедуре была запрещена.

## Глава 12

### *Герцог, его слуга и смерть (Австрия, XV век)*

Второго декабря 1463 г. в Хофбурге – венском замке Габсбургов – в возрасте 45 лет неожиданно скончался эрцгерцог Австрийский Альбрехт VI, младший брат императора Фридриха III<sup>1</sup>. Четыре дня подряд лучшие врачи изучали бранные останки эрцгерцога. По их словам, им еще никогда в своей практике не доводилось видеть, чтобы человеческое тело разлагалось с такой быстротой. Цвет трупа, исходящий от него запах “и другие признаки” дали медикам основание полагать, что эрцгерцог погиб во цвете лет из-за сильнейшего отравления организма<sup>2</sup>. От вскрытия и обычного в доме Габсбургов (как и в других европейских княжеских домах) бальзамирования покойника пришлось отказаться. Дело было не только в зловонии, уже исходящей от трупа, но и в страхе врачей перед распространением отравы через “выбросы свернувшейся крови” из ноздрей мертвеца и из разрывов в его кожных покровах или же при удалении внутренностей<sup>3</sup>. Авторитетнейший врач Михель Пуфф заявил, что в результате бальзамирования эрцгерцога может пострадать вся Вена. Не стоит и погребать покойного по княжескому обыкновению. Пусть тело Альбрехта будет закопано в ящике с негашеной известью на большой глубине. Известью следовало также доверху засыпать могильную яму. Если это захоронение вскроют раньше, чем через 30 лет, над городом снова нависнет страшная угроза. Одежду, бывшую на герцоге в его последние часы, необходимо без промедления сжечь. Если кто-либо вздумает вдруг надеть какую-нибудь из этих вещей, он умрет самое позднее через час<sup>4</sup>. Впрочем, Альбрехта погребли 7 декабря в

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)

обычном месте упокоения австрийских герцогов – склепе в крыше храма св. Стефана в самом центре Вены<sup>5</sup>. Со временем там появилось и надгробие, правда, весьма скромное – маленькая (“размером всего в один фут и пять пальцев”) мраморная плита с лаконичной надписью готическим минускулом: “Альбрехт, сын Эрнста, герцог Австрии”<sup>6</sup>.

Итак, врачи вроде бы опасались начала эпидемии какой-то смертельной болезни, скорее всего бубонной чумы, и старались предупредить ее. С чумой венские медики были хорошо знакомы – всего за полтора-два года до описываемых событий она лютвала в Вене и ее окрестностях<sup>7</sup>. Но те же самые врачи говорят о какой-то “отраве” (*venenum, gift*), якобы вызвавшей смерть герцога. Слово “отрава” на редкость двусмысленно – средневековый медик вполне может обозначить им причину едва ли не любой тяжелой болезни. И все же исходное и основное значение что латинского слова, что его немецкого эквивалента, произнесенных над телом Альбрехта, – это “яд”. Вряд ли и сами медики в случае с гибелью эрцгерцога – пусть и от чумы – были в состоянии четко провести грань между преступным “отравлением” и случайным “заражением”. Средневековая “эпидемиология”, не имевшая понятия о микробах и вирусах, не могла исключить того, что причиной мора может стать яд – еврейские погромы во времена “Черной смерти” середины XIV в. тому яркое свидетельство. Какие бы тонкие смысловые оттенки ни скрывались, возможно, за профессиональным термином *venenum (gift)*, люди истолковали его однозначно. По Вене стремительно разнесся слух, что эрцгерцог стал жертвой низкого преступления. Имя главного и притом заклятого врага покойного не представляло секрета ни для кого в Австрии, да, наверное, и во всей империи. Этим врагом был не кто иной, как император Фридрих III. Мрачная тень братоубийства легла 2 декабря 1463 г. на венский замок...

По свидетельствам современников, два брата были противоположны друг другу едва ли не во всем. Старший – Фридрих, – по общему мнению, походил на мать – польскую принцессу. Он порой проявлял редкостное упорство в достижении поставленных целей, но вместе с тем бывал обычно так осмотрителен и осторожен, что многим казался (и не всегда без основания) вялым, бездеятельным и даже трусоватым. Судя по бурному темпераменту Альбрехта, в его жилах кипела кровь итальянской бабушки из миланского герцогского дома Висконти. Энергичный и решительный эрцгерцог слыл самым доблестным из всей семьи Габсбургов. Не случайно юный дворянин Георг фон Эинген начал свое “странствие за рыцарственностью” с того, что променял спокойное место при блестящем, хлебосольном и беззаботном дворе тирольского государя Зигмунда Габсбурга<sup>8</sup> на честь оказаться в числе придворных герцога Альбрехта<sup>9</sup>. Георг фон Эинген мечтал попасть к “деятельному князю, чтобы

найти себе применение в рыцарственных деяниях и обучиться всем рыцарским играм<sup>10</sup>. Осуществить свою мечту юноша решил как раз при дворе герцога Альбрехта во Фрайбурге.

В отличие от нудно-благочестивого и недоверчивого Фридриха Альбрехт был жизнелюбив, общителен и открыт для своих приближенных. По словам того же Георга фон Эингена, "у герцога Альбрехта было много превосходных людей, и он держал роскошный княжеский, скорее даже королевский, двор"<sup>11</sup>. Опять-таки в противоположность брату Альбрехт обожал охоты, турниры, танцы и всякие пышные праздники. Если Фридрих был прижимист до скупости, то Альбрехт с истинно княжеской щедростью раздаривал деньги (за что его подданным приходилось расплачиваться очень высокими налогами). Если Фридрих не любил шума брани, то Альбрехт как истинный рыцарь при любой обиде готов был взяться за оружие. Его девиз был похож на девиз Ордена Золотого Руна: "Сперва удар, а уж за ним взвоется пламя"<sup>12</sup>. Никто из Габсбургов в XV в. не вел стольких войн со швейцарцами, как Альбрехт. Он настойчиво стремился расширить швабские владения Габсбургов и хотел примерить не употреблявшийся со времен Штауфенов титул герцога Швабского. Неугомонный эрцгерцог претендовал, впрочем, и на Милан в качестве родственника и наследника угасших Висконти. При своем вообще-то не слишком блестящем образовании Альбрехт сумел сочетать воинственность с серьезным покровительством наукам. Не кто иной, как он в 1456–1457 гг. основал университет во Фрайбурге – и сегодня славную своей ученостью "Альбертину". Впрочем, вряд ли здесь было дело в идеалистической любви Альбрехта к образованию. Университеты поставляли ученых юристов, уже столь необходимых в XV в. каждому князю, каждой канцелярии. Поскольку Венский университет находился под влиянием Фридриха III, то Фрайбургский должен был, вероятно, стать еще одним аргументом в споре со старшим братом.

Разумеется, разница в характерах стала лишь исходной предпосылкой для глубокого конфликта, разделившего братьев. Совместное управление семейными землями было давней традицией в доме Габсбургов. Но Фридрих и Альбрехт, судя по всему, понимали ее совершенно по-разному. Первый явно считал, что ему как старшему в роду следует в интересах семьи контролировать все ее владения. Второй же постоянно добивался выделения из общего комплекса габсбургских земель особого удела для себя. Эта принципиальная дискуссия (то или иное разрешение которой не могло не сказаться на судьбе династии) не раз приводила братьев к тяжелым ссорам. Своей кульминации спор достиг летом 1461 г., когда Альбрехт, заручившись поддержкой многочисленных и влиятельных союзников как в самой Австрии, так и за ее пределами, начал войну против Фридриха. Императора к тому времени недолго любили уже очень

многие его подданные, а потому партия “альбертинцев” явно стала брать верх над “имперцами”. Альбрехт быстро захватил Нижнюю Австрию и подошел к воротам Вены.

От полного поражения Фридриха III спасла лишь твердость венцев, не открывших ворот осаждавшему город Альбрехту. В благодарность император даровал своей столице ее нынешний герб – золотого имперского двуглавого орла. В Вене тогда, кстати, почти полтора года кряду пребывал папский легат – один из самых известных церковных деятелей того времени кардинал Виссарион Никейский, приехавший в Австрию специально для того, чтобы посредничать между братьями<sup>13</sup>. Знаменитый грек вынужден был уехать ни с чем – ни Фридрих III, ни Альбрехт не желали мириться.

С началом следующей военной кампании в 1462 г. императора ожидали самые тяжкие месяцы. Войска Фридриха III были разбиты, его полководцы попали в плен. Ожесточение и ненависть с обеих сторон были очень велики. Война затронула все население страны: и Нижняя Австрия и соседние с ней земли то и дело опустошались войсками и бандами грабителей. Император готов был просить помощи уже у кого угодно, даже у своих заклятых врагов – швейцарцев. Самое скверное состояло в том, что, несмотря на пожалование нового герба, и настроения венцев изменились явно не в пользу старшего из Габсбургов<sup>14</sup>. 19 августа в результате народного мятежа был свергнут преданный императору городской совет, а бургомистром стал богатый, влиятельный и самолюбивый скототорговец, бывший венский мюнцмайстер<sup>15</sup> Вольфганг Хольцер. В конце августа Фридрих III лично прибывает в охваченную волнениями Вену. Государя после долгих переговоров заставляют оставить приведенные войска в предместьях и лишь с немногими людьми пропускают в Хофбург, где его давно с нетерпением ждет супруга – прекрасная дочь португальского короля Элеонора – вместе с трехлетним сыном (и будущим императором) Максимилианом. Фридрих III готов идти на некоторые уступки, во второй половине сентября он даже признает Хольцера бургомистром и отпускает своих наемников, но это лишь подливает масла в огонь. 5 октября городской совет открыто переходит на сторону Альбрехта и просит его о помощи против императора. Через две недели с небольшим венский замок оказывается в плотном кольце – его стены осаждают мятежные горожане и пришедшие извне отряды “альбертинцев”. 2 ноября Альбрехт победителем вступает в столицу Габсбургов.

Осада почти не подготовленного к обороне замка, в котором находился более чем скромный гарнизон, велась со всей решительностью. Его то и дело обстреливали из больших бомбард так, что обрушили одну башню и разгромили покои императрицы, которой приходилось вместе с маленьким сыном укрываться в нижних этажах и подвалах Хофбурга. Максимилиан на всю жизнь запомнит те собы-

тия своего и без того беспокойного детства. Фридрих III собственными руками укреплял стены, говоря, что будет защищать замок до тех пор, пока не погибнет под его руинами. Среди осажденных начался голод – были съедены все кошки и собаки, каких только удалось обнаружить в замке. Один граф добился от венского совета разрешения передать в Хофбург несколько яиц, немного муки, бульона и молока для юного принца, на которого венцам зла держать было не за что. Однако когда посланец приблизился к стенам замка, осаждавшие во главе с каким-то пекарем, не обращая внимания на объяснения, вырвали продукты из его рук и растоптали их<sup>16</sup>. В один из тех дней Альбрехт под колокольный звон всех венских церквей объявил, что его старший брат никогда более не будет править Австрией...

Чешский король Иржи Подебрад решил выступить посредником в этой усобице и сумел-таки добиться заключения перемирия. По договору между братьями Альбрехт получал в управление “на восемь лет” Нижнюю Австрию, включая Вену. Фридриху оставался Нойштадт с округой и 4000 дукатов ежегодно из нижнеавстрийских доходов его брата. Торжествующий Альбрехт лично прочитал с кафедры главного городского храма св. Стефана условия соглашения. Через три недели с небольшим Вена принесла торжественную присягу своему новому господину. Никто тогда не мог даже предположить, что спустя ровно год после заключения договора – день в день – Альбрехт неожиданно умрет...

4 декабря Фридрих III с семьей выехал из Хофбурга под улюлюканье венской черни и отправился в Нойштадт. Накануне ему против собственной воли пришлось встретиться с братом. Один из пунктов соглашения предусматривал, что Альбрехт заново принесет клятву на верность императору. Этот символический акт выглядит на современный взгляд несколько странно: победитель присягает побежденному, более того – принуждает своего фактически поверженного противника принять эту присягу. Но дело, видимо, в том, что в данном случае Фридрих выступает по крайней мере в двух разных ролях: с одной стороны, он предстает австрийским князем, побежденным другим австрийским князем, но с другой – императором, а значит, главным источником закона и легитимности в империи. Тем самым император Фридрих Габсбург должен был, приняв присягу от Альбрехта, утвердить и санкционировать новое положение вещей, т. е. прежде всего поражение австрийского князя Фридриха Габсбурга. Клятва Альбрехта в верности должна была стать официальным опубликованием того факта, что Фридрих III окончательно признал свой проигрыш. Однако и в рамках весьма формализованных церемониальных процедур могут быть найдены ходы, которые в состоянии существенно изменить смысл всего действия<sup>17</sup>. Такой ход нашел и Фридрих. Он выполнил то, что от него требовали, приняв присягу у своего брата-врага, но за все время церемонии не удостоил



Альбрехта ни единым словом. На это демонстративное молчание обратили внимание все присутствовавшие. В молчании они, кажется, расслышали и протест, и непримиримость, и обещание сквитаться...

Вскоре император на случай собственной смерти назначает опекуна для своего малолетнего сына – им становится Иржи Подебрад. Если же принцу суждено преждевременно умереть, наследником всех владений Фридриха III становится в обход ближайших родственников тот же чешский король. Такое завещание – случай в семье Габсбургов исключительный: оно лучше многого иного показывает, сколь велика была ненависть императора к своему удачливому брату.

Фридрих отказался от своих вынужденных уступок почти сразу же, но в 1463 г. бомбарды по большей части молчали – хрупкое перемирие между братьями удавалось несколько раз восстанавливать и продлевать, хотя успокоения в стране не было. С августа роль главного посредника между Фридрихом III и Альбрехтом взяла на себя их сестра – маркграфиня Баденская Катарина (ок. 1420–1493)<sup>18</sup>. Она хлопотала об освобождении супруга – одного из главных полководцев императора, попавшего в 1462 г. в плен к союзникам Альбрехта<sup>19</sup>, – но и старалась об установлении мира в семье и в стране.

Тем временем положение дел начало понемногу меняться в пользу императора. Князья, сторонники Альбрехта, уже добились многих своих целей и теперь не прочь были замирились с Фридрихом III. Нижнеавстрийские дворяне и венцы быстро разочаровывались в своем новом государе и стали помышлять о возвращении старого. Дело дошло до того, что тайный посланец старшего Габсбурга сумел договориться с бургомистром Хольцером, и тот за 6 тыс. дукатов впустил в Вену ночью 7 апреля 400 императорских наемников<sup>20</sup>. Только решительность эрцгерцога спасла положение. "Империи" были отбиты, а предатели подвергнуты стремительной и беспощадной расправе. Шестерых участников заговора обезглавили. Хольцера же по приказу Альбрехта четвертовали живым: в конце казни палач, хвастаясь своим профессиональным мастерством, вырвал из груди своей жертвы еще бьющееся сердце и показал его толпе. Останки Хольцера были в назидание другим выставлены над городскими воротами, причем его отрубленная голова украсила те из них, которые он открыл врагу<sup>21</sup>. В этом случае истерзанное тело преступника было, кажется, не только "знаком поданным всем", знаком того, как велико могущество государя и насколько оно превосходит силу его подданных (М. Фуко), – тело Хольцера, вероятно, стало и своеобразным выражением личных эмоций, обуревавших правителя, возмущенного предательством человека, которому он, надо полагать, весьма доверял. Как бы то ни было, эта жестокость вряд ли прибавила Альбрехту популярности в Вене, скорее наоборот – она умножила число весьма влиятельных в городской общине людей, которые не

на шутку опасались своего нового князя и предпочли бы как-нибудь отделаться от его суровой власти...

В октябре, в самый разгар трудных переговоров с Фридрихом III (на которых позиция старшего брата со временем становилась все жестче), Альбрехт внезапно теряет доверие к нескольким ближайшим советникам, включая канцлера, и прогоняет их со своей службой<sup>22</sup>. Они тотчас же отправляются в Нойштадт и предлагают свои услуги императору. Государь готов их принять, но воздерживается от этого по совету придворных, чтобы не создавать дополнительных трудностей для поиска соглашения с братом.

С точки зрения Альбрехта, вызвавшие его подозрение советники проявили слишком большую уступчивость на переговорах с "имперцами". Их увольнение было ясным знаком, что отныне поведение эрцгерцога станет тверже, а перспективы скорого заключения мира туманнее. Только маркграфиня Катарина продолжает в Вене заботиться о прекращении вражды – если война возобновится, ее муж, скорее всего, так и останется в плену. Альбрехт охотно видится с ней и вроде бы даже, по ее позднейшим воспоминаниям, произносит при ней какие-то очень примирительные слова о своем старшем брате<sup>23</sup>... 25 ноября 1463 г., в день св. Екатерины Александрийской, эрцгерцог во всем блеске наносит сестре торжественный визит, чтобы поздравить ее с именинами<sup>24</sup>. По словам маркграфини, ее брат излучал в тот день властность, энергию и здоровье. Пройдет всего только неделя, и над бездыханным телом Альбрехта врачи заявят, что эрцгерцог умер от "отравы"...

Никто из современников не бросил императору прямого упрека в отравлении брата – прямых улик не было. Однако оснований для подозрений, граничивших с уверенностью, было предостаточно. С понятным беспокойством отнеслись к мрачной новости о странной смерти Альбрехта при дворе третьего из Габсбургов – Зигмунда Тирольского. Возможное отравление дяди и к тому же временами весьма близкого политического союзника не могло не сказаться на состоянии духа весьма впечатлительного тирольского князя. Хорошо известно, какие причудливые, порой гротескные формы принимало с 70-х годов его недоверие к императору, едва не стоившее династии Габсбургов богатого Тироля<sup>25</sup>. Но истоки этого странного родственного чувства стоит искать раньше – в загадочном эпизоде, случившемся в венском Хофбурге в самом начале декабря 1463 г.

Именно при дворе герцога Зигмунда было создано весьма своеобразное сочинение – подробное описание последних дней и кончины эрцгерцога Альбрехта.

Автором записки был некий Ханс Хиршман – один из приближенных герцога Альбрехта. После неожиданной смерти своего господина его приняла к себе на службу маркграфиня Катарина, но он уже в январе предпочел отправиться в Тироль к Зигмунду. В Ин-

сбруке Ханс, по собственным словам, неоднократно рассказывал и самому князю, и его людям обо всех обстоятельствах болезни и смерти эрцгерцога<sup>26</sup>. Один из тирольских придворных и советников герцога Зигмунда попросил Хиршмана изложить эту историю на бумаге, что и было сделано в 1461 г. спустя несколько недель или самое большее три-четыре месяца после трагического происшествия. "Отчет" Ханса Хиршмана благополучно сохранился в венском архиве<sup>27</sup> и несколько раз публиковался<sup>28</sup>, хотя ни одно из его изданий не отвечает вполне современным текстологическим требованиям<sup>29</sup>.

Сочинение Хиршмана, как ни странно, пока не вызвало у историков желания посвятить ему отдельное исследование. Между тем, этот "отчет" – поразительный как по эмоциональности, так и по содержательности документ. Автор как бы дает свидетельские показания, на основании которых читатель должен решить, имело ли место отравление эрцгерцога. А раз так, то Хиршман начинает с редкостной дотошностью вспоминать события последних дней жизни эрцгерцога в мельчайших деталях, не очень-то различая, какие из них важны, а какие нет. Соответственно из-под его пера вышло необычное, исключительно подробное, а по выражению Альфонса Лотского<sup>30</sup>, "простодушное и вместе с тем грубо реалистическое" описание нескольких (конечно, отнюдь не самых обычных) дней придворной жизни в Австрии второй половины XV в. Историки не раз указывали на то, что "отчет" Хиршмана – великолепный источник по истории "княжеской повседневности"<sup>31</sup>, но делали это в самых общих выражениях или же ограничиваясь наблюдениями, вроде того, что он "не в последнюю очередь рисует совершенно потрясающую картину антисанитарного образа жизни даже высших социальных слоев"<sup>32</sup>. Однако дальше таких констатаций или "историко-медицинских" попыток задним числом поставить диагноз эрцгерцогу Альбрехту<sup>33</sup> дело до сих пор в сущности не пошло.

\*\*\*

Все началось в канун праздника святого апостола Андрея. День 29 ноября, вторник, был ничем не примечателен, если не считать густого тумана, наполнившего до краев венские улицы. Альбрехт отправился в очередной раз навестить свою сестру Катарину, маркграфиню Баденскую. Застать Катарину в доме, где она остановилась, эрцгерцогу не удалось, и он поскакал назад к родовому замку, стоявшему с внешней стороны городской стены, – месту действия последующего рассказа.

Эта старая резиденция Габсбургов – историческое ядро нынешнего, неузнаваемо изменившегося с XV в., венского дворца Хофбург – доказала свою надежность во время осад 1461 и 1462 гг. Правда, надежность вовсе не равнозначна удобству и представительности. Изображение 1530 г. рисует нам венский замок сооружением скромных

размеров и сомнительных репрезентативных достоинств<sup>34</sup>. В 1463 г. и без того, похоже, неказистая постройка была обезображена отчетливыми следами последней осады осенью 1462 г. Хотя по договору от 2 декабря 1462 г. Альбрехт становился хозяином Вены, а значит и Хофбурга, вряд ли он свободно пользовался в нем всеми помещениями – ведь еще в 1458 г. они были поделены между Фридрихом, Альбрехтом и Зигмундом. Апартаменты Зигмунда – союзника Альбрехта – должны были сохраняться для их хозяина, крыло, отведенное императору, вроде бы серьезно пострадало от артиллерийского обстрела. Да вряд ли сам Альбрехт на него особенно претендовал, если у него в замке уже давно были свои привычные покои. Исследователь истории Хофбурга М. Дрегер полагает на основании текста соглашения 1458 г. и иных данных, что комнаты Альбрехта находились на верхнем, третьем этаже в юго-западном крыле замка<sup>35</sup>. Под ними весь второй этаж занимал “зал для танцев”, а первый – так называемый “дюрниц” (слово, родственное русскому “горница”) – помещения для придворных и слуг.

С того момента как герцог, вернувшись после неудачного визита к сестре, поднялся (наверное, по закручивавшейся винтом лестнице в угловой башне) в сопровождении нескольких придворных в свои покои, бросив по дороге фразу, что продрог по этой погоде и хотел бы выспаться, пространство действия сужается до минимума. Почти все дальнейшее происходит всего в двух помещениях – герцогской спальне и примыкающей к ней “внешней большой горнице” (ausser grosse stube – (43)). В спальне есть, как выражается Хиршман, печь (ofen), которая больше похожа на камин, поскольку является источником не только тепла, но и света – в темное время суток к ней подходят, когда хотят что-нибудь рассмотреть получше. Возможно, эта же самая печь обогревает и горницу – во всяком случае, та тоже отапливается. В спальне, помимо кроватей, находятся лавки, сундуки и стол с канцелярскими принадлежностями. Второй стол – обеденный и, надо полагать, куда больший по размерам, стоит в горнице. Там же есть по крайней мере одно кресло. Из спальни можно пройти в герцогскую “камеру” – кладовую, где хранятся ценности и парадное платье, а также в особый чуланчик или “комнатку” (stubl, kamer) – уборную.

Первым делом Альбрехт приказывает Хиршману распорядиться разжечь огонь в камине и накрыть на стол. Герцог благодушен и настроен “сыграть” (в кости или карты?) с несколькими придворными, которых он привел с собой. Появляется некий Андрей Вольф и зовет Хиршмана составить ему компанию в бане (das ich mit im in das bad gieng). Тот просит на это разрешения у герцога и тотчас же его получает. Баня (с подведенным к ней водопроводом) находилась недалеко – в саду к востоку от замковых стен<sup>36</sup>. Моются оба придворных, очевидно, не очень скоро, но и не очень долго, потому что воз-

вращаются к концу ужина. Герцог в хорошем настроении и подшучивает над Хиршманом. За герцогским столом сидят два камергера, старший шенк (кравчий), упоминавшийся Вольф, очевидно, сам Хиршман "и другие, которые обычно бывали у его милости". Во время трапезы, длившейся еще около часа, пьют вино. Затем Альбрехт велит Хиршману сильно стукнуть в дверь, чтобы все отправлялись спать, поскольку и сам герцог тоже желает в постель и не в состоянии более бороться со сном.

Не успели еще придворные разойтись, как герцог доверительно жалуется камергеру Агацу Найдекеру и Хиршману, что съел сегодня много кизилу, принесенного ему келлермейстером<sup>37</sup>, и оттого его теперь пучит. Он посещает "комнатку" (stubl), а затем не раздеваясь ложится на незастеленную кровать и тотчас засыпает. Судя по описанию рассказчика, в княжеской спальне поставлены три кровати – для герцога, его камергера Найдекера и привратника Хиршмана. (Последняя должна была по обычаю времени стоять недалеко от порога спальни.) Правда, выясняется, что принадлежность этих кроватей, за исключением герцогской, довольно условна. Так, Альбрехт засыпает, улегшись прямо в одежде на кровать своего камергера...

Найдекер, стоявший в придворной иерархии явно выше Хиршмана, велит последнему запереть все двери – повеление в сущности излишнее, поскольку привратник и без того хорошо знает свои обязанности. Посидев немного вместе в спальне, недалеко от громко храпящего герцога, Найдекер и Хиршман раздеваются и собираются лечь. Но в эту минуту Альбрехт вдруг просыпается и просит зажечь огонь. При свете свечи вид лежащего герцога пугает приближенных: его лицо бледно и покрыто крупными каплями пота. "Что случилось с вами, почему вы так бледны?" – задают они "в страхе" Альбрехту вообще-то беспредметный вопрос, выдающий их удивление, тревогу и растерянность. "У меня был приступ лихорадки, но теперь уже лучше", – произносит в ответ эрцгерцог и велит, чтобы ему на нынешнюю ночь застелили кровать Найдекера. Сам же камергер пускай ложится в кровать Хиршмана вместе с ее хозяином, но обоим следует быть начеку – вдруг герцогу что-нибудь да понадобится (34).

Пока эрцгерцогу застилали кровать Найдекера, Альбрехт вышел в горницу ("in die stuben"), где ждал, сидя в кресле. Когда все было готово, он тотчас поднялся и начал было идти обратно, но в то же мгновение его внезапно стало рвать. "Мы страшно испугались и побежали к нему", – пишет Хиршман. Он сам стал поддерживать голову герцога, в то время как Найдекер обхватил Альбрехта за туловище. Приступ миновал, эрцгерцогу сразу стало намного лучше, он сам дошел до кровати, разделся, улегся и тепло укрылся. Князь повеселел и заверил, что теперь чувствует себя совершенно выздоровевшим. Легли и оба придворных. Прошло примерно полчаса, как

Альбрехт вдруг опять проснулся, и тотчас же его снова вырвало. Когда полегчало, эригерцог встал, сказав, что хочет перелесть в свою собственную кровать. Со смехом он позволил себе прокомментировать только что произошедшее: "Во мне еще оставалось немного блевотины, но теперь она вышла, и я вполне исцелен. Видите, я вполне могу сам себя лечить – не беспокойтесь особенно!"<sup>38</sup> Теперь герцог пожелал, чтобы придворные перелегли в кровать Найдекера, которую он только что оставил. Перестилать ее не стали: Найдекер и Хиршман улеглись на насквозь пропитавшиеся потом герцога простыни ("in den schwaysz, als er dann vast geschwitz hatt") (34). Наверное, и второй постель тоже была запачкана.

Часа два все спали спокойно. Но потом Альбрехт снова проснулся и разбудил обоих придворных. Хиршман поспешил к нему на помощь, но герцогу всего лишь требовался его шлафрок – "прогуляться" (ain weyl hin und her gen). Подав халат, Хиршман уселся в полудреме на ларь со свечой в руке. Герцог же подошел поближе к печи, распахнул шлафрок и правой рукой стал щупать себя под левым предплечьем. "Взгляни-ка, мой Ханс, какая здоровенная шишка выскочила у меня под мышкой!" Хиршман увидел, что "шишка" была размерами с грецкий орех и притом кроваво-черного цвета. Тут он "так страшно перепугался, что не знал, что и сказать"<sup>39</sup>, но высказал-таки мысль более чем здравую и своевременную: "О, государь, прикажите мне сходить за врачом и цирюльником и чтобы их к вам пропустили!" Слова привратника вызвали, однако, герцогский гнев. "Что ты здесь тоску наводишь?! Это только легкое недомогание! Ты же прекрасно знаешь, что у меня побаливает правая рука с тех пор, как на турнире во Фрайбурге я упал на деревянное ограждение. Это только недомогание и ничего более. Не пугайся!" Хиршман не стеснялся, а произнес с почтительной настойчивостью и тревогой: "Милостивый государь, но ведь *это* сейчас у вас под *левой* рукой!" "Просто я лежал сейчас на левой руке, потому-то туда и отдало". "Так не бывает", – твердил свое Хиршман. "Дорогой, это бывает то с одной стороны, то с другой". Герцог немного походил по спальне и лег, но теперь уже в кровати Хиршмана, и проспал с час.

30 ноября, в среду, в день св. Андрея, Альбрехт проснулся около пяти часов. Он встал и стал ходить по спальне взад и вперед. Найдекер с Хиршманом почтительно спросили, не прикажет ли государь послать за врачом. "Вы хотите послать за врачом? Зачем он мне нужен?" И тут в первый и последний раз в разговорах эригерцога с его людьми в пересказе Хиршмана прямо затрагивается тема из области большой политики (в скрытом виде политика, конечно же, "разлита" по всему повествованию Хиршмана): "Если увидят, как ко мне идет врач, то тотчас решат, что я захворал. А если это дойдет до Нойштадта, то сильно повредит переговорам между мной и Его императорским величеством". Найдекер и Хиршман возразили, что еще темно

и не составляет труда привести врача в замок и вывести его оттуда прежде, чем рассветет. Тут герцог наконец пошел на уступки: "Очень хорошо, дорогие, прикажите Йоргу фон Штайну и фогту подняться и прийти ко мне". Будить обоих придворных отправился Хиршман Георг фон Штайн некогда был канцлером Альбрехта<sup>40</sup>, а после недавнего увольнения влиятельнейших людей герцога остался, очевидно, самым доверенным его советником. Кого именно Хиршман называет фогтом, не вполне ясно, но этот человек, без сомнения, также относился к ближнему кругу придворных. Именно этого фогта герцог отправил в город за уже упоминавшимся в самом начале рассказа врачом Михелем Пуффом.

Михель Пуфф из Шрика (ок. 1400–1473) был в свое время известнейшим венским врачом<sup>41</sup>. К тому раннему ноябрьскому утру, когда его поднял с постели и повел в Хофбург посланец заболевшего эрцгерцога, Пуфф уже ровно три десятка лет с честью носил звание доктора медицины. За свою долгую жизнь он 11 раз избирался деканом медицинского факультета Венского университета – в первый раз еще в 1435 г., а в последний – всего за три года до своей смерти – в 1470 г. Этот врач черпал свои знания не из одних лишь книг – он много занимался анатомией и в 1452 г. даже провел (впервые в Вене!) вскрытие женского трупа. От Пуффа остался и ряд ученых трудов, по большей части, впрочем, малооригинальных. Потомки отзывались о нем с глубоким почтением как об опытнейшем враче (*aller erfarnisten mann der artzney doctor Schrick*), особенно в связи с его трактатом о спиртах, выдержавшим только до 1500 г. девять изданий. Но сходное же уважение питали к нему и современники. Как раз в 1463 г. в актах медицинского факультета Михель Пуфф назван *doctor medicinae famosissimus necnon civis Wiennensis peritissimus*. Но, несмотря на все перечисленные достоинства Пуффа, Найдекер и Хиршман всячески советовали эрцгерцогу не прибегать к его услугам. В квалификации доктора они, похоже, не сомневались, но вот его политические взгляды им совсем не нравились. По их мнению, Пуфф всегда был "кайзерцем" (*kaiser*), т. е. верным сторонником Фридриха III (36).

Приближенные эрцгерцога предпочли бы позвать Иоганна Кирххаймера (ок. 1415–1468), уже неоднократно доказывавшего делом свою полную преданность Альбрехту<sup>42</sup>. Большого сторонника эрцгерцога в медицинском мире, действительно, трудно было сместить. Кирххаймер в августе 1461 г. лично арестовывал венский городской совет, смещал верного императору бургомистра и помогал ставить своего доброго приятеля-скототорговца Хольцера новым главой города – и все это от имени эрцгерцога. С того же времени Кирххаймер сам заседал в городском совете, который ему, впрочем, предстоит покинуть сразу же после кончины Альбрехта. Этот импульсивный шваб с явно не вполне уравновешенным и склонным за-

рактором часто портил отношения с коллегами по медицинскому факультету, хотя, тем не менее, избирался трижды в 1454, 1458 и 1461 г. деканом. Хиршман и Найдекер весьма лестно характеризовали Кирххаймера как "самого знаменитого врача в Вене" (*der wertümtest arczat in Wien*) (37), однако о нем сохранились и отзывы недоброжелателей, именовавших его то площадным лекарем, то телячьим доктором. Похоже, такие выпады не прошли бесследно для репутации Кирххаймера. Если Михель Пуфф вполне добропорядочно окончил свои дни и был погребен не где-нибудь, а в соборе св. Стефана, то Кирххаймер, чьи дела явно шли под гору, счел за благо в 1464 г. бежать из Вены в Буду, спасаясь от кредиторов.

Уговоры придворных на князя не подействовали. Поставленный перед выбором между политически лояльным доктором и более признанным специалистом, Альбрехт предпочел последнего. Очевидно, он был полностью уверен, что для этого медика профессиональная этика несравненно важнее любых партийных пристрастий. Так что на рассвете 30 ноября в Хофбург пришел Михель Пуфф – "славный старый малый" (*ein gutter alter man*) по характеристике самого эрцгерцога (37).

Врача герцог встретил бодро, как старого знакомого, со смешком и словами: "Ну вот, магистр, я все же вам достался!" Михель Пуфф первым делом пощупал пульс и заметил, что он в норме, хотя предположил, что герцог этой ночью спал мало. Альбрехт стал говорить о ночных событиях, но кое о чем умалчивая, что заставило вмешаться Хиршмана. "Милостивый государь, разве вы не хотите рассказать о шишке под мышкой?" "Что? Под мышкой?" "Да!" Герцог, кажется, несколько смущенно признался доктору: "Ах да, есть у меня один легкий недуг, я ощущаю его время от времени. Этот дурак говорит именно о нем, но ему мерещится, что тут нечто иное. На самом деле я однажды на турнире во Фрайбурге просто упал с коня и ударился о деревянный столб". "И все-таки покажите это, милостивый государь", – настаивал Хиршман. Герцогу пришлось уступить. Когда же врач попытался прощупать вздутие, твердое оно или мягкое, больной закричал: "Больно! Больно! Мне от этого очень больно!" Только сейчас выдержка отказала Альбрехту, и своим криком он как бы сделал первую уступку своей хвори. Наверное, стыдясь проявленной слабости, он тотчас же добавил в своем обычном тоне: "Это, вправду, ерунда, небольшое расстройство и ничего иного" (37).

Врач закончил осмотр, но каковы были его выводы и рекомендации, Хиршман не сообщает. Судя по последующим намекам, Пуфф, вероятно, сказал, что поводов для особого беспокойства не видит и что герцог здоровее Хиршмана. Доктор собирался откланяться, даже не дав указаний относительно диеты больного. Но кухенмейстер не позволил врачу уйти просто так, спросив, чем же ему теперь кормить эрцгерцога. Судя по этому вопросу, придворные



Альбрехта в тот момент полагали, что у их сеньора сильное расстройство желудка. Михель Пуфф посоветовал появившемуся повару сварить из хорошего каплуна бульон, приправив его специями. Часов в восемь или девять Альбрехту следует выпить бульон как можно более горячим и отведать вдобавок немного куриного мяса. Все было так и сделано, и приближенным герцога, в том числе и Хиршману, также пришлось есть на завтрак вареную курятину, запивая ее бульоном<sup>43</sup>. Столь возжеленная многими редкая привилегия питаться за одним столом с государем имела, оказывается, и темную сторону: диета, предписанная князю, автоматически распространялась и на всех его сотрапезников. Горячий бульон "из хорошего каплуна" был последним, что довелось отведать в своей жизни эрцгерцогу Альбрехту...

День прошел спокойно, если не считать того, что герцог расхаживал по своим покоям взад и вперед. Вечером снова пришел врач, вторично осмотрел эрцгерцога и объявил свой диагноз, впрочем, и без того уже всем понятный: Альбрехт съел слишком много кизила, что и вызвало раздражение. Необходимо воздержаться от еды день или два, пока рвота не прекратится. Пуфф ушел, пообещав заглянуть на следующее утро (38).

Герцог приказал "нам, привратникам, и другим дворянам" никого чужого в замок не впускать и отправился спать. Ночью он вставал довольно часто, но никаких драматических эпизодов Хиршман не приводит, хотя он и "сторожил" Альбрехта всю ночь напролет (в частности, для того, чтобы собирать по повелению врача мочу больного – об этом, впрочем, Хиршман забыл здесь написать).

1 декабря, в четверг, доктор заходил трижды: утром, в полдень и в четыре часа. Круг лиц, знавших о болезни герцога, оставался очень узким. Хиршман говорит, что к больному герцогу днем и ночью допускались, помимо него самого и Найдекера, старший шенк, кухенмейстер, некто Вургенвайн и кто-то еще. Эти приближенные то входили в герцогские покои, то выходили из них для того, очевидно, чтобы непривычное затишье в комнатах всегда деятельного и энергичного князя не наводило остальных придворных на нежелательные мысли. Кроме этих людей, Йорга фон Штайна и фогта, в курсе дела были еще четверо, включая герцогского цирюльника (он же банщик) и повара ("мастера Томаса"). При всяком появлении врача эрцгерцог вызывал к себе Йорга фон Штайна и кухенмейстера.

Рвота у Альбрехта, надо полагать, совсем прекратилась, и Михель Пуфф во время своего полуденного визита обещал достать у аптекаря лекарство, чтобы удалить вздутие, если оно не исчезнет само собой. За изготовление целебной мази из трав аптекарь должен был взяться тут же, поскольку уже в четыре часа дня Пуфф принес ее с собой и стал показывать цирюльнику, как губкой наносить это средство на тело больного. Хиршман запомнил, что мазать надо было от

“шишки” под мышкой вниз до левого соска, но не далее. Этих процедур Пуффу показалось мало, и он принес от того же аптекаря еще и териак<sup>44</sup>. Врач посыпал вздутие териакom и долго (но, очевидно, очень осторожно – ведь герцог на боль в этот раз не пожаловался) втирал его. Тут снова подал голос Хиршман, с самого начала относившийся к Пуффу, как уже говорилось, с предубеждением. “Милостивый государь, – обратился он, что характерно, не к врачу, а к герцогу, – мне это кажется странным. Я часто видел, как териак сыпали вокруг пораженного места, но ни в коем случае не прямо на него, потому что в этом случае он может ударить прямо в сердце”. “Помолчи, дурак, – прикрикнул на своего привратника эрцгерцог. – Он понимает в этом деле больше твоего, и позволь ему делать так, как считает нужным”. Если принять во внимание, что Михель Пуфф написал трактат о териакe, включившись в ученую дискуссию о действии этого средства, реплика герцога была вполне уместной. Усмехнулся и врач: “Милостивый государь, он может сказать ровно столько, сколько знает. А он об этом не знает совершенно ничего”. Хиршман хотел возразить, однако герцог приказал ему помалкивать (39).

Врач велел смазывать шишку териакom и далее, по мере его высыхания, и обещал прислать слабительного, которое герцогу надо будет принять около полуночи. Вместе с калом герцога покинет и его болезнь. Повару были даны подробные указания, в каком виде следует подать слабительное больному, чтобы оно “не вышло из него обратно верхом”. Утром врач, похоже, собирался навещать уже не больного, а выздоравливающего.

Однако с той самой минуты, как шишка была помазана териакom, герцог потерял всякий покой. Чем дальше, тем больше он стал жаловаться на сердце. Всю ночь напролет Альбрехт не находил себе места. Но вместе с тем он пытался как-то отвлечься от того, что его беспокоило, старался казаться в хорошем расположении духа и всячески натравливал Найдекера и других придворных на, надо полагать, порядком уставшего Хиршмана, чтобы не давать тому уснуть. Придворные старались всюю и издевались над Хиршманом к его догаде, как только могли, чтобы рассмешить своего господина. И Альбрехт смеялся<sup>45</sup>...

В пятницу 2 декабря между четырьмя и пятью часами утра герцог сам разбудил Хиршмана словами: “Вставай, мой Ханс, что ты так долго спишь?” Хиршман поднялся и первым делом осведомился, как подействовало на герцога слабительное. Тот ответил, что стул у него был трижды за ночь. Следующие вопросы заботливого служителя были о пресловутом вздутии: “Не намазывал ли его цирюльник лекарством неправильно, заходя за сосок? Или, может быть, шишка после стула вовсе исчезла?” Однако шишка осталась без изменений на своем прежнем месте. “Мне все-таки следовало поступить по твоему совету и велеть посыпать териакom только кругом, чтобы вы-

лечить ее, но бог даст, все обойдется и так". Сомнения и во враче, и в собственной судьбе явно начали обуревать дотоле мужественно державшегося герцога. Альбрехт снова стал ходить взад и вперед и вопреки собственным оптимистическим словам попросил Хиршмана прислать священника с переносным алтарем, чтобы тот отслужил мессу (40). В Хофбурге, естественно, была капелла, но вход в нее вел, надо полагать, не с третьего этажа, и герцог, очевидно, уже настолько ослабел, что путь по крутым лестницам и длинным коридорам представлялся ему неодолимым. Возможно, именно тогда Хиршман или Найдекер срочно отправили брата кухенмейстера привести доктора (39).

Посылать за священником в город, вероятно, не было необходимости, поскольку он мог быть в самом замке, при герцогском дворе. Впрочем, завеса секретности над болезнью князя уже приподнялась. На мессе в "горнице" собралось "много народу" (*vnd was vil volcks da inpen*). Чем больше людей молилось "во исцеление", тем выше были шансы, что молитва будет услышана – вероятно, именно это соображение заставило приближенных и самого Альбрехта забыть о недавних "политических предосторожностях". Дослушивал мессу герцог уже прилежни, не раздеваясь, на кровать Хиршмана. Как уже говорилось, привратнику следовало спать около двери, так что именно с этой кровати князю было лучше всего видно, что происходит за порогом – в горнице. Чувствовал себя Альбрехт все хуже, и Найдекер с Хиршманом время от времени принимались растирать ему кисти рук и ступни.

Во время литургии в комнате появился Пуфф и благочестиво преклонил колени. После окончания службы он и Йорг фон Штайн подошли к больному. Врач, пощупав пульс, спросил, как действовало его лекарство и каково было герцогу ночью. Альберт ответил, что худшей ночи не припомнит за всю свою жизнь и что он никогда еще не был так болен. Это вызвано, наверное, тем, что доктор посыпал териак непосредственно на вздутие. Врач, похоже, возражать больному не стал, но пожелал взглянуть на его мочу. Банки с "первой" и "последней" порциями мочи герцога подал все тот же Хиршман. Пуфф и фон Штайн отошли, взяв свечи, к печи, где долго рассматривали мочу и тихо переговаривались. Тут Альбрехт обратился к Хиршману: "Дорогой, подкрадись к ним, подслушай, о чем они говорят, и скажи мне потом" (41). Хиршман так и сделал, но собеседники общались на латыни. Единственная фраза на немецком была: "а моча-то пожиже, чем вчера". Тут Хиршман не выдержал и буркнул: "Еще бы не пожиже – ведь он со среды ничегошеньки не ел". Хиршман вернулся к своему господину и рассказал ему то, что мог. "Помоги встать, мне нужно облегчиться". Хиршман обхватил герцога, повел его в "камеру", где усадил на стульчак. Вслед за герцогом туда же отправились и все остальные, бывшие в спальне. Найдекер и фогт

стали по обеим сторонам от сидевшего эрцгерцога и поддерживали его. Пуфф и фон Штайн продолжали стоять в спальне – теперь у стола – и переговариваться на латыни. Хиршман со свечой в руке стоял прямо перед Альбрехтом. Когда испражнение началось, лицо герцога страшно искривилось, ужасно побледнев, он заревел, как вол, и с такой силой сцпил зубы, что челюсти ему пришлось потом разжимать силой<sup>46</sup>. Хиршман стал звать врача и спрашивать его, что это, столь ужасное, происходит с его господином. Пуфф не считал нужным говорить пространно: “Он испражняется, и это лишает его сил. Подложите теперь ему что-нибудь под ноги, чтобы он не стоял босым прямо на полу!” Подложили бумагу, наверно, писчую, взятую с упоминавшегося стола, а значит по несколько листов или по тонкой стопке под каждую ступню герцога (41).

В эту минуту нервы у Хиршмана окончательно сдали. Теперь он обращался уже не к врачу, а к Йоргу фон Штайну: “Я хорошо вижу, каково моему господину! Боюсь, он умрет! Я хочу разбудить камергеров. Они просили меня о том, чтобы я их будил, если он так заболеет”. Тут Хиршман дал волю слезам, отпер спальню, повелел кому-то открыть все двери и пошел будить камергеров, спавших двумя этажами ниже, где, кстати, была комнатка и самого Хиршмана. Камергеры быстро взбегали наверх. Хиршман будит также прочих придворных и своего собственного слугу (meinen buoben). Последнего он отправляет за герцогскими гонцами, ночевавшими в одной из башен замка. Они появились очень скоро, и Хиршман разослал их по герцогским советникам (räten) и прочим знатным австрийским господам (lantherren), бывшим тогда в Вене, с призывом поскорее прибыть в замок. Оказывается, они когда-то успели попросить Хиршмана дать им знать, если болезнь эрцгерцога примет серьезный оборот.

Когда после всех этих хлопот привратник снова поднялся в герцогскую спальню, Альбрехта уже отвели обратно на кровать Хиршмана; но не успел тот приблизиться, как эрцгерцог произнес: “Мой Ханс, помоги мне снова встать, мне опять нужно облегчиться”. Хиршман не мог один поднять герцога с кровати, к тому же он так неловко обхватил больного под мышкой, задев, очевидно, “шишку”, что Альбрехт громко вскрикнул. Хиршман позвал “дворян”, чтобы те помогли ему. Новое очищение кишечника стоило герцогу таких же страшных мучений, что и в прошлый раз. Назад к постели его пришлось уже нести на руках. Говорить герцог теперь толком не мог, и лишь твердил бесконечно: “Господин Йорг, господин Йорг!” Того позвали, дабы герцог мог ему что-то сказать. Йорг фон Штайн встал на колени перед постелью и, приблизив свое лицо вплотную к лицу герцога, спросил: “Что вам угодно, милостивый государь?” Но тот уже не был в состоянии говорить и лишь повторял вновь и вновь – раз пятнадцать кряду: “Господин Йорг, господин Йорг!” Фон Штайн

взял свечу у Хиршмана и поднес к лицу герцога, заглянув ему сначала в рот, а потом в глаза. Тотчас же он резко, как в испуге, опустил свечу и упал на скамью, обливаясь слезами, бия себя кулаком по лбу и вскрикивая: "О, мой благочестивый государы!" Дворяне немедленно сказали ему, чтобы он или перестал кричать, или же ушел, но не досаждал герцогу в его болезни. Йорг вышел в горницу и там ревел так громко, что дверь за ним пришлось плотно закрыть (43).

Со своего места поднялся кухенмейстер и стал, надо полагать, в великом волнении допытываться у врача: "Дорогой господин, что же это с моим государем? Вы говорили, что он обессилел, ну так дайте же ему чего-нибудь, чтобы к нему снова вернулись силы!" "Да что я могу ему дать? У меня и нет ничего, — ответил Пуфф и добавил: — Ничего, кроме разве розовой воды". Врач смочил розовой водой виски и лоб больного. Несколько капель скатились прямо в раскрытые глаза герцога, но он никак не отреагировал, что привело Хиршмана в ужас.

Спустя некоторое время пришел черед фогта побеспокоить вопросом врача: "Дорогой господин, почему же это не помогает и не придает ему сил?" Пуфф ответил тотчас, хотя и лаконично: "Все решено". Смысл этих слов не сразу дошел до Хиршмана. Лишь после паузы он потребовал уточнения: "Что это вы имеете в виду, дорогой магистр Михель?" "Он дернется и затем умрет". Тут Хиршман не смог с собой совладать: "Эй, вы, чтоб вас раз так! Не вы ли говорили, что он здоровее меня и что у него все в порядке?" Пуфф не нашелся, что ответить, и совсем сник. Секретарь доктора (sein schreiber), тоже бывший в комнате, потихоньку потянул его за край плаща через дверь вон из спальни. Но Хиршман побежал за ними до следующей двери, крича: "Эй, помилуй Бог! Хорошо же вы позаботились о нашем благочестивом господине! Ты — мерзкий злодей и убийца!" От таких слов и врач, и секретарь чуть не бегом поспешили к замковым воротам.

Хиршман вернулся к ложу своего господина и опустился перед ним на колени, как стоял и перед тем. Но теперь он вложил в руку эрцгерцогу зажженную свечу и держал ее так до самого конца. Священник и "дворяне" еще пытались обращаться с какими-то словами к умирающему... (44).

Когда герцог скончался, в спальню вошли его советники и знатные господа, вероятно, уже давно ждавшие за дверью. "И была великая скорбь среди нас всех"<sup>47</sup>. Немного спустя Хиршман сказал Найдекеру: "Дорогой, давай проследим, чтобы все вещи отправить в кладовую (kammer), и не дадим ничему пропасть. Заприте там все и держите ключ при себе или же отдайте его советникам". Оба стали убирать вещи покойного. Не успели они закончить этого дела, как к ним подошли советники с вопросом: "У кого ключи от кладовой?" Найдекер отдал ключи, а те заперли и опечатали "камеру". Когда они

еще только приступали к этому делу, Хиршман взял доспех герцога (очевидно, он хранился на всякий неожиданный случай у герцога под рукой – в укромном углу спальни) и хотел его тоже убрать в кладовую, но один из советников сказал ему: “Мой Ханс, унеси его вниз и возьми себе, ты заслужил это в память о моем господине”. Хиршман не захотел забирать доспех и положил его на кровать (вероятно, герцогскую), откуда тот потом куда-то бесследно исчез.

Дальше герцогские советники сказали Хиршману и Найдекеру: “Дорогие собратья (*liben gesellen*), все что тут ваше – выносите наружу, потому что здесь надо запираить”. Хиршман забрал из спальни четыре предмета: венгерский белый войлочный кафтан, маленькую соболью шапку, шелковый ночной колпак и красный бархатный пояс с кошельком. Эти вещи Хиршман вполне официально (*offenlich*) предъявил советникам, сказав, что кафтан и колпак ему отдал его господин. Пояс с кошельком проиграла герцогу в карты супруга одного рыцаря, и теперь надо ей этот пояс вернуть (что Хиршман, по его словам, впоследствии и сделал). Про соболью шапку Хиршман не сказал ничего – ее он взял, очевидно, “просто” на память о покойном. Советники разрешили Хиршману все это забрать с собой, правда, его собственное постельное белье, пропитанное потом спавшего на нем больного герцога, осталось в спальне и было там заперто.

Не успел Хиршман спуститься вниз в свою “комнатку” (*in mein stublin*) и прилечь, как явился упоминавшийся мельком Вургенвайн со словами: “О, эти проклятые низкие злодеи! Этот господин Йорг фон Штайн и фогт – они вместе извели нашего государя и сбежали!” Хиршман пришел в ужас: “Ах, дорогой, да правда ли это?” “Да, конечно же! Потому-то они и сбежали, проклятые, низкие злодеи!” Так в первый раз Хиршман услышал версию о том, что герцог стал жертвой преступления. Привратник вместе с Вургенвайном спустился во двор замка, где последний громко повторял перед всеми придворными (*hofleuten*) то, что минуту назад услышал от него Хиршман. Через несколько часов о Йорге фон Штайне как отравителе говорили “везде” (*uberall*).

На следующий день после смерти эрцгерцога советники и знатные господа вызвали в замок всех докторов медицинского факультета, чтобы они установили, от чего скончался Альбрехт и не был ли он, действительно, отравлен, о чем упорно твердила молва. Когда врачи собрались во дворе замка, их встретили там двое прелатов, двое земских господ, двое советников и двое представителей “общины”<sup>48</sup>. Господа и советники пригласили врачей осмотреть тело. Именно тогда доктор Михель Пуфф отвел медиков в сторону и предупредил их о том, что тело покойного и его одежда представляют страшную опасность.

В отношении этих слов доктора Хиршман впоследствии был настроен весьма скептически. По его словам, халат, в котором умер

эрцгерцог, унес было к себе один из служителей герцога, но затем советник покойного Эрхард Тосс так захотел получить этот шлафрок, что купил его за много гульденов. Главное же, что он потом его часто и подолгу носил без всяких для себя последствий. Точно так же и рубаха, и кафтан, в которые было обряжено тело герцога и в которых оно лежало четыре дня до похорон, забрал себе домой пономарь (возможно, в качестве традиционной платы за труды). Кафтан он не менее трех часов носил на себе. Хиршман слышал, что Мартин Найдекер купил и то, и другое у пономаря за 15 дукатов, и уж по крайней мере рубаху он потом нашивал часто. Да и сам Хиршман нередко надевал тот шелковый ночной колпак, что был на герцоге в его последние часы. Колпак этот даже немного запачкался, когда Альбрехта рвало в последний раз. И ничего, все живы, страшные угрозы врача Пуффа не оправдались! (51).

Между строк рассказа Хиршмана прочитывается вопрос: если “санитарные” меры, предложенные Пуффом, были совершенно излишни, то по какой причине врач настаивал на столь бесславном и бесследном уничтожении трупа герцога, на унижительном погребении, которое, помимо прочего, не позволило бы организовать и позже достойного регулярного поминовения души покойного? Было это очередной ошибкой Пуффа или же своеобразным выражением его политических пристрастий? Не проявилось ли в подозрительном требовании Пуффа немедленно уничтожить природное тело Альбрехта желание уничтожить бесследно “политическое тело” эрцгерцога и самую память о нем<sup>49</sup>? А может, Пуфф говорил метафорами, и зараза, угрожавшая, по его словам, всей Вене, была на самом деле чумой взаимного смертоубийства, погребенной вместе с телом беспокойного, чересчур воинственного герцога?

Совсем иного рода вопрос вызывают мотивы поведения людей, разобравших одеяния покойного герцога и пользовавшихся ими, – какими культурными стереотипами они при этом руководствовались? Личные вещи умершего, действительно, с давних пор нередко доставались его служителям – в качестве символической оплаты за их труды. Одежда, бывшая на человеке в момент смерти, или же белье с его смертного одра (иногда и сама кровать) часто переходили к тем, кто готовил к погребению его тело, кроме того, что-то могли отдавать пономарю или могильщикам. Многие верили, что “вещи мертвеца” имеют не только материальную ценность, но служат оберегами и обладают целительными свойствами<sup>50</sup>, а потому стремились заполучить их себе. В нашем случае не только простые придворные, но даже и весьма высокопоставленные лица добиваются за немалые деньги отдельных предметов последнего одеяния герцога – может быть, чтобы через них приобщиться к его харизме?

4 декабря, в воскресенье, Хиршмана вызвала к себе маркграфиня Катарина. По свидетельству современника, она страшно убива-

дась, узнав о неожиданной смерти брата<sup>51</sup>, но с привратником Альбрехта говорила ясно и строго. Маркграфиня спросила, правда или нет то, что повсюду говорят о господине Йорге. Вопрос этот она задавала Хиршману несколько раз кряду, зная, по ее словам, что привратник был у покойного весьма доверенным лицом (*gehaim gewesen was*). Хиршман рассказал примерно то же самое, что он впоследствии записал. Выслушав его, маркграфиня несколько смягчила тон: "Любезный сын, после того как я расспросила всех остальных, бывших при том, я вижу, что ты говоришь то же самое, и притом подробнее других". Маркграфиня предложила ему навсегда остаться при ее дворе и обещала впоследствии представить своему мужу. Хиршман согласился и вплоть до "тридцатого дня" после кончины Альбрехта оставался у нее, "ел вместе с гофмейстером и фрейлинами" и время от времени отправлялся с поручениями Катарины или ее гофмейстера к советникам Альбрехта и "земским господам" (46).

В те же дни маркграфиня в присутствии своих советников допрашивала и Михеля Пуффа. Тот высказался на этот раз совершенно не так, как сразу после смерти эрцгерцога. У Альбрехта, по его словам, была некая "внутренняя болезнь" (*inwendeg krankheit*), и "влага" (?) (*der tropff*) ударила его с одной стороны в другую, спускаясь все ниже и ниже. А при последнем испражнении герцога она ударила его еще и в язык, отчего он больше не был в состоянии разговаривать. Катарина спросила тогда же у Хиршмана, так ли дело было на самом деле или нет? Хиршман ответил, что не знает, потому что ничего в словах доктора не понял, а все, что мог, он уже рассказал. Тогда советники маркграфини сказали, что вполне доверяют его показаниям и вместе с их милостивой госпожой не верят, что господин Йорг совершенно не виновен в случившемся<sup>52</sup>.

\*\*\*

Повествование Хиршмана отнюдь не столь прозрачно и просто-душно, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что время от времени какие-то ситуации по ходу рассказа выпускаются и лишь позже всплывают намеки на них, как и забытые в свое время реплики. (Так, приходится лишь задним числом реконструировать диалог Хиршмана с Михелем Пуффом в один из первых дней болезни на основании их последнего разговора.) Автор занимает очень неясную позицию по главному вопросу: был ли отравлен эрцгерцог Альбрехт?

С одной стороны, ничего явно предосудительного про Йорга фон Штайна рассказчик не сообщает. Лишь заранее уверив себя в том, что Йорг – отравитель, можно, скажем, усмотреть во вспышке его отчаяния при виде умирающего Альбрехта приступ раскаяния в содеянном преступлении. (Но тогда и многословные lamentации маркграфини могут быть при желании истолкованы против нее.)



Фантазия читателя в состоянии увлечь и еще дальше: герцог в предсмертном бреду постоянно повторял имя Йорга. Звал ли он попросту верного советника или, может быть, с мистической прозорливостью человека на пороге смерти указывал на своего убийцу? Однако фантазия – не улика.

С другой стороны, маркграфиня и ее советники вроде бы опираются именно на показания Хиршмана, когда оставляют в силе свои подозрения насчет бежавшего Йорга. Похоже, что в своем рукописном рассказе автор записок изменил какие-то акценты и выпустил некие “полуулики” (возможно, ранее не осознававшиеся им как таковые), т. е. обстоятельства, свидетельствовавшие не в пользу главного обвиняемого.

Наконец, с третьей стороны, автор вовсе не склонен считать все произошедшее случайным ударом судьбы и, судя по всему, не убежден, что герцог умер вполне естественной смертью. Образ знаменитого Михеля Пуффа получается под пером Хиршмана весьма подозрительным и малосимпатичным. В лучшем случае он – плохой лекарь, то и дело совершающий грубейшие врачебные ошибки. Одних диагнозов он ухитрился поставить на протяжении всего нескольких дней по меньшей мере три (не говоря уже об объявлении герцога вообще здоровым): то это безобидное отравление кизилом, то страшная чума (или что-либо подобное), якобы угрожающая всему городу, то, наконец, удар или некая “внутренняя болезнь”, в туманных выражениях описывавшаяся врачом маркграфине. В худшем случае Пуфф в описании Хиршмана сознательно занимался изведением своего пациента и был одним из главных преступников. И не случайно же “объективный” автор между делом упоминает то “кайзерские” симпатии Пуффа, а то и столь не лежащий на поверхности факт, что и Пуфф, и аптекарь, изготавливавшие как злополучную мазь из трав, так и териак, оказывается, были свояками четвертованного изменника Вольфганга Хольцера, и “поэтому мы испытывали в отношении них беспокойство” (Dagum hatten wier sorg auff si) (38). Лекарь с самого начала очень подозрителен Хиршману, и обвинение его в убийстве эрцгерцога однажды даже срывается с уст потерявшего от горя голову привратника. Зовет Михеля Пуффа ко двору “фогт” – и это единственная ниточка, которая в рассказе Хиршмана может вести к Йоргу фон Штайну: и фогт и “господин Йорг” исчезли одновременно. Однако выбор врача принадлежал не фогту (он был только *посыльным*), а князю лично – об этом Хиршман говорит вполне ясно (36). Подводя итоги, можно сказать, что *письменные* показания Хиршмана свидетельствуют скорее в пользу Йорга фон Штайна и против Михеля Пуффа, хотя допрашивавшие Ханса сразу по горячим следам советники маркграфини пришли на основании его *устных* ответов почему-то к прямо противоположным выводам. Никто не начинает следствия против Пуффа и, кажется, даже не допраши-

вает аптекаря, хотя слова Хиршмана, похоже, дают все основания как для того, так и для другого.

При знакомстве с вроде бы безыскусным рассказом Хиршмана читателю становится очевидно, что более преданного эрцгерцогу человека, нежели его привратник, не было. Вполне возможно, что дело так и обстояло, но разве не ближайшие к высокой особе лица естественно подпадают под подозрение во всех историях с отравлениями? Хиршман был безусловно весьма доверенным лицом у эрцгерцога – об этом свидетельствуют не только слова маркграфини Катарины<sup>53</sup>, но и само еженощное присутствие Хиршмана в герцогской спальне. А вот злополучный кизил Альбрехту принес не Хиршман, а келлермейстер. Да и когда готовился последний настоящий ужин для герцога, на котором, между прочим, пили вино (куда кто-то как раз и мог бы подсыпать отраву), Хиршман был в бане, да еще и не один, а со свидетелем, и появился в герцогских покоях лишь к концу трапезы.

Это замаскированное подтверждение собственной непричастности окажется вполне уместным, если учесть, что современники находили какую-то связь между “отравителем” Йоргом фон Штайном и Хиршманом. Хиршману после бегства Йорга пришлось пережить немало крайне неприятных дней на допросах у венского бургомистра. Тот требовал, чтобы Хиршман указал, куда фон Штайн скрыл свои ценности, в частности жакет с рукавами, украшенными жемчугом, и штаны, расшитые драгоценными камнями. Привратника допрашивали день за днем, несмотря на то что в Вене еще оставались слуги фон Штайна. Бургомистр был почему-то убежден, что именно Хиршману поручено переслать все эти ценности в город Штайер (47), принадлежавший “господину Йоргу”, куда беглец, очевидно, и направился. Бургомистр, разумеется, не сам дошел до мысли допрашивать по этому поводу Хиршмана – он получил подсказку, причем непосредственно от одного придворного – того самого Бургенвайна, который, между прочим, также провел все дни у постели больного герцога (38), первым известил Хиршмана о предполагаемой измене фон Штайна, а потом, похоже, решил копать дальше и обнажить все возможные корни измены. Прояви Хиршман, действительно, какую-нибудь осведомленность по поводу имущества беглеца, ему наверняка пришлось бы вскоре оправдываться и от более серьезных обвинений. Привратника и так вынудили являться в городской совет, где судья задавал собравшейся публике вопрос, нет ли здесь кого-либо, кто желал бы спросить стоящего перед всеми Хиршмана, “о смерти нашего милостивого господина, о Йорге фон Штайне или о чем бы то ни было еще?”

В беседе с маркграфиней Хиршман тоже выступает сначала вроде бы как подозреваемый – во всяком случае Катарина допускает, что его рассказ о случившемся в замке будет в чем-то расходиться

ся с показаниями других придворных – привратника проверяют. Хиршман смог выдержать это испытание, его версия удовлетворила Катарину – и это очень помогло ему в дальнейшем. Ведь если бы не покровительство маркграфини, предоставившей ему охрану, юридическую помощь (Хиршмана сопровождал “доктор” – очевидно ученый юрист) и не допустившей уже, похоже, весьма вероятного нарушения процессуальных норм в отношении его личности, Хиршману могло бы прийти весьма худо. Городской судья отпустил Хиршмана в сущности по недостатку улик, поскольку никто не осмелился открыто обвинить его в суде (не из страха ли перед маркграфиней?), но какие-то подозрения, очевидно, оставались, потому что Хиршман не чувствовал себя в безопасности и после прекращения процесса. Несмотря на официальное снятие обвинений, он счел за благо немедленно покинуть Вену, а значит и гостеприимный двор маркграфини. Хиршман едет через Нойштадт (правда, не задерживаясь там, что он особо подчеркивает) в Тироль ко двору Зигмунда, имея, надо полагать, рекомендации Катарини, но какие-то обвинения Вургенвайна, задевающие честь Хиршмана, настигают его и в Инсбруке. Вспыльчивый Зигмунд прогоняет его со своей службы, и только предъявление Хиршманом некоего нотариального акта заставляет князя снова вернуть ему свое расположение<sup>54</sup>. Именно тогда Хиршман и пишет свое сочинение, адресуя его советнику тирольского герцога, но почему-то обращаясь к читателю, как к князю: “милостивый государь”. Эти обращения показались адресату излишними, и он сделал особую пометку в конце рукописи: «Слова “милостивый государь” я сам дважды зачеркнул, потому что по отношению ко мне они неуместны». Такую похвальную скромность получателя-цензора проще всего объяснить тем, что он заказывал Хиршману записку не для своего личного пользования, а с целью передачи ее своему господину герцогу Зигмунду. Между прочим, если именно Зигмунд был подлинным заказчиком этого сочинения, то сразу же проясняется немаловажный источниковедческий вопрос, почему “отчет” Хиршмана оказался в семейном архиве Габсбургов.

Хиршман, надо полагать, тоже понимал, кто именно на самом деле побудил его к сочинительству – нельзя же в самом деле его ошибку в обращении к читателю объяснять незнанием принятых при дворах немецких князей норм обращения. Зачем этот текст был нужен Зигмунду – сказать непросто, но во всяком случае вряд ли для удовлетворения собственного любопытства – ведь Хиршман, по собственным словам, уже неоднократно рассказывал при тирольском дворе все, что знал. Зигмунду явно был нужен документ: письменные показания, которые можно было бы при случае использовать – только вот с какой целью? Между прочим, в политическом отношении смерть эрцгерцога была скорее на пользу Зигмунду, ведь в 1463 г. он был меньше всего заинтересован в том, чтобы неуравнове-

шенный Альбрехт возобновил войну против императора – тирольский князь получил уже от нее все возможные выгоды и стремился теперь к прочному замирению с Фридрихом...

О Хиршмане известно лишь то, что он сам о себе сообщает. Шваб родом, что недвусмысленно показывает его диалект, выходец, вероятно, из мелкого дворянского рода, Хиршман был в 1463 г., скорее всего, молодым человеком около 20 лет от роду, а то и моложе, хотя под собственным пером он временами становится похож на повидавшего виды и набравшегося жизненного опыта дядьку-служителя при юном господине. Намеки на относительно юный возраст автора разбросаны в тексте. Это, собственно говоря, уже и сама занимаемая им должность, и обращение к нему сорокалетней маркграфини Катарины “сын мой”, и предложение Хиршману забрать панцирь на память о покойном князе (вряд ли такой сувенир подошел бы человеку преклонных лет). Облик у Хиршмана, наверное, был вполне цвѣтушим, иначе зачем было бы врачу говорить, что герцог “здоровее Хиршмана”. О том, что Альбрехт охотно принимал в число своих ближайших служителей порой очень молодых людей, недвусмысленно свидетельствуют уже цитировавшиеся воспоминания Георга фон Эингена, ставшего лет за десять до описываемой истории в весьма юном возрасте довереннейшим камергером герцога.

Роль Хиршмана при дворе и почетна и несколько странна. С одной стороны, он в числе самых приближенных к эрцгерцогу лиц, во с другой – является и как бы его шутом. Придворные измышались над ним, чтобы повеселить своего господина, а герцог, в свою очередь, не раз использовал по отношению к привратнику обращение “дурак” (“шут”), которое, кстати, рассказчик не считает необходимым “забыть” в своих записках. В то же время у этого “дурака” есть какие-то не вполне понятные конфиденциальные соглашения с герцогскими советниками и представителями австрийской знати. Он берет на себя обязательство сообщить им, если герцог окажется при смерти. Эта договоренность успела сложиться в считанные дни болезни герцога, которую к тому же пытались от всех скрывать? Или же Хиршман давно уже знает “на всякий случай”, что он должен предпринять, если его сеньор вдруг окажется у последней черты? Надо сказать, что Хиршман вообще проявляет необычно много самостоятельности для простого привратника. Скорее от старшего рангом камергера Найдекера следовало бы ожидать, что он начнет рассылать гонцов, созывать советников, сберечь от почти ритуального разграбления вещи покойного... Но здесь следует обратить внимание еще на одно немаловажное обстоятельство. Современники говорили о том, что при дворе Альбрехта сильное влияние принадлежало некоей “швабской партии”. Именно интриги “швабов” якобы привели к тому, что импульсивный эрцгерцог вдруг прогнал своих заслуженных советников<sup>55</sup>. Найдекер к “швабской партии” никак не

может быть отнесен – его известный в австрийской истории род берет свое начало в Крайне. Однако в правдивом рассказе Хиршмана, действительно, фигурируют два шваба, относящиеся к ближайшему окружению эрцгерцога и пользующиеся его полным доверием. Первый из них – это сам автор, а второй – не кто иной, как Йорг фон Штайн. Попасть ко двору князя – дело отнюдь непростое, здесь по большей части требуется протекция родственника, сеньора, влиятельного земляка. Если допустить, что Хиршман – креатура фон Штайна, многое сразу же становится на свои места. Понятными оказываются и подозрения придворных и горожан в отношении Хиршмана, и допросы, которым его то и дело подвергали, и оправдательный тон, время от времени звучащий в записке. Легко объясняются, кстати, и та доброжелательная сдержанность, с которой Хиршман пишет о фон Штайне, и та временами неделикатная настойчивость, с которой он же направляет поиски возможного убийцы в другую сторону, указывая на врача и аптекаря...

\*\*\*

История, рассказанная нам привратником эрцгерцога, интересна отнюдь не одной лишь своей детективной стороной. В чем бы ни состояли субъективные цели сочинителя, в нее попало много тех самых “ненужных деталей”, которые, по словам Р. Барта, как раз и создают “эффект реальности” повествования<sup>56</sup> – эффект, который испытывает, наверное, любой сегодняшний читатель записки Хиршмана<sup>57</sup>. Мы как бы оказываемся в мрачноватых стенах Венского замка и в течение нескольких дней и ночей следим за жизнью герцогского двора, причем в самых драматических эпизодах сила сопереживания едва не принуждает нас принимать в ней участие.

Двор этот предстает как узкий круг лиц (характеры некоторых из них в какой-то степени удается даже почувствовать или угадать), объединенных вокруг фигуры его главы – герцога. Это сообщество несколько напоминает большую семью, хотя по сравнению с ней оказывается эфемерным – оно распадается и исчезает еще прежде того, как было предано земле тело Альбрехта. И тем не менее такое сопоставление кажется в данном случае вполне уместным – ведь приближенные эрцгерцога действительно заменяют ему семью. Альбрехт вступил в 1452 г. в брак с пфальцграфиней Мехтильдой<sup>58</sup>, овдовевшей графиней Вюртембергской, по причинам сугубо материального свойства и, похоже, так и не проникся симпатией к своей жене. Детей у этой четы никогда не было, встречались супруги весьма редко, разъехавшись вскоре после свадьбы. Последний раз они виделись за четыре с половиной года до смерти эрцгерцога на “нейтральной почве” – в Аутсбурге<sup>59</sup>. Мехтильда воспитывала сына от первого брака – будущего известного вюртембергского графа, покровительствовала гуманистам и художникам, основала университет в Тюбин-

гене. В XVI в. некоторые писатели намекали, что нравы при дворе Мехтильды отличались редкостной раскованностью, однако никаких подтверждений этим поздним и, возможно, недобросовестным слухам не обнаружено. В жизнелюбии Альбрехта, напротив, сомневаться не приходится. Он не только любил, по словам знавших его людей, "отягощать столы пирами", возвращаясь домой глубокой ночью<sup>60</sup>, но и отнюдь не чурался разнообразных любовных утех. Говорят, у него было немало амурных историй, а сохранившаяся счетная книга за 1444 г. документально свидетельствует, что Альбрехт регулярно тратил деньги на публичных женщин – "freyen" или "getainen tochter", как их именует источник<sup>61</sup>.

Возможно, что глухой намек на последний роман эрцгерцога содержится и в рассказе Хиршмана. Даже в шоке после внезапной смерти сеньора Хиршман не забывает о бархатном поясе с кошельком, который он выносит в числе немногих предметов из спальни эрцгерцога. Происхождение этого пояса автор описывает двумя рублеными фразами, вторая из которых больше похожа на вставку довольно лукавого свойства: "Его [пояс] дала ему [эрцгерцогу] супруга одного рыцаря. Его [пояс] он [эрцгерцог] у нее выиграл в карты"<sup>62</sup>. О значении пояса ничего не знают не только советники, но и камергер Найдекер, в противном случае именно ему следовало бы занять его выносом и доставкой хозяйке. Нужными сведениями располагает, очевидно, только Хиршман, бывший, как уже известно, доверенным в секретных делах (geheim) у покойного. Якобы "выигранный в карты" пояс – предмет, имеющий, между прочим, эротическую символику, – Хиршман почему-то считает необходимым вернуть бывшей владелице (разве проигранное в карты отдают обратно?) и находит для этого время в далеко не простое для него самого дни – между арестами, допросами и явками в суд. Именно дамы автор не называет, хотя в его рассказе вообще-то нелегко встретить анонимных персонажей – Хиршману важны свидетели, способные подтвердить достоверность сообщаемых сведений.

За исключением загадочного бархатного пояса, ничто не свидетельствует в рассказе Хиршмана о присутствии при дворе Альбрехта женщин, тем более о том, чтобы какие-нибудь из них участвовали в уходе за ним. Лишь во время мессы и прощания с умирающим читатель вправе на свой страх и риск предположить, что среди "многочисленного народа", собравшегося в покоях герцога, мелькали и женские фигуры. Скорее всего, и в Хофбурге не обходились вовсе без женской прислуги, но для Хиршмана она лишена всякого значения. Собственно придворные дамы – фрейлины – не могли быть в Венском замке, поскольку остались, естественно, при дворе эрцгерцогини Мехтильды. Фрейлины сопровождали в Вену маркграфиню Катарину – за одним столом с ними Хиршман будет обедать в первые недели после смерти Альбрехта, но ни одна из придворных дам

маркграфини не появляется, согласно "отчету" Хиршмана, в Хофбурге.

Более того, и сама родная сестра Альбрехта (между прочим, очень похожая на него лицом<sup>63</sup>) не показывается у постели умирающего – она внезапно узнает не о болезни, но уже о смерти брата. Хиршману почему-то даже не приходит в голову послать за Катариной скорохода тогда, когда он созывал влиятельных персон к смертному одру эрцгерцога. Возможно, здесь вновь свою роль сыграла политика, и маркграфиня воспринималась придворными эрцгерцога (вследствие отношения самого эрцгерцога, разумеется) больше как посредница в переговорах с императором, нежели как ближайшая родственница Альбрехта. Душераздирающий даже в переложении гуманистической латынью плач Катарины над телом брата, приводимый другим современником, должен вроде бы свидетельствовать о том, что для нес-то любовь к младшему из братьев была выше политических интересов.

О том же, кстати, говорит и одно сохранившееся в архиве недатированное письмо Катарины Фридриху III<sup>64</sup>. Обращаясь к "любезнейшему государю и брату", Катарина объявляет, что она страдает от тяжелейшей болезни и уже готовится оставить этот свет, приняв, как и положено христианской княгине, таинств. И хотя адресат обычно не откликался на ее просьбы, она надеется, что хотя бы эту (то есть, возможно, последнюю) он исполнит. Маркграфиня узнала от приехавшей сестры, саксонской княгини Маргареты, что тело их брата Альбрехта якобы брошено в какой-то "домишко" (или даже сарай – *in eyn hußlin*). Маркграфиня слезно молит императора ради Господа, Богоматери и чести Австрийского дома вмешаться. Слишком многие знают о конфликте между братьями и могут подумать, что такое обращение с телом эрцгерцога вызвано соответствующим распоряжением императора<sup>65</sup>.

Письмо, к сожалению, трудно датировать, не располагая подробным итинерарием обеих сестер – Катарины и Маргареты<sup>66</sup>, тем не менее из его строк и, особенно, из общего его взволнованного тона вроде бы вытекает, что Катарину трудно отнести к недоброжелателям Альбрехта, как после смерти, так, скорее всего, и при его жизни. Впрочем, и она была кровно заинтересована в том, чтобы гражданская война в Австрии не возобновлялась. Кстати, ее неожиданное отсутствие дома при визите брата несколько странно и может быть при желании истолковано как нежелание Катарины с ним встречаться. Если же принять во внимание, что в XV в. были яды, способные начать действовать не сразу, а, например, через неделю, то теоретически герцог мог быть отравлен еще на торжествах в день св. Катарины Александрийской – разумеется, если он вообще был отравлен...

Итак, двор во многом заменяет Альбрехту семью – здесь он находит необходимый набор эмоциональных контактов и в своих при-

дворных видит тот круг людей, которые должны быть с ним в минуту торжества и страдания. Запертая дверь спальни или горницы отделяет от прочего придворного мирка небольшую группу наиболее доверенных лиц, почти каждое из которых мы знаем по имени. И внутри этого, как уже говорилось, мужского сообщества устанавливаются столь тесные отношения, что их можно было бы назвать телесными: или плотскими, не влекли такие определения за собой ассоциацией эротического свойства.

Близкие герцогу люди в дни болезни – это те, кто имеет доступ к его все более слабеющему телу, причем не мистическому, “государственному”, а ко вполне природному. Найдекеру и Хиршману герцогская плоть открыта во всех своих проявлениях и известна почти как собственная. Хиршман должен знать, что случилось с телом его сеньора во Фрайбурге, он должен помнить, какая именно рука у того повреждена, рассматривать страшную “шишку”, следить за сбором порций мочи для врачебного анализа. Но ведь и собственную плоть Хиршман (точно так же, как и Найдекер или, скажем, пономарь) не воспринимает как вполне суверенную. Когда Хиршман спит в одной кровати с Найдекером, когда он укладывается “в пот” больного герцога, когда позже надевает перед сном “слегка запачканный” рвотой Альбрехта ночной колпак, он ощущает границу между собственным телом и телом своего ближнего явно иначе, чем современный европеец. Телесное существо герцога защищено лишь немногим более. Ни о какой неприкасаемости тела государя, провозглашавшейся в монархиях нового времени, в нашем случае нет и речи – по крайней мере для тех лиц, что изображены Хиршманом. Правда, при всех ночных переменах кроватей ни Хиршману, ни Найдекеру, ни обоим сразу не приходит в голову улечься на ложе Альбрехта...

Все отправления тела эрцгерцога оказываются публичными и значимыми. О каждом из них Хиршман подробно рассказывает по его собственным словам, многократно и различным людям – от сестры покойного до каких-то тирольских дворян. Оно и не мудрено: проявления телесной сущности эрцгерцога Альбрехта в последние его часы имели для Хиршмана и его слушателей самое непосредственное отношение и к политике, и к справедливости, и к истине, и к преступлению.

Вот эрцгерцог отправляется в нужник – и за ним следуют все, собравшиеся в спальне. Странная и тягостная сцена разворачивается там – своего рода инверсия торжественной репрезентации мощи государя. Вместо парадной залы – чуланчик. Вместо яркого света – единственная свеча Хиршмана. Вместо трона – стульчак, вместо торжественных облачений – шлафрок и ночной колпак. Впрочем, и тут по сторонам от государя – его служители. Они почтительно поддерживают его, правда, один из них – тот самый фогт, что сбежит после смерти герцога и будет заподозрен в измене. “Невольно символичес-



ний" смысл этого случайно поставленного действия прочитывается без труда: вместо торжествующего величия государя – персонафикации всеобщего принципа власти, вечного, как сам Бог, властвующий над миром, – плотская немощь тварного существа, истерзанного предощущением совсем уже близкой смерти. Драматизм этого внезапного "выпадения" жалкого в своей слабости "тела природного" из блистательных покровов не подверженного тлению "тела политического" лучше всего, может быть, отразился в маленькой детали – обращении придворных со взятой со стола бумагой. Канцелярская бумага, которая совсем еще недавно служила передаче воли правителя, изложению его политических желаний и донесению их до исполнителей и прочих подвластных лиц, вдруг лишается всех своих "государственных" функций и превращается в простую подкладку под замерзающие босые ступни страдающего человека.

Протокольное повествование Хиршмана позволяет с точностью едва ли не до минуты уловить тот перелом, когда муки собственного естества оказываются для человека важнее и сильнее всех иных обстоятельств, еще совсем недавно определявших его личность. В первые дни болезни герцог держится перед немногими посвященными в его беду людьми с подчеркнутой бодростью, конечно же, не потому, что опасается распространения опасных для его политических планов слухов. Его поведение перед лицом загадочной и опасной болезни определяется усвоенными с воспитанием и в ходе общения с другими людьми его круга этическими нормами.

Герцог болеет так, как должен болеть рыцарь – с досадливым и брезгливым презрением к любой своей немощи, тем более "плебейской". Тяжелая боевая рана могла бы, наверное, пользоваться несколько большим вниманием аристократа – и, может быть, именно поэтому Альбрехт так настаивает, что первопричина его неприятностей – травма, полученная во время вполне рыцарственного занятия – турнирного ристания. Тем самым он подсознательно стремится как бы оправдать и перед самим собой, и перед окружающими стыдное обстоятельство – собственную болезнь. Но бодрость эрцгерцога исчезает тогда, когда его мучения превышают меру его терпения – и с его личности начинают спадать копившиеся всю жизнь социальные покровы. Рыцарский этос утрачивает для него значение, как и любой иной – он жалуется, обвиняет врача в некомпетентности, подражая своему привратнику, стонет и кричит в голос... Происходящая на наших глазах "рассоциализация" идет стремительно – за несколько часов человек в результате телесных мук выпадает из всех видов общественных связей, из всех взятых на себя социальных ролей – он остается совершенно один с собственным физическим страданием – и со смертной тоской, наполняющей душу.

Этого состояния умирающего очень не любили передавать средневековые (и не только средневековые) авторы. В официальных

сообщениях о смерти того или иного князя, как правило, присутствовала формула о том, что тот почил в мире, и притом совершенно так, как и положено скончаться христианскому государю. Писатели, преследовавшие какие-либо политические или же воспитательные цели, могли живописать мучения умирающих грешников и просветленность готовящихся к лучшей жизни праведников. Но во всех этих – как официально-нормативных, так и публицистически заостренных – рассказах умирание представлено в конечном счете как процесс социальный. Хиршман сумел, кажется, передать то, что стало называться и осмысляться в литературе XIX–XX вв. – экзистенциальное одиночество умирающего. (Думал ли автор о том, что его почти натуралистическое повествование может вызвать злорадство у врагов эрцгерцога – ведь кончина Альбрехта оказывается отнюдь не “официально-нормативной”, нисколько не величественной, а скорее жалкой?)

Рассказ Хиршмана не раскрыл тайны смерти эрцгерцога, может быть, даже укрыл эту тайну еще глубже. Но он с документальной достоверностью показал момент встречи человека (герцогский титул в данном случае не важен) со своей судьбой, застигшей жертву, аки тать в ночи. Не слишком оригинальная сентенция из завещания эрцгерцога Альбрехта 1461 г. “в нашем переходящем времени нет ничего более определенного, чем смерть, и нет ничего более неопределенного, чем час смерти”<sup>67</sup>, оказалась в данном случае как нельзя более уместной.

Со смертью Альбрехта распадается и созданный им придворный мирок. Лучше всех, кажется, сложится судьба, как ни странно, у главного подозреваемого – Георга фон Штайна. В 1467 г. после долгой осады Фридрих III захватит его город Штайер, и “господин Йорг” бежит на службу к чешскому королю Иржи из Подебрад, затем в Бреслау он вступит в орден бернардинцев, но позже снова станет советником – теперь уже венгерского короля Матиаша Корвина – и будет служить ему в Силезии. Похоже, что новые господа Йорга вовсе не опасались получить от него порцию отравленного кизила. В полной безвестности кончит свои дни автор использованных здесь записок. Если бы не несколько тяжелых дней, проведенных им в венском замке рядом с большим и умирающим эрцгерцогом, кто вспомнил бы сейчас имя привратника Ханса Хиршмана, кто задумался бы о чувствах, которые испытывал когда-то этот человек<sup>68</sup>?

## Примечания

<sup>1</sup> Развернутая научная биография эрцгерцога Альбрехта еще не написана. См. о нем очерки разной степени полноты и подробности: *Basim W. Albrecht VI* (ум. 1463), *Erzherzog von Österreich. Skizze einer Biographie // Stülchgau*. 1987. Bd. 31. S. 23–45; 1988. Bd. 32. S. 25–60; *Mraz G. Albrecht VI. // Die Habsburger. Ein biographisches*

- Lexikon / Hg. von Brigitte Hamann. Wien, 1988. S. 42–43; *Brunner O.* Albrecht VI. // Neue Deutsche Biographie. Berlin etc., 1953. Bd. 1. S. 170; *Krones F.* Albrecht VI. // Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1875. Bd. 1. S. 285–290; *Zauner A.* Erzherzog Albrecht VI (1418–1463) // Oberösterreich. Lebensbilder zur Geschichte Oberösterreichs. Linz, 1982. Bd. 2 S. 18–40.
- 2 *Ebdorfer T.* Chronica Austriae. München, 1993 (воспроизведение издания: Berlin; Zürich, 1967) (MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, 13). P. 596: "...tantam veneni infectionem ex colore, fetore et aliis venenorum pronosticis repererunt, quod nec umquam in eorum vita in uno corpore euaem, ut asserebant, thabem perpenderunt".
- 3 Ibid: "Unde et infectionem in exenteracione verentes prorsus ab ea destiterunt ob fetorem intollerabilem et coagulati sanguinis per nares ebulicionem ac cutis fissuram suadentes, quod integrum funus terre commendaretur".
- 4 *Hans Hierszmanns,* Thurhuthers Herzog Albrechts VI. von Österreich, Bericht über Krankheit und Tod seines Herren. 1463 und 1464 // Sylvester-Spenden eines Kreises von Freunden väterlandischer Geschichtsforschung Wien, 1858. S. 50.
- 5 *Ebdorfer T.* Op. cit. P. 596.
- 6 *Koch W.* "Dem got genad" – Grabformular und Aufgaben der Epigraphik // Der Tod des Mächtigen / Hg. von L. Kolmer. Paderborn etc., 1997. S. 295.
- 7 *Wiesflecker H.* Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit. München, 1971. Bd. 1. S. 68.
- 8 О дворе Зигмунда Тирольского см. прежде всего: *Ortwein M.* Der Innsbrucker Hof zur Zeit Erzherzog Sigmunds des Münzreichen. Ein Beitrag zur Geschichte der materiellen Kultur. Diss [Ms.] Innsbruck, 1936; *Kofler M., Caramelle S.* Die beiden Frauen des Erzherzogs Sigmund von Österreich-Tirol. Innsbruck, 1982 (Schienschriften 269); *Maleszek W.* Die Sachkultur am Hofe Herzog Sigismunds von Tirol (um 1496) // Adelige Sachkultur des Mittelalters. Wien, 1982 (Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Esterreichs 5; Sitzungsberichte der philhist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 400). S. 133–167; *Baum W.* Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und der habsburgischen Länder im Spätmittelalter. Bozen, 1987 (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts 14); *Bojcov M.A.* Sitten und Verhaltensnormen am Innsbrucker Hof im 15. Jahrhundert im Spiegel der Hofordnungen // Höfe und Hofordnungen / Hg. von H. Kruse, W. Paravicini (Residenzenforschung Bd. 10). Sigmaringen, 1999. S. 243–283.
- 9 См. об этом эпизоде: *Bojcov M.A.* Германская знать XIV–XV вв.: приватное и публичное, отцы и дети // Человек в кругу семьи. М., 1996. С. 249.
- 10 "Und aber auß ich auff wuochs zuo den manbarn jären und meiner sterckin befand, beduchte mich mir baß anzuostend zu ainem arbättsamen fürsten zuo kumen, mich in ritterlichen handlungen zuo gebrochen und alle ritterspil zuo lernen" / (*Ehrmann G.* Georg von Ehingen, Reisen nach der Ritterschaft. Edition, Untersuchung, Kommentar. Teile 1–2. Göppingen, 1979 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 262). S. 20–21).
- 11 "Der selbig hertzog Albrecht hett nun vil treffelicher lewt und hielt kostichen fürstlichen, ja wol küniglichen hoff" (Ibid. S. 21). Ниже (S. 22) Георг фон Энгинг говорит, что при дворе Альбрехта было "множество людей из разных земель" ("...den es waren so vil und mangerlay lytten auß vil landen an dem hoff").
- 12 *Wiesflecker H.* Op. cit. S. 71.
- 13 *Meuthen E.* Zum Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460–1461) // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1957. Bd. 37. S. 382–333, специально о времени пребывания в Вене см.: S. 332–333.
- 14 Подробнее см.: *Csendes P.* Wien in den Fehden der Jahre 1461–1463. Wien, 1974 (Militärhistorische Schriftreihe Bd. 28).
- 15 Мюнцмайстер стоял во главе "комитета" из 48 венских бюргеров, регулировавших чеканку монеты, обменные операции и денежное обращение по всей Нижней Австрии.
- 16 *Dreger M.* Baugeschichte der k. k. Hofburg in Wien, Wien, 1914 (Österreichische Kunsttopographie 14). S. 52.

- <sup>17</sup> Яркий пример такой манеры поведения в пространстве ритуала, которая приводит к фактическому изменению смысла всего действия на противоположный, см.: *Дмитриева (Г) В.* Йоркширский "Расемон" (провинциальная трагикомедия елизаветинских времен) // Казус-1999. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999. С. 310–316.
- <sup>18</sup> См. скупой биографический очерк о ней: *Hatann B.* Katharina // *Die Habsburger...* S. 235. В 1446 г. Катарина вышла замуж за Баденского маркграфа Карла I, родила ему шестерых детей и на 18 лет пережила супруга.
- <sup>19</sup> *Ebendorfer T.* Op. cit. P. 596.
- <sup>20</sup> *Ibid* P. 576.
- <sup>21</sup> *Ibid* P. 584.
- <sup>22</sup> *Ibid* P. 595.
- <sup>23</sup> Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Das Habsburg-Lothringische Familienarchiv. Familienakten. Karton 60. (Далее: HHStA). Fol. 108v [158v] (письмо Катарины к Фридриху III, без даты): "...ich weiß eyn wissen / das er euch von hertzen mit truwen gemeunt / hat. vnd hülf mir gott, das ich mocht / zu vch komen, so wolt ich wern gnaden / wol sagen, was er vwerthhalb vil / mit mir geredt hat viertzeihen tag vor / ynem tod".
- <sup>24</sup> *Ebendorfer T.* Op. cit. P. 596.
- <sup>25</sup> В конце своего правления Зигмунд, опасаясь Фридриха III и его приверженцев, сделал попытку передать свое княжество баварским Виттельсбахам.
- <sup>26</sup> Hanns Hierszmanns ... Bericht... S. 31: "...vnd desselben meins guldigen herren Raeten vnd Lantleuten, vnd besonner meinem g. H. Herzog Sigmunden etc. mer dann ain mál auch gesagt hab".
- <sup>27</sup> HHStA Fol 102–107v.
- <sup>28</sup> Первое издание (с ошибочной атрибуцией), подготовленное Й. фон Хормайером, вышло в 1811 г.: *Archiv für Geographic, Historie, Staats- und Kriegskunst.* Следующее и существенно более качественное было предпринято Т. фон Караяном и публиковалось дважды без изменений: Hanns Hierszmanns, Thürhüthers Herzog Albrechts VI. von Österreich, Bericht über Krankheit und Tod seines Herren. 1463 und 1464 // *Sylvester-Spenden eines Kreises von Freunden vaterländischer Geschichtsforschung.* 1858. S. 23–51; *Karajan Th. G. von.* Kleinere Quellen zur Geschichte Österreichs. Wien, 1859. S. 31–51. На основании последней публикации текст воспроизводился также в: *Deutsche Chroniken / Hg. von Herman Maschek.* Leipzig, 1936 (*Deutsche Literatur, Reihe Realistik des Spätmittelalters.* Bd. 5). S. 271–285.
- <sup>29</sup> Далее используется первая публикация Караяна. Ссылки на страницы этого издания даются в тексте в круглых скобках. Выборочная сверка с архивным подлинником выявила небольшие текстуральные расхождения с публикацией и заметные различия с ней в орфографии. Причина этого состоит скорее всего в том, что издание Караяна готовилось не с оригинала непосредственно, а со списка 1817 г. (сделанного и официально заверенного венским архивистом). Он ныне хранится в Австрийской Национальной библиотеке: *ср* 13801, fol. 91 и далее); *ср*: *Lhotsky A.* Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs. Graz; Köln, 1963 (Mittelungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg. Bd. 19). S. 370.
- <sup>30</sup> *Ibid.*
- <sup>31</sup> *Lorenz O.* Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Berlin, 1886. Bd. I. S. 186; *Keil G.* Hierszmann, Hanns // *Deutsche Literatur des Mittelalters.* Verfasserlexikon. (Далее: VL) Berlin; New York, 1981. Bd. 3. Sp. 1238–1239; *Rupprich H.* Das Wiener Schrifttum des ausgehenden Mittelalters // *Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften.* Phil.-hist. Klasse. Bd. 228/5. 1954. S. 182.
- <sup>32</sup> *Lhotsky A.* Op. cit. S. 370.
- <sup>33</sup> См., например, споры о том, была ли подлинной причиной смерти эрцгерцога бубонная чума или же заражение крови от не вскрытого вовремя карбункула: *Kalmel H.*

- Die Leibärzte der Habsburger bis zum Tode Kaiser Freidrichs III // Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 1958. Bd. 11. S. 29–30.
- 34 Общие сведения о Хофбурге и других замках Габсбургов см.: *Schütze U.* Das Schloß als Wehranlage. Darmstadt, 1994. S. 13–34.
- 35 *Dreger M.* Op. cit. S. 41.
- 36 *Ibid.* S. 44, 340.
- 37 Эту должность занимал с 19 сентября 1462 г. некий Йорг Кремпель (ум. ок. 1470–1474), вошедший за месяц перед тем в состав городского совета Вены во главе с Хольцером, образованного мятежниками после свержения проимператорского правительства города. Свое место в городском совете Кремпель сохранял и после того, как стал княжеским келлермейстером. В заговоре Хольцера был признан, очевидно, не замешанным. После смерти Альбрехта имя Кремпля в списках должностных лиц более не встречается. В обязанности келлермейстера входило управление княжескими виноградниками. См.: *Perger R.* Die Wiener Ratsbürger 1396–1526. Ein Handbuch. Wien, 1988. S. 26, 95–97.
- 38 "...es ist noch ain köczlin pey mir gewesen, das ist hrausz, nu pin ich erst gar genesen... secht ir, ich kan mich wol ertzneyen, vnd wollt doch nichtz daruon halten" (34).
- 39 "Do erschrack ich als ubel, das ich nitt west, was ich sagen solt" (35).
- 40 *Baum W.* Albrecht VI... Bd. 32. S. 56.
- 41 См. о нем прежде всего: VL Bd. 7. Berlin; New York, 1987. Sp. 905–910, а также: *Kühnel H.* Heilkunde in Wien // Studien zur Geschichte der Universität Wien. Graz Köln, 1965. Bd. 5. S. 9, 74–65.
- 42 См. о нем: VL Bd. 4. 1983. Sp. 1150–1154; *Perger R.* Op. cit. S. 95–97, 79.
- 43 "Also ässen wir den kappaunen vnd truncken die brü gar ausz" (37).
- 44 Териак – универсальное средство от многих болезней и, в особенности, от ядов органического происхождения. Изобретателем этого чудо-средства считается врач императора Нерона Андромач Критский.
- 45 "Vnd tetten mir vil boszhait, damit er vber si lachen wurd, als er auch tett" (40).
- 46 "... vnd da der stulgang seinen gangk gewan, da ward er sich krymen vnd rören als ain ochsz, vnd ward bleich vnd bisz die zän auff ainander, das man ims auffgewinnen must".
- 47 "...und was grosz layd under uns allen" (44).
- 48 HHStA. Fol.107: "... vnd als si nu gen hof komen, do hat man acht dartzu geben, benant / lich zwen von den prelaten, zwen von den lantherrhen, zwen von / den Raten vnd zwen von der gemaind". В публикации Караяна в этом абзаце содержится весьма показательный пропуск – издатель "забыл" двух прелатов.
- 49 Когда племянник Альбрехта, император Максимилиан, готовился к смерти (1518), он велел не балзамировать после кончины свое тело. Более того, чтобы не осталось следа от суетности земной жизни, император приказал остричь волосы на своей мертвой голове, выбить трупу зубы, высечь его розгами, осыпать известью и пеплом для скорейшего разложения, а затем положить его в два холщовых мешка и в таком виде выставить на всеобщее обозрение как воплощение бренности всякой земной власти (подробнее см.: *Schmid P.* Sterben – Tod – Leichenbegängnis König Maximilians I // Der Tod des Mächtigen. S. 185–215, особенно S. 203). Такое смирение вовсе не было принятым, по крайней мере в доме Габсбургов, и свидетельствовало прежде всего об особенностях индивидуального благочестия Максимилиана. Император сознательно выбирает далеко не княжескую форму погребения, чтобы посредством унижения возвыситься. Исключительное личное смирение Максимилиана только подтверждает, что, например, засыпание мертвого тела известью должно было восприниматься современниками как весьма мало почетный способ обхождения с трупом. Трудно допустить, что, обдумывая свое будущее погребение, Максимилиан не вспоминал о похоронах родного дяди – Альбрехта VI, ставшего в семейной габсбургской традиции как бы воплощением "грешного князя".
- 50 См. статью: *Leichenfetisch* // Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin, 1987. Bd. 5. Sp. 1063–1067, а также: *Leichenkleidung* // *Ibid.* Sp. 1068–1081.

- 51 Т. Эбendorfer на нескольких страницах пересказывает ее надгробный плач: *Ebendorfer T. Op. cit. P. 596–599.*
- 52 "Darauf sprachen die raet: sie glaubten das ich in recht zuogesagt het, vnd gelaupit mein gnædige frau vnd ir raet nit, das her Jörg kainerley schuld daran gehept het, vnd behibet auch auf der manung" (46).
- 53 dann si wist, das ich meinem herren gehaim gewesen was" (45).
- 54 Нотариальным актом можно было подтвердить, разумеется, не верность Хиршмана своему господину, а, например, его дворянское происхождение или же факт рождения в законном браке.
- 55 *Ebendorfer T. Op. cit. P. 595.*
- 56 *Барт П. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 392–400.*
- 57 Возможно, некоторые из таких деталей вовсе не были "лишними" (в бартовском же понимании) для самого рассказчика и как-то играли на воплощении его замысла, но поскольку тот смысл, которым они обладали для Хиршмана, до нас не дошел, то нами они воспринимаются как необязательные для основного хода повествования, как избыточные в развитии сюжета, и оттого-то автор так удивляет нас информативной щедростью своего рассказа.
- 58 См. о ней: *Scholz G. Mechthild von der Pfalz // Fürstliche Witwen auf Schloß Böblingen. Böblingen, 1987. S. 37–44, 110–114. О заключении брака см.: Baum W. Albrecht VI... Bd. 31. S. 35, 40.*
- 59 *Baum W. Albrecht VI... Bd. 32. S. 40.*
- 60 "Conuenit magnificencia tanto principi, quantus es, verum non rapina, neque prodigalitas. neque luxuries ac superfluitas, olim in Alberto Archiduci notavi, qui sera revertens nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis" (*Huber O. Ein Prinzenspiegel für den jungen Maximilian I // Arciv für Kulturgeschichte. 1961. Bd. 41. S. 52–61.*)
- 61 *Maier G.M. Ein Rechnungsbuch Albrechts VI. von Österreich aus den Jahren 1443–1445. Wien. 1989. (Ms.). S. 148, 188, 192, 206, 288, 336, 344, 346.*
- 62 "Den hat im ains ritters weib geben. Den hat er ir mit karten abgewunnen" (45).
- 63 Она сама об этом говорит в передаче Т. Эбendorфера: "quis enim te aspexit, qui preter sexum me non vidisse putaret?" (*Ebendorfer T. Op. cit. P. 597.*)
- 64 HHStA. Fol. 108–108v [158–158v].
- 65 "Allerdurchluchtigster liebster Herre vnd bruder. / ich verkund euch, das ich in swarer krankheit lig, mit beiden heiligen / sacramenten bewaret, zu gott / hoffend, souern sin gotthcher wille sy, / mich von diser welt zu beruffen, als / ich mich gantz vnd williglich darin / han ergeben, Ich wölle als eyn Cristliche / furstynn stryten vnd in gnaden gotts / van hynnen scheiden. ist dann der wille / gotts, daß ich lenger in diser zyt sin sol / wil ich mynen willen deshalb auch / in sines göttlichen willen setzen.  
Allerliebster herre vnd bruder, mir hat / myn swester von sachsen (als sie lest / zu Baden was) gesagt, wie ir ir gesagt / habt, vnsers bruders hertzog albrechts seligen / lychnam solle in eyn hußlin geworffen / worden sin. Habt Ir nun mich ye keyner / beet gewert so wolt mich doch diser / beet nit vertzyhen, vnd es vmb gotts / vnd siner wirdigsten muter willen tutt / vnd vveru vnwillen, den er vmb ver- / schult hett, abstellen vnd dem huß österreich / zu eren ine wider her fur zutund schaffen...  
Gnedigster liebster herr. Ich bitt vch flyßlich diß ding / zubertzen zenemen, diewil menglich / wiel das vnsere bruder selig vch ser fast / erzurmt hat gehabt vnd in großem vnwillen / ist kein ew gestanden. solt es dann nit also / widerbacht werden, besorg ich, vveru / gnaden möcht nachgesagt oder gedacht werden, als ob / es vwers willens were, das bitt ich vwer / gnad zubedencken. wann ich weiß eyn wissen / das er euch von hertzen mit truwen gemeint / hat. vnd hulff mir gott, das ich mocht / zu vch komen, so wolt ich vveru gnaden / wol sagen, was er vvernthalb vil / mit mir geredt hat viertzeihen tag vor / sinem tod. vnd bitt vch daruff, liber herre vnd bruder, das ir ansehent, das es gott / eyn gros mißfallen wer, sölten ir nit / darzu tun. besunder getruw ich ir sehent / an bruderlich fruw vnd gotts forcht, die ir / als eyn Cristlicher keiser vnd haubt der / Cristenheit sunderlich hand".

- <sup>66</sup> Возможно предположить, что оно относится ко времени возвращения императора в Вену. Он не спешил в город, последний визит в который был связан у него со столь неприятными воспоминаниями, и появился там только в декабре 1469 г.
- <sup>67</sup> "...in dis vergenglichen zeit nichts gewisseres ist dann der tod und ungewissers dann die stund des tods" (*Baum W. Albrecht VI...* Bd. 32. S. 58).
- <sup>68</sup> Когда эта глава уже была сдана в издательство, автор получил, благодаря любезности венского коллеги д-ра Хервига Вайгля, оттиск новейшей австрийской публикации о записке Хиршмана и страданиях умирающего эрцгерцога Альбрехта: *Hayer G. Krankheit, Sterben und Tod eines Fürsten. Ein Augenzeugenbericht über die letzten Lebenstage Herzog Albrechts VI. von Osterreich // du guoter töt: Sterben im Mittelater – Ideal und Realität / Hg. von M.J. Wenninger. Klagenfurt, 1998 (Schriftenreihe der Akademie Friesach. Bd. 3). S. 31–50.* Расстановка ряда существенных акцентов в работе Г. Хайера и само ее композиционное построение (следование повествованию Хиршмана) весьма близки к тому, с чем читатель мог ознакомиться на предыдущих страницах. Главная цель Г. Хайера – показать на основе столь самобытного источника "реалистическую картину смерти" одного из сильных мира сего, чтобы с ее помощью опровергнуть мнение о том, что в средние века, вследствие большей значимости для человека христианского миропонимания, смерть якобы встречали с меньшими страданиями, чем в новое время. Помимо нескольких интересных историко-медицинских наблюдений, Г. Хайер делает ряд существенных "историко-психологических" предположений. Так, он сомневается в том, что Хиршман сочинил свою записку по косвенному заказу Зигмунда, поскольку последний, дескать, уже неоднократно слышал его рассказы и не нуждался еще и в письменной их фиксации. Кроме того, Г. Хайер почти уверен в том, что маркграфиня Катарина сознательно "не пожелала принять" своего брата, приехавшего с ней с визитом в тот самый день, когда началась его болезнь. Он также полагает, что Хиршман при первом же взгляде на "шишку" под мышкой у герцога определил ее как вероятный симптом бубонной чумы, что во многом и определило последующие действия привратника.

*“Отходя от света сего...”*

*Частная жизнь московской элиты XVII века  
через призму завещаний<sup>1</sup>*

Многие годы занимаясь историей боярства, мне всегда хотелось найти и собрать источники, отражающие личные переживания, взаимоотношения, неординарные поступки, т. е. увидеть индивидуальные проявления характера людей этого круга. В некоторой степени это удастся сделать в сфере их политической деятельности, но не в сфере частной жизни<sup>2</sup>. Она, мало отраженная в источниках, остается в стороне при составлении биографий бояр. Во многом это связано с отсутствием мемуарных источников<sup>3</sup>, существующая же переписка невелика по объему. Среди такого скудного материала нельзя обойти вниманием завещания (или духовные грамоты) – источник, раскрывающий ряд аспектов, относящихся к частной жизни человека. Их содержание и является предметом настоящей главы. Ее задача – показать спектр принимаемых боярством XVII в. решений перед уходом из жизни, увидеть личностное поведение в этой ситуации и определенные жизненные ориентации.

Прежде чем подойти к рассмотрению содержания духовных, следует сказать о понимании характера частной жизни в исследуемое время, о степени возможности источника раскрыть общее и индивидуальное в этой жизни.

Понятие “частная жизнь” в древнерусской традиции имеет специфический оттенок, а именно самую тесную и непосредственную связь с понятием “наследование недвижимости”. “Часть” – это та доля семейного имения, которую получают дети при ее разделе (при жизни или по смерти родителей). На этой “части” начиналась их са-

Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 97-01-00243)



мостоятельная, отдельная от старших родственников, "частная" жизнь. Термин "личная" жизнь и "личный" в смысле "приватный" появляется значительно позже. Наиболее близко понятию "личность" древнерусское слово "особа" – человек, чем-то выделяющийся, "особенный". "Особой", однако, чаще всего именовали людей знатных и богатых или причастных священству.

Понятие "личная" жизнь было связано с термином "комната". Если "частная" жизнь происходит внутри границ частного владения, то "личная" жизнь происходит за стенами "комнаты" или личных покоев, закрытых от посторонних глаз. Обращаясь к описанию повседневной жизни русских царей, увидим, что она четко делится на церемониальную, официальную, проходившую в общественных местах, и жизнь "в комнате", т. е. личную, людей же, коим было позволено входить в личные покои, называли "комнатными". В комнату посторонних не приглашали, и по сей день ее дверь редко приоткрывается и для любопытствующих исследователей, пытающихся подобрать к ней отмычки.

Но дом дому – рознь. В однокомнатной лачуге и в обширных хоромах со множеством специальных помещений существование их обитателей происходило различно. Герои нашего повествования – бояре – обладатели роскошных хором, облик которых промелькнет и в их завещаниях, могли в наибольшей степени организовать часть своего дома приватным образом и оградить его от постороннего вмешательства.

В боярском доме, как и в других домах, смерть являлась важнейшим событием. Ее приход был связан с дальнейшей судьбой бессмертной души, и к нему следовало подготовиться заранее. Важным актом этой подготовки было составление духовной грамоты. Светский человек подводил в ней итог своей хозяйственной деятельности, отпускал на волю холопов, передавал хозяйство в руки наследников, упорядочивал дальнейшую жизнь членов семьи, назначал душеприказчиков, одновременно связывая все это с наиболее важной для умирающего проблемой – поминовением его души. Однако ошибочно думать, что все эти решения оставались достоянием круга близких покойного. Особенно это относится к лицам, принадлежащим к элите, – их жизнь в наибольшей степени была открыта для общества и связана его нормами. Вполне применимы к русскому боярству слова, сказанные Л. Поллок об английской элите того же времени: "Земледельческая элита в Англии раннего нового времени представляла собой людей, находящихся на виду у всего общества, они принадлежали миру, в котором их деятельность была объектом внимания им подобных"<sup>4</sup>. Недаром еще в "Домострое" предметом пересудов жещин называются наряду с соседями "княгини и боярыни"<sup>5</sup>. Сфера приватного, утверждает Поллок, была в этой среде особенно тесно зависима от публичного, представляла собой его оборотную сторо-

нуб. Она включала в себя то, что следовало скрывать от людей, дабы не повредить своей репутации, не лишиться расположения покровителей. Духовная составлялась приватно в комнате, но затем распоряжения, сделанные в ней, наверняка, становились предметом внимания общества. И чем больше людей и церковей оказывалось облагодетельствовано усопшим, тем более благодарную память он оставлял по себе в этом миру и заслуживал снисхождения – в ином.

Духовная как юридический документ имеет достаточно четкий формуляр и формализованный текст<sup>7</sup>. Формуляр духовной ориентировался на византийский образец, древнерусское законодательство его никак не регламентировало. В целом он соответствует пяти клаузулам: 1) посвящение богу (*invocatio*), 2) имя завещателя и изложение обстоятельств, предшествовавших составлению духовной (*intitulatio+arenga*), 3) распоряжение по существу дела (*dispositio*), 4) удостоверительная часть (*corroboratio*), 5) заклęcia против нарушителей воли завещателя (*sanctio*)<sup>8</sup>. Но как справедливо замечает Л. Герд: “Такая, казалось бы, стройная и логичная схема, однако, отнюдь не всегда соответствует реальному облику актов. Нам представляется более целесообразным выделение лишь общих смысловых разделов, совпадающих во многих десятках однотипных актов и являющихся бесспорными”<sup>9</sup>.

Иначе говоря, в духовных грамотах есть свой “канон” – формуляр, не очень строгий, но обязательный; распоряжения, занесенные в них автором, подчинены закону и обычаю. И, тем не менее, мы не встретим двух одинаковых духовных грамот: при их сравнении проявляются как типичные, так и индивидуальные черты поведения их авторов. Это вполне естественно, так как жизнь человека складывается из вольного и невольного подчинения различным нормативам, принятым в обществе. Его поведение обуславливается как личными чертами характера, так и обстоятельствами, либо позволяющими согласовывать собственное поведение с этими нормативами, либо нет. Историк частной жизни приходится так или иначе рассматривать обе стороны – как носителя норм, так и их нарушителя, без одного остается непонятным другой. Обычно обе эти стороны существуют внутри одного и того же человека. В средневековом обществе с преобладанием коллективного начала в жизни индивида (которое имеет особенно стойкую и длительную традицию в русском обществе) нормы (традиция, обычай, устное и письменное право) особенно сильно довлели над человеком. Необычное в поведении человека, как правило, коллективом, в котором он жил, не одобрялось. В то же время нормы внутри себя давали для действий и поступков человека достаточно широкую вариативность, имели некое “пространство свободы”.

Подобное сочетание нормы и индивидуального подхода мы встречаем и в духовных грамотах, подчиненных своему “канону”.

Вообще сам факт составления духовной в Древней Руси говорит о том, что завещатель не хочет полагаться на традиционный раздел наследства, не может довольствоваться устно высказанной волей, а настаивает на каком-либо одном из дозволенных вариантов и предпочитает его оформить юридически.

Поскольку земля по большей части не являлась частной собственностью, а принадлежала или роду в целом, или семье, или государству, завещания этого времени значительно стеснены в свободном волеизъявлении в части распределения недвижимого наследства. В случаях нарушения существующих норм, как увидим, бояре за разрешением обращались непосредственно к царю. Поэтому проявление какого-либо "девиантного" поведения в духовных исключено, документ в таком случае не будет утвержден и утратит юридическую силу. В части же денежных и имущественных распоряжений жесткость норм присутствует в гораздо меньшей степени.

Рассматриваемый комплекс духовных грамот – небольшой по объему, это 26 завещаний XVII в., принадлежащих московской светской элите. Здесь есть и представители титулованной знати, и выходцы из дворянских родов, но объединяет их то, что в XVII в. все они имели думные чины, т. е. входили в Боярскую Думу и, таким образом, принадлежали к правящей верхушке государства. Применяя к ним для удобства обобщающий термин "бояре", под ним мы будем подразумевать принадлежность к родам, имеющим своих представителей в Боярской Думе, в конкретных случаях их думный чин уточняется.

Завещания бояр сохранились в различных собраниях документов. Настоящий их комплекс, несмотря на безусловную возможность отдельных новых находок, исчерпывает известные на сегодняшний день образцы этого вида источников<sup>10</sup>. Боярские духовные по сравнению с завещаниями лиц других социальных слоев более богаты по содержанию. Их выигрышность для исследования состоит и в том, что авторы духовных – лица в истории известные, существование их биографических данных, зачастую отсутствующих у простых людей, помогает глубже понять текст духовной.

Таким образом, перед нами корпус источников, авторы которых близки по положению в обществе, но индивидуально различны. При сравнении однотипных разделов духовных возможно выведение некоего "среднеарифметического" из распоряжений их авторов и, таким образом, определение типичных черт поведения в определенной ситуации, возможно и выявление вариантов поведения путем кропотливого текстуального сравнения.

Древнерусские духовные грамоты не раз становились объектом исследования в отечественной историографии<sup>11</sup>. Дореволюционные исследователи рассматривали духовные с точки зрения развития наследственного права. В дальнейшем древнерусские завещания ши-

роко использовались в качестве источника по истории земельных владений, истории холопства, а также во вспомогательных исторических дисциплинах. Появились и источниковедческие работы, посвященные формуляру духовных<sup>12</sup>. Однако духовные – эти "наиболее распространенные по объему и наполненные реальным содержанием источники"<sup>13</sup> – никогда не изучались с точки зрения истории частной жизни. Преимущественное внимание во всех трудах уделялось завещаниям, относящимся к XI–XV вв., завещания же XVI–XVII вв., сохранившиеся в гораздо большем количестве, систематически никогда не рассматривались. Составлением базы данных древнерусских духовных занимается американский исследователь Д. Кайзер. На этом материале им написан ряд статей<sup>14</sup>.

### 1. Как писалась боярская духовная

В какой момент жизни составлялось завещание: перед смертью или заблаговременно? Явно наличествовали оба варианта, что находит отражение и в нашем комплексе духовных (см. прилож. 1). Даты смерти их авторов в одних случаях близки к дате на духовной, в других – отстоят от нее на несколько лет. Духовная писалась и после принятия решения удалиться в монастырь, так как монашествующий уже не имел прав на владение светским имением. Однако эти духовные вступали в силу только после его смерти. Завещание, написанное Ф.И. Шереметевым в 1645 г., лежало без свидетельства патриарха в ожидании смертного часа ее автора, но поскольку, как писал Шереметев в 1649 г., "после тое моей духовной многое переменилось, иное прибыло, а иное убыло", он составил новую "изустную память" с поправками к первому завещанию. Две духовные, написанные с изрядным разрывом во времени, встречаем и у А.Н. Самарина-Квашнина.

Духовная обдумывалась заранее и, вероятно, обсуждалась и согласовывалась с близкими людьми. В "Повести о смерти царя Василия Третьего" подробно описывается процесс написания им духовной, где говорится, что при ее составлении он не раз советовался с ближними людьми и обращался к духовным своего отца и деда<sup>15</sup>. Видимо, подобным же образом поступали и бояре. Ссылки в их духовных на завещание родителей нередки. Поскольку хозяйство бояр было сложной и обширной системой, описание всего имущества, построек, холопов, монастырских вкладов и проч. не могло уместиться в ограниченные рамки духовных. Поэтому часто к духовной прилагались различные перечни: вещей, книг, икон, жалованья дворовым людям, долгов и проч. Так, Ф.И. Шереметев пишет в своей первой духовной: "А что на вынос и на отпевание дати по моей грешной душе... и кого чем благославляти, и тому роспись за моей Федоровой рукою" (Шереметев, 1645, 492)<sup>16</sup>. Но во второй духовной (изустной памяти) сказано, что росписи этой искать не надо, он, ослепший "от

великой своей скорби и древней старости", не смог ее составить (Шереметев, 1649, 511). Кн П.Г. Волконская также указывает: "... а что у меня в дому моем моления образов, книг и всякой рухледи и тому роспис всему отдана... прикащикам души моей" (Волконская, 1680, 192). Духовные значительно различаются по объему – одни уместились в одном столбце, другие заняли больше десятка. Это связано и с многословностью автора, и с размерами его землевладения, и с наличием у него росписей или включением всех распоряжений в сам текст духовной.

Важен ответ на вопрос: насколько в тексте духовной действительно слышен голос ее автора, а не его переложение, сделанное тем, кто ее записывал? Под документом почти всегда стоит имя писца. Только А.Н. Самарин-Квашнин первую духовную "писал своею рукою", а вторую "писал по приказу государя своего батюшки сын его Петр своею рукою" (Самарин-Квашнин, 1692, вторая половина XVII в., 198, 199). Писцами были или боярские грамотные дворовые, или подьячие приказов, в котором служил боярин, или площадные писцы. Вряд ли все эти писцы смели и могли изменить что-либо в диктуемом им боярином тексте. Впрочем, бояре и сами были людьми весьма искушенными в различного вида деловых бумагах и знали необходимые случаю формулировки.

Даже если духовная была составлена завещателем заранее, ее официальная запись проходила публично при нескольких свидетелях, и среди них обычно присутствовал его духовный отец. Он подписывал завещание вместо умирающего, если тот был уже не в силах этого сделать. Грамота скреплялась печатями свидетелей, их имена, наряду с писцом, фиксировала ее удостоверительная часть. После смерти автора документ отправляли в Патриарший судный приказ, где духовная вслух читалась перед патриархом и он спрашивал свидетелей: "Все ли в духовной скаске верно и их ли руки?" Свидетели лично подтверждали подлинность завещания, патриарх ставил свою подпись, и духовная запечатывалась. Вся эта процедура запротоколирована в конце духовных. За их оформление в приказе брались "пошлинные деньги". Наследники получали подлинник завещания (обычно он хранился у душеприказчика), а в патриаршем приказе оставался список<sup>17</sup>. Сведения о перемене владельцев земли в XVII в., согласно духовной, поступали в Поместный приказ, и уже оттуда наследники получали послушную грамоту, вступая во владения землей. Несогласные с завещанием наследники могли оспаривать его до "печати".

## 2. Интересы и тревоги

За множеством распоряжений, изложенных в боярской духовной, всегда проглядывают как главные жизненные привязанности и интересы ее автора, так и проблемы, наибольшим образом тревожив-

шие его на смертном одре. Говоря о переходящем к наследникам имуществе, он, например, особенно любовно и в деталях описывает то, что ему было дорого при жизни, или начинает вдаваться в какие-то свои жизненные обстоятельства. Но жанр документа сдерживал подобные рассуждения, и они обнаруживают себя лишь при внимательном вчитывании в тексты. Не менее красноречива у разных лиц краткость изложения в области одних частей духовной и велеречивость в других. Иначе говоря, при соблюдении всех клаузул, они имеют весьма различное наполнение, что дает возможность уловить основной "лейтмотив" каждой духовной и, соответственно, представить себе образ жизни и эмоциональный характер их авторов. Конечно, общим местом для всех является забота о душе и о распределении наследства, но и это каждый выражает по-своему. Приведем тому примеры.

В духовной Ф.И. Шереметева мы встречаем подробное описание его двора, расположенного в кремлевских стенах. В том дворе были "трое хоромы каменные, а на них верхние полаты, а под ними полаты ж да мыльня. А у всех хором сени и крыльца да сушилы и чердак и поварня, и я под нею зделал ледник, а в поварне полату" (*Шереметев*, 1645, 299). Двор этот унаследовал его зять кн. Н.И. Одоевский. В своей духовной Одоевский продолжает эту тему и, как никто другой, подробно останавливается на описании и истории всех своих московских усадеб, их покупки и постройках. Кремлевский двор был отдан сыну кн. Якову, а в Китай-городе Одоевский строил свой двор. К "старинному месту" своего дяди он прикупил все близлежащие дворы: у кн. И.Ф. Татеева – дворовое место с погребом каменным, и "над тем погребом и над выходом<sup>18</sup> зделал я палату нижнюю и верхнюю", отмечает Одоевский. К этому двору был прикуплен двор у гостя Б. Левашова, "а на том дворе в углу три полатки, под ними погреб", затем дворы были прикуплены и у других московских жителей – еще у одного гостя, у подьячего, у степенного ключника, да невестка "отказала" свой двор. За все эти дворы кн. Одоевский деньги платил свои, "а купчие писал на имя сына своего кн. Алексея". Вся эта мозаика купленных дворовых мест была превращена в одну огромную усадьбу: те дворы, пишет Одоевский, "спустил я в один двор и построил полаты большие жилые, а под ними погребы, а на полатах построил церковь каменную во имя Знамени Пресвятой Богородицы. Да я ж поставил поварню и пивоварню и две полатки каменные". Далее в духовной говорится и о других усадьбах, построенных для сыновей, внуков и правнуков: двор в Китае, рядом с вышеописанным, у церкви Иоанна Богослова ("да на том же дворе зделал я полаты на двух погребях, да на выходе пять житей и стали мне те полаты восемсот рублей"), двор за Земляным городом меж Тверских и Никитских ворот, двор на Тверской "с двумя садами и всяким дворовым строением" и двор за Пречистенскими воротами. Придавая

большое значение этим дворам, Одоевский просил наследников из рода их не выпускать, “не продавать их и не заложить и за сестрами и за дочерьми в приданные не отдать”, потому что “на тех дворах построены церкви Божии для поминовения родителей” (Одоевский, 1689, 390).

Московский двор и подмосковные усадьбы – место, где происходили основные события свободной от службы частной жизни боярина, здесь проживала жена и дети, сюда приглашали гостей, отсюда уезжали в походы, здесь хранили семейные реликвии. Мы видим, что жизнь в городской усадьбе устраивалась с максимальным комфортом – здесь и поварни, и пивоварни, и погреба, и ледники, и мыльни, и сады, и домовая церковь. Огромные размеры боярских усадеб предполагали поселение в них большого числа холопов, обслуживавших боярскую семью. Их упоминание мы также найдем в духовных грамотах и о них подробнее скажем ниже.

Столь исключительное внимание, уделенное в духовной кн. Н.И. Одоевского московским усадьбам, отчасти объясняется влиянием на нее духовной Ф.И. Шереметева, бравшейся за образец. Но перечисление всех строительных хлопот с дворами, совершенно излишнее для сути дела, красноречиво свидетельствует о том, что обустройство быта своей многочисленной семьи занимало в его занятой государственной службой жизни далеко не последнее место. И в смертный час его заботило не столько собственное погребение и поминовение, распоряжения о которых лаконичны, сколько обеспечение своих внуков и малолетних правнуков, большинство из которых жили с вдовыми матерями.

Противоположным образом проявляет себя кн. В.Т. Долгоруков. О дворе он пишет кратко: “Да останется после моего живота двор московский да вотчина Оболенская – жене моей до ея живота”, но распоряжения о погребении и раздачах по смерти на сорокоуст занимают в духовной его основное внимание. И дело не в размере сумм, выделяемых на вклады (они весьма небольшие), а в скрупулезности и обширности перечня монастырей и храмов с упоминанием имен их священнослужителей. Рискуя утомить читателей этим списком, все же приведем перечень московских монастырей и храмов, которым князь распоряжается выдать на сорокоуст от 3 рублей до 40 алтын: Сретенский, кн. Михаила Черниговского, Покрова на Рву (храм Василия Блаженного), Никола Гостунский, Златоустовский монастырь на Покровке, Сретенский монастырь, “где Пречистая Богородица стоит Владимирская”, Троица на Никольской, Спас на Никольской, Никола Старый, Ивановский монастырь, Пречистой Гребневской, Пречистой Введения, Рождественский монастырь, Алексеевский монастырь в Чертолье, на Никольской Жены мироносицы, Спас на Глинищах, Всех Святых на Кулишках, Пятница на Кулишках, Владимир в Садах, Петроверигский, Покров Святой Бо-

городищи на Покровке, Воскресенье в Китае-городе, Никола Чудотворец у Ильинских ворот, на Введенской улице Введение Пречистой Богородицы, на Ипацкой улице Ипатий Великий, на Варварской улице Варвара Великая и Максим Великий, Микита Великий за Яузой. Иван Богослов, Спас в Копье. Такую мысленную прогулку по московским святым местам совершил перед смертью опальный кн. Долгоруков, умиравший вдалеке от них, в своем Галицком поместье. Этот перечень московских храмов единственный, большинство бояр завещали деньги на сорокоуст в крупнейшие монастыри (что, впрочем, делает и Долгоруков), и московские церкви упоминаются лишь единично. Например, Ф.И. Шереметев, как и некоторые другие, не вдаваясь в подробности, распорядился просто "а денег у меня на поминки, на годовые сорокоусты на триста церквей три тысячи рублей". Возможно предположить, что кн. Долгоруков, в отличие от остальных, знал и любил московские храмы, был лично знаком с их клиром и тосковал в изгнании по Москве (*Долгорукий*, 1633, 22-24).

В духовной кн. Дмитрия Мамстрюковича Черкасского из всего его имущества особенно выделяется огромная коллекция мошей святых и других церковных реликвий, а также кони, их упряж и повозки. "Отказываю брату своему, боярину князю Якову Куденетовичу, большие стойлы с лошадьми, что на Москве, да корету большую, да возок распускной, и в селе Гульневе и в селе Василевском жеребцы аргамаки, и литовские, и нагайские, и кобылицы аргамакские, и литовские старые и молодые, и жеребятки, ... и кошевые мерины, а росписи лошадям взять у прикащиков, кому лошади приказаны". Своему крестнику кн. С.А. Урусову кн. Черкасский оставляет саблю с ножнами и свою драгоценную конскую упряжь: "Муштук болшой полской серебряной позолочен, похви<sup>19</sup> с поперстью<sup>20</sup> и с узденицею, да седло оправное, оправна серебряная, покрыта черным бархатом, крыльна шнты серебром, да за золотом по черному бархату шты по зеленому хозу<sup>21</sup> золотом волоченым, стремена булатные, а в них 4 зерна мурминских, насечены золотом с выскры, да два жеребца аргамачных, из гулевских, добрые". Князю Ивану Арслановичу Черкасскому также отказывается "из больших лошадей лошадь моево седла". К остальному своему добру, пожалуй, кроме окладов икон, описанных в духовной весьма подробно, у Черкасского совсем иное отношение: дворы московские на Никитской и Арбате он просит продать, и лишь один двор в Белом городе завещается племяннику, но двор этот не отстроен: "А что на хоромное строение, в Московском уезде в Филипкове в деревнях лес выронен (срублен. — О. К.) и тот лес перевести хоромной и всякой дворовой ис Филипкова к Москве и хоромы на дворе построить и всякое дворовое строение". В застройке пустоши Мясищево, арендованной "по свой живот" у Воскресенского монастыря, Черкасский также мало преуспел: "Постро-



ил на той пустоши три двора крестьянских". Поэтому ему приходится просить душеприказчиков достроить начатое: "Построить на той пустоши двор монастырский, а на дворе поставить избу да клеть, и двор оградить, и ворота поставить и тое деревню Мясищево после моего живота отдать в Воскресенский монастырь".

Совершенно ясно, что конюшни стояли в центре интересов частной жизни кн. Черкасского, когда он на склоне лет отошел от ратных дел. Кабардинец по происхождению и полководец, кн. Д.М. Черкасский был вдов, не имел детей и, видимо, мало интересовался домом и хозяйством. Судя по духовный, существовал лишь один близкий ему человек – брат Яков Куденетович – он и наследник, он же и душеприказчик, он же и кредитор Черкасского, только он и благословляется иконами. Не сделал кн. Д.М. Черкасский и обычных вкладов по душам родственников, в этом отношении просьба его к душеприказчикам только одна – дать в Симонов монастырь 200 руб. по душе царя Симеона Бекбулатовича, марионетки Ивана Грозного (*Черкасский*, 1649). Причина этого поступка для меня необъяснима.

Кн. В.Г. Ромодановский значительно более других детализирует в духовной обряд своих похорон и поминовения. Большое место занимает у него перечисление многочисленных вкладов, сделанных при жизни в монастыри по душе своей и всех своих родственников (жены, тещи, детей, родителей). Далее он просит и впредь, "покаместа жена моя и сын живы", поминать его на вседневных обеднях, "а Псалтыри по мне велеть говорить все шесть недель, и день, и ночь, и канун за душу умершего, а найму дать как мочну на нас, на месте велеть говорить людям моим шесть недель по две Псалтыри на день, да по два кануна. Дати им за то 12 рублей. А над гробом моим после шти недель велеть говорить год по Псалтыре на день, да по два кануна за душу умершего, а дать за то двадцать рублей на год. А после тех дву годов велеть по мне говорить над гробом моим на день по два кануна за единоумершего пять лет, а будет мошно, и шесть, велеть говорить на день по одному кануну за единоумершего". Потом следуют распоряжения жене о раздаче милостыни – "пока она жива будет".

Иначе говоря, мысли кн. Ромодановского перед смертью занимает его существование в ином мире. Пока он жив, он хочет самостоятельно распорядиться о максимальной помощи для своей души. Помимо церковных служб, обеспеченных за вклады, кн. Василий велит обеспечить ее поддержку и "домашними средствами". Вдова должна посылать "своих людей" за немалую плату читать псалмы и канон над гробом усопшего мужа, находящемся в Воздвиженском монастыре. Не только положенные шесть недель до сорокоуста, но целых пять лет семья не оставит его душу в одиночестве, а гроб – в забвении (*Ромодановский*, после 1662).

Кн. Данилу Мезецкого более занимал вопрос о своевременном поминовении его умерших родственников, за которых он дает вкла-

ды и к ним детальные указания на то, в какой Синодик их вписать, как и в какие дни их помянуть. Видимо, он не успел договориться об этом с монастырями заранее. Однако в духовной Мезецкого есть и более примечательная особенность. Он не только систематически отмечает все "государевы пожалования", но и указывает, за какую именно службу они даны. Свой гроб он просит покрыть шубой из золотого атласа – "государево жалованье", брату отдает "кубок большой, – государево жалованье". Далее следуют земли, "что пожаловал меня, князя Данила, тою вотчиною за службу, и за кровь и за осадное сиденье царь и великий князь Василий Иванович всяя Руси", "а пожаловал тою вотчиною<sup>22</sup> меня, князь Данила, государь царь ... Михаил Федорович... и отец его... патриарх Филарет ...за службу, за московское сиденье за осадное, что с ним, государем был на Москве, как королевич полской Владислав приходил на Москву"; еще одна вотчина пожалована ему "за посольство как съезжался с польскими и литовскими послы в прошлом в 127 (1619. – О. К. ) году" (*Мезецкий*, 1628, 78). Нетрудно уловить в этом гордость князя за свои заслуги. В то же время мы ничего подобного не видим, например, в духовной его современника кн. Дм. Пожарского, имевшего не менее и заслуг, и пожалований<sup>23</sup>.

В духовной кн. Д.М. Пожарского звучит совсем иной мотив – внимание, за которым, видимо, скрыта любовь к своей второй жене Федоре (Голицыной). Ее он с необычной для духовной ласковостью называет "бедной своей горькой женой" и оставляет ей непомерное количество своих земель, слуг и разного имущества. Он указывает вотчину, "откуда ей, бедной, дровишки иметь", пишет о золотых братниках, "из чево она ныне пьет", оставляет ей лучших санных гнedyх лошадей, "на чем ей ездить", и так благословляет ее иконами: "А которые образы в постельной у княгини в хоромех, и теми образами всеми благословляю княгиню, никому до них дела нет, потому что теми образами нас на свадьбе благословляли". В случае смерти Федоры кн. Пожарский велит двум своим сыновьям от другого брака "погresti ее честно" и "ее иметь за мать свою" (*Пожарский*, 1642, 427, 429, 436)<sup>24</sup>.

Проникнуты заботой о семье и две духовные Андрея Самарина-Квашнина. Их особенность состоит в том, что они, видимо, писались только для семейного пользования, а не для утверждения в приказе, и не имеют никаких обычных признаков официального оформления. Они составлены без посторонних свидетелей, одна – рукой самого Самарина, другая, написанная несколько лет спустя, – его сыном. Объяснение этому находится в самой духовной – недвижимость главы семьи уже оформил за сыновьями при жизни – "за Михаилом и Петром по поступке моей справлены вотчины мои и матери их вотчины". Собственно цель написания первой духовной – обеспечить мир и лад в семье, обязать старших сыновей слушаться во всем мать,

выдать замуж сестер, а меньшего брата “ни в чем не избидит [ъ], и во всем ево снабдеват [ъ] и учит [ъ]” (*Самарин-Квашнин*, 1692, 198).

### 3. *Invocatio u intitulatio*

В начальной строке боярских духовных, содержащей обращение к Богу (*invocatio*), преобладает его краткий вариант: “Во имя Отца и Сына и святого Духа”. Другой, также хорошо известный по древнерусским духовным, расширенный, вариант “во имя Святой Живоначальной и нераздельной Троицы”<sup>25</sup> был использован и сопровождается аренгой в духовной Ф.И Шереметева. Этот текст в свою очередь оказался заимствован его наследниками – дочерью кн. Е.Ф. Одоевской и зятем кн. Н.И. Одоевским. В духовной кн. Н.И. Одоевского он представлен в наиболее полном варианте: “Пишу сию духовную во своем целом смысле усмотрих, что постигает меня старость и умножилися частыя и различныя болезни, ими же человек от Бога казним грех ради моих, яко никогда же ничтоже возвещающе, разве смерть и суд Страшный Спасов будущего века. И от сего во мне смущается сердце, исхода душевного ради и страх смертный нападе на мя и покры мя тма (тьма. – О. К.) недоумения, и что сотворю не вем (не знаю. – О. К.), но возвергну на Господа печаль свою, да той сотворит, яко же хочет, понеже бо хочет всем человеком спастися и в разум истинный прийти” (*Одоевский*, 1689, 1; ср.: *Шереметев*, 1645, 495; *Одоевская*, 1671, 341). Этот текст является заимствованием из духовной игумена Кирилла Белозерского 1427 г.<sup>26</sup>, который в свою очередь использовал духовную митрополита Киприана 1406 г.<sup>27</sup> Появление такого начала в духовной Шереметева не случайно – она писалась в стенах Кирилло-Белозерского монастыря, постриженником которого стал Шереметев. Этот пример показывает, с какой легкостью и естественностью заимствованные тексты в то время использовались от первого лица и как трудно бывает не ошибиться в их истинном авторстве. Он также еще раз свидетельствует о том, что при составлении своей духовной из личного архива извлекались и использовались духовные предков.

После обращения к Богу автору духовной следовало назвать себя. Эта простая процедура исполнена весьма по-разному в разных духовных. Общим является неукоснительное именование себя “рабом божьим” (иногда добавляется “многогрешный”). Эта, казалось бы незначительная, деталь говорит о том, что духовная не стоит в одном ряду с другими частными и официальными актами, в которых подобное самоопределение отсутствует. В них человек именуется просто по имени и сословию: крестьянин, торговый человек, дьяк, священник, боярин и т. п. Иначе говоря, завещание мыслится как документ, относящийся более к духовной, чем к социальной сфере, и то, что в нем сказано, сказано перед Богом, предстать которому водворе суждено “рабу многогрешному”.

Лица, имеющие княжеский титул, как правило, помещают его перед своим именем, а вот свой служебный чин в духовной авторы обычно вообще не обозначают. Примечательны тут исключения. Боярский чин в духовную включил кн. Д.М. Пожарский, получивший его за особые заслуги перед отечеством (*Пожарский*, 1642, 426). В Я. Голохвастов называет себя думным дворянином и делает это не случайно: только при нем его род, ранее имевший низшие чины Государева двора, сумел получить доступ в Думу. Чин думного дворянина явно был предметом гордости неопита Голохвастова. Он также прописывает полностью свое отчество с "вичем" – "Яковлевич", что являлось привилегией думных чинов. Так пишут свое имя в духовной очень немногие. Смирения ради имя дается в самом простом варианте. Боярин Шереметев именуется как простолюдин – "Федор Иванов сын", некоторые просто употребляют имя без отчества. Следует отметить, что многие люди того времени имели два имени: мирское и крестное<sup>28</sup>. Мирское имя употреблялось как в обиходе, так и в различных деловых бумагах, а крестное имя могло не употребляться вообще. Но в духовной автор обязательно называет свое крестное имя. Например, Ждан Кондырев пишет, что его "прямое имя Тимофей"; кн. Владимир Долгоруков именуется себя "князь Петр"; кн. Дмитрий Пожарский – "князь Козьма". Свое единственное имя "Никита" кн. Одоевский в духовной прописывает по греческому образцу "Иа-никита". Все это свидетельствует о том, что индивид в духовной перед лицом смерти или с мыслями о ней приводит себя в состояние смирения, предстает просто как крещеный человек, как "раб божий", отбрасывая свое мирское имя и свои чины, но не отрекаясь от княжеского титула, так как этот титул, в отличие от чинов, дан ему не человеком, но Богом. Такая начальная часть духовной настраивает на то, что все нижеследующие распоряжения будут основываться на справедливости. Перед лицом Бога он делает последний расчет с миром и близкими людьми.

#### 4. *Dispositio*

##### *Душеприказчики*

Если при определении наследников выбор ограничивался законодательными нормами, то выбор душеприказчиков основывался на личном желании человека. Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что душеприказчики выбирались из наиболее близких людей. Им завещатель оказывал особое доверие, вручая судьбу своей семье, своего имущества и своей души. Миссия душеприказчика весьма деликатна – он входил во все внутрисемейные дела и иногда в непростые отношения между наследниками. Душеприказчики выполняли следующие поручения: следили за неукоснительным выполнением всех распоряжений, а именно за разделом наследства, отдавали и получали долги, осуществляли все распоряжения, связанные с похоро-

нами и поминовением души, опекали вдову и малолетних детей<sup>29</sup>. Какие-либо конкретные указания для душеприказчиков в духовных встречаются нечасто<sup>30</sup>, тем не менее тексты дают возможность представить себе их обязанности.

Душеприказчики были призваны контролировать действия наследников, которым не всегда было можно доверять. Наследники были подотчетны душеприказчику, который оказывал им помощь и покровительство. Наследники-родственники также часто становились душеприказчиками, но в ряде случаев они оказывались в подчинении "главного" душеприказчика. Так, боярин Ф.И. Шереметев подал челобитье самому царю с просьбой быть его душеприказчиком и в нем писал: "...и пожалуй, государь, вели по духовной моей себя, государя (себе, государю. – О. К.), докладывати зятю моему, боярину князю Миките Ивановичу Одоевскому (он тоже в числе душеприказчиков. – О. К.)" (*Шереметев*, 1645, 497).

Особые хлопоты ложились на плечи душеприказчика, если в семье оставались вдовы и малые дети. Тогда душеприказчики становились их прямыми опекунами, о чем и находим достаточно лаконичные распоряжения в духовных: "...а жену свою и сына своего князя Степана им же прикащикам приказываю... и жену и сына моево пожаловать беречь" (*Ромодановский*, после 1661, 1). Различным было положение жен – некоторые нуждались в опеке и покровительстве, другие сами оказывались душеприказчицами. Последнее происходило тогда, когда муж имел основания не предполагать ее повторного замужества. Среди душеприказчиков нет дочерей, но присутствуют их мужья.

Душеприказчиков, как правило, назначалось несколько, чтобы быть гарантированным от утраты в случае их смерти. Обязательной фигурой среди них был духовный отец, лишь в тех редких случаях, когда его имя не значится среди душеприказчиков, его можно найти среди свидетелей. Духовный отец в частной жизни православного человека играл огромную роль<sup>31</sup>: ему следовало поверять все свои грехи, от груза которых, беря их на себя, мог освободить лишь духовный отец. С духовным отцом советовались по любому поводу и принимали какие-либо поступки с его благословения<sup>32</sup>. Как при жизни человека, духовник был в курсе частной жизни, поступков и помыслов человека, которые он контролировал с точки зрения христианской морали, так и в предсмертный час он был с ним, принимая последнюю исповедь, и после его смерти он продолжал заботиться о его душе. Духовные отцы, названные в боярских грамотах, относятся к белому духовенству – это попы или протопопы московских, а иногда и провинциальных храмов.

Среди душеприказчиков неожиданно оказывается немало лиц, не имевших близкой родственной связи с завещателем, это "покровители", находящиеся на более высоких ступенях иерархической ле-

стницы, или друзья. Их из 94 душеприказчиков, названных в рассматриваемых грамотах, 33 человека (35 %), духовных отцов 17 (18 %), а родственников 44 (46 %). Среди последних более всего оказалось племянников (см. прилож. 1,2). 21 человек был одновременно и наследником, и душеприказчиком.

Выбор душеприказчиков осуществлялся и согласовывался с кандидатом на эту роль заранее. Согласившийся принимал на себя много хлопот и обязанностей, которые обязательно компенсировались в завещании. Один из примеров того, как происходил договор о душеприказничестве, сохранился в распросных речах, снятых во время свидетельствования духовной: “А прикащик князь Григорей Долгоруково перед митрополитом сказал: мне, де, господине, тесть мой Семен Васильевич сын Стефанова прежде сего до своей смерти бил челом, чтобы яз велел ему себя написати в духовную в приказ, – и яз, господине, ему в духовную приказался, написати себя велел. И как писана духовная, и яз в те поры был на государеве службе в Смоленску. И как есми из Смоленска переехал к Москве, и прикащик тестя моего Семена старец Паисей Мичюрин мне сказывал, что де, тесть мой Семен в поветрее разболелся и духовную грамоту писал при своем животе и писал в приказ ево, старца Паисию, и меня, князя Григорья, в духовную свою грамоту и руку Семен свою к духовной приложил”<sup>33</sup>.

Живой голос, обращающийся с просьбой к брату об опеке семьи, слышен в личном письме тюменского воеводы стольника А.В. Кафтырева: “Писал, государь, к тебе, преж сего, что судом Божиим жены моей Агафьи не стало декабря в 11 число, а сын мой и ея, Яков, остался тридцати недель, и мне, государь, смотря на него всегда слезы. С кручины и памяти рушился, и веку своего не чаю долгого. И без меня кому детей моих призреть? Надежа, государь братец, на тебя, света своего, да на невестку Анну Ивановну, только Бог продлит живота вашего”<sup>34</sup>. Известен и случай отказа душеприказчиков, первоначально согласившихся, а через несколько лет отказавшихся играть эту роль: “А что есми в своей духовной писал в прикащики князя Ивана Федоровича Мстиславского да Микиту Романовича Юрьева в лето 7074-го, и после того князь Иван Федорович и Микита Романович мне говорили: в духовную себя писать не велели”<sup>35</sup>.

Если обстоятельства позволяли, душеприказчики присутствовали при составлении завещания. Например, при подписании духовной кн. В.Т. Долгорукова присутствовали только двое из пяти душеприказчиков – жена и племянник, так как умирал опальный князь вдали от Москвы. А у духовной В.Я. Голохвастова “сидели” все шесть душеприказчиков. Сам Василий Яковлевич при этом “в скорби своей руки приложить не смог”, это сделал за него духовный отец (Голохвастов, 1678, 95). На примере духовной Голохвастова посмотрим, какие наблюдения может дать анализ состава душеприказчи-

ков. Первым значится боярин И.М. Милославский, один из самых влиятельных лиц Боярской Думы. Его согласие быть душеприказчиком явно свидетельствует о том, что он покровительствовал Голохвастову и тот, видимо, не без его помощи получил думный чин. Среди душеприказчиков также – отец духовный – протопоп Покрова на Рву, вторая жена Ульяна, друг или свойственник М.И. Деримовтов и два двоюродных брата Голохвастова Иев и Иван. Последние имели полное право занять в духовной место не душеприказчиков, а наследников родовых вотчин умирающего, так как он не имел сыновей. Но Голохвастов передает земли не им, а зятю – влиятельному боярину Ромодановскому, и делит все наследство между семьей дочери и своей второй женой Ульяной. Распоряжения Голохвастова по наследству, хотя и не выходили за рамки законности, содержали в себе возможность конфликтов как между семьей дочери и мачехой, так и между ними и мужскими представителями рода. Видимо, еще при жизни Голохвастов уладил с братьями этот вопрос полюбовно, и они согласились в качестве душеприказчиков исполнять его волю, что подстраховывалось остальными приказчиками.

Весьма любопытен состав душеприказчиков у боярыни вдовы кн. И.М. Мстиславской. Среди них нет ее родственников, зато есть четыре самых важных из бояр в Думе, к которым принадлежал и ее муж, а также сестра мужа. Их она просит похлопотать перед царем о том, чтоб ее земельные распоряжения были утверждены (*Мстиславская*, 1630, 133–134). А вот боярыня кн. Антонида Хворостинина пятерых душеприказчиков выбрала из высшего клира Троице-Сергиева монастыря (*Хворостинина*, 1617, 1). И в других случаях размышления над составом душеприказчиков также обязательно раскроют определенные стороны взаимоотношений в семье автора духовной.

#### *Немного о наследниках*

В отношении недвижимого наследства завещатель-отец вынужден был безукоснительно соблюдать права своих сыновей, незамужних дочерей и жены. Никакие личные отношения на распределение наследства тут не влияли. Но когда у наследодателя не оказывалось сыновей, которых следовало равно обеспечить, принцип равенства нарушался и, следовательно, в распределении наследства могли проявиться определенные симпатии и антипатии. Этот факт до сих пор не привлекал внимания исследователей, подчеркивавших в первую очередь равенство наследования в русской традиции. Уже в отношении внуков и племянников происходил определенный выбор наследников. Так, кн. В.Т. Долгоруков не имел детей, но у него было множество племянников. Лишь один из них, Богдан, живший со своей семьей вместе с Долгоруковым в опале, назван единственным наследником его родовой вотчины. Видимо, дядя заменил ему умершего отца.

А кн. Д.М. Черкасский выбрал в наследники своего "брата"<sup>36</sup>, предпочтя его племяннику Г.С. Черкасскому. Племянник обиделся и бил челом патриарху в том, что дядя его "вотчины свои все, нежаляючи его, отказал брату своему, боярину князю Якову Куденетовичу Черкасскому не против государева указу и Соборнова Уложения, мимо ево, племянника роднова", и просил патриарха духовную "не свидетельствовать и не печатать", а о наследстве "указ учинить" (*Черкасский*, 1649, 5).

Внукам по дочери в обход мужской линии передал свои несметные богатства боярин Федор Иванович Шереметев. Сын Шереметева умер в отрочестве, а из двух дочерей – одна приняла постриг, другая, Евдокия, вышла замуж за боярина Никиту Ивановича Одоевского, и ко времени завещания Шереметева у них были четыре сына и одна дочь. Члены этой семьи и получили наследство от Федора Ивановича. В духовной 1645 г. Шереметев просил особую санкцию царя Михаила Федоровича на передачу одной из родовых вотчин дочери, а также на вклад вотчин в монастырь. И то, и другое было законодательно запрещено, но запреты эти боярину можно было и обойти (*Шереметев*, 1645, 497). Царю-душеприказчику Шереметев "ударил челом" (т. е. подарил) вотчиной с 1072 крестьянскими дворами и мог сделать, как хотел.

Федор Иванович терпеть не мог своих племянников "Петровичей", но тем не менее по указу царя часть родовых земель пришлось отдать им, так как они еще при жизни Шереметева стали оспаривать его духовную. Шереметев писал, что племянники "умышляют и хотят по смерти моей ... мимо моей духовной, затевая ложным своим челобитьем, поимати себе насильством и животы разграбить"<sup>37</sup>.

В результате главная часть наследства отошла в семью дочери. Но Ф.И. Шереметев не разделил его между внуками поровну: львиная доля движимости и ббльшая – земли завещалась младшему из них – Якову. Ему он передал "все свои животы и московские дворы, а братьям ево ...дал вотчин малое число" (*Одоевский*, 1689, 3). Возможно, но маловероятно, что дед испытывал к Якову особую симпатию. Когда писалась духовная, внуку было лет 5–7, а с детьми этого возраста мужчины общались мало, мальчик до 6 лет должен был жить на женской половине дома и воспитываться мамками и няньками. Скорее причина передачи Якову наследства лежала в его малолетстве, при котором именем распоряжались более разумно его родители. Примечательно, что к наследству трех других внуков и внучки Шереметев применил право субституции, т. е. указал, к кому оно должно перейти после их смерти – во всех случаях его наследуют не дети этих внуков, а их братья и мать. И только в отношении Якова нет указания, кому после его смерти достанется его доля (*Шереметев*, 1645, 319–336). Воля Шереметева оказалась провидческой: старшие братья Якова в отличие от него прожили недолгую жизнь.



Но после них остались сыновья, а у Якова были только дочери. Яков получил и от отца кн. Никиты Ивановича, и от матери Евдокии Федоровны значительную долю наследства, которое отошло в качестве приданого к его дочерям, перешло в род кн. Черкасских, а затем, через ряд брачных союзов, вновь вернулось в род Шереметевых.

В завещании зятя Ф.И. Шереметева кн. Никиты Ивановича Одоевского также обнаруживаются приоритеты. Прожив уникально долгую жизнь, Одоевский пережил не только своих жену и детей (кроме Якова), но и внуков, и среди наследников имел правнуков. Один из правнуков, сирота, выделен им в духовной особо в качестве приемного сына. "Правнука своего князя Юрья Юрьевича взял яз у отца ево... за сына место (вместо сына. – О. К.) шти (шести. – О. К.) лет, вскормил ево и выучил", – писал боярин (Одоевский, 1689, 6). Этот Юрий и его брат Михаил получили от прадеда основную часть наследства.

Наследодателю также часто приходилось выбирать между женщинами своей семьи, имевшими права только на приданое, и мужчинами, имевшими гораздо больше прав на землю, обеспечивавшую их государеву службу. Во многих случаях наблюдается стремление дать женщинам земель более, чем их приданое. Это встречало сопротивление со стороны родственников по мужской линии, поддерживаемое законодательством XVI–XVII вв. Получение женщинами в наследство вотчин "было возможно только в тех случаях, когда они не встречали возражений со стороны родичей, которые в таких случаях могли выступить в качестве выкупщиков"<sup>38</sup>. Сыновья, дядья, племянники оспаривали духовные, в которых земля завещалась женщинам "мимо них". Так, сын боярина И.В. Морозова Михаил протестовал против того, что отец разделил всю вотчинную землю по трети: одну – Михаилу, одну – его замужней сестре и одну – вдове. Завещание И.В. Морозов писал в 1656 г., будучи 80-летним старцем, постригшимся в монахи, а Михаилу было в то время немногим больше 20 лет. Но вот умерла и мать Михаила, оставив свою долю не сыну, а зятю И. Голицыну, и дав из нее приданое внучке, в замужестве Черкасской. Михаил был обижен, он полагал, что вся отцовская земля по праву должна принадлежать ему. В 1675 г. он решился опротестовать завещания отца и матери. В этом году он, ближний стольник, получил одну из самых почетных должностей – судьи Владимирского судного приказа<sup>39</sup> и, видимо, почувствовал себя достаточно влиятельным, чтоб выиграть дело. Жалобу рассматривала Боярская Дума, которая нашла доказательства Михаила неубедительными: представленную им челобитную отца на передачу ему земель сочла сомнительной, так как она не имела подписи, а также наводила на вопрос, почему "он, Михайло, ту челобитную у себя многое время держал, а при животе отца своего той челобитной в приказ не принес?". В отношении же завещания матери ему было сказано, что она, по д

ховной мужа, в тех вотчинах свою третью “вольна”, т. е. может распорядиться ими, как пожелает<sup>40</sup>. Очевидно, что Черкасские и Голицыны в отказе Михаилу сыграли не последнюю роль. Свидетельствует ли эта история о том, что Михаил был нелюбом в семье, поэтому его обошли наследством? Думается, что отец не мог поступить иначе, ибо замужество его старшей дочери за Голицыным было важно для укрепления клана Морозовых, и он не мог обойти ее семью в своей духовной, не мог он оставить без средств и жену. Последняя же, видимо, жила с семьей дочери, воспитывала внушек, которых и наделила богатым приданым.

Этот пример подтверждает то, что в отличие от мужчин женщины-вдовы имели право более свободного выбора одного из нескольких наследников. В данном случае оно оказалось подтвержденным столь авторитетным органом, как Боярская Дума. Правда, муж, передавая жене земли сверх ее приданого, мог применить к ним в духовной право субституции, обязав ее завещать их тому, кому он укажет. На приданные земли его воля не распространялась, к ним свою власть мог применить отец. Так, кн. Е.Ф. Одоевская перед пострижением завещала сыну Якову свою приданую вотчину, “боясь Страха Божия и отца своего боярина Федора Ивановича клятвы”. Однако текст показывает, что она делала это с превеликой неохотой, опасаясь, что сын лишит ее доходов с этой вотчины, пока она будет жить в монастыре (Одоевская, 1671, 348–349). Кн. И.М. Мстиславская, напротив, оказалась свободной в своем выборе. Ссылаясь на завещание мужа, она писала: “Мне волно те вотчины продать, и кому дать, и по душе отдать в монастырь”. Правда, ее свобода в выборе наследника, видимо, связана с отсутствием детей. Земли свои она завещала золовке и брату (Мстиславская, 1630, 133–134). Кн. Д.М. Пожарский часть вотчин разрешает жене “хочет продать, хочет – по душе отдать”, а другую часть просит по смерти передать ее пасынкам, но при этом дает ей возможность выбора между ними: “...похочет которого одного благословить, и она в том вольна” (Пожарский, 1642, 428).

Таким образом, принцип долевого наследия в русской традиции не был абсолютным и на деле допускал выбор наследников из круга своих близких<sup>41</sup>.

Вся наследственная масса в духовных состоит из земли, городских и загородных дворов, пожитков, скота, хлеба, из икон и холопов. Земли – вотчины родовые, выслуженные и выкупленные – главное богатство боярина. Помимо них, имелись поместные земли, которые в XVII в. фактически также отходили к детям – наследникам мужского пола, но не по завещанию, а по их просьбе к государю оставить за ними отцовские поместья. Из этих видов владения свободно человек мог распоряжаться только выкупленными вотчинами, именно они и передавались женам и дочерям или продавались для вкладов в монастырь. Фактически покупалась не земля как таковая,

а права на ее свободное владение, поскольку выкупались собственные поместные и выслуженные вотчины. Так, Ф.И. Шереметев писал, что его жалованные вотчины выкуплены, "а в купчей написано, волно мне те свои выслуженные вотчины отдать кому хочу". Он "купил свои же выслуженные вотчинки и покупал из ...дворцовых и из поместных земель, у вотчинников – для того, чтоб по смерти моей вражды не было" (Шереметев, 1645, 300). Вражда ликвидировалась тем, что выкупленные вотчины уже невозможно было оспаривать. И как это ни странно, анализ состава земельных владений боярина свидетельствует не только о его экономическом положении, но и о степени его стремления к свободе выбора и, в конечном счете, о его индивидуальности.

Был и другой путь избежать распрей и вражды между наследниками, это путь "короля Лира". Им пошел боярин И.П. Шереметев, оформив вместо духовной дарственную (данную) грамоту на наследников. За неделю до смерти он подал челобитную государю с просьбой, чтобы тот "пожаловал ево, велел те ево вотчины и дворы Московские против сего его челобитья росписать за женой ево и за детьми при нем, покамест он жив"<sup>42</sup>.

Родовые земли – ценность, честь и гордость рода, они – "благословение" предков. Поэтому в духовных они определяются к продаже редко и продажа эта зачастую фиктивная – землю покупают родственники, чтоб отдать деньги в монастырь. Иное отношение к родовым усадьбам как к собственности преходящей, их с легкостью продают, если нет малолетних потомков, живущих с матерью в этой усадьбе. Выделяется на этом фоне строительство в московских дворах родовых церквей кн. Н.И. Одоевским и его просьба поэтому дворы не продавать. Такое формирование понятия "родительский дом", родовое гнездо, как кажется, является проявлением нового веяния.

На продажу и в раздачу идут пожитки усопшего. Раздача определенной части личного имущества своим близким носила характер ритуального дарения.

Первенствующее и особое место в нем занимали иконы. Собственно говоря, их к "имуществу" люди того времени никогда и не относили. Все духовные содержат специальный раздел "благословения иконами" всех родных и близких, именно по нему легко определяется этот круг лиц. Кн. П.Г. Волконская благословляет иконами 33 человека, перечень которых занимает большую часть ее духовной. Очевидно, что она придавала этому акту особое значение, а круг ее близких был весьма широк. Этим же отличается и духовная Е.Ф. Одоевской. Из нее становится ясным, что если умирающий был в состоянии, то благословение он мог осуществить и лично. Она пишет: "Буде я постригусь в силе, и образами благословлю сама" (Одоевская, 1671, 343). Иконами благословляются не все лица, получающие определенные имущественные дары. Например, кн. М.М. Тем

кин-Ростовский благословляет "образом" одного из своих племянников и не делает этого в отношении другого (*Темкин-Ростовский*, 1661, 137). О том, что через благословление иконами выражались симпатии и антипатии, свидетельствуют уникальные воспоминания князя Б.Г. Куракина. Его отец умер, когда ему, младшему сыну, было 7 лет (в 1683 г.), и Куракин об этом вспоминает следующее: "Имел я отца ббльшую любовь пред другими детьми. И на память той милости, при конце живота, благословил образ Спасителей Нерукотвореннаго, которым его благословил также отец, а мой дед"<sup>43</sup>.

Благословение иконой носит вполне определенный сакральный характер: переданная с благопожеланиями, она будет оберегать владельца от бед, а тот – просить святого за душу усопшего дарителя. Все упоминаемые иконы, как правило, описаны подробно: чей образ и, обязательно, каков оклад. Оклад и прочие украшения иконы также имеют большое значение: вложенные в них драгоценные металлы и камни – своего рода пожертвования образу. Вот, к примеру, вышеупомянутая кн. Волконская благословляет внука "образ Пречистыя Богородицы Федоровския, обложен серебром венец, и ожерелья, и рясы жемчужные". У этого образа горела свеча неугасимая, и Волконская просит внука, чтобы и при нем "не погасла свеча день и ночь" (*Волконская*, 1680, 196).

"Благословляют" близких только вотчинами и иконами, другими вещами "бьют челом" (т. е. просят принять в дар). Следующее место после икон занимают сосуды для питья: стопочки, чарочки, ковшики и др. В их перечислении даже намечается своя иерархия. Так, кн. Мезецкий старшему брату "бьет челом" "кубком серебряным болшим государева жалованья", а племяннику дает "кубочек серебрян из менших кубков" (*Мезецкий*, 1628, 76). Видимо, питьевые сосуды возникают в тексте духовных не случайно: из них пьют как за здравие, так и за упокой.

Вслед за сосудами мужчины жалуют близких коврами и их упряжью, воинским снаряжением, парадной одеждой, особо дорогими и ценными боярином: они обычно передаются наследнику. Иногда отмечается, что конь "моего седла", одежда и вооружение "что сам носил". Редко упоминаются в духовных книги, хотя в боярских домах они, безусловно, были. Среди женских персональных дарений на первом месте – платья и драгоценные украшения. Но не всегда духовные содержат детализированные указания о раздаче вещей. Например, распоряжения о вещах кн. Мстиславской уместились в одну строку: "А что рухледышки моей осталось, и тое мою рухледышка испродать" (*Мстиславская*, 1630, 134). Видимо, в этих случаях персональная раздача значимых вещей уже произведена при жизни. Так, Ф.И. Шереметев пишет во второй духовной: "А живобы я свои, и лошади, и служивую рухлядь продал и роздал при себе после духовной своей" (имеется в виду первая духовная. – О. К.) (*Шереметев*, 1649,

516). Пожитки в духовных, когда они поименованы детально, раскрывают "вещный мир" своего хозяина. Вот одно из обычных перечислений предметов боярского обихода: "А что после живота моег[о] останетца всякого моего пожитку: судов серебряных, и всякого моего платья, и шапок, и конские сбруи, и ружя, и седел, и сабель, и кавров, и медные и оловяные и поваренных черных судов и всякие деревянные посуды, и больших серых немецких возников и людцких коней и меринов, и карет, и избушек, и возков, и всякой конюшенной збруи..." (Голохвастов, 1678, 193).

### Холопы

Многочисленные слуги составляли неотъемлемую часть повседневной жизни боярской семьи. Боярский двор организовывался по типу Государева двора, в котором и сами бояре занимали место наиболее привилегированных государевых слуг, его "дворовых". Хозяину дома следовало проявлять отцовскую заботу не только о своей семье, но и о людях, служивших ему, его домочадцах. Их отпуск на волю – одно из неперемennых действий, совершаемых по смерти боярина. Такова была русская традиция – освобождать холопов по завещанию, им, таким образом, завещалась свобода. По словам подьячего Г.К. Котошихина, в боярских домах находились от 50 до 1000 дворовых людей, "сколько кому мочно", и давали "тем людям жалованье погодное" – от 2 до 10 руб.<sup>44</sup> Эти цифры уточняют акты о моровом поветрии 1654 г., где в перечнях живых и умерших москвичей отмечены также и дворовые люди боярских домов. Наибольшее число их у боярина кн. Я.К. Черкасского – 533 человека, у боярина Н.И. Романова – 486 человек<sup>45</sup>.

Слуги в боярском дворе, упоминаемые в духовных, были различных категорий: "мелкие люди" – обслуживающий персонал, повара, кучера, няньки и т. п., "деловые люди" – ремесленники разных специальностей, к ним же относились грамотеи и приказчики, вевшие делопроизводство и руководившие хозяйством<sup>46</sup>, люди "служивые" – сопровождавшие боярина на военную и другую службу. По характеру зависимости от хозяина они также различались, были люди "старинные" – живущие во дворе и работавшие на боярскую семью "по старине", из поколения в поколение, и люди "кабальные", давшие на себя кабальную запись. Дворовых слуг бояре активно пополняли пленными иностранцами, купленными через Полоняничный приказ. В.Я. Голохвастов в духовной перечисляет своих дворовых как людей "кабальных, и купленных и полонных", а также упоминает крестьянских детей, взятых во двор из вотчин (Голохвастов, 1678, 95).

Отпуск на волю кабальных дворовых по смерти хозяина проходил путем возвращения им кабальной записи. "Да людям моим после моего живота служивым и всяких чинов мелким дать воля, кто

куда похочет, а кабалы им выдать", – пишет кн. Д.М. Черкасский (*Черкасский*, 1649, 5). Помимо воли, дворовые по духовным получали еще и "выходное пособие" в виде "наделок". "Наделок" – или деньги, или та часть имущества, которая выдавалась дворовым при жизни боярина. Служа боярину, дворовые люди получали и одежду, и продукты из боярских запасов. Так описываются эти запасы: "в запасных полатах останетца всякого хлеба и рыбного и всякого запасу и на винном погребе вина и на теплом погребе, и на леднике всякого пития. и иных годовых естественных припасов..." (*Голохвастов*, 1678, 195). Во время сорокоуста бояре просят обеспечивать уже отпущенных ими людей по-прежнему: "А людей моих всех велеть поить и кормить во все шесть недель, как и при мне было, а как шесть недель отойдет, и им, дав наделок, после сорочин и отпустить всякого человека на волю, хто куды похочет, а по чему кому дать наделку, и тому написана роспись" (*Сулешов*, 1643, 6). Некоторые из дворовых людей имели на территории боярского двора собственные избы. При продаже двора завещатели оговаривают, что эти строения остаются в собственности дворовых. "Да что есть у людей моих хором на моем дворе, что в городе и на загородных дворах, – говорится в духовной кн. Д.М. Черкасского, – и те хоромы с места им отдавать" (*Черкасский*, 1649, 5). Тот же сюжет и в духовной кн. Сулешова: "А которых людишек моих избенка, и клетишка, и чуланишка есть свое собинные, и у них тех хоромишек собинных не отимать" (*Сулешов*, 1643, 8).

Дворовые люди боярина получали годовое жалованье, запись которому велась в особых "жалованных списках". Его размер был в среднем от 1 до 5 руб., в исключительных случаях для лучших мастеров он мог достигать и 20 руб.<sup>47</sup> У кн. Ф.И. Хворостинина твердых окладов у дворовых не было, он наделяет их "по силе, смотря по человеку", особо выделяя лишь "деловых людей", которым дается "по полтине и по корове" (*Хворостинин*, 1603, 517). Жалованье слугам задерживалось и платилось нерегулярно, но в духовной хозяин обзывался его полностью выдать. Ф.И. Шереметев, кн. М.М. Темкин-Ростовский велят выплатить слугам двойное жалованье и "премиальные", но "за побег и многие воровства" Шереметев лишает некоторых из дворовых их наделки (*Шереметев*, 1645, 517).

Старинных людей в отличие от кабалных обычно на волю не отпускали. Кн. В.Т. Долгоруков перечисляет своих старинных людей поименно и, единственный из всех, благословляет их иконами, как это было принято по отношению к членам семьи. Кабалные люди отпускаются им на волю тоже не с пустыми руками: кто пожелает остаться у княгини, "и тем дать по образу на золоте или на красках, да жалованья дать по расчету против книг оброк рубашечный и сапожный мужскому полу всем, а которые служивые люди пойдут прочь, и тех отпустить в платье, кто в чем ходит, да им же дать надел-

ку по полутора рубли мужскому полу, а мелким людям, повором и конюхом, дать по рублю, да которые ребята жили у меня в избе Оска Томилин, да Мишка Неустроев, да Сенька Епанчин, и Оске дать рубль, а Мишке да Сеньке дать по полтине" (*Долгоруков*, 1633, 23). Выделяются из общей массы слуг и люди, особо приближенные хозяйну. Кн. Темкин-Ростовский дает некоему Егупке наделку 50 руб. – сумма огромная, столько же он оставляет и духовному отцу на помин души (*Темкин-Ростовский*, 1661, 137–138). Кн. Дм. Пожарский называет всех своих слуг по имени и об одном из них проявляет особую заботу: "А что малой мой Васька прозвищем Ганя, ево приказываю жене своей княгине Федоре, а будет он ей не полюбитца, и ево приказать в Спасский монастырь в слушки, чтоб ево сверстать с добрыми слушками и детям моим ево жаловать" (*Пожарский*, 1642, 437). Боярынь окружала женская прислуга. У кн. П. Волконской были вдовы и девки "большие", "меньшие" и "простые". Девкам она выделяет приданое от 5 до 3 руб., другим оставляет свои рубахи и телогреи (*Волконская*, 1680, 200).

Следует сказать, что отпуск дворовых людей на волю был во многом фиктивным, в большинстве случаев они оставались по собственному желанию у наследников, которым и рекомендовалось завещателями отпущенных людей "звать к себе из воли" обратно. Дело в том, что приобретение воли ставило перед дворовыми много проблем, они теряли стол, кров и покровительство хозяина, им было тяжело найти себе новое место в жизни. На боярских людей не распространялись никакие государственные налоги и повинности, мучавшие посадских людей. В боярском доме дворовые чувствовали себя обеспеченными и устроенными. Некоторым из них удавалось скопить немалые суммы, известны случаи, когда бояре занимали деньги у своих дворовых<sup>48</sup>. Иногда даже обедневшие дворяне предпочитали своей дворянской службе кабалу в боярском дворе<sup>49</sup>. Как отмечал А.И. Заозерский, за спиной боярина «холоп переставал чувствовать себя беспомощным одиночкой, каким был, когда бродил "меж двор", и, мало ценя волю, оставлявшую его голодным и холодным, тем крепче держался за боярский двор»<sup>50</sup>. Однако было бы опрометчивым идеализировать отношения боярина и его слуг. Так, кн. Г.С. Черкасский недальновидно скупал у казаков пленников "черных татар" и "крымчан", вошедших в его дворню, они впоследствии ограбили его и убили<sup>51</sup>. В пространстве боярского двора мир слуг был тесно сопряжен с миром хозяев, и духовные показывают, что он был боярам далеко не безразличен.

#### *Погребение и поминовение*

Погребения знатных боярских семей находились в крупных монастырях, особенно в кремлевском Чудове и в Троице-Сергиевом. Некоторые, однако, предпочитали быть похороненными при церкви

в родовых вотчинах (см. прилож. 1). В отличие от обычных распоряжений похоронить тело в родовой усыпальнице А.Н. Квашнин-Самарин не настаивает на этом, если смерть случится вдали от Москвы: "Буде волею божиею случитца мне смерть, где на городе или в отъезде, им (жене и детям. — О. К.) грешного тела моего к Москве не возит[ь], где случитца смерть, тут и погресть недостойного" (*Самарин-Квашнин*, 1692, 197). Заботливый по отношению к своей семье, он, видимо, не хотел доставлять домочадцам сложных и дорогих хлопот, связанных с перевозом тела. Совершенно иначе распоряжается кн. В.Т. Долгоруков, умиравший, как помним, вдалеке от Москвы, в Галицкой вотчине: "А будет судом Божиим Бог по душу мою сошлет в Галицком уезде в деревне Трубине и жене моей однолишно в Галицком уезде тела моего не класть нигде, а вести мое многогрешное тело к Москве..." (*Долгоруков*, 1633, 23). В Чудове у кн. Долгорукова давно было приготовлено место для погребения: "У родителей моих, подле батюшка моего, а место за нево, на том месте лежит цка<sup>52</sup>" (*там же*, 17). Но из-за постигшей его царской немилости он опасался, что царь и патриарх запретят хоронить его в Кремле, поэтому писал: "А будет по великой нуже, что не велеть [тело мое] положить в Чудове монастыре у родителей, ино положить у Живоначальной Троицы близко храму" (*там же*, 23).

Желание быть похороненным рядом с родителями высказывалось почти во всех мужских духовных (см. прилож. 1)<sup>53</sup>. Из пятых женщин — авторов духовных — две просят похоронить рядом с мужем, одна — с родителями, одна — с сестрой и братьями и одна — с сестрой-монашкой. Видимо, не семья, а род имел для людей того времени преимущественное значение.

Само место для могилы выбиралось заранее. Такая же цка, как у Долгорукова, была положена и на предполагаемой могиле кн. Ф.И. Хворостинина, возле гроба его отца, «а на ней подписано: "место князя Федора Ивановича Хворостинина"» (*Хворостинин*, 1603, 571). Ф.И. Шереметев определил место своего погребения задолго до смерти, но пришлось на нем похоронить сына, умершего раньше отца. По этому поводу он писал монахам Кирилло-Белозерской обители: "Да пожаловать бы вам, велеть приготовить место, где мне погрести тело сына своего Олексея, велеть выкопать и выкласть кирпичем тут же, где у вас лежат родители мои, подле отца моего, Ивана Васильевича, что яз, будучи у вас в монастыре, себе оставил"<sup>54</sup>. Эти строки были написаны почти за 30 лет до смерти самого Федора Ивановича.

Некоторые из покойных бояр были положены в гроб в парадной светской одежде<sup>55</sup>, а некоторые — в монашеском облачении, поскольку, готовясь к жизни вечной, принимали постриг. Решение об уходе в монастырь в некоторых случаях было связано с вынужденным отходом от государевой службы. Так поступил боярин



Ф.И. Шереметев, когда со смертью царя Михаила Федоровича власти при дворе пришли новые лица, так поступил канцлер А.Л. Ордин-Нащокин, исчерпавший монаршее доверие к проводимому им внешнеполитическому курсу.

Но постриг совершался и по иным мотивам: принять “ангельский образ” перед кончиной, чтобы уйти в иной мир в этом, очищенном от мирской скверны, состоянии. Кн. В.Т. Долгоруков начинает духовную с такой просьбы: “А как познают меня перед концом, что мне не встать, и жене моей, княгине Марье, да племяннику моему, князю Богдану Федоровичу, однолично меня постричь” (*Долгоруков*, 1633, 17). Так и было сделано – князь умер старцем Павлом (*там же*, 24). Е.Ф. Одоевская приняла решение постричься в Новодевичьем монастыре, видимо, предчувствуя кончину: духовную она составила 3 сентября, а умерла 21 сентября 1671 г., приняв постриг лишь в день смерти. Но все же в период написания духовной надежда на ббльший срок жизни ее не оставляла, Одоевская оговаривает в ней условия своего обеспечения в монастыре: “А доходы всякие с той вотчины и хлебныя запасы имать мне к себе в монастырь покаместа я буду жива” (*Одоевская*, 1671, 349).

Церемония похорон – вынос тела, само погребение и отпевание проходили с приличествующей боярину пышностью. Все бояре просят, чтобы на их отпевание был приглашен сам патриарх всея Руси. Даже кн. В.Т. Долгоруков, несмотря на свою опалу, исходившую и от патриарха, просит “бить челом на отпевание и на похороны великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичу всея Русы” (*Долгоруков*, 1633, 17). Не только бояре, но и их жены-старичицы призывают на свои похороны патриарха. Патриарху и его клиру за отпевание определялась соответствующая плата. “А на преставление мое, – писал кн. Ф. Хворостинин, – служить бы надо мною патриарху со всем собором, а дати им по книгам, как ся у них ведет” (*Хворостинин*, 1603, 572).

После кончины в течение 40 дней (сорочин) по представлениям православных верующих душа человека оставалась в неопределенном состоянии, и судьба ее решалась. Поэтому авторы духовных проявляют особую заботу о том, чтобы в течение 40 дней к их душе на земле было проявлено особое внимание: день и ночь читалась бы над гробом Псалтырь, раздавалась милостыня, кормилась бы монастырская братия и нищие. В день похорон, на 3, 9, 20 и 40-й день<sup>56</sup> на деньги покойного нищей братии давались “столы”, т. е. заупокойная трапеза: “И столы велеть делать у Троицы на погребенье, и на третьи, и на девятины, и на полусорочины, и на сорочины” (*Долгоруков*, 1633, 23). Для корма нищих при боярских дворах содержалась специальная посуда<sup>57</sup>. В 40-й день поминальная служба и кормы проходили с особенной пышностью и кончалось обязательное время траур.

В монастырях осуществлялась традиционная система поминовения души через церковные службы и "кормы" братии в день ангела и в день кончины усопшего<sup>58</sup>. Монастырь предварительно заключал "ряд" (т. е. договор), в котором оговаривались условия поминовения и затем делалась соответствующая запись в синодик-помянник, во вкладные и в кормовые книги монастыря. Чем больше было вкладов, тем обширнее было и поминовение. Игумен Иосиф Волоцкий подробно разъяснял, каковы размеры требуемых монастырем вкладов княгине Голениной, требовавшей такого поминовения по своим родным, на какое она, по его мнению, поспешила: "В поминанье не пишут без ряда, а кому в поминанье писатися, и они рядятся или на всяк год давати деньги или хлеб, или село по душе дадут, и его напишут в годовое поминанье". Волоцкий также подчеркивал обязанность богатых и знатных щедро расплачиваться за услуги церкви: "...а с нищих Бог не берет, а с каждого богатого будет взято по его средствам. А если богатый даже пострижется в чернеца, а по средствам не дает, то его не велено поминать в том монастыре"<sup>59</sup>.

Распоряжения о вкладах по душе, таким образом, занимают одно из важнейших мест в духовной. Большинство людей делали вклады по душе самостоятельно, еще при жизни, так было спокойнее и надежнее. "А буде где при себе дать не успею..." – писал кн. Д. Мезецкий, – там уже должны потрудиться душеприказчики (*Мезецкий*, 1621, 81). Православный человек того времени был обязан сделать вклады и по душе своих близких родственников<sup>60</sup>. Душеприказчикам повелевается, например, "написать в сенаник (синодик. – О. К.) отца моего убиенного Василия, и мать схимницу Таисию, и мое имя, и жены моей Марьи" (*Кондырев*, 1666, 1). Кн. В.Т. Долгоруков поминает дочь-царицу, своей безвременной кончиной принесшую ему столько несчастий: "Да по государыне царице и великой княгине Марье Володимировне дать ... в Вознесенский монастырь на собор протопопу с братиею 30 рублей и поминать государыню и велеть написать в книги в Вознесенском монастыре" (*Долгоруков*, 1633, 21). Кн. Н.И. Одоевский в духовной припомнил, что, будучи обременен службою, пренебрег своей обязанностью вносить деньги на поминовение некоторых из родственников и потратил их на другие нужды. Теперь выполнение этого он перекладывает на душеприказчиков (*Одоевский*, 1689).

Забота о душе находила отражение в определении немалых денежных сумм, отводимых на благотворительность. Помимо раздач нищим и неимущим вообще, некоторые указывают более определенное целевое назначение этих денег: в тюрьмы, в богадельни. Кн. Волконская велит "окупать" людей "с правеху"<sup>61</sup>, т. е. заплатить за тех, кто сидит в долговой яме. Большие суммы выделялись на выкуп русских людей из плена. Возможно, Ф.И. Шереметев положил начало этой традиции. "А давать тех денег нищим на милостыню и полоняникам

на окуп на год на 500 рублей", – писал он (*Шереметев*, 1645, 517). Его наказ был исполнен: "Полоняником на откуп заплатил я ... 5 тысяч рублей, и в том из Посольского приказа отписи мне даны", – отчитывался его душеприказчик Н.И. Одоевский (*Одоевский*, 1689, 4).

#### *Затраты на поминаение и долги*

Духовные дают интересный материал к вопросу о денежных тратах и финансовых проблемах в боярских семьях. Будучи чрезвычайно богатыми людьми, бояре постоянно испытывали нехватку денег. Поскольку положение обязывало, траты были огромны. Но, думая о радостях земных, боярство, отягощенное бременем богатства, заботилось и об обеспечении поминаения своей грешной души. Смерть вызвала колоссальные расходы в семьях знати. Как писал Ф. Арьес, "за наслаждение земными благами человек платил, напротив, монетой духовной: мессами и молитвами, которые церковь обязывалась совершать в обмен на благочестивые распоряжения в ее пользу, предусмотренные в завещании"<sup>62</sup>. Вот лишь краткий перечень трат, упоминаемых в боярских духовных: вклады на поминаение, на запись своего имени в синодик, вклады по душам родственников, плата за вынос тела и за погребение, деньги клиру за погребальную службу и на "столы" монастырской братии, плата за чтение Псалтыри над гробом, деньги на сорокоуст, выдача "наделок" дворовым людям, деньги на милостыню, расплата с должниками. Суммы вкладов, отраженные в духовных, едва ли не превышают оставленного наследникам имущества. С 1648 г. земельные вклады в монастыри, которые и ранее ограничивались законодательством, были строжайше запрещены, таким образом, наличие денег на поминаение стало особенно необходимым, хотя часто деньги заменялись движимым имуществом.

Денежные накопления, упоминаемые в духовных, и их движение представляют интерес для экономической истории, однако с точки зрения истории частной жизни наиболее занимателен вопрос о том, какими способами решался вопрос нехватки денег, в каких обстоятельствах приходилось делать долги или одалживать что-либо и какую нравственную сторону имели денежные обязательства. Располаясь о вкладах на собственное поминаение, автор духовной обычно указывает, откуда эти деньги взять. Нередко оказывается, что денег на поминаение нет или их недостаточно, и тогда их приобретение осуществляется через продажу вотчин и части имущества, через взимание денег с должников, через заем.

У многих деньги на похороны были изысканы и приготовлены заранее. У кн. Ю.А. Сулешова "отложено денег в коробью 1500 рублей 20 алтын 2 деньги" (*Сулешов*, 1643, 5). Но этого показалось ему недостаточно, и он просит душеприказчика сверх отложенной суммы еще "суды серебряные и платья и всякую рухлядь велеть прод-

вать и теми деньгами строить и поминать убогую мою душу", а также продать внуку двор умершего брата за 500 руб. и "те деньги роздать в поручную же милостыню" (*Там же*, 6). Еще 1000 руб. вклада по душе кн. Сулешова должен дать один из его наследников в качестве компенсации за завещанные ему вотчины. Таким образом, им мобилизуются все возможные ресурсы для душеполезного помещения денег, предела которому нет.

Еще более впечатляет сумма наличности, отложенная кн. М.М. Темкиным-Ростовским: "Да после живота моего, князь Михайлова, оставляетца денег на лицо: серебряных тысяча триста рублей, да медных денег двесте пятьдесят рублей, да серебряных же денег шесть тысяч рублей" (*Темкин-Ростовский*, 1661, 137). Деньги эти, как представляется, появились в результате предсмертной продажи вотчин, так как оба князя были бессемейны. У Ф.И. Шереметева и без продаж имелось достаточно денег на все погребальные расходы: "А денег у меня на поминок, на годовые сорокоусты, на триста церквей три тысячи рублей, да на вынос и на отпеванье триста тридцать девять рублей десять алтын, да людям моим на наделки и нищим на милостыню две тысячи рублей" (*Шереметев*, 1645, 500). Кн. П.Г. Волконская отложила на похороны 1500 рублей. "А те деньги стоят у меня в Чудовом монастыре... а поставлены те деньги под церковью в их монастырскую казну", — писала она. Книгиня считала нужным рассказать в духовной, что свое приданое и наследство, полученное от мужа, она "изжила", помяная родителей и раздавая деньги по церквам и неимущим (*Волконская*, 1680, 200–201). Кн. В.Г. Ромодановский еще при жизни изыскал деньги на отдачу долгов и на поминование, продав вотчину за 1250 рублей. Правда, из них 900 рублей он пустил на постройку московского двора для сына. Кн. Д.М. Черкасский также находит деньги на поминование через продажу имущества, но откладывает ее на время после своей кончины: "А что в вотчинах моих и в селах и в деревнях всякова хлеба и то продать, и что моево всякого платья... и служилую рухлядь, книгинно платье, суды серебряные продать и теми деньгами... мою грешную душу строить", также и московские дворы "продать и теми деньгами... мою грешную душу строить" (*Черкасский*, 1649, 4). Так же поступает и В.Я. Голохвастов, наказывая продать один из московских дворов и пожитки.

Распоряжения о продаже "пожитков" (движимого имущества), остающихся "за раздачею", и о расходе этих денег на поминование встречаются практически во всех духовных. Обойтись вообще без денежных вкладов смог кн. В.С. Куракин, делая их лошадьми и платьем. Каждая из этих вещей драгоценна и описывается в духовной подробно, в итоге подводится их общая стоимость по каждому монастырю. Старица Чудова монастыря вдова А.И. Годунова получает деньги на погребение достаточно распространенным способом, при-

меняемым к наследникам: завещая им свою вотчину ценой в 700 руб., 110 руб. она просит пустить на вклад в монастырь и на другие расходы по душе. Интересно, что она также распоряжается продать свою келью в Чудовом монастыре, рассчитывая получить за нее немалую сумму. В этой келье жила и ее прислуга – “две женщины, да две девки”, следовательно, “келья” состояла не из одного помещения. Видимо, в этой привилегированной обители знать имела возможность обставлять свою монашескую жизнь близким к привычному в миру образом.

Кн. Д.М. Пожарский указывает, что у него “денег лежащих нет ничего”, поэтому необходимые суммы следует взять из крестьянских оброков, а в монастыри “давать не все деньгами, [а] платьем и иною рухлядью, которая детям не пригодится”. Пожарский славился тем, что имел винные откупа и строил кабаки. Но доходы с них он считает несправедливыми, а потому пишет: “А кабацкими доходы меня не поминать, хотя в то число займовать, а опосля платить не из кабацких же доходов” (Пожарский, 1642, 433, 434). Ф.И. Шереметеву не доставало денег на выкуп пленных, поэтому он велел: “А что продадут хлеба моево и из долгов возьмут денег, и ис тех денег дати полоняникам на откуп 2 тысячи рублей”. Позднее, в новом варианте духовной, это распоряжение он несколько изменил: продал двор на Тверской внуку Федору с условием за 10 лет раздать 5 тысяч рублей (Шереметев, 1645, 517). Боярин кн. Н.И. Одоевский предвидел возможность отсутствия денег на собственные похороны. “А буде денег на вынос и на погребение и на отпевание взять будет негде, – говорится в его духовной, – и прикащикам моим побити челом великим государям, чтобы пожаловали указали дать денег взаймы тысячу рублей, покамест деньги будут с вотчин моих в сборе”. Такая ситуация отсутствия денег в семье Одоевского, видимо, бывала нередко, так как она возникла и в связи с похоронами его сына кн. Михаила. Он умер неожиданно во время царской охоты на глазах у царя Алексея Михайловича, который взял на себя печальный труд написать отцу о смерти сына. В том числе он писал: “А на вынос и на всепогребальная я послал, сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проводил про вас, что oprичь Бога на небеси, а на земли oprичь меня никоу о вас нет”<sup>63</sup>. И действительно, заглянув во вкладную книгу Троице-Сергиева монастыря, мы найдем подтверждение тому, что денег не хватало – отцом за Михаила вместо денежного вклада внесено много дорогих вещей<sup>64</sup>. Конечно, неправ был историк С.М. Соловьев, который, основываясь на этом письме царя, утверждал, что фамилия Одоевских “была небогатая”. Многочисленные источники, в том числе и духовная, показывают, каким огромным количеством земель и крестьянских дворов владели Одоевские. Но деньги, получаемые с вотчин, тратились быстро, например, на строительство тех шикарных усадеб, о которых мы уже говорили выше.

Наиболее сложная финансовая ситуация просматривается в духовной М.А. Ртищева. Ее главной темой, напрямую отражающей заботы автора, является изыскание денег на все статьи расхода, требуемые по смерти: на похороны и поминавание, на отдачу долгов и на приданое. На первоначальный вклад по душе в три монастыря Ртищев просит отдать всего 11 рублей, да и те надо "занять покаместа продадут двор московской, что на Никитицкой, сына моего Федора"<sup>65</sup>, а как двор продадут, и из тех денег на помин души моей роздать по 100 рублей, а достальными заплатит долги... а что останутся за роздачею долгов, отдать на приданое внуке моей Марье" (Ртищев, 1668, 1). Продан не только двор, но и две вотчины скончавшегося сына Федора. "и те деньги раздать по его душе, а достальными плачены долги... а животы его и платья все продано и роздано по ево душе". Единственный наследник, названный в этой духовной, – внук Михаил Федорович, он получает село и две деревни. С них внук должен расплатиться со своей теткой Анной за то, что она дала 1300 рублей приданого его сестре Авдотье, она же заплатила его долг в 100 руб. За это Михаил должен "свою тетку почитать и ее поить и кормить и всем покоить и во всем слушать", если же он всего этого делать не станет, "и теми вотчинами владеть по свою смерть дочери моей Анне, а по смерти ее те вотчины ему, Михаилу. А будет он, Михаил, теми вотчинами тетке своей владеть не даст, и ей, Анне, взять на нем, Михайле, 1300 рублей, те деньги, что дала она за племянницею своею" (Там же, 1–3). Интересно, что Михаилу не навязывается один путь решения проблемы с теткинским долгом, а на его выбор предлагается три варианта: 1) содержать престарелую тетку, 2) отдать ей вотчины пожизненно, 3) вернуть ей долг деньгами. Эта тетка, Анна Вельяминова, была в свое время важной персоной при дворе – второй верховой (т. е. входившей "на верх", в личные покои) боярыней царицы Марьи и приятельницей патриарха Никона. Именно про нее писал протопоп Аввакум, говоря, что Никон "со Анною по ночам укладывают как чему быть"<sup>66</sup>.

Распоряжения о долгах, своих и чужих, являлись неременным разделом каждой духовной. В ранних текстах она начиналась именно с них, имея традиционный подзаголовок "Кому ми что дати и на ком ми что взяти", к середине XVII в. раздел о долгах сместился ближе к концу документов. Однако, как заметил Д. Кайзер, авторы духовных не всегда помещали в их текст все свои долги, причем были более внимательны к собственным займам, чем к своему кредиту<sup>67</sup>. Это говорит о желании не оставлять по себе непоплаченных долгов и обиженных людей и простить всех, в том числе и своих должников, чтобы как можно большее число лиц поминало усопшего с благодарностью. Например, кн. И.М. Воротынский собственным долгам дает роспись, а о своих должниках пишет: "И на ком мне самому что взять, того я не пытаю: во многие лета многие люди извелись" (Воро-

тынский, 1626/27, 118). А.Н. Самарин-Квашнин предполагает, что его кредиторы уже умерли, но просит разыскать их наследников. Денег на расплату с долгами у него нет, поэтому придется продавать вотчины "по неволе по великой... чтоб души моей грешной в долгу не положить" (Самарин-Квашнин, вторая половина XVII в., 199). Только в четырех случаях в рассматриваемом комплексе духовных есть указание взыскать долги с конкретных людей. Кн. Д. Мезецкий прямо указывает, что с его крестьян-должников долги не брать (Мезецкий, 1628, 84). В духовных никогда не встречается распоряжений о том, что отданные должником деньги отойдут к кому-либо из наследников. Само собой разумеется, что они будут истрачены на поминание усопшего.

Представляется, однако, что в боярских духовных перечни долгов особенно неполны. Поскольку боярское хозяйство было огромно, в нем существовала сложная хозяйственная документация<sup>68</sup>, велись особые приходно-расходные книги, хранились купчие и долговые расписки (заемные кабалы). В записной книге заемных кабал боярина Б.И. Морозова и его жены значатся 86 должников, которым ссудили в целом 84 055 рублей, из них к моменту смерти Морозовых выплачено было 34 544 рубля<sup>69</sup>. Такое количество долгов во многих случаях поместить в духовную оказывалось невозможным, и душеприказчики обращались непосредственно к частному архиву покойного или получали отдельный список долгов, приложенный к духовной. Подобный список "заемной ржи и оржаной муки и всякого хлеба" приложил к духовной В.Я. Голохвастов. В ней поименовано 7 заимодавцев, среди них есть и душеприказчики. В целом Голохвастов задолжал 300 четей ржи, 20 – ржаной муки, 7 – ржаного солоду, 5 – ячного солоду, 5 – овса, всего 337 четей. Расплата за эти долги должна быть произведена из его пожитков. Сам он дал займы 50 ведер вина. Об остальных долгах В.Я. Голохвастов пишет: "А будет какие государевы долги из разных приказов вылягут или иные какие кабалные долги будут, которых я не упомяну, и то платить..." (Голохвастов, 1678, 194, 195), т. е. не все долги задержались в памяти или оказались зафиксированными.

Несоответствие долгов, указанных в духовной, и хранившихся в хозяйственном архиве долговых расписок привело к судебному разбирательству между душеприказчиком Ф.И. Шереметева и его внучатым племянником Никитой Ивановичем Шереметевым. Душеприказчик кн. Н.И. Одоевский, занимаясь делами усопшего, обнаружил заемную кабалу Никиты на 100 рублей и стал требовать их возвращения. Он ссылался на то, что в духовной Ф.И. Шереметев повелел душеприказчикам собрать все долги и пустить их на поминание души. Никита перед судом отвечал, что он разорился от выплаты долгов своего отца и был "на правееже", когда дед дал ему эти 100 рублей займа, а перед смертью простил этот долг. Он также

ссылался на духовную Ф.И. Шереметева, указывая, что в ней его долг прямо не упомянут. Кн. Одоевский с ним спорил и утверждал, что если б долг был прощен, то и кабала бы была уничтожена. Суд приговорил Никиту деньги выплатить<sup>70</sup>. Действительно, в духовной Ф.И. Шереметева долг Никиты не значится, возможно потому, что Шереметев, как кажется, припоминал на память свои старые долги, не имея их записей под рукой. Так, он пишет, что взял у гостя Никитникова товару “подлинно не упомню, на семьдесят или на семьдесят на пять или на восемьдесят рублей”. Он припоминает и записывает обстоятельства, вследствие которых много лет назад были сделаны долги. После великого московского пожара 1626 г., пишет Шереметев, “дал мне диак Семен Собакин на дворовое строение 50 рублей, а он, Семен, у меня взял иноходец нагайской каур за 20 рублей”, в 1618 г. “взял я у Григорья Микитникова товару, идучи на Литовское посольство” (Шереметев, 1645, 499). Этот товар был взят, скорее всего, на продажу. “Все бояре без исключения и даже сами великокняжеские послы у иностранных государей везде открыто занимаются торговлей. Продают, покупают, променивают без личины и прикрытия”, – писал о русских послах путешественник барон А. Мейерберг<sup>71</sup>. В период между написанием первой и второй духовными Шереметев сам расплатился с Никитниковым, о чем и сообщает в последней. В ней же он припоминает еще один свой долг – дьяку Головину в 20 рублях, которые следует отдать его детям. Во второй духовной сообщается о новых должниках, появившихся, возможно, незадолго до его смерти: внуку отдан иноходец, и надо получить с него 37 рублей, а торговцу из Ярославля одолжено 100 рублей, “а в тех долгах памяти (записи для памяти. – О.К.) у меня” – уточняет Шереметев (Шереметев, 1649, 514–516).

Многочисленные долги одних бояр и отсутствие их у других косвенно свидетельствуют не столько о бедности и богатстве, сколько о более или менее активном и открытом образе жизни и складе характера. Духовные показывают, что далеко не все бояре вступали в какие-либо долговые отношения, возможно, к моменту написания духовной они сами рассчитались с долгами, не имея желаний перекладывать расплату на душеприказчиков. 11 из наших авторов духовных к исходу жизни оказались необремененными долгами. Кн. В.Т. Долгоруков прямо отмечает в духовной: “А долгу на мне нет ничево и кабал на меня ни у ково заемных нет”. А кн. Ф.И. Хворостинин просто опустил в духовной раздел “о долгах”, хотя в тексте и упоминает вотчину, “которую дал мне за долг брат мой князь Петр...” (Хворостинин, 1603, 574). Также нет речи о долгах в духовных трех боярынь, только кн. А. Хворостинина одалживала 95 рублей. Женщины, как отмечает Д. Кайзер, в отношении долгов менее активны.

Просты и незамысловаты были долги у кн. В.С. Куракина. Он занимал “безкабально” 30 рублей у некоего Шемяки и 3 рубля у свя-



щенника на Туле. Ему же не был возвращен отданный ювелиру “перстен золот о пяти олмазах цена девяносто рублей, а дал я ему тот перстен делат[ь]”. Далее Куракин подтверждает, что сверх этого долгов никаких нет (Куракин, 1623, 53). Другие бояре имели весьма немалые задолженности. Много займов делал боярин кн. Д.М. Черкасский – как хлебных, так и денежных, причем сам никому ничего не одалживал. Долги свои кн. Д.М. Черкасский не считал нужным перечислить подробно, кроме хлебного долга боярину Б.И. Морозову, размеры которого он не смог припомнить. Именно в этой духовной находим долг на самую крупную сумму – 2037 рублей, взятых у кн. Я.К. Черкасского (Черкасский, 1649, 4). Тому же Я.К. Черкасскому немало задолжал и кн. Ю.Я. Сулешов, но и сам он кредитовал деньги разным лицам на сумму 550 руб. Сулешов брал деньги и вещи не только у частных лиц, но и в казенных учреждениях, задолжав Купецкой палате, Мастерской палате, Конюшенному приказу, Приказу Большого дворца (Сулешов, 1643, 427). Активно занимал и одалживал деньги и кн. Д.М. Пожарский, у него также оказалось немало “казенных долгов”.

За долговыми операциями, наверняка, стояли не только деловые, но и другие отношения, о которых возможно лишь предполагать, а именно – родственная зависимость, дружеские услуги, расчет на получение доли в наследстве, вклад в собственное поминовение и проч. Интересно, что многие принимали к себе на хранение чужие деньги и вещи, опечатанные в сундуках. На них указывается в духовных с тем, чтобы их в сохранности вернули владельцам.

Отраженное в духовных финансовое положение бояр показывает нестабильность денежной обеспеченности самых богатых семей московской правящей элиты. С одной стороны, в духовных, помимо многочисленных вотчин, фигурируют огромные суммы денег, драгоценнейшие вещи, хлеб и скот, с другой – задолженности и отсутствие накоплений на посмертные расходы, если не считать вкладов в монастыри, сделанных при жизни. Картина финансовых затруднений, представленная лаконичными сведениями духовных, становится более живой при обращении к боярским письмам, которых, к сожалению, сохранились единицы. Среди них переписка кн. Хованских богата обсуждением семейных финансовых проблем. Кн. Иван Андреевич Хованский известен в истории как предводитель стрелецкого бунта 1682 г., его арест и конфискация бумаг всех членов семьи способствовали сохранению писем, принадлежавших его сыну, стольнику Петру Ивановичу. Боярин предупреждал сына: “...ты живи поопаснее и не сорь напрасно денек!”, а мать писала: “...да заняла я, свет мой, два рубли тебе на водку, а ты пришли поскорее те деньги”<sup>72</sup>. Сам Петр, полковой воевода на Дону, сообщал жене: “...прислано к тебе государева жалованья денег мне вполы (в половину. – О. К.) на год против прежнего, и ты ко мне писала,

сколько ко мне прислать к тем денег в прибавку... и ко мне прислать к тем денгам одну сто рублей, а болши того отнюдь не прислать. Пусть те денги у вас пригодятся, а я теми денгами как-нибудь стану прониматься", и далее: "Не продавай ожерелья и серег, как-нибудь заложу ожерелье и серьги... приеду, ну и в те поры продам своего седла две лошади или три, так то и окупится"<sup>73</sup>. Из письма к сыну: "Да писали вы о том, что хоромы на Москве худы: передняя горница завалилась, а построить нечем, а как я и поехал, и вы с тех мест хлеб, и дрова, и сено покупаете... и я хошь и последнее платишко свое продам и лошадей своих, а к вам денег пришло... есть ли бы у меня была одна копейка и я бы тое на двое разсек, половину бы к вам послал"<sup>74</sup>. Кн. Петр имел скудные вотчины, в которых было всего 42 крестьянских двора<sup>75</sup>. С них он должен был предоставлять в войско или так называемых "даточных людей" (солдат), или деньги, но оказался не в состоянии это сделать. "И за твои вотчины я даю свои деньги", – писал его дядя И.И. Чаадаев<sup>76</sup>. Будучи воеводой на Двине, Хованский хотел поправить свое денежное положение поборами с населения<sup>77</sup>. Занимался он также продажей лошадей, которых, служа на Дону, пригонял оттуда в Москву. Переписка свидетельствует о том, что в этой семье родственники стремились поддерживать друг друга при возникновении финансовых трудностей. И в духовных среди долгов есть "одолженные" в трудную минуту родственниками вещи: кн. Сулешов поминает данное займы своим умершим братом дорогое воинское снаряжение боярину кн. И.Б. Черкасскому, когда тот "поехал на службу, на Тулу" (Сулешов, 1643, 427). Кн. А.А. Нагой переживал, что пропал "конь сер", давным-давно взятый у брата, "и тот у меня конь был и взяли у меня его с моими животы в опале от государя на Угличе, как царевича Дмитрея убили" (Нагой, 1617, 29).

### 5. *Sanctio u corroboratio*

Клаузула, определяющая санкции против нарушения завещания, в русских духовных отсутствует как определенный раздел. Тем не менее в разных местах завещаний встречается устрашение, обращенное к нарушителям воли умершего. Их страшили Божьим судом и лишением родительского благословения<sup>78</sup>. "А если кто из детей моих нарушит сю духовную... и на том не быть мое благословение" (Кондырев, 1666, 4). Самарин-Квашнин разъясняет подробнее: "Благословение отче утверждает дома чадам, а клятва матерня (проклятие матери. – О. К.) искореняет до основания" (Квашнин-Самарин, 1692, 198). В этой части некоторых из текстов неожиданно встречаются отголоски языческих представлений о том, что кости мертвеца начинают шевелиться в гробу, если его воля нарушается. Годунова пишет, что если кто начнет "вступаться" в отданную наследникам вотчину "и костью моею ворошить, и тово судит со мною Бог" (Году-

нова, 1625, 2). Кн. Д. Пожарский также пишет о своих детях – “и ни костью моею не ворохнуть” (Пожарский, 1642, 435)<sup>79</sup>.

Оканчиваются духовные удостоверительной частью (согбогатио). Она включает в себя подписи автора духовной (собственноручную или рукоприкладство за него другого лица), свидетелей и писца.

\*\*\*

Итак, из 26 духовных как из осколков мы попытались сложить зеркало, чтобы увидеть отразившийся в нем давно ушедший в прошлое мир. Точнее сказать, лишь ту область этого мира, к которой можно, по нашему разумению, приложить понятие “частная жизнь”. За скобками духовных грамот осталась отринутая в момент их написания особо важная и значимая сфера жизни боярина – его служба государю в военных походах, в посольствах и воеводствах, в Думе и при дворе. Представляется, что и сами авторы духовных осмысливали жизнь вне службы как “частную”, связанную с пребыванием в своих хоромах на своей “части” – части от единого целого своего рода. За скобками, однако, осталась и личная, интимная, “комнатная” сторона их жизни, что естественно при составлении такого официального документа, как завещание. Но в то же время и в нем авторам не удалось скрыть проявлений своей индивидуальности: своих склонностей, пристрастий, черт характера.

В духовные оказался включенным обширный круг людей, так или иначе соединенный с их авторами сферой частной жизни. Среди них и самые близкие, собравшиеся у постели умирающего, и дальние родственники, и, в конечном счете, сам царь. Круг близких у разных людей, естественно, различен, но он, как правило, не ограничен только супружеской семьей, в него входят братья, сестры, племянники. Мы узнаем также о клире излюбленных церквей и монастырей, связанном с семьей покойного духовными и финансовыми отношениями, и можем оценить степень заботы последнего о до него почивших предках, о нищих и убогих и, конечно, более всего – о собственной душе. Духовные дают возможность узнать о многочисленных категориях дворовых людей, находившихся в разной степени близости к хозяйну и составлявших неотъемлемую часть его повседневной жизни. Лишь редкий документ того времени удостоивает их своим упоминанием. Из духовных выступают также должники и кредиторы, лица, имевшие непосредственную значимость в частной жизни.

В духовных предстает перед нами и “вещная” сторона боярского быта – хоромы, дворовые постройки, кони и конюшни, повозки, вооружение, иконы, утварь, одежда, драгоценности и проч. Движимость выступает и в качестве наследства, и в качестве дарения особой значимости (“благословения”), и в качестве кредита. Особое место, конечно, занимают деньги, наличие или отсутствие которых влияет на весь образ жизни.

Все духовные имеют одинаковую заданность или ориентацию на комплекс необходимых действий: ближних своих (в первую очередь детей) наделить, благословить, освободить, вернуть им долги, раздать милостыню, помянуть родителей и обеспечить свою душу вкладами в монастыри. Но и политические, и семейные обстоятельства, вкупе с экономическим состоянием дел и индивидуальным характером автора, придают всем этим действиям большое своеобразие, не выходящее, однако, за рамки общепринятости. В любой духовной проявляется личность автора, приоткрываются его наклонности, умонастроения и интересы. Но все завещания в конечном счете ставят перед собой одну сверхцель – оставить по себе в сердцах ближних добрую память справедливыми, щедрыми и мудрыми посмертными распоряжениями и таким образом обеспечить своей душе их поддержку в загробном мире. Вера в сакральную связь душ умерших и душ живущих, безусловно, постоянно присутствует в духовных, видимо, она оказывала влияние и на межличностные отношения в частной жизни, заставляя бояться поступков, приводящих к проклятию, и желать благодарственных молитв по себе не только священства, но и своих ближних. Тревога за собственную душу и связанное с ней желание отдать все земные долги, проявить заботу о всех близких, лично осуществить вклады являются основным эмоциональным фоном боярских завещаний.

## Душеприказчики и наследники недвижимости

Имя наследодателя, дата духовной, дата смерти	Душеприказчики	Наследники недвижимости	Место погребения, денежный вклад
кн. Фед. Ив. Хворостинин 24.10.1603 ум. 1608	околыи. И.М. Бутурлин, брат А.И. Хворостинин, плем. И.Д. Хворостинин, плем. Ю.Д. Хворостинин, сестра Н.Ф. Пожарская, отец дух. Богородицкий протопоп Еуфимий, шурина кн. М.П. Волконский, кн. Г.К. Волконский	сын кн. Григорий, жена кн. Антонида	Троице-Сергиев монастырь, возле отца, вклад 150 руб.
кн. Антонида Хворостинина 4.9.1617	архимандрит Троицкого монастыря Дионисий, келарь Авраамий Палицин, казначей Иосиф Панин, соборный старец Макарий Куровский, кн. Ал.Мих. Львов, отец дух. священник Филип	плем. Ю.Д. Хворостинин, плем. А.И. Хворостинин, сын Григорий (если его "Бог вынесет из Литвы")	Троице-Сергиев монастырь, возле мужа, вклад 100 руб.
боярин Ав.Ал. Нагово 19.12.1617	жена Зиновия	жена Зиновия	Троице-Сергиев монастырь, вклад только земельный
кн.Вас.Сем. Куракин 1622/23	мать Елена Васильевна, тесть Д.М. Пожарский, брат Ф.С. Куракин, отец дух. рождественский протопоп с Сеней Иван	жена Оксинья, сын кн. Иван	Троице-Сергиев монастырь, вклад на 450 руб. вещами
О.В. Годунова (ур. Зюзина) 1625	жена брата Ф.Г. Зюзина, плем. Григорий, Василий, Никита Алексеевичи Зюзины, плем. С.Ф. Бегичев, отец дух. Введения Пречистой Богородицы на Сретенье свящ. Гаврила Григорьевич, отец дух. черный свящ. Чудова м-ря Пафлутий	жена брата Ф.Г. Зюзина; плем. Григорий, Василий, Никита Алексеевичи Зюзины; племянница, жена С.Ф. Бегичева Мария	Чудов монастырь, возле отца и братьев, вклад 50 руб.

*Имя наследодателя,  
дата духовной,  
дата смерти*

*Душеприказчики*

кн. Ив. Мих.  
Воротынский  
1.9.1626  
ум. 8.1.1627

боярин кн. Ив. Б. Черкасский, боярин Ив. Ник.  
Юрьев (Романов)

кн. Дан. Ив.  
Мезецкий  
3.7.1628  
пох. 17.7.1628

боярин кн. Ив. Бор. Черкасский, брат двоюр.  
кн. Н. М. Мезецкий, отец дух. архангельский  
свящ. Митрофан Поликарпов

кн. Ир. Мих.  
Мстиславская  
(ур. Темкина-  
Ростовская)  
1630

золовка И. И. Мстиславская, боярин Ив. Ник. Ро-  
манов (Юрьев), боярин кн. Ив. Бор. Черкасский,  
боярин Ф. Ив. Шереметев, боярин С. Б. Головин

кн. Вл. Тим.  
Долгоруков  
1.1.1633  
ум. ранее 07.1633

боярин кн. Ив. Ив. Шуйский, боярин Ив. Вас.  
Морозов, брат кн. А. Г. Долгоруков,  
жена кн. Марья, плем. Б. Ф. Долгоруков

кн. Дм. Мих.  
Пожарский  
ум. 20.4.1642

боярин Ф. Ив. Шереметев

**Наследники  
недвижимости**

**Место погребения,  
денежный вклад**

сын Алексей,  
дочь Екатерина

Кирилло Белозер-  
ский монастырь,  
возле отца,  
вклад 250 руб.

боярин кн. Ив.Б. Черкас-  
ский, брат двоюр. кн.  
Н.М. Мезецкий, брат дво-  
юр. кн. Р.М. Мезецкий,  
плем. кн. А.Д. Мезецкий,  
внук кн. Г.В. Мезецкий

Пафнутиев-Бо-  
ровский монас-  
тырь, возле роди-  
телей,  
вклад 500 руб.

золовка И.И. Мстислав-  
ская, брат М.М. Темкин-  
Ростовский

Симонов монас-  
тырь,  
возле родителей

жена кн. Марья, плем.  
Б.Ф. Долгоруков

Чудов монастырь,  
возле родителей,  
или Троице-Сер-  
гиев монастырь,  
вклад 200 руб.

жена Федора Андреевна,  
сыновья Петр и Иван,  
внучка Анна, зять  
И.П. Пронский

у Всемилоствитого  
Спаса в Суздале,  
возле сына,  
вклад 100 руб.

*"отходя от света сего..."*

Имя наследодателя, дата духовной, дата смерти	Душеприказчики	Наследники недвижимости	Место погребения, денежный вклад
кн. Юр. Анш. Сулешов 7.3. 1643 ум. ранее 8.3.1643	боярин М.М. Салтыков (возможно, двоюродный племянник), Макс. Сем. Языков, отец дух. протопоп Александро-Невского Иоаким	внук И. Юсупов, боярин кн. Я.К. Черкасский, плем. П.М. Салтыков	Симонов монастырь, возле родителей, вклад 1900 руб.
Фед. Ив. Шереметев 1) 29.11.1645 2) 11.7.1649 ум. 17.2.1650	царь Алексей Михайлович, зять кн. Н.И. Одоевский, боярин кн. Я.К. Черкасский, отец дух. (?)	зять кн. Н.И. Одоевский, дочь Е.Ф. Одоевская, внучка кн. Прасковья, внуки кнн. Михаил, Федор, Алексей, Яков Никитичи Одоевские	Кирилло-Белозерский монастырь, возле родителей, вклад 300 руб.
кн. Дм. Мам. Черкасский 28.12.1649 ум. ранее 1.6.1651	боярин кн. Я.К. Черкасский, отец дух. спасский протопоп Сила	брат кн. Я.К. Черкасский, плем. кн. Г.С. Черкасский	Новоспасский монастырь, возле родителей, вклад 600 руб.
кн. Мих. Мих. Темкин-Ростовский 28.5.1661	кн. Я.К. Черкасский, плем. А.И. Буйносов, отец дух. архангельский протопоп Кондрат	недвижимость продана	Ростовский Бологостецкий монастырь (родители похоронены в Симонове), вклад 500 руб.
кн. Вас. Григ. Ромодановский (Меньшой) не ранее 1662 пох. 3.10.1670	брат двоюр. кн. И.И. Ромодановский, плем. кн. И.Ю. Ромодановский, околыничий Б.М. Хитрово, брат кн. Ф.Г. Ромодановский, брат кн. Г.Г. Ромодановский	жена кн. Прасковья, сын кн. Степан	Воздвиженский монастырь, вместе с родителями и первой женой, вклад 750 руб. <i>вексель</i>



Имя наследодателя, дата духовной, дата смерти	Душеприказчики	Наследники недвижимости	Место погребения, денежный вклад
кн. Як.Куд. Черкасский 2.7.1666 ум. 8.7.1666	дух отец протопоп собора Спаса Нерукотворного на Сенях Александр, боярин кн. Ив. Сем. Прозоровский, окольный Б.М. Хитрово, думный дворянин З.Ф. Леонтьев	плем. кн. Г.С. Черкасский, дочь кн. Анна Яковлевна, сын кн. Михаил	неизв.
Ждан Вас. Кондырев 1.07.1666	дух. отец священник Стефан Матвеевич, окольный М.Ал. Ртищев, сыновья Семен, Петр, Иван	сыновья Семен, Петр, Иван, дочь Дарья	Московский Алексеевский монастырь, возле родителей
Мих.Ал. Ртищев 1668 ум. 3.12.1677	окольный Б.М. Хитрово, сын окольный Ф.М. Большой Ртищев	внук М.Ф. Меньшой Ртищев, внучка Марья	Добрый монастырь Лихвяцкого уезда
кн. Евд. Фед. Одоевская 3.09.1671 ум. 21.09.1671	бывший смоленский архиепископ Филарет, дух. отец – протопоп кремлевского собора Черниговских чудотворцев Иаков Евфимьев, муж кн. Н.И. Одоевский	сын кн. Яков Никитич	Девичий монастырь Богородицы Смоленской, возле сестры – старницы, вклад 500 руб.
Вас. Як. Голохвастов 6.12.1678 ум. 14.12.1678	боярин Ив. Мих. Милославский, брат двоюр. Иев Д. Голохвастов, стольник Мих. Ив. Деримонтов, брат двоюр. Иван Д. Голохвастов, отец дух. покровский (на Рву) протопоп Максим Иванович, жена Ульяна	зять кн. М.Г. Ромодановский, дочь кн. Авдотья Васильевна, жена Ульяна	Церковь Рождества Богородицы в вотчинном селе Петрове

"отходля от света сего..."

Имя наследодателя,  
дата духовной,  
дата смерти

Душеприказчики

кн. Пел. Григ.  
Волконская  
(урожд.  
Олябьева?)  
19.04.1680

плем. кн. Ф.Л. Волконский, плем. кн. С.Л. Волконский, внук Я.Ю. Волконский, плем. С.Н. Олябьев, отец дух. настасьинский священник Перфилий Ларионов

Вас. Бор.  
Шереметев  
ум. 24.04.1682

отец дух. Спаса Нерукотворного в Верху протопоп Иван Лазарев, брат П.В. (большой) Шереметев, плем. кн. И.Г. Куракин, боярин Род. Матв. Стрешнев

кн. Ник.Ив.  
Одоевский  
1689  
ум. 12.2.1689

сын кн. Я.Н. Одоевский, окольный Ив. Аф. Желябужский, дух. отец Борисоглебский священник иерей Александр Артемьев

Анд. Ник.  
Квашнин-Самарин  
1) 1.08.1692  
2) 6/д

жена Аксинья, сыновья Михаил и Петр

Наследники  
недвижимостиМесто погребения,  
денежный вклад

недвижимость продана

Чудов монастырь,  
возле мужа,  
вклад 100 руб.дочь кн. Афимья  
Голицына, брат  
П.В. (Большой) Шереме-  
тев, плем. Б.П. Шереме-  
тев, плем. кн. И.Г. Кура-  
кинЦерковь Покрова  
Богородицы  
в вотчинном селе  
Чиркине,  
вклад 100 руб.сын кн. Яков Никитич,  
жена внука Юрия кн. На-  
галия Федоровна, пра-  
внуки кн. Юрий Юрье-  
вич и кн. Михаил Юрье-  
вичТроице-Сергиев  
монастырь, возле  
родителей и внука,  
вклад 500 руб.жена Аксинья, сыновья  
Михаил, Петр, Федор,  
дочери Стефанида и  
МарфаЕгорьевский мо-  
настырь в Москве,  
возле родителей и  
брата

*Душеприказчики и наследники недвижимости*

Родство	Душеприказчики	Наследники
не родственники	33	2
мать	1	—
муж	1	—
жена	1	7
сын	7	16
дочь	—	7
брат родной	4	3
брат двоюор.	7	4
шурин	1	—
тесть	1	—
зять	1	4
внук/правнук	1	9
внучка	—	3
племянник	13	14
сестра	1	1
невеста	1	3
золовка	1	1
отец духовный	17	—
<b>Всего</b>	<b>94</b>	<b>74</b>

*Духовные грамоты*

*Волконская, 1680* – Список с духовной памяти кн. Пелагеи Григорьевны Волконской // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И. Щукина. М., 1897. Т. 2. С. 196–201.

*Воротынский, 1626–1627* – Духовная изустная грамота кн. Ивана Михайловича Воротынского // Архив русской истории. М., 1992. Вып. 2. С. 118–121.

*Годунова, 1625* – Духовная Ольги Васильевны Годуновой, урожденной Зюзиной // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1868. Кн. 4 (смесь). С. 1–5.

*Голохвастов, 1678* – Духовная В.Я. Голохвастова, 6 дек. 1678 г. // Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968. С. 190–197.

*Долгорукий, 1633* – Духовная кн. Владимира Тимофеевича Долгорукого, 1 янв. 1633 // Известия Русского генеалогического общества. 1903, № 2. Раздел 2. С. 17–25.

*Кондырев, 1666* – Духовная Ждана Васильевича Кондырева, 1666 // Архив ФИРИ. Ф. 66 (Кашкины). Ед. хр. 54.

*Куракин, 1622–23* – Духовная кн. Василия Семеновича Куракина // Летопись историко-родословного общества в Москве. 1906. № 6–7. С. 53–60.

*Мезецкий, 1628* – Духовная Данилы Ивановича Мезецкого // Известия Русского генеалогического общества. 1903. № 2. С. 72–84.

*Мстиславская, 1630* – Духовное завещание княгини Ирины Михайловны, жены боярина Федора Ивановича [Мстиславского] / Шереметев С.Д. Пять актов 17-го века // Памятники древней письменности. М., 1880, № 4. С. 133–135.

*Нагой, 1617* – Изустная память Андрея Олександровича Нагово // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. М., 1907. Кн. 1. С. 133–135.

*Одоевская, 1671* – Духовная Евдокии Федоровны Одоевской, 3 сент. 1671 // Барсуков А.П. Род Шереметевых. СПб., 1899. Т. 7. С. 343–350.

*Одоевский, 1689* – Духовная боярина кн. Н.И. Одоевского, 1689 // РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Ед. хр. 22 (или Известия Русского генеалогического общества. 1911. № 4. С. 379–391).

*Пожарский, 1642* – Духовная грамота кн. Д.М. Пожарского, март 1642 // РГАДА. Ф. 1209. Стб. Нижнего Новгорода. Ед. хр. 604/20965. Ч. 3. Л. 426–442 (или Отечественная история. 2000. № 1. Публ. Ю. Эскина).

*Ромодановский, после 1662* – Духовная кн. Василия Григорьевича Ромодановского. Без конца // РНБ. Ф. 532. Ед. хр. 1451.

*Ртищев, 1668* – Духовная Михаила Алексеевича Ртищева, 1668 // Архив ФИРИ. Ф. 66 (Кашкины). Ед. хр. 56.

*Самарин-Квашнин, 1692* – Духовная Андрея Никитича Самарина-Квашнина // Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968. С. 197–199.

*Самарин-Квашнин, вторая половина XVII в.* – Изустная память Андрея Никитича Самарина-Квашнина // Там же. С. 198–199.

*Сулешов, 1643* – Изустная память боярина кн. Юрья Аншеевича Сулешова, 1643 / Публ. гр. С.Д. Шереметева. М., 1909. С. 1–12.

*Темкин-Ростовский, 1661* – Духовная грамота кн. Михаила Михайловича Темкина-Ростовского / Шереметев С.Д. Пять актов 17-го века // Памятники древней письменности. 1880. № 4. С. 135–138.

*Хворостинин, 1603* – Духовное завещание кн. Федора Ивановича Хворостинина // Русский архив. 1896. Кн. 1. Вып. 4. С. 571–575.

*Хворостинина, 1617* – Духовная грамота княгини Онтониды Хворостининой // РГАДА. Ф. 281. Ед. хр. 14932. Л. 1.

*Черкасский, 1649* – Духовная кн. Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, 1649 // РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Ед. хр. 8. (Публикация Д.С. Шереметева // Летопись историко-родословного общества в Москве. 1907. № 12. С. 379–391.)

*Черкасский, 1666* – Духовная грамота кн. Якова Куденетовича Черкасского // Барсуков А.П. Род Шереметевых. Т. 7. С. 11–19.

*Шереметев, 1645* – Духовное завещание боярина Федора Ивановича Шереметева, 1645 // Там же. СПб., 1883. Т. 3. С. 495–510.

*Шереметев, 1649* – Изустная память Федора Ивановича Шереметева // Там же. С. 510–524.

*Шереметев, 1682* – Изустная память Василия Борисовича Шереметева // Там же. СПб., 1904. Т. 8. С. 506–511.

## Примечания

- 1 Примером являются биографические очерки, включенные В.О. Ключевским в курс лекций по истории XVII в., посвященные Ф.М. Ртищеву, А.Л. Ордину-Нащокину, кн. В.В. Голицыну, которых он называет людьми "нового времени" (*Ключевский В.О. Исторические портреты*. М., 1990).
- 2 Попытка дать очерк частной жизни бояр XVII в., в том числе с использованием данных завещаний, сделана Р. Крамми в главе 6 (*Crummey R. Aristocrats and Servitors (the Boyar Elite in Russia. 1613–1689)*. Princeton (New Jersey), 1983.)
- 3 Исключение составляют записки иностранцев, но они лишь поверхностно касаются частной жизни.
- 4 *Pollock L. Living on the Stage of the World: the Concept of Privacy Among the Elite of Early Modern England // Rethinking Social History: English Society 1570–1920 and its interpretation / Ed. by A. Wilson. Manchester Uni. press, 1993. P. 83–84.*
- 5 Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 14.
- 6 *Pollock L. Op. cit.*
- 7 Литературу по дипломатике частнопубличных актов, в том числе завещаний, см.: *Герд Л.А. Византийские завещания – функция преамбулы // Вспомогательные исторические дисциплины*. СПб., 1994. С. 240–243.
- 8 *Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв.* Л., 1986. С. 101.
- 9 *Герд Л.А. Указ. соч.* С. 242.
- 10 Подобное утверждение основывается на его сравнении с пока неопубликованным перечнем древнерусских духовных, составленным Д. Кайзером, и картотекой документов боярских личных архивов, сделанной Б.Н. Морозовым, которые были им любезно предоставлены автору.
- 11 См историографию в кн.: *Семенченко Г.В. Духовные грамоты XIV–XV веков как исторический источник*. Автореф. ...канд. дисс. ист. наук. М., 1983; *Он же. Византийское право и оформление древнерусских завещаний // Византийский вестник*. М., 1986. Т. 46.
- 12 *Каптанов С.М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца XIV – начала XVI веков // Вспомогательные исторические дисциплины*. Л., 1979 и др.
- 13 *Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв.* М., 1951. Ч. 2. С. 72.
- 14 *Kaiser D.H. Death and Dying in Early Modern Russia // Major Problems in Early Modern Russian History*. N.-Y.; L., 1992; *Idem. "Forgive Us Our Debts...": Debts and Debtors in Early Modern Russia // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Beiträge zur 7. Internationalen Konferenz zur Geschichte des Kiever und des Moskauer Reiches*. Berlin, 1995.

- 15 Повесть о болезни и смерти Василия Третьего // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века М., 1985. С. 25.
- 16 Ссылки на духовные грамоты см. по списку в конце главы. В скобках указывается фамилия автора, год написания грамоты, лист или страница.
- 17 К сожалению, архив Патриаршего судного приказа погиб, поэтому сохранилось так мало духовных грамот.
- 18 Выход – постройка, находящаяся отдельно от здания, хозяйственного назначения или отхожее место.
- 19 Похви – подхвостник, ремень с петлюю от седла к хвосту лошади.
- 20 Поперстье – нагрудный ремень на верховой лошади.
- 21 Хоз – вид сафьяна.
- 22 Речь идет о рязанском селе Константиново – родине Сергея Есенина.
- 23 Эскин Ю.М. Дмитрий Пожарский // Вопросы истории. 1976. № 8; Он же Завещание кн. Д. Пожарского // Отечественная история. 2000. № 1.
- 24 За указание на духовную грамоту Д.М. Пожарского и помощь в работе с ней благодарю Ю.М. Эскина.
- 25 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв.
- 26 Акты социально-экономической истории. М., 1957. Т. 2. № 413.
- 27 Акты, относящиеся до юридического быта древней России. СПб., 1857. Т. 1. С. 54
- 28 См.: Успенский Б.А. Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура М., 1994. С. 151–163.
- 29 Гольмстен А.Х. О душеприкащиках. Сравнительное исследование. СПб., 1874. С. 16
- 30 Л. Руднев писал: "Душеприкащик – это друг дома в лучшем смысле: он распорядится, а как – ему это подскажет обычай" (Руднев Л. О духовных завещаниях по Русскому гражданскому праву в историческом развитии. Киев. 1895. С. 56).
- 31 Недаром древнерусский писатель Иван Посошков в "Завещании отеческом сыну" рассуждал о том, что духовный отец важнее отца родного: "...а отца своего духовного паче родившего тя почитай и во всем перед ним рабствуй..." (Посошков И.Т. Завещание отеческое к сыну своему, со нравоучением, за подтверждением Божественных писаний. СПб., 1893. С. 53).
- 32 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913.
- 33 Духовная Семена Васильева сына Степанова 1569–1570 // Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1956. Т. 2. С. 393.
- 34 Частная переписка кн. П.И. Хованского, его семьи и родственников // Старина и новизна. М., 1905. Кн. 1. С. 149.
- 35 Духовная грамота кн. Михайла Ивановича Воротынского. 1566 // Архив русской истории. М., 1992. Вып. 2. С. 115.
- 36 Выезжавшие в Россию из Кабарды и крестившиеся под именем кн. Черкасских представители кавказской аристократии были из разных семей, но в России называли себя родственниками, "братьями".
- 37 Челобитная Шереметева от 14 марта 1645 г. // Барсуков А.П. Род Шереметевых. СПб., 1883. Т. 3. С. 297.
- 38 Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси М., 1947. Т. 1. С. 46.
- 39 Боговаленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. С. 176.
- 40 Полное собрание законов. СПб., 1830. Т. 3. № 608. С. 1008–1009.
- 41 Подробнее см.: Кошелева О.Е. Дети как наследники в русском праве с древнейших времен до петровского времени // Социальная история. Ежегодник 1998/99. М. 1999.
- 42 Барсуков А.П. Род Шереметевых. Т. 3. С. 361.
- 43 Архив кн. Ф.А. Куракина. Саратов, 1890. Т. 1. С. 246.
- 44 Котошицын Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 4. СПб. 1906. С. 157–158.
- 45 Дополнения к Актам Историческим. СПб., 1848. Т. 3. № 78.

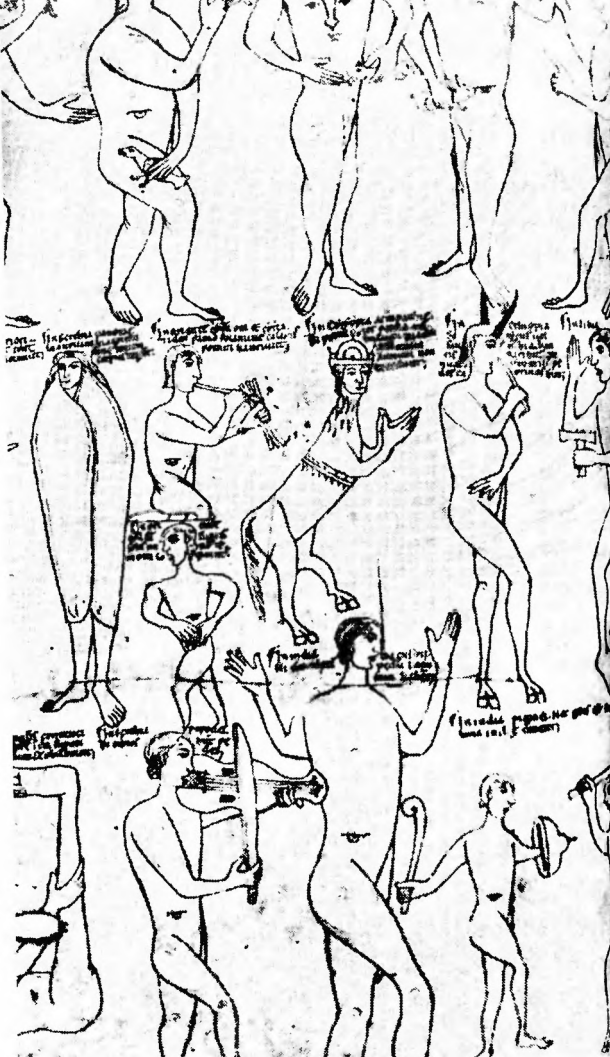
- 46 Термин "деловые люди" объясняется исследователями по-разному. См. об этом: Кольчева Е.И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI вв.). М., 1971. С. 132–142.
- 47 Заозерский А.И. Боярский двор: страничка из истории одного боярского дома // Русский исторический журнал. 1922. № 8. С. 101. См. также: Список годового жалования людям боярина Б.И. Морозова, 1658 г. // РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 36501. Л. 1–22.
- 48 Заозерский А.И. Указ. соч. С. 106.
- 49 Акты Московского Государства. М., 1894. Т. 2. С. 41.
- 50 Заозерский А.И. Указ. соч. С. 113.
- 51 РГАДА. Ф. 210. Севский стол. Ед. хр. 230. Л. 319–321. ед. хр. 283. Л. 453–456. 1672 г.
- 52 Цка – эд. намогильная плита.
- 53 Как отмечает Д. Кайзер, эта отличительная черта русского похоронного обычая по сравнению с западноевропейским, в котором преобладало желание быть погребенным вблизи святых мощей // Kaiser D. H. Death and Dying in Early Modern Russia. P. 233.
- 54 Барсуков А.П. Указ. соч. Т. 3. С. 140–141.
- 55 Точное указание на то, как одеть его тело на отпевание, дал кн. Ф.И. Хворостинин: "Охажнем таусинным бархатным, а на нем пуговицы серебряны".
- 56 Значение именно этих дней в поминальном идеале объяснялось в Синодальных; в одной редакции рассказывалось о том, что происходит на этих этапах с душой, в другой – с телом (см.: Петухов Е. Очерки из литературной истории Синодиков. М., 1895).
- 57 РГАДА. Ф. 188. Ед. хр. 450. Л. 14.
- 58 Подробнее см.: Kaiser D. H. Death and Dying in Early Modern Russia. P. 241–245. Steindorff L. Memoria in Altrußland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994.
- 59 Иосиф Волоцкий. Послание к некоей княгине-вдове, давшей на сорокоуст в память по своим детям и взроптавшей // Памятники литературы древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 353–357.
- 60 См.: Steindorff L. Princess Maria Golenina: Perpetuating identity through "Care for the Deceased" // Culture and identity in Moscow, 1359–1584. Moscow, 1997.
- 61 Правеж – битье батогами несостоятельного должника.
- 62 Арьев Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 182.
- 63 Цит по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1961. Т. 6. С. 619–620.
- 64 Архив РАН. Ф. 620. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 49 (97).
- 65 Речь идет о младшем сыне А.М. Ртищева Федоре Меньшом, старший сын – Федор Большой – душеприказчик.
- 66 Робинсон Н.А. Два русских женских характера (XVII век) // Искусство слова. М., 1973. С. 31–39.
- 67 Kaiser D.H. "Forgive Us Our Debts..."
- 68 Морозов Б.Н. Делопроизводство и архив в крупной боярской вотчине XVII века // Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981.
- 69 Книга приходная, что взять по кабалам и по записям боярина Бориса Ивановича Морозова и его жены боярыни и вдовы Анны Ильиничны всяких чюнов на людей. Ок. 1668 // РНБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. QXL. Л. 1–58.
- 70 РГАДА. Ф. 141. 1651. Ед. хр. 36.
- 71 Путешествие в Московию... описанное самим бароном Мейербергом // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1873. Кн. 3. С. 92.
- 72 Частная переписка кн. П.И. Хованского, его семьи и родственников. С. 294, 298.
- 73 Там же. С. 305.
- 74 Там же. С. 313–314.
- 75 Роспись крестьянских дворов, находившихся во владении высшего духовенства, монастырей и думных людей по переписным книгам 1678 г. / Публ. А.А. Новосельского // Исторический архив. 1940. Т. 4. С. 127.



- 76 Частная переписка кн. П.И. Хованского, его семьи и родственников. С. 371.
- 77 Там же.
- 78 Кошелева О.Е. "Благословляю чада свои": забота о детях (по древнерусским духовным грамотам // Вестник Университета Российской академии образования. 1997 № 2.
- 79 Ср. духовную новгородца Федора Остафиевича, который наказывает: "А ты, сын мой Степане, и внуцата мои, костью моею не двиньте и брата своего Василья не обидте" (Духовная Федора Остафиевича, 1435 // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.: Л., 1949. С. 171). См. также: *Kaiser D.H.* Death and Dying in Early Modern Russia. P. 240).

*Странные люди*





not...  
in...  
...

In...  
...

In...  
...

In...  
...

In...  
...

In...  
...

In...  
...

In...  
...

Обращение в монашество  
в мыслях и чувствах монаха XI века  
(К проблеме личности  
Отлоха Санкт-Эммерамского)<sup>1</sup>

Как всякая ситуация, предполагающая выбор человеком своего жизненного пути, обращение в монашество (*conversio*) представляет несомненный интерес для исследования индивидуального в истории. Изучение таких ситуаций обещает по крайней мере выбраться за пределы расхожего представления о средневековой личности, якобы всецело растворенной в коллективе, осознающей себя через ценности, господствующие в его социальной среде<sup>2</sup>. Не в состоянии ли мы в момент смены социальной роли, выбора новой формы жизни, когда всяческие маски сброшены, различить в человеке прошлого нечто большее, чем застывший типаж рыцаря, клирика, крестьянина?

Вступление в монастырь требовало немалой решительности, в идеале означая отказ не только от "мирского", *mundana*, в том числе от своего имущества и положения, от всех прежних социальных связей – *patria parentesque* – "родины и родителей" (как источники порой несколько упрощенно описывают разрыв этих связей), но и от собственной воли, даже своего имени и тела<sup>3</sup>.

Св. Бенедикт, окружая вступление в монастырь всяческими "обидами" (*iniuriae*) и "трудностями", повторял за Писанием: "Испытайте духом, от Бога ли они" (1 Иоан. 4, 1). Лишь не потерявший своей настойчивости в течение четырех или пяти дней принимался сначала в дом для странников, а затем в жилище новичиев. Здесь опытному монаху надлежало выяснить, "ищет ли тот на самом деле Бога, имеет ли он рвение к служению Богу, к послушанию и готов ли он к поношениям". Предполагалось, что в продолжение двух месяцев новичия будут запугивать всеми "опасностями и терниями" на пу-

ти к Богу и лишь затем прочтут ему устав. Если и тогда он “покланется в неизменности своей настойчивости”, то следует продолжить его испытание “со всяческим терпением”, пока через шесть месяцев снова не будет прочитан устав. “Если и тогда он останется”, то через четыре месяца новицию опять предложат выслушать правило, дабы он окончательно осознал, что со вступлением в обитель для него не будет иного закона, а обратный путь в мир теперь заказан<sup>4</sup>.

Таким образом, у Бенедикта вступление в монастырь, тянувшееся год, – это прежде всего испытание собственной убежденности, настойчивости и решимости в достижении иной формы жизни. *иногда*. Безусловно, мы вправе предполагать, что обращение всякий раз мотивировалось чем-то существенным, принципиальным для конкретного человека, являлось результатом его внутренней, сокровенной, работы. Если, конечно, абстрагироваться здесь от тех, весьма и весьма многочисленных случаев, когда в монастыре “искали не Бога”, а всевозможных выгод, посторонних монашескому призванию.

В зависимости от мотивов Иоанн Кассиан (ум. 430/435) различал три варианта обращения: во-первых, непосредственно от Бога, по внушению; во-вторых, по совету или примеру другого лица; и наконец, “в силу необходимости” (*ex necessitate*). Эту “необходимость”, согласно Кассиану, создают “неожиданно нахлынувшие испытания”: “угроза смерти”, “утрата имущества и преследования” или “смерть дорогих” людей (*charorum*). Тот, кто пренебрегает Господом “в состоянии благополучия” (*in rerum prosperitate*), теперь вынужден поспешить к нему “по крайней мере по принуждению” (*saltem inviti*)<sup>5</sup>.

Предполагаемому значению столь решительного поступка, каковым являлся уход в монастырь, отнюдь не соответствует состояние источников, в особенности в раннее средневековье, но по большей части и в “переходном” XI столетии<sup>6</sup>. Источники лишь изредка позволяют выбраться за пределы банального: *saeculum relinquit, habitum mutavit, monachicum habitum suscepit* etc. Причем, как правило, перед нами предстает человек, уже принявший решение и осуществивший свою волю, мотивы же его поступка, если о них вообще заходит речь, чаще осмыслиются через соответствующие клише монашеской традиции, не позволяя увидеть той “пограничной ситуации” (К. Ясперс), в которой индивид способен был внезапно прозреть экзистенциальное.

Так, северофранцузский граф Эбрард (ум. после 1105), которому пришлось ради монашеской жизни даже развестись с женой, согласно грамоте 1073 г., просто-напросто «внял гласу Господа, говорившего: “Если кто не отрешится от всего, чем владеет, не может быть моим учеником” (Лук. 14, 33), а также “Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас” (Мат. 11, 28)». И, опасаясь того, что, поступив иначе, чем по мягчайшему увещанию

Господа, буду и в будущем отлучен от царства небесного, начал размышлять», и т. д.<sup>7</sup>

Увидеть в стереотипном его индивидуальную интерпретацию здесь, как и во многих подобных историях, бесконечно сложно. Лишь изредка, в более «откровенном» источнике, случается натолкнуться на некое индивидуальное переживание той или иной жизненной коллизии – переживание такой силы, что решительный разрыв с миром кажется его естественным следствием. Так, для графа Витицы, сопровождавшего Карла Великого в его лангобардском походе 773–774 гг., всего важнее оказалась внезапная близость смерти в тот момент, когда он, протянув руку своему брату, тонущему в стремительной горной реке, чуть было не погиб сам. Именно тогда Витица втайне поклялся Богу не служить долее миру, что и исполнил, сменив свое мирское имя на программное – Бенедикт (Анианский, ум. 821)<sup>8</sup>.

Но и на фоне самых неординарных историй обращения, способных пролить свет на механизмы индивидуального выбора, рассказ о вступлении клирика Отлоха (ок. 1010 – ок. 1070) в монастырь св. Эммерама в 1032 г. выглядит крайне необычно. Отлох был не совсем обычным человеком и монахом XI столетия. В течение почти сорока лет монашеской жизни он написал пять сочинений, которые либо полностью, либо по большей части посвящены истории его жизни, чему, как кажется, нет аналогов в западноевропейской средневековой истории литературы. Удивительно, что как в средние века, так и в новое время, вплоть до наших дней, сочинениями Отлоха интересовались немногие<sup>9</sup>. Большинство его трудов все еще доступно лишь в изобилующем ошибками и лакунами издании Миня<sup>10</sup>. К счастью, Отлох не был полностью забыт в его собственном монастыре. Кто-то все же сохранил автографы монаха. Правда, из его автобиографических сочинений до нас не дошла «Книга об исповедании моих деяний» (*Liber de confessione actuum meorum*), если, конечно, не сам Отлох включил его в какой-нибудь из своих позднейших трудов.

То, что Отлох в средние века не принадлежал к числу популярных писателей, предоставляет современному исследователю определенные преимущества. Вместо того чтобы иметь дело с поздними копиями, мы располагаем оригиналами, иными словами, автографами автобиографических сочинений Отлоха со всеми внесенными им собственноручно маргиналиями, корректурами и дополнениями. Особое место среди рукописей Отлоха занимает при этом кодекс Баварской Государственной библиотеки (*Codex Latinus Monacensis 14756*), который содержит два автобиографических сочинения монаха, а именно «Книжицу об искушениях некоего клирика» (*Liber de temptationibus cuiusdam clerici*) и «Книжицу о духовном учении» (*Libellus de doctrina spirituali*)<sup>11</sup>.

Собственноручный текст Отлоха заинтересовал нас в качестве самостоятельного источника, предоставляющего уникальную возможность увидеть монаха за работой над собственным образом, проникнуть в процесс его внутренней рефлексии. Исследование манускриптов Отлоха в дальнейшем будет сочетаться с содержательным анализом обоих сочинений из Clm 14756, а также других автобиографических фрагментов монаха, из "Книги видений" (*Liber visionum*) и "Книги о беге духовном" (*Liber de cursu spirituali*).

Георг Миш справедливо подчеркивал, что в центре воспоминаний Отлоха находится его обращение в монашество. По мнению классика исследования средневековой автобиографии, это обстоятельство обусловлено традицией всякой "духовной автобиографии" средневековья. Означает ли это, что Отлох при описании своей *conversio* всего лишь следовал почтенной традиции, не пытаясь, вместе с тем, объяснить нечто сущностное как самому себе, так и остальным? Не должны ли мы поставить вопрос о том, почему Отлох возвращался к обстоятельствам своего обращения по меньшей мере четыре раза? Менялся ли его взгляд на пережитое или он "расцвечивал вновь и вновь уже однажды изображенное", как полагал Г. Миш?<sup>12</sup> Что, собственно, означало в XI в. стать монахом?

Цель данной главы заключается в том, чтобы исследовать содержание и мотивы рефлексии Отлоха по поводу его обращения в монашество, проникнуть во внутренний мир монаха XI в., а именно понять тревожившие его сомнения, страхи и страсти как перед вступлением в монашескую общину, так и после, в ходе осмысления пережитого.

### 1. Автобиографические сочинения Отлоха

Прежде чем перейти к анализу версий обращения, содержащихся в сочинениях Отлоха, целесообразно задать вопрос о самых общих причинах, всякий раз побуждавших Отлоха к автобиографическому повествованию. Что стояло за этим постоянным возвращением к перипетиям собственной жизни? Менялся ли его взгляд на цели и функции автобиографического описания? Лишь отталкиваясь от ответов на эти вопросы, мы сможем судить о том, претерпевал ли взгляд Отлоха на пережитое действительно качественные изменения, сумел ли он с годами достичь новых глубин интроспекции, расширить горизонты собственной рефлексии.

Причины написания каждого из названных трудов Отлоха свои. Тем не менее в итоговой автобиографии конца 60-х годов XI в., "Об искушениях", Отлох пытался объяснить и общие мотивы, побудившие его к индивидуальному творчеству как таковому – занятию сочинительством или составлением книг (*studium dictandi, dictamen librorum*)<sup>13</sup>, которое монах отчетливо противопоставляет труду каллиграфа, *studium scribendi*, принесшему ему первоначальную извест-

ность: "А поскольку приятно попеременно наслаждаться [и тем и другим], временами старался записывать всякого рода сочинения не только для того, чтобы прогнать тягостную досаду (*ob depellendam tedii molestiam*), но и ради отдохновения душевных и телесных сил (*ob recreandas anime e corporis vires*)..."<sup>14</sup> Иными словами, свой *studium dictandi* Отлох осмысляет в контексте собственной внутренней жизни, мотивирует его сугубо личными потребностями.

Отлох утверждает, что "первый" из своих трудов, стихотворную "Книжицу о духовном учении" (*Libellus de doctrina spirituali*), он написал вскоре после вступления в Санкт-Эммерам, вероятно, еще в первой половине 30-х годов XI в.<sup>15</sup> Правда, в другом автобиографическом фрагменте, из "Книги видений", монах проговаривается, что еще до своего обращения обладал "некоторым опытом в сочинительстве"<sup>16</sup>. Там же Отлох говорит о сочиненных им виршах и посланиях, направленных против нападков его недоброжелателя, пресвитера из Фрайзингского диоцеза Веринхара, и даже цитирует одно из стихотворений<sup>17</sup>. А в "Книге об искушениях" признается, что, "пребывая в мирской жизни, изрядно упражнялся" в стихосложении; да и вообще был знаком с *studium dictandi*<sup>18</sup>. Характерно, что, всматриваясь в свою жизнь на склоне лет, он не счел нужным упомянуть ни одного из собственных творений периода, предшествовавшего обращению в монашество. Причина этого, возможно, кроется в том значении, которое сочинительство приобрело для Отлоха после вступления в монастырь.

Оправившись от тяжелой болезни, сопровождавшей обращение и, собственно, подтолкнувшей Отлоха к принятию окончательного решения, он стал беспокоиться о том, не слишком ли рано наступило телесное выздоровление и как бы "это избавление не принесло мне духовного вреда". Втайне Отлох просил Господа о ниспослании ему искушений, которые "всколыхнули" бы его, пребывающего "в таком покое здоровья". Однако об этих мольбах ему еще предстояло пожалеть: столь велики были последовавшие "муки искушений", тем более сильные, чем "крепче было телесное здоровье" новоявленного монаха. Тем не менее, уповая на милосердие Божье, Отлох "трудился не столько, сколько был должен, но сколько при моей брешности умел с соизволения и благодаря поддержке самого Господа, дабы не погибнуть перед лицом моих врагов".

Тем не менее обычных монашеских трудов оказалось недостаточно. "Ведь то, — по словам Отлоха, — что я научился делать в монастыре наравне (*communitur*) с другими братьями, или же то, чему я следовал по собственной воле (*sponte*), из особой набожности (*speciali devotione*), предаваясь переписыванию, чтению или же постам, казалось подавляло тело в недостаточной степени". Раздумывая о том, "чем было бы всего лучше постоянно обуздывать себя", и привели Отлоха к решению заняться сочинительством: ведь он "многочисленно



испытал, что похотливый ум всякого, сведущего в науках, ничем более нельзя укротить, нежели занятием сочинительством<sup>19</sup>.

Таким образом, "составление книг" стало для Отлоха особым видом религиозной практики. Свой труд он воспринимает и как утешение в невзгодах, и как отраду, но в большей степени как способ телесного обуздания и духовного самосовершенствования, который найден им самостоятельно, в ходе мучительной внутренней работы, развития индивидуального религиозного поиска и который осознается через оппозицию духовным упражнениям, общим для других монахов. Прежним литературным студиям Отлох, видимо, не придавал такого значения, а потому и не удостоил их упоминанием в своей итоговой автобиографии.

Описывая в "Книге об искушениях" содержание своего первого труда, Отлох заявляет, что собрал в нем различные "сентенции", относящиеся к благочестию, "которыми укрепил исключительно себя, вооружившись ими против грозящих искушений". В то же время Отлох надеялся: "глубже осмыслить размеры моей порочности, которая была свойственна мне в миру наравне (*communitèr*) с остальными клириками, и исследовать упрямство (*pertinacia*), отличавшее меня там же особо (*specialiter*) от других, дабы уразуметь, что изложенное письменно требует более усердного покаяния"<sup>20</sup>. Так, в "Книжицу о духовном учении" вошла четыре автобиографические главы, первая из которых была названа *Relatio casuum teorum* ("Сообщение о случившемся со мной").

Как видим, Отлох объясняет не только критерии отбора материала для своей книги: это его сугубо индивидуальный экскурс в христианское благочестие, способ осознания собственных грехов, своего рода увеличительное стекло, через которое он взирал на прожитую жизнь. Такой подход к работе над книгой, соотношенный с личными нуждами монаха, оправдывает, с его точки зрения, и разговор о собственной жизни, о *casus teorum*, осознаваемый как покаяние, более обязывающее, нежели устное. В силу того, видимо, что рефлексия, доведенная до письменной фиксации прежде смутных переживаний, предполагала более четкое осознание греха, а следовательно, иную ответственность. А значит, оглядываясь на пережитое, Отлох отбирает для письменной памяти лишь то, что, по его мнению, требует покаяния. Здесь не может быть ничего случайного, ничего не имеющего непосредственного отношения к греху, наказанию и искушению как испытанию, ниспосланному Богом. "Еще рассказал о достойных сожаления наказаниях моей порочности, свершившихся как духовно, так и телесно", — именно этими словами Отлох в "Книге об искушениях" раскрывает содержание своей первой автобиографической *relatio*<sup>21</sup>.

Судя по облику собственноручного манускрипта "О духовном учении", эта книжица не переставала занимать монаха вплоть до конца его дней.

Нам известно, что Отлох вообще любил возвращаться к своим сочинениям, цитировал самого себя, отсылал читателя к предшествующим трудам, надписывал рубрики, добавлял поясняющие маргиналии, вносил корректуру, иногда даже излишнюю<sup>22</sup>. Однако те изменения, которые с годами претерпела "Книжица о духовном учении", носят концептуальный характер.

Автограф книжицы дошел до нас в составе Clm 14756, где он начинается с оборотного листа с последними строками "Об искушениях" (fol. 112), считающегося итоговым трудом монаха. Надо отметить, что эта собственно-ручная рукопись "Об искушениях" была явно единственной, а потому не могла быть записана после "Книжицы о духовном учении" того же кодекса. Таким образом, мы, очевидно, имеем дело с окончательной версией книжицы, причем она претерпела изменения уже после того, как монах описал ее содержание в своей итоговой автобиографии. Там он отмечал, что долго не мог решить, где было бы лучше разместить "сообщение о случившемся со мной". Поначалу он поставил его "в середине" книжицы, но затем, "когда я начал понимать кое-что при более пристальном рассмотрении", перенес в конец сочинения, *post cetera*<sup>23</sup>.

В Clm 14756 автобиографическая *relatio* монаха следует за "сентенциями" вероучения, адресованными таким же клирикам, как он сам, до вступления в монастырь<sup>24</sup>. Первоначально "сообщение о случившемся со мной" входило где-то "в середине" этой части, которую Отлох обозначил в "Книге об искушениях" как наставление о "различных небрежностях клириков и алчности"<sup>25</sup>. И лишь затем "при более пристальном рассмотрении" *relatio* была перенесена в конец сочинения. Но на этом книга в Clm 14756 отнюдь не заканчивается. После *relatio* (гл. XIV–XVIII) следует еще 21 глава<sup>26</sup>. Причем, как явствует из оформления оглавления, с титула главы XXVII Отлоху явно не стало хватать места на fol. 114v, последнем перед *Incipit Libellus* (собственно началом книги): его прежде крупный, очень четкий, с разрядкой, почти без лигатур почерк внезапно мельчает, буквы временами сливаются, да и строчки, до того отделенные солидным интервалом, теперь жмутся друг к другу; и если прежде они были идеально параллельны горизонтальным обрезам, то сейчас слегка искривлены, что явно позволяет вырвать у пергамента стремительно убывающее пространство.

Итак, "Книжица о духовном учении", судя по ее описанию в "Книге об искушениях", ко времени работы над последней, т. е. в конце 60-х годов, должна была оканчиваться на XVIII главе, завершающей воспоминания монаха. Поставив точку в итоговой автобиографии, Отлох стал создавать новую версию своего раннего произведения, которое, таким образом, следует считать последним из его трудов. Очень вероятно, что пролог и оглавление Отлох мог добавить уже после написания основной части, прежде специально зарезервировав для этого страницы (fol. 112v – 114v). Иначе, если бы концепция книги была продумана им с самого начала, ему бы не пришлось втискивать названия глав на клочке 114-й страницы, оставшемся свободным перед *Incipit*. По меньшей мере новая концепция книжицы предусматривала 26 глав вместо 18: титул XXVI главы написан еще "нормальным" почерком. Уже в процессе работы над манускриптом Отлох стал добавлять новые главы, которые и перечислил впоследствии на 114-й странице. Там поместились титулы глав до XXXIX. То, что и после Отлох собирал в кодексе разные стихотворные поучения<sup>27</sup>, возможно, свидетельствует о его стремлении

расширять книгу далее. Добавления между строк, многочисленные корректуры также указывают на то, что перед нами новая редакция книги<sup>28</sup>.

Допустимо предположить, что именно работа над итоговой автобиографией побудила Отлоха к решительному пересмотру своего первого произведения. Развитие структуры сочинения, как кажется, было обусловлено трансформацией его основной функции. Поначалу Отлох мыслил этот труд как своего рода индивидуальное лекарство – и у нас есть все основания доверять его воспоминаниям в “Книге об искушениях”. Ведь тогда первая из его книг еще не претерпела описанных выше изменений, хотя потребность в них, возможно, уже стала осознаваться монахом.

Дело в том, что в “Книге об искушениях” Отлох стремится представить свое творчество как реализацию некоего цельного замысла, которым он якобы руководствовался с самого начала. Говоря его собственными словами читателю следовало убедиться, *ne nequaquam frustra in talibus desudasse*<sup>29</sup> “Книжицу о духовном учении” Отлох относит теперь к “троице” своих сочинений, предназначенных для “наставления” (*edificatio*) других, прежде всего тех, кто делает первые шаги по пути “обращения”<sup>30</sup>.

В соответствии с новыми функциями книжицы сразу после автобиографической *relatio* в окончательной версии следует не какая-либо новая глава, адресованная клирикам, а “Увещевание, данное также мирянам” (*Admonitio etiam facta ad laicos*); да и все, содержащееся на fol. 140 г – 194 г обращено к христианам вообще, ко всем, кто стремится к “царству небесному” (*regnum celeste*), как значит в завершающей главе книги. По признанию в “Книге об искушениях”, Отлох хотел бы объединить свое первое сочинение с двумя более поздними произведениями в одном томе<sup>31</sup>, “словес собрать для одного стола трапезничающих, а именно наподобие трех блюд которые святой отец Бенедикт распорядился в правиле предоставлять нам для пропитания, дабы, если кто не сможет насытиться одним, насытился бы другим”<sup>32</sup>.

Итак, “Книжица о духовном учении”, работа над которой представлялась Отлоху чем-то вроде личного духовного упражнения, обрела с годами новое содержание. Не столько “наставить” себя сентенциями вероучения, не столько осмыслить пережитое, подчинить тело духу, излить душу, сколько научить других на личном опыте – такова цель Отлоха теперь. Мы вправе как будто констатировать что осознание ценности своего личного опыта для всех, кто стремится к “царству небесному”, в особенности тех, кто только начинает свой путь к обращению, пришло к Отлоху с годами, хотя место для дидактики, видимо, нашлось уже в первой редакции книжицы<sup>33</sup>. Как и почему совершился переход к “наставлению” других, какое воздействие на автобиографическое повествование Отлоха оказало крепнущее сознание ценности своего индивидуального опыта – таковы вопросы, которые ставит перед нами рукопись “Книжицы о духовном учении”. Ответы на эти вопросы мы постараемся найти, рассмотрев другие сочинения монаха.

Следующий по времени автобиографический экскурс, гораздо более обстоятельный, чем предыдущий, был включен Отлохом в его

“Книгу видений”, которую он также относил к трем важнейшим своим произведениям и даже посвятил Троице<sup>34</sup>. “Книга видений” была составлена монахом во время его четырехлетнего пребывания в аббатстве Фульда (Гессен) в 1062–1066 гг., в продолжение самого плодотворного периода его жизни<sup>35</sup>.

В прологе к “Книге видений” Отлох сообщал: «Господь и Спаситель наш... учил также, что и все скудоумные и нищие в своем внутреннем и внешнем человеке (Рим. 7, 22; Кор. 4, 16), не сумев стяжать полноту добродетелей, не должны совсем отчаиваться обрести спасение. Ведь он сказал: “И кто напоит чашею холодной воды во имя мое, не потеряет награды своей” (Марк. 9, 41)... Так и тот заслужит воздаяние, кто, обладая возможностями, оказал помощь невежде, сообщив ему нечто касательно духовного устройства...»<sup>36</sup>

Этот пассаж лишь на первый и очень поверхностный взгляд выглядит тривиально. Уже несколькими фразами ниже Отлох признается, что собирается “во имя попечения о верующих”, среди прочего, поведать и о видениях, которыми “удостоил меня Господь”<sup>37</sup>. Таким образом, он недвусмысленно заявляет о божественном вознаграждении за автобиографическое повествование, если оно сможет помочь в просвещении “невежды”.

Далее Отлох обобщает свой духовный опыт: “И, о несчастные, пренебрегающие предостережениями милости божьей (т. е. видениями. – Н. У.)... Когда она узрит, что от мягкости вышеописанных видений не последовало никакого улучшения, со строгостью удостоит суровых страданий, дабы отвратить от распушенности и смертельного бездействия. Ведомо мне, как всего этого тем осмотрительнее надлежит беречься и тем искреннее в это верить, чем более сам на собственном опыте постигал это. Ибо грехи мои вспоминаю (Быт. 41, 9), ведь никто более меня не сомневался по поводу такого рода знамений, пока не был приведен к вере через суровейшие испытания...”<sup>38</sup> И далее, как бы смущаясь, Отлох поясняет, дескать нет ничего удивительного в том, что Бог посещает во сне “кого угодно”: ведь так он поступал с “разными святыми людьми”<sup>39</sup>. Именно с четырех собственных видений, занимающих большую часть книги, Отлох и начинает свой труд, хотя среди его источников есть и Беда Достопочтенный, и св. Бонифаций, и современник монаха папа Лев IX.

Отлох, веря, что “с детских лет” обрел “милость божественного порицания”<sup>40</sup>, обостренно воспринимает выпавшие на его долю испытания, видя в них знак своей избранности, словно именно его, на пути из Иерусалима в Иерихон, раздетого и израненного, “едва живого”, ободрил добрый Самаритянин. «“По наказанию одного пагубного многие глупцы научатся” (Прит. 19, 25), и через благотворно действующее испытание, ниспосланное милостью Божьей, явится польза для слабых и отпавших. Но и тех наставит, кто до сих пор был верен, с тем, чтобы они, твердые в началах, избежали прочих опасно-

стей», – утверждает Отлох. Монах уверен, что испытания, выпавшие на его долю, ниспосланы Господом, “который желает, чтобы все спаслись (1 Тим. 2, 4), дабы “на мне и другим явить богатства силы, терпения и доброты своей, столько раз умерщвляя и оживляя меня, низводя в преисподнюю и вознося вновь”<sup>41</sup>.

Иными словами, Отлох из убеждения в сугубой индивидуальности и интимности своих отношений с Богом делает вывод об их широком, всеобщем значении. Если в “Книжице о духовном учении” он скорее видит в случившемся с ним иллюстрацию общих сентенций вероучения, то в “Книге видений” на первое место выходит неповторимость, индивидуальность его личного опыта – именно это по мысли Отлоха, определяет ценность его собственных переживаний для других. Причем он не ощущает себя лишь пассивным объектом божественной воли. Напротив, монах подчеркивает: “...Часто также просил у Господа, дабы всякий раз, как совершал тайно или явно какой-либо тяжкий грех, тотчас же или через несколько дней подвергался бы столь же тяжелому недугу или некому другому мучению”<sup>42</sup>.

Сознание ценности личного духовного опыта, впервые четко обнаружившее себя именно в “Книге видений”, видимо, и позволило Отлоху существенно детализировать повествование о пережитом и испытанном им самим. По собственному признанию монаха, предвоспоминаниям положило лишь его нежелание повторяться. Отлох отмечает, что не рассказывает в “Книге видений” о случившемся с ним “в дальнейшем как по милости Божьей, так и по умыслу дьявольского коварства”, поскольку “полнее” описал все это “в другом сочинении”<sup>43</sup>. Какое именно из своих сочинений Отлох имеет в виду, сказать трудно. Возможно, речь идет об утраченной “Книге об исповедании моих деяний”<sup>44</sup>.

В “Книге об искушениях” Отлох говорил о ней как о сочинении написанном “много лет назад” на тот случай, “если какая-либо болезнь или внезапная смерть воспрепятствует мне в последние часы принести должное покаяние”<sup>45</sup>. Вроде бы исповедание грехов должно было составлять основное содержание этой книги. И в этом смысле “Об исповедании” вполне могло быть тем “другим сочинением”, которое упоминается в “Книге видений”. В то же время Отлох оговаривается, что в “Книге об исповедании” он хотел “по крайней мере рассказать письменно, кем был сам по себе (*ex metetipso*), а меч по милости Божьей (*ex Dei gratia*)”<sup>46</sup>.

Это “по крайней мере” (*saltem*) как будто обозначает некие сомнения монаха по поводу собственных возможностей принести “должное покаяние” и вводит задачу, очевидно, выходящую за пределы одной исповеди. Еще меньше, чем на исповедь, походит этот труд на рассказ о божественных милостях и дьявольских коварствах упомянутый в “Книге видений”<sup>47</sup>. Какой бы из своих трудов Отлох

ни подразумевал под "другим сочинением", примечательно то, как он на закате жизни определяет содержание своей "Книги об исповедании". Это противопоставление логики развития своего "я" и промысла Божьего отчетливо присутствует в "Книге об искушениях", в раздумьях Отлоха по поводу сделанного и пережитого им. Например, если к труду каллиграфа Отлоха, по его собственному мнению, еще в раннем детстве предопределил Господь, то *studium dictandi*, как мы помним, он избрал, напротив, совершенно самостоятельно<sup>48</sup>. То же относится и к его взаимоотношениям с Богом. Повторюсь, что Отлох всякий раз просит Господа о ниспослании каких-либо наказаний или мучений за те или иные свои проступки, не удовлетворяясь пассивной ролью ведомого свыше.

Стремление рассказать о том, кем он был *ex metemipso*, а кем *ex Dei gratia*, как кажется, весьма расширяет пределы автобиографического повествования, позволяет Отлоху в осмыслении своей жизни выйти за рамки исповедального или религиозно-дидактического. В известной мере этот "прыжок" монаху удалось совершить в своей итоговой автобиографии "Об искушениях", появлению которой предшествовало, однако, создание еще одного автобиографического эссе, помещенного в "Книге о беге духовном".

"Книга о беге духовном", как сам монах признается в "Книге об искушениях", являлась "моим новейшим произведением" (*librum mei operis novissimum*)<sup>49</sup>. Соответственно оно могло быть написано незадолго до создания его итоговой автобиографии, т. е. после 1067 г., хотя не исключено, что в "Книге видений" Отлох отсылал читателя как раз к некоей предварительной версии своей "Книги о беге духовном"<sup>50</sup>. Перед нами еще один дидактический опус монаха, на этот раз отталкивающийся от паулинистского образа "бегущих на ристилище" (1 Кор. 9, 24). Якобы поводом для его написания стала, согласно "Книге об искушениях", неудовлетворенность Отлоха "повсеместным разрушением христианской религии, небрежением правителей и государей по отношению к подданным, пребывающим как в духовной, так и в мирской жизни". Соболезнуя этим обстоятельствам, он и решил: "Поскольку никому не довелось (*dignaretur*) слышать, как я произношу проповедь" – Отлох признавал отсутствие у себя опыта "публичных" проповедей, – то изложит свое наставление письменно<sup>51</sup>.

В прологе к "Книге о беге духовном" он к тому же подчеркивает, что при всех нестроениях "самых последних времен этого мира" "не был в состоянии почти никому помочь либо советом, либо примером. Ведь всякий, кого осмеливался увещевать, утверждал, что ему необходимо следовать деяниям других и что он не может поступать иначе, чем, как видит, поступают государи и правители этого мира". Характерно, что Отлох отнюдь не собирался мириться с подобным ответом: "Ибо досада (*dolor*), которая овладела мной по при-

чине такового небрежения, ни на мгновение не оставляла меня беззаботным". Вообще же "как я мог жить беззаботно и не испытывать величайшего удивления", когда видел, что клирики проповедуют одно, а делают и приказывают другое<sup>52</sup>.

Иными словами, состояние благочестия, каким бы оно на самом деле ни было, не удовлетворяло лично Отлоха, вызывало в нем внутренний протест. О небесном же воздаянии за свое увещивание монах теперь не упоминает ни словом. То, что перед нами вряд ли только пустая риторика, подтверждает хотя бы затяжной конфликт Отлоха с его собственным монастырем как раз из-за состояния дисциплины в обители, о чем еще пойдет речь ниже. Следует иметь в виду и постоянное в его сочинениях осмысление личного опыта, накопленного в бытность клириком или монахом, через призму "сентенций" вероучения, своих мистических переживаний, и обнародование затем плодов собственной рефлексии "для общей пользы" (*pro communi utilitate*).

"Книга о беге духовном" также не стала исключением. В завершении двадцатой главы, перед самым концом книги, Отлох, ссылаясь на первый псалом ("О как сладок бег того, кто размышляет о законе Господа и днем и ночью" — см. Пс. 1, 2), замечает: "Так вот, поскольку и я в известной мере сам изведаль, и часто слышал от других что в любом занятии никто не достигает совершенства сразу, но начинает с малых дел, подобно всякому семени, которое прорастает будучи брошенным в землю, и, вырастая, превращается сначала во всходы, потом в колос и лишь затем приносит изобилие хлебов. Вель это и означает, что все, кто стремится к вышнему, прежде, чем придут к плодам совершенства, должны быть испытаны многими искушениями"<sup>53</sup>.

После такого зачина Отлох помещает пять пространных глав, в которых, на этот раз кратко, рассказывает о своем обращении, а затем обстоятельно принимается осмыслять ниспосланные ему во множестве искушения, дает практические советы начинающим и затем завершает труд еще одной общей главой, суммирующей все изложения книги в целом<sup>54</sup>. В "Книге о беге духовном" Отлох впервые вводит свой рассказ от третьего лица: "Угодно вставить здесь писания некоего верующего и брата, мне очень хорошо известного. Уже несколькими строками ниже повествование от третьего лица переходит к первому<sup>55</sup>.

Что побудило Отлоха на этот раз уйти в тень? Ведь в предыдущих автобиографических повествованиях он отнюдь не отличался застенчивостью. Так, в заключение своей *relatio* в "Книжце о духовном учении" он обращается к читателю: "Прошу, внимайте же тому что я, хотя и ничтожнейший, вам советую, // И думайте меньше о том, кто я, чем о сказанном мной"<sup>56</sup>. В прологе же к этой книжнице, написанной, возможно, даже позже, чем "О беге духовном", монах

призывает читателя "всякий раз поминать Отлоха (*Otlohi*)<sup>57</sup>, который, хотя и ничтожнейший, постарался составить это"<sup>58</sup>. В "Книге видений" монах, как помним, придает своему личному мистическому опыту всеобщее значение.

Объяснение анонимности автобиографического экскурса из "Книги о беге духовном", видимо, приходится искать в содержательных особенностях произведения. Назвать себя, претерпевшего многочисленные испытания и искушения, тем единственным из "бегущих на ристилище", кто обрел награду, или тем, кто взрастил "плоды совершенства", Отлох при всем своем самомнении не отважился. Но и отказаться от глубоко прочувствованного им убеждения в спасительности искушений он тоже не смог, полагая, что пережитое поможет "наставлению" других. Для сравнения мы могли бы опереться на сказанное в "Книге об искушениях" по поводу трактата Отлоха "О трех вопросах". Скрамничая относительно своих способностей в объяснении "сентенций священного писания", монах отмечает, что первоначально написал эту книгу "без подписи автора (*sine titulo auctoris*) и без личных знаков (*absque personarum notarum litteris*), дабы не просто было выяснить, чей это труд"<sup>59</sup>.

Так или иначе, но в "Книге о беге духовном" Отлох впервые посвящает нас в подробности того, как ему удавалось преодолевать искушения, разворачивая перед читателем картину собственных внутренних борений на протяжении долгих лет монашеской жизни. Если в предыдущих автобиографических повествованиях доминирует тема "Отлох и Бог", в том числе и в гораздо менее обстоятельной главе об искушениях в "Книжице о духовном учении", то в "Книге о беге духовном" перед нами разыгрывается поединок Отлоха с дьяволом, смысл которого в завоевании первого приза на "ристалище". Из ведомого "предостережениями божественной милости" монах превращается в одинокого воина: испытанию подвергается его индивидуальная способность противостоять нахлынувшим искушениям. Не есть ли это в конечном итоге рассказ о том, кем монах стал "сам по себе"? Если и так, то этот рассказ еще не был закончен вполне.

Значительная часть автобиографического экскурса из "Книги о беге духовном" была перенесена Отлохом в его итоговую автобиографию, "Книгу об искушениях"<sup>60</sup>. Этот текст – последнее произведение Отлоха, написанное им незадолго до смерти, в конце 60-х годов XI в., правда, несколько раньше окончательной редакции "Книжицы о духовном учении". Возможно, смерть или по меньшей мере "старость и всяческая немощ", как Отлох говорит здесь о своем состоянии<sup>61</sup>, помешали ему придать целостность этому итоговому сочинению. Из-за повреждений первой страницы, fol. 62v, его аутентичный заголовок пока остается не прочитанным. На нижней, хорошо сохранившейся части листа, fol. 62r, было записано уже готическим письмом: *De temptationibus cuiusdam clerici*. Возможно, этот заголо-



вок не так уж далек от истинного: как и в "Книге о беге духовном", рассказ далее начинается от третьего лица (*Fuit quidam clericus...*), но очень скоро (со второго абзаца) переходит к первому<sup>62</sup>.

В рукописи отсутствует имеющееся у Миня деление на первую и вторую части<sup>63</sup>. Пространный рассказ об искушениях с описанием обращения Отлоха и наставлениями для начинающих, fol. 62v – 93v, уже отточенный при работе над "Книгой о беге духовном", предстает в "Книге об искушениях" вполне обособленно. На следующих далее fol. 93v – 109г Отлох повествует о своих произведениях и перипетиях собственной жизни, причем отнюдь не только своего "внутреннего человека". Этот рассказ, почти не имеющий никакой прямой связи с "искушениями", также начинается от третьего лица (*Haec igitur clericus supradictus ideo scripsit...*), но скоро переходит к первому<sup>64</sup>. Не слишком гармонирующее с предыдущим, новое повествование Отлоха строится по вполне четкой схеме, хотя в конечном итоге именно оно прежде всего и оставляет ощущение "сырватости".

В соответствии с разработанной концепцией, Отлох сначала объясняет причины, побудившие его заняться сочинительством, а затем характеризует значение, содержание, мотивы и обстоятельства написания трех своих важнейших трудов, переходя далее к рассказу о всех прочих сочинениях. Из них две свои молитвы он вдруг приводит полностью в качестве вставки "на память" (*pro monimento*)<sup>65</sup>; а забыл среди созданных им житий своевременно упомянуть житие св. Альто, обозначает его впоследствии на полях<sup>66</sup>.

Как уже говорилось прежде, Отлох в "Книге об искушениях" четко различал оригинальное творчество, избранное им самостоятельно, и переписывание, к которому его "с детских лет" предопределил Господь. Тем не менее последнее Отлох явно ставил ниже: о нем он повествует в книжке уже после обзора собственных сочинений, предваряя этот рассказ воспоминаниями о детских годах и освоении искусства письма<sup>67</sup>. Список выполненных им копий по большей части производит впечатление записки *pro monimento*<sup>68</sup>. Закончив перечисление рукописей на fol. 109г хвалой Господу, Отлох, видимо, и рассчитывал поставить здесь точку. На обратной стороне страницы, fol. 109v, он уже поместил диаграмму к следующему затем "Истолкованию человеческого характера посредством таинства чисел" (*Explanatio qualitatis hominum iuxta numeri mysterium*)<sup>69</sup>. Но, вспомнив впоследствии о множестве забытых им рукописей, Отлох прилагает к *Explanatio* их список, к которому, судя по частым маргиналиям, он еще возвращался позднее<sup>70</sup>. Соответственно ему пришлось в конце основного текста "Об искушениях" объяснить читателю, чтобы тот не забыл перелистнуть пару страниц и прочесть внесенные монахом дополнения<sup>71</sup>. К счастью, на fol. 109г, последнем листе основного текста, еще имелось место. Чернилами той же маргиналии он прибавляет здесь к описанию ряда изготовленных им рукописей замечание о "нехватке книг" в качестве одного из побудительных мотивов своей работы<sup>72</sup>.

Итак, перед нами сочинение, которое, вероятно, еще не было окончательно продумано его автором. Возможно, среди прочего на это косвенно указывают virshi, которые как будто начинаются на полях fol. 62v (читают:

ся с 63г) и обрываются на fol. 77v, причем каждая буква стихотворения расположена напротив одной из 21 строчки страницы. Часть из этих виршей была обрзана при переплете. Воссозданный Б. Бишоффом текст (с многочисленными лакунами) все же не оставляет ощущения законченности<sup>73</sup>. Маловероятно также, чтобы варварство переплетчиков не сохранило для нас хотя бы одной “наводящей” буквы на последующих листах рукописи. Возможно, Отлох так и не собрался продолжить свои столь замысловато начатые вирши.

Сомнительным представляется мнение Б. Бишоффа, что эти вирши выполняли функцию пролога, поясняющего содержание и задачи сочинения<sup>74</sup>. Если же предположить, что это на самом деле так, то придется, наверное, искать объяснения столь противоестественной и оригинальной форме пролога, обрекающей читателя на пролистывание значительной части рукописи. Кажется, единственным правдоподобным объяснением этого могло бы быть отсутствие достаточного места для пролога в начале книги. Действительно, Отлох, заимствовав часть повествования из “Книги о беге духовном”, ни словом не обмолвился о том, что и зачем он рассказывает. Отсюда может следовать, что, начиная работать, он еще не имел четкого представления о будущем облике своего сочинения. Действительно, объяснять его задачи он вдруг стал ближе к концу, уже изложив свой рассказ об обращении и искушениях<sup>75</sup>. Места для “нормального” пролога монах заблаговременно не предусмотрел: непосредственно перед “Книгой об искушениях” им еще ранее были помешаны “Благословения на рождество Господне” (*Benedictiones in natali Domini*)<sup>76</sup>. В результате ему и пришлось компенсировать свой досадный недосмотр столь своеобразным способом.

В виду всего вышеизложенного соблазнительно видеть в “Книге об искушениях” текст недоработанный, а соответственно еще не окончательно подвергнутый цензуре авторской *пострефлексии*, и потому, надо полагать, гораздо более откровенный, нежели предыдущие автобиографические фрагменты монаха. Так, в дополнениях к основному тексту, Отлох, касаясь “труда переписывания”, к которому его якобы предопределил Господь, кажется, проговаривается, с очевидностью отступая от соблюдавшегося в книге различения собственных заслуг и божественных даров: “Таковые доказательства (*indicia*) моего труда (т. е. список изготовленных им копий. – Н. У.) привел здесь за тем, тобы обратить некоторых монахов, предающихся праздности, и подвигнуть их на некий труд, соответствующий монашеской жизни. Если же они не осият *столь великого (tam magna)*, могут делать более легкое”<sup>77</sup>.

В таком “смирении” и с “черной неблагодарностью” к своему доброму Самаритянину Отлох заканчивает воспоминания!? Финал, явно не подобающий и, конечно же, весьма отличающийся от первоначального, стихотворного, расположенного пятью страницами выше: “Тому же, кто предоставил мне всяческое благо, и один-единственный всем правит, и кто вручил мне, недостойному, многообразные дары, да будет вечная слава, да будет почет во веки веков”<sup>78</sup>.

Иными словами, присутствующая в сознании Отлоха дихотомия своего "я" и милости Божьей выступает в предположительно незавершенной "Книге об искушениях" в несколько необычном облике: вряд ли мы могли бы ожидать такой же откровенности от исчерпывающе продуманного, целостного и полностью законченного труда монаха.

Появление каждой из частей книги объясняется Отлохом различно. Первая, посвященная, собственно, искушениям и восходящая к "Книге о беге духовном", атрибутируется вполне традиционно для Отлоха: поскольку ему нелегко дались первые годы после обращения и он научился противостоять дьявольским козням и призывать милость Божью, то и всем, находящимся "в начале обращения" (*in initio conversionis*), его личный опыт пойдет на пользу<sup>79</sup>. Что же касается повествования о собственных сочинениях, то здесь поначалу единственным мотивом служит уже упоминавшееся выше стремление убедить читателя в глубокой осмысленности своих трудов (*nequaquam frustra*), в том, что монах с самого начала следовал некому единому плану<sup>80</sup>. Лишь потом, ближе к концу, возникает мотив восхваления Господа за все благодеяния, ниспосланные Отлоху, "ради возвеличивания этой милости"<sup>81</sup>. Правда, одновременно монах заявляет, что повествованием о своих достижениях на поприще переписывания хотел бы "и других подвигнуть к такой же страсти и труду"<sup>82</sup> – мысль, которую он, видимо, и развил с обескураживающей "скромностью" в заключительной фразе добавлений к основному тексту "Об искушениях"<sup>83</sup>.

Таким образом, от осознания ценности своего личного духовного опыта Отлох приходит к пониманию "общего" значения собственной деятельности как сочинителя и переписчика: не столько содержание его трудов, сколько его индивидуальные качества – трудолюбие, преданность работе, отсутствие всякой меры в занятиях (он, например, упоминает, что из-за страсти к работе чуть не лишился зрения) – предоставляют поучительный пример для других, для "монахов, предающихся праздности".

Стремительному расширению горизонтов автобиографического повествования Отлох находит вполне достойное обоснование: он дескать, хотел таким образом и сам воздать хвалу подателю всякого блага, да и других подвигнуть к тому же. Для пушей весомости монах опирается на слова Евангелия: "Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог" (Лук. 8, 39)<sup>84</sup>. Любопытно, что в "Книжце о духовном учении" Отлох уже использовал эту цитату, но тогда лишь для обоснования рассказа о "наказаниях моей порочности"<sup>85</sup>.

Представляется, что между двумя частями "Об искушениях" – собственно об искушениях и о сочинениях и рукописях – просматривается связь не столько прямая, как можно было бы ожидать от вполне законченного произведения, сколько внутренняя: эта связь

вероятно, коренится в самом ходе рефлексии Отлоха: осмысляя себя сначала в единоборстве с дьяволом, демонстрируя то, как он самостоятельно закалял в себе способность противостоять искушениям, монах далее переходит к рассказу о собственном творчестве и даже при оценке своих успехов в качестве переписчика, отдавая дань божественному промыслу, в то же время подчеркивает значимость качеств, проявленных им индивидуально.

Повинуясь такой логике рассуждений, Отлох, наверно, и поместил вслед за "Книгой об искушениях" свое "Истолкование человеческого характера посредством таинства чисел", которое после внесения добавления к автобиографии словно стало ее обособленной теоретической частью. Обыгрывая число "совершенства" – III и число порока – II, Отлох подчеркивает: "Как известно, некоторые числа содержат в себе и двоицу, и троицу, равным образом и люди, которые, хотя и предавались тяжким грехам, пребывая в двоице [сообразно диаграмме], когда-нибудь тем не менее обращаются к лучшему, т. е. к троице". Разумеется, есть и иные<sup>86</sup>. Свою "развилку" Отлох уже преодолел, преодолевая многочисленные искушения, тем самым реализуя "многообразные дары", ниспосланные Господом.

## 2. Эволюция взглядов Отлоха на обращение в монашество

Итак, нам как будто удалось констатировать изменение взглядов Отлоха на цели и функции автобиографического повествования. Правда, без сопоставления версий пережитого понять мотивы этого изменения, измерить его глубину вряд ли удастся, как не удастся дать удовлетворительный ответ на поставленный в начале предыдущего параграфа вопрос о причинах, побуждавших Отлоха всякий раз возвращаться к перипетиям собственной жизни.

Автобиографические сочинения Отлоха – единственный источник о его жизни. При сопоставлении этих сочинений мы без труда замечаем, что с течением лет качество его автобиографического повествования разительно менялось: в описании одних и тех же событий и переживаний оно становится все более детальным, постепенно обрастая дополнительными сюжетными линиями и оценками; наконец, к уже известному добавляются и абсолютно новые коллизии. От случайного упоминания тех или иных обстоятельств своего жизненного пути Отлох переходит к суммарной, а иногда и вполне подробной характеристике отдельных этапов жизни: детство, священство, первые годы после обращения, конфликт с Санкт-Эммерамом, пребывание в Фульде, возвращение и последние годы в Санкт-Эммераме.

Очевидно, что пережитое являлось предметом постоянной рефлексии монаха. В центре раздумий Отлоха на протяжении всей его жизни находилось его обращение. Описание обращения не просто присутствует в каждом из автобиографических текстов монаха; оно является системообразующим фактом в осмыслении им собственно-

го прошлого. Нам уже приходилось говорить, что и само начало своего оригинального творчества Отлох (видимо, все же кривя душой) связывал как раз с обращением в монашество. И почти все, что бы ни случилось с ним до или после вступления в монастырь, он так или иначе удостаивал письменной памяти постольку, поскольку это, с его точки зрения, либо было своеобразной прелюдией к обращению, либо непосредственно следовало за ним в качестве эпилога (исключение – последние страницы “Об искушениях”).

В отличие от привычного способа работы с автобиографическими текстами Отлоха, при котором из сведений, разбросанных по различным его сочинениям, словно из разноцветных стекляшек, пытаются составить общую картину жизни монаха<sup>87</sup>, мы попытаемся рассмотреть произведения Отлоха, по крайней мере в связи с его обращением, последовательно и обособленно, дабы рельефнее продемонстрировать, как с течением лет развивался и конкретизировался создаваемый монахом образ собственной жизни.

Родился Отлох около 1010 г. Этот год приходится вычислять приблизительно, отталкиваясь от тех немногочисленных дат, которые сообщает сам Отлох, или общих оценок своего возраста (*parvus puer, iuvenile aetate* и т.п.), приуроченных к тому или иному из описанных им событий<sup>88</sup>. Вообще же более или менее систематический интерес к хронологии своей жизни возникает у Отлоха лишь в “Книге об искушениях”, где он явно стремится снабдить каждый из характеризующих им этапов жизни хотя бы относительными хронологическими ориентирами.

Происходил Отлох из окрестностей баварского епископского города Фрайзинг, что также, как и год его рождения, выводится из косвенных данных, сообщаемых монахом<sup>89</sup>. Хотя он и осознавал свою принадлежность к определенной местности, в его глазах отличавшейся, например, от соседней *Francia*, т. е. Франконии, каких-либо эмоций по этому поводу он, судя по всему, не испытывал<sup>90</sup>.

О своих родителях и родственниках Отлох также немногословен, хотя у нас есть все основания предполагать, что они значили для него в реальности гораздо больше, чем он счел возможным написать. Так, в “Книге видений” он упоминает, что “достаточно давно” в монастыре Тегернзее жил один, видимо, немолодой “достопочтенный монах, близкий мне по крови”. Отлох сам учился в Тегернзее и вроде бы мог посещать этот монастырь из чувства признательности или привязанности к своим наставникам. Однако в “Книге видений” читаем: “...Некогда часто приезжал в этот монастырь, испытывая привязанность к тому монаху (т. е. “близкому мне по крови”. – Н.У.), и иногда, сидя с ним, беседовал о духовных предметах”<sup>91</sup>. Как о чем-то вполне традиционном для себя Отлох пишет далее о своих прогулках в Прюльский монастырь в окрестностях Санкт-Эммерама<sup>92</sup>, где жил “сын моей сестры”, которому монах к тому же подарил одну из

своих рукописей и “разные послания”<sup>93</sup>. Покидая же область Фрайзинга и отправляясь в Санкт-Эммерам, он не забывает упомянуть, что оставил всех своих близких<sup>94</sup>.

Особую роль в жизни Отлоха сыграл его отец, вероятно, принадлежавший к владетельному, но не слишком знатному роду<sup>95</sup>. Ему хватило средств, чтобы отдать Отлоха еще ребенком (*parvus puer, parvulus, in primaeva aetate*)<sup>96</sup> в монастырь Тегернзее для получения образования. Отлох не был облатом, т. е. принесенным в дар Богу, с раннего детства предназначенным монашескому служению. Скорее всего, отец видел сына среди достопочтенных каноников Фрайзингского капитула, а может, прочил ему еще более блестяще будущее.

Вплоть до “Книги об искушениях”, где Отлох описывает весьма колоритную историю своего обучения, единственное воспоминание о детстве, присутствующее к тому же только в двух его первых автобиографических текстах, — это попытка Отлоха уже тогда сделаться монахом.

В “Книге об искушениях” Отлох горделиво заявляет, что “буквам и пению, которое осваивают вместе с буквами, очень быстро научился и начал задолго до обычного времени обучения, без приказа наставника осваивать искусство письма”. От того, что он делал это “украдкой и необычным образом, а также без наставления”, причулся держать перо неверно, и впоследствии никто из учителей не был в состоянии исправить этот *inrectus usus*. Многие же были уверены, что из Отлоха уже никогда не выйдет приличного переписчика. Скептики, однако, были посрамлены. Почти сразу, как Отлоху вместе с другими детьми вручили дощечку для письма, “всем видевшим меня явил немалое чудо”. Он не только быстро освоил правильное письмо, но еще “в детстве” изготовил множество книг для своего монастыря и во Франконии (где Отлох был, как он сам считал, в 1024 г.) так, что по возвращении оттуда едва не лишился зрения<sup>97</sup>. Тогда Отлоху могло быть уже около 14 лет.

Согласно “Книжице о духовном учении”, еще в начале этого периода своей жизни, будучи “маленьким мальчиком”, Отлох, “преисполняемый ожиданиями учебы на школьный манер”, пообещал “подчинить себя святому монашескому закону”. Видимо, его желание окрепло от того, что, начав “хорошо” учиться, он как “первый ученик” жил вместе с монахами<sup>98</sup>. А в “Книге видений”, кратко касаясь своего детского обета, Отлох заявляет, будто бы поклялся Господу сделаться монахом “в силу того, что по сравнению со многими преуспел в учебе”<sup>99</sup>. Иными словами, к монашеству Отлоха тянула тогда перспектива совершенствоваться в науках, что, принимая во внимание его тайные эксперименты с письмом, не выглядит столь уж невероятным.

В “Книжице о духовном учении” Отлох далее подчеркивает, что, строго говоря, его обет не имел особой юридической силы (*mi-*

*lius iure coactus*), поскольку был принесен не “открыто при свидетеле”, а “тайно”. Правда, с его точки зрения, нарушение и такого обета – тяжкий проступок. Существует обет, приносимый в присутствии аббата, сопровождающийся переменной одежд. О таком обращении становится известно церкви. Но есть и другой обет, который приносят при одном-единственном свидетеле – Боге: ему человек “безвозмездно (*gratis*) посвящает глубины собственного сердца”. Возвращение после того к мирским уладам – грех, в любом случае не меньший, чем нарушение формальной клятвы<sup>100</sup>.

И тем не менее тогда Отлох пренебрег своим обетом, *pueriliter actum*. Полагаю, что *pueriliter* не столько относится здесь к возрасту, сколько является качественной характеристикой обета: он был принесен “по-детски”. Скорее всего, задним числом этот обет представлялся Отлоху не слишком твердым, поскольку сам пренебрег им по “легковесному совету” (*consilio levi*), одновременно сбитый с толку и “миром” и “молодостью”<sup>101</sup>. В “Книге видений” монах становится более открытым, заявляя, что от “обетов монашеского благочестия” в свое время удалился “почти по принуждению из-за настоячивых просьб отца моего”<sup>102</sup>.

Итак, не кто иной, как отец помешал Отлоху исполнить его детское желание. И вскоре Отлох, видимо, в осуществление замыслов отца начинает продвижение по лестнице церковной иерархии во Фрайзингском диоцезе<sup>103</sup>. Характерно, однако, что Отлох отнюдь не забыл о собственной клятве, как бы далеко во времени она ни отстояла от него: принимаясь спустя примерно 20, а затем 40–50 лет за описание своего обращения в монашество, монах вспоминал о ней, а своего отца, хотя и в завуалированной форме, осуждал. Правда, между “Книжицей о духовном учении” и “Книгой видений” характеристика причин отказа от обета несколько изменилась. В раннем произведении Отлох как будто возлагает большую ответственность на себя лично: именно он внял “легковесному совету”, именно он был соблазнен миром и искушениями молодости. Возвращаясь к этой коллизии через много лет, Отлох склонен скорее винить своего отца, а небрежение обетом толкует как долг послушания родителю. Изменение взгляда Отлоха на первый обет мы попытаемся объяснить в другом месте. Здесь же следует отметить, что и в “Книге о беге духовном”, и в “Книге об искушениях” монах вообще умалчивает о своей детской клятве.

В воспоминаниях о юношеских годах, предшествовавших обращению, между автобиографическими текстами Отлоха гораздо меньше разночтений. Правда, в “Книге о беге духовном” он вообще не касается этого периода жизни, называя своего героя “братом”, т. е. монахом, а не “клириком”, как в итоговой “Книге об искушениях”; повествование же начинается непосредственно с обстоятельств своего обращения. В трех других автобиографических сочинениях пере-

нами предстает почти единая картина: в ней, правда, присутствуют некоторые различия как в нюансах, степени детализации, так и в глубине анализа. Но всякий раз юность рассматривается Отлохом как приготовление к обращению, как этап медленного, порой мучительного вынашивания идеи ухода от мира, инспирированного свыше продвижения от греховных влечений и пороков к Богу.

Лишь на первый взгляд может показаться, что Отлох рисует нечто топическое, хотя, безусловно, без многообразного набора клише он не обходится. Особенно это очевидно в зачине к первому видению из "Книги видений": "Когда я, облаченный еще в светское платье, был молод и предавался разнообразным излишествам, распутству и всевозможным грехам, как духовным, так и плотским, что большей частью свойственно этому возрасту, божественная любовь усердно стремилась исторгнуть меня из пут разврата..."<sup>104</sup> Тем не менее, как следует уже из приведенного выше высказывания Отлоха в "Книге об искушениях", он осознавал, что при всей "порочности", свойственной ему "наравне" (*communiter*) с остальными клириками, от других его "особо" (*specialiter*) отличало "упрямство". И это отнюдь не очередное клише, дескать весь мир заражен грехом, но я-то, ничтожный, грешен больше остальных. Видимо, само слово *pertinacia* для описания индивидуальных особенностей своего характера Отлох нашел не сразу. И хотя в "Книге об искушениях" он ограничивается лишь общей фразой относительно своей жизни в миру, эта самооценка предполагала, по всей видимости, весьма продолжительную рефлексия по поводу собственной личности. Содержание, которое Отлох теперь вкладывал в понятие *pertinacia*, вполне проясняют "Книжица о духовном учении" и "Книга видений".

В "Книжице о духовном учении", обращаясь к читателю, он заявляет, что, как смог убедиться на личном опыте, нет ничего опаснее, чем грешить, будучи сведущим в Священном Писании. Так, по мнению Отлоха, поступают только иудеи, еретики и "ложные христиане", которые, "зная благочестивое, следуют ложному"<sup>105</sup>. Он называет себя далее "прелюбодеем божественного закона" (*adulter legis dictinae*)<sup>106</sup>. Имея "великую страсть к свободным занятиям", Отлох с энтузиазмом предавался чтению языческих авторов, что он, собственно, и понимает здесь под покорностью "мирскому"<sup>107</sup>. Последовавшие затем божественные кары (бичевание в видении, болезни, явление чудовищ во сне), по его признанию, напугали, но ничему не научили. "Что мне тогда Сократ или Платон с Аристотелем, // Сам ритор Туллий, создатель мирских законов? // Скажи, чем же они мне, несчастному, могли тогда помочь? // Если я их долгое время не читал, то жаждал, // И со страстью к их изучению отправлялся во всякие места, // Которые я считал наилучшими для мирских занятий. // Но снисходительность Господня везде упреждала меня, // ...Дабы отвлечь разум от этого". За чтением Вергилия и Лукана, "ко-



тогогда больше всего любил"<sup>108</sup>, он и был охвачен очередным недугом. Не видя в нем предостережения свыше, Отлох вновь стал предаваться "мирским делам"<sup>109</sup>. Лишь третья *correctio*, новая тяжкая болезнь, убедила его наконец оставить мир окончательно и удалиться в монастырь. Интерпретируя в этом духе свою юность, Отлох, естественно, восхваляет снисходительность Божию: "Я же тогда не роптал на такую суровость. // Только дивился любви божественной силе, // Мое неразумье столь долгое время терпевшей"<sup>110</sup>.

Эта фраза вместе с основной канвой событий, предшествовавших обращению, перешла и в "Книгу видений"<sup>111</sup>. В ней, однако, образ юности и обстоятельств, подготовивших обращение, очевидно усложняется. Развитие получает и осмысление происходящего с Отлохом. Он начинает рассказ о первом видении пространными рассуждениями об отношении к нему "божественной любви", которая "усердно" стремилась обратить юношу к лучшему, «однако не подобно тому, как, уничтожая нечестивых людей, ниспосылает внезапно гибель, но, словно преодолевая ступеньки, переходила от малой к великой части дара своей милости... будто бы, в частности, на мне хотел Он исполнить речение апостольское: "Когда умножили же грех стала преизобиловать благодать"» (Рим. 5, 20). Отлох же, получая "мягкие предостережения", "мало заботился об улучшении себя". И тогда Господь ниспослал ему "более значительное лекарство своей строгости"<sup>112</sup>.

Под "мягкими предостережениями" Отлох понимал два явившихся ему видения. Первое из них заставило его призадуматься не он все же "не обратил сердце к улучшению", поскольку "обладал и здоровьем телесным и увлекался слишком многим, что в молодые годы представляется приятным"<sup>113</sup>. Ввиду обрушившихся на Отлоха болезней следует принять во внимание, что он считал именно телесное здоровье причиной собственной безмятежности: не имея видимо, достаточных поводов для страха перед смертью и, соответственно, грозным судилищем Христовым, он готов был отложить свое "улучшение" на неопределенный срок. По словам Отлоха, "малость страха и любви Божьей" он обрел лишь после второго видения<sup>114</sup>.

По содержанию видений можно понять, что к порокам своей юности Отлох с высоты прожитых лет стал относить небрежность в богослужении: его губы, как и губы прочих "неотесанных клириков" (*villanis clencis*), двигались, а сердца их "блуждали далеко"<sup>115</sup>. Зазор между внешним "формально-юридическим" благочестием и внутренним, сокровенным, переживанием впервые осознается здесь с такой силой и столь индивидуально, хотя нечто подобное ощущается уже в "Книжице о духовном учении", где Отлох, как помним, приравнивает обет, данный Богу "тайно", к формальному монашескому обету перед церковью. И все же тогда его больше заботила увлечен-

Венг. ласинге повешенного и его обращение в монашество. Миниатюра конца XIII в  
 СПб, Российская национальная библиотека. FR. F. V XVI, 9, Folio 100 v.



**L** a prezimel metre e buet.  
 Vu mirade e cort e buet  
 assez buent leuuel retire  
 Car defauts ai mit a fare  
 Vn letres fu ca en arrier  
 D etop muelleuse manier.

ность античными авторами как занятие “мирское”, как некая измена Богу, “прелюбодеяние” перед законом.

Отлох утверждает, что теперь в обоих своих видениях удостоился лицезреть Господа: первый раз, присутствуя на некоем подобии Страшного Суда, пением псалма он заставил самого Господа рыдать и был вознагражден царством небесным; а в другой – выслушал лично от Иисуса порицание за нерадивость в исполнении своих богослужбных и пастырских обязанностей. Теперь-то Отлох и стал вспоминать о своем обете, данном в детстве, и просить Господа помочь ему прийти к “благочестию монашеской жизни”<sup>116</sup>.

Третье видение, собственно, посвящено обращению в монашество, но оно описывается Отлохом несопоставимо более подробно, чем в “Книжице о духовном учении”. Начинает он с признания, что его приступ благочестия, последовавший за вторым видением, в скорости миновал, и он “по мере того, как возникали разнообразные препятствия”, пренебрегал своими мыслями о монашестве<sup>117</sup>. Событие, с которого Отлох начинает далее рассказ, как будто высвечивает новую грань его “упрямства”, хотя сам монах заявляет, что случившееся явилось очередным знамением Божиим. Речь идет об ожесточенной ссоре между Отлохом и неким архипресвитером из Фрайзингского диоцеза Веринхаром, пользовавшимся всеобщим уважением, – кстати сказать, это первая в ряду тех ссор, которые Отлох счел нужным осмыслить письменно.

Причина конфликта с Веринхаром не раскрывается, да Отлох и не собирается убеждать нас в том, что был не прав по сути. Напротив, монах даже замечает: многие были убеждены в его невиновности; в частности, “друзья, как мои, так и того архипресвитера”, заступались за Отлоха, считая, что Веринхар “возбудил против меня слишком большое ожесточение и должен умерить себя”. Тем не менее Отлох “в гневе недомыслия” восстал против своего обидчика и написал обличительные вирши, взорвавшие и без того раздраженного Веринхара. Лишь под давлением уговоров Отлох пошел на перемирие, которое продолжалось, однако, “недолго” и было нарушено “строптивыми речами” будущего монаха. Он, “гордый свободным знанием, которым, казалось, овладел, стремился все больше, как устно, так и письменно, обвинить” Веринхара, пока наконец, вероятно, не настроил против себя всех так, что был вынужден перебраться в более спокойное место, где не был бы обречен “терпеть большие страдания” от “всевозможных несправедливостей”. “И тем сильнее эта мысль овладела мной, – пишет монах, – чем охотнее не раз желал находиться среди более ревностных и ученых клириков, а не среди невежд”. Приют Отлох обрел в Санкт-Эммераме, монахи которого “полагали, что от моих познаний им будет польза в писании и обучении каноников”<sup>118</sup>.

При сравнении этого рассказа “Книги видений” с изложенным в “Книжице о духовном учении” прежде всего бросается в глаза, что

Отлох теперь решительно оттесняет на задний план собственные увлечения "свободным знанием". Их оценка вообще становится спокойнее. Уже несколькими страницами ниже он говорит о своих заслугах в "свободном знании" как о чем-то само собой разумеющемся<sup>119</sup>. Следует также обратить внимание на то, что Отлох называет теперь окружающих его во Фрайзингском диоцезе клириков *villanos* и противопоставляет их *studiosos quousque et doctiores clericos*. Тем самым эти *villani* приравниваются к *villanis clericis* из второго видения, которые имели обыкновение небрежно относиться к исполнению *laudis officia*<sup>120</sup>. Не само по себе увлечение свободными искусствами представляется теперь Отлоху грехом, как было еще в "Книжице о духовном учении", но его *inflatio*, его гордость по поводу того, что он ими овладел. Без такого изменения отношения к искусствам нам, признаться, было бы трудно представить любование Отлохом на закате дней собственными достижениями на поприще сочинительства и переписывания. Уже в "Книге пословиц" (*Liber proverbiorum*), которая была написана примерно в одно время с "Книгой видений" (1062–1064), Отлох утверждал: "Клирики, совсем не сведущие в свободном знании, не достойны какой-либо из степеней священства"<sup>121</sup>.

Из "Книжицы о духовном учении" известно, что именно поиски подходящих библиотек с книгами любимых античных авторов привели Отлоха в то место, где ему предстояло принять монашество. Кстати, тогда Отлох так и не назвал имени своего монастыря. Теперь мы не только узнаем о Санкт-Эммераме и первоначальных условиях пребывания там молодого человека, но и можем себе представить, что именно особенности натуры будущего монаха, реконструируемые на основании истории "Книги видений", а именно конфликтность, самомнение, упрямство, буквально вынудили его искать безопасного и спокойного места.

Хотя Отлох вроде бы выявляет глубинную причину конфликта иначе: "Ведь тому, кто противостоит Господу, все противостоит"<sup>122</sup>, есть основания полагать, что далеко не случайно, игнорируя мотивы ссоры, монах концентрируется на своем поведении. Аналогично взглядит рассказ, которым Отлох завершает третье видение. На первый взгляд без всякой логики монах, оглушив и напугав читателя бурными перипетиями своего обращения, вводит совсем посторонний ему сюжет. Речь идет вновь о ссоре, на этот раз между Отлохом – новообратившимся монахом, сделанным наставником монастырской школы, и одним из его учеников "старшего возраста". О причине конфликта опять не сообщается. Зато Отлох упоминает, что, избрав юношу в присутствии всех, "наградил его позорными и горькими словами более, чем он того заслуживал". Учитель полагал, "что для меня не будет вреда в том, как бы я ни поносил его, глупого подростка, который по праву был подчинен мне". Но очень скоро "преж-

нее хладнокровие" оставило Отлоха: он погрузился в "такое малодушное состояние и испытывал столь великое горе и страх", что опасался тотчас быть поглощенным бездной. Сначала он "колебался, чем заслужил такое скорбное настроение", а затем, "еще раз тщательно обдумав события этого дня, признал по совести свою вину". От нахлынувших кошмарных видений Отлох не мог заснуть и провел всю ночь в покаянных молитвах и слезах, а наутро к нему чудесным образом явился тот юноша и оба под влиянием "божественной кротости" просили друг у друга прощения. Из этой истории Отлох попытался извлечь уроки: "Из-за подобного рода порока старался потом быть осторожнее в упреках"<sup>123</sup>.

Это ему, правда, мало помогло: следующее видение также посвящено аналогичным событиям. Правда, на этот раз причина конфликта сообщается: ведь речь идет о том, почему Отлоху пришлось покинуть Санкт-Эммерам в 1062 г. Описывая происшедшее в "Книге видений", он как раз и находился в добровольном изгнании, в аббатстве Фульда (Гессен). Отлох указывает примерную дату начала ссоры: через десять лет после вступления в Санкт-Эммерам, т. е. около 1042 г. Став деканом монастыря и видя, как аббат "устраивал там многое не по установлениям святого правила, но в соответствии с предписанием епископа или по настроению неких младших [братьев], я изо всех сил стал постоянно противостоять подобного рода указаниям". По этой причине между Отлохом и аббатом "разгорелась большая ссора, так как ни он, ни я не желали отказываться от своей позиции". Отлох предлагал аббату принять его отставку, раз его "характер" был ему "совершенно неприятен". Из-за пренебрежения к его просьбам Отлох, потеряв в конце концов терпение, "подвигнутый страстью большей, чем была бы оправдана, сказал ему некоторые язвительные и опрометчивые слова, опозорив себя даже злословием". Хотя монах вскоре принес за это покаяние перед аббатом, "пренебрег покаянием перед Богом, по отношению к которому главным образом и согрешил". За это, по мнению Отлоха, его и постигла тяжелая болезнь, сопровождавшаяся кошмарными видениями демонов<sup>124</sup>.

Таким образом, Отлох, не признавая себя виновным перед аббатом, вновь подчеркивал, что грех заключался не столько в содержании, сколько в форме его протеста. А она проистекала из тех же особенностей натуры монаха, которые, как он теперь понимал, вынудили его бежать из Фрайзингского диоцеза.

Один из эпизодов жизни Отлоха (ссора с Веринхаром) вообще мог попасть в его воспоминания об обращении в результате более пристального и глубокого всматривания в индивидуальные качества своего характера, в особенности своего поведения. То, что прежде быть может, казалось случайным и недостойным письменной памяти, в период работы над "Книгой видений", когда Отлох, видимо, ис-

пытывал определенные страдания и сомнения по поводу своего разрыва с Санкт-Эммерамом, неожиданно приобрело для него особое значение. И мы легко можем себе представить, как, подобно описанному в истории со своим учеником, он, пребывая в "скорбном" состоянии духа, стал "колебаться" в поисках причин своих несчастий и, "тщательно обдумывая события" уже не дня, но жизни, обратил внимание на как будто малозначительное происшествие далекой юности.

Отлох прибыл в Санкт-Эммерам несколько раньше, чем принял обращение: разрешение жить при монастыре он, согласно "Книге видений", получил от аббата Бурхарда, приступившего к своим обязанностям в 1030 г. Предположительно, обращение имело место в 1032 г. К тому времени Отлох уже прожил в госпитии при монастыре "достаточно долго"<sup>125</sup>. Любопытно, что в "Книжице о духовном учении" Отлох ни словом не обмолвился о дате своего обращения. По "Книге видений" мы можем представить себе относительную хронологию событий. Первый приступ болезни, предшествовавшей его обращению, уже длился "почти" неделю, когда Отлох претерпел ночное бичевание; через два дня после него он был скован параличом. Этот недуг начался "во вторую или третью неделю великого поста", а примерно через дней 12 после Пасхи он, почти оправившись, вступил в обитель<sup>126</sup>. Таким образом, его болезни продолжались примерно от 47 до 54 дней. Ни в "Книге о беге духовном", ни в "Книге об искушениях" Отлох не сообщает более точной даты вступления в монастырь. Правда, говоря в "Книге об искушениях" о своем отъезде из Санкт-Эммерама в Фульду в 1062 г., он заявляет, что прожил в своей обители 30 лет<sup>127</sup>. Таким образом, к моменту обращения ему должно было исполниться 22 года.

Как и в "Книжице о духовном учении", начало своих недугов Отлох приурочивает к чтению Лукана. Но тенденция в описании "вереницы событий" его обращения в "Книге видений" совершенно иная. "Милость Божья" поразила его сначала ударами сильного ветра, а затем насылала на него приступы безумия и наваждений. "Между тем, однако, — пишет Отлох, — часто прилагая усилия, насколько был способен, возвращался к чтению Лукана". Ниже он называет пристрастие к античному поэту "малостью грехов моих"; он даже не обличает его как язычника<sup>128</sup>. Главный грех состоял в другом: в упорном нежелании думать "о благе души моей", т. е. о вступлении в монашество<sup>129</sup>. Чтение Лукана — это, таким образом, не более чем новая уловка, чтобы уйти от этих размышлений. Не "прелюбодеяние" в отношении закона Божьего, не пренебрежение к Священному Писанию ради "писаний языческих", как утверждалось в "Книжице о духовном учении", даже не забвение обета, данного в детстве, а отказ внять божественным внушениям двух предыдущих видений — подлинная причина болезней, обрушившихся на Отлоха. В этой свя-

зи, возможно, и следует искать причины изменений в оценках монахом своего первого обета.

Упомянутый в "Книге видений" лишь вскользь, в отличие от "Книжицы о духовном учении", где ему посвящены две главки<sup>130</sup>, он осмысливается гораздо более спокойно, даже несколько отстраненно. Отлох как будто уже не чувствует никакой личной вины в забвении этого обета, не сравнивает его с обетом, приносимым перед церковью. Поэтому, возможно, он и смог более взвешенно оценить свою роль и роль своего отца в небрежении детской мечтой.

Вслед за первыми приступами явилось и жестокое бичевание во сне, и воздающий за медлительность покаяния "пестрый недуг", почти лишивший Отлоха разума, функций движения и сопровождавшийся страшными кошмарами, – и то и другое фигурирует уже в "Книжице о духовном учении", причем ее фрагменты, здесь и чуть ниже, монах вводит в текст "Книги видений"<sup>131</sup>. По словам Отлоха при наступившем затем облегчении брата Санкт-Эммерам (в "Книжице о духовном учении" – анонимные "многие" – plures<sup>132</sup>), объясняя символический смысл болезни, "часто убеждали меня, чтобы я, покорившись Христу, милость которого вернула мне жизнь, принял в их монастыре монашеские одежды"<sup>133</sup>. В "Книжице о духовном учении" Отлох признается, что "по этому поводу помыслы его ума стали нерешительны", за что и воспоследовал новый, еще более страшный, приступ болезни с параличом и потерей функций всех органов, длившийся до тех пор, пока он наконец не пообещал оставить мир<sup>134</sup>.

В "Книге видений" Отлох вводит дополнительный сюжет. По началу, соглашаясь с увещеваниями монахов и успешно восстанавливаясь от болезни, он "клятвенно обещал" вступить в монастырь. Но по выздоровлении вдруг передумал, решил покинуть Регенсбург и "вернуться в мир, хотя снова подталкивали меня многочисленные печали к тому, чтобы отказаться от мирских дел". В самый день отъезда его и схватил недуг<sup>135</sup>. В этой ситуации Отлох, "не имея никакой надежды на эту жизнь... призвал поспешно некоторых монахов слезно молил их об одном, чтобы теперь единственно во имя любви к Богу удостоили приобщения к монашеской жизни..." Страх перед возможной смертью и грядущими карами толкает Отлоха в монастырь, и он чуть позже просит братьев "сжалиться", "пока еще обладаю несчастной душой". Монахи дали необычный ответ: "Почему теперь добиваешься монашеских одежд, когда знаешь, что, едва дыша, скоро умрешь? Если, быть может, Богу будет угодно дать тебе пожить еще, какую пользу ты сможешь принести слепой и парализованный, каким, без сомнения, ты будешь всегда в этой жизни, на которую теперь надеешься?"<sup>136</sup> И далее "общее собрание братии" подтвердило, что "лишь тогда присоединят меня к телу своей конгрегации, если, вернувшись к жизни, буду иметь такое здоровье.

которое позволит мне быть вовлеченным в дело, имеющее какую-либо ценность для монастыря (*alicui usus cenobialis*)...<sup>137</sup>

Вряд ли мы могли бы представить эти слова в изложении Отлоха времен "Книжицы о духовном учении", только что вступившего в Санкт-Эммерам. Теперь же они звучат мстительным укором братии, видевшей в нем прежде всего учителя и переписчика, озобоченной "пользой", а не спасением души несчастного страдальца. Были ли эти слова произнесены в действительности?

Так или иначе этот пассаж "Книги видений" был, как кажется, навеян конфликтом Отлоха с Санкт-Эммерамом. 20 лет он пребывал в "большой ссоре" с аббатом, тогда Регинвардом (1048–1064), и "младшими" братьями. Это "длительное беспокойство" (*inquietudo diuturna*) и "грусть" (*meror pro monasterii nostri destructione*), по его собственному признанию в "Книге об искушениях", "долгое время" мешали ему заниматься любимыми трудами<sup>138</sup>. Отлоха, недовольного ущербом, чинимым "внешним и внутренним выгодам монастыря", "молодые братья", которым он "был неприятен", всячески очерняли перед епископом. Монах "весьма часто" (*saepius*) слышал, что они и их "близкие" (*familiares*) "сыпали разнообразными угрозами" в его адрес. Добившись наконец разрешения у аббата покинуть Санкт-Эммерам, он, по собственному признанию, обманул его: "Тогда, испросив у аббата разрешения, отправился в Фульдский монастырь, будто бы собираясь вскорости вернуться". На самом же деле это было бегством<sup>139</sup>. Лишь в Фульде Отлох обрел "дар вождельного спокойствия и любви". Монах даже признавался: "Ведь драгоценным казалось мне то, что я мог мирно (*pacifico incessu*) прогуливаться в этом монастыре, ибо в моем монастыре долгое время был не в состоянии отдохнуть, хотя бы и в постели, по причине страха перед смертью" (*sine metu mortis*)<sup>140</sup>. С явным удовлетворением Отлох отмечает, что "в самый год моего отъезда", т. е. в 1062 г., "наш монастырь" спорел, что, "без сомнения", случилось в наказание за грехи братии<sup>141</sup>.

До Отлоха, находившегося в Фульде, доходили, вероятно, не только "весьма многочисленные послания", в которых отдельные братья умоляли его вернуться. Часть монахов сохраняла враждебность по отношению к беглому собрату: "Не хотел сразу возвращаться на родину как по причине описанных выше преследований, так и по просьбе братьев, среди которых тогда находился". Но и получив согласие монахов Фульды, "я не желал возвращаться в наш монастырь, пока на основании каких-либо сведений не разузнаю, как там идут дела". Лишь после смерти аббата Регинварда, с которым он некогда поссорился, монах решился покинуть Фульду. Собрать данные о "внушавшем недоверие состоянии нашего монастыря" (*de suspecta monasterii nostri qualitate*) Отлох надеялся в Аморбахе (Одевальд). Видимо, дела в Санкт-Эммераме шли неважно, если монахи



провел в этом монастыре целый год. Да и по приезде в Санкт-Эммерам он обнаружил как тех, кто "радовался его возвращению", так и тех, кто "уже прежде ненавидел" его<sup>142</sup>.

Когда Отлох живописал в "Книге видений" бессердечие санкт-эммерамской братии, он еще не знал, сколь извилистым будет его обратный путь *ad patriam*, но вряд ли и тогда монах испытывал какие-либо иллюзии по поводу отношения к нему многих братьев обители. В конце концов, если к моменту его возвращения в монастырь в 1067 г., спустя четверть века с начала "большой ссоры", кое-кто еще продолжал "ненавидеть" Отлоха, то очевидно, что конфликт был не из урядных.

Зная особенности характера Отлоха, его страстность, вспыльчивость, упрямство, бескомпромиссность, мы легко можем себе представить, как глубоко прониклись к нему антипатией его братья. Изображая в "Книги видений" их равнодушие к телесным страданиям и участи собственной души, он платит им по счетам: либо память его обрела новую чуткость и заставила ожить подернутое патиной прошлое, либо застарелая обида прорвалась нелюбезными для братии домыслами.

В итоге, согласно "Книге видений", над Отлохом сжалился Господь. И по возвращении здоровья он наконец вступил в Санкт-Эммерам, подталкиваемый к тому постоянными видениями, "являвшимися мне в продолжение почти всего времени, проведенного по причине выздоровления вне монастыря... И это была важнейшая причина, которая заставила меня с большой поспешностью уйти в монастырь"<sup>143</sup>. Таким образом, Отлох не оставляет никаких сомнений в том, что цель столь суровых божественных внушений состояла лишь в том, чтобы подвигнуть *персонально* его к монашеству. Монашество представляется Отлоху в "Книге видений" целью и смыслом его земной жизни, открытым свыше. В свою очередь то, что, на его еще неопытный взгляд времен "Книжицы о духовном учении", вызывало врачующий гнев Божий, — а именно чтение язычников, — меркнет, кажется ему явно чем-то случайным.

Как объяснить изменение воззрений Отлоха на собственное обращение? В чем причина этих повторяющихся и все более настойчивых заклинаний: к монашеству предопределил и привел меня Господь? Ответ на эти вопросы, как кажется, дают "Книга о беге духовном" и "Книга об искушениях".

«...Мне было присуще весьма нелепое и неосторожное стремление к обращению, которое возжелал осуществить против того, что сказано в Святом Писании: "Во всем поступай по совету"<sup>144</sup>. Будет весьма безрассудно, когда какой-либо человек принимает столь опасный обет, не посоветовавшись с родителями и друзьями, пребывая в великом жару юности. Именно поэтому было бы гораздо лучше подождать вплоть до достижения более зрелого возраста и только

после того, как я исполнился бы всяческими добродетелями, свободно подумать о желанном обращении», – наверное, не просто дались Отлоху эти слова...

И дальше читаем: “Это и тому подобное внушал мне поначалу дьявол-обманщик, будто соперживая мне и поучая”. Вообще же “изредал различные насмешки дьявольские, бодрствуя и во сне...” Но эта была “первой”, причем Отлох подчеркивает, что страдал от такой *delusio Satanae* “и до обращения в монашескую жизнь, и долгое время после”<sup>145</sup>.

Умалчивал ли Отлох об этом искушении прежде? Все же нет. Смутные намеки на него содержатся уже в “Книжице о духовном учении”. Там молодой монах, которому еще недавно исполнилось 20, признавался, что дьявол убеждал его, дескать он, будучи “юношей”, не способен терпеть “терзания плоти”, и лучше было бы подождать, пока в нем окрепнет добродетель<sup>146</sup>. О совете с родителями и друзьями Отлох тогда не упоминал ни словом. Позднее, однако, когда плотские искушения, видимо, все меньше беспокоили монаха, именно мотив совета, сознательного и тщательного осмысления предстоящего шага, выдвигается на первый план. “Жар юности” (*iuventutis ferror*) фигурирует теперь скорее как характеристика образа действия но никак не единственная причина будущих невзгод.

Обращение Отлоха в монашество, действительно, выглядит спонтанным. Вернемся еще раз к хронологии событий, как она представлена в “Книге видений”. Идею вступить в монастырь, подсказанную ему монахами Санкт-Эммерама на первой неделе после Пасхи, Отлох, когда уже считал себя вполне оправившимся, все же отверг и даже собирался покинуть Регенсбург, если бы не новый приступ болезни. Буквально за три дня, в страхе перед смертью, которая казалась уже совсем близкой, Отлох и принял решение сделаться монахом. Таким образом, это решение пришло к нему в тот момент, когда он, собственно, уже не имел “никакой надежды на эту жизнь”. Стать монахом, чтобы умереть монахом, – таково было первоначальное желание Отлоха. На следующий день, когда он почувствовал “быстрое приближение выздоровления” и принял это за одобрение своих намерений свыше, решение Отлоха обрело новое качество: стать монахом, чтобы жить монахом<sup>147</sup>.

Четыре дня – слишком небольшой срок для того, чтобы круто изменить свою жизнь! Бенедикт, как помним, предписывал испытывать решимость новicia в течение года. Сначала страх перед предстоящим в скором времени судилищем Христовым, а затем страх перед возобновлением болезней и кошмарных видений, надежда на полное выздоровление – вот что побудило Отлоха принять этот “опасный обет” внезапно, в едином порыве, “в великом жару юности”. Осознание происшедшего пришло позднее и, видимо, оказалось для Отлоха тяжким испытанием, раз он вновь и вновь пытался убе-

дить себя и своих читателей в том, что его действиями руководил высший промысел.

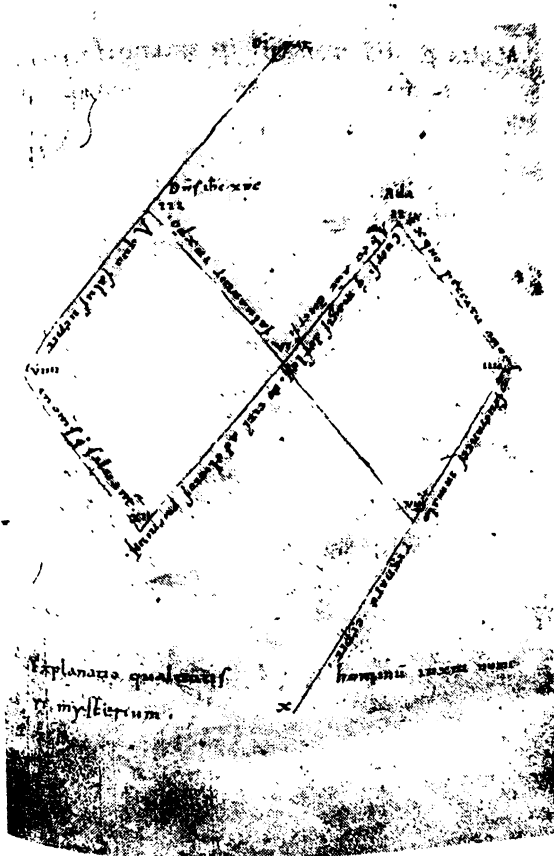
Не потаенные ли сомнения в правильности своего шага побудили Отлоха назвать в "Книге видений" того, кто некогда "легковесным советом" отвратил его от первого обета. Ведь теперь, пребывая в монастыре, Отлох нет-нет да и вспомнит: "Во всем поступай по совету", а где-то в глубине души, быть может, промелькнет образ отца, с которым он теперь, "в великом жаре юности", забыл посоветоваться. А тут еще дьявол нашептывает, что за свои "великие преступления" он, Отлох, "стал ненавистен не только начальникам (*principibus*), но множеству прочих, включая самих родителей и родственников"<sup>148</sup>. И вот монах начинает мучительно перебирать в памяти свои ссоры, особенно тщательно исследуя причины собственного разрыва с аббатом, епископом и частью братии Санкт-Эммерама. Отсюда, наверное, столь неожиданное в таком контексте слово *principes*. Характерно, что, упоминая об этом искушении в "Книжице о духовном учении", Отлох говорит лишь о том, что по дьявольскому внушению думал, будто бы "народ" и родители чужаются его<sup>149</sup>.

Да и вообще мы могли бы, видимо, допустить, что Отлох в мучительной борьбе с нахлынувшими искушениями порой мог приписывать "дьявольской насмешке" происхождение тех знамений, которые подтолкнули его к вступлению в монастырь. О своих колебаниях по поводу одного из видений Отлох, например, рассказывал, проснувшись с влажными от слез щеками и пребывая "в великом оцепенении", гадал, "что это было за видение, а именно от Бога ли... или от дьявола, в фантастическом наваждении издевавшегося надо мной". Особенно Отлоха смущало то, как он, "ничтожнейший человек", мог беседовать с самим Господом<sup>150</sup>.

Ко времени написания "Книги о беге духовном" и "Книги об искушениях" монах уже, вероятно, преодолел свои сомнения по поводу вступления в монастырь. Во всяком случае он подчеркивал, что "гнуснейший искуситель не смог, благодаря защите милости Божьей, завладеть мной во исполнение полностью своего желания, отчего и был принужден к проделкам большей мерзости"<sup>151</sup>.

Обращаясь же к читателю с высоты своего личного опыта и познаний в законе Божьем, Отлох поясняет: "Ведь совет может быть дан во благо или во зло; когда же он дан во благо, то есть ради пользы души и тела, следует всячески его придерживаться; а когда – во зло, а именно только ради осуществления плотских стремлений или стяжания вредоносных выгод этой жизни, должно его не только избегать, но и проклинать". И не имеет значения, кто дал этот совет. "родители твои", "соседи", "друзья"<sup>152</sup>. Не намекает ли здесь Отлох на "легковесный совет" своего отца? Что же касается юного возраста, то Отлох, будучи человеком уже весьма преклонных лет (в "Книге об искушениях" он говорит о "старости"), убежден, что к Богу сле-

Выбор жизненного пути.  
Собственноручная диаграмма Отлоха.  
СЛМ 14756, Фолио 109о.



дует обращаться всегда; искушений же будет предостаточно в любом возрасте и совсем не обязательно ждать, когда "силы угаснут в теле"<sup>153</sup>.

Хотя, как мы уже сказали, значительная часть биографического повествования из "Книги о беге духовном" была перенесена в первую часть "Книги об искушениях", все же, пусть и минимальное, но тем не менее симптоматичное различие между обоими текстами мы замечаем. Еще только начав новую книгу, Отлох пишет: "Жил один клирик, предававшийся многочисленным порокам, и поскольку был побуждаем Богом к улучшению себя, обратившись, наконец пришел к монашескому служению", – этой фразы не было в "Книге о беге духовном". Просмотрев записанное вновь, Отлох добавил между строк еще одну характеристику своего обращения в монашество, которая отсутствовала и в "Книжице о духовном учении", и в "Книге видений", – характеристику, вызревавшую в его сознании многие годы. Итак, слева над словами "пришел к монашескому служению" монах записал следующее: "Без того, чтобы знали его друзья" (*Nullius suorum amicorum scientibus*)<sup>154</sup>. Таким образом, Отлох, избравший свой жизненный путь спонтанно, неожиданно не только для себя самого, но вдобавок без ведома и одобрения близких, был принужден изведать немало сомнений в собственной правоте прежде, чем сумел уверовать в то, что к монашеству лично его привел сам Господь. Самостоятельность сделанного выбора, его спонтанность, видимо, долгие годы удручавшая Отлоха, в конце концов обрела в глазах состарившегося и многоопытного монаха высший смысл.

\*\*\*

Оглядываясь на источники о монашеских *conversiones* в целом, следует подчеркнуть, что при всей лапидарности большинства из них, нередкой клишированности, формализованности рассказа об обращении мы тем не менее в состоянии оценить то, в какой мере вступление в монастырь могло являться поступком неординарным если не сказать девиантным. Устав св. Бенедикта позволяет заключить, что *conversio*, уход в монастырь в сознательном возрасте (по Бенедикту, с 15 лет<sup>155</sup>), был в VI в. еще далеко не редкостью. В то же время уже Бенедикт допускал, что как богатые, так и бедные родители могут приносить своих детей в дар Богу и его святым (*oblatio*)<sup>156</sup>. В IX – первой половине XI в., насколько мы можем судить, в западноевропейских монастырях преобладали так называемые *nutritii*, "воспитанники", как *pueri oblatis* отданные в обитель еще в детском возрасте, "из колыбели". Обращения в эту эпоху почти не фиксируются<sup>157</sup>. Соотношение конверсов и облатов начинает постепенно меняться в ходе монашеских реформ X–XI вв., что, как и сами реформы, отражало растущую интенсификацию религиозной жизни, более глубокое переживание истин христианского вероучения, тягу к но-

вым, более интимным путям общения с Богом, поиск индивидуальных, отвечающих личным потребностям, религиозных практик<sup>158</sup>.

Случайность ли, что в "Книге видений" Отлоха преобладает так называемая "малая эсхатология", а загробный мир мыслится по преимуществу трехчастным, что, кстати сказать, тогда еще не было общепринятым?<sup>159</sup> В "очистительном огне" (*ignis purgatorius*), наверное, и сам монах желал бы обрести окончательное очищение – уж слишком невыносимой представлялась ему ноша собственных грехов, заблуждений, сомнений и колебаний, тем более страшная, чем яснее он осознавал свою избранность.

Случайность ли, что Отлох не мыслит себя частью круга родственников, близких или друзей, подчеркивая на склоне лет полную самостоятельность своего обращения? Это вызов не только институту облатов, которые представляли никак не себя одних перед Всевышним, но прежде всего являлись молитвенными заступниками своей семьи, залогом ее преуспевания и загробного вознаграждения, свидетельством ее благочестия<sup>160</sup>. Полагаю, что Отлох, ставя под сомнение значимость совета с "соседями", "родителями" или друзьями, бросает вызов неким общим принципам социального порядка<sup>161</sup>. По крайней мере "совет", хотя бы он и был одним из семи даров Духа Святого (Ис. 11. 2), в деле вступления в монастырь, по мнению Отлоха, не обязателен.

Случайность ли, что и внутри своей монашеской общины Отлох чувствует себя неуютно, опасаясь даже убийства? Индивидуальные качества монаха входят в противоречие с принципами кинофильного образа жизни: смирение, послушание или "готовность к поношениям" отнюдь не свойственны Отлоху<sup>162</sup>. Его, кажется, вообще не трогает идеал кинонии: Отлох ни разу не выказал хотя бы внешнего почтения общежитийному компоненту монашества. Монашеская жизнь для него – это путь индивидуального самосовершенствования, который был персонально открыт ему самим Богом. Долгое время удерживая в памяти свой первый обет, "данный по-детски", поначалу даже остро переживая небрежение им, Отлох совсем не упоминает о нем в своих последних автобиографических трудах, "Книге о беге духовном" и "Книге об искушениях". Возможно, как раз потому, что в детстве в монастырь его влекла жажда познаний – цель, которая на закате дней никак не могла казаться Отлоху достойной. Слишком далеко ушли его представления о смысле своего монашеского призвания.

Многие конверсы этой эпохи – личности, безусловно, незаурядные. Отлох особенно яркий пример. Этот беспрестанно рефлектирующий монах, плодовитый писатель-моралист, неутомимый переписчик, безусловно, стоит несколько обособленно на фоне своей эпохи. Достаточно взглянуть в тот психологический автопортрет, над которым он работал всю свою монашескую жизнь: вольно или

невольно Отлох рисует себя человеком немало честолюбия, чрезвычайно упрямым, горделивым, даже тщеславным, порой страстным, более того, вспыльчивым, импульсивным, вообще неуравновешенным, легко переходящим от гнева к милости и раскаянию, переживаемому им также напряженно, неистово.

Но самое главное – исследование автобиографических текстов Отлоха позволяет увидеть не просто личность, но личность изменчивую, развивающуюся как в продолжении жизни, так и в процессе ее осмысления. Внимательно прислушавшись к словам Отлоха о том, что он "старался записывать всякого рода сочинения не только для того, чтобы прогнать тягостную досаду, но и ради отдохновения душевных и телесных сил", мы, возможно, сумеем выявить потаенные пружины, двигавшие его автобиографической рефлексией. Постоянно открывая новые горизонты рефлексии, переосмысляя пережитое вновь и заново, Отлох искал ответы на разнообразные вопросы, волновавшие его в различные периоды жизни, успокаивал, утешал себя и восстанавливал свои силы. Как следствие с годами его голос становился все более уверенным, постепенно, в процессе рефлексии, к нему приходила убежденность в ценности своего мистического опыта, а затем и осознание значимости собственных побед над дьяволом, своих личных качеств для "наставления" других.

Не то чтобы Отлох сделался монахом благодаря особой религиозной предрасположенности – слишком спонтанным было его обращение. Лишь в монастыре он сумел открыть и развить своей религиозный потенциал. Решающую роль в этом сыграли его занятия сочинительством, в том числе его автобиографическое творчество. Ведь Отлох, как помним, избрал "составление книг" в качестве особого духовного лекарства, способа телесного обуздания и духовного самосовершенствования.

Среди современников Отлоха, таких же конверсов, как и он сам, немало реформаторов монашества и тех, кто стоял у истоков новых форм религиозной жизни. Достаточно назвать здесь св. Ромуальда, сына герцога Равеннского, который около 972 г. под впечатлением убийства своего отца обратился к монашеской жизни, но, не удовлетворенный кинонией, перешел вскоре к ерemitизму, заложив орден камальдуленсов<sup>163</sup>. Или флорентийца Джованни Гвальберто, проделавшего с 1018 г. аналогичный путь от кинонии к строгому ерemitизму и основавшего орден валломброзианцев<sup>164</sup>. Или, наконец, св. Петра Дамиани, ставшего монахом около 1035 г. (всего тремя годами позже Отлоха), поселившегося отшельником в Фонтевеллане, сплотившего вокруг себя достаточно обширную конгрегацию ерemitов и в конце концов посвященного в кардиналы-епископы Остии, одного из ведущих реформаторов церкви<sup>165</sup>. Нельзя не упомянуть также ерemита Гунтера (ум. 1045), основавшего монастырь Ринхнах в Богемии, к которому Отлох испытывал, видимо, особый

плетет, если поместил в своей “Книге видений” рассказ монаха Ринхнаха, Исаака, о встрече в загробном мире с “благочестивым еремитом” Гунтером. Характерно, что это видение, в котором красочно изображаются кары, ожидающие “разрушителей монастырей”, в том числе епископа Регенбургского, заключает гневная филиппика Отлоха в адрес всех притеснителей монашества<sup>166</sup>.

Постепенно, с середины XI в., *conversio* начинают трактовать как единственно допустимый путь в монастырь: монашеский образ жизни следует начинать не в “игривом возрасте”, по обету своих родителей, но по собственной воле (*sponte sua*), – писал в начале 80-х годов XI в. монах Ключи Ульрих своему другу Вильгельму, аббату Хирзау и ученику Отлоха Санкт-Эммерамского<sup>167</sup>.

*Conversiones* являлись и вызовом себе (бурные перипетии обращения Отлоха в монашество и его мучительные раздумья на этот счет – лучшее тому свидетельство), и вызовом обществу, еще только поворачивающемуся от так называемого “формально-юридического” благочестия к более интимным религиозным практикам, и, разумеется, вызовом существующему монашеству. Конфликт, который в Санкт-Эммераме разжигал Отлох, уверенный, что аббат монастыря сообща с епископом и “некими младшими братьями” нарушает устав и ведет обитель к “разрушению”, был отнюдь не единственным в то время<sup>168</sup>. Выросшие в монастыре облаты, державшиеся опробованных поколениями “отцов” обычаев, далеко без восторга встречали конверсов, вносящих в мирную традиционную атмосферу монастыря часть той мощной духовной энергии, которая некогда толкнула их к решительному разрыву с миром. В случае же с Отлохом именно осмысление собственного обращения, преодоление сомнений, поиск сокровенного смысла происшедшего сообщали религиозным представлениям монаха особый динамизм, даже агрессивность. В этом, как кажется, и состояла особенность обращения Отлоха в монашество на фоне других *conversiones*, все более многочисленных в XI в.

## Примечания

- <sup>1</sup> Работа с рукописями Отлоха Санкт-Эммерамского в Баварской Государственной библиотеке стала возможна благодаря поддержке Института истории им. Макса Планка в Гёттингене, прежде всего его директора профессора О.Г. Эксле, которому я и выражаю здесь свою искреннюю признательность.
- <sup>2</sup> См., например: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984. С. 315. Полемицируя с А.Я. Гуревичем, проблематики индивидуального в связи с обращением в монашество касался О.Г. Эксле в своей работе, посвященной житию Иоанна из Горце (*Oexle O.G. Individuen und Gruppen in der lothringischen Gesellschaft des 10. Jh. // L'abbaye de Gorze au Xe siècle / Ed. M. Parris, O.G. Oexle. Nancy, 1993. P. 105–139*). Сформулированная в 1968 г. Х. Грудманном задача исследования *conversiones* все еще остается актуальной для медиевистики (*Grundmann H.*



- Adelsbekehrungen im Hochmittelalter // *Grundmann H. Ausgewählte Aufsätze*. Stuttgart, 1976. Bd 1 S. 122–143). Самим Х. Грундманном, а также В. Теске и Волашлем и К. Шрайнером эта тематика разрабатывалась в контексте изучения места и роли монастыря в аристократической культуре высокого и позднего средневековья (*Teske W. Laien, Laienmönche und Laienbrüder in der Abtei Cluny Ein Beitrag zum Konversen-Problem 1–2 // FMSt. 1976. 10. S. 248–322; 1977. 11 S. 288–339. Wollasch J. Parenté noble et monachisme réformateur. Observations sur les "conversions" à la vie monastique aux XIe et XIIe siècles // RH 1980 T. 264 P. 3–24. Schreiner K. Mönchssein in der Adelsgesellschaft des hohen und späten Mittelalters. Klosterliche Gemeinschaftsbildung zwischen spiritueller Selbstbehauptung und sozialer Anpassung. München, 1989. Особ. S. 13–17). Х. Фихтгену при описании формы жизни X–XI вв. в целом следует работать Х. Грундманна (*Fichtenau H. Lebensordnungen des 10. Jh. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich*. Stuttgart, 1984. Bd 2 S. 347–352 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters. T. 30. № 3). Более специальные труды, тяготеющие отчасти к исторической антропологии, посвящены обращению в монашество на смертном одре (*professio in extremis*). См. *Leclercq J. La vœture "ad succurrendum" d'après le moine Raoul // Analecta monastica. Sér. 3. 1955. P. 158–168; Brückner W. Sterben im Mönchsgewand. Zum Funktionswandel einer Totenkleidsitte // Kontakte und Grenzen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Festschrift für G. Heilfurth. Göttingen, 1969. S. 259–277; Patze H. Christenvolk und "Territorien" // La cristianità dei secoli XI e XII in occidente. Coscienza e strutture di una società. Milano, 1983. P. 155 (Miscellanea del centro di studi medioevali. Vol. 10).**
- 3 *Benedicti Regula // Rec. R. Hanslik // CSEL. Wien, 1977. Vol. 75. (Далее: BR). C. 1. 2. P. 17; C. 5. P. 35; C. 7. P. 43; C. 33. P. 90–91; C. 34. P. 91–92; C. 58. P. 133–138. C. 59. P. 138–139; C. 63. P. 145–148. О значении клише "patria parentesque relinquere" см.: *Eichenberger T. Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6–12 Jh.)*. Sigmaringen, 1991 (Nationes. Bd. 9.). S. 48, 54.*
- 4 BR. C. 58. P. 133–138.
- 5 *Joannus Cassianus. Collationes. III, 4 // PL. 49. Col. 561–563.*
- 6 Обзор дошедших до нас историй *conversio* XI в. см.: *Grundmann H. Adelsbekehrungen. S. 122–143.*
- 7 *Recueil des historiens des Gaules et de la France / Ed. par M. Bouquet-L. Delisle P. 1877. Vol. 14. P. 33.*
- 8 *Ardo. Vita Benedicti abbatis Anianensis et Indensis / Ed. G. Waitz // MGH SS 151. C. 2. P. 201.*
- 9 Характерно, что в томе на букву "О" нового издания фундаментального *Verfasserlexikon* статья об Отлохе так и не появилась. Причина, конечно же, не в том, что Отлох не достоин чести быть включенным в словарь, где находится место куда менее плодovitым авторам. На момент выхода тома просто-напросто не нашлось автора для этой статьи, сколько-нибудь сопоставимого с Берихардом Бишофом, написавшим статью об Отлохе для предыдущего издания словаря (*Bischoff B. Otloh von St. Emmeram // Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 1943. Bd. 3. Col. 658–670*). Укажем здесь наиболее известные работы об Отлохе. Большинство исследователей ограничивались исследованием биографии Отлоха и систематической его сочинений (*Dummler E. Über den Monch Otloh von St. Emmeram // Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1895. Bd. 48. S. 1071–1102; Schauwecker H. Otloh von St. Emmeram. Ein Beitrag zur Bildungs- und Frömmigkeitsgeschichte des 11. Jh. (Diss. phil.)*. Würzburg, 1964; *Evans G.R. "Studium discendi": Otloh of St. Emmeram and the Seven Liberal Arts // Recherches de théologie ancienne et médiévale. 1977. № 41. P. 29–54*). Лишь изредка произведения Отлоха рассматривались через призму проблематики средневековой личности и индивидуальности. Прежде всего следует назвать здесь новаторскую для своего времени работу Г. Миша: *Misch G. Studien zur Geschichte der Autobiographie. Tl. 1: Otloh von St. Emmeram. Göttingen, 1954*.

- (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1. Philosophisch-historische Kl. № 5) При этом иногда в исследованиях прилегалась методика психоанализа (Vinay G. Otlone di Sant'Emmeram ovvero l'autobiografia di un nevrotico // La storiografia altomedievale. Spoleto, 1970. T 1 P 15-37 (Settimane di Studi sull'alto Medioevo. t. 17,1)) Скитически по этому поводу высказывался Ж. Леклерк (Leklerq J. Modern Psychology and the Interpretation of Medieval Texts // Speculum 1973 Vol 48 S. 476-490, особ. 478-479). Показательно, что в новой книге А.Я. Гуревича о западноевропейской личности в средние века отсутствует раздел, посвященный Отлоху (Gurjevich A.J. Das Individuum im europäischen Mittelalter. München, 1994). Последний по времени очерк жизни и деятельности Отлоха см.: Brunholz F. Geschichte der lateinischen Literatur. München, 1992. Bd. 2. S. 473-483, S 629-630.
- <sup>10</sup> Otlou von St. Emmeram. Opera // PL 146. P., 1853. Col. 29-434 (ниже это издание цитируется как Migne). У Миня были перепечатаны без каких-либо изменений прежние издания Отлоха в: Thesaurus anecdotorum novissimus / Ed. V. Pez Augsburg, 1721 T 3.2 Col. 141-624 и Analecta vetera / Ed. J. Mabillon / P., 1723. Col. 108-119 (ниже цитируются как Pez и Mabillon). Лишь немногие сочинения Отлоха были изданы заново и критически. Среди них также важная в связи с поставленными в этой главе вопросами "Книга видений": Otlou von St. Emmeram. Liber visionum / Ed. P. G. Schmidt. Weimar, 1989 (MGH QQ zur Geistesgesch. Bd. 13) См рус пер.: Оммух Савит-Эммерамский. Книга видений / Пер., вст. ст. и коммент. Н.Ф. Ускова // Средние века 1995. Вып. 58. С. 223-264. Так называемая вторая часть Liber de temptationibus была издана Роджером Вильмансом: Otlou von St. Emmeram. Ex libello de temptatione // MGH SS 11. 1854 (ниже цитируется как Wilmans) Новое издание Liber de temptationibus Сабинны Гебе вышло лишь в конце прошлого года и, к сожалению, не могло быть использовано в этой работе. См.: Gabe S. Otlou von St. Emmeram. "Liber de temptatione eiusdam monachi". Untersuchung, kritische Edition und Übersetzung. Bern; Berlin; Frankfurt a. M.; New York; Paris; Wien, 1999 (Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters. Bd. 29). Небольшое, находящееся в Clm 14756 перед дополнениями к Liber de temptationibus сочинение Explanatio qualitatis hominum iuxta numeri mysterium было издано Эрнстом Дюммлером в приложении к его работе об Отлохе (Dummler E. Op. cit. S. 1100-1102). Стихи на полях рукописи De temptationibus, а также Benedictiones in natah Domini из того же кодекса опубликовал Бернхард Бишофф: Bischoff B. Literarisches und künstlerisches Leben in St. Emmeram (Regensburg) während des frühen u hohen Mittelalters // Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. 1981. Bd. 2. S. 77-115. Здесь S. 114-115. См., кроме того: Libellus proverbiorum / Ed. W. Ch. Korfmacher. Washington, 1936. P. 1-91; Vita s. Altonis / Ed. G. Waitz // MGH SS 15, 2. P. 843-846; Vita s. Bonifatii / Ed. W. Levison // Vitae sancti Bonifatii archiepiscopi Moguntini. Hannover, 1905. P. 111-217 (MGH SS rer. Germ.); Vita s. Magni / Ed. M. Coens // Analecta Bollandiana. 1963. Vol. 81. P. 184-227. Высказываются сомнения по поводу авторства Отлоха Relatio de translatione S. Dionysii. О состоянии проблемы см.: Fuchs F. Die Regensburger Dionysiussteine vom Jahre 1049 // Vom Quellenwert der Inschriften. Vorträge und Berichte der Fachtagung Esslingen 1990 / Hg. von R. Neumüllers-Klauser. Regensburg, 1992. S. 139-159. Здесь S. 142-143. Алм. 10 (с указанием более ранней литературы).
- <sup>11</sup> В Clm 14756 перенелены сочинения XIV и XI вв. К последнему относятся собственноручные манускрипты Отлоха (fol. 62r-160r): Benedictiones de nativitate Domini (fol. 62r), Liber de temptationibus eiusdam clerici (fol. 62v-109r, 111r-111v), Explanatio qualitatis iuxta numeri mysterium (fol. 109v-111r), Liber de doctrina spiritali (fol. 112v-154r), ряд его небольших стихотворений (fol. 154r-160r). Не рукой Отлоха в этой части кодекса записаны только fol. 127r-143v, 157v-158v. См.: Bischoff B. Literarisches und künstlerisches Leben... S. 91.
- <sup>12</sup> Misch G. Studien... S. 125.

- 13 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 94r, 95r. См.: Wilmans. P. 387 (32), P. 388 (19).
- 14 De temptationibus. Fol. 94r. См.: Wilmans. P. 387 (33-35).
- 15 De temptatiombus. Fol. 95r-95v. См.: Wilmans. P. 3887 (43), 388 (19-20).
- 16 Liber visionum. Visio 1. P. 38 (5). См.: Книга видений... Видение 1 С. 229.
- 17 Liber visionum. Visio 3. P. 43-44. См.: Книга видений... Видение 3. С. 232. На пометные же стихи Отлох указывал в прологе к *Libellus de doctrina: Haec est summa tamen quoniam metricam hactenus artem / Plus quam prosaicam dictandi more colebam... De doctrina*. Clm 14756. Fol. 113r.
- 18 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 95r-95v. См.: Wilmans. P. 388 (18-19).
- 19 De temptationibus. Fol. 94v-95r. См.: Wilmans. P. 388 (1-19).
- 20 De temptationibus. Fol. 95v. См.: Wilmans. P. 388 (20-24), 388 (27-29).
- 21 De temptationibus. Fol. 95v. См.: Wilmans. P. 388 (26-27).
- 22 Так, в части "Книги видений" (Clm 14673. Fol. 1-38) Отлох педантично вместо сокращения <b> проставил <b> - поступок для опытного переписчика странных, тем не менее весьма отчетливо характеризующий отношение Отлоха к собственным произведениям, в особенности к воспоминаниям о своей жизни. См.: Усков Н.Ф. [Вступительная статья] // *Отлох Санкт-Эммерамский*. Книга видений. С. 223, 225-226.
- 23 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 95v. См.: Wilmans. P. 388 (27-29).
- 24 De doctrina. Clm 14756. Fol. 131v-140r. См.: Migne. Col. 265-277.
- 25 De temptationibus. Clm. 14756. Fol. 95v. См.: Wilmans. P. 388 (25-26).
- 26 De doctrina. Clm 14756. Fol. 140r-194r. См.: Migne. Col. 283-295.
- 27 De doctrina. Clm 14756. Fol. 154r-160r. У Б. Пеца и Ж. Миня эти стихи были ложно отнесены к *Libellus de doctrina*. См.: Pez. Col. 475-482; Migne. Col. 295-300.
- 28 Не все добавления были учтены в изданиях Б. Пеца и Ж. Миня. В существенных для нас автобиографических главах опущены были не только глоссы на fol. 131v, но и пять строк на нижних и верхних полях fol. 137v-138r, а также еще одна строка на правом поле fol. 138r. Некоторые из этих строк были частично обрезаны при переплетных работах. Кроме того, любопытно, что на fol. 138r Отлох оставил пустое пространство, вероятно, для новых дополнений. Следует отметить, что при воспроизведении соответствующей главы XVII у Б. Пеца и Ж. Миня некоторые стихи были перепутаны местами: после строки *Agmen quem tantum decreverat esse profanum* должны следовать 10 строк от *Qui vitii crebris* до *Nunc nimis immitet*, а после строки *Cuius cottidie desidero iura subire* в рукописи следуют 14 строк от *Exhortans etiam* до *Et memorans penae* (De doctrina. Clm 14756. Fol. 137v, 138v-139r. Ср.: Pez. Col. 458-459 и Migne. Col. 281D-282C).
- 29 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 94v. См.: Wilmans. P. 387(42).
- 30 De temptationibus. Fol. 94r-94v. См.: Wilmans. P. 388 (29-33).
- 31 Два других сочинения из трех важнейших - *Liber visionum*, который также предназначен для начинающих, иллюстрирует при этом сентенции предыдущего труда "примерами", и диалог для продвинутых - *De tribus questionibus* (De temptationibus. Clm. 14756. Fol. 96r-99r. См.: Wilmans. P. 388 (34-35), 389 (28-37)).
- 32 De temptationibus. Fol. 94r-94v. См.: Wilmans. P. 387 (36-38), 390 (28-379).
- 33 Все же Отлох здесь еще далек от того, чтобы превозносить собственный опыт. Свое *relatio* он предназначает *ad predicendam pertinaciam cleri* (De doctrina. Clm 14756. Fol. 131v. См.: Migne. Col. 277A), а в конце помещает особую главу "*Quod haec sancta ad clerum dicta non aliter a me nisi compatientis amore sint prolata*". Автобиографическое повествование обосновано здесь ссылкой на Евангелие: *Sic evangelii prodit quoque lectio sancti, / Sanato cuidam dominum precepta dedisse, / Ut divulgaret quae dona deus sibi ferret* (Ср.: Лук. 8, 39). / *Hinc instructus ego divina karismata dico, / Quodque mihi illicitum propria virtute probatur, / Hoc fraternus amor et zeli norma ministrant*. (Ibid. Vol. 139v-140r. См.: Migne. Col. 283A-C).
- 34 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 97v. См.: Wilmans. P. 389 (24-27). Всего в книгу вошли четыре автобиографических видения. Два из них так или иначе относятся к обращению в монашество, третье же, самое большое в "Книге", почти целиком по-

священно обращению, за исключением последней части. Она, хотя и не выделена в самостоятельный рассказ, тем не менее прямо не связана с событиями обращения и, строго говоря, вообще не является видением, а скорее описанием внутренних переживаний Отлоха по поводу ссоры с одним из своих учеников. В то же время этот рассказ, как и четвертое (а фактически пятое) видение, в свою очередь не затрагивающее вступление в Санкт-Эммерам, существенно для характеристики поведенческих и мыслительных особенностей личности Отлоха.

- 15 Усков Н.Ф. [Вступительная статья] // *Отлох Санкт-Эммерамский*, Книга видений... С. 225.
- 16 *Liber visionum, prologus libri huius*. P. 33 (1–16). См.: Книга видений... Пролог. С. 226.
- 17 *Ibid.* P. 33 (17–19). См.: Там же.
- 18 *Ibid.* P. 34 (14; 19–26). См.: Там же. С. 227.
- 19 *Ibid.* P. 35 (1–4). См.: Там же.
- 20 *Ibid.* Visio 4. P. 55 (5–6). См.: Там же. Видение 4. С. 238.
- 21 *Ibid.* Visio 3. P. 47 (6–21). См.: Там же. Видение 3. С. 234–235.
- 22 *Ibid.* Visio 4. P. 55 (7–10). См.: Там же. Видение 4. С. 238.
- 23 *Ibid.* Visio 3. P. 51 (31–32) – 52 (4–5). См.: Там же. Видение 3. С. 236.
- 24 См. также: *Schauwecker H. Otloh*... S. 38, 62. По меньшей мере "Книжца о духовном учении", созданная сразу после обращения в монашество, вряд ли подразумевается, хотя в ней Отлох вслед за историей обращения помещает также рассказ о некоторых искушениях, испытанных им в бытность монахом (*De doctrina*. Clm 14756. Fol. 136v–139v). "О беге духовном" и "Об искушениях", подходящие по смыслу, все же возникли позже "Книги видений", скорее всего, после возвращения монаха в Санкт-Эммерам в 1067 г.
- 25 *De temptationibus*. Clm 14756. Fol. 101v. См.: Wilmans. P. 392 (4–5). Однозначное указание на то, что этот труд был написан *ante plures annos*, не позволяет отнести его ко времени после возвращения Отлоха в Санкт-Эммерам, как значится у Р. Вильманса и Э. Дюмлера. См.: Wilmans. Praefatio. P. 377; *Dümmler E. Otloh*... S. 1093.
- 26 *De temptationibus*. Clm 14756. Fol. 101v. См.: Wilmans. P. 392 (6).
- 27 Таким образом, мы должны либо предположить, что понимание Отлохом назначения "Книги об исповедании" со временем изменилось, либо констатировать, что ее содержание с самого начала было сложнее, нежели сказано в "Книге видений", либо, наконец, допустить, что под "другим сочинением" Отлох подразумевал некие наброски к своим последним произведениям "О беге духовном" и "Об искушениях", как раз и повествуящим, среди прочего, о кознях дьявола и милостях Божьих.
- 28 Пусть монаху и приходится затем благодарить Господа во вполне клишированных выражениях за "дар сочинительства", дескать "я, постоянно предававшийся многочисленным порокам, ничего из того (т. е. написанных им сочинений. – Н. У.) не заслуживал" (*De temptationibus*. Clm 14756. Fol. 107r. См.: Wilmans. P. 392 (11–12).
- 29 *Ibid.* Fol. 101r. См.: Wilmans. P. 391 (45).
- 30 О том, когда точно был написан этот труд, сказать сложно. Можно только констатировать, что Отлох, до того педантично указывавший в "Книге об искушениях", где он создал то или иное из своих произведений, в Санкт-Эммераме, Фульде или Аморбахе, не сопровождает описание "О беге духовном" подобной информацией, помещая его тем не менее после рассказа о своем возвращении в Санкт-Эммерам ок. 1067 г. В то же время это может объясняться и не слишком высокой оценкой данной книги – Отлох явно отказывается причислить ее к важнейшим из своих произведений. Мы вполне предположить, что "О беге духовном" или, по меньшей мере, его автобиографическая часть и есть то самое "другое сочинение" о божественных милостях и дьявольских коварствах, упомянутое в "Книге видений". Поскольку предикат *novissimum* подразумевает ближайший к "Книге об искушениях" отрезок времени, то "О беге духовном", в том виде, в котором он дошел до нас, не мог возникнуть ранее "Книги видений".

- 51 Ibid. Fol. 101r-101v. См.: Wilmans. P. 391 (33-34).
- 52 De cursu, prologus // Migne. Col. 139-140D.
- 53 Ibid. Col. 214 A.
- 54 Ibid. Col. 214-236.
- 55 Ibid. Col. 214B-C.
- 56 De doctrina. Clm 14756. Fol. 140r. См.: Migne. Col. 283B.
- 57 У Б. Пеца и Ж. Миня значится неверно: "Othloni". См.: Pez. Col. 433; Migne Col. 264B. Так же у Ж. Мабильона (Mabillon. P. 107) и Р. Вильманса (Wilmans P. 376). В свое время на эту ошибку указал уже Э. Дюммлер (*Dümmeler E. Otloh S. 1071-1072*). У Х. Шаувеккер в этом месте очевидная опечатка - "Othoni" (*Schauwecker H. Otloh... S. 39. Anm. 127*). Несмотря на замечание Э. Дюммлера, в Германии распространено произношение имени Отлоха, при котором последняя "h" не читается. В прологе к *De doctrina* имя Отлоха вследствие управления глагола *testatur* стоит в генетиве. Это позволяет утверждать, что сам Отлох произносил свое имя *vulgariter* не как Otloh, а как Otloch. В противном случае он бы скорее написал Otloni.
- 58 De doctrina. Clm 14756. Fol. 113r. См.: Migne. Col. 264B.
- 59 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 99r. См.: Wilmans P. 390 (7-8).
- 60 Ibid. Fol. 62v-111r. См.: Migne. Col. 29-50.
- 61 Ibid. Fol. 109r. См.: Wilmans. P. 397 (17). Примерно в это же время Отлох писал в *Epistola ad amicum suum. Quoniam aetati meae advesperascit et inclinata est iam dextera quam in scribendi atque dicandi notitia... habui, nequeo prohi dolori talia modo profertur verba, quae vel sapientiae, vel dignitati vestrae sint congrua* (Migne. Col. 137A). См. также: *Dümmeler E. Otloh... S. 1086*.
- 62 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 62v-63r. См.: Wilmans. P. 29 A-B Ж. Мабильон утверждал со ссылкой на Ансельма Грабнера, что в некоем *vetus codex* название сочинения звучало так: *Liber de temptatione cuiusdam monachi* (Mabillon. P. 106; Wilmans. P. 387. Anm. a.). Тогда как Р. Вильманс предполагает, что существовало две редакции *De temptationibus*, Э. Дюммлер считает, что Clm 14756 содержит единственную рукопись памятника. Тем не менее он использует тот же заголовок (*Dümmeler E. Otloh... S. 1094. Anm. 1*).
- 63 Это деление на две части восходит к первому изданию Мабильона (Mabillon. P. 116). Если неприязнительный инициал H(ес), простая капитальная буква на fol. 93v, действительно выделяет новую часть, как полагали издатели памятника, то такой инициал далеко не единственный в книге. Другие примеры позволяют скорее предположить, что Отлох вводил при помощи капитальных инициалов абзацы, которые он желал как-нибудь отделить от предыдущего текста. См. уже на второй странице книги, fol. 63r, Z. 4 - инициал D(elusiones). Другие примеры: fol. 64r, Z. 6 на fol. 94r дважды - Z. 4 и Z. 9. Две рифмованные молитвы также начинаются с инициалов: fol. 101 v, Z. 18 и fol. 106r, Z. 8. На fol. 111r, Z. 13, дополнения к основному тексту в свою очередь вводятся инициалом.
- 64 De temptationibus Clm 14756. Fol. 93v-94r. См.: Wilmans. P. 387.
- 65 Ibid. Fol. 101v-107r. У Ж. Мабильона, Ж. Миня и даже Р. Вильманса отсутствуют оба стихотворения. Правда, Р. Вильманс указывает в примечании, что это место в Clm 14756 выглядит иначе, чем у Ж. Мабильона и Ж. Миня (Wilmans. P. 392. Anm c). Стихотворения опубликованы у Б. Пеца: *Pez B. Thesaurus anecdotorum novissimus* 1, 1 Col. 421 und 3, 2 Col. 481-482.
- 66 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 101r. См.: Wilmans. P. 391 (28-29).
- 67 Ibid. Fol. 107r-108v. См.: Wilmans. P. 392.
- 68 Ibid. Fol. 108v. См.: Wilmans. P. 393.
- 69 Explanatio. Clm 14756. Fol. 109v-111r. См.: *Dümmeler E. Otloh... S. 1101*.
- 70 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 111v-111r. См.: Wilmans. P. 393.
- 71 Ibid. Fol. 109r. См.: Wilmans. P. 393. Anm. g.
- 72 Ibid. Fol. 108v. См.: Wilmans. P. 393 (13-14).
- 73 *Bischoff B. Literarisches und künstlerisches Leben... S. 114.*

- 14 Ibid.
- 15 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 93v. См.: Wilmans. P. 387 (26–29).
- 16 Benedictiones in natale Domni. Clm 14756. Fol. 62r. См.: Bischoff B. Literarisches und künstlerisches Leben... S. 115.
- 17 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 111v. См.: Wilmans. P. 393 (42–44).
- 18 Ibid. Fol. 109r. См.: Wilmans. P. 393 (19–21).
- 19 Ibid. Fol. 93v. См.: Wilmans. P. 387 (26–29).
- 20 Ibid. Fol. 94v. См.: Wilmans. P. 390 (35), 387 (41–42).
- 21 Ibid. Fol. 108r. См.: Wilmans. P. 392 (31–32).
- 22 Ibid. Fol. 108r. См.: Wilmans. P. 392 (30).
- 23 Ibid. Fol. 111v. См.: Wilmans. P. 393 (42–44).
- 24 Ibid. Fol. 107r. См.: Wilmans. P. 392 (12–15).
- 25 См. выше примеч. 34.
- 26 Explanatio qualitatis hominum iuxta numeri mysterium. Clm 14756. Fol. 111r. См.: Dümmler E. Otloh... S. 1102.
- 27 Так у Э. Дюмлера, X. Шаувеккер и даже Г. Миша.
- 28 О дате рождения Отлоха см.: *Schauwecker H.* Otloh... S. 7.
- 29 Ibid.
- 30 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 108r. См.: Wilmans. P. 392 (28–29, 33–34).
- 31 Liber visionum. Visio 8. P. 69 (20–24). См.: Книга видений... Видение 8. С. 246.
- 32 Ibid. Visio 12. P. 79 (10). См.: Там же. Видение 12. С. 251.
- 33 De temptationibus. Clm 14756. fol. 111v. См.: Wilmans. P. 393 (38–39).
- 34 Liber visionum. Visio 3. P. 44 (25–26). См.: Книга видений... Видение 3. С. 232.
- 35 *Schauwecker H.* Otloh... S. 7. Anm. 3.
- 36 De doctrina. Clm 14756. Fol. 135v. См.: Migne. Col. 280C; Liber visionum. Visio 2. P. 42 (10) См.: Книга видений... Видение 2. С. 231. De temptationibus. Clm 14756. Fol. 107r. См.: Wilmans. P. 392 (16, 28).
- 37 De temptationibus. Clm 14756. Fol. 107r–108r. См.: Wilmans. P. 392 (33–34).
- 38 De doctrina. Clm 14756. Fol. 135v–136r. См.: Migne. Col. 280 C.
- 39 Liber visionum. Visio 2. P. 42 (10–11). См.: Книга видений... Видение 2. С. 231.
- 100 De doctrina. Clm. 14756. Fol. 135v–136v. См.: Migne. Col. 280 C, 280 D – 281 A.
- 101 Ibid. Fol. 136r. См.: Migne. Col. 280 C.
- 102 Liber visionum. Visio 3. P. 43 (1–2). См.: Книга видений... Видение 3. С. 231.
- 103 X. Шаувеккер полагает, что Отлох по меньшей мере достиг четвертого из восьми посвящений (*Schauwecker H.* Otloh... S. 10).
- 104 Liber visionum. Visio 1. P. 5 (18–23). См.: Книга видений... Видение 1. С. 227.
- 105 De doctrina. Clm 14756. Fol. 131v. См.: Migne Col. 277 C.
- 106 Ibid. Fol. 134v. См.: Migne. Col. 279 C.
- 107 Ibid. Fol. 132r.–132v. См.: Migne. Col. 277–279.
- 108 Ibid. Fol. 34r. См.: Migne. Col. 279 В–С. "Фарсалия" Лукана относилась к числу самых читаемых античных произведений в средние века. Так, от IX–X вв. сохранилась 21 рукопись "Фарсалия", а от XI в. – 30. См.: *Olsen B.M.* The Production of the Classics in the Eleventh and Twelfth Centuries // *Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use.* Los Altos Hills; London, 1996. P. 1–17. Здесь P. 3, 17.
- 109 Ibid. Fol. 134r–134v. См.: Migne. Col. 279 C–D.
- 100 Ibid. Fol. 134r. См.: Migne. Col. 279 B.
- 111 Liber visionum. Visio 3. 48 (1–19). См.: Книга видений... Видение 3. С. 234.
- 112 Ibid. Visio 1. P. 35 (23–27) – 36 (1–7). См.: Там же. Видение 1. С. 227–228.
- 113 Ibid. P. 38 (6–7). См.: Там же. С. 229.
- 114 Ibid. P. 40 (18), 41 (3–9). См.: Там же. Видение 2. С. 231.
- 115 Ibid. Visio 2. P. 41 (29–30). См.: Там же. Видение II. С. 230. По поводу перевода выражения Отлоха *villanis clericis* см. ниже.
- 116 Ibid. Visio 1. P. 36–37; Visio 2. P. 42 (8–12); Visio 3. P. 42 (23–25) – 43 (1–2). См.: Там же. Видение I. С. 228; Видение II. С. 230–231.
- 117 Ibid. Visio 3. P. 43 (2–3). См.: Там же. Видение 3. С. 231.

- 118 Ibid P 43-44. См.: Там же. С 231-232.
- 119 Ibid P. 52 (9-10) См.: Там же. С 236.
- 120 Э Дюммлер полагал, что речь идет просто о сельском приходском кюре (*Dummler E. Otloh. S 1074*) Сравнение обоих контекстов позволяет, однако, скорее предлагать оценку интеллектуальных и духовных качеств отдельных клириков
- 121 *Clerici liberalis scientiae nimis ignari nullum sacerdotalem gradum accipere sunt digni* (*Liber proverbiorum // Pl Vol 146 Col. 306 C*).
- 122 *Liber visionum Visio 3. P 44 (17-18) См.: Там же. С. 232.*
- 123 Ibid. P. 52-54. См.: Там же. С. 236-238.
- 124 Ibid. Visio 4 P. 54-55 См.: Там же. Видение 4. С. 238.
- 125 Ibid. Visio 3 P 45 (4-5). См.: Там же. Видение 3. С. 232.
- 126 Ibid. P 45-51. См.: Там же. Видение 3. С. 223-236.
- 127 *De temptationibus. Clm. 14756. Fol. 96v См.: Wilmans. P. 389 (3, 12-14).*
- 128 *Liber visionum. Visio 3 P. 45 (20-21, 23-24). См.: Книга видений... Видение 3 С 232-233*
- 129 Ibid. Ср. также. Visio 2. P. 42 (1-12); Visio 3. P. 42 (16-25) - 43 (1-4). См.: Там же С. 233 Ср. Видение С 231.
- 130 *De doctrina, cap. XV-XVI Clm 14756. Fol. 135v-136v. См.: Migne. Col. 280-281*
- 131 *Liber visionum Visio 3. P. 45-46, 48-49. См.: Книга видений. Видение 3 С. 234-235*
- 132 *De doctrina Clm 14756. Fol. 135r. См.: Migne. Col. 280 A.*
- 133 *Liber visionum Visio 3. P. 48 (27-30) - 49 (1-3). См.: Книга видений... Видение 3 С. 235.*
- 134 *De doctrina. Clm 14756 Fol. 135r-135v См.: Migne. Col. 280 A.*
- 135 *Liber visionum Visio 3. P. 49 (17-26). См.: Книга видений... Видение 3. С. 235.*
- 136 Ibid. P. 50 (7-24) См.: Там же.
- 137 P. 51 (7-11) См.: Там же С. 236.
- 138 *De temptationibus Clm 14756. Fol. 109r. См.: Wilmans. P. 397 (18-19).*
- 139 *De temptationibus Clm 14756. Vol. 96v-97r. См.: Wilmans. P. 389 (4-10). В другом месте Отлох прямо говорит ...Fugiens ad Fuldenae monasterium venirem. - Ibid. Fol. 99v. См.: Wilmans. P. 390 (18).*
- 140 Ibid Fol 97r. См.: Wilmans. P. 389 (14-18).
- 141 Ibid. Fol 96v-97v. См.: Wilmans. P. 389 (10-14).
- 142 Ibid. Vol. 99v-100v См.: Wilmans. P. 391 (1-9, 21-24).
- 143 *Liber visionum Visio 3. P. 51 (29-31). См.: Книга видений... Видение 3. С. 236*
- 144 Сир. 32, 24 Эта фраза цитируется и в уставе Бенедикта. BR. С. 3. 29. См. также аналогичные. *Salus autem ubi multa consilia* (Prov. 11, 14) или *Qui autem agunt sancta omnia cum consilio reguntur sapientia* (Prov. 13, 10) или *Astutus omnia agit cum consilio* (Prov. 13, 16)
- 145 ... *Satis solida improvidaque etiam inesset voluntas conversionis, quia contra Scripturam quae dicit, Omnia fac cum consilio, sine consilio parentum et amicorum quatenus in maximo iuventutis fervore positus subito vellem adire, nimisque foret inconsultum, ut haemusmodi homo quisquam tam periculosum susciperet votum, ideoque multo melius esset, ut prestolans usque ad etatis maturioris perfectionem, tunc tandem cum se virtus inuenserit omnis sponte pro desiderata tractem conversione* См.: *Liber de cursu .. Col. 214 C-D. De temptationibus Clm 14756 Fol 63r 63v См.: Migne. Col. 29 B-C.*
- 146 *De doctrina Clm 14756 Fol 137r-137v См.: Migne. Col. 281 C*
- 147 *Liber visionum Visio 3 P. 50 51. См.: Книга видений. Видение 3. С. 234-236.*
- 148 *Liber de cursu Col. 215 A, De temptationibus. Clm 14756. Fol. 63v. См.: Migne. Col. 30 A*
- 149 *De doctrina. Clm 14756 Fol. 137v. Ср.: Migne. Col. 282 C. О правильном месте этих строк см. примеч. 28.*
- 150 *Liber visionum. Visio 2. P. 41 (16-26). См.: Книга видений... Видение 2. С. 231.*
- 151 *Liber de cursu. Col. 214 D; De temptationibus. Clm 14756. Fol. 63r-63v. См.: Migne. Col. 29 C - 30 A.*

- 148 Liber de cursu... Col. 224 D - 225 A-C; De temptationibus. Clm 14756. Fol. 77v-78r. См. Migne Col 39 D - 40 A-D.
- 149 Liber de cursu... Col. 225 C-D; De temptationibus. Clm 14756. Fol. 78v. См.: Migne. Col 40 D - 41 A.
- 150 Liber de cursu... Col. 225 C-D; De temptationibus. Clm 14756. Fol. 78v. См.: Migne. Col 40 D - 41A.
- 151 BR С 70 P 160.
- 152 BR С 59 P 138-139.
- 153 Grundmann H. Adelsbekehrungen... S. 130-131.
- 154 Grundmann H. Adelsbekehrungen... S. 128-130. Характеристику изменений в религиозности эпохи см.: Bosh K. Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter. Stuttgart, 1972. (Monographien zur Geschichte des Mittelalter Bd 4); Werner E, Erbströfer M. Kleriker, Mönche, Ketzer. Das religiöse Leben im Hochmittelalter. 2 Aufl. Berlin, 1992. Europäische Mentalitätsgeschichte / Hg. P. Dinzelbacher 1993; Dinzelbacher P. Geschichte der Frömmigkeit im Mittelalter und in der Neuzeit // Saeculum. 1996 vol 47/1
- 155 Liber visionum Visiones 6, 7, 12, особ. 14, 17 (P. 65-67, 67-69, 79-81, 82-85, 91-92). См. Книга видений Видение VI. С. 244-245; VII. С. 245-246; XII. С. 251-252; XIV. С. 253-254. XVII. С. 257-258. См. также Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры... С. 198-200; Он же. О соотношении народной и ученой традиции. Особ. С. 215; Он же. Категории средневековой культуры... С. 328-335; Он же. Культура и общество средневековой Европы... С. 94-146; Он же. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности... С. 76-89, *Idem*. Au moyen âge. Conscience individuelle et image de l'au-delà // Annales, 1982 P. 272-273 Третье немецкое издание классической, хотя и изрядно устаревшей книги Ж. Ле Гоффа снабжено комментарием, в котором Ж. Ле Гофф полемизирует с А.Я. Гуревичем: Le Goff J. Die Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbildes im Mittelalter. München, 1991. Особ. С. 449-450, Angenendt A. Theologie und Liturgie der mittelalterlichen Totenmemoria // Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter / Hg. K. Schmid, J. Wollasch. München, 1984. S. 158-160 (Münstersche Mittelalter-Schriften Bd. 48).
- 156 Weizel J. Oblatio puerorum // Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft / Hg. N. Brieskorn u.a. Paderborn, 1994. S. 59-74; Berend N. La substitution invisible. La disparition de l'oblation irrévocable des enfants dans le droit canon // *Medievales* 1994. № 26. P. 123-136; Усков Н.Ф. "Солнце взойшло на Западе" - санкт-галленский монастырский патриотизм в раннее средневековье // Средние века М., 1997. Вып. 60. С. 118-142. Особ. С. 122-124, 133-134; Он же. Убить монаха. // Казус 1999. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999. С. 199-235.
- 157 Hölzl L. Rat, philosophisch-theologisch // *Lexicon der Mittelalters* Bd. 7. Sp. 453-454; Kobler G. Consilium I // *Lexikon des Mittelalters* Bd. 3. Sp. 160-161; Hanning J. Consensus fidelium. Frühfeudale Interpretationen des Verhältnisses von Königtum und Adel am Beispiel des Frankenreiches. Stuttgart, 1982 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters. Bd. 27); Машин Ю.П. Средневековый "дух совета" // *Одиссей*, 1992. М., 1994. С. 176-192.
- 158 Ср.: BR. С. 7. P. 39-52.
- 159 Franke W. Romuald von Camaldoli und seine Reformtätigkeit zur Zeit Ottos III. Berlin, 1913. См. об обращении особ. С. 69-71. (Eberings Historische Studien. Bd. 107); Tabacco G. Romualdo di Ravenna e gli inizi dell'eremitismo Camaldolese // *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*. Mailand, 1965. P. 73-121 (Pubblicazioni dell'Università cattolica del Sacre Cuore. Ser. 3a: Miscellanea del Centro di studi medievali. Vol. 4).
- 160 Quilici B. Giovanni Gualberto e la sua riforma monastica // *Archivio storico italiano*. 1941. № 99. P. 113-115, 122-124. P. 2. P. 2, 27-29.
- 161 Leclercq J. Saint Pierre Damien ermite et homme d'Oglise. Rom, 1960.



- <sup>166</sup> *Liber visionum. Visio 14.* P. 82–85; См.: Книга видений... Видение 14 С 253–254. Для сравнения см. также видение, услышанное Отлохом из уст самого папы реформатора Льва IX: *Visio 7.* P. 67–69; Видение 7. С. 245–246. О реформаторских воззрениях Отлоха см. подробнее: *Schauwecker H. Otloh...* S. 125–164.
- <sup>167</sup> *Udalricus. Epistola nuncupatoria* // PL. 149. Col. 635–640; *Grundriss H Adelsbekehrungen...* S. 128–130. Об Отлохе и Вильгельме из Хирзау см.: *Dümmler E. Otloh...* S. 1079–1080.
- <sup>168</sup> О реформах в целом см.: *Hallinger K. Gorze-Kluny. Studien zu den monastischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter.* 2 Bde. Graz, 1971. О реформе в Санкт-Эммераме: Bd. 1. S. 114–115. См. также об Отлохе и реформе Санкт-Эммераме: *Radlinger-Promper Ch. Sankt Emmeram in Regensburg. Struktur- und Funktionswandel eines bayerischen Klosters im früheren Mittelalter.* Kallmünz, 1987 S. 143–213 (Thurn und Taxis-Studien. Bd. 16).

*Десять странных парижан*

Представление о генеральной тенденции исторического развития ко все большей индивидуализации поведения человека, к усложнению мира его чувств все чаще овладевает умами и современных историков, и их читателей. Одновременно становится все очевиднее, что и в минувшие времена эмоциональный мир и отношения с близкими были в высшей степени многоцветными. Отрадно сознавать, что в прояснении этого есть и доля заслуги нашего коллектива авторов. Человек античности, средневековья и, тем паче, раннего нового времени обладал определенной свободой выбора той или иной модели поведения!

К сожалению, определение степени этой свободы и формы ее реализации упирается в проблему источников. Хорошо, если есть автобиографии, дневники, разного рода нарративные материалы, судебные документы, иконография... Но и тогда достаточно остро встает проблема репрезентативности. Насколько правомерно распространять переживания Дуоды Септиманской на всех, пусть даже только на всех знатных женщин каролингской эпохи? Можно сконцентрировать свое внимание на отдельных казусах, на отклонениях от нормы, которые при особом подходе могут компенсировать недостаток массового материала. Но встретить такие персонажи, как знаменитый Меноккио Карло Гинцбурга, дано далеко не каждому. В большинстве случаев историк находит в архивах массовый и априорно обезличенный материал. Возможно ли и в нем отыскать личностное начало, поживиться чем-нибудь значимым для истории частной жизни, натолкнуться на нечто исключительное?

В основе данной главы лежат результаты эксперимента. Обработывая массив нотариальных актов, зарегистрированных в парижском суде Шатле в период правления Генриха II (1547–1559)<sup>1</sup>, я изредка находил документы, явно выпадающие из построенных мной типологических рядов. Одни сразу бросались в глаза своей эксцентричностью, в других отклонение от нормы было скрытым, различимым лишь на фоне десятков, а то и сотен однотипных актов. Предыдущие работы<sup>2</sup> оставили у меня на руках в качестве побочного продукта небольшой список подобных “девиантных” актов. Тогда и возникла идея предпринять специальное исследование, посвященное поискам какой-либо дополнительной информации, проливающей свет на авторов этих “странных” актов. Парижский “Дом наук о человеке” поддержал этот проект, любезно предоставив мне возможность работы в Национальном архиве.

Необходимо особо подчеркнуть нестандартность ситуации, которая в дальнейшем может ускользнуть от читателя. К нотариальным актам обычно обращаются или с целью пополнить биографические данные об интересующем исследователя персонаже – художнике, политике, религиозном деятеле, или в поисках владельцев того или иного участка земли, или при составлении генеалогий<sup>3</sup>. Здесь же движение направлено в обратную сторону – отталкиваясь от формальных критериев, мы пытаемся в рутине нотариальной практики усмотреть исходные точки для биографических изысканий, чтобы попытаться составить представление о причинах “странности” документов. Определенная чистота эксперимента обеспечивается как случайностью выборки<sup>4</sup>, так и тем, что я изначально *ничего* не знал о разыскиваемых мной людях.

Надо сказать еще о двух обстоятельствах, без понимания которых трудно будет оценить полученные результаты. Во-первых, что уж такого удивительного, если личность автора находит свое отражение в составленном им документе? Но всякий, кому довелось посещать нотариальную контору, составляя дарственную или доверенность, знает, насколько обезличена сейчас эта процедура. В середине XVI в. ситуация в Париже была похожей. В задачу нотариуса входила унификация актов. Этому способствовали многочисленные сборники печатных или рукописных формуляров, учебники по нотариату, устная традиция и, наконец, собственный опыт нотариуса. Ему предписывалось быть ясным и лаконичным, проявление красноречия не одобрялось. Авторы учебников, предупреждая против злоупотреблений риторикой, отмечали, что этим грешат в первую очередь неопытные провинциальные мэтры<sup>5</sup>. Но многочисленные<sup>6</sup> парижские нотариусы в этом смысле были безупречны, да и находились они под особым унификаторским прессом. Сюда относятся строгие требования “Стиля Шатле”, постоянный юридический контроль за конторами, коллегиальный характер составления документа – парижские ак-

ты подписывались двумя нотариусами (это заменяло подписи свидетелей, необходимые в других городах). И хотя даже в парижских документах порой удается отследить индивидуальный стиль нотариуса, здесь оформление актов было на порядок стереотипнее, чем в провинции. Мэтры предлагали клиентам на выбор формулы и отливали их волеизъявления в готовые клише. Сказать что-либо от себя вдобавок к стандартным формулам было непросто. И поэтому, когда авторам вольно или невольно удавалось привнести в акт нечто особенное, это само по себе было чем-то необычным.

Во-вторых, казалось бы, поиск биографической информации не представляет особых трудностей, раз есть биографические словари, а в регистрах Шатле содержится указание на то, в какой конторе был составлен данный акт. Но надо отдавать себе отчет, что Центральное хранилище парижских нотариальных минут (черновиков нотариальных актов, хранящихся у нотариуса) являет собой безбрежный океан, лишенный ясных ориентиров. Всего, по моим подсчетам, сохранилось свыше 600 тыс. нотариальных документов для одного лишь XVI столетия (это более половины от гипотетического числа всех составленных в том веке парижских актов).

Информационно-поисковая система практически отсутствует – возможна лишь ручная переборка связок неудобочитаемых текстов. Не лучше обстоят дела и с регистрами суверенных судов – Парламента, курии Косвенных сборов, Монетной курии. Каталог актов Генриха II к моменту моих изысканий был доведен лишь до 1550 г., биографические справочники носят в основном историко-литературный характер или относятся к аристократическим фамилиям. Понятно, что в достаточно сжатые сроки моего пребывания в Париже речь могла идти скорее о выборочном зондаже архивных фондов, чем о сколь-нибудь исчерпывающем исследовании биографического характера. В условиях почти случайного поиска нормальным было обнаружить данные о двух-трех персонах. И от, что “нашлись” сразу десять человек, само по себе весьма значимо.

Начать обзор можно с тех актов, о которых нам точно известно, что автор сам, без помощи нотариуса пытается оформить свое волеизъявление.

1. Катрин Корню, вдова **Тьерри Дюмонта**, сеньора д'Аси, мэтра прошений Дворца (*maître des Requêtes d'Hôtel*), 12 мая 1559 г. зарегистрировала завещание, написанное собственноручно покойным супругом 7 января того же года. Такие “олографические” завещания сами по себе весьма редко встречаются в XVI в. Уже одно это придает документу необычный вид: выдающие профессию автора многочисленные латинские цитаты, рассыпанные к месту и не к месту, были бы устранены нотариусом.

Детям из Парижского приюта Троицы он завещает 400 ливров ренты по муниципальным займам (*rente sur l'Hôtel de Ville*), “чтобы

использовать их на поддержание обучения ремеслу и не иначе... а в случае, если ремесла не будут поддержаны... указанная сумма да будет продана и деньги израсходованы на благотворительные деяния". Жителям деревни Аси он оставляет 20 ливров земельной ренты "при условии, что они обяжутся содержать в порядке каменную вымостку тех дорог, что существуют ныне"...<sup>7</sup> В этом не было бы ничего особенно удивительного, если бы не отсутствие благочестивых формул, абсолютно необходимых в любом завещании<sup>8</sup>. Нет никаких обязательных раздач бедным на помин души, нет неперенных указаний на желаемый характер погребального обряда и поминальных служб. Помогая каким-то людям, чей статус был явно ниже, Дюмонт не оговаривает столь привычного для того времени помина души благодетеля. Среди чиновников было принято помогать сиротским приютам (они находились под особым патронатом короля), но при этом обычным условием были молитвы за дарителя и организация месс. Почему же всему этому Дюмонт предпочитает заботы о производственном обучении и "урбанизации" деревни, входящей в его сеньорию?

Он происходил из старой парижской чиновной фамилии. В 1544 г., невзирая на протесты старых магистратов, он становится советником Парламента. Король мотивировал это назначение "напльвом дел"<sup>9</sup> – такая формулировка употреблялась, когда в Парламент проводились королевские протезе. Дюмонт упоминается в составе разных комиссий, ему поручались дела, связанные с решениями проблем парижского муниципалитета: раскладка налогов, отчуждение королевских зданий, проверка муниципальной отчетности, фортификационные работы<sup>10</sup>. Полученная в 1554 г. должность мэтра прошений Дворца превращала его в чиновника по особым поручениям<sup>11</sup>. Важнейшим королевским заданием стало для него управление делами приюта Троицы. Помощи парижским сиротским домам Генрих II отводил очень важную роль. "Госпиталь святой Троицы" (или госпиталь "Синих детей", так как воспитанники носили синие дивреи) призван был принимать подкидышей и сирот и учить их ремеслам, в том числе ковроткачеству и золотому шитью. Но дело не клеилось: 300-400 учеников доставляли массу хлопот. Несмотря на то что правительство даже выделило солдат, чтобы отлавливать беглых воспитанников, уровень обучения оставался низким<sup>12</sup>. Поэтому Дюмонт имел все основания опасаться за правильность расходования сумм, выделенных в завещании на столь важное и столь сложное дело. Его озабоченность стала еще более понятной, когда, разбирая взаимные обвинения его комиссии и муниципалитета (речь шла о переносе ближайшего к приюту кладбища), я выяснил, что сам Дюмонт еще с 40-х годов был попечителем этого заведения<sup>13</sup>.

Но разногласия не омрачили его отношений с городом. 6 мая 1558 г. муниципалитет принимает любопытное решение: "Учитывая любезности, оказанные господином Дюмонтом этому городу, и со

гласно его просьбе", начальнику городской артиллерии предписывалось выдать ему "три фальконета и два аркебуза с курками (*haquebuzes à croq*)... для защиты его дома в Аси..."<sup>14</sup> Ничего подобного в муниципальных регистрах ранее не встречалось. Поэтому попытка Дюмонта защитить таким образом свою горячо любимую сеньорию от императорских солдат после битвы при Сен-Кантене выглядит весьма эксцентрично. Впрочем, если в мае он хотел еще воевать, то с осени уже ощущал приближение смерти. Совместно со своей женой он в ноябре регистрирует в Шатле их взаимное дарение, составленное двумя годами ранее. Характерно, что, как и в завещании, в этом документе отсутствуют благочестивые сентенции, бывшие хоть и формальной, но практически неотъемлемой частью этого типа актов<sup>15</sup>.

Мне удалось отыскать его дарственную, датированную декабрем 1558 г. Парижской женской обители "Ave Maria" он передает 20 ливров муниципальной ренты. И вновь причина – не забота о заупокойных мессах, обычная в таких случаях, но "нежелание присваивать себе то, что не принадлежит по праву". Возможно, он считал обещанные по займам проценты неканоничными: в конце войны правительство пыталось организовать новые займы под высокие проценты. Впрочем, королевской казне уже мало кто доверял, и ренты принудительно распространялись среди чиновников. Дюмонт же ввовь озабочен "урбанистическими" проектами: "учитывая особое доверие, питаемое к монахиням", ренты предназначены, "чтобы платить смотрителю фонтанов (*le fontanier*) для содержания некоторых фонтанов города Парижа и для осуществления необходимых работ"<sup>16</sup>.

Можно заподозрить в Дюмонте тайного протестанта, но с этим плохо сочетается его "доверие монахиням". В первую очередь он – образцовый администратор, его практицизм сочетается с увлеченностью идеями ренессансной монархии – преобразованием городской среды, воспитанием гармоничного человека. Уникальность его завещания продиктована его стилем поведения. Наверное, будь у него дети, завещание не столь выделялось бы, однако оригинальные черты присутствуют и в других его актах. Он верен себе, оставаясь отличным от других. Но любопытно, что подобная неповторимость лишь оттеняет его социокультурную идентичность, придавая ему свойства образца для своей социальной группы.

2. Жан Локуэ, доктор-регент факультета теологии, проживавший в колледже Монтэю, также попытался составить дарение без помощи нотариусов.

"Видя своего племянника Арнуля Вилана, магистра искусства... впадшим в великую немощь, коей является глухота, я питаю к нему великое сострадание и милосердие, и по этой причине я ему даровал во имя любви к Богу и за услуги, которые он мне ранее оказал ... сум-

му в 800 турецких ливров из моего наследственного и благоприобретенного имущества при условии... молить Бога или заказывать молитвы за меня ... по мере его сил и возможностей". Этот акт был подписан "17 июня 1551 по Пасхе", что выглядит нелепо: уточнить дату по Пасхе (с которой начинался год) имело смысл лишь для марта и апреля, июнь же месяц в любом случае относился к 1551 г. В регистрах Шатле были воспроизведены эти его слова, а затем сообщалось: "После приписаны таковые слова: я прошу принять во внимание мою личность, я не подписал хорошо – перо совсем плохое, это видно по письму". Через полгода (27 января 1552 г.) он отнес этот свой "самодельный" текст дарственной к нотариусам, которые на основе первоначальной записи уже составили дарение по полной форме. Однако, как следует из новой редакции акта, в нотариальной конторе Жан Локуэ заявил, что он теперь отчетливо помнит, как ранее подарил мэтру Арнулю Вилану право взыскать 800 ливров со своей недвижимости, и подтверждает это решение, "незвизрая на то, что в другом своем дарственном акте, недавно адресованном... принятию коллегии бедных (школяров) указанной коллегии Монтэю. не было сделано об этом никакого упоминания, ибо это произошло по недоразумению и забывчивости, так как указанный Локуэ уже стар и имеет короткую память"<sup>17</sup>.

Этот странный доктор упоминается в регистрах факультета всего трижды. И каждый раз только тогда, когда под решением факультета ставились подписи всех без исключения членов корпорации<sup>18</sup>. Почти всю жизнь Локуэ провел в коллегии Монтэю. В 1537 г., когда в силу вступило завещание Ноэля Беды, оставившего небольшие ренту шести бедным школярам коллегии, среди лиц, подписавших акт, упомянут и Жан Локуэ<sup>19</sup>. Начиная с 40-х годов встречаются нотариальные договоры о сдаче им в наем двухкорпусного дома с садом в предместье Сен-Марсель. Две комнаты в этом доме он подарил Арнулю Вилану и другому своему племяннику, предписывая им молить Бога за дарителя и поощряя их при этом построить там галерею<sup>20</sup>, чтобы беспрепятственно проходить через сад. Сам же он продолжал по-прежнему обитать в Монтэю.

Но в 1552 г. события ускоряют свой бег. Как мы помним, 27 января нотариусы подписывают его дарение Арнулю Вилану. Несмотря на "великую немощь глухоты", племянник сам, без помощи прекурора, быстро зарегистрировал в Шатле это дарение, присовокупив в нему и старое, адресованное своему кузену, два года спокойно дожидавшееся регистрации. Причина такой поспешности ясна: между 17 июня 1551 г. (дарение 800 ливров Арнулю Вилану) и 27 января 1552 г. (оформление этого акта у нотариуса) престарелый теолог следуя примеру своего учителя Ноэля Беды, облагодетельствовал бедных студентов родной коллегии Монтэю. Но теперь, после 27 января "вследствие ошибки памяти" и вследствие энергичности

вмешательства глухого племянника это дарение оказалось уменьшено на весьма значительную сумму. Можно представить, какой разразился скандал! Жан Локуэ, ранее неизменно обозначавшийся как "проживающий в коллегии Монтэю", с этого момента упоминается лишь как житель предместья Сен-Марсель.

Однако и здесь он не обрел тихой гавани. Мне удалось обнаружить серию актов, составленных им в конце апреля того же 1552 г. Задев строительство галереи, он не заплатил денег мастерам, и те подали в суд. Если доктор рассчитывал воспользоваться своими университетскими привилегиями, то он просчитался. Выяснилось, что дети кровельщика и каменщика – студенты университета и именно им предусмотрительные родители "подарили" право взыскать деньги за строительные работы. Поэтому университетские привилегии оказались направленными против теолога. Проиграв и процессы в Шатле, и апелляции, он должен был уплатить по 98 ливров каждому из мастеров и еще по 24 ливра в счет возмещения судебных издержек. Жан Локуэ вновь попытался использовать свой статус и наложил на своих противников церковное наказание. Найденные мной акты являются полюбовным соглашением – истцы отодвигают сроки выплаты денег, а ответчик взамен снимает с них наложенное ранее церковное осуждение<sup>21</sup>. Причем, чтобы расплатиться с мастерами, Жан Локуэ прибег к помощи своего квартирьершмщика. Но этим не исчерпывалась судебная эпопея теолога. На следующей неделе – 3 апреля 1552 г. – он заключает сделку со священником Пьером Каннюпе, который взялся завершить целых пять процессов, которые ведет в Парламенте Жан Локуэ<sup>22</sup>. Из пометы на полях следовало, что Каннюпе берется вести тяжбы за свой счет вплоть до вынесения приговора и должен действовать как можно скорее. Взамен ему обещана половина от возможных барышей в случае выигрыша дел<sup>23</sup>.

Тогда же, 20 марта 1552 г., он передал свой второй дом близ церкви Сент-Илэр Арнулю Вилану, который обещал предоставить дарителю еду и кров и содержать его остаток жизни<sup>24</sup>. На сей раз не было уже упоминаний об увечности племянника, это был классический договор – содержание престарелого человека молодым родственником.

В данном случае "отклонения" документа соответствуют медицинскому факту старения. Нарастающая неадекватность завела дарителя в положение, из которого он уже не мог выпутаться без помощи других. Нестандартность ситуации в том, что мы получили документальные свидетельства этого кризиса. И в то же время трудно отделаться от впечатления, что Жан Локуэ служит иллюстрацией к "Гаргантюа" – вспомним комическую фигуру доктора Ианнотуса де Брамгардо – выжившего из ума амбициозного и сварливого теолога.

3. В другом неординарном дарении, составленном университетским деятелем, также затрагивается сюжет старости, но уже совсем



иначе. 29 апреля 1552 г. “Пьер Галланд, ординарный королевский лектор... священник и принципал коллегии Бонкур... во имя большой и пламенной любви и склонности, которые он питал и изо дня в день питает ныне к Жану Бракепоту... канонику Теруанны, и дабы как-то отблагодарить за добрые и приятные услуги, любезности и одолжения, которые тот ему оказал ранее... а также, чтобы указанный Бракепот, который ныне стар, дряхл и древен, впредь доживая свои дни, смог бы лучше жить и содержать свое состояние...” конституирует для него пожизненную ренту в 100 ливров<sup>25</sup>. На первый взгляд, Пьер Галланд остается полностью в рамках стереотипов дарения “по причине старости”. С той только разницей, что обычно в них *даритель* описывает свое плачевное состояние, вызванное возрастом. Существовал и другой тип актов, вознаграждавший за услуги, но в них было принято скорее раскрывать их природу, чем говорить о сострадании к одариваемому. Сострадать можно было близкому родственнику (как Жан Локуэ своему глухому племяннику), тогда характер “услуг и любезностей” мог не конкретизироваться, но обычно следовало предписание молиться за душу благодетеля. В то же время, в отличие от рассмотренных выше “самодельных” актов, дарение Галланда отнюдь не кажется смешным или необычным. Скрытые отклонения можно обнаружить, лишь набив глаз на десятках и сотнях актов. Похоже, что автор умело привносит в документ не привлекающие к себе внимания инновации.

Пьер Галланд был опытным визитером нотариальных контор - сохранилось несколько десятков его актов<sup>26</sup>. Он принимал активное участие в деятельности Коллегии королевских лекторов, и солидные работы по истории французского Ренессанса обычно упоминают его имя<sup>27</sup>. Выходец из скромной семьи Артуа (его старшая сестра была женой всего лишь подмастерья), Пьер Галланд в 1541 г. становится принципалом коллегии Бонкур, предназначенной для студентов из Пикардии и Артуа, и занимает этот пост до самой своей смерти (1559 г.) В конце жизни он добился многого. Король именно ему доверил работу над планом радикальной реформы университета, а на смерть Галланда сразу три поэта напишут стихи<sup>28</sup>. Но единственный серьезный научный труд Галланда (комментарии к трудам Квинтилиана об ораторском искусстве) был написан еще в 30-е годы<sup>29</sup>. Весь последующий этап его блестящей карьеры ознаменовался лишь изданием двух его апологий и небольшого полемического трактата против Рамуса. Ничего похожего на пространные библиографии трудов его коллег - королевских лекторов. Чем же был обязан Галланд своей славе?

Среди факторов успеха я бы назвал административные способности, умение заводить связи и их использовать, красноречие и политическое чутье, всегда помогавшее выпутываться из сложных ситуаций. Так, будучи в 1543 г. избранным ректором университета, он со своими друзьями попытался провести реформу преподавания на

факультете искусств, заручившись поддержкой канцлера университета Жака Спифама, гуманиста и горячего сторонника преобразования. Но против выступил декан факультета теологии, за которым стояла влиятельная “консервативная партия”<sup>30</sup>. Когда же Спифам попытался провести реформу явочным порядком, ссылаясь на свою власть номинального главы университета, Галланд оставил свой проект и обрушился с критикой на канцлера, узурпировавшего права ректора – истинного руководителя корпорации. Он даже возбудил против Спифама процесс в Парламенте, опираясь на сей раз на единогласную поддержку всего университета<sup>31</sup>. И в дальнейшем он то выступает рупором гуманистической части университета, противостоящей “обскурантам” (речи в честь Франсиска I и кардинала Шатийонского), то от лица всей корпорации обрушивается на опасные новации Петра Рамуса. На сей раз суровые теологи с одобрением отнеслись к книге Галланда, найдя ее “хорошей, католической и против мнения Рамуса”<sup>32</sup>.

То же искусство менять свою идентичность он демонстрирует и в 1557 г., когда разразились студенческие беспорядки. Пьер Галланд был вызван в Парламент, как гласил регистр, “по поводу неповиновения и оскорблений, выразившихся в кидании камней, горшков и булыжников в сержантов студентами из коллегии Бонкур”. Обвинение в мятеже было нешуточным, ведь Генрих II велел повесить зачинщиков. Галланд не стал, как другие принципалы, ни ссылаться на погрязшие университетские права, ни возбуждать встречные иски, жалуясь на насилие и грабежи, чинимые сержантами и судебными исполнителями. Его тактика была иной: “Он заявил, что не только в сем Королевстве, но и среди всех иноземных наций эта курия прославилась защитой невинных и борьбой с клеветой”. (Обычно лаконичный регистр Парламента на сей раз не мог не воспроизвести похвалу в свой адрес.)

Далее Галланд отводит показания гражданского лейтенанта Шатле, поскольку тот его давний противник. Сам по себе отвод свидетеля или судьи был типичным действием ответчиков. Но на сей раз осторожный Галланд смягчает тон: “Но он не хочет при этом сказать, что тот не является порядочным человеком”. “Что же касается мятежников, которые возмутили студентов, то они хотели ему великого зла из-за того, что он не взял их сторону и не поддержал их безумства... Посему он не захотел оставаться в конгрегации, дабы продемонстрировать, что он не имеет отношения к этой смуте, но, напротив, является покорнейшим слугой короля и этой его курии [Парламента]. Сам же он решил удалиться в свой собор Нотр-Дам и покинуть коллегию”<sup>33</sup>. Галланд предпочел представить себя почтенным благонамеренным каноником, а не королевским лектором или принципалом коллежа. И не прогадал – его авторитет в университете лишь возрос.

Возвращаясь к дарению, адресованному престарелому канонику, обратим внимание на дату – 29 апреля 1552 г. Война с императором блокировала доходы коллегии Бонкур, поступавшие с территорий, оставшихся по ту сторону границы. Члены “пикардийской нации” покидали университет. Галланд же успешно маневрировал<sup>34</sup>. Он обратился в Парламент в связи с делом о финансировании строительства учебного корпуса и часовни (“чтобы показать хороший пример детям и склонить их к молитве”). Но для подачи прошения обязателен был кворум, а большинство членов коллегии, имевших право голоса, разъехались в связи с войной. Галланд нашел выход – каноник Теруанны Жан Бракепот и несколько оставшихся в городе магистров искусств, уроженцев этого диоцеза, выступили поручителями интересов отсутствовавших пикардийцев. Это поручительство датировано 26 апреля 152 г.<sup>35</sup> Поистине Галланд имел все причины спустя три дня отблагодарить “старого, дряхлого и древнего” Бракепота.

“Скрытая девиантность” цитируемого дарственного акта соответствовала, как кажется, личным чертам Пьера Галланда, “хитрого лиса”, по словам Рабле, умного и ловкого умеренного новатора.

4. Те, кто знаком с первой частью “Истории частной жизни”, помнят 80-летнего крестьянина Жана Окока, не имевшего никого из близких и подарившего в 1552 г. сержанту Николаю Филону все свое имущество при условии, что тот будет его достойно содержать, ежегодно выдавая по 50 су на мелкие расходы<sup>36</sup>. Крестьяне Парижского бассейна иногда составляли подобные дарения “по причине старости”, но неизменно адресовали их детям или иным близким родственникам, в крайнем случае – церковным учреждениям. Пожилые или немощные горожане, случалось, доверяли уход за собой соседям, друзьям или деловым партнерам – но всегда объясняли, на чем основывается их доверие. Здесь ничего подобного нет, зато на “карманные расходы” Окок получает сумму, равную которой не выдавали не только пожилым крестьянам, но и почти никому из горожан. Эти обстоятельства привлекли интерес к участникам сделки. О крестьянине сведений не нашлось, зато сержант королевской юстиции в предместье Нотр-Дам-де-Шамп **Николай Филон** оказался весьма любопытным человеком. Он редко посещал нотариуса, но все же просмотр 17 подшивков актов конторы Жака Крюсе принес интересные результаты.

В 1542 г. госпожа Катрин Роннале, “проживающая ныне в доме почтенного Николая Филона”, уступает ему свои права на ферму близ Гонеса “в благодарность за доброе обхождение и любезности... каковой обещал кормить и содержать достойно указанную вдову в течение всей ее жизни, как только он получит указанное имущество”<sup>37</sup>. Дарение, сделанное в 1544 г., было настолько необычным, что нотариальная минута носит следы некоторых затруднений нотариу-

са Эюйе Пьер Буссар из Гатинэ, "ныне пребывающий больным в постели (зачеркнуто: в *Отель-Дье этого города Парижа*) в предместьях Парижа за воротами Сен-Жак в доме (зачеркнуто: *где висит в качестве знака*) Темницы, но все же здравый рассудок", даровал Николя Филону 5 арпанов земли в Гатинэ, а также свои права в судебном процессе в знак признательности "за хорошее обхождение... как во время болезни, в которой он пребывает и поныне, так и в бытность его заключенным в тюрьмах Шатле... и желает, чтобы одариваемый поверил лишь его простой клятве без прочих доказательств". В тот же день он составил дарственную еще на 5 арпанов (на полях: по его словам ему принадлежащих) Пьеру Филону (на полях: его крестнику), сыну Николя Филона... "по доброй любви к своему крестнику, чтобы помочь ему на будущее содержать себя в учении"<sup>38</sup>. Если даритель действительно был кумом Филона, тогда понятно, что его клятва могла заменить недостающие документы (впрочем, в дарении достаточно подробно разъяснялось, как можно получить требуемые бумаги). Неясно лишь, о какой "Темнице" идет речь. Во всяком случае, она помещалась на территории, подведомственной Филону, поскольку в другом акте, датированном 1547 г., Николя Филон назван "королевским сержантом в предместье Сен-Жак и Нотр-Дам-де-Шамп" – так его именовала некая вдова, проживавшая за воротами Сен-Жак. Она уступает Пьеру Филону, студенту университета, в присутствии отца "все права свои на земли и свои права судиться против любой персоны"<sup>39</sup>.

Париж и его окрестности кишели стряпчими и ходатаями, но чтобы кто-нибудь из них регулярно брался содержать и лечить своих клиентов – случай очень редкий. Филон не был чудачком-филантропом, этот владелец скромной должности<sup>40</sup>, видимо, добился неплохих шансов дать сыну полноценное университетское образование. Но мы можем быть уверены, что в южных пригородах Парижа его уважали. Иначе землепашец Жан Оок из соседней деревни никогда бы не верил ему свою судьбу.

5. Скрытые отклонения лучше различимы на материале больших групп актов, таких, как комплекс дарений студентам. Жан Бриссонэ, президент Счетной палаты, в 1549 г. совершает дарение в адрес Жана Байе, магистра искусств в университете, своего крестника и слуги. Ему достается пожизненная муниципальная рента в 30 турецких ливров, «которая после смерти названного Байе возвратится... в госпиталь Божьих детей, именуемых "Красными детьми"... это дарение свершается с тем, чтобы указанный Жан Байе имел бы средства достичь святых орденов священства, а также чтобы Байе и дети вышесказанного госпиталя могли молить Бога за душу господина президента»<sup>41</sup>.

И опять в акте ничто с первого взгляда не настораживает. Чиновники охотно дарили муниципальные ренты, покровительство си-

ротским приютам было в этом кругу распространено, равно как и благодеяния в адрес зависимых людей, причем молитвы за душу дарителя были непременным условием. Пожелание достичь духовного сана, хотя и не часто, но все же встречалось среди многочисленных университетских дарений, зарегистрированных в Шатле. Но дело в том, что такая формулировка почему-то оставалась уделом преимущественно крестьянских дарений. Парижские чиновники и судейские очень часто одаривали студентов, многие из которых избирали духовную карьеру. Но, кроме Бриссонэ, ни один из дарителей этой группы не пожелал студенту "достичь святых духовных чинов". Чем могло быть вызвано это небольшое отклонение от нормы?

Чтобы не потонуть в богатой истории этой знаменитой семьи (Жан Бриссонэ был старшим братом знаменитого епископа из Мо), ограничимся лишь одним эпизодом из жизни президента. Регистры Парламента повествуют, как вскоре после катастрофы при Павии, на заседании 20 марта 1525 г., взял слово Жан Бриссонэ, президент Счетной палаты. Он заявил, что "несчастья королевства проистекают от непомерных грехов и что два наиглавнейших, кои кишат в Париже, суть ересь и богохульство, коим нужно противодействовать и противостоять". Затем он привел примеры опасных слов своих друзей и коллег, рассказывая и о своих усилиях, направленных на то, чтобы вразумить их. И, хотя первоначально он не называл конкретные имена, после дебатов ассамблея Парламента все же постановила "чтобы он их назвал... дабы возбудить процесс против тех, кто оказался заражен ересью". Что касается богохульства, то Жан Бриссонэ предложил меры против этого преступления. Дабы успокоить гнев Божий, надо обязать муниципалитет приказать "квартильным и десятским раз в день наведываться в таверны и другие публичные места и записывать тех, кто богохульствует или ругается, и немедленно помещать их в Консьержери"<sup>42</sup>.

Это столь важное по своим последствиям выступление в Парламенте указывает на особенности спиритуальности Жана Бриссонэ, которые отразились и в цитированном нами акте, написанном много лет спустя. Или же, напротив, его дарение своему университетскому крестнику-слуге может служить отправной точкой для "полицейского расследования". Но были ли его прочие дарения "Красным детям", преисполненные весьма любопытными распоряжениями<sup>43</sup>, способны также служить индикатором его личной неординарности? Наверное, да, но это было бы еще труднее обнаружить, поскольку дарения религиозным учреждениям, как и завещания, предполагали более высокий уровень свободы выражения, тогда как случаи "отклонения" куда проще различить в сериях однотипных актов.

6. Наиболее свободными по своей форме были зарегистрированные в Шатле акты, порожденные ситуацией открытого конфлик-

та: переделы наследства, отмены дарений и завещаний или иные акты. Будучи по определению единичны, они к тому же встречались в регистрах слишком редко для создания типологических рядов. То, что было неожиданным для "типовых" актов, было вполне естественным для актов "конфликтных". Действуя против кутюмов или против сделанных ранее распоряжений, автор проявляет повышенное красноречие, рассказывая о своих злоключениях либо раскрывая свои побудительные мотивы. Но и здесь можно говорить об "отклонениях".

24 июня 1533 г. в конторе парижского нотариуса между Филиппом Кавелье и его кузеном Мартином Гольдом, жителями городка Сент-Аньян близ Руана, было заключено соглашение. В этом акте мы узнаем, что по заявлению сеньора Сент-Аньяна и Робера Бюльта, специального королевского комиссара, назначенного для исправления монетного дела в Руане, Кавелье и его жена Перетта были обвинены в фальшивомонетничестве. С помощью кузнеца он постоянно апеллировал в Париж, их дело то забиралось в Большой королевский совет, то возвращалось в Руан, то переводилось в Монетную курию. Семь лет они скитались по тюрьмам. Наконец, Кавелье вышел на волю, но его жена скончалась "от пыток, нищеты и длительного заключения". В течение всего этого времени Мартину Гольду угрожали сеньор Сент-Аньян и его сообщники. И "хотя в начале этого процесса он был почтенным человеком, зажиточным, ведущим хорошую торговлю и имеющим королевские должности в городе Руане, теперь же он настолько растратил и свое имущество и свою юность в тяжбах и хлопотах по поводу указанного процесса, что вынужден нищенствовать". Кавелье переводит кузену "все свое имущество и права на возмещение убытков, на которые он может рассчитывать по причине своего несправедливого ареста"<sup>44</sup>. Нотариус старательно отметил наличие документов, подтверждающих слова Кавелье. Мы также можем убедиться в правдивости этой истории, ибо удалось найти часть документов этого процесса<sup>45</sup>.

Кавелье мог, казалось бы, сделать это дарение куда более коротким, коль скоро ничто не мешает ему отблагодарить своего кузена. Но здесь возможны три причины, которые вполне могли действовать вместе. Кавелье и Гольд действительно выдержали много испытаний, они взволнованы и свидетельствуют о своих бедствиях "перед Богом и людьми". Затем, ввиду будущего процесса против обидчиков, они придают простому акту, бывшему всего лишь одним из подтверждающих документов, одной из бумаг в объемистом мешке прокурора, характер диатрибы. Это было еще одним аргументом в их судебном процессе. Наконец, несмотря на краткость выписок из регистров Большого совета и Монетной курии, там встречаются те же характерные черты, что и в нотариальном акте (например, нигде не уточняется "фамилия" жены Кавелье, хотя о ней постоянно упо-

минают). Очевидно, что один и тот же текст многократно переписывался с разными целями – при составлении апелляций, встречных исков, жалоб. Единую заготовку использовали порой в ситуациях, не совсем для этого подходящих, что и придает тексту, вполне ординарному на фоне судебных материалов, характер экстравагантный среди нотариальных актов.

7. Акты адвоката **Жана Ле Пилера** демонстрируют то же стилистическое единство. Интерес вызывает колоритная мотивация дарения: “по причине того, что Бог даровал ему много детей”, он пытается переделить наследство. Дети от первого брака, по его словам, уже получили достаточно. Одни учились в школах, а другие у прокуроров, за них платился пенсион, “чтобы ввести их в практику, что в дальнейшем даст им средства к существованию”. “Тогда как его дети от второго брака слишком молоды (он декларировал это в 1539 г., но и повторяет это и в 1547 г. – П. У.) и не смогут защитить имущество против своих братьев от первого брака, каковые, породнившись с судебскими, могут иметь многие выгоды”. Воображение Пилера рисует грустную картину будущего, ведь “многие большие дома пришли в ничтожество и бедные дети вынуждены просить милостыню, растратив все свое добро на ведение процессов”<sup>46</sup>.

Мне посчастливилось разыскать несколько других его документов – конституирование рент, сдача домов в аренду, варианты брачного контракта дочери от второго брака и даже черновик собственноручного завещания. В нем он излагает те же опасения и пишет, что “советовался со многими теологами, адвокатами и другими своими душевными друзьями (*especiaulx amys*)”, прежде чем решиться на такой раздел имущества. Ле Пилер разработал свой стиль составления документов и решения проблем. Он всегда предлагает альтернативу. Детям от первого брака передаются в дар права на несколько парижских домов, но тот, кто будет через суд опротестовывать завещание (кто воспользуется “правом описи”), теряет право на этот дар. Дочерям, отданным в монастырь, жалуются небольшая рента для личных нужд. Но если аббатство захочет использовать эти деньги иначе, то они будут розданы бедным. Между детьми от второго брака он произведет раздел имущества, но если кто-нибудь вздумает при жизни родителей что-либо из него заложить, то немедленно лишается своей доли. Старшая дочь от второго брака получит хорошее приданое, но если ослушается родителей, то лишится всего. Обитательницы вдовьего дома (благотворительного учреждения, основанного еще матерью Пилера) получают от него ренту в 10 ливров. Но если будут досаждать детям Пилера требованиями произвести в этом доме ремонт, то рента будет использована для приданого бедным, но добронравным девицам. Даже в договорах с арендаторами своих домов и плательщиками рент Пилер стремится заложить известную альтернативность<sup>47</sup>.

Сочетая искренность с морализаторством, Ле Пилер в своих актах склонен идти вопреки обычаям. Он предлагает особый раздел наследства между детьми, особую комбинацию, обеспечивающую приданое дочери, особый вид благотворительности и, наконец, особую процедуру своих похорон. Так, он стремится ограничить их пышность: "Не желаю ни шума плакальщиков, ни чтобы устраивалось пиришество по возвращении с поминальной службы, как водится по обычаю, потому что такая помпа при похоронах и погребениях нужна лишь для живых и ничего не идет на пользу душам бедных покойников". При этом в необходимости заупокойных месс и молитв он уверен, предписывая насельникам вдовьего дома молиться за себя.

В актах прочитывается стремление создать определенный образ автора – рассудительного родителя, стремящегося избегать конфликтов, поборника справедливости, человека, привыкшего следовать здравому смыслу и совету достойных людей. В действительности адвокат был, видимо, человеком не столь безупречным. Кстати, в регистрах Шатле один из дарителей сетует, что узурпатор Пилер незаконно оттягал у него жильё<sup>48</sup>.

8. Еще более разительный контраст между образом, формирующимся в акте, и реальностью характера демонстрируют акты Николая Ле Клерка, декана факультета теологии, кюре церкви Сент-Андре-дез-Арт. Он дарит все свое имущество племяннице Филиппе Ле Клерк, принимая во внимание, что она и ее муж Гильом Бургуни, советник Парламента, "на протяжении 23 лет проживали совместно с указанным Ле Клерком, обращаясь с ним нежно и гуманно (*humainement*), помогая ему в его процессах, которые он вел против других своих племянников, заботясь о нем и обеспечивая ему заботливый уход в его болезнях и иных текущих нуждах, учитывая также, что покойная Маргарита Ле Клерк, сестра указанного Ле Клерка и вдова Жака де Куактье, вице-президента Счетной палаты, с детства воспитывала указанную дамуазель Филиппу... и по своей исключительной доброте удочерила племянницу и, как она часто говорила указанному Ле Клерку, намеревалась ей даровать большую часть своего имущества, что она и сделала бы, не будь она застигнута врасплох смертью, о чем она часто заявляла указанному Ле Клерку", а также принимая во внимание, что покойные братья дарителя магистры Пьер и Жан Ле Клерки, отец и дядя указанной дамуазель Филиппы, обделили ее наследством, даровав все свое имущество братьям указанной дамуазель Филиппы Ле Клерк.

Братья ее добились того, чтобы указанный мэтр Николь Ле Клерк им даровал три четверти всего своего имущества, оставив, таким образом, на долю племянницы лишь двенадцатую долю семейного имущества<sup>49</sup>. Дарение, адресованное Филиппе и ее детям, явилось следствием отмены (ревокации) дарений, совершенных теологом ранее в пользу племянников. Исключительный характер ему



придают некоторые обстоятельства. Прежде всего – несколько необычные термины. Ни нотариус, ни его клерк ни за что бы не написали сами о “гуманном обхождении” – явно, что текст либо был записан самим Ле Клерком, либо писался под его диктовку, причем клиент мог настоять, чтобы его слова оставались без изменения. Даритель, как и Галланд, комбинирует несколько формул в одном акте – здесь и элементы “дарения по причине старости”, и стремление отблагодарить за ранее оказанные услуги, и попытка отменить прежние дарения, исправить несправедливость, допущенную при разделе семейного добра. Аргументы, которые подобрал Ле Клерк, также необычны – особые отношения между теткой и племянницей, свидетелем которых может выступить лишь сам теолог, излишняя щедрость, проявленная к братьям Филиппы. И, наконец, исключительный характер этому акту придает удивительная настойчивость Николая Ле Клерка: еще девять весьма пространственных актов, перераспределяющих наследство в пользу племянницы и ее детей, зарегистрированы Ле Клерком в Шатле.

Племянники его были грозными противниками: Пьер – хранитель апостолических привилегий Парижского университета, Жан – генеральный прокурор палаты косвенных сборов и Николь – советник Парламента. Акты изобилуют драматичными подробностями – теолог рассказывает о своих благодеяниях, оказанных всей семье и племянникам в частности, и об их “вопиющей неблагодарности, видимой Богу и людям”. Так, когда Николай Ле Клерк был тяжело болен, они пытались совсем извести его бесконечными дрязгами, кознями и преследованиями в разных судах, “замучить (*tourmenter*) указанного мэтра Ле Клерка и довести его до смерти, и чтобы он закончил свои краткие старые дни (*brief et vieux jours*) в великой бедности”<sup>50</sup>. В то же время он выполнил свой родственный долг, передав в их пользу свои бенефиции, даровав имущество, обходясь с ними мягко и любезно во всем, в чем было возможно”. Причем сплошь и рядом встречаются слова, никоим образом не свойственные нотариусам, – например, Ле Клерк себя именует термином “дарующий” (*donnant*) вместо привычного “даритель” (*donateur*), рассказывает о “проволочках, связях, финтах и махинациях” своих племянников, к акту прилагает специальное обращение к парижскому прево с просьбой о регистрации, невзирая на возможное сопротивление со стороны приятелей своих племянников.

Николай Ле Клерк старательно создает в своих актах образ мощного старца, гонимого алчными и влиятельными племянниками. Это во многом соответствует действительности – теологу действительно было немало лет даже по нашим меркам (в 1549 г. он указывает на свой преклонный – 75-летний – возраст), его рассказы о притисках врагов не только результат прогрессирующей мании преследования – описываемые злоключения подтверждаются другими

источниками. Но Николая Ле Клерк в своих актах не предстает лишь в страдательном залоге. Он чрезвычайно активен и, несмотря на свои годы, в отличие от Жана Локуэ, способен действовать самостоятельно. Незирая на все связи и уловки его грозных противников, теологу удалось, пусть и при помощи других своих родственников, до последнего бороться со своими обидчиками. И, наконец, он сохраняет сильное личностное начало во всех своих актах. В отличие от Пьера Галланда, лавирующего между готовыми формулами, Николай Ле Клерк идет напролом, произвольно нарушая стереотипы, превращая акт в обвинительные документы, предназначенные для публикации, Бога и Правосудия.

Впечатление о нем как о незаурядной личности, создаваемое его нотариальными актами, вполне подтверждается биографическими данными. Прежде всего, он – исключение среди прочих парижских теологов уже в силу своего происхождения и богатства<sup>51</sup>. Клан Ле Клерков был древней и богатейшей парижской семьей, владевшей обширными сеньориями, бенефициями и королевскими должностями высокого ранга. Ле Клерк был самым активным из парижских теологов первой половины XVI в., уступая на факультете разве что Ноэлю Беде. Всю свою жизнь Ле Клерк провел в борьбе. Уже в 1514 г. факультет теологии рассматривал скандал по поводу сатирических стихов в его адрес<sup>52</sup>. В 1511–1512 гг. он стремился созвать собор в Пизе, чтобы противостоять папе Юлию II, в 1526 г. вступил в борьбу с Эразмом, что не мешало им вести какое-то время переписку<sup>53</sup>. Франциск I велел арестовать Ле Клерка в связи с делом о цензуре книги “Зеркало грешной души” Маргариты Наваррской. Но вскоре он был выпущен из тюрьмы и после “дела афиш” энергично принялся бороться с распространением реформационной литературы. Это именно он воспротивился гуманистической реформе Пьера Галланда, а в 1552 г. обрушился с яростной критикой на книгу “Комментарий об эдикте о малых датах”. Ее автором был Шарль Дюмулен, чьи акты я также включил в число “девиантных”.

9. 7 января 1550 г. в книге Шатле были зарегистрированы сразу два акта адвоката Шарля Дюмулена<sup>54</sup>. В первом, датированном 29 июня 1547 г., он рассказывает о том, как еще в 1533 г. уступил своему брату Ферри Дюмулену сеньорию Миньо, в свое время подаренную ему их покойным отцом, а также все документы на владение родительским имуществом, доставшимся ему по наследству. Но между ними было договорено, что два других фьефа будут резервированы для того, чтобы выдать замуж их сестру. Шарль поясняет, что “в то время он не имел ни малейшего намерения жениться и заводить детей, но лишь продолжать свои занятия, чтобы перетолковать и прокомментировать заново как кутюмы, так и гражданское право... Но позже случилось так, что у указанного заявителя появились многочисленные родные и законные дети (*plusieurs enfans naturelz et legitimes*).

И если бы он мог это предвидеть, он никогда бы не стал действовать в ущерб своему потомству". К тому же после смерти своего отца он сохранил брата в школах, сделал его лиценциатом права и на свои деньги ввел его в адвокатское звание. Более того, одну из своих сестер он поместил в монастырь, теперь же он собирался выдать замуж другую. Посему дарение, сделанное ранее брату Ферри, отменяется "по праву решения" (*en droict jugement*) и переадресуется в пользу детей Шарля Дюмулена. Дети, однако, не должны требовать от Ферри Дюмулена чего-либо сверх сеньории Миньо.

В следующем акте от 7 августа 1548 г. уточнялось, что сеньория была передана в виде "простого дарения" (*purement et simplement*) и что Шарль по смерти отца, оставшись старшим в семье, выкупил все ренты и выплатил долги, содержал своего брата в Орлеанских школах в течение трех лет, а затем содержал, кормил и одевал его у себя дома. Но Ферри оказался волиуще неблагодарен, распускал порочащие ложные слухи о своем брате, возводил на него многие жестокие неправды, повергая его в отчаяние и меланхолию, стремился отвлечь от него друзей, под ложным предлогом изъясил у него документы на владение и продал имущество, резервированное для приданого сестре, отрицая все имевшиеся ранее договоренности. Более того, он сам возбудил против Шарля встречный иск во время судебных заседаний 2 мая и 3 августа 1548 г. Поэтому Шарль составил новый акт, настаивая на отмене дарения "по причине неблагодарности", и потребовал вернуть уже не только земли, но и средства, израсходованные на обучение неблагодарного брата и введение его в должность<sup>55</sup>.

Эти документы выделяются даже на пестром фоне других "конфликтных" актов, зарегистрированных в Шатле. Но, как показало расследование, результаты которого уже опубликованы<sup>56</sup>, вся эта, на первый взгляд избыточная, информация соответствует логике поступков Шарля Дюмулена. По собственным его словам, неоднократно приводимым в авторских предисловиях и примечаниях к трудам этого правоведа, мы узнаем, что он хотел отказаться от всего имущества и от всех развлечений Дворца Правосудия, чтобы работать ради общего блага; он даже решил сбрить бороду, чтобы не тратить попусту драгоценное время на уход за ней<sup>57</sup>.

Составив свой первый акт отмены дарения, Дюмулен получил согласие в Королевской канцелярии (7 декабря 1547 г.), но когда он попытался утвердить его в Парламенте, выяснилось, что документы на владение находятся у брата. Однако главным было другое. Составляя свой первый акт, Шарль явно намеревался прибегнуть к закону "*si unquam*", восходящему к императору Константину. Согласно ему, дарения подлежали отмене в случае рождения родных и законных детей<sup>58</sup> (потому-то акт Шарля содержит эту формулировку, обычно не употреблявшуюся в таком контексте). Но он не упомянул, что в 1535 г. то же самое дарение сеньории Миньо было подтвержде-

но им по случаю свадьбы его брата Ферри. А это уже в корне меняло дело. Имущество, переданное в связи с заключением брака, пользовалось особой защитой кутюмного права, и кому, как не Дюмулену – лучшему толкователю кутюмов, было это знать.

Казус Дюмулена (не без его собственной помощи) привлек к себе внимание многих юристов. Вот, например, что писал по этому поводу Жан Папон, известный в ту пору юрист-практик: “Адвокат Парламента, превосходящий всех своими знаниями, передал все свое имущество своему брату по брачному контракту... затем изменил намерение и раскаялся в совершении дарственной. Он стал искать возможности отменить акт. Ему посоветовали жениться, что он и сделал, заведя детей. Его брат выдвинул в противовес весьма важные причины, указав, что вышеназванный Дюмулен объявил во всеуслышание о своем желании даровать все свое имущество брату, дабы достойно его женить... И что, веря этим словам, он нашел женщину, на которой и женился, но без данного обещания свадьба никогда бы не состоялась, и что, исходя из этой щедрости, он выделил солидный дуэр своей супруге. И что отмена дарения была бы обманом и непростительным мошенничеством...”<sup>59</sup>

Во втором акте Дюмулен пытался исправить свои ошибки. Учтя, что действие закона “*si unquam*” распространялось не на дарения, сделанные в вознаграждение за заслуги или с целью отметить какое-либо событие, но только на “простые” дарения, он и уточняет, что подарил сеньорию “*purement et simplement*”. Но Шарль вообще меняет свою стратегию и пытается отменить дарение уже “по причине неблагодарности” (т. е. идя по пути Николя Ле Клерка). По Юстиниану, дарения подлежат отмене в случае угрозы для жизни, оскорблений диффамации и невыполнения оговоренных условий. Дюмулен в своем составленном тогда втором акте пытается доказать, что брат подпадает под все эти определения. Этот процесс растянулся на долгие годы. Встречные иски сторон следовали один за другим, специальные заседания рассматривали апелляции, все это стоило больших денег. В этом не было ничего удивительного – тяжбы в Парламенте могли идти десятилетиями, и судебные издержки сплошь и рядом поглощали большую часть стоимости оспариваемого имущества.

И все же процесс этот был необычным. Шарль Дюмулен сумел придать ему максимально публичный характер. Помимо аргументов, основанных на Римском праве, подчеркивающих максимальную свободу субъекта, приоритет его волеизъявления или намерений, публике предлагалось оценить дело с позиций морали, учесть неблагодарность Ферри, оттененную высокими достоинствами и общественными заслугами Шарля. Именно тогда, на рубеже 40–50-х годов, выходят первые издания его трактатов о дарениях: комментарии к “Советам Александра” и иные труды, где он в предисловиях или в ос-

новном тексте делал достоянием гласности свою семейную коллизию.

Длительный процесс увенчался наконец постановлением 12 апреля 1552 г. "касательно закона *si unquam*"<sup>60</sup>. Ферри должен был оставить брату подаренное имущество. Но Шарль не мог быть доволен этим решением, поскольку оно оставляло земли "под дополнительной ипотекой в том случае, если имущество мэтра Ферри не будет сочтено достаточным для покрытия оговоренного ранее дуэра". Помимо личных интересов, Дюмулена как поборника норм Римского права не могла устроить такая двойственность в определении характера собственности (он говорит об этом во втором издании своего трактата о дарениях). Кроме того, не удался его план отмены дарения "по причине неблагодарности". Его биограф рассказывает, что "он много жаловался по поводу неблагодарности и угроз со стороны своего брата и по поводу его уловок, коими он отнял у него три или четыре года времени, свершив нечто вроде кражи общественного достояния, ибо тем самым помешал ему работать над сочинением книг"<sup>61</sup>.

Дальнейшая биография Дюмулена была весьма бурной – попытки участия в большой политике (защита прав французской короны от папских притязаний) привели его к столкновению с Николае Ле Клерком и со всей "консервативной партией". Дюмулену пришлось бежать в Германию, где ему не удавалось долго уживаться на одном месте. Добившись амнистии, он вернулся в Париж, но вскоре был подхвачен водоворотом событий Религиозных войн. Интеллектуальные амбиции Дюмулена и его стремление давать советы весьма болезненно воспринимались как католиками, так и гугенотами, и он неоднократно подвергался преследованиям, до самой своей смерти в 1566 г.

10. Кажется, что степень "девиантности" Дюмулена на порядок превосходит всех прочих дарителей. И все же в нашем списке есть еще одна не менее яркая личность. Но весьма показательно, что найти ее удалось среди авторов не колоритных "конфликтных" актов, а самых массовых – университетских – дарений. Рауль Спифам, адвокат парламента, и его жена составили в 1542 г. дарение сыну-студенту, "какового они хотят отправить учиться в прославленные университеты королевства, чтобы быть образованным и воспитанным в наилучших науках, чтобы придать ему желание к продолжению занятий и побудить его наилучшим образом извлекать из них пользу"<sup>62</sup>.

И опять все кажется вполне нормальным – такие эпитеты свойственны королевским ординасам касательно университетов, и эта формулировка вполне соответствует чаяниям большинства родителей студентов. Поэтому данный пример исправно цитируется в ряде работ<sup>63</sup>. Но все же мотивация Спифама остается уникальной среди 1300 университетских дарений.

Три года спустя в другом акте Спифам представляется как шевалье, доктор прав, адвокат Парамента. Что было уже не вполне обычно – упоминать о своей степени среди столичных адвокатов было не принято, поскольку ею обладали здесь все по определению. В этом акте он передавал два благородных фьефа в держание по праву вассальной присяги (*en foi et hommage*) каждому из двух своих сыновей от второго брака (им было соответственно два и три года), которым вменялось в обязанность в случае, «если даритель и его жена будут взяты в плен на войне... или будут находиться в крайней нужде, продать фьефы, чтобы освободить их»<sup>64</sup>. Принесение фуа и оммажа в XVI в. оставалось рутинной практикой и приносилось (через прокуроров) при каждой мутации фьефа, независимо от возраста владельца. Поэтому формально Спифам был абсолютно прав, равно как и в том, что задумывался о превратностях войны, ведь еще совсем недавно Франция стояла перед угрозой англо-имперского вторжения. Но ведь подобных примеров нет в регистрах, и так писать было не принято. Вернее, было принято когда-то, очень давно. Другие акты Рауля Спифама также содержат некоторые странности, мало заметные сами по себе, но их концентрация побуждала к розысканиям. Угадывалась за этими актами личность оригинальная, может, даже экстравагантная. Действительность же превзошла все ожидания.

Рауль имел двух братьев. Старший – Гайар Спифам, генерал фивансов, в 1531 г. был обвинен в подлоге и махинациях, арестован и покончил с собой 26 марта 1535 г., бросившись с балкона тюрьмы Консьержери (семья отстаивала версию несчастного случая). Постановление комиссии по финансовым преступлениям (Квадратной башни) обвинило его в хищении астрономической суммы – 692 585 ливров 12 су и 1 денье. Замять дело удалось опекуну детей Гайара, выступившему гарантом возврата этого долга казне. Этим опекуном был младший брат Гайара Жак Спифам, тот самый гуманистически настроенный канцлер университета, поддержавший реформу Галланда. Он занимал также ряд важных парламентских должностей, а в 1546 г. стал епископом Неверрским. 20 февраля 1559 г., прочитав страстную проповедь против реформаторов, он... бежал в Женеву. Там он, представ перед кальвинистской Консistorией, заявил, что еще в 1539 г. вступил в тайный брак с Катрин Гасперн, вдовой прокурора Шатле, в доказательство чего предъявил соответствующий брачный контракт. Консistorия признала брак и объявила законными детей, которые родились у них за эти годы. Спифам стал весьма влиятельной фигурой в лагере гугенотов, но затем запутался в политических интригах, был судим и обезглавлен в Женеве в 1566 г. Обвинений ему предъявлялось много, но, пожалуй, самым неблагоприятным для него оказалось установление подложности брачного контракта<sup>65</sup>.

Что касается самого Рауля Спифама, то, собирая о нем противоречивые свидетельства различных авторов, удалось узнать следую-

шее. Он родился в 1500 г. и (как и Дюмулен) оставался простым адвокатом парижского Парламента всю жизнь. "Будучи достаточно известен, принадлежа к одному из лучших домов города, он так сдал в конце своей жизни, что прославился лишь одним. Желая добиться или восстановить древнюю славу адвокатов... к ежегодной присяге перед открытием сессии парламента он являлся в алой мантии, [вместо черной адвокатской], которой никто никогда не видел, кроме как на нем, да еще на старинных изображениях, которые можно найти в церквях"<sup>66</sup>. Но Рауль привлекал к себе внимание и своей острой критикой коллег по Парламенту. В 1552 г. курия принимает беспрецедентное решение, запретив ему составлять и распространять памфлеты и сатирические эпиграммы и вообще печатать что-либо. В 1554 г. "по настоянию его родных и друзей" (среди которых главную роль играл Жан Спифам, сын Гайара, ставший к тому времени уже советником Парламента) ему была назначена опека, "по причине затемнения разума и чувств". Чуть позже он был отстранен от выполнения своих обязанностей и даже помещен на некое время в тюрьму. Все же он исхитрился нелегально отпечатать книгу под странным названием: "Dicaerchiaie Henrici regis christianissime progymnasmat"<sup>67</sup>. 9 сентября 1556 г. Парламент приказал изъять эти "скандальные книги, содержащие нападки как на наиболее видных членов суда, так и на других лиц", и наказать рецидивиста. Затем, в июне 1557 г., он был вновь помещен под семейную опеку. Однако 19 октября 1558 г. Палата ваканций (заседающая во время каникул Парламента) зарегистрировала письма Канцелярии по поводу отмены опеки над Раулем Спифамом<sup>67</sup>. Далее о нем ничего не известно, кроме того, что он в 1562 г. (когда начались Религиозные войны) приносил присягу на верность католицизму вместе с остальными парижскими адвокатами.

Удивительная книга Рауля Спифама была составлена в форме 306 указов от имени Генриха II "с целью реформирования многих вещей, находящихся в беспорядке как в Галликанской церкви, так и в Правосудии". Указы затрагивали широкий круг проблем – реформирование госпиталей, "прославленных университетов", порядка проведения судебных сессий, наказание супружеской неверности и пр. В своих указах "король" не забыл и своего верного слугу и жалует "Раулю Спифаму, шевалье и доктору прав", высшую должность – Диктатора и хранителя печати, а также защищал его от клеветы и ложных обвинений и забирал его дело на свой суд.

Исследователи не решили для себя вопрос о природе этого сочинения: ренессансная политическая утопия, смелый реформаторский проект, своеобразное сатирическое произведение? Все отмечает прозорливость Рауля Спифама, предвосхитившего многие преоб-

<sup>66</sup> Дикаэрхия – это новообразование Рауля Спифама. Заглавие можно примерно перевести как "Упражнения христианнейшего короля Генриха в законах и правлении".

разования французского абсолютизма. В то же время некоторые "постановления" кажутся историкам экстравагантными и даже шокирующими.

Не пытаясь сейчас оценивать весь труд Рауля Спифама, заметим, что имеет смысл обратить внимание на пассажи, которые кажутся наиболее странными (оставаясь верными выбранному нами методу), чтобы поместить их в контекст его биографии. Именно те указы, которые считали нелепым порождением большого воображения, оказались единственным аутентичными документами в книге. Спифам "подшил" к якобы королевским указам нотариальные контракты, договоры о разделе имущества из архива своей семьи, письма об отзыве дела в Королевский суд, постановление суда Квадратной башни против Гайара Спифама. Именно в этом последнем документе можно найти возможную разгадку. Указы № 100 и 102 восстанавливают всю историю исчезновения денег, что послужило причиной окончательной потери Неаполитанского королевства и гибели корпуса маршала Лотрека. В них показано, как клерки Гайара, его наследники и их опекун Жак Спифам, путем дарений и передачи имущества и опираясь на помощь должностных лиц Парламента, спасли капиталы и недвижимость от конфискации. Бедный, но честный и верный слуга государя Рауль Спифам, свидетель и обвинитель этих махинаций, по просьбе наследников Гайара был помещен под их опеку, над ним нависла угроза тюрьмы. Так выстраивалась логика документов. В какой-то степени она отражала реалии. Своими нападками на святая святых – круговую поруку финансовых и судебных чиновников – сумасбродный адвокат стал крайне опасен. Рауль же видел свое спасение в публичности и отчасти добился своего. Его дело было передано в Королевский суд. Очевидно, он рассчитывал привлечь внимание короля и его окружения. Так, единственный чиновник, о котором в "Дикаэрхии" говорится в комплиментарном тоне, был государственный секретарь Жан Дютье. Он был известен как меценат. Но также именно на него король возложил заботы по изысканию финансов для Итальянских войн. Новые сведения о давно пропавших деньгах, предназначенных для итальянской кампании, не могли не представлять интереса для этого вельможи, ведь в 1556–1557 гг. финансовая ситуация стала катастрофической. Как бы то ни было, снятие Парламентом опеки с Рауля в соответствии с распоряжением королевской канцелярии 19 октября 1558 г. означало признание его вменяемым, и, следовательно, его показания обретали силу. Поэтому бегство Жака Спифама в Женеву 20 февраля 1559 г. (готовившееся несколько месяцев) могло быть связано не только с кальвинистскими симпатиями епископа или со страстью к давней сожительнице, но и с тем, что на нем лежала ответственность за возмещение колоссального долга Гайара казне, и в первую очередь его Рауль обвинил в ее сокрытии.



Впрочем, для самого Рауля экономические соображения были совсем не главными. Важнее было “сохранить лицо”. В указе № 100, среди прочих документов, приводится и протокол парламентского пристава, посланного к Раулю с объявлением запрета появляться во Дворце правосудия. В основе лежал реальный документ, приукрашенный, однако, автором. Спифама пристав “нашел в одиночестве в кабинете своего дома... каковой ответил, что уединение и бегство от мира не претит ему, поскольку он стремился к этому всю жизнь, и находит в нем величайшее удовольствие и духовную пользу, которая стоит куда больше, чем посещение компаний стряпчих, разменивающих свой дух на суетное крючкотворство”. Под этими словами вполне мог бы подписаться и Дюмулен. Они со Спифамом, несмотря на образованность и хорошее происхождение, так и остались всего лишь адвокатами. Они были неумелыми практиками и не стыдились этого, рассматривая себя прежде всего служителями общего блага, уединенными учеными отшельниками, взвалившими на себя гигантскую ношу – прокомментировать заново все кутюмы в духе римского права или же реформировать все правосудие и церковь в королевстве. Откуда и происходит подчеркнутая публичность их, с виду сугубо частных, актов. Борьба против личных врагов обретает универсальное измерение.

Прежде чем подвести итоги поставленного эксперимента, надо сказать несколько слов об остальных авторах “странных” актов. О некоторых из них я просто не успел собрать сведения, учитывая ограниченный срок моей работы в Национальном архиве, но уже “навскидку” можно было констатировать личностную или биографическую неординарность авторов.

1. Амбруаз Парэ, прославленный королевский хирург и единственный из моего списка, чье имя было мне известно еще до начала работы.

2. Перетта Туза, вдова пахаря из Шампани, оказавшаяся сестрой парижского гуманиста, королевского лектора Жака Туза (или Туссена), чем и объясняется отнюдь не “крестьянский” характер дарения своим сыновьям – студентам.

3. Жан Оффруа, скромный сержант Парижского Шатле, который в достаточно экстравагантной форме одаривал судейских, стоявших намного выше его на иерархической лестнице.

4. Студент Пьер Венсан – из адресованных ему дарений следовало, что в число близких родственников и свойственников входило несколько крестьянских семей, парижские буржуа, сеньоры и адвокаты.

5. Жан Эннекен, советник Парламента, составивший несколько необычное дарение в адрес знакомого нам приюта Святой Троицы, чтобы охранить детей от Лютеровой заразы. Следующее поколение этой семьи примет самое активное участие в организации парижской Католической лиги.

Еще в шести случаях связь между неординарностью акта и неординарностью личности или ситуации была вполне возможной, но мне не удалось ни доказать, ни опровергнуть ее из-за отсутствия источников. Это, например, казусы монетчика Ферри Ошкорна, приютившего молодую вдову на сносях, взявшего на себя заботу о воспитании ребенка и о преследовании убийц ее мужа, или дарителей, уже упомянутых в исследовании о старых и немощных, – пекаря Кристофа Креспена и набожной Гильеметты Местрю, вдовы парижского буржуа, прокурора Пьера де Таверни, а также портного Пьера Перше и подмастерья каменщика Раулена Ле Жена.

И лишь в двух случаях результат был негативен. Мне удалось собрать дополнительную информацию о дарителях, и в ней не было никакого объяснения фиксированной мной странности. Так, сеньор Деви Ле Ру и медик Жан Лестель открыто заявили в своих актах, что дарения, полученные ими еще в ту пору, когда они были студентами, фиктивны, их подлинной целью было “заимствовать имя” студента, чтобы воспользоваться университетскими привилегиями. Такая практика была чрезвычайно распространенной (вспомним строителей, подавших в суд на Жана Локуэ), но она осуждалась общественным мнением, королевскими ордонансами, а начиная с 1562 г. открыто станет считаться преступлением, караемым конфискацией. Поэтому, за исключением этих двух бывших студентов, никто не позволял себе в актах такой откровенности. Но судить о причинах такого необычного поведения на основе собранной биографической информации я не смог, они ничем особым не выделялись. Разве что посмертная опись имущества Жана Лестеля даст ему сомнительную славу самого бедного из парижских медиков второй половины XVI в. Впрочем, быть может, здесь сказывается нотариальное влияние: оба акта хоть и составлены в разных конторах, но их нотариусы часто работали вместе.

В целом эксперимент подтвердил гипотезу о соответствии странности акта неким особым свойствам личности или особенностям биографической ситуации. Причем надо отметить одно важное обстоятельство. Париж был мегаполисом своего времени с трехсоттысячным населением. Конечно, нотариальные конторы посещало лишь меньшинство парижан. Но, во всяком случае, их счет шел на тысячи, и за указанный период только в Шатле зарегистрировали свои акты свыше двух с половиной тысяч человек. Но наш мир авторов “девиантных” актов был до странного тесен – за исключением Кавелье и, возможно, Филона, они не просто принадлежали к одному кругу, но и лично были знакомы друг с другом.

Конечно, это не было случайностью. Большинство из них можно назвать интеллектуалами. Именно они имели больше возможностей сформулировать свои мысли, попытаться составить акт или настоять, чтобы были включены “авторские” формулировки. Но надо

отметить, что в регистрах встречается много актов самых что ни на есть "замечательных людей" – таких, как сам парижский прево Антуан Дюпра, Кристоф де Ту – президент Парламента, семья знаменитых бюрократов-гуманистов Роберте. Их дарения любопытны, но ничего неожиданного они не содержат. Понятно, что парижский прево Антуан Дюпра если и одаривает бедных перед смертью, то делает это необычайно щедро, на то он и был самым главным чиновником Парижа. Но даже многочисленные акты Жака Спифама, зарегистрированные в Шатле, вполне заурядны, хотя можно представить, сколь внимательно я всматривался в дарения епископа Спифама, адресованные детям некоей Катрин Гасперн.

Наше исследование упирается в возражение принципиального свойства: нет норм в достаточной мере строгих, чтобы диагностировать девиации. Они не формализованы и вряд ли формализуемы. И все же есть бесконечно субъективный, но вполне работающий критерий – удивление. Но оно должно основываться на практическом опыте. Я уверен, что тренированный взор парижского нотариуса прекрасно различал среди клиентов людей смешных, чрезмерно взволнованных, неординарных.

Полагаю, что наша способность диагностики "странности" зависит от однородности и протяженности типологического ряда. Чем однотипных актов больше и чем они унифицированнее, тем большее число критериев сравнения, в том числе и социальных (что типично для крестьянина, то удивительно для магистрата). Парадоксальным образом нотариальная рутинка помогает порой выявлению индивидуальных особенностей. Впрочем, даже в самых уникальных случаях актеры не делают ничего подлинно оригинального и не совершают каких-то иррациональных поступков. Удивляющий нас эффект достигается употреблением различных клише, но обычно используемых в ином контексте.

Но если поставить здесь точку, то непременно услышишь возражения: *Какой яркий материал и какие куцые выводы! Ну, есть некая корреляция между странностью акта и странностью человека. Что же здесь такого важного для историка? Разработка проблемы странности с этого может начаться, но если она этим заканчивается, то...*

*Следует пойти дальше, предположив, что странность объясняется не только странностью характеров, но и тем, что перед нами люди, которые совершат революцию в умах, которая и приведет к Религиозным войнам, среди них, несомненно, есть скрытые протестанты. Может быть, революция и происходит прежде всего в умах этих странных чудачков?*

На это можно возразить, что установление корреляции между личностью и особенностями нотариального поведения мне кажется вполне самодостаточным результатом. Он может быть полезен при

построении своеобразной "графологии" личности, основанной на стилистическом единстве нотариального поведения и иных форм деятельности данного человека. Такое единство заметнее на примере особых, "девиантных" случаев, но оно дает основания предположить индивидуальное начало даже в ординарных актах. Дело лишь в масштабе увеличения. Если бы мы обладали на порядок большим числом вспомогательных документов, мы, возможно, могли бы считать личный стиль каждого акта. Анализ нотариального поведения может добавить новые черты к портретам Дюмулена или Спифама. Но это будет лишь дополнительный штрих к известным нам биографиям. Тогда как большинству своих клиентов нотариусы предоставили единственное средство донести до нас сведения о себе. В этом я, собственно, и видел главную задачу своего эксперимента.

Но можно поставить вопрос шире и поговорить о микроисторическом методе. Я вовсе не стремился подобрать типичные примеры, которые могли бы служить иллюстрацией к тому или иному процессу. Система отбора основывалась на странностях нотариального поведения. Как выяснилось, за странностями стояли из ряда вон выходящие личности или ситуации. Все эти люди обладали удивительной способностью служить примером. Да я сам же и цитировал вместе с другими авторами мотивировку Рауля Спифама, иллюстрируя университетскую историю. На примере Пьера Галланда изучается содержание и значение термина "королевский лектор", казус Дюмулена вошел в юридические учебники. Акт, адресованный Филоу, позволил поднять проблему пожилых людей. Жан Локуэ может служить иллюстрацией к "Гаргантюа" или "Письмам темных людей". Портрет Николя Ле Клерка незаменим для работы о Контрреформации во Франции.

Что же придает этим исключительным случаям некую "генерализирующую" силу? Речь идет об уже, боюсь, наскучившем нашим читателям понятии "нормальное исключение". Напряженность, возникающая при столкновении особого или уникального с нормой, выявляет обычно сокрытые стороны жизни. Хотя процессы типологизирования остаются загадочными, мы можем не только констатировать демонстрирующую силу исключений, но и использовать ее при условии по возможности полной реконструкции исторического контекста и его социальных смысловых полей<sup>68</sup>.

Свершили ли наши чудаки революцию в умах? Я бы не решился утверждать, что данные нашего эксперимента иллюстрируют процесс начавшегося "переворота в умах". Но вполне определенно можно утверждать, что эти "странные парижане" напрямую участвовали в приближении драматической развязки – Религиозных войн. Семейный конфликт подтолкнул Дюмулена к углублению правовых штудий, увеличил общественное внимание к его персоне. Вот и поручили ему припутнуть римского папу, не согласного на дипломати-

ческие уступки королю. Но наш адвокат на этом не остановился, продолжив со свойственной ему интеллектуальной бескомпромиссностью задаваться вопросами о правах церкви и об источнике веры, что в атмосфере кануна Религиозных войн имело далеко идущие последствия.

Возможно, что Рауль Спифам своими разоблачениями ускорил бегство епископа-гуманиста Жака Спифама в Женеву, где тот оказал кальвинистам неоценимые дипломатические услуги. Это лишь предположение, но то, то "Дикаэриха" сыграла некоторую роль в формировании идеологии абсолютизма и что она пользовалась достаточной известностью у современников – это факт<sup>69</sup>. Пример идеального чиновника ренессансной монархии пытается представить собой Тьерри Дюмонт. О необходимости радикального преобразования всей университетской системы всерьез задумывается королевский лектор Пьер Галланд<sup>70</sup>. И если Жан Локуэ своими действиями подрывает авторитет парижских теологов, то президент Бриссонэ озабочен спасением города от гнева Господня, как и советник Жан Эннекен, ограждающий сирот от заразы. Его дети станут яркими сторонниками католической лиги и Франсуа де Гиза. Герцогу же удачно проведет трепанацию черепа Амбруаз Парэ, которому тот будет обязан не только жизнью, но и героическим прозвищем "меченый".

Кстати, о Гизах – в одном из актов Ле Клерк расписывал свои заслуги перед семьей, которую он, как мог, поддерживал после смерти родителей. Тогда он "для сохранения своего дома... нанялся на службу монсеньору его преосвященству кардиналу Лотарингскому и мессирам его братьям во время их молодости..."<sup>71</sup>. Значение этого скупого упоминания огромно. Не здесь ли истоки контрреформационной непримиримости принцев Лотарингского дома, предопределившей весь ход Религиозных войн? А что было бы, не возникни трудности в семье Ле Клерков, побудившие нашего теолога искать дополнительный заработок, и кардинал нанял бы для своих племянников иного наставника, скажем, Пьера Галланда?

Впрочем, о проблемах альтернативности исторического процесса, роли в нем личности и места случайности здесь идет речь лишь попутно. Ограничимся констатацией той истины, что, поскольку историю делают люди, роль в ней "людей со странностями" особенно велика.

Мне не хотелось бы говорить при этом о *стадияльных* особенностях, о том, что перед нами – характерные приметы людей эпохи Возрождения. Слишком специфична нотариальная практика, она обладает своими законами и ритмами развития. Я считаю, что "пространство свободы" изменяется здесь далеко не однозначно.

Как мы видели, несмотря на "нотариальное принуждение", была возможна сравнительно высокая степень вариативности. Отражало ли это специфику ренессансной личности, рост индивидуализма

повышение значимости внутреннего мира человека? Такой вывод весьма соблазнителен. Но урок “лингвистического поворота” и постмодернистской историографии указывает, что это будет прежде всего наш исторический нарратив, наше стремление организовать материал в соответствии с некими стереотипами, мифологемами, эволюционистским видением мира и пр. Во всяком случае, чтобы говорить о динамике или о каких-то стадиях, необходимо провести хотя бы зондаж аналогичных типов актов XV и XVII–XVIII вв. Первое сложно из-за фрагментарности сохранившегося парижского материала, второе, напротив, не менее сложно уже из-за чрезмерности парижской нотариальной информации. И тогда с еще большим основанием можно будет услышать обвинение в “кучих” результатах, не сопоставимых с затраченными усилиями.

Колоссальное давление нотариальных стереотипов преодолевается авторами актов главным образом не за счет каких-то культурных инноваций, но за счет использования “неуместных стереотипов”, что и дает ощущение “странности” и “новизны”. Рауль Спифам со своей пурпурной мантией и феодальной присягой был бы вполне обычен веку в XIV, текст Дюмулена был бы совсем не странным в предисловии к юридическому трактату, а рассказы Филиппа Кавелье, Ле Клерка и других авторов “конфликтных” актов, казалось, сошли со страниц судебных протоколов и апелляционных исков. А что такого принципиально нового написано в актах Жана Локуэ, Никола Филона, да и самого преподавателя красноречия Пера Галланда? Что же, отказать им на этом основании в звании человека нового времени? Но тогда и нам не видать этого титула – ведь с легкой руки всех тех же постмодернистов мы осознали, что сами заперты в клетку метафор, стереотипов мышления, тропов и лингвистических принуждений.

Есть, однако, в наших странных актах аспект, с лихвой компенсирующий отсутствие новых культурных форм. В них личность становится источником права. У Дюмулена сначала было одно намерение, затем он его поменял, и для него это – главное, и только затем он апеллирует к тому или иному закону. Кстати, много лет спустя, в 1564 г., Дюмулен объявил, что примерно с 1548 г. он обрел сеньорию Миньо, но, опасаясь предприняемых против него интриг и покушений и чтобы избежать преследований, обрушившихся на него вскорости и принудивших его бежать в Германию, он подарил своим детям эту сеньорию. Но теперь он заявляет, что если бы не означенные преследования, он ни за что не хотел бы, “чтобы это дарение имело место”. На этом основании он отменяет то самое дарение сеньории Миньо детям, вокруг которого кипело столько страстей<sup>72</sup>. Конечно, Дюмулен как правовед-романист настаивал на полной свободе в распоряжении семейным имуществом. Но ведь и нотариус, регистрируя такой акт, признавал его законность. Употребляе-

мая формула *en droit jugement* давала право действовать своевольно, не считаясь ни с кутюмами, ни с прежними своими распоряжениями.

Для Локуэ старческая забывчивость служит достаточным основанием пересмотра дарения на очень крупную сумму. Спифам подчеркивает свое своеволие – хочет видеть старшего сына в лучших университетах Франции, а малолетних детей – владельцами феодальных держаний, точно так же, как и являться на публике не в черной, а в алой тоге, а затем – демонстративно игнорировать распоряжения Парламента против своей персоны. Николь Ле Клерк идет напролом, отменяя все прежние распоряжения и договоренности, отмечая, что действует по совести. Свои представления о справедливости и Пилер ставит выше привычных форм раздела семейного имущества. Дюмонт даже не пытается мотивировать свои поступки, а просто все переиначивает в своем завещании.

“Девиантность” или, если мягче, индивидуальность в нотариальном акте этими людьми не обязательно стыдливо прячется, но может сама по себе стать основным аргументом решения *en droit jugement*. Это тем более заметно, чем больше об этом забывают и автор, и нотариус.

И здесь мы подходим к последней проблеме, призванной интегрировать этот материал в общую проблематику издания. Как бы ни были своенравны и независимы “странные” авторы, они никогда не предстают в одиночестве. Вокруг них тесным кольцом стоят ближние и к ним они адресуются в первую очередь, а порой и советуются с ними. Жан ле Пилер отмечает в завещании, что, принимая свое не вполне ординарное решение, “...советовался со многими теологами адвокатами и другими своими задушевными друзьями (*espériaux amis*), и они высказали свое мнение и суждения. По их совету я подтвердил и ратифицировал свое дарение”. Николь Ле Клерк, человек в высшей степени независимый и самостоятельный, также “поразмыслил и посоветовался и взвесил все по этому поводу” перед своим заявлением о пересмотре раздела наследства. С кем он советовался сказать трудно, но одного человека мы знаем наверняка – это муж его любимой племянницы, Жан Бургуин, советник Парламента. О том, что они помогли ему выстоять против племянников, он так прямо и пишет в акте 1547 г., вспоминая также, что племянники проявили особую активность и коварство, пытаясь склонить теолога к уступкам, пользуясь тем, что мэтр Бургуин был в то время в отлучке – на выездной сессии парламента в Мулене<sup>73</sup>.

Дюмулен еще более самобытен. Но Папон пишет, что, когда у него возникло желание отменить дарение, именно друзья посоветовали ему жениться и завести детей. Со слов самого адвоката, друзья действительно советовали ему не сбривать бороду. А в акте он видит особую вину брата в том, что тот стремился отвлечь от него друзей.

Ту же потребность в совете демонстрирует и Жан Бриссонэ в своем выступлении в Парламенте, рассказывая, что, услышав от некоего молодого коллеги опасные мысли, президент первым делом обратился за советом к знакомому теологу. По советам своего племянника действует Жан Локуэ. Полностью признает свою зависимость от советов и помощи преданного кузена Филипп Кавелье.

Но роль ближних велика не только в конфликтных случаях. Из нотариальных актов мы узнаем, что своим успехом Галланд во многом обязан родственным и дружеским связям в университетской среде. Его свояком был университетский "купец-посланник" (помогавший осуществлять денежные переводы для студентов). Вместе со своим кумом, секретарем университета, и своим братом-каноником, сменившим затем Пьера на посту принцепала коллегии, они берут на откуп доходы епископа Парижского. Дружба с королевским лектором Латомусом помогла Галланду занять аналогичную кафедру. В первом завещании он просит Латомуса сделать так, чтобы эта кафедра досталась другому гуманисту – Турнебу, а во втором завещании он доверяет Турнебу заботу об обучении своего внебрачного сына<sup>74</sup>. Поэтому и с престарелым каноником из Теруанны он находит общий язык, адресуя ему дарственную, как родному человеку.

Такой же квазисемейный характер придают своим отношениям с сержантом Николая Филоном дарители, адресовавшие ему свои акты. Как и в любом завещании, в акте Дюмонта говорится о ближних. Помимо жены, двоюродного брата и племянницы, чиновник вспоминает о своем рёге pourrisier ("отце-кормильце" – по всей видимости, муже кормилицы) и о своем воспитателе, которому завещены серебряный кубок, "из которого любил пить" Дюмонт, и две меры вина Аи, поставляемые ему в погреб *quotannis quandum viveret*. Спифам в свойственной ему архаичной манере ожидает помощи от своих малолетних сыновей – владельцев фьефов, пытается действовать вместе со своим свояком – братом второй жены<sup>75</sup>.

Даже если с близкими находятся в открытом конфликте, все равно речь идет о своеобразном диалоге. Им объясняют свои поступки, платя добром за добро, а злом за зло. Против детей от первого брака направлены акты Жана Ле Пилера. Против своего отца выступает вдова Жанна Пикар, которой так помог мэтр Ошекрон. С выпадами против неблагодарного брата Дюмулена могут сравниться лишь инвективы в адрес племянников Ле Клерка.

Порой конфликт сокрыт, как в актах Жана Локуэ, лишившего свою "вторую семью" – коллегию Монтэго – традиционного дара. Акты Рауля Спифама, внешне вполне мирные, являются звеньями в борьбе с преуспевающими родичами. Им – проворовавшемуся финансисту, недостойному прелату, магистратам, купившим должности на грязные деньги, – последовательно противопоставляется образ бедного, но честного адвоката-стародума, пекущегося лишь об об-



щем благе. “Дикаэрихия” явилась заключительным звеном в цепи жестов, состоящих из судебных исков, высокопарных актов и экстравагантных поступков. Подобная логика читается в документах, поступках и сочинениях другого адвоката – Дюмулена.

В этом отношении характерны слова Катрин де Веелю, вдовы бальи города Санса (я не включил ее в свой список, поскольку ее акт составлялся не в Париже). Она лишает наследства своих детей, “виновных в бесчисленных несправедливостях, оскорблениях, насилиях и эксцессах, предпринятых в отношении ее, о которых она умалчивает ныне, поскольку рассказ о них был бы ужасен перед Богом и людьми... понимая, что их ослепление все возрастает день ото дня, совместно с их злобным желанием разорить и погубить ее персону, чтобы захватить ее имущество. Но она все же не жаждет мести по отношению к ним, все передавая на волю Господа нашего, однако считает их недостойными своего богатства и наследства и лишает их этого права, пусть даже и в ущерб своим внукам... чтобы служить примером и побудить других оказывать честь и уважение родителям”.

И здесь за фигурами ближних, как друзей, так и врагов, различным и иной адресат – публика. Парижские акты давно уже составлялись в тиши контор без многочисленных свидетелей, чад и домочадцев (за исключением разве что брачных контрактов). Но публичный характер актов сохраняется, и это объясняет их излишнюю многословность, как свидетельств перед арбитрами – Богом и людьми. Не следует забывать, что у нотариуса приносилась присяга, нарушить которую значило пойти против Бога и короля. Анализ поведения авторов “дарений по причине старости” дает впечатление спектакля, правда, непонятно перед кем разыгрываемого. То же можно сказать и про авторов “странных дарений”. Они всегда стараются объяснить свои поступки, выставляя себя в лучшем свете. В “конфликтных актах” Ле Пилер, Дюмулен и Ле Клерк подчеркивают свое стремление заключить мир. Портной Пьер Перше считает, что не к его чести будет судиться со своим родителем (поэтому дарит некоему студенту свои права в процессе против отца). Ле Пилер разъясняет, почему он не примет нынешний обряд поминок. Государственный человек Дюмонт, напротив, ничего не объясняет, но придает всем своим актам дидактический характер. Порой избыточное красноречие может иметь и вполне практическое объяснение<sup>76</sup>, но чаще дрожь в голосе дарителя была вызвана осознанием величия момента. Он оказывался “на миру”, сознавая при этом, что сейчас его образ будет запечатлен и для потомков. Эти переживания передал Тургенев, об этом волнении писали и нотариус-практик Жан Пуассон, и известный историк Орест Ранум<sup>77</sup>.

О том, в каком свете их увидят последующие поколения, вероятно, беспокоились Дюмонт, Спифам, Дюмулен и, возможно, Ле Клерк, хотя прямо и не упоминали об этом. Но есть и прямые свидетельства. Ле Пилер отказывается, чтобы его изображение

(représentation) выставлялось во время его похорон<sup>78</sup>. Но он распоряжается вывесить свой портрет на стене общего зала патронируемого его кланом вдовьего дома, дабы сохранить память о себе. Президент Бриссонэ, выполняя волю покойной жены, одарившей приют "Синих детей", предписывает, "чтобы в столовой, где едят указанные дети, была бы нарисована женщина с тем, чтобы они помнили выше-названную умершую и молили Бога за нее"<sup>79</sup>. Советник Жан Эннекен озабочен тем, чтобы на аналое обители "Ave Maria" лежала парча, украшенная его гербом<sup>80</sup>. Цели в данном случае также могли быть вполне практическими – сделать молитвы более действенными и облегчить свои муки в Чистилище. Но прислушаемся к словам современников. Адвокат говорит, убеждая дворянина подать в суд: "Как дворянин вы должны показать, что у вас есть мужество и что с вами не так легко справиться"; мужики не станут вам платить, "как только узнают, что вы хоть раз позволили водить себя за нос, как простофиля. К тому же вас ждут неоценимые радости. Если вы будете судиться в нашем именитом суде, вы станете известны тем, кто даже имени вашего никогда не слышал, и вдобавок сделаетесь бессмертным. Ибо о вас будет упомянуто в реестрах, которые хранятся вечно. Что же касается ваших будущих наследников, то, получив имущество, ради коего вы теперь так хлопочете, они благословят ваши заботы и всю свою жизнь будут молиться за вас Всевышнему"<sup>81</sup>.

Эта речь, конечно, шаржирована, но потому и обладает особой ценностью, равно как ценны в силу некоторой своей шаржированности наши странные нотариальные акты. Они не всегда напрямую были связаны с судебными тяжбами, но слова пройдохи-адвоката справедливы и для них. Эти акты преследовали те же три цели – поддерживали общественное лицо автора, вели диалог с ближними и наследниками, но также призваны были сохранить имя и образ конкретного человека в веках. Не кажется ли странным хронологическое совпадение двух явлений – бурный расцвет французского портрета, с его удивительным психологизмом, и взрыв интереса к сохранению *всей* судебной и нотариальной документации?<sup>82</sup>

Но тогда декларированное мной оживление "бумажных человечков" не столь бессмысленно, как может показаться. Ведь они и сами, кажется, были не против такого диалога. Причем не только десять странных парижан, но и остальные авторы нотариальных актов, странных каждый на свой лад.

## Примечания

<sup>1</sup> Ордонанс Видлер-Коттре (1539), помимо других мер по упорядочению юстиции, требовал обязательной регистрации дарственных в судах первой инстанции. В Париже таким судом был Шатле. Начиная с августа 1539 г. вплоть до самой Революции дарения вписывались в книгу регистров (за особую плату). Инвентарь первых 15 книг

- был опубликован в начале века: *Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris. Règnes de Francois I et de Henri II / Ed. E. Campardon, A. Tuetey. P., 1906.*
- 2 Уваров П.Ю. Французы XVI века: Взгляд из Латинского квартала М., 1993; Университетская Франция (Опыт социального анализа) // Одиссей, 1994. М., 1994. Он же. Старость и немощность в сознании француза XVI века: сцены из нотариальной практики времени Генриха II // Человек в кругу семьи. М., 1996.
  - 3 Следует отметить попытки фронтальных обследований того или иного комплекса актов с целью реконструировать социальные иерархии (*Mousnier R. Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles: l'échantillon de 1634, 1635, 1636. P., 1976*) или коллективные представления (*Chaumi P. La mort à Paris. P., 1978*). Впрочем, такие изыскания по плечу лишь коллективу исследователей.
  - 4 Ее могло не быть, если бы мы имели дело с архивом одной нотариальной конторы, — понятно, что доля, например, адвокатов и судей будет особенно высока среди клиентов нотариальных контор, расположенных близ Дворца правосудия. Мы же имеем дело с регистром, в котором сведены акты, главным образом связанные с дарением недвижимости, собранные из всех контор префектура Иль-де-Франс.
  - 5 *Le protocole. L'art et stille des tabelions et notaires. P., 1550. F. 12; Le protocole des notaires. Lyon, 1601. P. 20.*
  - 6 В лучшие годы XVI в. в Париже одновременно функционировало свыше шести десятков контор.
  - 7 *Archives Nationales (Далее: AN). Y 100 f. 170 v.*
  - 8 *Chaumi P. Op. cit. P. 289.*
  - 9 *Maugis E. Histoire du Parlement de Paris. P., 1913. T. 1. P. 164.*
  - 10 *Registre des Délibérations du Bureau de la Ville de Paris. T. III. P. 61; T. I V. P. 359-360; Catalogue des actes d' Henri II. T. III. 07. 17/2.*
  - 11 *AN. Xia. 1579, f. 174, 198v.; Etchechoury M. Les maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi sous les derniers Valois. P., 1987.*
  - 12 *Babelon P. Nouvelle Histoire de Paris au XVIe siècle. P., 1987. P. 151, 186-189.*
  - 13 *Registre des Délibérations du Bureau de la Ville de Paris. T. IV. P. 399-405; AN.Y 97, f. 9.*
  - 14 *AN.Y 100, f. 14.*
  - 15 *AN.Y 97. f. 220 v.*
  - 16 *AN. Minutier central (MC). XX, 32.*
  - 17 *AN.Y 97. f. 220v.*
  - 18 Вместе со всеми он голосовал в 1543 г., когда факультет принимал знаменитую парижскую формулировку исповедания веры. Ранее, в 1533 г., он участвовал в принятии факультетского решения по вопросу о цензуровании "Зерцала грешной души" Маргариты Наваррской. И только в списке голосовавших в 1530 г. по вопросу о законности развода Генриха VIII Локуз был отмечен особо — "doctor regens collegio Montis acuti, Bede Discipulus". Это упоминание было значимым — Ноль Бада, синдик факультета теологии и принципал коллегини Монтепю, выступил тогда сторонником прав Екатерины Арагонской. Франциску I удалось все же убедить большинство докторов поддержать позицию Генриха VIII, однако перевес был весьма эфемерным — 8% голосов. В эти условия позиция Жана Локуз имела определенное значение. См.: *Farge J.K. Biographical Register of Paris Doctors of Theology, 1500-1536. Toronto, 1980; Idem. Registre des procès-verbaux de la Faculté de théologie de l' Université de Paris. P., 1989.*
  - 19 *AN. MC. XIX, 7, 1er mars 1537.*
  - 20 *Coyecque E. Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle. 1905. Vol. 1. № 1447.*
  - 21 *AN. MC. LXXIII, 17. 23 mars 1552.*
  - 22 *AN. MC. LXXIII, 17 mars et 3 avril 1552.*
  - 23 Выяснилось, что в Парламенте он судился со своей теткой, с неким сензором из балляжа Мо, с прокурором парижского Шатле и с каноником церкви Нотр-Дам в Амьене.
  - 24 *AN. Y 97, f. 297.*
  - 25 *AN. Y 98, f. 121.*

- 26 Одна лишь М. Юргенс анализирует 29 его актов (*Jurgens M. Documents du Minutier Central. Ronsard et ses amis. P., 1986. P. 354–366.*), пять актов были зарегистрированы в Шатле, 22 приводятся в публикации куайака. Обилие нотариальных актов Галланда дало возможность Л.Е. Жиро проанализировать содержание понятия "королевский лектор" в докладе на коллоквиуме, посвященном происхождению Коллеж де Франс (Париж, декабрь 1995).
- 27 *Goujet Cl. P. Mémoire historique et littéraire sur le Collège royal de France. P., 1758; Lefranc A. Histoire du Collège de France. P., 1893.*
- 28 *Jamot F. De Obitu Petri Gallandi. P., 1560; Roiller Cl. Ode ad Guill. Gallanium gymnasiarchum ecodiamum... Cui accessit eiusdem de obitu Petri Gallandii elegia. P., 1559; Salis Panagius. In Ronsardum epicedion, ad pias Gallandii lachrymas. P., 1586.*
- 29 *Quintilliani de institutione oratoria libri XII, argumentis Petri Gallandi, eiusdem declamationum liber. P., 142.*
- 30 Следуя метафоре Дж. Фарджа: *Farge J.K. Le Parti conservateur au XVIe siècle: Université et Parlement de Paris à l'époque de la Renaissance et de la Réforme. P., 1992.*
- 31 Ведь ректор, избираемый всего на три месяца, как истинный глава университета в первую очередь должен пресекать любые посягательства на авторитет и свободу корпорации.
- 32 *Petri Galandii literarum latinarum professoris regii, contra nouam academiam Petri Rami oratio. Lutetiae, 1551.*
- 33 AN. Xla, 1585 f. 434.
- 34 Обеспечив перевод части имущества университетской нахии и дома епископа Турне на имя коллегии Бонкур, подстраховываясь на случай конфискации имущества подданных императора.
- 35 *Jurgens M. Op. cit.*
- 36 AN. Y 97, f. 291; MC. LXXIII, 17, 23 mars 1552.
- 37 MC. LXXIII, 2, 4 mars, 1543.
- 38 MC. LXXIII, 5, 2 septembre 1544.
- 39 MC. LXXIII, 10, 23 juillet 1547.
- 40 Так, зятем такого ж сержанта юстиции из соседнего предместья Сен-Жермен-де-Пре был простой поденщик – тапouvrier. (MC. LXXIII, 17, 12 avril 1552).
- 41 AN. Y 94, f. 283.
- 42 AN. X la, 1528, f. 583 v – 584; *Farge J.K. Le Parti conservateur ... P. 60–65.*
- 43 AN. Y 94, f. 304-311.
- 44 AN. Y 98, f. 453 v.
- 45 AN. Z lb, 433, janvier 1550; V 5, 1054, f. 169 v; Z lb, 38 f. 135.
- 46 AN. Y 86, f. 115 v.
- 47 AN. Y 93, f. 298, 346; Y 98, f. 40; MC. CX, 37.
- 48 AN. Y 94, f. 229.
- 49 AN. Y 93, f. 247.
- 50 AN. Y 95, f. 256 v.
- 51 См.: *Farge J.K. Orthodoxy and Reform in Early Reformation France. The Faculty of Theology of Paris, 1500–1543. Leiden, 1985.*
- 52 *Clerval J. Registre des procès-verbaux de la Faculté de Théologie. P., 1917. P. 14.*
- 53 *Allen P.S. et al. Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterdami. Oxford, 1906–1958. Vol. 6. P. 473.*
- 54 AN. Y 95, f. 158–161; MC. VIII, 75.
- 55 Акты Дюмулена были зарегистрированы в обратном хронологическом порядке, что часто вводило в заблуждение историков. См., например: *Olivier-Martin F. Histoire de la coutume de la Prevoté et vicomté de Paris. P., 1922-1929. T. II. P. 490.*
- 56 *Уваров П.Ю. Два брата – адвоката // Казус 1996. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997. С. 213–224.*
- 57 *Brodeau L. La vie de M. Charles du Moulin. P., 1654. P. 21.*
- 58 Следует отметить, что закон Константина говорил лишь о возможности отмены дарений, адресованных вольноотпущенникам. Именно в этом случае щедрость да-

рителя не должна была идти во вред его потомству. Однако в ходе рецепции Римского права эта оговорка игнорировалась большинством юристов XV–XVI вв.

- 59 Papon J. *Instrument de premier notaire*. Lyon, 1576. P. 355–358.
- 60 *Le Vest B. Arrest celebres et memorables du Parlement de Paris*. P., 1612, XLIX. P. 234–238
- 61 Brodeau L. *Op. cit.* P. 62.
- 62 AN. Y 87, f. 314.
- 63 *Inventaire des registres...* P. 18; *L'Histoire des universités en France*. Toulouse, 1986. P. 179–182; Уваров П.Ю. Французы XVI века: Взгляд из Латинского квартала. С. 211
- 64 AN. Y 90, f. 288 v., 292 v.
- 65 Delmas A. *Procès et mort de Jacques Spifame // Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*. P. 1944. T. V. P. 105–137.
- 66 Loysel A. *Le dialogue des avocats du Parlements de Paris // Divers traités tirés des mémoires de m. A. Loysel*. P., 1651. P. 524–525.
- 67 AN. X 1A, 1589 f. 474.
- 68 Bourdieu P. *L'illusion biographique // Actes de la recherches en sciences sociales*. № 62. 63, juin 1986. P. 69–72.
- 69 На отдельные статьи “Дикаэрхии” ссылались вполне компетентные правоведы эпохи Старого порядка. См.: Brillon J.P. *Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle*. P., 1727; Bouhier J. *Observations sur les coutumes de Bourgogne*. Dijon, 1742–1746. Ученый хранитель королевской библиотеки Абель П де Сен-Март цитировал восьмое постановление “Дикаэрхии”, ссылаясь на необходимость введения права обязательного земледельца. См.: *Sainte Marthe A. de. Discours au Roy sur le rétablissement de la bibliothèque royale de Fontainebleau*. Жан Офрей, ученый экономист и ярый сторонник реформ Тюрго, переиздал сочинение Спифама, снабдив его весьма красноречивым подзаголовком: *Vues d'un politique de XVI siècle sur la législation de son temps, également propres à réformer celle de nos jours...* / Par m. J. Auffray. Amsterdam; [Paris], 1775.
- 70 Его попытка реформировать преподавание “свободных искусств” в бытность его ректором не увенчалась успехом. Но в конце своей карьеры, став дуадемом королевских лекторов, он, по королевскому предписанию, с 1558 г. стал готовить проект преобразования всего университета. Смерть оборвала его труды, и проект более известен по имени второго автора – Пьера Рамуса. Начавшиеся Религиозные войны сорвали и этот план преобразований, однако уже при Генрихе IV многие его положения были претворены в жизнь.
- 71 AN. Y 93, f. 120.
- 72 AN. MC. VIII, 83, f. 166.
- 73 AN. Y 95, f. 257v.
- 74 Jurgens M. *Op. cit.* № 224.
- 75 AN. Y 88, f. 252 v.; Y 89, f. 153 v.; Y 90, f. 288 v.
- 76 Например, Филипп Кавелье мог использовать при составлении акта “заготовки” из уже имевшихся многочисленных прошений о помиловании.
- 77 Тургенев И.С. *Степной король Лир // Собрание сочинений*. М., 1955. Т. 7; *Poisson J.P. Notaires et société. Travaux d'histoire et de sociologie notariales*. T. I. P., 1965 P. 13; *Préface d'Orest Ranume*. T. II. P., 1990. P. IV.
- 78 AN. MC. CX, 37.
- 79 AN. Y 94, f. 309.
- 80 AN. Y 94, f. 137 v.
- 81 *Сорель III. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона*. М., 1990. С. 131.
- 82 Достаточно характерной выглядит беспрецедентная попытка правительства с 1553 г. перейти к регистрации всех нотариальных актов (а не только тех, что связаны с дарениями недвижимости, как предписывала ординанс 1539). См.: *Vilar-Berrogain E. Guide de recherches dans les fondes d'enregistrement sous l'Ancien Régime P.*, 1958. P. 29–37. Историки обычно объясняют это лишь фискальными нуждами правительства, однако подобная попытка (сорванная кризисом Религиозных войн) укладывается в общую тенденцию разбухания административной документацией при Генрихе II, столь удачно подмеченную в бюрократической утопии Рауля Спифама.

*Н.И. Новиков*  
*(“Частный человек” в России*  
*на рубеже XVIII–XIX веков)*

### *Странные книги и странные мудрования*

Царствование Екатерины II было временем стремительного расширения империи, побед русского оружия, державной мощи Петербурга. Однако знаменитый русский историк В.О. Ключевский из 34 лет правления императрицы выделил в отдельную эпоху не годы завоевания и освоения Крыма и не период утверждения России на Черноморском побережье, а “Новиковское десятилетие”, почти треть “века Екатерины”, связав с именем, “собственно, не писателя, не ученого и даже не особенно образованного человека в духе своего времени, признавшего себя и в старости невеждой, не знающим никаких языков”<sup>1</sup>. Великую заслугу Новикова Ключевский видел в “издательской” и “книгопродавческой” деятельности, с которой историк связывал зарождение в России “общественного мнения”<sup>2</sup>.

В опубликованных Новиковым книгах Екатерина II обнаружила “сомнительное содержание” и в 1792 г. приказала арестовать арендатора типографии за “плутовство и обольщение... к распространению раскола... тайныя сборища... непозволенные, развращенныя и противныя закону православному книги... тайную типографию... коварство и обман, употребленные... для удобнейшего слабых умов колебания и развращения”<sup>3</sup>. Военные победы оказались для монархии делом более легким, чем борьба против “странных книг”<sup>4</sup> и “странных мудрований”<sup>5</sup>. В источниках приводятся слова Екатерины, которая во время следствия по делу Новикова жаловалась московскому обер-полицмейстеру Н.П. Архарову, что “всегда успевала

управляться с турками, шведами и поляками, но к удивлению не может сладить с армейским поручиком"<sup>6</sup>.

Два дома, принадлежавшие Новикову, типография, имение в Орловском наместничестве, книги подлежали продаже с публичного торга. Более 18 тыс. изданий было предано огню. Сам же Новиков после обыска и конфискации всех книг и бумаг в крайне болезненном состоянии был оставлен в Тихвинском под надзором никитского городничего. Следствие по делу мартинистов (см. примеч. 128) вел московский главнокомандующий князь А.А. Прозоровский, назначенный специально Екатериной для борьбы с "известной шайкой" "Самая старая пушка, — писал о нем Г.А. Потемкин Екатерине, — которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя Вашего Величества"<sup>7</sup>. Прозоровскому караул городничего и уездной полиции показался недостаточным, и он направил в родовое имение Новикова майора из гусарских эскадронов с солдатами. Также проходивший по делу московских мартинистов И.В. Лопухин вспоминал позднее в своих записках: «...он из подмосковной взят был под тайную стражу, с крайними предосторожностями, и с такими воинскими снарядами, как будто на волоске тут висела целость всей Москвы. Остро и смешно при сем случае сказал граф Кирила Григорьевич Разумовский Князю Прозоровскому, который ему рассказывал о важности ареста Новикова и о всех своих к тому распоряжениях: "Вот расхвастался, как город взял, стариченка, скорченного гемороидами, взял под караул, да одного бы десяцкого или бутошника за ним послать, и так бы и приташил его"<sup>8</sup>. В Москве Новиков также находился под строжайшим надзором, а в его имении остался для контроля над имуществом гусарский офицер с частью команды. После трех недель допросов Новиков тайно, в объезд, через Ярославль и Тихвин, был доставлен прямо в Шлиссельбург. Его конвоировали шесть вооруженных гусар, три унтер-офицера, ротмистр и прапорщик. В приказе коменданту крепости даже имя арестованного из предосторожности не упоминалось.

Считается, что императрица боялась заговора против ее власти и даже жизни, якобы зреющего в среде мартинистов. Подозрительность стареющей монархини усиливалась не только ползущими по Петербургу слухами, но и обнаружившейся связью московских масонов с наследником престола великим князем Павлом Петровичем. Во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. осложнились отношения русского двора и Берлина, а Новиков, оказывается, состоял в переписке с прусскими теософами. Ситуация стала еще более угрожающей со смертью в октябре 1791 г. Потемкина, убийством шведского короля Густава III и, наконец, Французской революцией. В апреле 1792 г. был подписан указ князю Прозоровскому произвести у Новикова обыск в Тихвинском, а 1 августа Екатерина выдвинула

Н.И. Новиков  
Силуэт конца XVIII в



Крепость Шлиссельбург.  
Ф. Галактионов с оригинала П. Сельвина.  
Гравюра  
1820-е годы.





ему шесть обвинений, по которым полагалась "тягчайшая и нещадная казнь"<sup>9</sup>. Глубинные причины такой реакции императрицы, приговорившей Новикова к смертной казни, на действия книгоиздателя следует искать не в хитросплетениях внешней политики, а в давнем противостоянии независимого мнения и власти. Новиков без подбострастия на страницах своих журналов заговорил с венценосной писательницей и дерзнул отвергнуть ее сатиру в "улыбательном духе". Он, не спросив высочайшего волеизъявления, начал заводить школы, поддерживать образование молодых людей за границей и издавать по своему усмотрению литературу в вольной типографии. Во время триумфального путешествия двора по Крыму Новиков организовал помощь голодающим, поставив под сомнение всеобщее благополучие в империи. Екатерина называла его "фанатиком"<sup>10</sup> и негодовала, что Новиков "не открыл еще сокровенных своих замыслов"<sup>11</sup>. "Сокровенные замыслы" самоопределяющейся личности постичь ей было не суждено, но угрозу со стороны Новикова она почувствовала прекрасно. "Следуя сродному... человеколюбию"<sup>12</sup>, казнь по высочайшему повелению была заменена на 15 лет тюрьмы, что при состоянии здоровья Новикова означало практически пожизненное заточение.

Арест Новикова произвел удручающее впечатление на общество. В переписке современников часто встречались исполненные уважения отзывы о Новикове. Так, будущий поэт, воспитатель К.Н. Батюшкова и наставник Александра I М.Н. Муравьев писал отцу: «...просил меня Николай Иванович Новиков переслать к вам несколько объявлений об издании "Утреннего света"... Я думаю, что будут иные охотники. Особенно намерение издателей для заведения школ для бедных, кажется, может побудить многих... Он еще более честный и постоянный человек, нежели хороший писатель. И вы отдадите ему справедливость, когда изволите разобрать намерение трудов его»<sup>13</sup>.

Новиков пользовался в обществе высоким нравственным авторитетом. Он умел привлекать к себе людей и зажигать их своим энтузиазмом. Огромные средства и кредиты Типографической компании (см. ниже) свидетельствовали, что дело благотворительности и распространения образованности, предпринятое Новиковым и его друзьями, пользовалось доверием у современников. Безусловно, притягивала и неординарная, талантливая, вдохновенная натура Новикова. Писатель и агроном А.Т. Болотов считал день знакомства с "содержателем типографии, известным и толико славным у нас господином Новиковым, Николаем Ивановичем" "наидостопамятвейшим почти в моей жизни". "В немногие минуты не только познакомились мы с ним, как бы век жили вместе, но слепилась между нами и самая дружба, продолжающаяся даже и поныне"<sup>14</sup>. Сын стремительно разбогатевшего уральского ямщика Г.М. Походяшин передавал

Новикову огромные суммы на помощь голодающим и другие начинания издателя. Ликвидация Типографической компании привела Походяшина к разорению. Но до конца своих дней он испытывал благоговение перед личностью Новикова и, умирая в нищете, с благодарностью взирал на его портрет.

После ареста Новикова имя его практически исчезает из переписки современников. Некоторые отваживаются упоминать о расправе власти с кружком московских масонов лишь в дневниках и позднее в воспоминаниях. В тревожные дни гонений на Типографическую компанию и следствия по делу Новикова статс-секретарь А.В. Храповицкий записывает: "Державин мне сказывал, что при нем меня и Ал.Ив. Васильева<sup>15</sup>... [императрица] назвала мартинистами и что Новиков сочтен умным и опасным человеком..."<sup>16</sup>. Автор с нескрываемым волнением фиксирует все важнейшие события, связанные с арестом Новикова и прекращением его деятельности: "секретное донесение кн. Прозоровского о взятии Новикова и его деревни", "указ к шлиссельбургскому коменданту о верном принятии и содержании арестанта", "указ, подписанный 1-го августа, о содержании Новикова 15 лет в крепости шлиссельбургской"<sup>17</sup>.

Испуганы были не только московские мартинисты и те, кто имел контакты с Новиковым. Оцепенело и замерло все просвещенное общество. И.В. Лопухин, вспоминая "историю мартинистов Москвы", приводит мнение канцлера А.А. Безбородко: "Впрочем он и по разсуждению своему был совершенно против всего того, что с нами делали, и после мне даже говорил, почти при первом свидании знакомства его со мною (в 1794 году) еще при жизни Государыни, когда я жил в отставке и под некоторым присмотром, что сие дело не соответственно Ея славе"<sup>18</sup>. Современники также отмечали несоответствие между гневом императрицы и проступком обратившегося к мистическим поискам издателя книг, участие которого в заговоре против власти так и не было доказано.

Однако не только беспощадность проводимого под высочайшим контролем следствия, жестокость последовавшего приговора и ожидания новых репрессий внушали образованному дворянству напряженное беспокойство, тщательно скрываемое за сдержанным молчанием. Россия знала расправы пострашнее и с теми, кто еще недавно был на вершине власти. Думается, что современники сами не совсем осознавали, почему участь этого армейского поручика в отставке так поразила их. В личности Новикова было нечто приковывающее внимание людей, несводимое к привычной норме, выделявшее его судьбу на фоне биографий тех, кто "денег, славы и чинов спокойно в очередь дождался". М.Н. Муравьев, мнение которого о Новикове уже приводилось, писал отцу: "Не знаю, что побуждает меня к нему зайти"<sup>19</sup>.

За бескорыстным подвижничеством, яркостью поступков, обликом независимой личности Новикова и общество, и власть интуи-

тивно уловили проявление новых важнейших процессов в духовном развитии России, связанных с эмансипацией дворянской культуры и формированием в среде интеллектуальной элиты индивидуальности, осваивающей свою суверенную частную территорию.

### Частный человек

Область, противопоставленная официозу, традиционно называется частной. Однако ее определение нельзя свести лишь к констатации отличности от той сферы жизни человека, в которой на него возложена некая государственная или общественная функция. Каждая эпоха имеет свою конфигурацию границ частного и официозно-го и свое сущностное содержание этих сфер.

Человек через сложнейшую систему связей с миром наделен самыми разнообразными социальными ролями, вписан в причудливую, далеко не трехмерную систему координат. Он выстраивает свои отношения с властью, семьей, друзьями, единомышленниками, противниками, людьми одного статуса, вышестоящими и подчиненными, он ищет свой путь к природе и Богу, наконец, он формирует собственное восприятие своей личности. Так из этих больших и маленьких человеческих проблем сплетается неповторимый узор жизни, слагается ее уникальный мотив. Часто отношения с другом, семьей, самим собой занимают несравненно большее место в жизни человека, чем восприятие власти и ее политики.

В России XVIII в. сферой, составившей эмоциональную и умственную альтернативу регламентирующему воздействию государственности, стали духовные искания, дружеские связи, замкнутый мир дворянской усадьбы, масонское братство, независимое книгоиздательство, благотворительность и т. п. Однако в дневниках, мемуарах, письмах образованного дворянства мне не удалось встретить понятие "частная жизнь", в то время как довольно часто в данный период употребляются термины "партикулярный человек", "частный человек", "жизнь частного человека", "вести жизнь частного человека"<sup>20</sup>, что означало временную или окончательную отставку, удаленность от столичного Петербурга, отказ от борьбы за чины и положение в свете, актуализацию иных предпочтений. Причина подобного словоупотребления кроется, на мой взгляд, в недостаточном развитии сферы частной жизни, которую личность, освобождаясь от официоза, еще только осваивала. Эта создаваемая социальная реальность расширялась вместе с обогащением внутренней жизни дворянина.

Универсальный, зафиксированный в истории многих абсолютистских государств процесс эмансипации культуры и мысли имел в России свою специфику. Осознание собственных сословных интересов дворянства сопровождалось формированием в среде интеллектуальной элиты личности новоевропейского времени, способной на

относительную свободу от самоидентификации с властью, сословием, какой-либо социальной группой, родом, готовой к индивидуальной ответственности и задумывающейся над автоматически воспроизводимым стереотипом. Еще один парадокс русской истории заключался в том, что эмансипация дворянской культуры, носители которой по своей социальной принадлежности были дворянами, определялась не развитием сословного самосознания, а появлением независимой мыслящей личности. Формирование *общественного мнения* и свободной от высочайшего контроля сферы *общественной жизни* осуществлялось *“частным человеком”*. Подобное усложнение развития сословной культуры дворянства драматизировало этот процесс и придавало ему широкое звучание.

Именно страхом перед независимой мыслью были вызваны стремительные карающие действия власти в отношении Типографической компании. Показательны формулировки высочайших указов, ликвидировавших все “вольные типографии” и запрещающих “частным лицам” заниматься издательством книг<sup>21</sup>. При этом Новиков не помышлял о сознательной целенаправленной оппозиции власти. Думаю, он не понимал причину ожесточения императрицы и искренне считал себя невиновным. Вслед за Лопухиным он мог сказать: “... не могу не потужить о том, что пресечено здесь издание моих любимых духовных книг, которых уже столько вышло из наших типографий... Та или другая система... о изучении натуре, химические эксперименты никогда не рождали и не могут родить в народе развращения нравов, мятежа и проч.”<sup>22</sup>. Даже “общество столь многоумных людей”<sup>23</sup>, по выражению Екатерины, не понимало и не могло понять, что самодержавная российская государственность не совместима с “вольными мудрованиями”<sup>24</sup> “частного человека”. Независимые от православной церкви теософские поиски московских розенкрейцеров, их не санкционированная властью организация, чисто внешнее стремление “пребывать верными и послушными гражданами”<sup>25</sup> и явно прослеживающаяся в поступках ориентация на личные критерии, “чистую совесть и внутреннее спокойствие”<sup>26</sup> – все эти факты самостоятельной духовной жизни “разрывали политические союзы”<sup>27</sup> крепостнического общества. Трагедия России состояла в том, что “умный человек” был, как правило, “опасным человеком”.

*Никогда не искал, не учился тому и не умею*

Смерть Екатерины II 6 ноября 1796 г. прервала заточение Новикова. Император Павел I в тот же день выпустил его из крепости. Новиков сразу отправился к детям в свое подмосковное Тихвинское. Но, едва обретший свободу, узник принужден был немедленно предстать перед государем, который ожидал покорнейшей благодарности. “Как же я тебя освободил, а ты не хотел меня поблагодарить?”<sup>28</sup>. Позже в прошении графу И.В. Гудовичу Новиков писал: “... импера-

тор Павел I-й... всемилостивейшим указом... повелел... все отобранное имение возвратить, о чем и прислано было повеление бывшему тогда в Москве главнокомандующему покойному Михайле Михайловичу Измайлову... По возвращении в Москву господин главнокомандующий вторично дал мне знать о принятии имения, но я, не приступая к оному, всеподданнейше просил государя императора об увольнении меня от принятия сего имения и о повелении оное оставить в ведомстве московского приказа общественного призрения на удовлетворения всех кредиторов"<sup>29</sup>. Автор не упоминает в письме, что просил императора только об одном – освобождении всех заключенных по его делу<sup>30</sup>.

Пострадавших вместе с Новиковым Павел помиловал, а самому издателю обещал содействие в постепенной распродаже имущества для уплаты долгов Типографической компании. В обществе заговорили о раздаче чинов и должностей масонам, подвергшимся опале в царствование Екатерины. "Государь хочет царствовать правдою и милосердием и обещает подданным своим благополучие, – писал в декабре 1796 г. Н.М. Карамзин брату. – Трубецкие, И.В. Лопухин, Новиков награждены за претерпение; первые пожалованы сенаторами, Лопухин сделан секретарем при императоре, а Новиков, как слышно, будет университетским директором"<sup>31</sup>. Однако Новиков не стал директором университета и не вернулся к издательской деятельности, а вскоре император распорядился взыскать долги с Типографической компании и ее кредиторов.

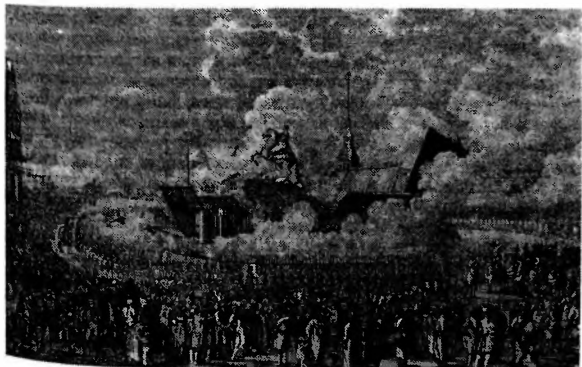
Диалогу независимой мысли и самовластия не суждено было состояться. Прошел слух, что императору не понравились смелые, прямые ответы Новикова во время аудиенции<sup>32</sup>. С мартинистом и знаменитым издателем говорил уже не "русский Гамлет", а властвующий Павел, который теперь с иных позиций смотрел на фрондерство самоопределяющейся личности. Виртуозный придворный интриган и изощренный психолог Ф.В. Ростопчин так и писал об отношениях Павла и масонов: "Неудивительно, что в его мнениях произошла такая скорая перемена: существует класс людей и род услуг, которые нравятся наследникам престола до их воцарения, но от которых они отворачиваются после, даже наказывая тех, кто казался необходимым, а потом в награду получает одно только презрение"<sup>33</sup>.

Возможно, Павел отвернулся не столько от масона Новикова, сколько от "умного, но опасного" самобытного человека Новикова. Мартинисты И.В. Лопухин и Н.Н. Трубецкой действительно были назначены сенаторами, участник Типографической компании И.П. Тургенев, получив чин статского советника, стал директором Московского университета, а Новиков так и остался "частным человеком". Он провел в подмосковной усадьбе Тихвинское без малого 22 года, лишь трижды на непродолжительные сроки (в 1805, 1806 и 1808 гг.) покидая ее для поездок в Москву, связанных с ведением хозяйства.

Якоб ван Шлей. Вид Гром-камня во время перевалки. 1770-е годы.  
По рисунку Ю.М. Фельтена 1770 (?) г. Гравюра



А.К. Мельников. Открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге.  
Середина XIX в. С рисунка А.П. Давыдова 1782 г. Гравюра.



Богатство связей Новикова, его представление о дружбе, о смысле человеческих взаимоотношений отразилось прежде всего в письмах. Для этого очерка было изучено более 100 посланий философа, относящихся к "Тихвинскому периоду". Основной массив писем Новикова хранится в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки, Рукописном отделе Российской Национальной (Публичной) библиотеки, Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинском Доме). Опубликованы были лишь некоторые из них в виде небольших подборок. Только в 1994 г. в санкт-петербургском издательстве им. Н.И. Новикова вышла книга "Письма Н.И. Новикова", включающая 167 писем философа и обстоятельные комментарии к ним. Составители публикации А.И. Серков и М.В. Рейзин продолжили изыскания Я.Л. Барскова (1863–1937), его ученика Н.П. Киселева (1884–1965), а также Б.Л. Модзалевского (1874–1928). Как указывается в пояснениях к публикации, в 1922 г. была готова корректура книги "Письма Н.И. Новикова", но надежда на издание уже не оставалась. Значительно расширенная, сверенная с архивными материалами публикация стала возможна лишь в 1994 г. Составители попытались в наибольшей степени сохранить особенности оригиналов, неправильность и громоздкость орфографии, синтаксиса, пунктуацию, отражающую совершенно иной ритмический строй речи<sup>34</sup>, "старый любезный слог", который так любил сам автор. Это издание писем, большая часть которых относится к периоду жизни философа после шлиссельбургского заточения, является новым важным источником и по духовной истории России начала XIX в., и по биографии самого Новикова.

В историографии этот период жизни Новикова обойден вниманием как менее плодотворный, интересный и достойный исследования. Жизнь философа в литературе практически заканчивается с известием об аресте, который сломил Новикова и навсегда убил в нем "великого просветителя, смелого сатирика, неутомимого борца за торжество разума... Дальше ему оставалось лишь прожить второе земное воплощение"<sup>35</sup>. Тем не менее сохранившиеся письма Новикова из Тихвинского свидетельствуют, что этот человек не утратил ни присущей ему воли к жизни и запаса внутренней энергии, ни многогранного таланта, ни редкой притязательности в выборе друзей, ни поразительной верности "любимой материи". В 1802 г. он предлагал известному издателю П.П. Бекетову "услуги свои, в рассуждении довольно обширного и опытного... знания в производстве типографских работ и книжной торговли"<sup>36</sup>. В 1805 г. уже планировал на торгах в университете снять типографию. Попытка оказалась безрезультатной, однако впечатляет удивительное постоянство Новикова. Он сохраняет внутреннюю приверженность взглядам, деятельности, вере, за которые едва не был приговорен к смертной казни. Создается впечатление, что власть всегда опасалась Новикова, а

он был в сущности недосыгаем для нее. Карающее вмешательство самодержавия в его судьбу оказалось чисто механическим.

Внутренняя эмиграция Новикова началась значительно раньше его уединения в подмосковном Тихвинском. 18-ти лет, в 1762 г. он вступил на военную службу в лейб-гвардии Измайловский полк, а уже в 1768 г. вышел в отставку поручиком армии и никогда более не возвращался на государственную службу. Во время следствия по делу московских мартинистов Екатерина в так называемых "возражениях" по поводу ответов на "Вопросные пункты Шешковского" заметила: "Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек, жил и занимался не больше как в ложах, следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству"<sup>37</sup>. Смертный приговор, замененный на 15 лет тюрьмы, не изменил его представлений о человеческом долге и своем собственном назначении. Шлиссельбург не только не сломил Новикова, но, напротив, открыл ему новое понимание жизни и дал огромный внутренний опыт. Он с тяжелым сердцем вспоминал сцену ареста, "мое несчастное взятие"<sup>38</sup>, но никогда не проклинал четыре года заточения. Воспоминания о крепости постоянно давали о себе знать в мыслях и общем эмоциональном состоянии Новикова, что прорывалось иногда и в письмах. "Вам 49 лет, это год климатеричной; вам сей год есть год полной чести и славы, а мне этот год был полон скорби и печали; ибо я в сем году отвезен был в Шлиссельбургскую крепость", — писал Новиков Карамзину<sup>39</sup>. Пытаясь утешить друга, потерявшего сына, он вспоминает священника, появившегося на пороге каземата с ободряющими словами: "Ежели наказание терпите, яко сыновом обретается вам Бог"<sup>40</sup>. Новиков не отказал в рассказе о своем заточении и посетившему его в Тихвинском архитектору А.Л. Витбергу. Видимо, ситуации истинного страдания, связанные с интенсивным ростом души, часто переживаются как самые важные мгновения и даже счастье.

После выхода из Шлиссельбурга Новиков продолжает всячески оберегать свою жизнь от чиновной сферы. Предельно четко он выразил свое отношение к официозу, когда отказался от выгодного знакомства с человеком из ближайшего окружения Павла I, Ф.В. Ростопчиным. "... он весьма высок, а я весьма низок, и проч., так что между нами весьма великое расстояние пустоты... Его сфера знакомства знатная, великочиновная, а моя малая и весьма бедная и короткая..."<sup>41</sup>.

Это "великое расстояние" можно было бы "наполнить" "исканием", но Новиков такую возможность отмечает сразу: "Никогда не искал, не учился тому и не умею... Ежели я с тем несогласен, так буду молчать и говорить холодное". Более того, все, что не касается "любимого нами", вообще, оказывается, мало интересует автора, и он ради "мирских целей" не предполагает тратить "здоровых часов", кото-



рые должен употребить на хозяйство<sup>42</sup>. В жестко заявленной своей непричастности к "знатной сфере" нет и намек на самоуничтожение. "Бедный" ближайший круг представлялся ему средой более нравственной и духовной, чем общество больших бояр, которые "не терпят противоречия... К короткому и искреннему обхождению... не скоро доходят, а еще меньше допускают"<sup>43</sup>. Сколько иронии звучит в данной им характеристике – "доброта его превосходит воображение мое о добром Боярине"<sup>44</sup>. Не последовал Новиков и совету своего младшего друга и ученика А.Ф. Лабзина обратиться с просьбой к царствующему Павлу: "...сказано же: не надейтесь на Князи, на сыны человеческие, следовательно надеяться должно на Господа Бога!"<sup>45</sup>

Новиков не объявлял войну престолу и не испытывал страха перед самовластием, а лишь стремился к личной изоляции от чиновной и правительственной сферы. В письмах "некоторые важные материи" он оставляет "до личного свидания", надеясь, что "любовь и справедливость" адресата "не назовут меня виноватым, а разве, излишне осторожным; но я и тогда буду обороняться русскою поговоркою: пуганая ворона и куста боится; а и тому вступятся за меня мои леты и опыты"<sup>46</sup>. Новиков предлагал адресатам "употребить аллегориею болезнь детей моих" и желал знать, "можно ли... безопасно послать некоторые манускрипты по почте"<sup>47</sup>.

Он резко негативно относился к военной службе и не желал такой карьеры никому из близких: "...удалось мне горячку его к военной службе переломить, и теперь эта болезнь у него почти совсем прошла, – писал Новиков о племяннике, – я употреблю все силы и возможность мою сыскать ему хорошее место в Статской службе"<sup>48</sup>. Знал Новиков цену и придворным кругам. Еще в предисловии к издаваемому им журналу "Трутенъ" он писал о придворной службе, которая "всех покойнее и была бы легче всех, ежели бы не надлежало знать науку притворства гораздо в высшем степене, нежели сколько должно знать ее актеру... Придворный человек всем льстит, говорит не то, что думает, кажется всем ласков и снисходителен, хотя и чрезвычайно надут гордостью. ...В случае нужды никого не щадит, жертвует всем для снискания своего счастья; а иногда, полно, не забывает ли и человечество! Ничего не делает, а показывает, будто отягощен делами: словом, говорит и делает почти всегда противу своего желания, а часто и противу здравого рассудка"<sup>49</sup>. Но он также понимал, что "у нас чины выше всего уважаются"<sup>50</sup>, а потому раз и навсегда отказавшись еще в юности от карьеры, признавал службу важнейшим и практически единственным безболезненным путем социализации личности. Он не забывал поздравить друзей "с получением чина", волновался за будущее детей покойного друга И.Г. Шварца просил оказать родственнику "чувствительное благодеяние, пристроив его ...к местечку", и "выпросить... в портупей-прапорщики" сына соседа по имени<sup>51</sup>.

Такая бесконфликтность в отношении к власти, удаление в усадьбу, отказ от публично заметной деятельности породили всеобщее мнение, что Новиков был сломлен арестом и тюрьмой. Это мнение разделяли современники, потомки и даже все поколения исследователей судьбы Новикова. Причина подобной оценки кроется в сложности неординарного поведения "частного человека" в России на рубеже веков.

### *Люди премудрые тихо живут*

Можно условно выделить несколько форм девиантного поведения дворянина, которые прослеживаются по источникам личного происхождения. Критерием данной группировки являются степень осознанности отклонения от нормы и мотивы личности, поскольку любой поступок есть функция той или иной системы ценностных ориентаций.

Первый тип, наименее интересующий нас в ракурсе обозначенных проблем, я бы назвала рассчитанно-девиантным поведением, имеющим часто совершенно стереотипные импульсы, основанные на традиционном понимании сущности успеха и престижа. Это поведение не выходит за рамки дозволенной оппозиционности, благосклонно воспринимается властью и господствующим мнением и, как правило, нацелено на конкретные результаты – получение награды, высочайшее одобрение, благоприятное решение определенных вопросов службы и карьеры и т. д. Сферой реализации подобного поведения могли быть и придворные круги, и высший свет. Это эпатажное фрондерство наблюдается в действиях представителей властвующей элиты.

Два других типа девиантного поведения можно связать с индивидуализацией взглядов и ценностей личности. Но если один из них я бы назвала "динамичным", являющимся следствием самоутверждения, самостановления индивида, то другой – "статичный", свидетельствующий о самоосуществлении, самостоянии личности. Форма динамичная либо является следствием формирующейся системы ценностей и потому присуща возрастам, которые обычно относят к периодам социализации, либо связана с резким изменением взглядов под воздействием пережитых потрясений того или иного характера (потеря статуса, смерть покровителя, смена царствующих особ, крах карьеры, болезнь, потеря близкого человека). Часто действия личности резко отклоняются от нормы и взрывают традицию, что имеет большой резонанс в обществе и не проходит незамеченным для власти. Носители данного типа поведения были представителями как властвующей, так и вторичной, отстраненной от власти элиты. Действия подобных неординарных личностей могли проявляться как в сфере господства традиционных норм, так и на социальной периферии, где давление стереотипа ослаблено.

Так называемый “статичный” тип девиантного поведения является следствием сформировавшейся системы ценностей, не совпадающей и часто контрастирующей с превалирующими ориентациями. Усилия личности при этом направлены не на вызов традиции, а на позитивную реализацию собственных взглядов. Часто такие люди стремятся уйти от столкновений с господствующими нормами и выбирают сферой своего существования социальную периферию. Иногда они приходят в конфликт с властью, а иногда остаются для нее незамеченными. Этот феномен девиантного поведения еще недостаточно изучен. Его появление в среде дворянской элиты XVIII–XIX вв. я фиксирую с последней трети XVIII в. В 30-е годы XIX столетия подобная форма самоопределения личности получит название “принятия действительности” или “примирения”, а вернее – “высокого примирения с действительностью”. Отказ от борьбы с господствующей нормой при сохранении верности собственным взглядам и цельности собственной личности иногда высвобождает чрезвычайную творческую энергию, значительно расширяет пространство внутренней свободы и делает человека неуязвимым для власти.

Сложность исследования данного явления внутренней жизни личности заключается в том, что оно созерцательно, иногда медитативно, часто не дает о себе знать в ярких поступках.

Воды глубокие  
Плавно текут.  
Люди премудрые  
Тихо живут<sup>52</sup>.

Так, практически бессобытийными были и дни Новикова в Тихвинском два последние десятилетия. На сей раз власть позволила ему жить в своей сфере, “малой и короткой”, занимаясь “известными материями”.

В письмах Новикова отразилась удивительная вязь повседневной замкнутой жизни человека, осуществлявшего себя вне всякой иерархии, заключившего перемирие с престолом. Он создал свой круг с особой атмосферой и отношениями. В одном из писем Новиков так определил координаты частной жизни, куда не могут грубо вторгаться посторонние: “...что бы вы сделали, ежели бы к вам въехал человек в дом, захотел бы всем домом, всем имением, вашими детьми, вами самими, вашими упражнениями, и всем что только вообразить можно, управлять по своим мнениям, по своему, дочерей выдавать за таких женихов и тогда как ему захочется, сыновей вести так как он думает по своему”<sup>53</sup>. Неприкосновенный мир человека составляли: имение, дом, семья, дети, их воспитание, уклад жизни и собственно личность человека, его “упражнения”, взгляды, мысли. Именно эту сферу оставил за собой Новиков, когда не принял чиновной службы и отошел от общественной деятельности.

УТРЕННИЙ СВѢТЪ,

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ  
ИЗДАНИЕ.

ЧАСТЬ I.

мѣсяцъ Октябрь.



печатаю

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

въ Типографіи ИМПЕРАТОРСКАГО Свѣтло-  
путнаго Шляхетнаго Кадетскаго Ко-  
нуса,

1777 ГОДА.

### *Отеческое наследие, единственное имение и пристанище*

“Частный человек” не только ориентировался на отличную от господствующей систему ценностей, он должен был для ее реализации в жизни создать собственную нишу. Конечно, главной суверенной областью был внутренний мир личности, но российское дворянство, обладавшее известной бытовой свободой, располагало и чисто территориальной сферой, относительно независимой от воздействия официоза.

Есть некая логика в жизни Новикова. В 1779 г. он принимает предложение куратора Московского университета масона М.М. Хераскова оставить Петербург и взять в аренду университетскую типографию, которая была в то время в жалком положении и почти не давала дохода. Удаленная от двора старая столица не случайно стала местом первого в России независимого издательства. Еще в журнале “Живописец” Новиков назвал учрежденное императрицей “Общество, старающееся о напечатании книг” “наипохвальнейшим и наиболее полезным учреждением, о каком токмо частным людям помышлять дозволяется”<sup>54</sup>. П.Н. Милюков охарактеризовал начинание Новикова как “первое широкое практическое предприятие, осуществленное коллективно русской интеллигенцией, обществом частных людей, по собственной инициативе”<sup>55</sup>. Не было случайностью и существование в Москве кружка мартинистов, важного направления в русском масонстве, которое Н.А. Бердяев считал “первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью”<sup>56</sup>. Действительно, борьба государства за монополию в идеологии и образовании, жесткая секуляризация культуры вытеснили философские искания интеллектуальной знати в сферу интимной духовной жизни.

В московскую элиту последней трети XVIII в. входили бывшие вельможи, по тем или иным причинам удалившиеся от двора, представители древних и богатых фамилий, оставившие службу. В столичном бюрократическом Петербурге боролись за карьеру, раскатывали чины и деревни, а в Москве критиковали, изливали горечь вынужденной или добровольной отставки. Не порывали связи с Москвой и знатные сановники, перебравшиеся в относительно молодую столицу. В первопрестольной у них сохранялись особняки на случай падения, которое всегда могло произойти в столь неровное женское правление. Зимой Москва наполнялась крупными помещиками из Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ярославской губерний и из знаменитых подмосковных усадеб, кольцом окружавших старую столицу. К этим подмосковным принадлежало и Тихвинское Новикова.

Загородная усадьба являлась еще одной и, пожалуй, важнейшей сферой жизни “частного человека”. Российский дворянин, который мог посвятить себя государственной службе, а мог выйти в от-

ставку и провести долгие годы в поместье, имел альтернативные возможности и известное право выбора. При этом предпочтение свободы связывалось именно с жизнью в усадьбе Любоя, даже незначительный "неуспех по службе", утрата престижных позиций, желание покинуть свет, т. е. скрытый или очевидный, внутренне мотивированный или ситуативный конфликт с официозом, вызывали спасительную мысль о бегстве в деревню. Уединение в усадьбе представлялось и панацеей, и пасторалью, становилось своеобразной психологической нишей, защищавшей от давления власти и подчиненного ей мнения света. Идеал тихой спокойной деревенской жизни, подпитываемый сентименталистскими образами мирных поселян, прочно укоренился в сознании русского дворянина, поддерживая часто иллюзорную надежду на возможность безболезненного ухода. Столкновение с реальностью не заставляло себя долго ждать, но это была уже другая реальность, задающая иной спектр проблем.

Я осмелюсь на сравнение в определенном ракурсе усадьбы образованной фрондирующей элиты с монастырем средневековой Руси. Для светской культуры рубежа веков деревня стала и местом ссылки неугодного дворянина, и местом, куда мог удалиться человек, пересмотревший общепринятые "в миру" ценности, о которых писал сподвижник Новикова Лопухин, проживший последние годы в своем имении. "Гонит меня к уединению и наскучливость, так сказать жизни; в которой испытал я, хотя в образчиках, все мечты суетного счастья – и знатность породы и чинов, – коего так малодушно кичатся – и бренность богатства – и тщетность похвал и почестей"<sup>57</sup>.

Во время гонений на московских мартинистов в 1786 г. императрица всячески препятствовала возрастающему влиянию новиковского кружка на общественное мнение. Она лишет три комедии – "Обманщик", "Обольщенный" и "Шаман Сибирский", поставленные на сцене Эрмитажного театра, в которых не только осмеивается масонская мистика, но и звучит реальная угроза. "Как сведают доподлинно, колико его учение не сходствует с общим установлением, то достанется и тому, кто привез лжеучителя... советую тебе дружески: поезжай, брат, в деревню... хотя на время"<sup>58</sup>. После ареста Новикова его единомышленники, Н.Н. Трубенцкой и И.П. Тургенев, названные в высочайшем указе "сообщниками", действительно были принуждены "отправиться в отдаленные от столицы деревни их и там иметь пребывание, не выезжая отнюдь из губерний, где те деревни состоят"<sup>59</sup>.

В то же время усадьбы интеллектуальной элиты, куда разгневанная императрица могла сослать авторов "заразительных бумар"<sup>60</sup>, становились теми нервными точками, через которые пульсировала духовная жизнь дворянства. После разгрома лож мартинистов кружок Новикова, как доносил генерал-губернатор Москвы А.Я. Брюс, "собирается приватно, чего и запретить невозможно, в виде при-

ательского посещения, вне Москвы, у кн. Н.Н. Трубецкого, в деревне, называемой Очаково<sup>61</sup>. Издания существовавшей в Москве тайной типографии мартинистов хранились в подмосковной усадьбе князя П.А. Черкасского, откуда из-за сырости помещений были позже перевезены в Тихвинское. Сам Новиков в драматичные моменты обострения отношений с властью уезжал в свою подмосковную. Так случилось в 1788 г., когда императрица заинтересовалась напечатанной в типографии "Историей ордена иезуитов", была сделана опись изданным книгам, начались допросы и гонения на мартинистов. И после освобождения из Шлиссельбургской крепости Новиков уехал в Тихвинское, решив отказаться от всякой общественной деятельности.

Показательно, что местом уединения Новиков избрал родовую вотчину. Конечно, фамильное владение не могло защитить дворянина, и в случае необходимости правительство настигло бы его где угодно. Во время ареста Новиков был взят в том же Тихвинском, а большую часть его собственности конфисковали. Но власть, видимо, теперь потеряла к философу всякий интерес, и он смог в усадьбе создать маленький мир, живущий по своим законам.

Новиков называл родовое имение селом Тихвинским, помечая так все многочисленные отправленные из усадьбы письма. Ни в одном послании не указано, что оно написано в Авдотьино, как иначе именовалась собственность Новиковых, по всей видимости, в честь некой Авдотьи, жены одного из прежних владельцев. Николай Иванович чтит возведенный им, а заложенный еще отцом на месте старой деревенской церкви, каменный храм иконы Тихвинской Божьей Матери. Поклонник таланта философа Алексей Ярцев, посетивший село в конце XIX в. и оставивший записки "Поездка в родовую вотчину Н.И. Новикова"<sup>62</sup>, сообщает, что по преданию Тихвинская икона еще в XVII в. была привезена из Греции предком Новикова, служившим воеводой. Население верило в ее чудотворную силу, хранило в памяти истории о божественном исцелении и в день храмового праздника 26 июня стекалось из ближних и дальних деревень на крестный ход<sup>63</sup>. Церковный ансамбль, сохранившийся до наших дней, включает собственно здание храма, трапезную и колокольню, возведенную, по предположению И.Э. Грабаря, В.И. Баженовым, человеком, близким Новикову и по взглядам, и по драматизму судьбы. "...у нас же Церковь и колокольня каменные с богатою утварью и ризницею", — напишет Новиков в одном из писем<sup>64</sup>. "Богатая утварь", столь необычная для сельской церкви, была щедрым даром самого философа, который также принимал участие в определении сюжетов росписи и даже сам готовил эскизы<sup>65</sup>, воспроизводящие, в частности, масонскую символику. Мне не удалось найти сведений о могилах предков Новикова, но очевидно, что на погосте главной фамильной усадьбы обрели они свой последний приют. Сам Новиков

похоронен в Тихвинской церкви, рядом на родовом кладбище лежат его дети и ближайший друг С.И. Гамалея, надпись на гранитном памятнике которому гласит: "Подвигом добрым подвизался, течение скончах, веру соблюдох".

Церковь, хорошо видная путнику, едущему со стороны Бронниц по старой Каширской дороге, а также кладбище и домик причта находились всего в 200 метрах от господского дома, к которому вела широкая въездная аллея. Усадьба Новикова располагалась на живописной речке Северке<sup>66</sup>. В одном из писем автор указал: "На бреге Северских вод"<sup>67</sup>.

Дом, где располагался хозяин Тихвинского с детьми и близкими друзьями, не сохранился. Был он деревянный, оштукатуренный, двухэтажный. Окна кабинета, служившего Новикову также спальней, и библиотеки открывались на спуск к светлой и быстрой Северке. У стены напротив стояли диван и бюро, заваленное кипой бумаг и заставленное лекарствами, которыми Новиков лечил крестьян. Имелись в доме комнаты для гостей и угловая приемная, где собирались пить чай и беседовать. Стены дома украшались портретами близких и знакомых Новикова, поскольку он несколько раз в письмах просит выслать ему "эстампы с портретов"<sup>68</sup>.

Тихвинское было пожаловано, как указывает исследователь Н.Л. Антонова, ссылаясь на переписную книгу, предку Новикова стольнику Ивану Андреевичу в 1620-х годах за службу в вотчину<sup>69</sup>. А.А. Ярцев же в 1894 г. свидетельствовал, что "роду Новиковых Авдотьино-Тихвинское принадлежало лет четыреста и считалось главной вотчиной между остальными их поместьями в других губерниях"<sup>70</sup>. После конфискации собственности в связи с арестом Новиков сохранил за собой только Тихвинское. В письме к императрице Марии Федоровне он назовет свое владение "единственным в разоренном... состоянии оставшимся имением и пристанищем"<sup>71</sup>.

Многолетний фруктовый сад и цветы, выращенные издателем, который "за садоводство принял, чтобы чем-нибудь заняться"<sup>72</sup>; церковь, заложенная отцом и освященная чудотворной фамильной иконой; масонские знаки в росписи храма, составленной по собственным эскизам; библиотека любимых книг и манускриптов; портреты близких на стенах в доме; колокольня, по всей видимости, возведенная другом – все это превращало усадьбу, несколько столетий принадлежащую Новиковым, в территорию с накопленной и концентрированной духовной энергией.

Новиков любил Тихвинское. Здесь он родился в 1744 г. в семье отставного советника Ивана Васильевича, получил первые уроки Закона Божьего от дьячка все той же Тихвинской церкви, сюда часто приезжал во время учебы в гимназии при Московском университете и своей издательской деятельности, уже с женой Александрой Егоровной Римской-Корсаковой и детьми, здесь был арестован в



1792 г., сюда возвратился поздней осенью 1796-го “дряхл, стар. согбен, в раздранном тулупе”<sup>73</sup>, здесь провел более 20 лет, здесь был похоронен в 1818 г.

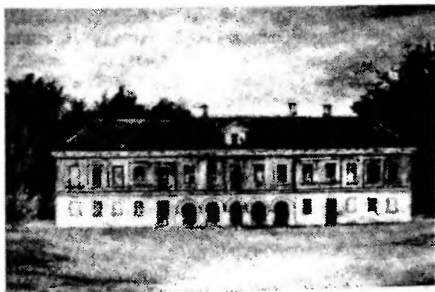
Многие исследователи полагают, что Новиков провел последние 20 лет своей жизни в крайней бедности, которая сломила его духовные силы. «Не было уже бывшего “властителя дум”, смелого, энергичного просветителя и издателя, – пишет Н.Л. Антонова, – был помещик, задавленный долгами, хозяйственными заботами, воспитанием детей»<sup>74</sup>. Посетившему в начале XIX в. Тихвинское архитектору А.Л. Витбергу бросилась в глаза ветхость господского дома, запущенность сада, печать нужды и отшельничества на всей усадьбе<sup>75</sup>. Действительно, Новиков часто упоминает в письмах о горьких, бедственных обстоятельствах, телесных болезнях, расстройстве здоровья, “крайностях”<sup>76</sup>. Оставшиеся от разоренной Типографической компании долги кредиторам легли тяжким бременем на хозяйство Тихвинского, которое “по требованию Опекунского Совета велено уже было Земскому Суду описать... и взять в свой присмотр”<sup>77</sup>. Лишь личное обращение Новикова к вдовствующей императрице спасло имение от продажи. Из-за плохих урожаев часто вынужден он был кормить крестьян и дворовых покупным хлебом, входить в новые долги, “платя несносные проценты”<sup>78</sup>, беспрестанно бороться “с нуждами, недостатками, и ежедневно напрягая и без того уже изнуренные силы в изобретении способов и переворотов”<sup>79</sup>. Достаточно привести несколько дней из жизни хозяина Тихвинского, о которых он сам поведал в письме к соседу Д.П. Руничу. “...в воскресенье начался припадок у Вани, и продолжался... почти целую неделю... А между тем в сие время шпиковали меня бумагами от земского исправника ...Кратко сказать, что я во все его время был как на спицах, так что я и позабыл, что еще рекруты не поставлены... Министр требует непременно за страхование”<sup>80</sup>.

Несмотря на все трудности, письма Новикова преисполнены достоинства, такта и мягкого юмора. Жизненная стойкость всегда была ему присуща. Он пытался с улыбкой и даже шуткой нести груз разоряющегося хозяйства. Нередко в посланиях он благодарит друзей за поддержку, которую они “принимали” “в горьких, тяжких и бедственных обстоятельствах; я не хочу обременять вас описанием оных”<sup>81</sup>.

Новиков, счастливым образом сочетавший истинную духовность с деятельной практичностью, не только сетовал на тяжкие обстоятельства, но и с присущим ему талантом и энергией “из книгопечатателя, учинился суконным фабрикантом” и, “помогая своим нуждам и недостаткам, завел у себя суконную фабричку, на которой и делают уже довольно изрядные сукна и байки”<sup>82</sup>. Отказавшись от издательской деятельности, он подумывал, как бы приспособить “старый типографский куб” и “медные доски” для производства вод-



Тихвинское. Господский дом. Реконструкция Б.С. Земенкова.



ки из свекловицы, которую по первым опытам “знатоки признали... за вейновую гданскую”<sup>83</sup>. Усиленно занимался Новиков также садоводством и огородничеством, выписывал через друзей семена, черенки, саженцы, надеялся развести доходные сорта фруктовых деревьев, ягодных кустов, овощей. Из Тихвинского шли добрым знакомым “деревенские гостинцы”, “бутылка вишневки; бут. черной смородиновки; бут. красной смородиновки; бут. клубнишнику; бут. ребиновки; бут. грушовки; бут. малиновки. ...Наливки извольте во здравие кушать, а бутылки и прежние и нынешние извольте со временем возвращать”<sup>84</sup>.

Дни Новикова наполнялись не только хлопотами по преодолению “разоренного состояния”, но и заботами о воспитании и лечении детей, особенно Ивана и старшей дочери Варвары, непрерывавшейся активной перепиской, чтением и обсуждением книг теософского содержания с другом и единомышленником Гамалеей, собственными религиозно-мистическими “упражнениями”, которые он или записывал, или надиктовывал младшей дочери Вере. Биограф Новикова М.Н. Лонгинов так описывает распорядок жизни философа: “Он вставал в 4 часу утра, выпивал чашку чаю, садился к своему письменному столу, на котором зажигались четыре восковые свечи, и принимался за письмо и чтение; это продолжалось часов до 8. Обедали обыкновенно в первом часу: сам хозяин, Гамалея, г-жа Шварц и здоровая дочь Новикова, Вера. (Другая дочь и сын по болезни своей обедали особо и в разные часы). Сам Новиков был очень воздержан в пище и по большей части говорил за столом о том, что случилось ему утром прочесть. Часу в седьмом пили чай, а в десять Новиков ложился спать... Всякий день гулял он по саду, который был расположен на 12 десятинах перед домом, или по деревне; ходил на гумно или на суконную фабрику, которая одно время существовала при его имени”<sup>85</sup>. При всей сложности жизнь в Тихвинском отличалась размеренностью, стабильностью и известной самодостаточностью.

“Хозяйственные тяготы” так и остались для обитателей усадьбы “наружными обстоятельствами”. Духовная и интеллектуальная жизнь дома Новикова позволяет увидеть в истории обедневшего Тихвинского проявление важной тенденции развития дворянской усадебной культуры. В рассматриваемый период еще блещут загородные резиденции с визуальным подтверждением фамильной знатности хозяев – гербами, обелисками, портретными галереями предков, мемориальными досками и причудливыми названиями аллей. В то же самое время возникает не всегда сразу узнаваемый феномен усадьбы с особой атмосферой, которая не нуждается в архитектурно-художественном оформлении и часто горделиво культивирует отразившуюся в литературе поэтику бедности, ветхости, заросшего сада и скрипучих половиц. Процесс интимизации усадебного быта соединится с уходом в деревню именно представителей первых поколений

интеллигенции. Так в истории дворянства зародится еще одно феноменальное явление – маленькое небогатое имение, без “покоев праздных”<sup>86</sup>, с чрезвычайно интенсивной духовной жизнью. Не став цитаделью феодала и центром экономически могущественной латифундии, усадьба превращается в духовный оплот дворянина. На землях самовластного государства возникнут оазисы интеллектуальной и нравственной независимости.

Тихвинское Новикова в отличие от многих усадеб, возникших после Манифеста о вольности дворянства по всей европейской территории расширявшей свои границы империи, имело несколько веков истории. Однако Новиков особое значение придавал не архитектурному увековечиванию родовой памяти, а отношениям, создаваемым им на своей маленькой, но суверенной территории. Тихвинское при Новикове предстает не столько фамильной вотчиной, сколько духовной обителью, пусть “страждущей и болящей”. Это проявилось и в элитарной избранности тех, кому были открыты двери дома, и в общении живущих с Новиковым людей. Он не противопоставлял соединяющие его с домашними узы родства и узы дружбы.

### *Обитель наша*

В письме к сыну покойного друга, архитектора В.И. Баженова, Новиков сообщал, что дни свои в Тихвинском делил “с троими нездоровыми детьми, с невесткою... с верным моим другом, с супругою покойного моего друга, и с коротким моим приятелем Лекарем”<sup>87</sup>. В семье Новикова и Александры Егоровны Римской-Корсаковой, родственницы князя Н.Н. Трубецкого, выпускницы Петербургского училища благородных девиц, было трое детей – Иван, Варвара и Вера. В 1791 г. Новиков овдовел. Об этом печальном событии масон А.М. Кутузов писал Н.Н. Трубецкому: “Последнее письмо ваше, извещающее меня о смерти Александры Егоровны, весьма меня растрогало тем более, что вы пишете при том и о слабом состоянии Николая Ивановича. Бог да сохранит его жизни! Признаюсь, что сия последняя потеря была бы со многих сторон важнее, как для его детей, так и для друзей, ибо, говоря чистосердечно, кажется мне, что покойная мало участвовала в воспитании их, да и не имела довольной к тому способности”<sup>88</sup>.

Через год в Тихвинское пришла новая беда – арест хозяина, который, как считается, настолько травмировал старших детей, что они до конца дней страдали расстройством нервной системы. Новиков очень беспокоился о будущем сына, хотел определить его в статскую службу, дал, по всей видимости, неплохое образование, поскольку Иван владел иностранными языками и делал для отца переводы масонских произведений. О Варваре, которая страдала эпилепсией еще более тяжело, чем сын, в письмах упоминается крайне редко. Младшая Вера, вообще не помнившая отца до ареста и не уз-

навшая его в пасмурный ноябрьский день возвращения, стала близким другом Новикова. Он называл ее ласково "мой секретарь", поручал переводы, диктовал свои труды и послания, к которым Вера иногда делала милые изящные приписки.

Любите Веру,  
Уважайте Веру,  
Почитайте Веру,  
Но только не Новикову<sup>89</sup>.

"Верный друг", Семен Иванович Гамалея – фигура весьма значимая в русской духовной жизни XVIII–XIX вв., и не только как наиболее близкий человек Новикову. В статье "Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени" В.О.Ключевский писал: "Для изображения С.И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалею подобает житие, а не биография или характеристика"<sup>90</sup>. Во время максимального усиления крепостничества в России этот "человек первых веков христианства" отказался от 300 душ крепостных на том основании, что со своей собственной нелегко справиться, и предположил особый знак свыше в поступке слуги, обокравшего его на 500 рублей. Гамалея решил, что ему вообще не следует иметь людей, и отпустил пойманного человека, вручив ему похищенные деньги.

Семен Иванович служил правителем канцелярии графа Э.Г. Чернышева, человека мыслящего и покровительствующего просвещению. В 1784 г. он вышел в отставку с тем, чтобы никогда более не возвращаться на службу, и стал одним из самых ревностных розенкрейцеров. Сблизившись с Новиковым, Гамалея с конца 80-х годов безвыездно проживал в Тихвинском, где и был похоронен в 1822 г. Во время заключения друга он, как мог, пытался заменить осиротевшим детям отца. С возвращением Новикова именно Гамалея своим пониманием давал философу столь необходимые духовные и интеллектуальные силы, будучи его главным и порой единственным собеседником. О тончайшем человеческом понимании между друзьями свидетельствуют многочисленные ссылки Новикова в письмах на мнения и взгляды Гамалеи.

"Коротким приятелем лекарем" был доктор М.И. Багрянский, получивший образование на средства основанного Новиковым и его другом И.Г. Шварцем Дружеского ученого общества. Он добровольно, вместе со слугой Новикова, разделил четыре года заключения в Шлиссельбургской крепости.

"Супругой покойного друга" была Мария Ильинична Шварц. Иван Григорьевич Шварц, немец по происхождению, родился в

Неизвестный художник.  
С.И. Гамалея.  
Конец XVIII – начало XIX в.  
Холст, масло.



Трансильвании. В 1779 г. он приехал в Москву, где куратор университета М.М. Херасков предложил ему место профессора немецкого языка. Шварц подружился с Новиковым и помогал ему в организации Типографической компании. В доме Шварца находилась тайная типография розенкрейцеров. В феврале 1784 г. Шварц внезапно умер в возрасте 33 лет. Новиков тяжело переживал смерть «друга и благодетеля»<sup>91</sup>, имея в виду огромное влияние немецкого философа на становление собственной личности. Вскоре вдова Шварца с двумя сыновьями переехала в Тихвинское, где оставалась до конца дней, помогая владельцу имения вести хозяйственные дела. Новиков глубоко любил детей друга. В одном из писем он так сказал о Павле Ивановиче Шварце: «Я его истинно люблю, как родного сына»<sup>92</sup>. Позднее Павел напишет: «Новиков был искренний друг отцу моему: с 8 лет он по праву крестного отца взял меня к себе... любил как родного сына и, умирая, непрестанно спрашивал меня»<sup>93</sup>.

Новиков был очень привязан к своей «болящей и страждущей обители»<sup>94</sup>. На себя одного он взял бремя ответственности за судьбы и благополучие живущих с ним людей. Судя по письмам, обитатели усадьбы мало входили в дела имения, кто по нездоровью, кто по особой непрактичности. В один из драматических дней существования Тихвинского, подлежавшего продаже за долги, Новиков писал: «...я в 1792 году, когда меня взяли в постели и повезли, был гораздо спокойнее нежели ныне. Тогда была надежда, и уверение, что я один страдать буду; а ныне нет надежды, и я видел пред собою пропасть, в

кою повергнуться должны, не один я, но все семейство и живущие со мною друзья, что раздирало сердце мое... должен был все сие скрывать от всех, и они заметили только, что я получил какое нибудь приятное известие"<sup>95</sup>.

Новиков не только один преодолевал "тяжкие обстоятельства", делал "все зависящее и возможное"<sup>96</sup>, ему удалось создать в Тихвинском легкую доброжелательную атмосферу, которую можно уловить по его письмам и звучащему иногда в них мягкому юмору. Так, он посылает в подарок соседу Д.П. Руничу "вместо красных яиц по 10 зеленых огурцов", благодарит за присылку табаку и "за старание о прокормлении моего носа", пыгается заступиться за дьякона Тихвинской церкви через связи адресата, которому "из стари бывали знакомы Архиереи, Архимандриты, Ректоры и прочее черное духовенство, не белое и не пегое"<sup>97</sup>.

В обедневшем Тихвинском шла напряженная интеллектуальная жизнь. Переводимые Гамалеей, Верой и Иваном масонские сочинения подробно обсуждались, велись беседы на общие теософские темы.

Приглашая профессора словесности масона Х.А. Чеботарева и недавно посвященного юного доктора М.Я. Мудрова в гости, Новиков писал: "Здесь дружески побеседуем, так и сон пройдет, решитесь и бодрствуйте"<sup>98</sup>. Видимо, разговоры часто продолжались в Тихвинском за полночь. Главным собеседником Новикова, конечно же, оставался Гамалея. Семен Иванович, прекрасно владея немецким, латынью и некоторыми восточными языками, регулярно преподносил другу "в день рождения и именин по переведенному манускрипту"<sup>99</sup> Совместно с Новиковым они пополняли библиотеку масонских рукописей. Гамалея направлял из Тихвинского многочисленные послания религиозного содержания, которые частично после смерти философа были изданы друзьями<sup>100</sup>. "Письма" эти, с особым почтением называемые "пасторскими посланиями", в продажу не поступали, а расходились между почитателями. В рукописном отделе Санкт-Петербургской публичной библиотеки хранятся выписки из писем Гамалеи, сделанные П.А. Болотовым. Неудивительно, что глубокие по мысли, яркие и убедительные труды философа ходили среди современников и потомков в списках.

Архитектор А.Л. Витберг в воспоминаниях о посещении Тихвинского рассказывает историю, произошедшую с неким А.М. Карамышевым, человеком образованным, воспринявшим материалистические взгляды и усомнившимся в бессмертии души. Автор приводит собственные слова Карамышева, который приезжал в имение Новикова и встречался с Гамалеей. "Без дальних обиняков скажю ему причину моего посещения, т. е., что я решительно сомневаюсь в бессмертии души и надеюсь получить объяснение. Старик начал говорить. Презрение мое заменяется вниманием, наконец пере-

С.И. Гамалея Библиотека, содержащая в себе некоторые  
герметические, каббалистические, магические и иные книги...  
Рукопись.

## БИБЛИОТЕКА,

Содержащая въ себѣ некоторыя  
Герметическія, каббалистическія,  
Магическія и прочія книги;  
Такъ же Писанія  
Свѣдѣніи о древнихъ брр. З. Р. К.  
Мистическихъ свѣдѣн. Книжк. дрвн.

## СИСТЕМЫ.

На Русск. Яз. составл. и сообр. изъ реч. Пер-  
в. для позн. тѣхъ, кои пожелаютъ упражнать-  
ся, въ познаніи Бога, Натуры и себя, и для пока-  
занія пѣхъ, между мисіями ложными, одного истин-  
наго къ тому пути.

## Томъ XX.



Въ С.-П. Мхв. м. с. к. м. 1811. Ч. 1.



ходит в уважение. Не прошло и минуты, и он уже убедил меня вполне"<sup>101</sup>.

Жизнь в Тихвинском можно назвать уединенной только не в отношении близких по духу и мысли людей. "Беспреданно приезжавшим гостям" были рады, им навстречу высылали "полевой экипаж", к радостному визиту "приказывали печь мягкие хлебы и пироги, велели делать хороший квас"<sup>102</sup>. Отмечались в усадьбе "несколькими каплями" храмовые праздники и дни тезоименитства. Однако среди посетителей Тихвинского были только званые и избранные, случайные люди в дом Новикова не попадали. Каждый приезд гостей связывался с желанием хозяина "переговорить и о многом изъясниться", поскольку "чрез переписку сего дела производить нет надобности"<sup>103</sup>. Ради интересов Ордена усадьбу по рекомендации друзей посещали и незнакомые Новикову люди. Так случилось и с архитектором А.Л. Витбергом, о визите которого уже упоминалось, посвященным за несколько лет до встречи с Новиковым. Философ писал перед приездом гостя: "Карла<sup>104</sup> Лаврентьевича я нетерпеливо ожидаю... и сердечно желаю быть для него и для целого дела полезным, и ежели найду способную землю, то рад высеять все что Господин мой даровал мне. ...Я и не выдавши его уже сердечно люблю"<sup>105</sup>. Сам А.Л. Витберг вспоминал: "Старики, казалось, полюбили меня. Я провел у них несколько дней и после раза два приезжал к ним. Каждый раз беседовали мы долго; мне было очень любопытно знать жизнь Новикова. Многое рассказывал он"<sup>106</sup>.

Новиков не терпел празднословия и в беседах, и в письмах. "Болтать не мудрено, лишь бы была хороша память, а то можно и целый век проболтать"<sup>107</sup>. В письме Н.Н. Трубецкому он спрашивал: "Неужели и нам вести переписку о городских новостях?"<sup>108</sup>

Предполагаю, что до нас дошла лишь незначительная часть обширного эпистолярного наследия Новикова. Но и сохранившиеся 129 писем 1797–1818 гг. почти 30 адресатам, где упоминается о контактах и дружеских отношениях еще с несколькими десятками людей, многие из которых посещали Тихвинское, свидетельствуют об интенсивности общения Новикова.

Лучше сохранились его письма Н.Л. Сафонову, масону теоретического градуса, состоявшему в ложе "Девкалион", руководителем которой был Гамалея; Д.П. Руничу, посвященному в 1804 г. в ложе "Умиравший сфинкс"; А.Ф. Лабзину, также масону, воспитаннику Педагогической семинарии, открытой в 1779 г. при содействии И.Г. Шварца; Ф.П. Ключареву, принадлежавшему к ложе "Озирис", куда входил и Новиков. Среди адресатов были давние друзья, Н.Н. Трубецкой и Ф.И. Ладыженский, с которыми он создавал Типографическую компанию и Дружеское ученое общество, просветительскую благотворительную организацию московских розенкрейцеров, также издававшую книги и поддерживавшую образование мо-

лодых людей за границей. С особым вниманием относился философ к молодым посвященным, в частности доктору М.Я. Мудрову, “человеку весьма искусному”<sup>109</sup>, к директору Благородного собрания М.В. Перваго, рукоположенному самим Новиковым в “великие мастера” незадолго до смерти и ставшему главным хранителем его библиотеки и рукописного собрания. Новиков считал, что водитель “ведомого бр[ата] поставит на прямой путь, узнает нравственность его, поправит понятия его о вещах, направит и устремит его к истинной цели”<sup>110</sup>.

Новиков писал людям богатым и бедным, высокородным и детям купцов и священников, поднявшимся к вершинам власти и подвергнувшимся опале. Нельзя сказать, что он абсолютно отстранился от правящей элиты. Н.Н. Трубецкой был сенатором, Х.А. Чеботарев статским советником, Д.П. Рунич одно время исправлял должность московского почт-директора, Ф.П. Ключарев с 1816 г. также являлся сенатором. Однако для Новикова существующее в обществе уважение к чинам заменялось вниманием к градусам, и многие люди делились на “посвященных” и “профанов”. Однажды он написал Д.П. Руничу о сыне И.Г. Шварца: “Полюбите его, он хотя еще и профан, но по сердцу предоброй а по уму прелюбезный человек”<sup>111</sup>.

С просьбами о “помощи к содержанию нашему”<sup>112</sup> Новиков предпочитал обращаться к людям своих воззрений, пристрастий и веры. “Не солгу, когда скажу, что вы остались мне один, к которому я осмеливаюсь в бедах моих и горестях прибегать и просить помощи; а прочие ближние мои далече от меня стаща”, – писал он Ф.П. Ключареву<sup>113</sup>, когда Тихвинскому угрожала продажа.

Безусловно, Новиков терял друзей, сполна переживал горечь предательства и равнодушие благополучных, но он всегда допускал к себе только единомышленников. “Обедняли друзьями, за то узнали истинных и мнимых”. “Люди нас оставили: но Господь Бог по милосердию своему не оставляет нас”<sup>114</sup>. “Известная материя” определяла и круг общения Новикова, и главный нерв, стержень, смысл его жизни.

### *Тесный сокровенный путь и человеческая моя надежда*

В России масонство было известно с конца XVII в., а впервые ложи появляются в 30–40-е годы XVIII столетия. Именно в царствование Елизаветы Петровны в среде образованного дворянства возникает собственно русское масонство, привлекающее “немалое число знатнейших особ в государстве”<sup>115</sup>. В ложах присутствовали и поэт А.П. Сумароков, и затем историк М.М. Щербатов, дипломат Я.И. Булгаков, канцлер Н.И. Панин и многие другие вельможи, литераторы, крупные чиновники. В конце 1770-х и начале 1880-х годов в России более 2 тыс. дворян входили в десятки масонских лож<sup>116</sup>, которые полуконспиративно собирались в особняках Пе-

тербурга и Москвы, в губерниях, уездных городах, помещичьих усадьбах.

Распространение масонства в России было связано не только с особой восприимчивостью дворянской элиты к идеям, идущим из Западной Европы, приверженностью к модному развлекательному философствованию и тем более не с цинизмом ловких авантюристов, "шарлатанов и обманщиков"<sup>117</sup>. Мыслящий дворянин, переживший кризис традиционного религиозного сознания, глубокую внутреннюю неудовлетворенность и, следовательно, безотчетную тревогу, видел в масонстве сферу самоосуществления, "кратчайший путь" "по стезям христианского нравоучения к нравственному исправлению"<sup>118</sup>. Таким человеком, для которого масонство определило логику жизни, был Новиков. Отвечая на "вопросные пункты" начальника Тайной экспедиции С.И. Шешковского, он со свойственной ему "по тихости и чувствительности... нравственного характера"<sup>119</sup> искренностью поведал о своем нелегком и очень личностном пути к масонству. Из многочисленных направлений этого неоднородного и эклектичного течения он первоначально наиболее близко подошел к так называемой английской системе, возглавляемой "Великим Провинциальным мастером для всей России" И.П. Елагиним. "В масонство... английское вступил я не по собственному исканию или побуждению, но по приглашению... и то на таких условиях, чтобы не делать никакой присяги и обязательства... мне не нравилось сие масонство, ибо хотя и делались изъяснения...на ...самопознание, но они были весьма недостаточны и натянуты"<sup>120</sup>. Он стремился в масонстве к "познанию Бога, природы и себя", "упражняясь в нравственности"<sup>121</sup>. Жесткое соблюдение богослужебного ритуала в православном храме не соответствовало внутреннему состоянию Новикова, но его также не захватывало "изъяснение иероглифов и аллегорий"<sup>122</sup> в ложе. Обретение "истинного христианства" для него заключалось в попытке воплотить в реальной жизни заповеди Нагорной проповеди, а не в ревностном исполнении обрядов.

"Между тем был между масонами слух, что есть истинное масонство... Мы, разведывая, узнали, что сие масонство привезено бароном Рейхелем из Берлина"<sup>123</sup>. Именно Рейхель указал Новикову на главный критерий "истинного масонства" – "всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное"<sup>124</sup>.

Поиск "истинного" "малочисленного масонства"<sup>125</sup> привел Новикова к розенкрейцерам. История ордена злато-розового креста уходит в глубь средневековья, но тот круг, в который через профессора Московского университета И.Г. Шварца вошли московские масоны, возник лишь во второй половине XVIII в. во Франкфурте-на-Майне. На базе розенкрейцерской московской организации Новиков и его друзья развернули свою издательскую,

просветительскую и филантропическую деятельность. “Среди розенкрейцеров были люди поистине высокого строя души, глубоко страдавшие... смелые и принципиальные в своем презрении к разврату помещичьей власти и вельможного круга”, – писал Г.А. Гурковский<sup>126</sup>. В 1779 г. была основана “Учительская семинария” при Московском университете, в 1781 г. Шварц и Новиков создали “Собрание университетских питомцев”, первое в России студенческое общество. Тогда же начало действовать “Дружеское ученое общество”, вскоре учредилась “Переводческая семинария”, студенты которой учились на средства новиковского кружка. Розенкрейцеры открыли в Москве больницу и аптеку, в которой бедным выдавались лекарства бесплатно. «Простому человеку, как Новиков, – писал П.Н. Милоков, – богатому только своим здравым смыслом, истинная “тайна” масонства видна была сразу... Новиков с самого начала отнесся враждебно к “пышным церемониям” “храмового” масонства, а к чернокнижническим тайнам розенкрейцеров остался довольно равнодушным. Но он быстро понял значение масонства как нравственной теории и оценил влияние масонства как общественной силы»<sup>127</sup>.

Разгромом кружка московских мартинистов<sup>128</sup>, арестом Новикова и запрещением масонства печально завершилось яркое “Новиковское десятилетие”. Однако во время следствия, допросов безжалостного Шешковского и четырех лет заточения Новиков не отрекся от воспринятых им истин. Чем больше он размышлял, чем более креп его дух, осененный “огненными крестами”<sup>129</sup> жизненных страданий, тем глубже он понимал важность масонства в своей судьбе.

В царствование Александра I именно Тихвинское становится одним из духовных центров российского розенкрейцерства. Свой долг Новиков видит теперь в распространении сокровенного знания среди молодого поколения. “Мы возчувствовали правильнейшие понятия о высоком учении святых учеников Его и сделались способными и сильными учить и вести других по учению”<sup>130</sup>. Через “поручительство” Новикова<sup>131</sup> шло возведение в степени “теоретического знания” розенкрейцеров. В выборе посвященных он был особенно пристрастен. “Я ныне стал, слишком может быть недоверчив к тем, коих не имел еще времени испытать... изливчивые не в меру, многоглаголивые и проч. Наипаче же не имеющие еще отверстого внутреннего слуха на свои слова...”<sup>132</sup>.

Новиков умел отделять суетные дела и “всякие профанские занятия” от “приближения к Ордену”<sup>133</sup>. В этом отношении переписка с братьями по вере стала для него исполнением назначения и радостным занятием, оттачивавшим собственную мысль и прояснявшим истину. Иногда он просил “сберечь сие письмо до моего приезда; ибо мне желается получше и почище обработать сию материю и привести

в надлежащую форму. Теперь же я старался только положить на бумагу мысли, как они приходили"<sup>134</sup>. Часто в письмах Новиков разбирает масонскую литературу, "рекомендует чтение", которое поможет "почерпнуть правильное о Св. О[рде]не понятие"<sup>135</sup>. Он не преминул откликнуться на сочинение Н.М. Карамзина "Мелодор к Филалету", имеющее форму письма к другу. "Из сочинений ваших 6 и 7 томы, я с возможным мне вниманием прочитал от доски до доски. О приятном, хорошем и прекрасном говорить теперь ничего не буду; но что касается до философии, о том хочу несколько слов сказать"<sup>136</sup>. Карамзин посетил Тихвинское, и, как передают биографы Новикова, между историком и философом состоялся разговор о путях познания Бога, природы и человека. Их мнения на эти проблемы оказались различными, "что, впрочем, не помешало тому, что они расстались в лучших отношениях"<sup>137</sup>.

Новиков напряженно работал над пополнением собрания религиозной литературы в усадьбе. А.Л. Витберг вспоминал, как хозяин Тихвинского «показывал свою библиотеку, где было много книг переплетенных его собственною рукою. При этом он заметил: "Вот сколько труда; но с искреннею скорбью вижу, что некому завещать все это, некому передать мысли для продолжения начатого"<sup>138</sup>. В этом отношении Новиков ошибся, и, как отмечалось, у него нашлись преемники. Философ с радостью ожидал многочисленные рукописные переводы, постоянно выписывал книги, которые получал "целыми тюками" "по реестру"<sup>139</sup>. "Как бы я желал, чтобы вы доставили Шредерову Химию! – Как бы я рад был, ежели бы вы ее перевели! и совершенно бы доволен был, ежели бы вы могли и напечатать ее"<sup>140</sup>. В шкафах кабинета располагалось 600 томов, отдельно стояли словари и справочники, несколько десятков книг на латинском, французском, немецком языках. Если книгу не удавалось приобрести, то Новиков вместе с Гамалеей переписывали ее<sup>141</sup>. Друзья много размышляли над текстами Священного Писания, постоянно приводили в письмах слова из Нового Завета, торопились донести до близких людей открывшиеся им грани бесконечной истины.

Письма Новикова передают ежечасную практику веры, преломление масонских идей о нравственном совершенствовании в повседневной жизни. Строгая, исполненная внутреннего достоинства и самодисциплины атмосфера господствовала в Тихвинском. Терпение и вера в предопределение стали для Новикова выстраданной позицией. Делая все возможное для поддержания жизни в имении, он никогда не суетился и старался, чтобы "было не по нашей, а по Божьей воле"<sup>142</sup>. Вера Новикова отразилась на его восприятии дружбы, долга перед собой и своей жизнью, на его чувстве патриотизма. Отказавшись первоначально от знакомства с Ф.В. Ростопчиным, он не оставил мысли о содействии Ордену со стороны столь знатного вельможи. "А ежели бы... он бы мог полюбить любимое нами... Может быть

Милосердному Господу, угодно будет учинить его истинным и великим орудием милосердия Его к истинному благу отечества нашего!"<sup>143</sup>. "Благо" для отечества и "благо" для ордена отождествлялись Новиковым, как не были изолированы в его жизни упражнения в познании себя, нравственное совершенствование и заведение школ для сирот.

Отразившееся в письмах и образе жизни отношение Новикова и Гамалеи к вере позволяет приблизиться и к пониманию противоречивого сочетания в их сознании религиозных идеалов и повседневной практики. Ревностные христиане, стремящиеся к нравственному усовершенствованию, масоны существовали на ренту с крещеной собственности. Традиция многих поколений, живущих при крепостническом укладе, естественно, порождала духовную невосприимчивость к распоряжению чужими судьбами. Мифология "добротного барина", отца и покровителя неразумных крестьян также снимала внутреннее напряжение в сознании верующего помещика. Постигание тайн богословской литературы было далеко разведено с сельскохозяйственным предпринимательством, и порой правая рука не знала, что творит левая. Приблизительно в те же годы А.П. Сумароков писал Екатерине II о нравах своего зятя, недогадываясь, что фраза превратилась в удачный символ: "Он сам носит всегда четки, по которым он молится, считает деньги и бьет ими слуг"<sup>144</sup>.

Новиков исправно поставлял рекрутов, торговал крестьянами, оформлял купчие крепости, а "избаловавшихся" мог отдать и в солдаты. Благостный Гамалея жил на средства Тихвинского хозяйства, организация которого давалась его другу нелегко. Его отказ от владения "чужими душами" остался в сфере семиотических поисков, подобно броской метафоре Лопухина, который признавался: "Я... от природы очень не любостыжателен и охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного"<sup>145</sup>. Душевладение было продиктовано им временем, и ликвидация его на рубеже веков была с экономической точки зрения абсолютно иллюзорной. На спрессованной многими десятилетиями глыбе крепостнического базиса России причудливыми цветами кажутся "упражнения в умствовании"<sup>146</sup> московских розенкрейцеров, присущее их "разгоряченным умам"<sup>147</sup> перетекание высших смыслов и прагматики повседневной жизни. В письмах владельца Тихвинского встречаются иногда наблюдения помещика, далекие от всякой экономической целесообразности. "Побитая роза градом... от корня выросла... Коль дивен Господь Бог наш во всех делах своих!!!" " ...в оранжерее можно выгнать весьма рано плоды, не вкусные и не совсем зрелые... Я не вспомню в какой книге читал, где написано: Что всякая скорость есть от дьявола, и ...что ежели бы Адам, хотя на минуту остановился и вспомнил Заповедь Божию, то он бы не пал"<sup>148</sup>.

Масонское учение стало для Новикова критерием многих жизненных явлений, важнейшим источником душевного равновесия и силы. В болезнях, семейных невзгодах, бедности его поддерживала незамутненная сомнениями, чистая, индивидуально пережитая вера. "Относительно к хозяйственным моим обстоятельствам, которые год от году становятся мне тягостнее и горестнее, – писал он в январе 1807 г. Ф. П. Ключареву, – и ежели бы не крепкое упование и несомненная надежда на милосердие Господне меня укрепляли, то признаюсь, что пал бы я под сим бременем"<sup>149</sup>. Он не только мужественно принимал возлагаемые на него "огненные кресты", но и искренне утешался тем, что "его же Господь любит, наказует"<sup>150</sup>. "Обстоятельства мои со всех сторон крайне тесны: но Тот, которой меня поставил в оные не оставляет меня милосердием своим ...даруя мне силы и крепость переносить все с терпением и покорностью" "...всякому должно нести свои кресты, а великий Крестоносец не наложит на нас больше, нежели что снести можем"<sup>151</sup>. Помогал ему "элексир универсалиссиме" "опытами исправленной, мудростию очищенной, и смирением возвышенной любви"<sup>152</sup>. В одном из писем А. Ф. Лабзину Новиков дает рецепт этого чудодейственного лекарства: "...надлежит взять чистого смирения такое же количество как и покорности, и соединить в мельчайший порошок до неразделимости. ...налить чистую, светлую водою настоенною с любовию, осторожностью и опытами, ректификацировать... на весьма умеренном огне, с превеликим терпением и долготерпением"<sup>153</sup>.

Скорбь приблизила Новикова к Богу, а прожитые годы открыли недоступный для юности смысл. Прошло время, когда он, "находясь на распутии... не имел точки опоры, или краеугольного камня, на котором мог бы основать душевное спокойствие"<sup>154</sup>. В Тихвинском уединился стареющий человек, который "сделался неспособным и диким" к "мирским целям"<sup>155</sup>. Последние два десятилетия жизни Новикова, несмотря на болезни, невзгоды и бедность, были освещены покойным светом, который пробивался даже сквозь исполненные печалью строки его писем.

#### *"Вечерняя заря"<sup>156</sup>*

Так, уединившись в обедневшем имении, окружив себя лишь близкими людьми, посвятив дни заботам по поддержанию хозяйства, религиозным беседам с другом, долгим размышлениям и "философической переписке", борясь с недугами детей и собственной надвигающейся старостью, провел Новиков два последние десятилетия своей жизни. Он уже не выпускал сатирических журналов, не раздражал цензуру сомнительными изданиями и не был вдохновителем движения мартинистов. Власть оставила Новикова, и он, не утратив интереса к жизни, сумел вывести камерный ее мотив. "У стариков, радость бывает умеренна и суха... но утешение разливает на

Левицкий Д.Г. (?)  
Н.И. Новиков  
Вторая половина XVIII в.  
Холст, масло



все их члены бальзамическое услаждение, которое утешает боль и производит приятное оживление, хотя и тихо и почти не приметно действует"<sup>157</sup>.

В своих письмах друзьям и единомышленникам Новиков был искренен и открыт. Но даже более 100 обстоятельных посланий из Тихвинского сохранили непостижимую тайну этого человека. В его судьбе есть некая недосказанность, некая загадка, которую он целомудренно хранил и унес навсегда с собой.

В одном из писем И.В. Лопухину Е.Р. Дашкова, образованнейшая женщина своего времени, признавалась: "Мне он тотчас бросился в глаза, и я бы тотчас узнала его без всех ваших рекомендаций по одному его черному пасторскому кафтану, по его башмакам с черны-



ми же особенно глянцеви́тыми пряжками. Лицо его открыто; но не знаю, я как-то боюсь его: в его прекрасном лице есть *что-то тайное!*..”<sup>158</sup>.

\*\*\*

Неординарный, “частный человек” в России рубежа XVIII–XIX вв. относился к меньшинству, не понятому светской массой и не одобренному престолом. Вольно или невольно он противопоставлял себя и свой собственный частный интерес могучему имперскому интересу, с его прекрасно разработанной идеологией, определявшей вербализированные ценности большинства. Через самоопределение происходило постепенное высвобождение сферы личностного существования российского дворянина. Интересы семьи, отношения с другом, независимое творчество, индивидуально осмысленная вера, реализация усвоенных ценностей стали для “частного человека” важнее господствующего понимания социального престижа. В дальнейшем окажется, что эти утверждаемые приоритеты составят истинное содержание человеческой жизни, о котором напишет Л.Н. Толстой: “Жизнь между тем, настоящая жизнь людей со своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне великих возможных преобразований”<sup>159</sup>.

Жизнь такого “частного человека” происходила в собственном проблемном поле и отличалась глубокой внутренней настроенностью. Именно об этом типе русского дворянина писал В.О. Ключевский: “...его нельзя упрекнуть в упрямстве и застое: в нем, напротив, слишком много нравственной гибкости и умственного движения”<sup>160</sup>.

Не совпадающие с нормой умонастроения “частного человека” иногда прорывались девиантным поведением, что могло привести к конфликту с властью. Именно судьба “частного человека” свидетельствовала о диапазоне достижимой свободы, которую предоставляла дворянину его эпоха. Прикосновение к этой судьбе, попытка осмыслить отношения “частного человека” с властью, друзьями, семьей, детьми, реконструкция среды, где протекали его дни, позволяют глубже понять сложную вариативность жизни русского дворянства на рубеже столетий, оценить степень влияния неординарной личности на современников, а может быть, скорее на потомков, на проявившиеся в будущем тенденции духовного развития господствующего сословия.

Престолу становилось все труднее удерживать под контролем усложняющуюся духовную жизнь привилегированного сословия. Просвещенная дворянская элита постепенно освобождалась от давления официальной доктрины. Разрыв духовного союза образованно-

го дворянина и государства проявился не только на уровне рафинированных идей, но и обыденного сознания, поведенческих моделей, оценочных реакций. Постепенно девальвировались общепризнанные ценности, пересматривалось содержание социального престижа, сводимого к чинам и милости монарха. Тем не менее умственное движение интеллектуальной элиты имело не только критическую направленность. Преодоление всепроникающей государственности выразилось в поиске иных сфер реализации личности, относительно независимых от имперского аппарата. Наиболее просвещенная, думающая, интеллектуальная часть дворянства отшатнулась от верховной власти и попыталась осуществить себя на социальной периферии, удаленной от эпицентра действия государственных ценностей.

В этом очерке я попробовала пристальней взглянуть в жизнь человека, порвавшего с официальной средой, прошедшего через конфликт с властью и наконец получившего от нее молчаливое разрешение на независимую жизнь в замкнутом кругу друзей и семьи.

В его ранней и окончательной отставке, нетрадиционном понимании патриотизма, очень личностном отношении к Богу, самостоятельно определенных критериях оценки людей заключались альтернативные возможности существования "нечиновного человека". Оказалось, что можно служить Отечеству, не находясь на государственной службе, можно в мире искательства, протекций и прошений принимать помощь лишь близких по взглядам людей, можно в 60 верстах от Москвы разоренное имение превратить в обитель, к которой, несмотря на официальный "заговор молчания", тянулись люди. Новиков привлекал взоры современников и потомков не столько статьями в сатирических журналах, масонскими поисками и даже не столько размахом издательской деятельности, сколько всей своей судьбой. Независимость "частного человека", угрожающая "порядку и подчиненности"<sup>161</sup>, была неумолимой реальностью России рубежа веков. "Кто же в состоянии обуздать"<sup>162</sup> родившуюся мысль?

Последние 20 лет жизни Новикова стали "Вечерней зарей" его судьбы, но "Утренним светом"<sup>163</sup> для первых поколений самоопределяющейся интеллигенции, поиски которой так и останутся для власти "странными мудрованиями".

## Примечания

<sup>1</sup> *Ключевский В.О.* Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени // *Ключевский В.О.* Исторические портреты. М., 1990. С. 364, 375–376.

<sup>2</sup> Там же. С. 388.

<sup>3</sup> Указ Екатерины II князю А.А. Прозоровскому от 1 августа 1792 г. // *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартилисты. М., 1867. С. 114–115 (приложение).

- 4 Указ Екатерины II архиепископу Платону от 23 декабря 1785 г. // *Новиков Н.И. Избранные сочинения.* М.; Л. 1951. С. 579.
- 5 Указ Екатерины II графу Я.А. Брюсу от 27 марта 1786 г. // Там же. С. 58.
- 6 Русская старина. 1872. № 1. С. 146.
- 7 *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. С. 301.
- 8 Записки сенатора И.В. Лопухина. М., 1990. С. 48–49.
- 9 Указ Екатерины II князю А.А. Прозоровскому от 1 августа 1792 г. С. 115 (приложение).
- 10 Дневник А.В. Храповицкого. По подлинной его рукописи, с биографическою статьею и объяснительным указателем Николая Барсукова. М., 1901. С. 100.
- 11 Указ Екатерины II князю А.А. Прозоровскому от 1 августа 1792 г. С. 115 (приложение).
- 12 Там же.
- 13 Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 308–310.
- 14 Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 1993. Т. 3. С. 278–279.
- 15 А.И. Васильев – сенатор, при Александре I – министр финансов.
- 16 Дневник А.В. Храповицкого. М., 1901. С. 251.
- 17 Там же. С. 232–234, 237.
- 18 Записки сенатора И.В. Лопухина. С. 43, 46.
- 19 Письма русских писателей XVIII века. С. 357.
- 20 См., например: Письма Ивана Ивановича Шувалова к сестре его родной, княгине Прасковье Ивановне Голицыной, урожденной Шуваловой // *Москвитянин.* 1845. Ч. V. № 10. Октябрь. С. 145; Записки сенатора И.В. Лопухина. С. 44.
- 21 См., например: Указ графу Я.А. Брюсу от 23 декабря 1785 г. // *Новиков Н.И. Избранные сочинения.* М.; Л. 1951. С. 578; *Боголюбов В.Н.* Н.И. Новиков и его время. М., 1916. С. 449.
- 22 Письмо И.В. Лопухина А.М. Кутузову. 1790 г., октябрь // *Барсков Я.Л.* Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792 гг. Пг., 1915. С. 17.
- 23 Там же. С. XLV.
- 24 Из донесения архиепископа Платона Екатерине II // Там же. С. XXV.
- 25 Письмо А.М. Кутузова Н.Н. Трубецкому. 1792 г., апрель // *Барсков Я.Л.* Указ. соч. С. 200.
- 26 Там же.
- 27 Письмо А.М. Кутузова Н.Н. Трубецкому. 1790 г., январь; письмо Н.Н. Трубецкого А.М. Кутузову. 1791 г., февраль // Там же. С. 71, 93.
- 28 См. об этом: *Усова С.Е.* Н.И. Новиков, его жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк // *Современники.* Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков. М., 1991. С. 172–173.
- 29 Письмо Н.И. Новикова И.В. Гудовичу. 1811 г., март // Письма Н.И. Новикова. СПб., 1994. С. 149.
- 30 См. об этом: *Усова С.Е.* Указ. соч. С. 173; *Рябов Н.* Несколько сведений об Н.И. Новикове и С.И. Гамалее // *Библиографические записки.* 1859. № 3. С. 81.
- 31 *Карамзин М.Н.* Сочинения. СПб., 1848. Ч. 3. С. 711.
- 32 См. об этом: *Лонгинов М.Н.* Новые подробности для биографии Новикова и Шварца // *Русский вестник.* 1857. Т. XVI. № 15. С. 461.
- 33 Русский архив. 1875. Кн. III.
- 34 Письма Н.И. Новикова. С. 267.
- 35 *Антонова Н.Л.* Авдотьино. М., 1991. С. 59.
- 36 Письмо Н.И. Новикова П.П. Бекетову. 1802 г., октябрь // Письма Н.И. Новикова. С. 65.
- 37 *Новиков Н.И.* Избранные сочинения. С. 606.
- 38 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1782 г., декабрь // Письма Н.И. Новикова. С. 72.
- 39 Письмо Н.И. Новикова Н.М. Карамзину. 1816 г., май // Там же. С. 222–223.

- 40 Письмо Н.И. Новикова Ф.П. Ключареву. 1817 г., июль // Там же. С. 242.
- 41 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. [1801 г., после 20 февраля – 1802 г.] // Там же. С. 58.
- 42 Там же.
- 43 Там же.
- 44 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., апрель // Там же. С.89.
- 45 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1797 г., ноябрь // Там же. С. 51.
- 46 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1802 г., декабрь // Там же. С. 68.
- 47 См. письма Н.И. Новикова С.И. Плещееву, А.Ф. Лабзину, Д.П. Руничу // Там же. С. 60, 69, 200.
- 48 Письмо Н.И. Новикова М.И. Рябовой. 1817 г., декабрь // Там же. С. 246.
- 49 Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 4.
- 50 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., февраль // Письма Н.И. Новикова. С. 87.
- 51 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., январь // Там же. С. 82.
- 52 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М., 1937–1949. Т. 3. С. 471.
- 53 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., январь // Письма Н.И. Новикова. С. 82.
- 54 Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 174.
- 55 Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1995. Т. 3. С. 353.
- 56 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского зарубежья. М., 1990. С. 57.
- 57 Записки сенатора И.В. Лопухина. С. 208–209.
- 58 См. об этом: Милоков П.Н. Указ. соч. С. 372.
- 59 Указ Екатерины II князю А.А. Прозоровскому от 1 августа 1792 г. С. 115 (приложение).
- 60 Там же.
- 61 См. об этом: Милоков П.Н. Указ. соч. С. 372.
- 62 См.: Ярцев А.А. Поездка в родовую вотчину Н.И. Новикова // Исторический вестник. 1894. Т. 58. Декабрь. С. 459–490.
- 63 Там же. С. 468–470.
- 64 Письмо Н.И. Новикова Х.А. Чеботареву. [1814–1815 гг.] // Письма Н.И. Новикова. С. 196.
- 65 См.: Ярцев А.А. Указ. соч. С. 470–471; Антонова Н.Л. Указ. соч. С. 7.
- 66 Ярцев А.А. Указ. соч. С. 465.
- 67 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. [1801, после 20 февраля – 1802 гг.] // Письма Н.И. Новикова. С. 71.
- 68 См., например: письма Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину // Там же. С. 59, 70.
- 69 Антонова Н.Л. Указ. соч. С. 4.
- 70 Ярцев А.А. Указ. соч. С. 468.
- 71 Письмо Н.И. Новикова императрице Марии Федоровне. 1810 г., январь // Письма Н.И. Новикова. С.133.
- 72 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1798 г., март // Там же. С. 52.
- 73 Усова С.Е. Указ. соч. С. 172.
- 74 Антонова Н.Л. Указ. соч. С. 65.
- 75 Витберг А.Л. Записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве // Русская старина. 1872. Т. 5. С. 561.
- 76 См., например: письма Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину, К.В. Баженову, П.Л. Сафонову // Письма Н.И. Новикова. С. 53, 66, 248.
- 77 Письмо Н.И. Новикова Ф.И. Ладыженскому. 1818 г., февраль // Там же. С. 249.
- 78 Письмо Н.И. Новикова В.К. Баженову. 1802 г., декабрь // Там же. С. 66.
- 79 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1802 г., декабрь // Там же. С. 67–68.

- 80 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1809 г., декабрь // Там же. С. 129.
- 81 Письмо Н.И. Новикова П.Л. Сафонову. 1818 г., январь // Там же. С. 248.
- 82 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1802 г., декабрь // Там же. С. 69–70.
- 83 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., февраль // Там же. С. 87–88.
- 84 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1809 г., декабрь // Там же. С. 127.
- 85 *Лонгинов М.Н.* Посещение села Авдотьино-Тихвинского, принадлежащего Н.И. Новикову // *Русский вестник*. 1858. Т. 18. Кн. 2. С. 179.
- 86 *Бакунин А.М.* Осуга. Поэма // *Олейников Д. Александр Бакунин и его поэма "Осуга"* (Наше наследие. 1994. № 29–30. С. 56.).
- 87 Письмо Н.И. Новикова К.В. Баженову. 1802 г., декабрь // Письма Н.И. Новикова. С. 66.
- 88 Письмо А.М. Кутузова Н.Н. Трубецкому. 1791 г., май // *Барское Я.Л.* Указ. соч. С. 216.
- 89 Письмо Н.И. Новикова Х.А. Чеботареву. 1813 г., март // Письма Н.И. Новикова. С. 161.
- 90 *Ключевский В.О.* Исторические портреты. С. 382.
- 91 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1803 г., май // Письма Н.И. Новикова. С. 73.
- 92 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1814 г., февраль // Там же. С. 181.
- 93 Там же. С. 339.
- 94 Письмо Н.И. Новикова Х.А. Чеботареву и М.Я. Мудорову. 1813 г., июнь // Там же. С. 163.
- 95 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1813 г., декабрь // Там же. С. 172.
- 96 Там же.
- 97 См. письма Н.И. Новикова А.Г. Червину, Х.А. Чеботареву, М.Я. Мудрову // Там же. С. 135, 162, 195.
- 98 Письмо Н.И. Новикова Х.А. Чеботареву и М.Я. Мудорову. 1813 г., июнь // Там же. С. 164.
- 99 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., май // Там же. С. 92.
- 100 Письма С[емея]И[вановича]Г[амалея]. 1832. Ч. 1–2. 1836–1839. Ч. 1–3.
- 101 *Витберг А.Л.* Указ. соч. С. 567–568.
- 102 См. письма Н.И. Новикова П.Л. Сафонову, В.В. Беликову, А.Ф. Лабзину // Письма Н.И. Новикова. С. 251, 131, 61.
- 103 См. письма Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину, Д.П. Руничу // Там же. С. 68, 120.
- 104 Карл Лаврентьевич Витберг был лютеранин, затем перешел в православие и при крещении получил имя Александр.
- 105 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1814 г., июль // Письма Н.И. Новикова. С. 190.
- 106 *Витберг А.Л.* Указ. соч. С. 563.
- 107 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1808 г., декабрь // Письма Н.И. Новикова. С. 120.
- 108 Письмо Н.И. Новикова Н.Н. Трубецкому. 1816 г., март // Там же. С. 219.
- 109 Письмо Н.И. Новикова Н.П. Сафонову. 1816 г., июнь // Там же. С. 228.
- 110 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1808 г., декабрь // Там же. С. 120.
- 111 Письмо Н.И. Новикова Д.П. Руничу. 1814 г., февраль // Там же. С. 120.
- 112 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1797 г., ноябрь // Там же. С. 51.
- 113 Письмо Н.И. Новикова Ф.П. Ключареву. 1809 г., январь // Там же. С. 122.
- 114 См. письма Н.И. Новикова Х.А. Чеботареву, А.Ф. Лабзину // Там же. С. 160, 51.
- 115 *Вопросные пункты Шешковского, ответы Новикова, написанные в Шлиссельбурге в июне 1792 г. и возражения на эти ответы // Новиков Н.И.* Избранные сочинения. С. 607.
- 116 См. об этом: *Гуковский Г.А.* Русская литература XVIII века. М., 1998. С. 255.
- 117 *Вопросные пункты Шешковского...* С. 609.
- 118 Там же. С. 608.

- 119 Там же. С. 606.  
120 Там же. С. 607.  
121 Там же. С. 608, 609.  
122 Там же. С. 607.  
123 Там же.  
124 Там же. С. 608.  
125 Там же. С. 609.  
126 *Гуковский Г.А.* Указ. соч. С. 257.  
127 *Милков П.Н.* Указ. соч. С. 351.  
128 Розенкрейцеры усвоили учение французского мистика Сен-Мартена, книга которого "О заблуждениях и истине", вышедшая в свет в 1775 г., стала главным руководством для многих русских масонов. Розенкрейцеров часто называли по имени Сен-Мартена "мартинистами".  
129 См. письмо Н.И. Новикова Ф.П. Ключареву. 1810 г., июнь; письмо Н.И. Новикова Н.Н. Трубецкому. 1816 г., март // Письма Н.И. Новикова. С. 136, 216.  
130 Письмо Н.И. Новикова Н.Н. Трубецкому. 1816 г., март // Там же. С. 218.  
131 См., например: письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1802 г., сентябрь // Там же. С. 64.  
132 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1798 г., март // Там же. С. 54.  
133 Письмо Н.И. Новикова Н.П. Сафонову. 1810 г., ноябрь // Там же. С. 142.  
134 Письмо Н.И. Новикова Ф.П. Ключареву. 1811 г., октябрь // Там же. С. 153.  
135 Письмо Н.И. Новикова С.И. Плещееву. 1801 г., май. // Там же. С. 60.  
136 Письмо Н.И. Новикова Н.М. Карамзину. 1816 г., апрель // Там же. С. 219.  
137 См. об этом: *Антонова Н.Л.* Указ. соч. С. 73.  
138 *Витберг А.Л.* Указ. соч. С. 564.  
139 Письмо Н.И. Новикова А.Т. Болотову. 1815 г., январь // Письма Н.И. Новикова. С. 198.  
140 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., январь // Там же. С. 84. Имеется в виду сочинение врача, химика и поэта Фридриха Вильгельма Йозефа Шредера, известного автора алхимической литературы.  
141 См. об этом: *Антонова Н.Л.* Указ. соч. С. 73.  
142 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1803 г., октябрь // Письма Н.И. Новикова. С. 77.  
143 Письма Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину // Там же. С. 59, 91.  
144 Письма русских писателей XVIII века. С. 150.  
145 Письмо И.В. Лопухина А.М. Кутузову. 1790 г., ноябрь // *Барсков Я.Л.* Указ. соч. С. 24.  
146 Там же. С. 34.  
147 Из донесения архиепископа Платона Екатерине II // Там же. С. XXV.  
148 См. письма Н.И. Новикова Д.П. Руничу, М.В. Первого // Письма Н.И. Новикова. С. 124, 239.  
149 Письмо Н.И. Новикова Ф.П. Ключареву. 1807 г., январь // Там же. С. 108.  
150 Письмо Н.И. Новикова Н.Н. Трубецкому. 1816 г., июль // Там же. С. 229.  
151 См. письма Н.И. Новикова Д.П. Руничу, Ф.П. Ключареву // Там же. С. 124, 150.  
152 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1802 г., январь // Там же. С. 62.  
153 Там же.  
154 См.: *Русский вестник*. 1858. № 15. С. 446.  
155 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. [1801, после 20 февраля – 1802] // Письма Н.И. Новикова. С. 58.  
156 Название журнала, издаваемого Н.И. Новиковым в 1782–1783 гг.  
157 Письмо Н.И. Новикова А.Ф. Лабзину. 1804 г., январь // Письма Н.И. Новикова. С. 85.  
158 *Афанасьев А.Н.* Николай Иванович Новиков. Биографический очерк // Библиографические записки. 1858. № 6. С. 181.  
159 *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 5. С. 160.

- <sup>160</sup> Ключевский В.О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г. В день открытия памятника Пушкину // *Ключевский В.О. Исторические портреты*. С. 395.
- <sup>161</sup> Письмо А.М. Кутузова А.И. Плещеевой. 1792 г., март–апрель // *Барсков ЯЛ. Указ соч.* С. 199.
- <sup>162</sup> Письмо А.М. Кутузова И.В. Лопухину. 1791 г., февраль // Там же. С. 87.
- <sup>163</sup> Название журнала, издаваемого Н.И. Новиковым в 1777–1780 гг.

## Глава 17

### Русский художник первой половины XIX века: сфера общения и досуга

Выявление "сектора" частной жизни в судьбе любого большого художника оказывается достаточно условным. Хорошо известно, что творческий процесс не является выгороженной сферой, вынашивание и реализация замысла подчиняют себе все прочие жизненные цели мастера. Вместе с тем нельзя принять мысль и о "вторичности" или "автономности" частной жизни в судьбе творца. Как великие творческие свершения, так и повседневные реакции, поступки, ожидания порождаются носителем одной и той же ментальности. Поэтому даже неискушенному сознанию трудно мириться с расхожим представлением, будто бы одна часть способностей гения отвечает за высокие порывы, а другая — за обыденные деяния. Жизненный путь и творческий путь художника — это сообщающиеся сосуды; не прямо, но опосредованно незаурядность крупной личности проявляется и в сфере повседневной жизни.

Сопоставление судеб художников одной эпохи позволяет убедиться, что сам характер жизненных и творческих противоречий и прежде всего *способ их преодоления* глубоко укоренены не только в особенностях индивидуального темперамента, но и в ментальности соответствующей культуры. Следовательно, жизненный путь художника, все расставленные на этом пути ловушки и способы уклонения от них характеризуют не только витальную силу индивидуальности, но и саму почву культуры, породившей этот выбор, это поведение, эту драму, это творчество. Из взаимодействия витальности и ментальности складывается конкретный рисунок жизни, судьба таланта корректируется незримой логикой культуры.

Глава подготовлена при финансовой поддержке РФНФ (грант 97-01-00243)



Предметом нашего изучения выступают столь локальные изменения частной жизни художника, как *сфера общения и досуга*. Тем не менее уже этот материал оказывается чрезвычайно репрезентативным. Обзор траекторию изменений среди близкого окружения артистов, писателей, художников, их друзей и партнеров, произошедших в первой половине XIX в., можно сделать вывод о существенном сдвиге в их "цеховом" мироощущении и самосознании. Стремительная эволюция профессионального статуса деятелей искусства нашла выразительное воплощение в формах их жизненного уклада, выборе соратников, круге общения. Рост общественного признания произведений театра, литературы, изобразительного искусства в полной мере сказался на характере личных переживаний и поступков<sup>1</sup>.

Это время демонстрирует интенсивную эволюцию в восприятии фигуры художника современниками, постепенное, а подчас и решительное *освобождение творцов от пресса стереотипов, которые задавали эталоны аристократической культуры*, растущее ощущение себя центром общественного притяжения, утверждение в способности во многом самим определять свой творческий путь и устривать свою судьбу.

Если в первые десятилетия XIX в. образ жизни образованного, культурного дворянина выступал для деятелей искусства незыблемым эталоном подражания, то к середине столетия положение существенно меняется. Самооценка художником форм своего поведения более не привязывается жестко к системе критериев, сложившихся в лоне дворянской культуры. Быстрая трансформация внутреннего мира художника позволяет увидеть, как одерживали победу факторы "личностного самостояния", усиливались признаки обретения мастером собственной идентичности. В этих условиях и оказывалось возможным подлинное *жизнетворчество*: по мере утверждения права на свою самобытность художнику удавалось не раствориться в безличных стереотипах светского политеса, выйти за пределы тех форм самореализации в частной жизни, которые ему пыталась навязать эпоха.

Способность в конце концов изменить представление о "подчиненной" роли художника, привить мысль об уникальности его призвания, незаменимом общественном предназначении оказалась возможной в результате трудных ежедневных побед по множеству частных поводов, настойчивого утверждения своего права и в личной жизни оставаться человеком творческим, сторонящимся автоматизмов повседневности, а значит, и непредсказуемым. Приучить современников к экзотике девиантного поведения, сделать эту девиантность социально адаптированной и одновременно возвысить свой общественный статус – решение этих взаимоисключающих задач удавалось не в каждой профессии.

Если задуматься над некоей формульностью, которая позволила бы нащупать единство судеб художников первой половины XIX в., то

безусловно, это единство определяется качеством *переходности* этого времени для деятелей искусства. Художник уже осознает силу, которую приносит массовый успех, но ему еще далеко до подлинной независимости, его принимают в аристократических салонах, но и могут порой указать на его место. Следует помнить, что многочисленные театральные труппы начала века – это, как правило, вчерашние театры дворянских усадеб, завоевывавшие благодаря пробуждающейся частной инициативе все более широкую гастрольную территорию и круг зрителей. Они создаются в губернских городах на паевых началах, возникают антрепризы, “переходят на коммерческие рельсы многие крепостные театры, существовавшие прежде в качестве домашних групп помещиков-театралов”<sup>2</sup>. Этим фактором определяются явные и неявные доминанты в психологии актеров, их представления о качестве жизненного успеха, возможных соратниках, таких формах общения и досуга, которые были бы органичны для их профессии.

В светской жизни Петербурга и Москвы первой половины XIX в. театр играет заметную роль: в этот период в двух столицах действуют шесть императорских трупп (в Петербурге – Александринский, Большой Каменный, Мариинский и Михайловский театры; в Москве – Большой и Малый театры). Формы повседневной жизни артистических трупп позволяют говорить о *разомкнутости* внутреннего мира театра того времени. Действительно, жизнь, разворачивающаяся за кулисами, и жизнь, протекающая в городских домах, оказываются связаны; и та, и другая проходят под знаком аристократических вкусов и норм.

Причина тому – и в близости дворянского этикета театрализованному сознанию (взгляд на реальную жизнь как на спектакль с постоянной сменой ролей и даже амплуа)<sup>3</sup>, и в том, что театр, как не раз отмечалось, выступал в это время центром духовно-эмоциональной жизни, средоточием сильных творческих энергий, питавших другие виды искусств и просто поднимавших жизненный тонус. “Вокруг театра разворачивалась особая праздничная жизнь, насыщенная эротикой и окрашенная отважным авантюризмом. Поединки, похищения, необычные свидания, подкупы прислуги, даже переодевания – все это сообщало любовным нравам эпохи какой-то полуфантастический и часто поистине театральный характер”<sup>4</sup>.

В практической жизни театра участвовали не только литераторы (Пушкин, Грибоедов, Панаев, Кукольник, Белинский), но и значительная часть любителей; так, многие члены общества “Зеленая лампа” выступали в качестве переводчиков пьес, авторов либретто, рецензентов и т. д. Несмотря на смешанный характер публики (большие доли купечества и разночинцев), столичный театр оставался цитаделью аристократической культуры, все главные административные посты в нем занимали дворяне; это обстоятельство во многом предопределило роль последних в частной жизни актеров.

Цели жизни большого художника, безусловно, всегда подчинены целям творчества. Последние, однако, предполагают не просто усердие в реализации способностей, но и определенную тактику поведения, помогающую утверждению профессиональных позиций. Каждая крупная фигура русской сцены того времени: Сосницкий, Каратыгин, Колосова, Мочалов, Семенова, Истомина, Телешова, Щепкин – все они непрерывно занимались интересами сцены – от больших творческих проблем до самых мелких бытовых вопросов. Они боролись за влияние на руководство театра, стремились определять репертуарную линию, принимали участие в закулисных ссорах и интригах. Это были профессионалы, хорошо знавшие цену каждой мелочи в театральном производстве и посвящавшие ему всю свою жизнь.

Естественно, что разнообразные формы общения актеров с аристократией простирались и за пределы театра. В “Замечаниях о русском театре” Пушкин приводит разговор молодых дворян-театралов, явившихся на спектакль прямо от актрис, с которыми был знаком и сам поэт. (Известно, как, в частности, Пушкин в 1819 г. давал советы “Сашеньке” (Александре Колосовой) расстаться с парижским грасированием, “неприличным на трагической сцене”, а также “менее заниматься флигель-адъютантами его императорского величества”.)

“Ухаживание за воспитанницами и танцовщицами, – по словам П. Арапова, – было в большой моде у завсегдагаев левого фланга”<sup>5</sup>. Следует иметь в виду, что, принимая эти ухаживания, актриса далеко не всегда совершала над собой усилие; образованный аристократ во многом олицетворял идеал человека той эпохи, а образ его жизни воспринимался как рафинированный и утонченный. Отсюда и существенная особенность в биографиях художников той поры: как правило, наиболее крупные фигуры *стараятся искать спутников и соратников своей жизни вне актерской среды*.

Щепкина принимали в аристократических салонах как равного; он был даже принят в члены Английского клуба, этого “святого святых” респектабельных московских джентльменов. Возможность приобщиться к светскому обществу приходится оценивать как важную составляющую *мотивации творчества*. “Одна мысль, что на афишах нас будут называть господами и госпожами, сводила нас с ума и долгое время лишала сна и аппетита, – признается выпускница училища, причисленная в 1816 г. к русской драматической труппе Александринского театра. – Больше всего льстило нашему чувству, что мы вступили первый раз на сцену перед такую аристократической публикой и припоминали себе, кто из вельмож на котором месте сидел”<sup>6</sup>.

Катерину Семенову с самого начала окружала толпа поклонников, но гордая “Мельпомена”, как называли ее, оставалась холодна к этим ухаживаниям и не отдавала никому предпочтения. “Наконец

ее сердце покорил молодой красавец, известный поклонник драматического искусства князь И.А. Гагарин. Их отношения скоро приняли публичный характер. Семенова открыто жила с князем одним домом, но, несмотря на все просьбы и убеждения, отказывалась выйти замуж, боясь связанной с этим браком необходимости покинуть сцену. Она обвенчалась с ним только в мае 1828 года после 15-летнего сожительства, имея уже нескольких детей<sup>7</sup>.

Повседневный быт актрисы, связавшей свою жизнь с аристократом, обставлялся с роскошью, не достижимой для ее собратьев по цеху; так, на репетиции в дом актеров Брянских Семенова считала нужным приезжать в принадлежавшей Гагарину карете с ливрейным лакеем. Как известно, Семенова в актерских компаниях не бывала, с актрисами за пределами театра почти не сталкивалась<sup>8</sup>.

Похожей оказалась судьба и у сестры Катерины Семеновой, известной певицы Нимфодоры Семеновой, которая на протяжении всей своей творческой жизни состояла в гражданском браке с графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным. Нимфодора гордилась стремительным возвышением и любила его афишировать, превосходя в изобретательности и фантазии знатных модниц. Ее шегольство вошло в закулисный мир в поговорку, не знало границ: все модные, дорогие заграничные наряды она получала всегда из первых. Правда, желание актрисы быть центром общественного притяжения и внимания порой осаживалось выше: современникам запомнился эпизод, произошедший на Петергофском празднике 1 июля 1830 г. Нимфодоре случилось надеть какую-то необыкновенную, выписанную из Парижа шляпку из итальянской соломки, разумеется, баснословной цены. Точно такая же оказалась на императрице Александре Федоровне. Произведенный эффект льстил тщеславию актрисы. «Однако же эта бестактность недешево обошлась и ей, и ее покровителю. Император Николай Павлович через графа Бенкендорфа предложил графу Пушкину впредь быть несколько осмотрительнее при выборе мод для его Семеновой<sup>9</sup>».

Сам факт того, что подобное демонстративное неофициальное супружество не осуждалось в высшем свете, безусловно, подтверждает репутацию эпохи, в которой фривольное поведение не просто допускалось, но в аристократических кругах во многом и поощрялось. «Держать» певицу или танцовщицу почиталось признаком хорошего тона. Фривольностью часто бравировали как доблестью или завоеванием, в известной мере она служила и выражением вольности духа, и своеобразным способом противостояния казенщине.

По-видимому, и интерес Пушкина к актерскому миру был вызван возможностью напитаться как «дневными», так и «ночными» его энергиями. Любопытно, что интерес к театру более всего обнаруживается у поэта в трехлетие между Лицеумом и ссылкой. После этого недолгого периода, в эпоху зрелости, как ни странно, сцена почти пере-

стает существовать для него. Пытаясь объяснить это краткое увлечение, некоторые авторы приписывают его праздничному и даже разгульному образу жизни поэта первых петербургских лет. Однако сведение интереса вчерашнего лицеиста к театру как источнику “непрерывной цепи вакханалий и оргий”, “распутства всех родов, водовороту наслаждений” было бы, безусловно, упрощенным<sup>10</sup>.

Тем не менее Пушкин ценил возможность окунуться в заманчивый и прятный мир романтических авантюр, недолговечных страстей и безумств. Неуемные силы юности направляли интерес поэта от высокой поэзии до “кулисных проказ” и “закулисных свиданий”, по его собственному выражению. Годами позже в письме из Кишиинева в этой связи он вспоминает Никиту Всеволожского, называя его “лучшим из минутных друзей моей минутной младости”<sup>11</sup>. Со Всеволожским Пушкину случалось посещать знаменитый в Петербурге “чердак Шаховского” – квартиру в верхнем этаже дома по Средне-Подъяческой улице.

Князь Александр Александрович Шаховской в 1803 г. был послан за границу для ознакомления с европейскими театрами, после чего почти 25 лет руководил петербургской драматической труппой и театральным училищем<sup>12</sup>. Его популярный в 10-е годы XIX в. и не раз описанный чердак окутан легендами. По свидетельству одних – это первое стихийно возникшее в Петербурге место для встреч представителей разных видов искусств, заменявшее отсутствовавшие в то время литературно-художественные салоны и артистические клубы. Среди посетителей – литераторы, балерины, драматические актрисы и ценители их творчества. П. Арапов утверждает, что на чердаке Шаховского обсуждали пути и судьбы русского театра, говорили о спектаклях и актерах. “Общение с такими людьми развивало вкус и понятие артистической среды, и все это служило довершением актерского образования”. Другой свидетель отмечает иные преимущества: “Там, по крайней мере, можно было гулять смелою рукою по лобяжьему пуху милых грудей. В три, четыре вечера Т. (Телешова. – О. К.) меня с ума свела, и тем легче, что в первый раз и сама свыклась с тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорал”<sup>13</sup>. Так пишет А.С. Грибоедов в минуту хандры (в день своего 30-летия) однокашнику и близкому другу Степану Никитичу Бегичеву, вспоминая “веселые интриги” и “счастливые недоразумения” молодости.

Как бы то ни было, но именно *открытый* характер артистической среды привел к тому, что сфера театра в первой половине XIX в. стала одним из заметных источников социальной диффузии. В 20-40-е годы широкое распространение получают артистические пикники-кавалькады – поездки за город, в которых непременно участвуют аристократы, находившие их необычайно веселыми и благоприятными. Браки с актрисами, ведущие к постепенным сословным

смещениям, уже не будоражат общественное мнение и не считаются предосудительными. Более того, со временем дирекция императорских театров даже стала препятствовать частым бракам артисток со своими сослуживцами. Если в первые десятилетия такие семейные союзы еще были традиционны, то начиная с 20-х годов уже “редко услышишь, что воспитанник или воспитанница по выходе из школы соединились законным браком, но тогда (в начале века. – О. К.) было много более или менее счастливых союзов”<sup>14</sup>. На актрису, связавшую свою судьбу с человеком, не входившим в категорию “почтенных людей”, смотрели как на украденную собственность. Даже если она и занимала положение первой артистки, то во всех иных ситуациях обеспечивала себе подчиненное положение, отношение к ней было подчеркнуто повелительным.

Уровень самосознания актеров нередко давал для этого дополнительные основания. Современники описывают существовавшее обыкновение (особенно в театрах провинции) бросать деньги актеру или актрисе прямо на сцену во время представления “для изъявления своего удовольствия”. Иногда делали складчину заранее, иногда импровизировали тут же, в креслах: чей-нибудь кошелек наполнялся серебром и золотом, или ассигнации завертывались в бумагу, и подарок бросался к ногам действующего лица иногда в самой патетической сцене. “Я видел, – вспоминает С.Т. Аксаков, – как сумасшедшая от любви Нина (из оперы А.Н. Верстового “Аскольдова могила”. – О.К.) приходила в себя, поднимала кошелек, клала его в карман, раскланивалась со зрителями и – делалась опять сумасшедшею Ниною”<sup>15</sup>. Подобные отношения побуждали аристократию сохранять субординацию, не спешить с определением правового статуса художественной интеллигенции. Наряду с громким чествованием отдельных талантов в области театрального, музыкального, изобразительного искусства появлялись и дискриминационные правительственные указы. Так, 11 октября 1827 г. состоялось распоряжение, что чиновники, решившие поступить на сцену, лишаются всех чинов. Через четыре года, правда, было выпущено добавление: актерам, при их совершенном увольнении от службы, возвращать те чины, которые они имели до поступления на театральное поприще. Очевидно, такое противопоставление занятий государственной службой и службой в театрах не способствовало размыванию социальных границ. Какой бы известностью ни пользовался актер или живописец, приблизительно до середины XIX в. вполне обычным считалось обращаться к нему на “ты”. Эту унижительную традицию однажды пытался прервать В. Каратыгин, однако случившийся в связи с этим скандал изменил положение лишь его одного.

Порой даже надуманные провинности использовались как повод “указать актеру на место”, подтвердить право распоряжаться его судьбой. В конце 1824 г. после шумного успеха в Париже молодая

петербургская звезда А.М. Колосова (супруга В. Каратыгина), гастролируя в Москве, согласилась по просьбе публики повторить спектакль и опоздала явиться к сроку в Петербург. Несмотря на уважительную причину и ходатайство разных лиц, артистке был сделан выговор и в наказание для первого выхода после гастролей ей назначили маленькую эпизодическую роль из ее репертуара. Оскорбленная этим Колосова отказалась играть. На следующий день к ней явился полицмейстер с приказанием взять ее под арест, но не застал дома. Узнав об этом, А.М. Колосова тотчас поехала в Царское Село, встретила там императора и лично пожаловалась ему на несправедливость дирекции. Государь "милостиво поговорил с ней, велел подать прошение и обещал переговорить с графом Милорадовичем". Результатом всего этого было то, что граф Милорадович собрал театральный комитет, и на том основании, что Колосова "обнаружила преступную дерзость, утруждая государя императора жалобой на начальство", что "все это доказывает ее вредную нравственность", Колосовой прислали отставку с приказанием явиться в театральную контору под арест<sup>16</sup>.

Характерна история и со знаменитой танцовщицей Анастасией Новицкой, обласканной вниманием множества блестящих поклонников, но вышедшей замуж за актера. В 1822 г. Дидло подготовил к премьере новый балет. Новицкая была назначена на ничтожную роль, танцевать которую ей показалось обидным и от которой она отказалась. Дидло сказал об этом генерал-губернатору М.А. Милорадовичу, в то время директору императорских театров; тот призвал Новицкую к себе и объявил ей, что если она не будет танцевать в назначенной ей роли, то он, граф, посадит ее в смиренный дом (!). Эта угроза так сильно подействовала на танцовщицу, что на следующий же день она «захворала нервическою горячкою и все время бредила, что ее одели в арестантское платье с "латкой" на спине»<sup>17</sup>. Императрица Мария Федоровна случайно узнала о болезни Новицкой; граф, желая позже чем-нибудь загладить свой поступок, решил сам приехать и успокоить больную. Новицкой в это время сделалось несколько лучше, однако едва ей сказали о приезде графа, как с нею от испуга случился приступ, бред усилился, и через день Новицкой не стало.

Совсем иные последствия имели внезапные бунты актрис, пользовавшихся поддержкой в высшем свете. Спустя шесть месяцев после трагической истории с Новицкой там же, в Александринском театре, в неожиданной ситуации оказалась ее коллега К. Семенова. 18 сентября 1822 г. Семенова играла Гекубу в "Поликсене" В.А. Озерова. Для заглавной роли актриса подготовила свою молодую ученицу, воспитанницу театрального училища Азаревичеву<sup>18</sup>.

Ученица оказалась слабой, тем не менее по окончании трагедии Семенова при вызовах на поклон вывела ее с собой. В зале послы-

шалось шиканье, многим такое закулисное протезирование показалось неуместным, саму Азаревичеву никто и не думал вызывать (в этот период в Александринском театре придавалось большое значение ритуалу “нормативных поклонений”, вызовы считались большой наградой артистам). Семенова, однако, продолжала выводить воспитанницу, шум в зале усиливался. Одним из главных зачинщиков, как передают очевидцы, был П.А. Катенин, несколько раз выкрикнувший “Семенову одну!”. Гордая Семенова, не привыкшая к таким протестам, не только не смогла успокоиться и на следующий день, но даже сочла нужным подать письменную жалобу на Катенина тому же графу Милорадовичу. (“Семенова явилась с великим шумом жаловаться, говоря, что она не может быть спокойна на сцене до тех пор, покуда я буду в зале”<sup>19</sup>.) Милорадович в свою очередь широко истолковал этот поступок и выставил Катенина перед государем как вольнодумного и опасного человека, значительно преувеличив тем самым его вину. В итоге в одно прекрасное утро Катенин был выслан из Петербурга без права проживания в столице два года. Все знавшие Катенина как храброго и заслуженного офицера, гвардейского полковника, талантливого поэта и драматурга были удивлены несоизмеримой с деянием строгостью наказания<sup>20</sup>. С другой стороны, такой жест актрисы нельзя считать случайным – он выдает изменившееся самосознание Семеновой, уже успевшей ощутить силу, способной пойти в атаку на человека не без положения. Это уже не прежняя Семенова, какой она была до замужества с Гагариным, когда после чтения могла брать деньги в конвертах. Сейчас бы никто не решился ей это предложить.

Повелительность, с которой аристократия вмешивалась в частную жизнь художника, несомненно, покaleчила не одну судьбу. События, произошедшие в начале творческой карьеры Павла Мочалова, пожалуй, на всю жизнь оставили в нем болезненное ощущение собственной униженности. Известен краткий, бурный и яркий эпизод в личной жизни молодого трагика – роман с “Маргаритой Готье”, девушкой из московских дворян, эпизод, очень выразительный для обоих участников. Чтобы избежать “неравного брака с актером”, родители поспешили выдать дочь за какого-то барина. Барина она бросила и бежала в Москву, сошлась с Мочаловым, но вновь была разлучена. Позже, в 1822 г. актер женился на дочери купца И.А. Баженова, с которой скоро расстался и вступил в новый брак с Пелагеей Ивановной Петровой, дочерью инспектора театрального училища. Купец И.А. Баженов не смирился с участью дочери и хлопотал об аудиенции у Бенкендорфа в момент приезда того в Москву. Далее к Бенкендорфу была вызвана нынешняя супруга Пелагея Ивановна, которую под угрозой ссылки ее и Мочалова заставили покинуть мужа, возвратив его в предыдущую семью<sup>21</sup>. Подобное жандармское самоуправство в отношении актеров не кажется для того времени



чем-то из ряда вон выходящим, когда открываются и другие факты, например заточение Василия Каратыгина, бывшего уже премьером Александринской труппы, в Петропавловскую крепость за то, что тот, разговаривая с другим актером, не заметил, как в помещение вошел управляющий конторой драматических театров, и не встал в его присутствии (1)<sup>22</sup>.

Подобные примеры подтверждают антиномичность сознания художника того времени: никакая популярность не могла служить спасением, если талант попадал в немилость. Возможно, и по этой причине художники вынуждены были столь много времени отводить завязыванию связей с дворянством, общению вне театра, как это делала, к примеру, Авдотья Истомина. В период расцвета своей карьеры танцовщица держала, как тогда выражались, "открытый дом" – много и часто ее посещали поклонники и обожатели. Индивидуальность Истоминой давала повод говорить о ее неуравновешенном и легкомысленном характере, который однажды привел к трагической развязке.

Спутником ее жизни в тот период был Василий Шереметев, офицер Кавалергардского полка в небольших чинах, пятью годами старше танцовщицы. Шереметев жил с Истоминой совершенно супружески – вместе, в одном доме. "Скорее он жил у нее, чем она у него. Истомина как первая танцовщица получала тогда большие деньги... Шереметев, шалун, повеса, но человек с отлично-добрым сердцем, любил Истомину со всем безумием страсти и, стало быть, с ревностью. И в самом деле она была хорошенькая, а в театре, на сцене, в танцах с грациозными движениями – просто прелесть!" – вспоминает современник<sup>23</sup>. А.С. Грибоедов (сослуживец Шереметева) был другом их обоих, частым спутником совместных загородных поездок и вечеров. В 1817 г. Грибоедов жил в Петербурге на квартире у графа А.П. Завадовского, сына фаворита Екатерины II, отставного поручика Александрийского гусарского полка. В один из дней между Истоминой и Шереметевым вспыхнула ссора. Узнав о размолвке, Грибоедов предложил танцовщице развестись и заехать к нему после спектакля в гости. Истомина, в духе времени, не была смущена этим предложением, и Грибоедов прямо из театра привез ее на квартиру к Завадовскому, где она находилась до следующего дня. Когда все это стало известно Шереметеву, он по совету А.И. Якубовича вызвал Завадовского и Грибоедова на дуэль. Дуэль состоялась 12 ноября 1817 г.; Завадовский ранил Шереметева, и через несколько часов тот скончался. Якубовича арестовали и отправили служить на Кавказ, Завадовский вскоре уехал в Лондон. Когда Грибоедов позже по собственной воле покинул Петербург и тоже отправился на Кавказ, там спустя год (23 октября 1818 г.) Якубович продолжил дуэль, в которой прострелил Грибоедову руку. Эта схватка получила название "дуэль четырех"<sup>24</sup>. Подобные случаи, когда стиралась граница меж-

ду игрой и реальной жизнью, романтическими художественными восторгami и неумеренными жизненными страстями, были у завсегдаев театра не единичными.

Проходило время, и актрисы покидали сцену. Ничто так не ослабляло жизненных сил художника, как разлучение с миром театра. Вся дальнейшая биография звезд первой величины выглядит неприкаянной, как будто чужой – серые будни, подавленное настроение, заботы, с которыми они плохо справлялись. Время от времени вспыхивали и гасли затаенные страсти. После увольнения из театра в 1820 г. Семенова не находила себе в другой жизни места, сделала новый рывок и смогла вернуться в Александринскую труппу в 1822 г. на унижительных условиях – за половинное жалование ведущей артистки. Новая победа не состоялась, да и само время (“трагедии были не в авантаж”) обернулось против нее, второго ухода Семеновой со сцены почти никто и не заметил. Пыталась принимать участие в любительских спектаклях – они вызывали одно раздражение (“Вы учите играть не княгиню Гагарину, а актрису Семенову!” – бросала она доморощенным постановщикам). Большую боль ей причиняли несложившиеся судьбы дочерей, воспитанием которых почти не пришлось заниматься; уже после смерти Гагарина, изнуренная своим участием-помощью в бесконечной судебной тяжбе одной из дочерей, актриса скончалась.

Истомина пыталась смягчить свое расставание со сценой, пробуя себя в педагогической карьере. В течение всего 1835 г. перед выходом на пенсию она занималась подготовкой дебюта в театре 16-летнего воспитанника театральной школы В. Годунова, которому, по словам А.Я. Панаевой, “покровительствовала, не щадя денег”. Истомина добилась, что его взяли в театр “с окладом жалованья наравне с талантливыми воспитанниками”<sup>25</sup>, хотя талантом он не отличался. Отблеск ее темперамента озарил последние события частной жизни, два, судя по всему, не очень удачных замужества. В 1836 г., уйдя со сцены, Истомина вышла замуж за упомянутого воспитанника Годунова. Спустя год она развелась с ним и вышла замуж за небесталанного актера П. Экунина<sup>26</sup>. Ее дальнейшая педагогическая карьера продолжения не имела.

Звезды первой величины – Семенова и Истомина – покинули сцену в 36 лет; по всей видимости, этот возраст в первой половине XIX в. считался значительным не только для балетной, но и для драматической актрисы. Вероятно, из этого же исходил современник, известный историк театра А.И. Вольф, когда, описывая последний сезон 33-летней Нимфодоры Семеновой, заключал: “Карьера этой замечательной певицы была продолжительной”(1)<sup>27</sup>. Большинство исследователей также отмечают, что о женщине 30–35 лет в то время можно было сказать, что “она уже в летах” (как, впрочем, и о мужчине)<sup>28</sup>.

В конце 30-х годов на примере ряда судеб деятелей искусств нового поколения можно заметить, как *связь с аристократией, бывшая непременным атрибутом бытийной биографии художника начала века, заметно ослабляется*. Свой внутренний мир сам художник склонен оценивать как самодостаточный, старается оберегать его специфику; культурные стандарты аристократии (в том числе и в сфере частной жизни) уже не воспринимаются как безусловные. Этому во многом способствовала "эра салонов" – литературных, музыкальных, художественных, куда приглашалась смешанная публика и высокое положение в которых уже *не наследовалось, а достигалось*. Постепенно это вело к тому, что в устройстве своего жизненного уклада, выборе сферы общения художник не ощущает уже необходимости так или иначе соотносить себя с дворянским кругом. Напротив, в повседневной жизни подчеркивается независимость от ритуализированных форм проведения досуга, демонстративно и необычными способами талант утверждает свою самобытность и особую избранность.

Обращает на себя внимание тенденция, когда единичные попытки актеров защитить свою честь, в той или иной форме отстоять свою независимость постепенно приобретают стихийно-организованный характер. Такие примеры, безусловно, демонстрируют возросшее самосознание художников, новое понимание ими собственной роли в общественной жизни. Так, в 1848 г. в Императорском Большом театре в Москве случилось происшествие, продемонстрировавшее актерскую солидарность как реально существующий факт. Приведем донесение Московской конторы Директору императорских театров полностью: «Сего, 5 декабря во время представления балета "Пахита" в 1-м акте после saltarello, которое танцевали г-жа Андреевна и г-н Монтасю и которое публика потребовала повторить, на сцену была брошена мертвая кошка с привязанной к хвосту надписью "Первая танцовщица"<sup>29</sup>. Представление на время остановилось. Между тем вся публика в креслах и большая часть в ложах приподнялась со своих мест и с громкими криками – мужчины махая шляпами, а дамы платками – стали вызывать г-жу Андреевну. Андреевна объявила, что выйти она выйдет, но что продолжать представление она не в силах, что было очень вероятно. Когда она оказалась, то прием публики был таков, какого еще не случалось видеть. Кавалеры, дамы, все единодушно как бы стремились доказать ей, что все приносят дань уважения ее таланту. Вызовы повторялись три раза, после чего представление продолжилось. В последнем антракте постепенно возраставшее негодование артистов возросло очень высоко. Все приняли случай за обиду общую. По окончании балета все занятые и незанятые артисты собрались массой на сцене, а когда Андреевна к ним вышла, то все в один голос закричали ей браво. Опустить занавес не было возможности – все они стояли под занавесом. Этим был, может быть, нарушен порядок, предоставляющий одной

только публике выражать такую награду артистам, но общее чувство товарищей, принявших обиду не только личную, незаслуженную, но и вообще всему сословию артистов, было так искренно и так сильно, что удержать или остановить от этого не было никакой возможности»<sup>30</sup>.

Даже этот внешне незначительный эпизод позволяет оценить зрелость самосознания актеров, не останавливающихся перед нарушением жестких предписаний, когда речь идет о вопросах чести.

Быстрыми темпами процесс самоутверждения художника происходит и в сфере изобразительного искусства. Не раз пережив тяготы вельможного самоуправства, К. Брюллов, в отличие от многих других художников, один из первых смог поставить себя на равную ногу с аристократическими заказчиками. Со всей Европы в мастерскую Брюллова с просьбой написать портрет стекались канцлеры, великие князья, высшая титулованная аристократия. И что уже было совсем ново для прежних порядков – неоднократно к Брюллову приезжал сам Николай I в связи с написанием художником портрета императрицы. О том, насколько уверенно ощущал себя мастер, говорит, например, тот факт, что Брюллов однажды уехал со встречи, не дождавшись Николая I, опоздавшего на 20 минут. Заметим, что портрет императора впоследствии им так и не был написан<sup>31</sup>.

В конце 30-х и в 40-е годы в Петербурге и Москве возникают единения представителей разных видов искусства, чья жизнь развивается в формах, далеких от светского политеса. Вместе с тем именно эта сфера «неотрефлектированного поведения» культивируется и рассматривается как нельзя более органичная артисту. Это уже не салон с неизбежной заданностью способов общения, а среда спонтанных импровизаций, в которой внутренний мир художника является во всей обнаженности, импульсивности, парадоксальности несочетающихся полюсов. Подобная атмосфера, как это демонстрирует, скажем, объединение Н. Кукольника, М. Глинки, К. Брюллова (получившее впоследствии название «Петербургская богемия»), все чаще воспринимается и оценивается как несомненная *питательная почва для творчества*.

Сам по себе факт тяги представителей разных искусств друг к другу и желания напитаться творческими энергиями во имя нового созидания свидетельствует о важной переориентации в самосознании художника: все более он чувствует себя законодателем вкусов, центром общественного притяжения, способным вызывать интерес не только в связи с обслуживанием художественных интересов дворянства<sup>32</sup>. Его материальное обеспечение позволяет ему жить единственно собственным трудом и не искать особых отношений с аристократией. Так постепенно складывается представление о *приоритете цехового сознания*, артистический круг общения мыслится как самодостаточный и наиболее органичный для создания творческой атмосферы, вкусы, оценки и критерии собратьев по цеху ставятся

высоко. Теперь уже главных спутников и соратников в жизни художник обретает *внутри собственной среды*, ее относительной замкнутостью гордятся и стараются оберегать<sup>33</sup>.

Как известно, Кукольник не принадлежал к литераторам первого ряда, однако его человеческие качества помогли сплотить вокруг себя больших мастеров. А.Н. Струговщиков, переводчик Гёте, считал, что "как импровизатор, как веселый и остроумный собеседник, он (Н. Кукольник. – О. К.) стоял выше себя как литератора. Прибавьте к этому его редкое добродушие, своеобразные приемы, детскую веселость, вызывающую иногда смех до слез, в обществе цветистого, образного почти в каждом слове Карла Брюллова – и все это без салонных стеснений, все нараспашку, как любят художники, – и вы получите объяснение тесного и продолжительного сближения Глинки с Нестором Кукольником"<sup>34</sup>.

На знаменитые в конце 30-х и в 40-х годах "кукольниковские середины" собирались до 80 человек: музыканты, певцы, поэты, драматурги, актеры, а также любители искусств и "всякого рода весельчаки", многие приезжали далеко за полночь. Безудержная фантазия Брюллова всякий раз изобретала и новую "сценографию", и новые костюмы<sup>35</sup>, читали отрывки из пьес, поэм и романов, исполняли новые музыкальные сочинения завсегдадан сред – М.И. Глинка, Н.И. Надеждин, Т.Н. Грановский, М.П. Погодин, Я.И. Ростовцев и другие. Некоторые наблюдатели писали, что "музыкально-литературные вечера завершались оргиями" с участием "женского персонала"<sup>36</sup>. Кукольник эти обвинения не особенно отвергал, скорее рассматривал как неотъемлемый компонент творческого процесса: «Вчера (запись в дневнике от 27 августа 1837 г.) устроилась у меня импровизированная проба новой сцены к "Жизни за царя". Хор составляли: Глинка, Андрей Лодий, я, Забега и две театральные хористки: одну привез Глинка, а другую где-то достал Коко (Данченко) – прехорошенькая... есть и кроме Музы утешительницы, игрушки...»<sup>37</sup> Наверное, творческой одержимости соответствовала и одержимость отдыха; как и положено, творческий человек ни в чем не знал "среднего состояния".

Художники собирались вместе, разумеется, не только чтобы пировать. Многолетнее существование этой общности демонстрирует взаимную заинтересованность в сближении поэтов, музыкантов и живописцев, умение совместно создавать уникальную атмосферу "артистического и музыкального энтузиазма". Кукольник с признательностью вспоминает ученье, которому обязан со стороны Глинки и Брюллова. Одним из результатов явилось издание Кукольником "Художественной газеты", не говоря уже о множестве музыкально-поэтических произведений, созданных совместно с Глинкой. "У Кукольника была полная мера понимания Глинки. И Глинка считался с некоторыми замечаниям Нестора"<sup>38</sup>

До этого момента в русской художественной культуре, пожалуй, не встречается подобного единения представителей разных видов искусств, которые бы так дружно шли одним путем к одной творческой цели. «Между тем как Глинка работал обыкновенно с Кукольниковом за роялем, Брюллов чертил в соседней комнате, а я держал корректуру «Художественной газеты» и знакомил его с немецкой литературой, с Гёте», — вспоминает Струговщиков<sup>39</sup>. Каждый мог учиться друг у друга, расширять свои художественные возможности. Постепенно закреплялось умение смотреть на свое искусство через другое искусство, говорить его терминами, вдохновляться его достижениями<sup>40</sup>. Такая атмосфера «невыгороженности» творчества и личной жизни, когда одна сфера переходит в другую и наоборот, воспринималась самими участниками едва ли не как идеал. («Я был там совершенно в моей сфере», — признается Глинка.) Он находил в этом кругу пристанище, тепло и заботу, когда вскоре после неудачной женитьбы на М.П. Стуневой их отношения быстро разрушились. «Семейная распря растет, разгорается и гонит бедного Мишу из дому, — записывает в дневнике Кукольник. — Он бежит к лам — размыкать свое горе и почти постоянно живет у меня. На большом диване в турецкой комнате определено ему неотъемлемое, постоянное место для ночи»<sup>41</sup>.

Весной 1842 г. впервые в Россию приехал выдающийся композитор Ф. Лист, и Глинка устроил вечер в честь «равного ему гения». Помимо обычных участников, присутствовали и гости из аристократии — М.Ю. Виельгорский и Вл. Соллогуб. То, как композитор счит нужным обставить эту вечеринку, передает нам столь характерную для атмосферы кукольниковских собраний особую жажду *жизнетворчества*. «Большая комната была обставлена соснами и елями, между которыми висели пестрые ковры: это все имело представлять шатер, а вдоль деревьев были на полу размещены матрасы, накрытые равномерно коврами. Посередине были установлены три сверху связанных шеста, а к ним прикреплена короткая цепь, на которой висел довольно большой котел. Между деревьями висело множество цветных фонарей, рабочий стол Глинки, покрытый скатертью, был уставлен множеством блюд с горячими кулебяками и с разными русскими закусками, да бесчисленным числом бутылок с различными винами и наливками.

Сначала занимались музыкою. Петров спел арию Руслана, Лодий рассказ Финна, сам Глинка арию Ратмира. Лист сыграл из партитуры оперы: увертюру, персидский хор и марш Черномора. Потом закусили и попили, и вся компания развеселилась и зело одушевилась... Глинка произнес спич, в котором объяснил, что деятели интеллигенции всего мира составляют одну общую семью «la Bohème» (Цыганию) и что король этой «Цыгании» никто иной, как Лист, которого следует чествовать качанием.

Когда Лист заметил, что их костюмы не похожи на костюмы истых цыган, граф Михаил Юрьевич весело рассмеялся: "Sa Majesté bohémienne a raison! à bas les surtout! au diable les cravattes!"<sup>42</sup> Под общими восторженными возгласами "Ура!" в один миг исполнилось это приказание. Затем покачали Листа и понесли с триумфом назад "в табор", т. е. в большую комнату. Между тем Платон Кукольник уже опорожнил в висящий котел с полдюжины бутылок рому и зажег его. В ожидании приготовляемой крамбамбулы, занялись музыкою. Глинка с "братиею" исполнили песнь Ильиничны с pizzicato obligato П. Яненко; граф Виельгорский спел свой романс "Бывало", Булгаков сыграл свой галоп... Синее пламя в котле придавало группе лежащих, сидящих и стоящих вокруг особенный таинственный колорит. Лист был в восторге от нашего цыганского пения<sup>43</sup>.

Разумеется, и этот круг друзей-единомышленников нельзя представлять как идиллию. Неукротимый темперамент "Карлы-Черномора" (Брюллова) нередко вел к размолвкам (Кукольник 9 января 1840 г.: "Брюллов опять лезет в дружбу, но сердце мое для него остыло..."), затем к новым сближениям и новым незабываемым вечерам с красочными возлияниями Бахусу. Обостренное, с вызовом самосознание Брюллова много раз было причиной "взрывов", которые тем не менее ему прощались.

Бурный темперамент художника явился причиной его тяжелой болезни и безвременной смерти. Уезжая в последний год жизни "для лечения в Барселону" и осознавая безнадежность своего положения из-за прогрессирующей болезни, Брюллов признавался: "Я жил так, чтобы прожить на свете только 40 лет. Вместо 40 лет я прожил 50, следовательно, украл у вечности 10 лет и не имею права жаловаться на судьбу. Мою жизнь можно уподобить свече, которую жгли с двух концов и посередине держали калеными клещами"<sup>44</sup>. Брюллов, быть может, более других демонстрировал размах совмещающихся в нем антиномий. Дал этим повод своему племяннику, профессору живописи П.П. Соколову, оставить резко отрицательные (хотя и достаточно одномерные) воспоминания о его человеческих качествах и образе жизни<sup>45</sup>.

Наблюдения над фигурами актеров, художников, литераторов, столь непохожих по характеру, темпераменту и привычкам, позволяют тем не менее обнаружить то, что можно назвать *взаимориентированностью судеб представителей разных видов искусств*. Речь идет не просто о схожести жизненных мотивировок, но о близости поэтов, музыкантов, актеров как определенных историко-психологических типов. Строго говоря, очень трудно понять и доказать, что выступает здесь первоначалом: художник, формирующий эпоху, или, напротив, сам изменяющий менталитет эпохи через утверждение новых способов бытия и мироощущения. Сопоставление этапов жизненного пути художников, обнаруживавших общность своих су-

деб, свидетельствует о том, что чисто индивидуальные антропологические характеристики могут становиться и характеристиками культурно-антропологическими, вырастающими даже в особые исторические системы биографий<sup>46</sup>. Творческие усилия, направляемые на совершенствование своего искусства, таким образом, сказываются и на собственной жизни художника. Так что искусство, являясь первоначально предметом жизненных усилий личности, ее целью, постепенно превращается в *средство творения этой личности*.

Как бы ни были экзотичны известные и не очень известные формы самореализации художника в частной жизни, "аномалии" и "странности" творческого человека, нельзя не придти к выводу, что все они являются не случайными, а внутренними, структурными чертами его личности. Формы бытийной биографии русского художника первой половины XIX в. это подтверждают: сознание художника устроено так, что в реализации своей самобытности в большей мере, чем у кого бы то ни было, оно не ограничивается только профессиональной сферой. Потребность самопревышения в творчестве напрямую оказывается связанной с потребностью преодоления стереотипов в организации частной жизни. Умение музыкантов, поэтов, живописцев подниматься выше того, что уже освоено в искусстве, объясняет их желание точно так же превышать общепринятые границы самореализации в жизни. Презрение к норме, уничтожение дистанции между воображаемым и реальным, желание прочувствовать "предельный миг бытия" в любой сфере приводили и самих мастеров к идее глубинной взаимосвязи (а может быть и равноценности) *дара жить и дара создавать*. Любовь к рискованно-ярким сторонам жизни, оплаченная сполна, оказывалась для художника органичнее усредненных и безопасных идеалов мещанского самосохранения.

Примечательно: то, что эпоха оценивала как девиантное поведение, в дальнейшем довольно быстро переставало кого-то шокировать, распространялось за пределы искусства, трансформировалось в модусы поведения эпигонов и просто обывателей. В этих случаях мы наблюдаем, как *казус бросает свою культурно-историческую тень в будущее*: сам факт существования "нелегальных" исторически опробованных моделей поведения умножает возможности выбора для последующих поколений, расширяет актуальный словарь культуры.

### Примечания

- <sup>1</sup> Подробнее об этом см.: *Кривцин О.А.* Художник в истории русской культуры: эволюция статуса // Человек. 1995. № 1, 3.
- <sup>2</sup> *Родина Т.М.* Русское театральное искусство в начале XIX века. М., 1961. С. 62.
- <sup>3</sup> Даже революционное сознание романтической дворянской молодежи, считает Ю.М. Лотман, психологически было подготовлено в том числе и привычкой "теа-



- трально" смотреть на жизнь: "именно модель театрального поведения, превращая человека в действующее лицо, освобождала его от автоматической власти группового поведения, обычая" (*Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре* М., 1996 С. 199.)
- 4 *Гроссман Л.* Пушкин в театральных креслах. М., 1926. С. 54.
  - 5 *Арапов П.* Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 290.
  - 6 Картины прошедшего. Записки русской артистки // *Музыкальный и театральный вестник*. 1857. № 48. С. 710–711.
  - 7 *Каратыгин П.А.* Записки. Л., 1929. С. 199.
  - 8 Подробнее об этом: *Беньяш Р.* Катерина Семенова. М., 1987. С. 150–156.
  - 9 *Каратыгин П.А.* Указ. соч. С. 355.
  - 10 Против такой одномерной оценки возражает и Л. Гроссман. См.: Указ. соч. С. 91.
  - 11 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. XIII. С. 101.
  - 12 Шаховской – "огромный, тучный, с короткой шеей и непомерным животом, быстрый и подвижный как ртутный шарик" – считался первым театральным педагогом Петербурга; среди его учеников – Е. Семенова, В. Каратыгин, И. Сосницкий, М. Валберхова и другие. Сам он получил известность как автор и переводчик свыше 100 драматических произведений; писательское амплу Шаховского – комедии и водевили – "романтическое зрелище с потехами, танцами, играми, борьбой и большим спектаклем" (см. подробнее. *Каратыгин П.А.* Указ. соч. С. 112 и далее).
  - 13 *Грибоедов А.С.* Полн. собр. соч.: В 3 т. Пг., 1917. Т. 3. С. 165. Десятилетием ранее Грибоедов приглашал в компанию и своего друга: "В воскресенье я с Истоминной и Шереметевым еду в Шустерклуб, кабы ты был здесь и ты бы с нами дурачился" (Письмо Бегичеву от 9 ноября 1816 г. // Там же. С. 122).
  - 14 *Каратыгин П.А.* Указ. соч. С. 52. "Выбор подруги жизни из своего круга, – рассуждает брат знаменитого трагика, – имеет важное влияние на судьбу сценического артиста. Если таланты их равносильны, тут соревнование может служить им еще к большему их развитию" (Там же. С. 53).
  - 15 *Аксаков С.Т.* Яков Емельянович Шушерин и современная ему театральные знаменитости. М., 1863. С. 6.
  - 16 Когда Колосова приехала в театральную контору, чтобы подвергнуться наказанию, через полчаса явился чиновник от Милорадовича с сообщением, что граф "доволен ее повиновением и освобождает от ареста" (*Танеев С.В.* Из прошлого императорских театров. СПб., 1886. Вып. II. С. 35. Ср.: *Катенин П.А.* Письма к А.М. Колосовой // *Русская старина*. 1893. Март С. 195–197.
  - 17 Подробнее см.: *Каратыгин П.А.* Указ. соч. С. 153.
  - 18 Побочная дочь поэта Майкова.
  - 19 *Катенин П.А.* Письма к А.М. Колосовой. С. 636.
  - 20 Подробнее см.: Картины прошедшего. Записки русской артистки // *Музыкальный и театральный вестник*. 1857. № 39. С. 16.
  - 21 Там же. 1857. № 41. С. 14. Об этом же см.: *Соболев Ю.П.* Мочалов. М., 1937 С. 123–127.
  - 22 Вызволить впоследствии В. Каратыгина из тюрьмы удалось не благодаря неустанным заботам родственников, а по ходатайству молодой артистки, имевшей необходимые связи (см.: *Каратыгин П.А.* Указ. соч. С. 112).
  - 23 Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 233.
  - 24 Подробнее см.: *Грибоедов А.С.* Указ. соч. Т. 1. С. XXVI–XXVIII; *Кубасов И.* Театральные интриги // *Русская старина*. 1901. Т. XI. С. 294.
  - 25 *Панаева А.Я.* Воспоминания. М., 1948. С. 37–38.
  - 26 Во всех документах дирекции императорских театров Истомина до выхода в 1836 г. на пенсию числится девицей. В браке с Экуниным в 1839 г. родила сына Алексея, девять лет спустя скончалась в Петербурге.
  - 27 *Вольф А.И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб. 1877. С. 20.

- 28 См.: *Вересаев В.В.* Спутники Пушкина. М. 1993; *Пушкарёва Н.Л., Эжикит С.А.* Любовные связи и флирт в жизни русского дворянина в начале XIX века // *Частная жизнь. Человек в кругу семьи.* М., 1996. С. 203, 189.
- 29 Инцидент был инспирирован поклонниками итальянской балерины этого же амплуа, соперницы Анджелони.
- 30 Цит. по: *Танеев С.В.* Из прошлого императорских театров. СПб., 1886 Т. II. С. 33–34.
- 31 Подробнее об этом см.: К.П. Брюллов в письмах, воспоминаниях и документах современников. М., 1961. С. 160.
- 32 Не случайно и главными героями литературных произведений Полевого, Кукольника в этот период выступают актеры, художники, музыканты.
- 33 Кукольник чрезвычайно ревниво относился, когда Глинка заезживал, помимо их салона, еще и к Вильегорскому, и после ссоры Глинки с графом всячески удерживал композитора от продолжения прежнего знакомства.
- 34 Цит. по: *Кузнецов К.А.* Петербургская "Богемия" 30–40-х годов // Глинка и его современники. М., 1926 С. 43.
- 35 Вот, например, текст специального литографированного художественного билета-приглашения, изготовленного Брюлловым и разосланного участникам: "Знаменитая пробка известного берлинского штофа, извежая с душевным прискорбием о кончине его, последовавшей в прошедшей неделе в потьмах, просит пожаловать на его поминки в квартиру Яценко, у Семеновского моста, на Фонтанке, угловой дом Пономарева, со внесением на похоронные расходы 2-х рублей" (*Струговицких А.Н.* И Глинка. Воспоминания // *Русская старина.* 1874. Апрель. С. 708).
- 36 См.: *Ариальд Ю.* Воспоминания. М., 1892. С. 229–230.
- 37 Из дневника Кукольника // *Баян.* 1888. № 12. С. 71.
- 38 *Кузнецов К.А.* Глинка и его современники. М., 1926. С. 40.
- 39 *Струговицких А.Н.* Указ. соч. С. 704.
- 40 К премьере "Руслана и Людмилы" Глинки Брюллов создал костюмы и декорации (прежде этим занимались второстепенные мастера, "декораторы"); Кукольник выступил автором либретто.
- 41 Из дневника Кукольника // *Баян.* 1888. № 13. С. 113.
- 42 "Его цыганское величество прав! долой сюртуки! к черту галстуки!"
- 43 *Ариальд Ю.* Указ. соч. С. 243–244.
- 44 Непзданные письма Брюллова и документы для его биографии. СПб., 1867. С. 23.
- 45 См.: *Соколов П.П.* Воспоминания // *Исторический вестник.* СПб., 1910. Август. С. 400–403. Сентябрь. С. 765–766.
- 46 Подробнее об этом см.: *Кривцун О.А.* Биография художника как культурно-эстетическая проблема // *Кривцун О.А.* Эстетика. М., 1998.

Надежда Сергеевна Акинфова  
(Роман великосветской дамы  
по материалам III Отделения)

В истории дипломатии нет ни слова о Надежде Сергеевне Акинфовой, урожденной Анненковой (1839–1891), хотя по своему влиянию на поворот колеса истории “воздушный шелк ее кудрей”, воспетый Федором Тютчевым, ничем не уступит “носу Клеопатры”, увековеченному Блезом Паскалем. Эту незаурядную женщину самозабвенно и страстно любил князь Александр Михайлович Горчаков, более четверти века стоявший во главе российской внешней политики.

3 апреля 1868 г. секретным отношением за № 396 главноуправляющий III Отделением и шеф жандармов граф Петр Андреевич Шувалов сообщил недавно назначенному министру внутренних дел Александру Егоровичу Тимашеву: “По особенным обстоятельствам представляется необходимым приостановить выдачу заграничного паспорта супруге камер-юнкера, губ<ернского> секретаря г-же Акинфовой...” Министру предлагалось позаботиться, чтобы “в случае поступления ходатайства о том оно не было удовлетворено”. Далее в черновике официальной бумаги граф собственной рукой приписал: “и чтобы III Отделение Собственной Его Величества Канцелярии было немедленно поставлено в известность о таковом требовании” (Л. 1)<sup>1</sup>. (Александр II не только отменил крепостное право; после долгого перерыва (в предшествующее царствование) само получение заграничного паспорта из исключительной милости царя, скупо и неохотно даруемой единичным счастливым, превратилось в простую и необременительную формальность). Что заставило двух генерал-адъютантов государя тайно координировать

усилия руководимых ими силовых ведомств по ничтожному на первый взгляд поводу? Неужели у них не было иных забот? – ведь выстрел Каракозова уже прозвучал.

Приписка графа Шувалова исключительно выразительна: шеф жандармов – “Петр, по прозвищу *четвертый*, / Аракчеев же *второй*”<sup>2</sup> – просмотрел и лично отредактировал отпуск письма, прежде чем его переписали на официальном бланке, поставили исходящий номер и отправили адресату. Ссылки на высочайшую волю в документе не было, однако генерал-адъютант Тимашев – “Герострат родной печати, / Гофхолуй и экс-шпион”<sup>3</sup> – все прекрасно понял. За безличным оборотом (“представляется необходимым”) скрывалась воля самодержца, *негласно* лишившего одну из его подданных права, им же самим торжественно дарованного. Бывшему начальнику Штаба корпуса жандармов не требовалось объяснять, во-первых, *кто* повелел не выдавать заграничный паспорт и, во-вторых, о каких именно *особенных обстоятельствах* идет речь. Пояснения нужны для современного читателя.

Надежда Сергеевна Акинфова, родившаяся 16 июня 1839 г., была внучатой племянницей государственного канцлера и министра иностранных дел князя Александра Михайловича Горчакова<sup>4</sup>. В деле имеется справка: “С 1867 года по настоящее число г-жа Акинфова, или Акинфьева из Отделения паспорта не получала. Если же была она за границею, то легко быть может, снабженная паспортом от Министерства Иностранных Дел. 3 апреля 1868 года” (Л. 2). Намек чрезвычайно прозрачен. Надежда Сергеевна продолжительное время жила в петербургском доме своего дяди. Светская молва настойчиво обсуждала слухи об их отношениях. 14 февраля 1866 г. тогдашний министр внутренних дел Петр Александрович Валуев сделал в дневнике многозначительную запись: «Вечером был на рауте у кн. Горчакова. M-me AkinfiEFF faisait les honneurs de la porte (Гостей принимала г-жа Акинфьева), и кн. Горчаков при входе дам, с нею незнакомых, говорил: “Ma piéce” (“Моя племянница”). Дипломатические сердца тают. Кн. Горчаков не на шутку влюблен в “sa piéce”»<sup>5</sup>. Госпожа Акинфова стала фактической хозяйкой в доме вдовца, а ее фотографии – украшением одного из горчаковских альбомов.

Что же делал в это время муж? Господин Акинфов, недавно избранный уездным предводителем дворянства, пребывал в городке Покрове Владимирской губернии. Потомок древнего рода, известного с XV в., благоразумно делал вид, что ни о чем не догадывается. В награду за покладистость министр выхлопотал ему у государя придворное звание камер-юнкера. Это было неслыханной доселе высочайшей милостью: Владимир Николаевич Акинфов имел мелкий чин XII класса и занимал более чем скромное место почетного смотрителя Владимирского уездного училища.

Летом 1863 г., когда в Польше полыхало восстание и Российской империи грозила весьма вероятная война с коалицией евро-

пейских держав, супруга покладистого почетного зрителя впервые на непродолжительное время остановилась в доме князя, вскружив голову министру и не оставив равнодушным его ближайшее окружение, в которое входил Федор Иванович Тютчев, поэт и дипломат:

Она вертела, как хотела,  
Дипломатическим клубком<sup>6</sup>.

11 июня 1863 г. Франция, Австрия и Англия потребовали от России созвать конференцию европейских держав для решения польского вопроса и предоставить Царству Польскому политические свободы. 10 июля "Московские ведомости" опубликовали ответы князя Горчакова – каждой державе в отдельности. Если Англию он удостоил юридической полемики, безукоризненно вежливой по тону, то Францию прямо обвинил в поддержке повстанцев, Австрии же просто отказал, коротко и сухо. Европейским державам было заявлено, что Россия решительно отказывается от рассмотрения выдвинутых ей условий. Трех державам не оставалось иного выбора, "как постыдное отступление или война"<sup>7</sup>. Они отступили, а торжествующий полную победу глава русских дипломатов был пленен обворожительной Надин. Министра и красавицу разделял 41 год – целая эпоха<sup>8</sup>. Впрочем, кто знает, может быть, именно присутствие этой женщины и позволило князю Александру Михайловичу одержать одну из своих самых блистательных дипломатических побед – империя избежала войны. Высочайший рескрипт от 13 июня 1867 г., жаловавший князю чин государственного канцлера, гласил: "Вся Россия торжественно признала заслуги ваши, когда в 1863 году, в исполнение Моих предначертаний, силою слова обезоружили подымавшихся на нас врагов и тем запечатлели имя ваше на скрижалях будущей летописи нашего Отечества"<sup>9</sup>. В рескрипте ничего не было сказано о госпоже Акинфовой: "нега стройная движений и стап, оправленный в магнит" запечатлению на скрижалях не подлежали. По иронии истории в тот же самый день, 13 июня 1867 г., Надежда Сергеевна имела продолжительную утреннюю беседу с Тютчевым, а затем они вместе встретили Александра Михайловича на вокзале.

По возвращении из-за границы князя Горчакова ожидала торжественная встреча. Исполнилось 50 лет с того момента, как он закончил Царскосельский лицей и поступил на государственную службу. Русское общество чествовало "знаменитого вождя русской национальной политики". Это был апогей популярности незаурядного дипломата, еще при жизни признанного исторической личностью.

Однако не все разделяли восхищение канцлером. Современники Пушкина доживали свой век "среди чуждых сердцам их людей"<sup>10</sup>. За кулисами политики и литературы уже действовали люди нового

Надежда Сергеевна Акинфова.  
Фото из личного альбома князя А.М. Горчакова.  
ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 1049.  
Публикуется впервые.



поколения, для которых князь Горчаков был не столько исторической личностью, сколько ходячим анахронизмом, не имевшим с их точки зрения права на частную жизнь.

Сумерки жизни нескольких современников поэта имели одну общую черту, весьма примечательную. *Прощальная улыбка* последней любви скрасила *печальный закат* Дениса Давыдова, Вяземского, Тютчева, Горчакова... Они пережили и успели воспеть *сумерки* дворянской культуры. Они уходили во мгле, уходили, по словам Тютчева, подобно последним картам в пасьянсе. («Приходит время, когда не в силах бываешь избавиться от чувства все возрастающего ужаса при виде, с какой быстротой одни за другими исчезают наши современники. Они уходят, как последние карты в пасьянсе»<sup>11</sup>.) Золотой век русской поэзии закончился вместе с ними, до Серебряного было еще далеко. Для стариков, одолеваемых недугами, было мало радости смотреть на молодежь, которая интересовалась лишь *насущным и полезным*. «Об амурах престарелого канцлера по городу ходили скабрзные рассказы»<sup>12</sup>.

Редчайший в статской службе чин I класса по Табели о рангах, пожалованный князю Горчакову, и особенно приписка, которую неизменно делал государь в рескриптах, адресованных министру иностранных дел ("искренне вас любящий и благодарный Александр"<sup>13</sup>), не могли не возбудить зависти света. Настойчивые слухи о предстоящем браке князя с *замужней* женщиной лишь подливали масла в огонь. (Следует помнить, что развод в то время был исключительно сложной, хлопотной и длительной процедурой<sup>14</sup>.) Ситуация осложнялась еще одним, параллельным, романом Надежды Сергеевны с лицом, принадлежавшим к Российскому Императорскому Дому.

Его императорское высочество князь Николай Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский, родился 23 июля 1843 г. от брака дочери Николая I Марии с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, сыном Евгения Богарне, пасынка Наполеона I. (Герцог Николай Максимилианович был наследником богатейшего и единственного в своем роде майората, основу которого составляли не земельные владения, а великолепные бриллианты императрицы Жозефины Богарне, первой жены Наполеона.) Император Николай I очень любил своего первого внука, его сын Александр II не скрывал своего расположения к племяннику, а великий князь Константин Николаевич охотно с ним беседовал, разъясняя 17-летнему герцогу суть крестьянского вопроса, "чтоб вся семья могла быть заодно"<sup>15</sup>.

30 января 1863 г. герцог получил звание флигель-адъютанта, а уже 30 августа 1865 г. – чин генерал-майора свиты его императорского величества<sup>16</sup>. Кроме того, Николай Максимилианович, унаследовавший от своего отца любовь к естественным наукам, состоял президентом Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества и был инициатором создания геологической карты России, опубликовал ряд серьезных научных работ и "много занимался химическими и кристаллофизическими исследованиями разных минералов и горных пород, несколько раз предпринимал поездки по России с научными целями и в 1866 году, между прочим, совершил путешествие на Урал, где осматривал изумрудные и иные копи"<sup>17</sup>. Побывал герцог на Урале и в 1867 г. Ах, отчего он не отправился далее: не побывал на Аляске и не попытался отыскать там золото?! Быть может, торопился вернуться к ненаглядной Надин?

Настало время обратить внимание читателей на выразительный историко-бытовой контекст – *место происходивших событий*. Горный департамент Министерства финансов, с которым был тесно связан герцог, располагался на Дворцовой площади, в великолепном здании Главного штаба. В этом же величественном бело-желтом здании находились Министерство иностранных дел и казенная квартира министра<sup>18</sup>. У герцога была прекрасная возможность часто встречаться со своей возлюбленной, когда она жила у дяди. Роман Надеж-

ды Сергеевны с герцогом начался в 1863 г., но в течение четырех лет об их отношениях практически никто не знал: близкое соседство Горного департамента и казенной квартиры канцлера помогло сохранить тайну. Даже многоопытный дипломат ни о чем не догадывался. "Ум всегда в дураках у сердца"<sup>19</sup>.

Весной 1867 г. ситуация изменилась: Николай Максимилианович, который был на четыре года моложе госпожи Акинфовой, решил жениться на своей возлюбленной, и князь Александр Михайлович узнал о существовании августейшего соперника.

\*\*\*

В это же время и в этом же здании келейно решалась судьба заокеанских владений Российской империи. Большой натяжкой была бы любая попытка установить причинно-следственную связь между драмой, пережитой князем Горчаковым, и решением о продаже Аляски, однако не обратить внимание на *близкое соседство этих событий во времени и в пространстве* невозможно. Ранней весной 1867 г. любовные переживания министра иностранных дел Российской империи стали той непредсказуемой исторической случайностью, которая могла повлиять на *"индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия"*<sup>20</sup>. Этой весной министру было просто не до Аляски! А от тех немногих, кто принимал судьбу заокеанских владений близко к сердцу, не зависело ни обсуждение вопроса, ни его решение.

Для министра финансов тайного советника Михаила Христофоровича Рейтерна Аляска была всего лишь неприятной обузой, поглощавшей большие средства и не приносившей в казну никакого дохода. Циник, ухарь и краснойбай вице-адмирал Николай Карлович Краббе, хотя и управлял Морским министерством в течение 16 лет, остался в памяти современников всего лишь ловким придворным, полностью лишенным государственных способностей. "Его едва ли можно и считать в числе министров, – отозвался об адмирале военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, – принятая им на себя шутовская роль и эротические его разговоры ставят его вне всякого участия в серьезных делах государственных"<sup>21</sup>. *Эти три человека – Горчаков, Рейтерн, Краббе – и решили судьбу Аляски.* Высшее общество хранило полнейшее равнодушие: в эти дни его занимал иной сюжет, более увлекательный. Предоставим слово министру внутренних дел П.А. Валуеву.

"27 марта 1867 года. Вечером раут у кн. Горчакова... Между тем в доме канцлера разыгрывается драма. Его страсть к pseudo племяннице Акинфиевой в полном разгаре. Сыновья уезжают после разных неприятных объяснений и сцен. В то же самое время развивается или продолжается роман той же самой героини с герцогом Н.М. Лейхтенбергским. Весь город знает, что он хотел на ней же-



ниться, что она сама предупредила о том государя в Летнем саду, что будто бы с нее взято обещание не ездить на выставку в Париж, где теперь находится герцог, но что в то же время она, по-видимому, с ним теперь переписывается"<sup>22</sup>.

Желая узнать подробности о том впечатлении, которое произвела на русское общество продажа Аляски, я обратился к документам Секретного архива III Отделения и был сильно разочарован. Удалось обнаружить только краткую справку в деле с многообещающим названием "Агентурные донесения о распространении среди торговой части населения г. Петербурга слухов о передаче Николаевской ж.д. иностранной торговой компании и об отрицательном отношении общественного мнения к продаже Россией острова (sic) Аляски. 7 июля 1866 г. – 27 марта 1867 г." Полагаю целесообразным полностью ее процитировать: "Слух о продаже наших Американских владений за 7 м.р. производит в обществе разные толки. Одни говорят, что Россия сделала весьма благоразумно, продав владения, не приносящие ровно никакой пользы; другие же проникнуты идеею, что это большой ущерб славе и достоинству России. На этом вертится и видоизменяется весь разговор. 27 марта 1867 г."<sup>23</sup> Обращаю внимание читателя на дату: неизвестный чиновник III Отделения составил эту справку в тот самый день, когда министр внутренних дел П.А. Валуев зафиксировал в дневнике слухи, связанные с именем Акинфовой, отметив одновременно, что "мы втихомолку продаем часть своей территории"<sup>24</sup>.

Итак, Надежда Сергеевна была разлучена с герцогом Николаем Максимилиановичем. Продолжительная разлука лишь обострила и усилила взаимное притяжение. Развод с господином Акинфовым был неизбежен: предстояло убедить Владимира Николаевича взять всю вину на себя и признаться – хотя и вопреки очевидным фактам, но за соответствующую мзду – в прелюбодеянии, которого он не совершал. Иначе после развода с первым мужем Надежда Сергеевна по существовавшему в то время духовным и светским законам утратила бы брачную правоспособность, т. е. навсегда потеряла бы право на *вторичное* вступление в брак. Никто не сомневался в согласии стоворчивого камер-юнкера, споры вызывали дальнейшие жизненные планы неотразимой Надин. Шел месяц за месяц, но до глубокой осени даже очень проникательные современники не могли предсказать, кого она предпочтет в качестве нового мужа.

У Надежды Сергеевны были серьезные основания колебаться перед принятием окончательного решения. Прежде всего развод означал неизбежную разлуку с детьми: дочери Екатерина и Мария остались бы с отцом. Далее. В качестве супруги камер-юнкера она была официально представлена ко двору: получала приглашения на балы во дворце и принимала участие в торжественных церемониях. Разведенная же женщина теряла это право, а ее новый муж не мог бы

оставаться далее министром, тем более министром иностранных дел. Следовательно, женитьба на Надежде Сергеевне стала бы концом карьеры государственного канцлера. Последнее обстоятельство его бы не испугало. "Князь Горчаков, поставленный в неизбежную необходимость выбора между любимой женщиной и весьма заманчивой для его честолюбия службой, не поколебался: не взирая на свое огромное честолюбие, он в 1838 году вышел в отставку и женился на графине Пушкиной"<sup>25</sup>. Не подлежит ни малейшему сомнению, что и на этот раз князь Александр Михайлович был способен пожертвовать карьерой ради любви.

Брак с лицом, принадлежавшим к Императорскому Дому, таил иные опасности. Надежда Сергеевна не принадлежала к царствующему или владетельному дому, поэтому ее брак с герцогом Лейхтенбергским мог быть только мorganатическим: дети от этого неравного союза не имели бы прав ни на имя, ни на титул, ни на наследственное родовое имущество отца. (Первоначально титул "Императорское Высочество" должен был сохраняться в мужском поколении герцогов Лейхтенбергских до праправнуков императора Николая I.) Кроме того, даже для вступления в мorganатический брак члену Императорской Фамилии требовалось испросить и получить согласие государя. Без высочайшего разрешения ни один священник Российской империи не рискнул бы совершить таинство венчания. Даже если бы герцог Лейхтенбергский получил подобное разрешение, брак с разведенной женщиной означал бы для него невозможность дальнейшего пребывания в России – и внук Николая I и племянник Александра II вынужден был бы отказаться от своих многочисленных должностей и удалиться за границу в качестве частного лица. Да, действительно, в этой женщине был какой-то неизъяснимый магнетизм: с неизбежными жертвами не считался никто!

Князь Александр Михайлович проявил поразительное благородство: он не порвал отношения со своей внучатой племянницей, и более того, рискуя собственной карьерой, стал хлопотать перед государем о вещи неслыханной: "об устройстве женитьбы герцога Лейхтенбергского на Акинфиевой"<sup>26</sup>. Александр II прекрасно относился к своему министру иностранных дел, но это было уже слишком! Одновременно князь стал усиленно обхаживать обер-прокурора Святейшего Синода графа Дмитрия Андреевича Толстого, надеясь заручиться его содействием: вмешательство обер-прокурора могло ускорить неизбежный развод супругов Акинфых.

В это время на сцене появилось еще одно действующее лицо – великая княгиня Мария Николаевна, президент императорской Академии художеств, хозяйка Маринского дворца и мать герцога Лейхтенбергского. У нее было три дочери и четыре сына. Лишь старшая дочь Евгения и сын Николай могли считаться настоящими детьми герцога Максимилиана: после рождения старшего сына великая

княгиня "отлучила его (мужа. — С. Э.) от своего ложа"<sup>27</sup>. О ее многолетней связи с графом Григорием Александровичем Строгановым, настоящим отцом младших детей великой княгини, знал весь Петербург. Вероятно, она не хотела для своего старшего сына подобной судьбы. Дневник П.А. Валуева сохранил для нас экспрессивные подробности драматической сцены: "20 декабря 1867 года. На днях в кабинете государя была стычка вел. кн. Марии Николаевны с кн. Горчаковым à propos de madame AkinfiEFF (по поводу г-жи Акинфиевой). Говорят, что беседа была довольно крупная, что государь вспылал и сказал кн. Горчакову, qu'il se rendait ridicule, que l'on évitait sa maison et que le corps diplomatique, qui ne pouvait pas l'imiter, se trouvait dans une fausse position (что он ставит себя в смешное положение, что люди не хотят посещать его дом, что дипломатический корпус, который не может ему подражать, находится в ложном положении). Вел. княгиня спросила князя, s'il épousait ou non (женится он или нет). Он вообще отзывался тем, que sa vie privée n'appartient qu'à lui etc. (что его частная жизнь есть его личное дело и т. д.). Между тем герцог Лейхтенбергский продолжает ездить к Акинфиевой и пр. и пр."<sup>28</sup> Эта стычка не прошла для канцлера бесследно. В свете стали циркулировать слухи о его неизбежной отставке. 18 декабря 1867 г. Ф.И. Тютчев написал из Петербурга в Москву И.С. Аксакову: "Толки об удалении князя Горчакова угомонились. *Вся эта кутерьма вышла вследствие глупой истории с Акинфиевой, за которую государь досадовал на Горчакова, да и не без причины.* Но об замещении его кем-нибудь другим государь, вероятно, и не думает"<sup>29</sup> (курсив мой. — С. Э.).

К весне 1868 г. соглашение с господином Акинфовым было достигнуто. Делу о разводе был дан официальный ход. Владимир Николаевич принял на себя вину в оскорблении "святости брака прелюбодеянием" (Л. 352–352 об.) и представил двух необходимых свидетелей, что сохраняло за Надеждой Сергеевной право вступить в новый брак, но навсегда лишало этого права ее первого мужа. Оставалось получить разрешение духовных властей на развод. Надо было ехать в Москву.

"14 апреля 1868 года. Герцог Лейхтенбергский уехал за границу, а г-жа Акинфиева в Москву. Они, вероятно, сговорились встретиться за границей, но ей секретно запрещено выдавать туда паспорт"<sup>30</sup>.

Надежда Сергеевна решила отстаивать собственное право на личное счастье: она не хотела верить свою частную жизнь и свою судьбу кому бы то ни было, даже царю. "Отстаивай любовь своими ногтями, отстаивай любовь своими зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее против власти. Будь крепок в любви — и Бог тебя благословит. Но любовь — корень жизни. А Бог есть жизнь"<sup>31</sup>. Именно так она и жила, хотя эта мысль философа Серебряного века появилась в печати спустя почти четверть века после смерти моей ге-

роини. Слабая женщина, обладавшая поразительной магией, вступила в борьбу не просто за себя, она стала бороться с верховной властью. Она выбрала не отчуждение, дистанцирование, злословие, а борьбу. Борьбу не за ниспровержение существующего или за воплощение каких-либо теорий, идей, программ. Она желала не всеобщего, а только личного счастья. Стремилась не к изменению мира или света с его законами, а лишь к изменению личной судьбы в неизменном мире. Впрочем, подобное поведение меняет мир: если можно изменить судьбу, доселе предопределенную, значит, мир не остается неизменным. "Как будто свершилась революция между двумя эпохами. Наши борзописцы толкуют о 19 февраля. Нет, не отмена крепостной зависимости крестьян, сколь ни велико это дело, составляет главную грань между настоящим и прошлым. Падение крепостной зависимости духа – вот что их разделяет. Взгляды и понятия изменились. Сила тяготения к центральному солнцу власти уменьшилась. Каждый начинает смотреть на самого себя как на самостоятельную единицу. Вполне ясного сознания еще нет; уменья и подготовки еще менее, но повеяло ветром, который со временем сметет противопоставляемые ему преграды. Вопрос в том, сметет ли он только дряблое и отжившее или усилится до бури, которая ломает и живое. Зависит от правильности наблюдений и взгляда в Зимнем дворце"<sup>32</sup> (курсив мой. – С. Э.). Вероятно, именно по этой причине одному из лучших сотрудников тайной политической полиции было поручено любой ценой помешать пленительной женщине реализовать свои планы. Российский Императорский Дом не желал, чтобы один из его членов женился на разведенной женщине и вступил в морганатический брак. При этом мнение самого герцога Николая Максимилиановича в расчет не принималось. Повторяю, выстрел Каракозова в царя уже прозвучал (в момент покушения герцог был рядом с государем), началась настоящая охота революционеров на Александра II, а мощь государственной машины была направлена на то, чтобы не дать возможности двум любящим друг друга людям устроить свою судьбу.

\*\*\*

Надежда Сергеевна не знала, что о каждом ее шаге отныне будет известно "голубым мундирам". Ей предстояла встреча и противостояние с одним из самых талантливых агентов. 11 апреля 1868 г. управляющий III Отделением и начальник Штаба корпуса жандармов генерал-майор Николай Владимирович Мезенцов направил шифрованную телеграмму № 56, адресованную начальнику 7-го Московского округа корпуса жандармов генерал-майору Ивану Львовичу Слезкину: "Завтра утром прибудет в Москву из Петербурга жена губернского секретаря Акинфьева, рожденная Анненкова, прошу принять секретные меры для сведения, где она остановится, какие будут ее намерения по поводу производящегося о ней в консистории бра-

коразводного дела; послезавтра явится к вам доверенное лицо, которому назначено следить за делом. Генерал Мезенцов" (Л. 5). 13 апреля генерал Слезкин исполнил порученное распоряжение и шифрованной телеграммой № 121 доложил об установлении наблюдения (Л. 7).

Мы привыкли к стереотипу, что секретные агенты рекрутировались исключительно из людей непотребных, лишенных способностей и принципов. Этот стереотип сложился не только в результате усилий публицистов, в его существовании повинны и сами жандармы. «Живо помню мое удивление, – писал Константин Федорович Филиппеус, один из руководителей секретной агентуры III Отделения, – когда 1 апреля 1869 г. мне впервые были вручены секретные суммы, и вслед затем представились мне господа агенты, а именно: один убогий писак, которого обязанность заключалась в ежедневном сообщении городских происшествий и сплетен. Первые он зауряд выписывал из газет, а последние сам выдумывал... Отменив тогда же эти вздорные записки, я дал автору их поручение съездить в село Иваново и составить подробное описание этого "русского Манчестера". Но вскоре после того я был вынужден уволить этого господина. Кроме того, ко мне явились: один граф, идиот и безграмотный; один сапожник с Выборгской стороны – писать он не умел вовсе, а что говорил, того никто не понимал и с его слов записать не мог; двое пьяниц, из коих один обыкновенно пропадал первую половину каждого месяца, а другого я не видел без фонарей под глазами или царапин на физиономии, одна замужнящая женщина, не столько агентша сама по себе, сколько любовница и сподручница одного из агентов; одна вдовствующая, хронически беременная полковница из Кронштадта и только два действительно юрких агента. Вот состав агентуры, который я принял при вступлении в управление III Экспедицией. Все исчисленные агенты получали в сложности до 500 рублей в месяц. Полагаю, что мне не были переданы те лица, которые сами не пожелали сделаться известными новому начальнику агентуры. О покойном Романе я не упомянул, так как он в то время состоял еще в штатной службе»<sup>33</sup>. Последняя оговорка весьма примечательна: в ней идет речь о новом действующем лице моего рассказа.

Лютеранин Карл-Арвид Иоганнов Роман (Романнъ), именовавшийся в официальных документах на российский манер Карлом Ивановичем, родился в городе Бауска Курляндской губернии, окончил полный курс наук в Ришельевском лицее в 1850/51 учебном году по физико-математическому отделению, удостоившись похвального аттестата с правом на чин XII класса в статской службе. Однако Карл-Арвид предпочел службу военную, поступив в июле 1852 г. унтер-офицером в Олонецкий пехотный (переименованный потом в Олонецкий пехотный его королевского высочества принца Карла Баварского) полк. Вероятно, он находился в плену традиционных

*Графиня Богарне (Н.С. Акинфова)  
и герцог Н.М. Лейхтенбергский.  
Фото из личного альбома князя А.М. Горчакова.  
ГАРФ, Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 1061.  
Публикуется впервые.*



иллюзий всех молодых людей и надеялся быстро сделать карьеру на военной службе. Действительность быстро внесла весьма существенные коррективы. Только через год Роман получил первый офицерский чин прапорщика, а в начале 1855 г. был произведен в подпоручики и в сентябре того же года назначен на должность адъютанта при и.о. начальника штаба 2-го пехотного армейского корпуса. Крымская кампания не дала молодому офицеру реальную возможность выдвинуться, несмотря на то, что Роман находился в самом пекле, и он вышел в отставку.

Однако отставной штабс-капитан не мыслил себя вне государственной службы и определился в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел, а затем совершил необычный для боевого офицера поступок: попросил о переводе в III Отделение – и 14 июня 1863 г. как человек "испытанный и надежный" был принят в Отделение, первоначально всего лишь "для занятия письмоводством". В мае 1864 г. о нем докладывается по начальству: 35-летний "чиновник для письмоводства коллежский секретарь Роман занима-

ется не одною перепискою бумаг, но и самым составлением их, требующим опытности и знания иностранных языков"<sup>34</sup>. В результате этого представления Карл Иванович был назначен исправляющим должность младшего чиновника, а через год получил чин титулярного советника. Именно этому "доверенному лицу", получившему псевдоним "Петров", предстояло разобраться в хитросплетениях семейного дела Императорской Фамилии.

\*\*\*

15 апреля 1868 г. в 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> часа вечера в III Отделении получили первое донесение Романа, которое было запечатано печатью небольшою с буквою С (вероятно, печать принадлежала генералу Слезкину).  
"Г. Москва.

13 апреля 1868 г. 7 часов вечера.

Прибыв сегодня в 11 часов утра в Москву (поезд опоздал от неисправности), я тотчас явился к Г<енералу> С<лезкину>, которого не застал дома, и прождал его до 3-х часов пополудни. От него я узнал, что известная особа прибыла вчера, в сопровождении лакея и двух девушек прислуги, и остановилась в гостинице, название которой Вам известно из телеграммы моей (харандашом вписано: "Дюссо". – С. Э.). Обстоятельство это побудило меня, не стесняясь дороговизною, тотчас же переехать в ту же гостиницу, где я застал всего один большой свободный номер в 2 комнаты, и то крайне неудобный для дела, и надобно мириться с сим неудобством и не дремать.

Г<енерал> С<лезкин> передал мне, что известная особа привезла с собою очень большой багаж (в чем я действительно лично уже убедился), который перевезли в гостиницу на ломовом извозчике. Кроме того, накануне ее приезда сюда она прислала особый багаж, но кто его принимал, на чье имя он был адресован и куда девался, того Г<енерал> С<лезкин> мне сообщить не мог. Просил его разведать. На железную дорогу к ней выехал щегольской экипаж, но чей он был, и того Г<енерал> С<лезкин> не знал, как равно ему до сих пор ничего не известно о ходе дела в Консistorии. Я просил его настоятельно узнать. Раньше понедельника не может узнать. Паспорта ей отсюда не дадут, ибо Ген<ерал>-Губ<убернатор> предупрежден.

Она слывет здесь за богатую барыню. Занимает 2 больших номера и привезла с собою из Петербурга одного лакея и двух девушек прислуги. Целый день сегодня дома. Намерения ее пока не известны, но я думаю наверно, что она не останется в Москве и в Петербург не поедет, по крайней мере, не так скоро. Буду следить безотлучно. Р<оман>" (Л. 9 – 10 об.). 16 апреля письмо доложили Мезенцову. Последовала резолюция: "Приобщить к прочим" (Л. 9).

Мы отчетливо видим характер бывшего офицера: он не стесняется давать конкретные поручения генералу Слезкину и не боится докладывать своему непосредственному начальству о недостаточ-

ном с его точки зрения служебном рвении окружного жандармского генерала, обладавшего дисциплинарными правами начальника дивизии и стоявшего намного выше его в служебной иерархии. Интересы дела – превыше всего. 14 апреля 1868 г., в 5 часов вечера, Роман заканчивает очередное письмо: «Вчера вечером, после того, как я уже опустил свое письмо в ящик, к известной особе приехал какой-то чиновник в виц-мундире – щеголь и оставался у нее до 2-х часов ночи. <...> Я занял себе... лакея. Иначе нельзя... Только что узнал, что она приехала не с одним лакеем, как передал нам Г<енерал> С<лезкин>, а с двумя... Но главное дело заключается в том, что она приехала без всякого вида на жительство, который, как она уверяет, ей будет на днях выслан из Петербурга... Одно не хорошо – местная полиция настойчиво требует от нее вида. Я успел ее уже хорошенько рассмотреть – шикарная барыня... Хорошо бы было, если бы Вы на почте в Петербурге сделали распоряжение, чтобы письма как простые, так и страховые и посылки на ее имя были Вам сообщаемы. (Отчеркнуто на полях красным карандашом. – С. Э.) Если мне придется здесь долго прожить, то это обойдется очень дорого. Занимая большой номер, я должен жить в гостинице сообразно этому. Р.» (Л. 15–16 об.). Расходы титулярного советника росли буквально с каждым часом и никак не соответствовали его скромному чину. (Только за номер в гостинице Карл Иванович ежедневно платил 4 рубля, номер Надежды Сергеевны обходился ей в 10 рублей. Наем экипажа на 1 день стоил 8 рублей.)

Едва успели просохнуть чернила, как Карл Иванович покинул гостиницу и, купив за 2 рубля 50 копеек театральнй билет, последовал за Надеждой Сергеевной в оперу, чтобы в 10 1/2 часов вечера продолжить свое донесение, полученное в Петербурге 17 апреля в 1 3/4 часа пополудни: «В опере она была сначала одна и до крайности разодетая – словом до того, что весь театр более занимался ей, нежели плохой “Дочерью полка”... Я успел узнать, что муж ее не живет в Москве, а во Владимире и приехал сюда в среду, остановился в гостинице “Англия”. Сегодня он опять отправился во Владимир, обещая возвратиться в среду» (Л. 17–17 об.). Из расспросов прислуги Роману удалось узнать, что Акинфова, возможно, на днях отправится в Курск, в деревню к матери. О намерениях ее супруга мы узнаем из следующего документа. 15 апреля шифрованной телеграммой № 76 владимирский губернатор генерал-лейтенант Владимир Николаевич Струков<sup>35</sup> доложил шефу жандармов: «Камер-юнкер Акинфов просил заграничный паспорт жене его, в выдаче онаго я отказал» (Л. 19).

16 апреля Надежда Сергеевна с мужем и детьми покинула Москву и утренним поездом отправилась в Тулу. Потратив 7 рублей 45 копеек казенных денег на билет, Карл Иванович “случайно” оказался с ними в одном вагоне. “Для того, чтобы не сделать ни малей-



шего промаха, я беру лакея с собой. Он последует в одном классе с ее человеком” (Л. 34 об.). Даже в железнодорожном вагоне частная жизнь супругов Акинфых продолжала оставаться под наблюдением тайной полиции.

“Г. Тула. 17 апреля 1868 года. 2 часа пополудни.

Из Москвы известная особа, в сопровождении своего мужа, 2-х детей, 2-х женщин и одного лакея – прислуги, выехала вчера в 11 часов утра. Я уехал с ними в одном вагоне. Дорогой я имел намерение с нею сблизиться, но присутствие мужа этому мешало, посему я должен был довольствоваться им. Рассматривая его и наблюдая за ним внимательно, я должен был придти к заключению, что он играет весьма жалкую роль в отношении своей жены – роль не чуть ли лакея: он даже не садится ни рядом с нею, ни против нее, а совершенно в стороне. Супруги в течение всего пути почти не разговаривали между собою, хотя он ее и называл Надя, и она его Вольдемар, но видно было, что они друг от друга отвыкли. По мере приближения к Туле она становилась задумчива” (Л. 20). Роман обладал не только исключительной наблюдательностью, но и редкой способностью легко сблизиться с незнакомыми людьми и, располагая их к себе, ненавязчиво выведывал нужные ему сведения. В поезде он поговорил с господином Акинфовым – “без присутствия жены” – и узнал, что его попутчик предводитель дворянства Покровского уезда Владимирской губернии. “На вопрос мой, сделанный в удобную минуту, кто такая дама, с ним едущая, он, как бы конфузясь, отвечал, что это его жена. Не только она, но и дети и прислуга были разодеты шегольски – видно было желание блеснуть перед теми, куда она ехала; она была страшно нарумянена и набелена” (Л. 20 об.).

В пути Карл Иванович продолжал заводить нужные знакомства и расходовать казенные деньги. Он заказал шампанское (4 рубля 50 копеек бутылка) и угостил соседку по вагону. Разговор оживился. Словоохотливая госпожа Голохвастова, имеющая связи при дворе, сама обратила внимание Романа на Акинфова. “Она, разговаривая со мною, спросила меня, указывая на нее, не знаю ли я эту даму? На отрицательный ответ мой она рассказала мне за обедом, в Серпухове все ее истории и назвала как ее покровителя, так равно и известного уже Вам искателя ее руки и не мало удивляясь, что подобная скандальная женщина может выйти замуж за племянника – кого? Вы это знаете. К этому Голохвастова добавила, что она, т. е. Ак<инфова> в хороших интимных отношениях с известною любовницей Министра З. (карандашом вписано: “генерал-адъютанта Зеленого”. – С. Э.) – Карнович. Она Вам известна” (Л. 20 об. – 21).

Карл Иванович предположил, что Акинфова вместе с госпожой Карнович собирается поехать за границу, и предложил начальству установить дополнительное наблюдение еще и за любовницей генерал-адъютанта, генерала от инфантерии и члена Государственного

совета Александра Алексеевича Зеленого. Мало им было забот с Акинфовой!

Госпожа Акинфова путешествовала с большим комфортом. В Туле Надежду Сергеевну встретили: "Ее ожидал тут заряженный 6-ю лошадьми великолепный дорожный дормез, в который все семейство пересев, отправилось, как я проследил, по Московскому шоссе назад. Багаж следовал сзади в тарантасе". Роману удалось установить, что "16 апреля в 6 часов вечера Придворный Камердинер Мойсей Скороусов взял 9 лошадей на почтовой станции (без подорожной) под два экипажа Принца Лейхтенбергского" (Л. 21). Придворные экипажи были накануне привезены по железной дороге из Москвы и оставлены у купца Сушкина. Дормез с пассажирами и тарантас с багажом отправились в путь и остановились в 13 верстах от Тулы в имении Семеновском, у родственников со стороны матери господ Шидловских (Вера Александровна Шидловская – тетушка графини Софьи Андреевны Толстой).

А Роман явился к тульскому жандармскому штаб-офицеру полковнику Муратову, предъявил свои полномочия и попросил установить за Акинфовой наблюдение, "чтобы она шагу не могла сделать без нашего ведома". Роман ощутил нехватку денег – услужливый полковник охотно дал ему взаймы. Впервые у не склонного к похвале младшего чиновника III Отделения вырвалось нечто похожее на восхищение: "Признаюсь откровенно, что такого быстрого и ловкого содействия, как со стороны полков<ника> Муратова мне было оказано, я еще буквально нигде не встречал. <...> Она слывет здесь за фрейлину. <...> Полковник Муратов успел уже устроить на месте негласное наблюдение за нею и о намерении ее куда-либо ехать, тотчас будет дано знать. Сколько я успел узнать, отец ее Анненков, живущий в Курске, есть бывший предводитель дворянства" (Л. 22). Полковник Муратов посоветовал Роману представиться тульскому губернатору, и 17 апреля титулярный советник Роман лично предупредил его о невыдаче паспорта госпоже Акинфовой и о необходимости действовать "с сохранением всего этого в величайшей тайне и не передавая этого дела Канцелярскому порядку" (Л. 23).

\*\*\*

Тульские жандармы и их славный предводитель полковник Муратов самоотверженно трудились день и ночь. В результате принятых оперативно-розыскных действий Роман выявил новые факты, о которых не замедлил сообщить в Петербург. "Между тем, в ночь с 17 на 18 число получены следующие сведения: 1) Придворный Камердинер Скороусов состоит при Кн. Горчакове и в дороге выдавал себя за Придворного чиновника; 2) в доме Сушкина заметна какая-то особенная осторожность (быть может легко от того, что они староверы). Ворота дома на запоре день и ночь. Незнакомых ни-

кого не пускают. <...> Ее считают французской актрисой, едущей за границу, но все-таки через Петербург. <...> Ак<инфова> приехала в Семеновское для свидания со своей бабушкой Шидловской и предполагается завтра в Курск к отцу Анненкову, а оттуда за границу – путь не указан” (Л. 23 об. – 24).

До Курска можно было добраться только на лошадях. Железная дорога еще не была открыта, и предстоящее путешествие на перекладных не вызывало энтузиазма у израненного под Севастополем немолодого чиновника: ведь в его распоряжении не было комфортабельного дормеза – дорожной кареты, в которой можно лежать вытянувшись. Мои герои жили в сословном обществе. Согласно высочайше утвержденным расписаниям, число казенных, почтовых лошадей, отпущившихся проезжающим на почтовых станциях, было строго регламентировано и соответствовало их чину и званию: канцлеру Горчакову полагалось 20 лошадей, титулярному советнику Роману – 3 лошади<sup>36</sup>. Даже при езде *по казенной надобности* Карл Иванович имел право требовать только одну тройку: попробуй, догони на ней шестерку лошадей госпожи Акинфовой! “Я полагаю, что наблюдение за нею может быть передано Курскому штаб-офицеру, ибо мое присутствие я признаю, при настоящих положительных сведениях, излишним. <...> Кажется, я аккуратно исполнял мое поручение. Телеграфируйте в Тулу. Р.” (Л. 34–34 об.). Роман хотел вернуться в Петербург и даже успел условиться с Муратовым на случай возможного отъезда из Тулы. Однако петербургское начальство меньше всего было склонно учитывать в своих распоряжениях состояние здоровья талантливого чиновника. Карандашная резолюция генерала Мезенцова от 19 апреля не оставила ему никакой надежды уклониться от изнурительной поездки: “Роман должен ехать в Курск и усугубить старание” (Л. 33). В тот же день на имя полковника Муратова была послана шифрованная телеграмма № 96: “Передайте Роману, что он должен следовать за братом (т. е. за Акинфовой. – С. Э.) в Курск и вообще деятельно следить” (Л. 30, 31). Можно подумать, что до этого он старался недостаточно и следил недейтельно!

Подход Карла Ивановича к порученному ему делу обходился крайне недешево. “Боюсь потерпеть недостаток в деньгах, около 250 рублей у меня еще есть. <...> Я взял взаимнообразно у полков<ника> Муратова 150 рублей, которые прошу ему возвратить с возможной скоростью” (Л. 24 об.). Роману не нравилось, что дорогой дормез в постоянной готовности стоит перед домом на открытом воздухе, а не отправлен к Сушкину. Акинфова могла в любой момент неожиданно покинуть Семеновское. “Приготовлений к отъезду нет, да нечего их делать, ибо все в сундуках” (Л. 25 об.). Опасаясь весьма вероятных нареканий в нерасторопности, Карл Иванович заранее стремился просчитать все возможные варианты развития событий и настоятельно просил начальство дать ему карт-бланш. “Задержать Ак<инфова> ранее границы я не буду

иметь никакой возможности, разве приказано будет ее арестовать. Потрудитесь дать мне на этот счет положительное указание. – Р.” (Л. 25 об.).

А в это время генерал-майор Слезкин выяснил колоритные подробности бракоразводного процесса супругов Акинфых и письмом № 125 от 16 апреля 1868 г. сообщил управляющему III Отделением следующее: “Акинфьев встретил жену свою, как бы уже видевшись с нею; с разговорами к ней почти не обращался, хотя и был внимателен; вообще в обхождении Акинфьева с женою замечалась холодность; к детям же был ласков.

Пребывание свое в Москве Г-жа Акинфьева, как казалось, хотела сделать по возможности менее гласным, прислуга ее в разговоре с посторонними лицами была осторожна и скрытна. Бракоразводное дело Акинфьевой с мужем потребовано Преосвященным Леонидом 14-го числа и находится у него на рассмотрении; по отношениям моим к Преосвященному, я надеюсь узнать о положении этого дела и о тех намерениях, которые могли выразиться при этом со стороны Г-жи Акинфьевой. Бракоразводное дело ведется в большом секрете под наблюдением присяжного поверенного Фальковского.

Г-жа Акинфьева и прислуга ее не имели узаконенных видов (т. е. письменных документов, паспортов. – С. Э.) для выезда из Петербурга и [она] отозвалась [в] конторе гостиницы Дюссо, что виды ее и прислуги ее, оставлены в Петербурге” (Л. 36–36 об.).

18 апреля последовало очередное секретное письмо № 128. Генерал Слезкин доложил генералу Мезенцову результаты своей приватной беседы с Преосвященным Леонидом, викарным архиереем Московской епархии и епископом Дмитровским. (Следует подчеркнуть, что пока был жив митрополит Филарет, епископ Леонид “исполнял особенные поручения своего владыки”, а затем “с 20 ноября 1867 года по 25 мая 1868 года он управлял Московскою епархией за смертью Филарета”<sup>37</sup>).

Именно к Леониду обратилась госпожа Акинфова с просьбой ускорить бракоразводный процесс. Преосвященный Леонид (в миру Лев Васильевич Краснопеков) происходил из хорошей дворянской фамилии и был сыном товарища герольдмейстера. Он обучался в Горном кадетском корпусе и некоторое время служил на Балтийском флоте мичманом, свободно владел английским, немецким и французским языками, обладал даром слова и имел изящные непринужденные манеры. Его беседа с Надеждой Сергеевной носила вполне светский характер; “она высказала свою склонность к молодому человеку” (так генерал Слезкин деликатно обозначил герцога Лейхтенбергского) и четко расставила все акценты: “...расторжение ее брака есть крайняя необходимость, при этом она заверяла, что дело известно Государю Императору.

Г. Акинфьева дала заметить Преосвященному Леониду, что положение, в котором она находится, подвинет ее к тому, что она в

случае неуспеха в бракоразводном своем деле для достижения задуманной ею цели может обратиться к другой религии, или же – предаться и безбрачно любовной связи с молодым человеком.

Бракоразводное дело Акинфьевой находится в настоящее время в рассмотрении у Преосвященного Леонида. Сегодня в откровенном со мною разговоре он сказал, что Акинфьевой будет отказано духовною консисториею в расторжении ее брака с мужем” (Л. 50–50 об.).

Епископ сдержал свое слово. 24 апреля 1868 г. секретным письмом № 139 генерал Слезкин сообщил в Петербург суть состоявшегося секретного же решения Преосвященного Леонида: “Он утверждает определение Духовной консистории, коим отказывается г-же Акинфьевой в расторжении брака с мужем ее, – как по недостаточности фактического доказательства в прелюбодеянии ее супруга, так и по той причине, что дело это по месту постоянного жительства г-на Акинфьева во Владимирской губернии должно быть ведено Епархиальным ведомством той губернии” (Л. 63).

В тот же день до Петербурга дошло личное письмо, которое титулярный советник Роман 20 апреля отправил генералу Мезенцову. Карл Иванович с чувством собственного достоинства написал Николаю Владимировичу, что он, разумеется, запасася подорожной до Курска (“если надобность укажет”), но не верит, что госпожа Акинфова рискнет предпринять это путешествие. “Далекий от мысли не исполнить вполне волю Вашу, я считаю, однако ж, долгом доложить Вашему Превосходительству...” – так посмел написать младший чиновник управляющему III Отделением, обосновывая свою профессиональную компетентность и опытность в делах “такого рода” (“5-ти летняя опытность моя в этого рода делах”) (Л. 75.) Роман был уверен, что во время продолжительной весенней распутицы госпожа Акинфова не решится на поездку в Курск, и изложил свои доводы генералу: “Наконец, пути до того дурны и дальни (а железная дорога в 300 верстах от Курска), что нет расчета ехать по сим путям с двумя маленькими детьми и без мужчины. Муж возвращается отсюда в Покров” (Л. 45 об.–46).

Я полагаю, что у генерала Мезенцова не было времени прочесть эти строки. Слишком стремительно развивались события. Вероятно, Надежда Сергеевна догадалась о слежке и решила сыграть с тайной полицией злую шутку, оторвавшись от преследования. Акинфова налетке уехала в соседнее имение, расположенное рядом с железнодорожной станцией: “погостить к соседу” (Л. 69 об.). Следствием этого визита был непонятно откуда возникший и зафиксированный агентами полковника Муратова слух, что брак с герцогом Лейхтенбергским ей разрешен, но обряд венчания должен быть совершен за границей (Л. 70 об.). Из гостей Надежда Сергеевна неожиданно, не возвращаясь в Семеновское, отправилась на железнодорожную станцию и в полдень 22 апреля взяла билет первого класса до Москвы.

Князь А.М. Горчаков.



Днем ранее в первопрестольную по неотложным делам уехал Роман. Тульские жандармы были в панике. 2-го числа экстренной телеграммой Роман был вызван в Тулу, чтобы 23-го вновь уехать в Москву. Его ожидали малоприятные дорожные приключения. "Путь по случаю постоянных дождей и таяния снегов до того поврежден, что предшествующий товарный поезд сошел с рельсов и испортил совершенно путь и остановил наше движение на 21 час". На станции Бараново поезд простоял с 3 часов дня 23 до 2 часов 24 апреля (Л. 69). А в это время генерал Мезенцов окончательно запутался в ворохе доложенных ему экстренных телеграмм: "Я ничего не понимаю" (Л. 44). Действительно, мудро было ему разобраться, когда почти на сутки из поля зрения *всевидящих* глаз его подчиненных одновременно исчезли как Акинфова, так и Роман.

24 апреля 1868 г. генерал Слезкин секретной телеграммой № 5199 прояснил ситуацию: "Акинфьева со вчерашнего дня в Москве. Дальнейшие намерения еще не известны" (Л. 49). И лишь на следующий день Мезенцову вручили долгожданную телеграмму Романа № 5225: "Сейчас прибыл Москву задержками. Путь поврежден. Брат здесь. Адрес знаю. Подробности почтой. Петров" (Л. 58).

Карл Иванович продолжал проявлять свою индивидуальность и по малейшему поводу не устал давать советы начальству. Может быть, это объяснялось его болезненным состоянием. "Боюсь, чтобы появление мое в Hot de Dr. (гостинице "Дрезден" – С. Э.) не показалось ей странным, ибо она ведь видела меня у Дюссо и в одном с собою вагоне... Вам стоит только пожелать и приказать, и я готов всем жертвовать, лишь бы исполнить свято Ваше желание. Это самое обязывает меня говорить Вам всегда правду. *Здоровье мое от постоянных тревог и лишений сильно пошатнулось.* 24 апреля 12 1/2 ночи. P.S. Движение поездов на Тулу совершенно прекращено" (Л. 70 об.–71. Курсив мой. – С. Э.). Роман полагал, что дальнейшее наблюдение за Акинфовой в Москве не имеет смысла и ведет лишь к постоянной трате больших денег. Кроме того, он мечтал о возвращении в Петербург, где оставил жену на сносях и двоих детей (Л. 76 об.). Генерал Слезкин в приватном письме Мезенцову вскользь заметил: "Роман тяготится своею командировкою" (Л. 98). Карла Ивановича раздражали непрофессиональные с его точки зрения действия агентов генерала Слезкина. Он опасался, что Акинфова обо всем догадается. Интуиция и опыт его не подвели. 28 апреля 1868 г. Роман написал Мезенцову: "То, чего я опасался, случилось. Вчера по всей гостинице к вечеру распространился слух, что Московская полиция усиленно следит за братом" (Л. 87). На следующий день он с горечью продолжил: "Секретно. Вообще настоящее дело, по милости прислуги... становится все более и более гласным и *различным толкам нет конца*" (Л. 73 об. Курсив мой. – С. Э.). На его обширном письме сохранилась раздраженная резолюция карандашом: "Наблюдение за г. Акинфьевою должно быть усугублено, уведомьте об этом как Романа, к которому оставаться, так и ген<енерала> Слезкина, сообщить им, по поручению Графа [Шувалова], что какой-либо непредвиденный поступок со стороны г-жи Акинфьевой падет на их личную ответственность" (Л. 72. Ср. Л. 78–79). Генерал-майор Слезкин отреагировал молниеносно, переслав Мезенцову малограмотный донос одного из своих агентов на "господ фон Романка (sic) и Неваховича", которые "постоянно сидят вдвоем в общей зале гостиницы против двери, ведущей в номер, занятый г. Акинфьевою" (Л. 86). Роман был вынужден оправдываться: "Наблюдатель есть лицо, которое весь город знает как выгнанного полицейского сыщика". Этим сыщиком был поручик Глинка (Л. 74 об., Л. 90).

От пережитых волнений здоровье Карла Ивановича окончательно расстроилось. "Здоровье мое все хуже и хуже..." (Л. 95 об.). "Езду почтовыми по совести не выдержу" (Л. 99). 1 мая 1868 г. Роман, заверив генерала Мезенцова в своей неизменной готовности сделать "*...все, что только в человеческих силах, все, чем богат мой ум и опытность, все, что дает случай*", отчаянно взмолился: "...но долгом считаю доложить, лишь бы здоровья хватило, о котором не хочу вам более надо-

едать, а нравственных сил много, много – их достанет на две жизни! Прошу, ваше превосходительство, этому верить и вериты! <...> *Эх! здоровья бы, здоровья!*” (Л. 101–101 об., 105. Курсив мой. – С. Э.).

Письмо еще не успело дойти до адресата, а генерала Слезкина запросили из Петербурга, готов ли он поручиться за успех дела, если Роман будет отозван (Л. 82–83). 30 апреля 1868 г. в 3 часа 36 минут пополудни шифрованной телеграммой № 6559 Слезкин сообщил Мезенцову: “Бдительный надзор за Акинфьевой в Москве и Губернии принимаю на себя” (Л. 84). Однако петербургское начальство продолжало колебаться. 2 мая 1868 г. в 11 1/2 часов вечера Роман написал генералу Мезенцову еще одно личное письмо, в котором в очередной раз попытался объяснить логику поведения госпожи Акинфовой: “Отец будет брата убеждать не заводить бракоразводного дела, но он бедовый – на это не согласится” (Л. 114). Коснулся Карл Иванович и логики своего поведения: “При этом я считаю долгом предупредить ваше превосходительство, что отвечая за успех дела, я непременно позволял, позволяю и позволю себе некоторую в нем самостоятельность моих действий, вызываемых ходом дела и на которые мне не могло быть указано. Действия эти, конечно, касаются единственно моей личности и не официальные. Задача моя не пустить за границу и не пущу! <...> Отвечаю вам: не уйдет до тех пор, пока я жив. Это не фразы, но приуроченные действия. – *В этом деле я вижу репутацию всей моей службы.* <...> Зорко слежу” (Л. 110 об., 112 об., 114 об. Курсив мой – С. Э.). Лишь 5 мая, в 9 часов вечера, последовало долгожданное разрешение вернуться в Петербург (Л. 114, 115). На следующий день генерал Слезкин в личном письме генералу Мезенцову отдал полную справедливость талантливому чиновнику: “Роман знает свое дело отлично и с таким усердием исполнял его и здесь; в нем я постоянно замечал: честность к своему служебному долгу и видимое стремление оправдать доверие к нему его начальства” (Л. 123).

10 мая 1868 г. генерал сообщил в Петербург распространившиеся среди москвичей слухи о предстоящем приезде в Москву герцога Лейхтенбергского (Л. 125). Последовала резолюция: “Будем иметь в виду. 11 мая” (Л. 125 об.). На разборе шифрованной депеши Слезкина о весьма вероятном возвращении в ближайшие дни в Петербург Надежды Сергеевны имеется красноречивая пометка карандашом: “У кн. Горчакова известно, что г-жа Акинфьева будет в Петербурге в воскресенье утром 19-го мая” (Л. 138). *За дамом государственного канцлера велось наблюдение!* У жандармов были свои резоны. III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии полагало: “... особенное внимание, оказываемое г-же Акинфьевой князем Александром Михайловичем, вызывает опасение, чтобы ей не был выдан заграничный паспорт из Министерства Иностранных дел” (Л. 149–149 об.).



Из сообщений генерала Слезкина было известно, что Надежда Сергеевна отправила своих детей в деревню Казино, что в семи верстах от Подсолнечной, к свекрови, а сама продолжала хлопотать о расторжении брака и не теряла надежду на успех<sup>38</sup>. "Рассказывают, что муж ее в кругу знакомых и родных своих, уверяя, что он все делает для расторжения своего брака, готов на все жертвы, чтобы осуществить желание своей жены, прибавив к этому, что если бы исполнение намерений ее стоило ему жизни, то он готов и ею пожертвовать" (Л. 145–145 об.).

Власти решили оказать давление на мужа. Соответствующее поручение было дано владимирскому предводителю дворянства графу Николаю Петровичу Апраксину, которому туманно объяснили, что у покровского уездного предводителя "жена... завела в Петербурге какие-то шашни" (Л. 147). Наступило время гласности, и граф Апраксин, не опасаясь чужих ушей, откровенно признался в дружеской беседе, что "он имел недавно поручение убедить мужа г. Акинфьевой не давать ей разводной, но что никакие убеждения на него не действовали, тогда ему было приказано объявить Акинфьеву, что если он примет на себя преступление прелюбодея и даст жене разводную, то за свое преступление он будет подвергнут самому тяжкому взысканию по закону, но Акинфьева и эта угроза не поколебала" (Л. 147 об.). Гласность гласностью, но ведь тайную полицию никто не отменял. Об откровениях губернского предводителя стало известно московским жандармам, которые поспешили довести их до сведения жандармов петербургских. "Я не удивляюсь, – присовокупил граф Апраксин, – что теперь за Акинфьевой смотрят во все глаза, но *уверен, что эта баба всех проведет – так она хитра*" (Л. 147 об. Курсив мой. – С. Э.).

• • •

Издержки III Отделения продолжали неудержимо расти. 10 мая 1868 г. Роман сдал авансовый отчет, и его начальство подвело малоутешительный итог: "Титулярному советнику Роману, прикомандированному по известному делу, было выдано... всего 750 р. Издержано по представленным счетам 753 р. 69 к., след<овательно>, передержано 3 р. 69 к." (Л. 203). В течение месяца одним только Романом по делу Акинфовой было потрачено *в полтора раза больше*, чем выделялось на всю секретную агентуру Отделения! 18 мая титулярному советнику по его просьбе дополнительно выдали 100 рублей серебром на "безотлагательные непредвиденные издержки" и вновь поручили наблюдение за госпожой Акинфовой (Л. 142–142 об.). На сей раз, чтобы изыскать необходимые для слежки деньги, генералу Мезенцову пришлось проявить известную изобретательность: "Выдать 250 р. из суммы на содержание охранной стражи" (Л. 208.) В Петербурге была, как сказали бы в наши дни, напряженная криминогенная обстановка: вечерние улицы кишели разным

сбродом и были небезопасны, квартирные кражи достигали ужасающих размеров и отличались особой дерзостью: так, у военного министра Милютина из квартиры похитили орден св. Андрея Первозванного! А в это время управляющий III Отделением был вынужден подвергнуть секвестру средства, выделенные на содержание охранной стражи. (В начале августа 1878 г. сам генерал-адъютант Мезенцов, невредимым вернувшийся в столицу с театра военных действий и ставший к этому времени шефом жандармов, средь бела дня будет смертельно ранен народовольцем Кравчииским.)

Надежда Сергеевна давно уже догадалась о ведущейся за ней слежке и меньше всего заботилась о сбережении секретных сумм тайной полиции. Более того, ей нравилось сознательно вводить наблюдателей в заблуждение. Генерал Слезкин сообщил генералу Мезенцову в письме № 125 от 17 мая 1868 г.: "... она знает, что за нею наблюдается, она это высказывала своим родным, с жалобой на полицию (о жандармах пока ни слова). Прислуга ее так скрытна, что от нее узнать что-либо оказывается невозможным и даже неудобным, потому что *были случаи, где передаваемые сведения осуществлялись совершенно противоположно*" (Л. 150 об.-151. Курсив мой. - С. Э.).

В Петербурге Надежда Сергеевна на сей раз остановилась в гостинице, а не в доме князя Александра Михайловича, однако от своих аристократических привычек она не отказалась, чем повергала в уныние чиновников III Отделения, никак не желавших смириться с неизбежными расходами. "Секретно. 23 мая 1868 года. Князь Александр Михайлович продолжает оказывать г-же Акинфовой особое внимание, и она прямо приказывает подавать ей экипаж князя, назначая даже, когда и каких лошадей закладывать. ... Поездки свои г-жа Акинфова делает всегда экстренно, так что можно следить тогда только, когда она садится в экипаж, что и представляет необходимость иметь всегда наготове хорошую лошадь; ездит г. Акинфова чрезвычайно быстро" (Л. 171 об.-172).

И в гостинице князь Горчаков продолжал навещать госпожу Акинфову. Вечером 23 мая в номере у Надежды Сергеевны был "жаркий спор" с князем Александром Михайловичем. Разговор шел на повышенных тонах, так что служитель соседнего номера услышал его через дверь.

«Спор, как видно, был очень горячий, ибо г. Акинфова чуть не плакала. ... По словам рассказчика, г. Акинфова сказала, между прочим, князю: "Что вы думаете? Да я на ваше место десятерых найду!" На это князь возразил: "Ну, а я вам советую, Надежда Сергеевна, быть осторожнее, потому что я могу спрятать вас туда, откуда вы никогда не выберетесь"» (Л. 173 об.-174). Начальство заинтересовалось *подробностями*, однако не смогло удовлетворить вполне понятное любопытство. 25 мая безымянный автор справки был вынужден признаться, что на этот спор "обращено было внимание тогда, увы,

когда он стал крупным, – а тут как раз с г-жой Акинфовой сделалась истерика и поднялась суматоха; бросились за одеколоном – его не оказалось; послали вниз к парикмахеру и впопыхах не взяли даже сдачи. Сегодня она целый день дома; шторы у окон опущены; вообще тишина” (Л. 175–175 об.). Тишина была обманчивой. Это была тишина перед бурей. В III Отделении были убеждены, что Надежда Сергеевна готовится к побегу за границу. Отсутствие явных приготовлений ничего не доказывало. “Но она может бросить вещи на руки прислуги или даже передать их, для отправления по назначению, князю, – а сама выехать одна и без ничего” (Л. 174 об.). На справке сохранилась начальственная резолюция карандашом: “Теперь настало время для нашего бдительного надзора, в особенности начиная с будущего Воскресения” (Л. 173). В Петербурге ждали прибития герцога Лейхтенбергского.

Лишь 5 июня 1868 г. титулярному советнику Роману из беседы с кучером Акинфовой удалось выяснить причину истерики, приключившейся с Надеждой Сергеевной. “Кучер добавил, что она давно бы удрала, да князь (Ал<ександр> Мих<айлович>) ее уговаривает, и что она беременна от герцога, а потому и думает ехать в Финляндию, дабы подальше от стыда” (Л. 198 об.–199). Ехать в Финляндию госпоже Акинфовой не пришлось. “Ея В<ысочество> Мария Николаевна и Его В<ысочество> Николай Максимилианович изволили прибыть сего числа в 5 1/2 ч. пополудни. <...> Ак<инфова> во весь день нигде не выезжает. Роман. 9 июня 1868 г.” (Л. 200).

III Отделение оказалось в глупейшей ситуации. *Казенные деньги тратились на то, чтобы вести наблюдение за любовными свиданиями и своевременно фиксировать время и место происходивших событий.* Я представляю, с каким чувством генерал Мезенцов должен был читать следующее донесение: “Сегодня Герцог вышел от “Ак<инфовой> в 11 часов. Коридорный уверяет меня, что он ночевал у нее, хотя я этому не совсем и верю. <...> Вчера Ак<инфова> что-то плакала в присутствии Герцога, а он ее целовал. Женитьба Герцога на Ак<инфовой> начинает распространяться между живущими в гостинице. 14 июня 1868 г. Роман” (Л. 214–215 об.).

Жандармы сделали все, чтобы госпожа Акинфова не получила развод и не покинула пределы Империи. Они смогли помешать двум влюбленным соединить свою судьбу перед алтарем и стать супругами, но – после приезда герцога в Россию – не имели никакой возможности препятствовать дальнейшим встречам любовников. “Другие отношения между ними трудно прервать; да это, кажется, и не входит в состав заданной на их счет задачи. *Между тем дело это требует чрезвычайных издержек.* <...> Что должно иметь в виду: дело или сбережение суммы?.. Израсходовано уже до 2 т<ысяч> р<ублей>. 12 июня 1868” (Л. 201 об.–202. Курсив мой. – С. Э.). Получив эту справку, управляющий III Отделением был поставлен перед

сложнейшей проблемой: где взять деньги для продолжения наблюдения, не просить же их у государя?!

Генералу Мезенцову не пришлось утруждать Александра II деликатной просьбой, хотя в этом был бы определенный резон, ведь тайная политическая полиция занималась *частным делом* Александра Николаевича Романова. Выход из тупиковой ситуации помог найти герцог Лейхтенбергский, сумевший убедить своего августейшего дядю разрешить госпоже Акинфовой покинуть пределы империи, но сам не получивший соизволения на новый заграничный отпуск. Надежде Сергеевне, ожидавшей ребенка, нужно было уехать за границу, ибо в России ребенок получил бы фамилию ее официального мужа. Кроме того, рождение ребенка затрудняло развод с господином Акинфовым и вынуждало отвечать в консистории на массу неприятных вопросов. 15 июня 1868 г. жандармам объявили волю государя: "Высочайше повелено отменить распоряжение о воспрещении г-же Акинфовой выезда за границу" (Л. 215). Последовала резолюция: "Сообщить г. Министру Внутренних Дел и Обер-Полицмейстеру" (Л. 217). 17 июня в 1 час 13 минут пополудни генерал Мезенцов направил генералу Слезкину шифрованную телеграмму № 3984: "Наблюдение за известною Вам особою прекращено" (Л. 221).

Влюбленные торжествовали победу и, не скрывая своих отношений, часами гуляли вместе по петербургским паркам. Карл Иванович Роман остался верен себе, написав в своем последнем донесении по этому делу: "На Елагине [острове] Акинфьева, будучи страшно нарумянена и разодега, обращала на себя внимание гулявшей публики. На Герцога, на отношение к ней тоже обращено было внимание и удивляются, как подобное поведение публично может быть допущено. 17 июня" (Л. 224).

Роман за проявленное усердие был пожалован чином коллежского асессора, вышел в отставку, но не порвал связь с III Отделением, став агентом-нелегалом, действовавшим под чужим именем – отставного подполковника Николая Васильевича Постникова. Летом 1869 г. Роману-Постникову было поручено выехать в Швейцарию, где ему предстояло выполнить два поручения: добыть бумаги покойного "князя-республиканца" Петра Долгорукова и отыскать революционера Сергея Нечаева. С первой задачей агент успешно справился, а со второй – нет, но прочно связал свое имя с именами Герцена, Огарева, Бакунина. Заграничная командировка окончательно подорвала остатки его здоровья, Роман умер 17 января 1872 г. и был погребен на Волковском лютеранском кладбище<sup>39</sup>.

20 июля 1868 г. влюбленные вместе покинули Петербург и поездом доехали до Динабурга. Здесь их пути разошлись: герцог отправился в Ригу, а Надежда Сергеевна – в Вильну (Л. 244). "Разлука в Динабурге была до того тяжела, что Герцог целый час лежал потом на диване" (Л. 246 об.).

Из Риги герцог прибыл 22 июля, около 6 часов вечера, в Либаву, где сразу же, заплатив деньги вперед, снял дом сроком на месяц, объявив хозяину, что приехал в город ради морских купаний, и в тот же день выкупался в море. Дальнейшие события последовали с кинематографической скоростью. 23 июля герцог Николай Максимилианович встал до 4 часов утра, "перелез через забор ... и, снабженный наскоро захваченными некоторыми съестными припасами... отправился в гавань" (Л. 234 об.). Из гавани герцог, "переодевшись в матросское платье, отправился в казенном боте, с двумя гребцами, осматривать окрестности Либавы; а между тем проехал прямо в Мемель" (Л. 233). Иными словами, член Императорской Фамилии *нелегально* пересек государственную границу и прибыл в Мемель (ныне Клайпеда), в то время принадлежавший Пруссии. "Герцог всю ответственность взял на себя" (Л. 239). Далее Николай Максимилианович пароходом добрался до Кенигсберга, где сел на берлинский поезд. Герцогу недолго удалось сохранить инкогнито. Прусские власти, узнавшие о прибытии на их территорию члена Российской Императорской Фамилии, решили устроить ему торжественную встречу, но Николай Максимилианович твердо отклонил все официальные почести. Российские же власти были в шоке: государь и шеф жандармов были за границей на водах, поэтому никто из должностных лиц не рискнул дать адекватную оценку ситуации (факт нелегального пересечения государственной границы!) и взять на себя принятие решения. "Только 25 числа днем обнаружилось, что Герцог не вернется". Несколько дней Александр II колебался, как поступить с беглецом, но в конечном счете предпочел обойтись без громкого скандала и задним числом повелел дать заграничный отпуск генерал-майору своей свиты. "3 авг<уста> 1868 г. Во вчерашнем № Инвалида приказ об отпуске за границу на 6 месяцев Герцога" (Л. 234). Однако Николая Максимилиановича негласно предупредили, что если он через 6 месяцев не вернется в Россию, то будет "лишен майората, исключен из Русского подданства, лишен всех своих званий" (Л. 269 об.).

\*\*\*

Влюбленные обосновались в Женеве, где у Надежды Сергеевны родился сын Николай, крестным отцом которого был чрезвычайный посланник и полномочный министр Российской империи в Швейцарии князь Михаил Александрович Горчаков, сын канцлера. Сам же князь Александр Михайлович велел передать, что "он желает им счастья и что это счастье будет *avec patience et prudence* (с терпением и упорством) со временем" (Л. 259 об.). Весть об этом дошла и до Александра II, и он обсудил новость с канцлером. "Государь спрашивал его, что Он слышал, что у них родился сын и какую фамилию ему дали. Говорил о них без малейшей горечи..." (Л. 260). Метрическое свидетельство было оформлено на *вымышленное* имя: гер-

Ф.И. Тютчев.  
Гравюра на стали.



*Тютчев*

цог Лейхтенбергский не терял надежды со временем усыновить Николая и дать ему свое имя.

Зима прошла быстро. Отпуск герцога закончился в феврале. Возвращение в Петербург было трудным. У герцога и Надежды Сергеевны был сын, а они были вынуждены, вернувшись в Петербург, жить врозь. Такова была неизбежная дань светским приличиям. Секретный агент свидетельствует: "Герцог провел у нее и сегодняшнюю ночь и утром уехал в ее карете... В доме про Герцога говорят, что он без памяти любит Акинфову" (Л. 275). Светское общество отвернулось от Надежды Сергеевны. Былые знакомые отказывались ее принимать<sup>40</sup>.

Ответная реакция Надежды Сергеевны мне не известна. Но благодаря донесению секретного агента III Отделения я знаю, что когда госпожа Акинфова приехала в Петербург, князь Александр Михайлович, пренебрегая светскими нормами приличия, продолжал ее навещать. "Независимо личного посещения, Кн<язь> Горчаков каждое утро присылал курьера узнать о здоровье Акинфовой. 10 апреля 1869 г." (Л. 275). Агент оказался наблюдательным и обратил

внимание, что в этот же день госпожа Акинфова приобрела недавно вышедшую книжную новинку: купила в книжном магазине Исакова очередную часть романа "Война и мир"<sup>41</sup>, в которой шла речь о намерении графини Безуховой вступить в новый брак от живого мужа (Л. 276 об.). Самой Надежде Сергеевне это не удалось, и 29 апреля 1869 г. она после продолжительных колебаний вновь уехала за границу. Вскоре к ней присоединился герцог, фактически отказавшийся от продолжения службы в России. Знакомые глубоко сожалели о его участи. Генерал Ребиндер, в свое время бывший воспитателем герцога, "который подавал столько надежд", говорил о Николае Максимилиановиче "со слезами". Известная мемуаристка донесла до нас слова генерала, ставшие приговором света: "Он поселился с недостойной женщиной в Риме; другие братья его презирают..."<sup>42</sup>

19 января 1871 г. "коллежская секретарша" Надежда Сергеевна Акинфова вновь подала прошение о разводе с господином Акинфовым, на сей раз – во Владимирскую губернскую консисторию (Л. 352–352 об.). Но лишь через шесть лет – в 1877 г. – Александр отменил свое давнее повеление, дав ход делу о разводе супругов Акинфовых.

Бег времени продолжался. 9 февраля 1876 г. умерла великая княгиня Мария Николаевна. Через несколько дней после ее погребения в Петербурге вновь появилась Надежда Сергеевна. 19 февраля 1876 г. в 7 часов 30 минут утра с пограничной станции Вержболово капитан Розенмейер отправил секретную шифрованную телеграмму, которая в 11 часов 30 минут была доставлена в III Отделение: "Сегодня вечером курьерским поездом приезжает в Петербург Госпожа Акинфиева из Риги. Встречал в Вержболове курьер Его Высочества Князя Николая Максимилиановича. В том же поезде едет Германский посол Генерал Швейниц" (Л. 367). Надежда Сергеевна прибыла в Петербург в день 15-летней годовщины отмены крепостного права в России. 21 февраля содержание телеграммы было доложено государю. Александру II потребовался целый год, чтобы принять решение...

Потребовалось каких-то девять лет для того, чтобы император всероссийский осознал, что у него – помимо госпожи Акинфовой – есть иные заботы: борьба с нарастающим революционным движением и ставшая неизбежной война с Турцией. 30 января 1879 г. супруге герцога Лейхтенбергского был пожалован титул графини Богарне<sup>43</sup>. Графиня не была принята при дворе, и супруги с детьми продолжали жить за границей, сохраняя самые теплые отношения с князем Горчаковым, ежегодно посещавшим европейские курорты. В личном фонде канцлера сохранился великолепный фотографический альбом, приобретенный в Баден-Бадене в конце 1870-х годов. Почти весь альбом посвящен Надежде Сергеевне: в нем я обнаружил не только целый ряд портретов графини Богарне, но и ее фотографии вместе с мужем и детьми. Здесь же находятся фотографии двух

незамужних младших сестер Надежды Сергеевны и ее дочерей от первого брака.

В 1890 г. царь Александр III, в юности друживший с герцогом, пожаловал Николаю Максимилиановичу чин генерала от кавалерии и звание генерал-адъютанта. Герцог, чувствуя приближение близкой смерти, написал Александру III письмо с просьбой о своих сыновьях, которым он желал передать свое состояние, имя и герцогский титул. Желание герцога было исполнено: 11(23) ноября 1890 г. его сыновья Георгий и Николай были признаны герцогами Лейхтенбергскими и получили титул *высочество*, с совершенным отделением их от Императорской Фамилии. В течение нескольких лет после смерти герцога его алчные младшие братья безуспешно пытались оспорить последнюю волю Николая Максимилиановича и заявляли как Александру III, так и Николаю II о своих правах на майорат, основу которого, как мы помним, составляли бриллианты императрицы Жозефины. Бриллианты были благоразумно припрятаны Надеждой Сергеевной<sup>44</sup>. Она и на этот раз "всех провела".

Двигали ли госпожой Акинфовой исключительно чувства или же она сознательно ориентировалась на европейскую культурную традицию, но в любом случае Надежда Сергеевна превратила свою жизнь в увлекательный роман. Хронотоп этого романа совпал с переломными точками политической истории, а его главная героиня, вокруг которой сгруппировался целый ряд незаурядных людей, самим фактом своего существования оказала непосредственное воздействие на крупнейшие события отечественной словесности. Это была блестящая импровизация, предвосхитившая появление психологического романа аналогичного содержания в русской литературе.

### Эпилог

25 декабря 1890 г. (6 января 1891 г.) герцог Николай Максимилианович скончался в Париже на 48-м году жизни. 25 мая 1891 г. Надежда Сергеевна скончалась в Петербурге и 27 мая была похоронена рядом с герцогом<sup>45</sup>.

Так закончилась эта грустная история – история многолетней борьбы двух людей за свое счастье. В этой борьбе человека с государством не было победителей, так как проиграли все: Российская империя, отторгнувшая от себя порядочного и талантливое человека герцога Лейхтенбергского, исковеркавшая его жизнь и обрекшая на нелегкую судьбу незаурядную женщину; тайный агент Роман, скоропостижно скончавшийся в 1872 г.; генерал Мезенцов, погибший в 1878 г. от смертельной раны кинжалом; царь-освободитель Александр II, убитый народовольцами в 1881 г.; князь Горчаков, сошедший в 1883 г. в могилу среди всеобщего равнодушия...



## Примечания

- 1 "Дело о запрещении Александром II расторжения брака супругов Акинфых в связи с намерением выехавшей за границу Акинфовой Н.С. вступить в брак с герцогом Лейхтенбергским, мужем (sic!) великой княгини Марии Николаевны. 3 апреля 1868 г. – 8 июня 1877 г." // ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Секретный архив III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Д. 2603. 379 листов.

Официальное написание фамилии главной героини этой истории "Акинфова", однако дневники, воспоминания современников и ряд архивных документов дают и иные формы, отражающие особенности произношения: "Акинфьева", "Акинфьева". Я не считал возможным провести унификацию написания. Пользуюсь случаем, чтобы указать, что чины, звания, титулы и фамилии всех упоминаемых в этой работе лиц уточнены мной по: Придворный календарь на 1866 год; Адрес-календарь... на 1866–1867 годы; Адрес-календарь... на 1874 год. Ссылки на эти официальные справочные издания, за редким исключением, не приводятся.

В названии дела содержится ошибка: речь идет не о муже, а о старшем сыне великой княгини. Ссылки на этот неопубликованный архивный документ даны непосредственно в тексте с указанием только листов дела № 2603.

В своем повествовании я не нарушаю хронологию событий и последовательности отложившихся в деле документов. Однако, стремясь соединить возможности микро- и макроисторического подходов, я стремился представить индивидуальную судьбу моей героини в более широком историко-культурном контексте – в *большом времени истории*.

- 2 Русская эпиграмма (XVIII – начало XX века). Л., 1988. С. 376. (Б-ка поэта. Большая сер.). Эпиграмма принадлежит Ф.И. Тютчеву. Сравни: *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 292.
- 3 Русская эпиграмма (XVIII – начало XX века). С. 449. Эпиграмма принадлежит П.В. Шумахеру.
- 4 Строго говоря, Надежда Сергеевна была не внучатой племянницей министра, а женой его внучатого племянника. Следует сказать несколько слов о родословном древе мужа моей героини. "Отдельные члены рода Акинфых состояли в числе приближенных к царям, числились детьми боярскими и дворянскими, были воеводами и головами в войсках, податными, послами, дьяками, патриаршими столычниками, судьями в приказах, окольныхниками, наместниками, приставами, сенаторами, камергерами и губернаторами. Многие из них отмечены как участники больших походов и сражений, а также как жертвы пугачевского бунта" (Род дворян Акинфых. Симбирск: губернская типография, 1899. С. 3. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность Юрию Моисеевичу Эскину, заместителю директора РГАДА, обратившему мое внимание на эту исключительную библиографическую редкость.) Родной дед мужа моей героини, Владимир Алексеевич Акинфов, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка и Киржачский уездный предводитель дворянства в 1791–1794 гг., женился на Елизавете Федоровне Грибосодовой, тетке автора "Горя от ума". Их сын, Николай Владимирович Акинфов (1791–1867), камергер и статский советник, ветеран Отечественной войны 1812 года и участник 48 сражений, был женат на фрейлине Екатерине Авраамовне Хоушинской, дочери Авраама Петровича и Софьи Михайловны, урожденной княжны Горчаковой, родной сестры министра. Николай Владимирович, раненный в руку и ногу и награжденный знаком отличия военного ордена (солдатским Георгиевским крестом), золотой саблей "За храбрость" и прусским Железным крестом, пожертвовал капитал – более 100 тысяч рублей – в Московскую градскую больницу, где на эти деньги были созданы две Акинфовские палаты. 14 апреля 1841 г. у Николая Владимировича и Екатерины Авраамовны родился сын Владимир, впоследствии ставший мужем Надежды Анненковой и оказавшийся *последним мужским представителем* рода Акинфых. Таким образом, князь Александр Михайлович Горчаков "золотил рога" собственному внучатому племяннику.

- 5 [Валуев П.А.] Дневник П.А. Валуева – министра внутренних дел: В 2 т. М., 1961. Т. II. С. 102–103. (Далее: Валуев П.А. Дневник).
- 6 Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1987. С. 211 (Б-ка поэта. Большая сер.).
- 7 Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. Федор Иванович Тютчев. М., 1989. С. 339; Сравни: Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. [Л.,] 1955. Т. 2. С. 328, 333, 350, 367; Дипломатический словарь: В 2 т. М., 1948. Стлб. 502.
- 8 Тут места нет раздумью, ни рассудку,  
И даже мудрость без ума от вас, –  
И даже он – ваш дядя достославный, –  
Хоть всю Европу переспорить мог,  
Но уступил и он в борьбе неравной  
И присмирел у ваших ног...

Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. С. 211. Автограф не известен. Список стихотворения с датой "СПб. 1865 5 июня" сохранился в альбоме князя А.М. Горчакова (ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 119. Л. 64). Примечательно, что на оборотной стороне этого альбомного листа вписана не опубликованная ранее и не утетенная в пушкиноведческой литературе копия стихотворения Пушкина "Портрет", имеющая ряд существенных разночтений с каноническим текстом:

Своими пылкими страстями,  
Своею пышною красой,  
О жены Севера, меж вами  
Она является порой.  
И мимо всех приличий света,  
Горит до истощенья сил,  
Как беззаконная комета  
Среди неравных ей светил.

А. Пушкин (в Москве)

ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 119. Л. 64 об. Сравни: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М., 1995. Т. 3. Кн. 1. С. 112; М., 1995. Т. 3. Кн. 2. С. 660, 1161–1163. Это давнее пушкинское стихотворение, посвященное графине А.Ф. Закревской, было напечатано еще в 1828 г. Князь Горчаков тем не менее захотел, чтобы стихотворение было переписано в его альбом. Я полагаю, что для владельца альбома пушкинские строки несли дополнительную, глубоко личную, смысловую нагрузку и ассоциировались с образом Н.С. Акинфовой.

- 9 Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления Министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. 1856–1881. СПб., 1881. С. 11 // ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 146. Это роскошный подносной экземпляр в кожаном переплете с серебряными цифрами "1856–1881", принадлежавший князю и прекрасно сохранившийся в его личном фонде.
- 10 Вяземский П.А., князь. Полн. собр. соч. СПб., 1887. Т. XI. С. 408.
- 11 Тютчевiana: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф.И. Тютчева. М., 1922. С. 37.
- 12 Карцов Ю.С. За кулисами дипломатии // Русская Старина. 1908. № 1. С. 90. Способность влюбляться князь сохранил до последних дней жизни. 17 (5) декабря 1882 г. И.С. Тургенев записал в свой парижский дневник: "Я посетил в три четверти мертвого кн. А.М. Горчакова, который сообщил мне, что влюбился!!! А по собственному сознанию он даже никогда мужчиной не был! А теперь даже смотреть на него страшно" (Литературное наследство. Т. 73. Кн. 1. Из парижского архива И.С. Тургенева. М., 1964. С. 393–394, 405). Князю Александру Михайловичу оставалось жить менее трех месяцев.
- 13 Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления Министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. С. 8, 12, 16.
- 14 Любопытно, что несовершенство российских законов, регулирующих процесс развода супругов, осознавалось даже тайной политической полицией. Так, еще 23 сен-

тября 1860 г. в одной из записок, отложившихся в Секретном архиве III Отделения, было сказано: "Но как всякая форма, лишенная внутреннего содержания, или не выполняет своего назначения, или причиняет неудобство и вред, так и совместная жизнь супругов, чуждая нравственных достоинств, не свойственна человеческой природе и противна государственным интересам. Возможно ли сожитие супругов, когда между ними нет мира и согласия, когда чувства любви, преданности и уважения уступают место холодности, равнодушию, ненависти, отвращению и презрению; когда снисхождение к слабостям и недостаткам заменяется пререканиями, оскорблениями и преследованиями? Подобные явления, заражая общественную жизнь зловещими элементами, не подрывают ли тем и государственный организм. <...>

При ограниченности причин, по которым законы наши допускают расторжение брака (доказанное прелюбодеяние, неспособность к брачному сожитию, лишение всех прав состояния и безвестное отсутствие), судебная и административная практика представляет множество примеров нарушения супругами установления о сожитии их; нередко по достойному уважению причинам. Илишние было бы распространяться здесь о невозможности и опасности насильственного принуждения супругов к совместной жизни. При этом нельзя, однако же, не заметить противуречия в наших законах по делам, возникающим из ссор и несогласий супругов. <...>

Здесь нельзя не заметить, что едва ли можно надеяться на скорый приступ к исправлению всех книг наших гражданских законов, при настоящих обширнейших законодательных работах по составлению разных отдельных проектов Уложений и Уставов. Между тем административная практика указывает, что при современных понятиях о супружеских отношениях и при теперешних нравах наших представляется неотложная надобность в смягчении строгости установления о нераздельной жизни супругов, хотя бы мероприятием без оглашения его во всеобщее сведение, подобно тому как разрешено в 1858 году особым секретным постановлением принимать просьбы о сопричтении к законным детям, прижитых до брака" ("Переписка с МВД и 2-м отделением о выработке проекта негласных правил о разрешении женам жить отдельно от мужей в случае жестокого обращения с ними и предоставлении административным властям права решать эти вопросы. 2 января 1860 г. – 31 июля 1865 г." // ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Секретный архив. Д. 2759. Л. 11–11 об., 14–14 об. и 17–17 об. – Курсив мой. – С. Э.). Сравни: Эштут С.А. На службе российскому Левинафану: Историсофские опыты. М., 1998. С. 148–152, 294; Пушкирева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX в.). М., 1997. С. 235–249; Максимова Т.О. Развод порусски // Родина. 1998. № 9. С. 55–60.

- 15 1857–1861: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича / Сост.: Л.Г. Захарова, Л.И. Тютюнник. М., 1994. С. 286. 23 сентября 1861 г. Константин Николаевич, встретив племянника, занес в дневник: "Большая радость... Очень приятно с ним толковали" (Там же. С. 341).

- 16 Милорадович Г.А., граф. Список лиц свиты их величества с царствования императора Петра I по 1886 г. По старшинству дня назначения. Генерал-адъютанты, свиты генерал-майоры, флигель-адъютанты, состоящие при особах, и бригад-майоры. Киев, 1886. С. 75, 135, 195.

Герцог Лейхтенбергский никогда не был шефом ни лейб-гвардии Конногренадерского полка, ни лейб-гвардии Конного полка, как это ошибочно утверждается в примечаниях к ряду капитальных публикаций. Пользуюсь случаем, чтобы исправить эту ошибку.

- 17 Всемирная Иллюстрация. 5 января 1891 г. Т. XLV. № 2 (1146). С. 22.

- 18 Адрес-календарь... на 1866–1867 годы. СПб. Б.г. С. XVI, XIX.

- 19 Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максими. Л., 1971. С. 158. (Лит. памятники).

- 20 Пляханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Пляханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5 т. М., 1956. Т. II. С. 326.

- 21 [Милютин Д.А.] Дневник Д.А. Милютин: В 4 т. М., 1947. Т. 1. С. 120. Сравни: Шевырев А.П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М., 1990. С. 44–46.
- 22 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 197.
- 23 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Секретный архив III Отделения. Д. 1822. Л. 4.
- 24 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 196. "Возникшая впоследствии легенда, что царское правительство, продавая свои колонии, не знало, каких богатств оно лишается, не находит подтверждения в документальном материале. Подобная версия тем более наивна, что в 60-х годах о наличии золотых россыпей на Аляске знало не только правительство, но об этом неоднократно писали в периодической печати. <...> Царская Россия хорошо знала, что она продает, а Соединенные Штаты столь же хорошо знали, что они покупают. Невозможность сохранить свои колонии в случае войны, невозможность оберегать их вследствие широко распространившихся слухов о наличии там золота и в период официального мира, неизбежные в связи с этим конфликты и, наконец, перенесение русских интересов на азиатский материк – таковы были причины, толкавшие царское правительство на продажу Аляски" (Окунь С.Б. Российско-американская компания. М; Л., 1939. С. 233–234). Продажа Российской империей своих заокеанских владений была равнодушно воспринята не только придворной, но и оппозиционной средой. Лишь в 1873 г. в Женеве было напечатано стихотворение, написанное Д.А. Клеменцем, одним из основателей революционной организации "Земля и воля":

Когда я был царем российским,  
Б<...>я французских я любил;  
Продав в Америке владенья,  
Я им подарков накупил.

Этот Памфлет на Александра II, получивший широкое распространение в Петербурге, Москве и ряде других городов, был написан на мотив известной и популярной в те годы арии из оперетты французского композитора Ж. Оффенбаха "Орфей в аду". В тетради одного из участников кружка чайковцев имелся вариант стихотворения:

Я увлекся – это правда,  
Но что же делать, господа?  
Америку мы потеряли –  
Забрали Хиву – не беда!

См.: Вольная русская поэзия XVIII–XIX веков: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 183, 586 (Б-ка поэта. Большая сер.)

- 25 Долгоруков П.В. Указ, соч. С. 163.
- 26 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 199.
- 27 Рассказы о Романовых в записи П.И. Бартенева // Голос минувшего. 1918. № 7–9. С. 22. Сравни: Голос минувшего. 1992. № 1. С. 68.
- 28 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 227.
- 29 Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. Федор Иванович Тютчев. М., 1988. С. 318.
- 30 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 264.
- 31 Розанов В.В. Опавшие листья // Русский Эрос, или Философия любви в России. М., 1991. С. 141.
- 32 Валуев П.А. Дневник. Т. II. С. 100. Запись от 4 февраля 1866 г.
- 33 Цит. по: Кантор Р.М. В погоне за Нечаевым: К характеристике секретной агентыры III Отделения на рубеже 70-х годов. Л.; М., 1925. С. 28–29.
- 34 Там же. С. 18–19.
- 35 Адрес-календарь... на 1866–1867 годы. Ч. II. Стлб. 29.
- 36 Путеводитель по Пушкину // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М., 1997. Т. 19. С. 1016.
- 37 Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. X. С. 207–208; Адрес-календарь... на 1866–1867 годы. Ч. II. Стлб. 229.
- 38 В это время в Москве находился приехавший из Ясной Поляны граф Лев Николаевич Толстой, с 14 февраля 1868 г. живший в Кисловском переулке и работавший над со-

зданием окончательного текста романа "Война и мир", на страницах которого при внимательном чтении легко отыскать отзвуки любовной истории госпожи Акинфовой.

"По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем (ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен находится в недоумении о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака; но таких было мало, и они молчали, большинство же интересовалось вопросами о счастье, которое постигло Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли или дурно выйдти от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами (как говорили) и усомниться в правильности решения вопроса значило riskовать высказать свою глупость и неумение жить в свете".

Даже при жизни Льва Николаевич непосредственное восприятие этого небольшого эпизода из "Войны и мира", полностью утраченное в наши дни, было доступно для немногих читателей. Помня о существенной разнице между литературным персонажем и его жизненным прототипом, я, однако же, настаиваю на правомерности рассмотрения этого отрывка из романа в историческом контексте времени его создания. Перед нами не только художественное произведение. Перед нами публицистический памфлет, искусно вставленный в раму романа-эпопеи. Толстой-художник сотворил новую реальность, а Толстой-публицист написал памфлет. Саркастические толстовские строки были написаны по горячим следам происшедших событий: в них хорошо различим непосредственный отклик на злободневную жизненную ситуацию весны 1868 г. (В первой завершённой редакции романа "Война и мир", созданной в 1864–1867 гг., нет ни малейшего намека на желание Элен выйти замуж от живого мужа. В 1867–1869 гг. Толстой перерабатывал рукопись редакцию и создавал окончательный текст романа). Злая насмешка Толстого направлена не только против Елены Васильевны Безуховой, язвительная ирония автора отчасти адресована Надежде Сергеевне Акинфовой. Впрочем, авторская позиция была впоследствии существенно скорректирована в романе "Анна Каренина". Уже 24 февраля 1870 г. в дневнике графини Софьи Андреевны появилась выразительная запись: "Вчера вечером он мне сказал, что ему предстался тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины" (Толстой С.А. Дневники: В 2 т. Т. 1. 1862–1900 гг. М., 1978. С. 497). Это первое упоминание о романе "Анна Каренина", писать который Толстой начал лишь 18 марта 1873 г.

- 39 Кавтор Р.М. Указ соч. С. 3–5, 15–20, 24–25, 51–67, 69–97, 99–102; Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Волыная печать. 2-е испр. изд. М., 1984. С. 277–294, 297–300; [Савитов В.И.] Петербургский Некрополь. СПб., 1912. Т. III. С. 612.

- 40 Среди них был и Федор Иванович Тютчев: отец взрослых дочерей не мог позволить себе демонстративного нарушения приличий. Моя героиня оказалась в непростой ситуации, впоследствии описанной в "Анне Карениной". Желая сгладить возникшую неловкость, поэт извинился мадригалом, который доселе никем не связывался с именем госпожи Акинфовой. Помня о том, что в прошлом веке курсивом выделяли прямую речь, внимательно перечитаем стихотворение и обратим внимание на дату. Это – время появления Акинфовой в Петербурге.

*"Нет, не могу я видеть вас..."*  
 Так говоря я в самом деле,  
 И не один, а сотню раз, –  
 А вы – и верить не хотели.

В одном доносчик мой не прав –  
 Уж если доносить решился,  
 Зачем же, речь мою прервав,  
 Он досказать не потрудился?

И нынче нудит он меня –  
 Шутник и пошлый и нахальный, –  
 Его затею устрани,  
 Восстановить мой текст буквальным!

Да, говорил я, и не раз –  
 То не был случай одинокий, –  
 Мы все не можем видеть вас –  
 Без той сочувственно-глубокой

Любви сердечной и святой,  
 С какой – как в этом не сознаться? –  
 Своею лучшею звездой  
 Вся Русь привыкла любоваться.

5 февраля 1869 г.

Это стихотворение вышло в свет только в 1934 г. Его первый публикатор Георгий Чулков ошибочно адресовал стихи князю Горчакову, и с тех пор это утверждение никем не подвергалось сомнению. Однако трудно представить себе конкретную жизненную ситуацию, при которой один из чиновников Министерства иностранных дел хотя бы раз сказал при свидетеле, что он не может видеть канцлера. А ведь Тютчев признается, что произносил эту фразу неоднократно! Действительно, автограф стихотворения сохранился в Государственном архиве Российской Федерации, в личном фонде князя Горчакова. Работая с документами фонда, я обратил внимание на то, что даже опубликованные стихотворения, посвященные канцлеру, как правило, переписывались рукой писца и литографировались в нескольких экземплярах. Но литографированных копий я не обнаружил, не было списков стихотворения и в четырех принадлежавших князю Александру Михайловичу рукописных альбомах, представляющих собой собрание, главным образом, копий и выписок из литературных произведений и писем разным лицам. (В один из альбомов вклеена копия знаменитого пушкинского стихотворения "19 октября" (Роняет лес багряный свой убор..."), одна из строф которого посвящена князю.) С моей точки зрения, это доказывает, что самим князем Александром Михайловичем стихи не воспринимались как адресованные лично ему. Наряду с тютчевским автографом в архиве хранятся две рукописные копии этого стихотворения. Списки выполнены рукой Андрея Федоровича Гамбургера – доверенного лица канцлера. "Это была сама аккуратность": в одном из списков щепетильный чиновник даже проставил дату, которая отсутствует в автографе. Андрей Федорович не только писал под диктовку министра, но и выполнял самые деликатные его поручения, в том числе связанные с делами Надежды Сергеевны: "...услужливость его не знала границ, и канцлер пользовался ею без малейших церемоний". Вероятно, услужливостью чиновника воспользовался и Тютчев, чтобы передать стихи по назначению. Князь вполне полагался на Гамбургера: секретарь "был нем как могила; все коснувшееся его слуха и взора замирало в нем и никогда не выходило наружу" (*Феофанов Е.М.* За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Воспоминания. М., 1991. С. 79–80). Впоследствии Гамбургер стал членом Совета Министерства иностранных дел, тайным советником и посланником в Швейцарии.

Стихи не только не были напечатаны при жизни автора, но и – по его желанию – не получили распространения в списках: в этих невинных, на первый взгляд, строках заключался глубоко личный для Тютчева мотив, получивший дальнейшее развитие в следующем стихотворении, без которого трудно представить себе русскую лирическую поэзию.

Нам не дано предугадать,  
Как слово наше отзовется, —  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать...

28 февраля 1869 г.

(Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. С. 242)

Следует подчеркнуть, что и эти хрестоматийные строки не были напечатаны при жизни автора. Теперь, когда мы знаем потаенный, интимный смысл и историко-бытовой контекст их создания (вновь обратим внимание на дату!), подобное поведение Тютчева получает логическое объяснение.

В марте 1869 г. он написал еще одно стихотворение, связанное с именем госпожи Акинфовой и наполненное воспоминаниями. В душе поэта ожил его роман с покойной Еленой Денисьевой, и он сравнил силу Суда людского с силой Смерти. Так появилось еще одно классическое стихотворение "Две силы есть — две роковые силы / Всю жизнь свою у них мы под рукой...". Тютчев слишком хорошо знал законы света, чтобы ожидать благополучного завершения всей этой истории. Трагизм жизненной ситуации был для него очевиден.

Да, горе ей — и чем простосердечней,  
Тем кажется виновнее она...  
Таков уж свет: он там бесчеловечней,  
Где человечно-искренней вина.

Март 1869 г.

ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 163. Л. 18—18 об; Л. 19—20. Опубликовано: Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. С. 243. 30 марта 1869 г. во время заседания Государственного совета (III) прекрасно рисовавший министр внутренних дел Тимашев взял двойной лист писчей бумаги большого формата и, пользуясь только пером и графитным карандашом, создал настоящий шедевр — исключительно выразительный профильный женский портрет, который прекрасно корреспондирует с этим тютчевским стихотворением. Рисунок взял на память князь Горчаков — и до конца жизни хранил его в своем архиве. Хранил так бережно, как и многочисленные фотографии Надежды Сергеевны. Визуально сравнил портрет с фотографиями, я пришел к выводу: генерал-адъютант Тимашев создал в высшей степени поэтический портрет госпожи Акинфовой.

Разумеется, и это стихотворение, завершившее "Акинфовский цикл", не было напечатано при жизни автора.

- <sup>41</sup> Это был 5-й том эпопеи, включающий третью часть нынешнего 3-го тома и первую и вторую части 4-го тома. (В 1-м и 2-м изданиях роман "Война и мир" состоял из 6 томов, а не из 4, как принято в канонических изданиях.) Книга появилась в продаже в феврале—марте 1869 г. См. тщательно подготовленный сборник: «Роман Л.Н. Толстого "Война и мир" в русской критике». Л., 1989. С. 8, 398.
- <sup>42</sup> Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 191. (Лит. памятник). В высшей степени характерно, что русские путешественники, встречавшиеся с герцогом Николаем Максимилиановичем за границей, не считали для себя возможным общение ни с его женой, ни с его детьми.
- <sup>43</sup> [Перетц Е.А.] Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря. М.; Л., 1927. С. 163.
- <sup>44</sup> Там же. С. 427; Половцов А.А. Дневник. М., 1966. Т. II. С. 341—342, 350—352, 410—412, 510; Письма Победоносцева к Александру III: В 2 т. М., 1926. Т. II. С. 304—305, 355; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XVIIа, полутом 34. СПб., 1896. С. 507; Виноградов А. Род Богарне // Родина. 1992. № 6—7. С. 43; Дворянские роды Российской империи. Т. II. Князья. СПб., 1995. С. 14—15.
- <sup>45</sup> [Сайтов В.И.] Петербургский Некрополь. СПб., 1912. Т. I. С. 236; СПб., 1912. Т. II. С. 639.

*Вместо заключения*







### О мире чувств и внутреннем мире человека прошлого

Заголовок этих заметок мог бы поставить иного читателя в тупик. Мыслимо ли сегодня – в век постмодернизма – всерьез задаваться сюжетами столь широкого плана? Отчетливо сознавая возможность подобных недоумений, сразу же предупрежу: во-первых, речь идет лишь о посильном осмыслении тех *интерпретаций*, которые в разное время давали авторы прошлого своей современности; во-вторых, ни одно из фигурирующих в приведенном заголовке понятий не рассматривается как всеобщее; именно сквозь *изменение* их наполнения хотелось бы осмыслить своеобразие человека того или иного времени.

Но что дает право обсуждать эти темы по завершении нашего исследования?..

Кто не знает, сколь часто наши современники, оглядываясь на беды окружающего мира, с тоской констатируют бесперспективность попыток что бы то ни было изменить личными усилиями. В одиночку противостоять всей “вселенной” – разве это не бессмысленно?!..

Я бы не считал, однако, бесполезным задаваться этим вопросом, во всяком случае, по отношению к прошлому. “Сверхзадачей” нашего издания был, собственно говоря, поиск ответа именно на вопрос о возможности для *отдельного человека* – “рядового человека, человека из толпы” – влиять на ход событий. В противовес априорным посылкам мы пытались изучить, какие подспудные суждения по этому вопросу содержались у разных авторов различных эпох прошлого. Нам хотелось – не доверяясь прямым высказываниям таких авторов – интерпретировать встречающиеся у них иногда наблюдения о судьбах и

роли тех или иных человеческих поступков. Ведь каждый ставший нам известным поступок – некий знак. В нем причудливо переплетаются самые разные поведенческие мотивы. Среди них и нормы права, и не зафиксированные в праве неписанные правила поведения, и случайные обстоятельства, и, конечно же – специфическое преломление всего этого в голове наблюдателя, благодаря каковому мы об этом поступке узнали. В любом, однако, случае, нельзя утверждать, что человек прошлого, совершавший то или иное действие, вовсе был лишен “пространства свободы”, т. е. возможности выбора своего решения. Проблема в том, чтобы понять, когда и где возможность такого выбора становится значимой и, соответственно, приобретает значимость для всего окружающего мира.

Проблема эта уже давно привлекает внимание обществоведов. Многие из них считают ее решенной, полагая, что самое появление индивидуума, способного выйти за рамки сложившегося поведенческого канона, относится к довольно поздним стадиям общественного развития и может быть датировано, например для Запада, не ранее чем порогом нового времени – XIV–XV вв. Да и после этого порога, по мнению ряда исследователей, ментальные стереотипы продолжают во многом детерминировать поведение огромных масс населения, так что получается, что целые этносы навсегда обречены реагировать на сходные обстоятельства одним и тем же образом и жить во власти одних и тех же традиционных предубеждений, фобий или пристрастий.

Обдумывая подобные подходы, авторы этой книги стремились проверить их на конкретном материале *частной сферы*. Мы стремились проследить, как проявляет себя отдельный индивид в той сфере жизни, где все на виду. Здесь немислимо укрыться от “контроля”, любой нестандартный шаг сразу же будет замечен, а ведь “выбирать”, как поступить, в этой сфере приходится чуть ли не ежедневно. Еще поучительнее наблюдать мир эмоций. Они бушуют каждого, всегда и везде. Как справляется с ними человек в разные времена прошлого? Всегда ли выступает он лишь как беспомощная жертва собственных переживаний и страстей или же у него есть возможность преобразовывать собственный стереотип и выбирать свои решения, не подчиняясь извечному стандарту? Иными словами, способен ли человек того или иного периода прошлого и той или иной социальной принадлежности “властвовать собою” и пытаться противостоять и обстоятельствам, и собственной натуре?

Ясное дело, что нам дано судить об этом лишь косвенно. Историк способен уяснить лишь то, как представляли (“интерпретировали”) людские поступки того или иного времени их современники. Но ведь при всей своей субъективности авторы прошлого могли “выдумывать” лишь то, что как-то соотносилось с миром их возможных читателей. Следовательно, и прочтение этих авторов сегодняшним

историком (речь идет, разумеется, о добросовестном ученом, а не о шарлатане) – не “гадание на кофейной гуще”, но релевантное обсуждение прошлого.

Было бы излишним повторять наблюдения, собранные нашими авторами в предыдущих разделах. Цель этой главы – не напоминание о полученных в книге исследовательских результатах, но их сильное осмысление. Ограничимся поэтому рассмотрением тех двух-трех аспектов, в которых удалось яснее всего высветить поведение и выбор решений людьми прошлого.

Нас интересовала в первую очередь *практика* человеческого поведения, т. е. не столько то, как предписывалось поступать в тех или иных обстоятельствах, сколько то, какие поступки совершались, по словам исследовавших нас авторов, в реальности. Как и следовало ожидать, нарушение правил поведения в частной сфере встречались везде и всюду. И именно таковые нарушения и отношение к ним служили нам отправным пунктом для проникновения в мотивацию и последствия человеческих действий. Появлялась возможность осмыслить выбор индивидом своих решений. Особенно поучительными оказывались при этом любые *нестандартные* случаи, т. е. те, в которых отклонение от принятых норм оказывалось наиболее явным или даже вызывающим. Поведение этого рода создавало *странных людей*, тех, кто поражал современников и побуждал их останавливать на себе специальное внимание.

Обычно историки рассматривали такие исключительные феномены главным образом как свидетельство того, что в жизни действуют противоположные этим исключениям правила. В нашей книге исключения привлекали внимание с несколько иной точки зрения. Мы интересовались самой их возможностью, их “демонстрирующей силой”, их воздействием на окружающих, их способностью вызывать подражание. Специальный анализ показал, что и в раннее средневековье и в античной древности групповой поведенческий стандарт не только не исключал, но сам собой предполагал противостояние себе со стороны тех или иных индивидов. Источники даже этих древнейших периодов европейской истории не проходят мимо них, уделяют им специальное внимание, описывают их борьбу с окружающей средой и, конечно же, – внутреннюю борьбу со своими собственными сомнениями, с естественной опаской вступить на нехоженые пути. Среди таких “странных людей” мы встречали, к примеру, и афийянина Андокида, гражданское поведение которого породило острейшие споры ораторов V в. до н. э., и монаха XI в. Отлоха Санкт-Эммерамского, одного из тех десятков и сотен раннесредневековых людей, которые в сознательном возрасте решались – подчас после тяжелых раздумий – на уход из мира и самозаточение в монастыре. Что же касается более позднего времени, то свидетельств особой роли этих “странных людей” оказывается даже в избытке.

Но если люди этого “странного” типа с древнейших времен становились предметом внимания и обсуждения авторов исторических источников, специально обсуждавших, к чему именно привели их необычные действия, то не свидетельствует ли уже одно это о возможности и способности отдельно взятого человека менять окружающий мир даже в самом отдаленном прошлом?..

Обращает на себя внимание еще одна, пожалуй, особенно часто встречающаяся особенность людей в течение всех исследованных нами периодов. Едва ли не для всех тех, кого удавалось нам включить в поле зрения, характерна исключительная роль обстоятельства, связанных с половым поведением. Само оно было, как мы видели, крайне многоликим – от обычной для нового времени гетерополовой любви в моногамном браке, до мужеложества и лесбиянства. В любом, однако, случае половая любовь и вообще секс постоянно оставались не только в центре эмоциональной жизни, но и выступали как предмет напряженнейшей рефлексии и даже как объект острых социальных конфликтов (см. выше гл. 5–6, 8, 11, 18). Некоторым нашим соотечественникам, хранящим в своем сознании (или подсознании) предубеждение к обсуждению сюжетов подобного рода, могло бы показаться нарочитой данью моде то обширное место, которое занимают в нашей работе эти моменты. В действительности же, дело не только в том, что исследуемая нами частная сфера во многом центрируется вокруг половой жизни. Сегодня вряд ли нуждается в доказательстве тот факт, что любовь и секс как таковой играли в истории вполне самостоятельную и при том очень значительную роль. Особенно это касается любой творческой деятельности, в которой, по словам, например, Б.М. Парамонова, секс выступает “не как сор, но как энергетический двигатель”.

Оно и неудивительно. Будучи источником сильнейших эмоций, половое влечение напрягает душу, вызывает к жизни все таящиеся в ней ресурсы и уже этим порождает прилив творческой энергии. Но эти эмоции – как и сильная рефлексия по поводу них – отнюдь не всегда связаны с переживаниями позитивного толка. Хорошо известно, что любовные страсти вызывают радости ничуть не реже, чем страдания. И те, и другие имеют, однако, для эмоционального и нравственного становления человека в чем-то сходное значение. Они обогащают человеческую душу, заставляя человека познавать новые грани жизни, пробуждают в нем потребность в неизведанных до того переживаниях и одновременно создают способность к ним. Извечные физиологические инстинкты обрастают при этом сложнейшей психофизической мотивацией. Они подвергаются социализации и превращаются в источник творческого вдохновения, интеллектуального и эмоционального роста.

В этой связи может быть глубже понята и креативная нравственная роль *сострадания*. Как видно из текста ряда предыдущих

глав, возникновение способности к состраданию теряется в глубокой древности. Одно из свидетельств тому – ритуализация сострадания уже в античности, знавшей институт специальных плакальщиц, участвовавших в похоронных процессиях. Древность самого этого явления не должна, однако, заслонять его вариативность. Одно дело – публичное выражение горя по поводу смерти человека, особенно когда речь идет о важной персоне, и совсем другое – сострадание близкому человеку. Это последнее может быть в известном смысле эгоцентричным, когда в нем превалирует жалость к самому себе, к собственной обездоленности в случае смерти родного существа. Но оно может иметь и иное наполнение – сочувствие и сострадание к умирающему. Когда на первый план выходит такое сокрушение, “*со-страстие*” (в смысле соучастия в переживаниях другого конкретного человека), сострадание становится способом углубления социализации человека, свидетельствует о складывании особо прочных душевных связей между людьми. Чувство близости, базировавшееся на общности происхождения, обростаёт осмыслением душевного сродства с данным конкретным человеком. Возникает возможность почувствовать индивидуальность, неповторимость, уникальность того или иного из близких. Родается более многогранное представление о том, что такое близкие люди, опирающееся на критерии не только родственной, но и эмоциональной и интеллектуальной близости. Частная сфера оказывается в этом смысле источником специфических форм консолидации людей.

Отдельный аспект проделанного исследования – уяснение меры и форм изменчивости и *динамичности* человека. В противовес широко распространенному мнению о тождественности человеческих свойств на протяжении чуть ли не всей истории, мы старались показать их глубочайшее преобразование во времени. Речь идет о преобразовании самой сути моральных и физических констант. Как было показано в предыдущих главах, не только понятие богатства или чести, но и содержание таких базовых представлений, как друг или враг, свой или чужой, мужественность или женственность, счастье или несчастье (не говоря уже об упоминавшихся выше понятиях половой любви и брака) – все это обретало в разных обществах (или даже в разных социальных группах одного и того же общества) различный смысл. Не оставались неизменными и представления о том, что следует считать сокрытым от чужих глаз, чего следует стыдиться, что составляет собственно интимную сферу жизни. Ни сексуальный акт, ни акт деторождения, ни нагота как таковая, ни даже дефекация не вызвали одинакового отношения в разных обществах или средах. Отнесение их к числу интимных явлений долгое время носило избирательный характер. Неоднозначно воспринимались и телесные контакты. Осознание обособленности собственного тела пришло сравнительно поздно, так что даже непосредственное соприкос-

новение с телом другого человека воспринималось в ряде случаев совсем не так, как ныне.

Все это, в частности, означает, что ни одно из человеческих обществ, взятых в отдельности, не может служить достаточно надежным источником исторического опыта, по крайней мере, для таких важнейших сфер, как межличностные отношения. Было бы поэтому в высшей мере опрометчиво, отправляясь, например, от современности, высказываться о судьбах и возможностях человечества. Его потенции немислимо ни измерить, ни предсказать. Они не предопределены ни в негативном, ни в позитивном смысле. И не только в силу изменчивости наиболее общих психологических и физических констант, но и вследствие возможности влиять на изменение мира для каждого из индивидов.

## Summary

The principal problems in the center of the book are those that most of all concern comprehension of the role of emotions in social life. What were the ways in which the power of emotions affected the individual in various socio-cultural communities of the past? How specific was that power in the private sphere as compared with the public one? In what way did behavioral stereotypes and individual intentions intermingle and interact? Where concretely, in different eras and different social groups, could the freedom of individual choice of individual people show itself in the private sphere? What was the socio-cultural role of non-standard decisions and actions of such people?

Basing on the analysis of interpretations given by compilers of historical sources to the actions of their contemporaries, the authors of this book tried to enter into internal motives of the distinctness of certain people's behavior in the past, in diverse situations of everyday life. Particular attention was given to the attitude individual people showed to conventional norms of behavior, and how - in their own interpretation of those norms - could there appear non-standard actions or cases, and what kind of interaction of the *socium* and the individual could be revealed in such cases.

The work is based on the sources of all the types that in various ways reflected concrete deeds of individuals in the societies under study: diaries, epistolary and epigraphic monuments, wills, literary texts, autobiographies, judge-made documents, anthroponymic, iconographic, and other materials.

All of them have been analyzed with the purpose to get an insight into behavioral *practice* in different socio-cultural communities. The essence of the said practice may be revealed not only through a study of the usual and typi-



cal, but the unique and original as well. The latter are given a special attention in the book, as the authors assume that the original and unique most expressly reveal the cultural unicity of any community of human beings.

The microhistorical analysis of individual behavior and unique cases is combined in the book with macro-analysis of the societies under study. The combination is effected on the basis of "complementarity principle". In its foundation lies the perception of human society as an incompletely integrated system where all the individuals belonging in it may be capable of actions not necessarily prescribed by the system itself. Accordingly, microhistory here is thought to be an essential epistemological necessity, and one of inevitable aspects of historical analysis.

Among the main issues of the work is the revelation of a specific role the so called deviant behavior and its "perpetrators" - the odd people - played in the societies under study. Seeing and trying to comprehend their oddity, their contemporaries as often as not started behaving accordingly, breaking conventional standards. As a result, a non-standard choice of an individual could become a factor serving to change the world around.

The non-standard behavior of the individual was particularly often seen in sexual relations. In itself, it could be many-sided and many-faced. Yet, nevertheless, it was constantly in the very core of emotional life, an object of arduous reflection, and quite often came as a source of social conflicts. Breeding intensive emotions, sexual appetite, in all possible forms, required exertion of both physical and psychical powers, and appeared to be a stimulus for a change in the individual *per se* and his/her relations with all those around.

The part played by such emotions as compassion, was no less important. Spreading, first and foremost, upon relations with close relatives, friends and the fold, such emotions assisted in reforming the notion of "near and dear" or "kith and kin". Founded originally on blood kinship, the notion was changing gradually, involving the idea of spiritual kinship of concrete persons. As a result, moral and ethical specificity of individual persons came to be stressed which, in its turn, brought comprehension of those persons' individuality, their originality and unicity. The newly acquired manifold character of the notion of "kith and kin" encouraged reconsideration of the criteria of human communication. The private sphere appears to be - in this sense - a source of new forms of people's consolidation.

The work done has provided the grounds for comprehension of the dynamic and changeable character of human nature and the whole system of apprehending the world. It refers even to such basic perceptions as "friend" and "foe", "ours" and "alien", "masculinity" and "femininity", "happiness" and "grief" (saying nothing of perceptions of sexual love and marriage). In different societies, and even in different social groups of one and the same society, all those notions acquired a different meaning.

The results of the work allow us to suppose, in particular, that potentialities of individual reformation are not predetermined either in a positive or in a negative sense. And not only due to the changeability of general constants, but also in consequence of the ability of each individual to cause a change in the world around.

## Оглавление

### *Идеи и подходы*

- Глава 1. Проблема (Ю.Л. Бессмертный) ..... 7  
Глава 2. Метод (Ю.Л. Бессмертный) ..... 16

### *Семейные заботы, радости и печали*

- Глава 3. Алессандра Строцци и ее семья (Флоренция, XV век) (М.Л. Абрамсон) ..... 29  
Глава 4. "Что в имени тебе моем?.." Семья и имя во Фландрии XII–XIII веков (П.Ш. Габдрахманов) ..... 70  
Глава 5. Мир чувств русской дворянки конца XVIII – начала XIX века: сексуальная сфера (Н.Л. Пушкарева) ..... 85  
Глава 6. Русский горожанин конца XVIII – первой половины XIX века (по материалам дневников) (А.И. Куприянов) ..... 120

### *Друзья и враги*

- Глава 7. Эллины античного мира в кругу друзей (И.С. Свенцицкая) ..... 149  
Глава 8. Дружба и друзья в представлениях французов XVII века (по сочинениям Ларошфуко) (А.В. Стогова) ..... 192  
Глава 9. Друзья и гости в Древнем Китае (Эпоха Западного Чжоу - период Чуньцую. XI–V вв. до н. э.) (М.С. Хаютина) ..... 221

### *В мире страданий: восприятие смерти*

- Глава 10. Скорбь о близких в XII–XIII веках (по материалам англо-французской литературы) (Ю.Л. Бессмертный) ..... 243  
Глава 11. В ожидании смерти: молчание и речь преступников в зале суда (Франция, XIV век) (О.И. Тогоева) ..... 262  
Глава 12. Герцог, его слуга и смерть (Австрия, XV век) (М.А. Бойцов) ..... 303  
Глава 13. "Отходя от света сего...". Частная жизнь московской элиты XVII века через призму завещаний (О.Е. Кошелева) ..... 339

### *Странные люди*

Глава 14. Обращение в монашество в мыслях и чувствах монаха XI века (К проблеме личности Отлоха Санкт-Эммерамского) ( <i>Н.Ф. Усков</i> ) .....	389
Глава 15. Десять странных парижан ( <i>П.Ю. Уваров</i> ) .....	435
Глава 16. Н.И. Новиков ("Частный человек" в России на рубеже XVIII–XIX веков) ( <i>Е.Н. Марасинова</i> ) .....	471
Глава 17. Русский художник первой половины XIX века: сфера общения и досуга ( <i>О.А. Кривцун</i> ) .....	513
Глава 18. Надежда Сергеевна Акинфова (Роман великосветской дамы по материалам III Отделения) ( <i>С.А. Эжитут</i> ) .....	532

### *Вместо заключения*

Глава 19. О мире чувств и внутреннем мире человека прошлого ( <i>Ю.Л. Бессмертный</i> ) .....	571
<i>Summary</i> .....	577

## Contents

### *Ideas and Approaches*

- Chapter 1. Problems (*Yu.L. Bessmertny*) ..... 7  
Chapter 2. Methods (*Yu.L. Bessmerthy*) ..... 16

### *Family Cares and Anxieties, Joys and Sorrows*

- Chapter 3. Alessandra Strozzi and Her Family (Florence, the Fifteenth Century) (*M.L. Abramson*) ..... 29  
Chapter 4. "What's in a Name?.." Family and Name in Flanders, the Twelfth and Thirteenth Centuries (*P.Sh. Gabdrakhmanov*) ..... 70  
Chapter 5. The World of Feelings of a Noble Woman: Russia, the Late Eighteenth to Early Nineteenth Centuries (Sexual Sphere) (*N.L. Pushkareva*) ..... 85  
Chapter 6. A Russian Town Dweller in the Late Eighteenth and the First Half of the Nineteenth Century (on the Materials of Personal Diaries) (*A.I. Kupriyanov*) ..... 120

### *Friends and Foes*

- Chapter 7. Ancient Hellenes within the Circle of Fiends (*I.S. Svetsitskaya*) ..... 149  
Chapter 8. Friendship and Friends as Perceived by the French in the Seventeenth Century (on the Works of La Rochefoucauld) (*A.V. Stogova*) ..... 192  
Chapter 9. Friends and Guests in Ancient China (Western Zhou-Chunqiu Epochs, the Eleventh to Fifth Centuries B.C.) (*M.S. Khayutina*) ..... 221

### *In the World of Suffering: Perception of Death*

- Chapter 10. Mourning the Near and Dear, the Twelfth and Thirteenth Centuries (on the Materials of Anglo-French Literature) (*Yu.L. Bessmertny*) ..... 243  
Chapter 11. Awaiting Death: Talking and Silence of Criminals in the Courtroom (France, the Fourteenth Century) (*O.I. Togoyeva*) ..... 262  
Chapter 12. The Duke, His Servant and Death (Austria, the Fifteenth Century) (*M.A. Boitsov*) ..... 303  
Chapter 13. "Passing from this World..." The Private Life of the Moscow Elite in the 17th Century: on the Materials of Wills (*O.E. Kosheleva*) ..... 339

### *Strange People*

Chapter 14. Taking the Vows as Seen and Felt About by an Eleventh Century Monk (To the Problem of Otloh von St. Emmeram's Personality) ( <i>N.F. Uskov</i> ) .....	389
Chapter 15. Ten Strange Parisians ( <i>P.Yu. Uvarov</i> ) .....	435
Chapter 16. N.I.Novikov ("A Private Person" in Rus- sia at the Turn of the Nineteenth Century) ( <i>E.N. Ma- rasinova</i> ) .....	471
Chapter 17. A Russian Painter in the First Half of the Nineteenth Century: The Sphere of Social Life and Leisure ( <i>O.A. Krivtsun</i> ) .....	513
Chapter 18. Nadezhda Sergheyevna Akinfova (The Affaire d'Amour of a High Society Lady on the Mate- rials of the 3rd Department) ( <i>S.A. Ekshtut</i> ) .....	532

### *Instead of an Afterword*

Chapter 19. On the World of Feelings and the Inner World of the Man/Woman of the Past ( <i>Yu.L. Bessmertny</i> ) .....	571
<i>Summary</i> .....	577

**Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни**  
Ч 38 в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени /  
Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т,  
2000. 582 с.

ISBN 5-7281-0358-8

Основной замысел книги – раскрыть роль и место человеческой субъективности в межличностных отношениях разного времени и в разных социальных условиях и на этой основе показать возможности индивида влиять на ход исторического процесса.

Первая часть исследований была опубликована в 1996 г. под названием “Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени”. В предлагаемой вниманию читателей книге избран иной ракурс исследования творческой роли индивида в истории. В центре внимания теперь – та эмоциональная сфера, которая в предшествующей историографии либо просто игнорировалась, либо рассматривалась обособленно, вне социального универсума. В предлагаемом издании изменение внутреннего мира человека исследуется в неразрывной связи с переосмыслением как самой сферы эмоций, так и всей системы частной жизни человека, а также в зависимости от изменений окружающего его мира в целом. Широкий географический и хронологический охват (рассматриваются не только Запад, но и Россия; не только Европа, но и Азия; не только древность и средневековье, но и начало нового времени) создает возможности для ряда историко-компаративных выводов.

Для историков, культурологов и широкого круга читателей.

ББК 63.3 (0)

Научное издание

**Человек в мире чувств**

Очерки по истории  
частной жизни в Европе  
и некоторых странах Азии  
до начала нового времени

Редактор

Н.Л. Петрова

Художественный редактор

М.К. Гуров

Технический редактор

Г.П. Каренина

Корректоры

Т.М. Козлова,

Л.Д. Лихачева

Компьютерная верстка

О.В. Самарская

ЛР № 020219 выд. 25.09.96  
Подписано в печать 15.06.2000  
Формат 60х90 1/16  
Усл. печ. 37,0. Уч.-изд. л. 40,0.  
Тираж 2000 экз.  
Заказ № 452

Издательский центр  
Российского государственного  
гуманитарного университета  
125267 Москва, Миусская пл., 6  
(095) 473-42-00

Московская типография № 2  
Министерства по делам печати,  
информации и телерадиовещания.  
129085, Москва, пр. Мира 105.



Российский государственный гуманитарный  
университет

*Вышла из печати*

Данилова И.Е.

**Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ.**

240 с. с илл.

ISBN 5-7281-0188-0 (Пер.)

Итальянский город XV в. рассматривается как культурный и эстетический феномен (как культурная модель в аспекте ее самоосознания и самоописания).

В книге три раздела. В первом речь идет о Флоренции – самом характерном городе Возрождения, увиденном глазами современников; о ее исторической реальности и желаемом, идеальном образе. Второй раздел – город во флорентийском изобразительном искусстве XV в., город глазами художников. В третьем разделе речь идет о воображаемых, идеальных городах в архитектурных трактатах XV в.: Альберти, Филарете, Франческо ди Джорджо Мартини.

Оппозиции, лежащие в основе концепции книги, рассматриваются как отражение противоречивости мировидения эпохи раннего Возрождения, отнюдь не гармонического, но драматичного.

Для специалистов и широкого круга читателей.

Российский государственный гуманитарный  
университет

*Готовится к изданию*

Баткин Л.М.  
**Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-  
исторических основаниях и пределах личного самосознания.**  
960 с.  
ISBN 5-7281-0029-5 (Пер.)

В книге завершен и объединен в целое, определяемое хронологической последовательностью и сквозной теоретической и методологической задачей, цикл работ, начатый еще в книге "Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности" (1989). Содержание книги – по самым высоким точкам культуры – охватывает античную христианскую патристику, французское средневековье XII в., возникновение гуманистического самосознания в XIV в. и его кризис в начале века XVI.

Среди разделов книги: "Макьявелли: индивидуальность и проблема социального действия", «Блаж. Августин: "Не мечтайте о себе"», "Абеляр и Элоиза: личное чувство и матрицы эпохального умонастроения", «Любить и сочинять: Два "Я" в лирике Петрарки» и др.

Для историков, культурологов и широкого круга читателей.

Эта книга об эмоциях и страстях, обуревавших человека прошлого, о том, как эти страсти сказывались на отношениях с близкими и с “чужаками”, с любимыми и врагами, о том, как вел себя человек в радости и в горе, на пиру и на смертном одре. Насколько различались во всем этом люди разных времен и положений? Способен ли был человек прошлого “властвовать собою”, управлять своими эмоциями и привычками? Мог ли он поступать не так, как все, не так, как принято? Эти и многие другие вопросы обсуждаются в книге на материалах Западной Европы, России и некоторых сопредельных регионов.



The inner world of man: what distinguished it in different eras of the past in the Christian West and in Russia? What were the everyday cares and joys like in Western Europe and in Russia? What was the image of the foe like in those times, and – on the contrary – that of the friend? How did people in those times learn compassion? What was the attitude to strange or “odd” persons? These questions, as well as many others, are discussed in this volume on the material of antiquity, the Middle Ages and Early Modern Times. Various types of sources are analyzed, and among them some that have never been published before. The principal attention is paid to the interpretation the authors of the texts under investigation gave to contemporary events and situations.